

МАРИЭТА  
ШАГИНЯН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ



**МАРИЭТТА ШАГИНЯН**

---

---

**СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ**

---

---

*В ШЕСТИ ТОМАХ*



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
МОСКВА 1956







**МАРИЭТТА ШАГИНЯН**

---

---

**СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ**

---

---

*ТОМ ТРЕТИЙ*

**ГИДРОЦЕНТРАЛЬ**

*(Роман)*

**ОЧЕРКИ**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**МОСКВА 1956**





М. С. ШАГИНЯН







# ГИДРОЦЕНТРАЛЬ

*Роман*

*Моей сестре Лине*







После перехода политической власти в руки пролетариата... сила примера впервые получает возможность оказать свое массовое действие.

*В. И. Ленин.*

### *Глава первая*

**В МАРТЕ 1928 ГОДА...**

#### **1**

Два молодых человека не спеша вошли с разных сторон узкой улочки древнего армянского города в одно и то же здание, посторонившись друг перед другом у входа. Здание было длинное, одноэтажное, с плоской крышей и с мелкими, частыми оконцами в железных решетках, как многие другие такие же здания в городе.

Над дверью висела вывеска: «Биржа труда».

Эти два слова были для города новостью, и факт, о котором говорили они, был новый, передовой факт. С ним исчез дедовский способ тяжелых поисков работы. Поисков по знакомству и кумовству, от крыльца к крыльцу, через объявления в газетах, через терпеливое, неделями, стояние у глиняной стены на базаре, этой черной рабочей биржи, где человек мял шапку в руках и с ноги на ногу переступал, покуда наниматель хитро торговался с ним, обсчитывая на рублях и копейках, а рядом, снижая цену, лепилась такая же голытьба, понаехавшая из голодной деревни...

Все это начисто смела биржа труда. Входи смело, говори в окошко черноглазой пожилой армянке в очках, кто ты таков, к какой работе привычен, куда хотел бы идти на службу,— и все это она занесет в большую



книгу, выдаст тебе бумажку, а ты лишь захаживай да почитывай вывешенный у окна лист с фамилиями тех, кого вызывают, и жди, когда очередь дойдет и до тебя.

Оба только что пришедших на биржу молодых человека попали в густую толпу, теснившуюся у вывешенного на стене листа. Республика строила; республика начинала втягивать приезжих армян: одни постепенно возвращались домой — из России, из чужих стран, куда бежали в дни дашнакской власти; другие впервые ехали сюда, в «страну отцов», прослышав, что стала она советской свободной республикой. В городе множились учреждения; они требовали служащих. И особенно большой спрос был на работников учета, на бухгалтеров и статистиков.

Стоя у самого окошка, стиснутый напиравшей сзади толпою, старик, грязно-седой, в пиджачке, обшитом по краям тесемкой, тревожно и тщетно воздевал на нос дугообразное старинное пенсне, должно быть с чужой переносицы. Он читал во всеуслышание фамилии. Учреждения требовали статистиков; их вызывалось целых пятнадцать — и все фамилии были женские. У старика тряслись губы и руки от сердитого разочарования. По привычке бормотать себе под нос, не дожидаясь реплик, он шепелявил беззубым ртом, не обращаясь ни к кому из соседей:

— Пятьдесят восемь лет стажа, печатные труды имею, третий месяц хожу — бабье, опять бабье. Какая у бабы квалификация? Сложенье и вычитанье...

— Зато в сложенье она посильней тебя, папаша, в сложенье ты ей не конкурент! — попробовал сострить один из пришедших молодых людей, худощавый, в облезшей бархатной куртке, с длинными волосами и обильной перхотью на воротнике. Он даже подмигнул на старика своему соседу, с которым столкнулся в дверях, но сочувствия не встретил. Сосед глядел мимо, внимательно и серьезно глядел на окружающую его толпу. Но он слышал остроту. Не оборачиваясь, звонким голосом, прозвучавшим неожиданно-молодо, с оттенком певичей декламации, он вдруг сказал:

— Как не стыдно вам!

Это прозвучало обезоруживающе искренно. Старик



и кое-кто из толпы обернулись на юношеский голос. Обладатель его был явный чудаки. Очень высокий,— на голову выше соседа,— большой, рыжий; длинные ноги пиркчл, лицо внимательное без напряженья, маленькие глаза в больших круглых очках с разбитыми стеклами, красивый, немного мясистый нос над тонкими губами язната.

Одет он был тоже чудаковато. В тот год американские «благотворители» тюками засылали в республику пошеную одежду, и эти обноски приказчиков и миллиардеров, актрис из Голливуда и чикагских лабазников продавались в особых палатках. На чудаке отлично сидело странное нечто, явно купленное на майдане: сюртук имазонки, стянутый в талии, пышный на бедрах. Руки свои он прятал в карманы,— жестом оратора, говорящего на ходу. Ловкие ноги, без всякого подобия сапог, почти балансировали стоптанными калошами, поднимая их кончиком пальцев, как танцующие мусульманки в шальварах поднимают на папиросных и сигарных коробках нежные ободки чувяк.

Видно было, что он обносился до крайности; серые тени на щеках и под глазами говорили о недоедании, о голоде. И все же в нем было нечто праздничное,— так подумал по крайней мере человек в бархатной куртке. Где и в чем сказывалось это праздничное, не сразу сумел бы он определить,— может быть, в приподнятой интонации, в блеске глаз или вот даже в том, что белая шея рыжего выглядывала из старого отложного воротника амазонки на редкость чистой, вымытой, явно вымытой с мылом,— и за ушами и на затылке.

А рыжий продолжал говорить, слегка понизив голос — Ведь мы пришли за работой! Какие же шутки? Вы посмотрите на этого гражданина,— он кивнул головой на старика в золотом пенсне,— вот он положил руку на промокашку,— изучите его руку. Это ведь музыкант, музыкант в своем деле. Читая, он пальца не послонит, он лист возьмет за ребро, перевернув, разгладит. Он голоден по привычной работе. Когда он жует губами, он думает о прочитанном, а не о хлебе. Он о шкафчике мечтает, чтобы ключ на месте и полочки на месте. Бумажки исходящие. Бумажки входящие. Резни-



ка — стереть, ножик — подскоблить. Чернила красные, чернила черные. Он перо к носу поднимет, с пера волосинку снимет. А вы — острите о сложении девиц!

Сосед в бархатной куртке прислушивался к потоку не совсем обычной речи. Казалось, рыжий говорил не очень всерьез. Он словно сказку рассказывал. Он словно имел что-то другое в виду или, может быть, сам себя заговаривал, не обращая внимания на других. Но сердиться на него не было возможности. Старик, пофыркивая, обернулся к нему, и видно было, что он доволен этой речью. Однако он все же буркнул рыжему:

— Во всяком случае и от хлеба не откажусь.

А тот заговорил опять и все с тою же певучей, магнетизирующей интонацией:

— Или вон та седая гражданка впереди вас. Муфта ее,— прошу извинения,— не по сезону. Март месяца все-таки. Но муфта ей вместо портфеля. В муфту засовываются тетрадки, трубка тетрадей с диктантом, карандаши, башня неграмотности,— а для нее симфония. Сейчас нет их в муфте, и гражданка тоскует, ей делать нечего по вечерам при лампе, ночью она разговаривает во сне,— знаете вы, что такое держать на холостом ходу старого, опытного, прирожденного педагога?

Женщина с потертою муфтой из плюша давно уже вздрогнула и плечами повела, услыша рыжего. Сперва она собралась было одернуть его, назвать хулиганом,— сколько раз в очередях, в толпе, измучась, изнервничавшись от ожидания, говорила она по всякому поводу резкие, колкие слова, и ей отвечали такими же, да что греха таить — подчас и до «действия» доходило, до взаимных напористых толчков локтями, а дома, припоминая тогдашний свой, ставший каким-то острокрикливым, голос и свое зверское чувство к соседу, сокрушенно думала она, старая учительница: «До чего все-таки я докатилась!»

Но резкости не вышло. С каждым новым словом странного человека обмякала ее душа.

«Проницательный какой, догадался, что педагог»,— подивилась она мысленно.

— Или, наконец, молодой человек рядом с вами, доброе утро, молодой человек! Я убежден — шофер.



Потти его черны от бензина, спина бела от пыли. Он обнимает машину, как родного брата. Выцарапать его из машины — все равно что выковырнуть черепаху из панциря. Я знаю шоферов. Когда они сирену дают, у них в горле булькает. Когда едут порожняком, постороннему говорят: «Садись, довезу», — и, заметьте, бескорыстно говорят. Физическое чувство машины: телом хотеть загрузки. Профессиональный навык, огромная тренировка, девять десятых времени — в машине. Это страдание для шофера — быть безработным. А вы шутки шутите. Вы понять не хотите!

И странное дело: замороженные певучею речью, словно сказкой, люди, собравшиеся на бирже труда, почувствовали перемену в обычном своем настроении, с каким ожидали они здесь работы.

Сперва было просто тихо. Каждому казалось, что речь протекает где-то сбоку, не обязательно для него, и применительно к соседу. Но вот в наступившей тишине посвежело как будто, словно дождь прошел. Со дна души у людей, искавших заработка, встала светлая, неспокойная жажда, странная щемящая тоска. Крестьянин весной, когда нечем сеять, испытывает ее. Тоска по не использованной в себе и вокруг себя силе — по труду не как заработку, а как жизненной потребности.

— Подтянешь потуже пояс, так и машину забудешь. Камень за хлеб разбивать пойдешь на улицу, — грубо, словно сопротивляясь очарованию, словно желая — на зло себе — разбить что-то в душе, гаркнул шофер. — И не стану я даром подвозить, не надейтесь! — добавил он ущемленно, словно не веря своим словам.

Но нелегко было сбить рыжего. Он обратился на шофера свои разбитые очки:

— Ошибаетесь. Качество труда изменилось в нашей стране, а с этим и чувство голода стало другим. Не боимся мы голода, я во всяком случае не боюсь. Я не верю, что могу умереть с голоду. Я знаю, что для меня найдется работа.

Он говорил уверенно и наставительно. Он вынул руку из кармана, — человек в бархатной куртке опять заметил, что рука рыжего была отменно чистой, с длин-



ными пальцами и вычищенными ногтями. Он сделал ею широкий жест в воздухе:

— Не может не найтись работа в стране, где все перестраивается, где тысячи дел ждут очереди, где самое драгоценное — наша с вами энергия. Это азбука. С этим нельзя спорить.

Пожилая армянка в очках, заслушавшись рыжего, помедлила у раскрытого окошка. Он кончил, и она с сожалением, почти прося извинения у ожидающих, сказала:

— Сейчас ничего не будет. К пяти часам приходите. И захлопнула окошко.

## II

Толпа начала расходиться. Рыжий и человек в бархатной куртке все еще стояли бок о бок. Они вышли вместе.

— Странный вы парень, — нерешительно начал человек в бархатной куртке, — проповедуете, словно с луны свалились. А небось есть хотите не хуже нашего. Кто вы такой, откуда?

Оба шагали сейчас рядом, маленький — делая два шага на каждый свободный и широкий шаг рыжего.

— Безработный интеллигент, — ответил рыжий, поднимая под свежим порывом ветра свой отложной воротник. — Из меня агитатор бы вышел. Люблю агитировать. И знаете почему? Сам себя убеждаю. А кушать я, пожалуй, по-другому хочу. Не так, как вы, например.

— То есть?

— Это долгий разговор. С Адама... — Он замолчал и огляделся вокруг.

Они спускались из центральной части города на окраину его, разрушенную дашнаками в годы гражданской войны. По решению горсовета весь город должен был перестраиваться, и низменную часть, «татарскую», как ее называли раньше, до перепланировки не восстанавливали. Улицы в ней были так узки, что разве лишь ослик с поклажей мог пробраться по ним, не задевая боками глинобитных стен из сырца. Квадратные безголовые домики, ободранные, как извозничьи козлы, тор-



чали погребальными остовами, и пела известь в воздухе, ниспадающая сухим ветром.

Отсюда, не сверху, а снизу, как ни странно показаться бы это на первый взгляд, отлично был виден весь город, словно всплывший наверх труп утопленника. Улицы его избегали в гору с отчетливостью архитектурных очертаний, подобной разве что старым городским планам в музеях картографии. Плоские крыши, арки и полуарки красивых подворотен, цвет глины, похожий на цвет порыжелой гравюры, ослепительные лучи солнца, — и тень, такая черная тень возле каждой линии, каждого свода, под каждым навесным балкончиком и кирпичом, словно стала она строительной частью городского пейзажа, сурьмой подводя красивые очертания его, подрисовывая ресницы-наличники, черня ребра домов. Над этим отчетливым миром линий, картинкой из старого путешествия Дюмон-Дюрвиля или гравюрой на библейскую тему, всплывал на горизонте Масис, двумя головами упираясь в небо, — потухший вулкан с цепью круглых облаков у подножья. Вода разоренных арыков билась кой-где меж мертвыми домиками, — нитевидный пульс умирающего.

По блеску солнца, уже начинавшего пригревать, словно в апреле, по яркой и теплой синеве неба, по шелесту невидимых капель, стекавших под солнцем на землю, предчувствовалась необычно ранняя весна. Садоводы сказали бы: грозила весна... Приди она раньше времени, — звоном луж, примерзающих к ночи, миллиардами белых и розовых бабочек, — абрикосовых и персиковых цветов, неистово сыплющихся с уступов города, отовсюду, где есть сады, — и погиб урожай, вымерзнет, осыплется, не дав плода.

— Куда мы собственно направляемся? — спросил рыжий.

Спутник его указал на один из покинутых домиков с уцелевшей частью крыши. Он вселился в него без ордера, поставил железную печку-мангалку и жил, пока не найдет работы.

Впрочем, особой необходимости жить здесь, да и работу искать у него, у художника Аршака Гнуни, не было.



— При желании мог бы устроиться на всем готовом у богатого родственника-садовладельца. Я вас вечером затащу к нему, он серебряную свадьбу справляет... Но для того, чтоб жить у него, надо фамильные портреты писать. А я не желаю, я не ахровец. Я художник-леф, меня ахровцы и так съели. Я от них из Москвы сбежал. Но и тут АХР. Тут еще хуже. До лета продержусь — и назад. А вы кто? Откуда вы?

Говоря безостановочно, художник Аршак Гнуни быстро вошел в нехитрое свое жилье, сел на корточки перед мангалкой, чиркнул спичкой и стал раздувать огонь.

Рыжий шагнул вслед за ним под брезентовый пол. В другой части дома, где не было крыши, художник устроил себе мастерскую. Там стоял мольберт, валялись ролики с полотном, сохла прислоненная к стене большая картина в подрамнике. И тут же в углу насыпана была горкой мелкая, уже проросшая белыми червячками картошка, а рядом с ней крупный эчмиадзинский лук.

Забыв, о чем спрашивал гостя, художник продолжал болтать. Он перешел на армянский, пересыпая его русским. Он уже обращался на «ты» к гостю. Его живые, косые глаза сверкали, как у ребенка. Он жаловался на непонимание, на местные нравы: «Семинаристы, варжапеты<sup>1</sup>, сводят личные счета, подсиживают друг друга...» Жаловался на последнего заказчика, отказавшегося от картины: «Посадите его на необитаемом острове, он обезьяне кокосовый орех продаст».

И пока обличал художник отвергшую его публику, рыжий успел внимательно, хотя и очень быстро, пересмотреть его полотна, вернуться к мангалке и незаметно завладеть щепками для растопки. Пяти минут не прошло, как уже он хозяйничал у печурки, вычистил кастрюлю, обросшую копотью, раздобыл воды, почистил и перемыл картошку. Аршак Гнуни поймал себя вдруг на странной рассеянности: он потерял нить рассказа, позабыл, о чем говорил, и только глядел, глядел с интересом на спокойные, ловкие и какие-то новые для не-

---

<sup>1</sup> *Варжапет* — учитель (армянск.).



то действия своего гостя. Он любовался их опрятностью, их логикой. Он пробормотал невольно:

А кушать все-таки будете, как мы!

Рыжий повесил на гвоздь серое подобие полотенца, в которое аккуратно вытер пальцы, придвинул ящик, заменивший стул, к художнику и не спеша заговорил:

Вы любите музыку? Неожиданную, из эфира откуда нибудь, в погожий день или ночью, когда звезды высталили, востер улегся, умерли всякие звуки, а тут вдруг что-то очень широкое, почти невыносимое — по красоте, по счастью, по обещанью, по полноте? И вы тогда скажете или подумаете про себя — как до сладости хорошо бытие и почему так редко чувствует человек величайшее счастье быть! Это бывает с вами?

Не бывает, — отрезал художник, — я от музыки раздражаюсь, а вообще мало понимаю ее. Если доходит до меня, то тянет к хныканью. Жалко и себя и людей. Думаешь, нет этого в жизни, прикрашено, провокации. Я вас про еду спросил — небось картошку будете есть?

— Вы только выслушайте меня. Вот такой музыкой с самого детства прозвучала для меня жизнь. Я до страсти ее люблю. Не могу слова подобрать, чтоб передать, например, свое чувство природы, не какой-нибудь исключительной, а просто природы, воздуха, земли, любого времени года, любого места, при любой погоде. Интерес к человеку тоже у меня больше, чем к книге. Часами способен сидеть в городском саду и читать лица, характеры, помыслы. Люди ведь отлично друг друга знают, прямо насквозь видят, но приняли за правило верить в собственную непроницаемость, чтобы, вероятно, не так сложно и трудно жить было. И, наконец, труд, действие, которое я могу произвести в мире.

— Ага, приближаемся к картошке!

— Действие, — повторил, не сбиваясь, рыжий. — Я был один сын в семье, мне дали хорошее, классическое образование...

— Да сколько ж вам лет?

— Около сорока, — и ответ рыжего поразил художника. Ему самому исполнилось двадцать пять. Но он чувствовал себя старше рыжего, выглядел старше и был



уверен, что старше. Он даже седые волосы выдергивал у себя... Ему становилось все интереснее слушать. А гость продолжал:

— Мы изучали «Киропедию» Ксенофонта. Персидский царь Кир сказал про себя, что никогда хлеба не съест утром, прежде чем хорошенько не поработает, не заслужит свой хлеб. Это сделалось и моим правилом. Это, видите ли, не случайно вышло. Родители баловали, а я,— как часто бывает в детстве,— больше слушался отцовского кучера, чем отца. Завидовал ему с самых первых минут сознательности. Родители ждали от меня особых талантов. А я всякое дело любил, лишь бы оно всерьез, лишь бы не игра. Ну, например, давали из игрушечных кубиков строить. Это не занимало. А вот двор подмести, настрогать палочку для птицы в клетку или заточить для кухарки щепок на растопку — это сколько угодно, когда угодно. Мать потом, когда вырос я, называла меня «сплошной прозой». Не хотела понять, в чем тут дело. А я жаждал реально участвовать в бытии, которое так остро, так радостно ощущал. Но — погодите, не перебивайте,— на фронте я получил урок.

— На фронте?

— В германскую. Меня из университета мобилизовали, сапером был. Проделал всю войну, и на Мазурских болотах тонул, и в госпитале побывал. Там я впервые встретил большевика. Кузьмин, текстильщик из Иваново-Вознесенска. Подметил отлично мои особенности и как-то мне говорит: «Из тебя, Арэвьян, будь ты рабочим человеком, самый последний прохвост вышел бы». Я был убит этими словами. Я был страшный нравственный чистюлька, мне втайне казалось — я очень хороший парень. «Почему?» — спрашиваю его. «Потому, говорит, что нету «труда вообще», да и жизни такой нету, чтоб «вообще». Трудился бы ты на заводе на хозяина, лез бы из кожи, всем был бы доволен, у хозяина любимец, а с политической стороны — оппортунист, и больше ничего, да еще, может, при случае и штрейкбрехером заделался бы. Не по дороге тебе с нашим братом».



— Это он вздор! Шпаргалка! — отрывисто перебил художник.

— Нет, это он не вздор. И я это очень хорошо понял. Мое растворение в мире было в сущности мнимым. И в сущности в себя замкнулся, для своего удовольствия в одиночку жил. Я чудовищно был отделен, отрезан от бытия, а я думал, что слился с ним. Вот это он мне тогда отлично объяснил.

— Ну, теперь и вы завели шарманку!

— Нет, — опять возразил рыжий. — Нет! — страстно повторил он в третий раз, выходя из обычного своего спокойствия. — Вы обязаны обдумать это, вы вникните в справедливость этого, иначе вы сами в своем искусстве в тупик заберетесь и дороги назад не найдете!

— А я и не буду назад искать — я двигаюсь вперед, — запальчиво возразил художник. — Вы, кажется, хотите мне поднести азбуку ахровцев. Эти тупицы воображают, что в политике можно делать революцию, можно скакать сломя голову, можно быть большевиками, а в искусстве надо солому жевать и чижики-пыжики повторять, потому что это, видите ли, массовому зрителю понятно. Я вам наперед говорю: если вы мне такое скажете, я вас вон выгоню из мастерской, на все четыре стороны. Надоело. Слышал. Дрался. Головы разбивал. Тупицы!

Художник-леф разволновался всерьез и хотя ни за что бы не показал этого, но страшно, до чрезвычайности обиделся на рыжего. Что-то в тоне гостя, в голссе, что-то не высказанное, но подразумеваемое говорило ему, что в словах рыжего есть намек на его, Аршака Гнуни, картины, что рыжий успел посмотреть эти картины и они ему не понравились; и стоят они оба, рыжий и художник, на разных полюсах, но рыжий воображает его мазилкой, бездарностью. Он даже лицом исказился, он задышался от сотни аргументов, которые мог бы сейчас привести, он припомнил примеры, которыми побивал «тупиц», когда спорил с ними, не на открытых дискуссиях, — разве там ахровцы дадут говорить, — а в мастерских, у полотен, в рабочей обстановке художника. Не понимает народ простой логики.

— Понимаете вы, что живое не стоит на месте, что



искусство, как все живое, расти должно, развиваться должно, а не повторять уже пройденное, не топтаться, как Вампука, на месте? Много вы понимаете в моих картинах!

Рыжий между тем встал и приподнял крышку над кастрюлей, откуда ударил вдруг горячий пар и запах вареной картошки с луком. Кончиком сломанного ножа он захватил щепотку серой крупной соли и бросил ее в кастрюлю.

— Во-первых,— торжественно ответил он,— картошка готова. Во-вторых, вы сами спросили меня, как я ем. И я начал рассказывать вам, как я ем, а вы не даёте договорить.

— Ладно. Продолжайте.

Запах умиротворил Аршака Гнуни. Он даже помог рыжему отыскать две жестянки вместо тарелок и принял из рук его благоухающую порцию блюда, которое рыжий назвал «классическим». Оба начали есть, наслаждаясь едой.

— Кузьмин тогда правду сказал. Нет «труда вообще». Вот сейчас, при советской системе, я на месте, я вправе трудиться счастливо, я не стыжусь страстно любить труд, я смею расточать себя сколько сил хватит. И во мне все шлюзы подняты, потоком бьет сила. Кажется, хватит энергии на всю работу в Советской стране. Жадность необъятная — так сразу и стал бы зараз землю копать, камни класть, станок заводить, на сцене петь, детей учить, чертежи делать, в газете писать, булки печь.

— Может, и картины мои писать?

— И картины ваши писать. Тут, знаете, тоже все очень просто. Мы с вами из класса бывших людей, живших на прибавочную стоимость. Нас с детства не приучили уважать главные потребности человечества. Поэтому и мудрим мы, и путаем, и вообще не то и не так ищем. А ведь искусство — умение видеть основные потребности человеческие, коснуться их до корней. Тогда и само искусство становится потребностью.

— Ну, а что вы считаете этой вашей главной потребностью, позвольте спросить? Хлеб, спанье, детей рождать?



Вы, кажется, думаете, что все это очень плохо? — с удивлением спросил рыжий. — И еще, может быть, думаете — оно «устарело», стало банальным? А как же у Гете: «Лишь тот имеет право на свободу, кто завоевывает каждый день ее»? Или: «Тому вас не познать, о судьбы всеблагие, кто никогда свой хлеб в слезах не ел»? Это ведь не просто так сказано, это конечный итог длинной жизни мудрого человека. Хлеб — значит труд, сон — это отдых, дети — это любовь... И еще — борьба, познание, творчество, дружба... — Тут рыжий как то интимней подвинулся к художнику, словно сконфуженный слишком большой теплотой, зазвучавшей сейчас в голосе его: — Люди, ей-богу, лучше, чем о них думают. Люди всегда хотят настоящего. Возьмите хоть нас с вами — знакомы два часа, встретились на улице, но имени друг друга едва знаем, а вы привели меня в гости к себе, и говорим мы о самых для нас дорогих вещах.

— Скажите честно: считаете вы меня бездарным? — неожиданно спросил Аршак.

— Нет, и думаю — вы талантливы. Но вы еще неверно, не так живете. И потому не нашли дороги.

— Как так — неверно живу? Я искренен. Я не нарочно, и не могу иначе.

Это был самый последний аргумент в арсенале художника-лефа. К собственному удивлению, он произнес это без жара, без прежней строптивости.

Удивительное дело, — в раздумье ответил рыжий, — когда речь идет о росте врача или инженера, человек определенно считает, что переходит от незнания к знанию, двигается, меняется, совершенствуется. Он считает положительным, что еще вчера думал так, а уже сегодня думает иначе. А вот начнешь говорить с художником — «я так устроен», «я иначе не могу», «я искренен». Да вы что — окаменели раз навсегда? Уверены, что это — вы окончательный? А учиться — ну хотя бы нашей новой жизни? Хотя бы по газете, — в газету вы, между прочим, заглядываете? И потом — загляните себе внутренне, без свидетелей, вопрос, что вам дороже, натура или манера, предмет вашей работы или заранее предпрешенный подход к ней? Да и сами ли вы



еще нашли эту манеру, выстрадали этот подход — тоже еще вопрос. Ни в чем нет столько подражательности, сколько в оригинальничанье, и, честное слово, легче всегда подражать именно оригинальному!

— Одно я вам заявляю,— дремотно пробормотал художник,— ахровцы — ерунда. Серятина. Мерзость. Не признаю.— От солнца или от еды, но его уже размогло и стало клонить ко сну.

— Это — пожалуйста! — согласился и рыжий. Задремывал и он, клоня на руку рыжую голову, по которой сейчас бегал пламенный зайчик солнца.

Чувствуя, что заснет, если останется сидеть, Арэвьян встал; взгляд его серо-голубых глаз обежал стены в поисках шапки на гвозде. Но художник потянул его вниз за полу амазонки. Он не хотел отпускать гостя. Он уже привык к нему.

— Садитесь, нечего! — сонно сказал он рыжему.— Некуда вам идти. Мы с вами вечером, не забудьте, на пиршестве у родича. И ночевать приглашаю — сено у меня есть, топливо есть, клопы отсутствуют. А завтра вместе на биржу. А сейчас вздремнем на полчаса. Солнце жарит. Согласны?

И оба решили, что не худо вздремнуть на полчаса. Растянулись на сене — и словно в колодец упали. Крепчайшим заснули сном, покуда солнце ушло за полдень, сперва из окна, потом, квадрат за квадратом, по плитам двора, за ограду.

## *Глава вторая* **УЖИН С ЗАВЯЗКОЙ**

### **I**

Между тем в доме у виноторговца Гнуни, того самого родича, к которому художник-леф собрался повести вечером рыжего, шли горячие приготовления к пиру.

С раннего утра теща, сестра, кума и десятка два соседних старух курицами налетели к нему на дворик, помогать его «половине». Главные угощения были заго-



топлены со вчерашнего дня. На деревянной крытой веранде, выходявшей во двор обтесанными колонками и зубчатым карнизом, огромные котлы вылуженной меди, тяжелые, как гранатные обоймы, хранили выпиривший оттуда желтый от шафрана плав и развар молодого весеннего барашка, чьи копытца и алые пятна крови розовели еще в глубине двора у отхожего места.

Древний старик, глухой сторож, носил из погреба четверо сложенные листы лаваша.

«Сам», засучив по локоть рукав, вынимала из жестянок с рассолом маринады, и кожа ее горела и припеклась от уксуса. Низкий, как генерал-бас, тяжелый шпих медвяной, ожирелой от всяких начинок и сала нахлыни стлался над кухонными столами. От него у женщин белела голова, лезли глаза на лоб, пухли языки.

В двух жилых комнатах дочки виноторговца торопились сдвинуть столы, обмахнуть со стенных фотографий пыль и перетереть несметную армию стаканов.

За стеной, в третьей комнате, пожимал плечами жилен, доктор Петросян, теребя ушную мочку, — любимейший и постоянный жест доктора Петросяна, делавший его похожим на обезьяну. Он был приезжий — из Смирны. Он занимал фондовую комнату в доме виноторговца и платил за нее государству всего четыре рубля. Было естественно, с его точки зрения, как фунт табаку, что эти люди должны считать себя обиженными. И в молчаливого цвета ответной обиде доктор Петросян фыркал, теребил ушную мочку, дергал скептически плечом в сторону соседней стены. Его пациент, терпеливо отвалившись всей тушей на спинку кресла и выставив челюсть, водил багровыми глазами вслед пренебрежительным жестам доктора Петросяна, отрывавшим свои руки от дела.

Но вот в дверь втиснулась розовая Назик, растрепанная, как веник, с которым она весь день носилась по комнатам.

Что такое? Доктор Петросян не успел схватиться за мочку.

— Мы вас очень просим, доктор Петрос, майрик <sup>1</sup> и

---

<sup>1</sup> Майрик — матушка (армянск.).



айрик<sup>1</sup>, непременно, непременно к нам сегодня вечером... Ах, право, я не заметила! Простите за беспокойство!

Багровый глаз пациента поплыл за исчезнувшим в дверях фартучком. Доктор Петросян не успел перестроить свои позиции. Растерянный и умиленный, он тер на пластинке ртуть с поздним раскаянием в душе: он мысленно выбирал для семейства Гнуни торт.

К вечеру подоконники, столы в коридоре, столы на балконах, полы, где можно,— все было заставлено яствами, прикрытыми до нужной минуты салфетками, бумагами и полотенцами.

На двух длинных сдвинутых столах расположилась прелюдия к ужину — чайная сервировка. Настоящий гость не брался в расчет, на прелудию шли только дамы и поздравители, до ужина не остававшиеся. Здесь были десятками торты, кирпичики пахлавы и миндальных конфет, варенья, невиданные на Севере,— из баклажан, розы, айвы, арбузных корок, ореха, моркови.

И к вечеру, раздобыв на майдане пару длинных, нечеловечески узких спортивных туфель, Арно Арэвьян и художник-леф медленно направлялись на пир.

Город маршировал мимо них цепочкою ранних огней в окнах домов, споривших с нестерпимым блеском заката. Пронзительные голоса мальчишек выкликали свежую газету, только что доставленную поездом из центра Закавказской федерации. Нагорье сжимало воздух, как горло,— утром солнце высасывало тысячи луж, асейчас было холодно, и пальцы на ногах мерзли. Созвездия выкатывались на небо, подобные бильiardным шарам. В этом городе все жило «на воздухе». Кто провел в нем месяц — оставался на год, кто оставался на год — не уезжал до смерти, растворяясь в его незабываемой ясности. Человек чувствовал себя здесь мебелью, вынесенной на воздух и выколачиваемой от пыли, а потом оставляемой проветриваться.

Опьяненные воздухом, шли мимо мужчины, раздувая усы улыбкой. Их лица, подобно почтовым маркам с десятками печатей, открывали умному зрителю все

---

<sup>1</sup> Айрик — батюшка (армянск.).



многообразии прошлого, истоптанного большой дорогой почвенников, переселением народов, вечным транзитом на стыке Востока и Запада. У одних острый загиб ноздрей вверх, похожий на мертвую петлю, вытянутый длинный нос, круглый затылок брахицефала напоминал владычество гиксосов, египетский барельеф, древний народ — хеттов. У других сонная скула, скакнувшая к самому глазу, и младенческий рот выдавали монгола. Третьи были похожи на греков, на итальянцев, — с прямой линией бровей, прямым и коротким носом. И все они, разные и такие несхожие, могли признать друг в друге соплеменника — в любой части света, куда бы ни забросила их судьба. Все они были армянами.

Женщины и девушки, тоже пьяные воздухом, гуляли под руку; движения их были расчетливы, губы налиты кровью. Их тяжелая красота, вороньи крылья волос над темными щеками казались сошедшими со старинных позолот.

Художник леф хохлился: в толпе ему было не по себе. Когда электрический свет падал на него, заостряя черты, темные кудри без шляпы выдавали своей мертвой неслаженностью не один седой волос, а лицо казалось изрытым морщинами.

Идти предстояло долго, до конца города, где начинались сады, а они не дошли еще и до центра — до расчищенной под сквер площади. Еще в сухих кирпичных особняках казенного стиля, в старом здании тюрьмы с деревянными ящиками, закрывавшими снаружи окна, в длинной каланче прошлого века угадывались черты бывшего губернского города бывшей Российской империи. Но уже веселые леса на первых городских стройках, проломы улиц, отмечавшие очертанья будущих кварталов, кучами лежавший щебень и тропинки в обход ям и насыпей от снятых по плану ветхих сырцовых домишек — все это говорило о большом городском строительстве, о больших начинаниях нашей, советской эпохи. Молодой республике в ноябре пошел восьмой год.

И людей на улицах города стало гораздо больше.

Лет десять назад каждый гуляющий знал другого в лицо. Купцы ставили стулья перед своими заведениями



и садились подышать прохладой, а прохожие здоровались с ними, называя по имени,— отчество не в ходу у армян. Грохотала по булыжнику пролетка местного помещика, знатока лошадей и коневода,— сейчас нет и в помине помещика, а вместо пролетки бесшумно ползли по улице первые автомобили, да и булыжник исчез,— асфальт покрыл часть главного проезда.

Раньше почти не видно было учащихся— город имел только среднюю школу; сейчас — свое армянское студенчество, шумная молодежь, свои профессора, музыканты, актеры переполняли город. Пестрой радугой афиш были покрыты стены заборов и зданий — афиши о десятках невиданных раньше развлечений: очередного спектакля, концерта, экскурсии археологической, экскурсии общества охотников, выставок, открытия нового отдела музея, лекций, лекций, лекций... А прежде на месте цветных этих афиш скудно белела редкая серая бумажонка, извещавшая о продаже с торгов такого-то и такого имущества.

Можно было пять раз на дню пересечь главную улицу и не встретить знакомого — так выросло население города за каких-нибудь семь лет. Рыжий сказал об этом вслух.

— И все-таки очень много старья осталось,— ответил художник.— Старья, мещанства. Живучи, как полипы. К одному такому мы с вами идем. Хотите, расскажу историю?

Рыжий кивнул.

— Я сам из мещан, родом бакинец. Жили мы в Баку привольно, на базар, бывало, впятером ходили за покупками — впереди отец, как трубач, за ним старшая сестра с корзиной, брат поменьше, еще брат и напоследок я. Мясо покупали — фунтов пять-шесть зараз. Бегал в море купаться. У пристаней были привязаны лодки. Бакинские лодочники давали самые заковыристые имена своим лодкам. Как сейчас помню, преобладали такие: «Маруся-молодец», «Пушкин-молодец». Я сам на «Пушкине» катался... Однажды, слышим, приехал в Баку перс, изобретатель необыкновенной мази ото всех болезней. Мазь эта продавалась в банках, на банке — портрет самого перса, благообразного такого,



пучками щекими и черной бородой, а внизу надпись: «В случае недовольства — принимаю обратно». Однако недовольства не было. Мазь решительно помогала. Мать лечила сию нас от золотухи, отца от пьяного угара, себя от ожогов; соседка лечилась от ревматизма, другая от бедности. Стоила эта банка с мазью пять рублей. Той самой мази я обязан решительным поворотом своей судьбы.

Он посмотрел на шагавшего рядом рыжего, убедился, что тот слушает его внимательно, и продолжал:

Жили мы без всяких приключений до одного воскресенья. В это воскресенье приехал к нам гость в дом. Нищенский человек, сутуленький, лицо вытянутое, бледное, с бородавками, руки желтоватые. Приехал на извозчике, и за ним — амбал за амбалом. И у каждого амбала — картонки на плечах, повязанные бечевой. Мать выглянула из окна и завопила: «Михак-джан! Михак-джан!» Это был дядя Михак. Он сунул нам, детям, под нос свою желтую руку для поцелуя и стал расплачиваться с амбалами. Все мы столпились вокруг — что привез дядюшка? Стоим и облизываемся. А дядя Михак развязал одну картонку — оттуда посыпались пустые белые баночки, точь-в-точь как из-под персидской мази. Другую — то же самое! На следующий день дядя стал что-то варить в котле. А потом в кухне у нас сотнями выстроились баночки: мазь, упаковка, портрет благообразного перса, надпись, все честь честью. Не думайте, что дядюшка занялся плагиатом. Он стал возвращать персу эти банки «от недовольных» целыми партиями. Перс скрепя сердце платил, банки возвращались. Перс платил. Банки возвращались. Когда перевалило за тысячу, перс, отчаявшись, бежал, бросив в гостинице пустой чемодан. Дядя заработал на этом деле три с половиной тысячи рублей. Сотню он милостиво подарил мне «на образование». Так делались в Баку арабские сказки.

Рыжий внимательно посмотрел на художника:

— Вот почему вы в футуристы пошли!

— Ненавижу мещан, — нелогично как будто ответил художник, правильно отгадавший ход мыслей своего спутника, — все ненавижу, что связано с предпринима-



тельством, с козлиным духом дяди Микаха. Большевики еще не выкурили его. И между прочим, мы с вами идем к одному такому — благополучно торгует вином. Двоюродный брат мой, бессмертный предприниматель, старший сын этого самого дяди Микаха.

## II

Семейство Гнуни встречало гостей в передней. Утомление двух дней было заметно в красноте рук женщин, припухлых веках. Шелк скрипел на хозяйке не обновленно, отекавшие от стоянья ноги тяжело выпирали из новых туфель. Так повторялось в торжественные дни из года в год. Зато гости проплывали медленно, как бы рожденные в своих нарядах, — для них это был день отдыха.

Сперва явились старушки, дальние родственницы. Пергаментные личики с высохшими губами знающе улыбались. Каждая мелочь этого дня, изгибы салфетки на скатерти — все переживалось ими ретроспективно, как бесконечная анфилада комнат, уходящих в прошлое: они вспоминали. Их крашенные длинные локоны висели справа и слева из-под красивого старинного убора — кисейной фаты, щедро сброшенной с головы на спину, и нарядного, низко на лоб опущенного обруча, похожего на кокошник. Сперва осторожно перед зеркалом, двумя руками, снимался этот убор, потом уже старушки сухими ручкамиправляли на себе черные шелковые кофты, брали за щеку хозяйку дома и подставляли ей тонкие свои чуть ослюнявленные губки:

— Ну, джан...

Маленьким членам дома давался ласковый подзатыльник. И старушки, выполнив благопристойно — и сразу как бы поставив ключ в этой музыке большого дня — все обряды, установленные обычаем, чинно рассаживались вдоль стенок, обмениваясь друг с другом улыбками, разговором скошенных глаз, кивком подбородка, указательным движением бровки, — они понимали друг друга, как птицы на жердочке. Хозяйка плавала от одной к другой. Гремя новыми сапогами, из ком-



наты и комнату бегал, выпуча карие глаза, взволнованный наследник виноторговца Гнуни. Ему было пять лет. Он не хотел ложиться. Девочка постарше, золоушка в доме, застенчиво пробиралась за ним, силясь его унять. Руки ее были растопырены, как если б она ловила ку-  
рцу.

После их старухами неожиданно и не во-время пришел местный молодой человек. Все в доме знали, что он коммунист, и чрезвычайно этим гордились. Представляя его, хозяйка держала губы особенным образом: так покашливают иные гордецы револьвер, прибавляя, что он не прижен. Коммунист служил в Наркомторге. Френч его был повешенек, ноги в коричневых крагах, неприятное и очень юное лицо с печатью неуловимого стиля, как в игре «передавай дальше», полученное и несомое дальше, быть может непонятное самому, но бережно охраняемое, рядовое выражение солдата: «Нам дано поручение, не машайте нам». Эта зарядка, видимая за десять шагов, решительно боролась где-то в его губах и шагу с наивной простоватостью крестьянского парня.

Он поскал глазами Назик и, не найдя, вынул из кармана папиросную коробку. Хозяева знали, для чего он приходит, и приличие требовало, чтобы Назик полomился в соседней комнате, сидя между стеной и комодом, а к мужчине вышел мужчина. Но так как мужчин еще не было, хозяйка вкрадчиво стукнула в стенку доктору Петросяну.

Стук этот был доктору Петросяну — стук в сердце. Уж полчаса он танцевал в нетерпении перед последней пациенткой, за ее спиной делая жесты душильника и гипнотизируя ее выкатившимися от ненависти глазами. Пациентка — высочайшая старуха, прямая, как тополь, с квадратным лицом, в богатой национальной одежде карабахской армянки: старый шемахинский шелк, синий и красный, расшитые рукава, атласная белая повязка на рту. Сын ее, маленький, утиного вида, забился за этажерку. Он вез свою мать с предосторожностями, как ящик с посудой, из самого Степанакерта. Старуха приехала вставить челюсть. Но как только доктор Петросян, выжимая сладенькую улыбку, подви-



гался к ней и двумя пальцами брал за повязку, старуха делала «хи», смешок стыдливости, и ладонью загоразживала рот.

«Сукины коты,— думал в отчаянии доктор Петросян по адресу большевиков,— сдирают с мусульманок чадру, а с нашей старой гвардии, черт бы их побрал, не догадаются наклейки содрать».

— Мамаша (вот дура), майрик, мы с вами два старика, чего там, рот ведь это... (Не под юбку, старая ведьма!)

Но старуха опять судорожно делала «хи», натягивала повязку, и большие желтые веки, похожие на клюв индюка, трепетали над остановившимися глазами.

Доктор Петросян, вспотев от усилия, махнул рукой утиному человечку: завтра, завтра.

Когда он попал, наконец, к соседям, там уже было полно гостей. Запыхавшийся доктор Петросян не успел купить торта. Но он столько раз покупал его мысленно, выбирал цвет, запах, размер, оплачивал его стоимость, что сейчас, входя боком в двери и привычно разглаживая усы тремя пальцами,— жест, за которым следовал общий поклон,— чувствовал себя по рассеянности человеком, приславшим торт и рассчитывающим на сугубые права.

Однако же вступление его прошло незамеченным. За чайным столом уже не было места. Озабоченная Назик, поднимая повыше стакан, осторожно пробиралась вдоль стенки. Стакан чаю предназначался красноносому старику, стариннейшему председателю пиров, местному маклеру. Когда и второй стакан проплыл мимо, доктор Петросян пробормотал «ага» и взялся за мочку.

### III

Художник и рыжий, покружившись по городу, чтоб миновать чай, вошли к виноторговцу Гнуни вместе с другими солидными гостями.

Уже с балкона спешно вносились в комнату прикрытые тарелки с закусками.

Уже три человека с мешками, стоя у лестницы, развязывали мешки и не спеша вынимали оттуда инстру-



мешки красивый старый тар, выложенный перламутром, киминчу, чей животик свисал с нехитрого деревянного столбика и только и ждал смычка, чтоб затрястись от плача; бубны,— их взял в руки седой, безбородый перс, изъеденный рябинами. Он жмурился. Музыканты, поклонившись хозяйке длинным поклоном, прошли в комнаты.

Художник не успел даже представить рыжего. На пороге Гнуни каждый приглашенный прихватывал с собой лишнего человека и проталкивал его обычно в комнату с улыбкой знающего секрет:

Ну-ка, поглядите-ка, угадайте-ка, кто сей?

Рыжий прошел таким способом с двумя профессорами университета. Профессора хотели полюбоваться национальными танцами и послушать сазандарей. Виноторговец Гнуни угощал лучшими в городе сазандаристами.

Пот уже музыкантов сажают — трех молчаливых и на жесты свупных людей — за отдельный столик. Назик поднесла им по стакану водки и поставила под ноги пораночку со сладостями, оставшимися от чая. И сазандаристы, оглядев и одоблив публику, молчаливо перелазиваясь, кладут пальцы на пыльное тело инструментов, пахнущих потом человека и кожей животного.

Под столами воцарился и поплыл гомон. Каждый радостно подавал голос, умножая бессмыслицу,— увертюра настраиваемых инструментов, веселая какофония без фальши, перед открытием занавеса. «Возьмите, пожалуйста,— благодарю вас,— да знаете ли,— это действительно,— что вы, что вы»,— так пищали голоса людей, настраивавших свои глотки. Опрокидывались стаканчики, подхватывался рукой длиннейший зеленый лук из тарелки, обрызнутый водой, выбирали тамаду— и выбрали красноногого человека, ежеминутно упиравшего подбородок в грудь, словно давившего тайную отрыжку.

Женщины стеклись к одному концу стола, любопытно меряя оттуда глазами идолов мужскую половину. Пальцы их унизаны кольцами, в ушах под начесами, сделанными у парикмахеров, искрятся камни, пухлые плечи припудрены.



— Молчание,— призывал тамада, выстукивая по стакану парламентскую тишину,— первый тост!

Хозяин, виноторговец Гнуни, встал.

И как только художник увидел знакомый треугольник с бородкой перышком, с запавшими к вискам козлиными глазами и этот пологий, расплоснутый лоб ростовщика в бородавках, он ощутил приступ тоски.

Оглянувшись на рыжего, он хотел было попросить его: «Держите меня и не давайте пить»,— но рыжий сидел уже не рядом, рыжий говорил с соседом, человеком низколобым, как обезьяна, а рядом с художником, неизвестно когда втиснувшись и плеща в него взрывом улыбок, сидела настоящая красавица. Полная, статная, шире и крупнее, чем он, чуть ли не вдвое. На ней не было ни единой побрякушки. Платье лиловое, шерстяное, с высоким воротом и длинными рукавами. Маленький паутинный платочек с надорванным кружевцем распластался на коленке. Щека румяная, в прядях каштановых волос. Мясистые ноздри, приподнятые,— так делают деревянных лошадок,— расширяли нос; но женщина хохотала, и ноздри хохотали с ней вместе, а над ноздрями, из-под спутанной челки, сверкали такие же, вывернутые кверху, раскрытые, бессмысленно веселые, дикие от веселья серо-зеленые кошачьи глаза.

— Кто такая?— спросил художник соседа.

Тот ответил шепотом, косясь на низколобого человека:

— Блондин в сапогах — разговаривает с вашим другом — это начканц гидростроя, а румяная — его жена.

Хохотунья услышала и тотчас же всем телом повернулась к художнику:

— Клавдия Ивановна Малько.

— Говорю и подтверждаю,— хрипло кричал, оставаясь на каждом слове, виноторговец Гнуни,— вы все, здесь собравшиеся, уважаемые и глубоко почитаемые мною...

Он по порядку перечислял заслуги своей жены, заслуги свои собственные, с каким рублем начал, до чего дошел, чем пожертвовал революции, не жалеет об этом, видит бог, и никогда не жалел,— хрипло, с вели-



ним усилием рождались слова, и чувствовалось, что инноторговец Гнуни в этот день хочет раскрыть себя обими руками, как старую банку с икрой, и тужится от неистовых усилий. Знакомая тошнота охватила художника.

— Условия для работы в высшей степени тяжелые, — говорил тем временем начканц, разжевывая кусок селедки.

Рыжий слушал его внимательно, положив возле тарелки большую спокойную руку с золотистыми волосками. Он почти не ел и не пил. Он и не посмотрел даже на Клавдию Ивановну. Его острый зрачок лишь рывком, боком, обежал стол, чтоб вонзиться в сутулого старичка, державшего на большом носу лопатой не твердое золотое пенсне, то и дело укрепляемое руками.

Старичок, неизвестно как очутившийся тут, был вчерашний «статистик» с биржи труда. Он медленно выбирал, шевелил губами, закуску. Вилка его внимательно кончалась в жестянках. Улыбка почти бессмысленного удовольствия не сходила с губ. На голом черене, блестящем под лампой, лежали одинокие белые волосочки. Изредка вдруг, расслышав что-нибудь, старичок издавал отрывистый хохот, откидываясь на спинку стула и обрызгивая соседей из беззубого рта, как из пульверизатора: хэ-хэ-хэ!

- А именно? — спросил рыжий.

Не знаю даже, как вам сказать, — начканц просисывал маринованную травку. — Например, кооператив. Жулики, бестии, то нет одного, то нет другого. Крыши в бараках текут. Культурных удовольствий — вот разве что сюда приедешь на пару дней... Так, раз в полгода. Клавочка — она скачет. А у меня людей нет, вот дядю везу... Дядя, Иван Гаврилович, бросьте, пожалуйста, наливайтесь!

Старичок в золотом пенсне вздрогнул и быстро опрокинул в рот рюмку.

— Вы полагаете, он справится?

— Н-ну, все-таки свой человек, хотя бы положиться можно...

— Двадцать тысяч чиновников на бюджет одной бывшей губернии, — не много ли?



Голос ворвался в их разговор, как иногда в трубку радиослушателя входит весть из другого мира. Два человека за столом напротив делились задушевными мыслями. Один — городской старожил в длиннополом, старого покроя сюртуке, чисто выбритый, галстук бантом и кантики пахнут чуть-чуть кардамоном, — старый галстук отлеживался, должно быть, на предмет торжественных случаев. Снисходительная усмешечка так и сквозила в каждой складке его красноватого лица склеротика. Другой, толстый и безбородый, с бульдожьей челюстью и бабьим обмякшим ртом, — когда-то бойкий присяжный поверенный на юге России, а сейчас выплывший нэпманом, хозяйчиком пуговичного производства, — приехал сюда, как он тихо признавался близким по духу, «отсидеться до лучших времен». Годы шли, а «лучшие времена» не наступали, отодвигались все дальше и дальше. И толстяк, нарочно ушедший со службы, избравший себе положение попроще, понеэзависимей, чтоб старые хозяева, возвратясь, оценили верность и благонадежность его, начинал спрашивать себя тайком, не сваял ли он дурака, и жаловаться, что его «обошли», что «с его способностями и образованием»... Он ответил с обидой:

— Суть не в том, что люди пошли служить. Служба — благородное дело. Хорошо еще, что не погнали гуртом картошку сажать или на рудники работать... Но посмотрите, кто служит! Без способностей, без образования, — а высший чин, ему учреждение вверяют!

— И все же двадцать тысяч чиновников на крохотную крестьянскую страну, — снова повторил благовоспитанный старичок, доставая откуда-то из дальнего заднего кармана огромный чистый, но желтоватый от старости носовой платок и внезапно сморкаясь в него так громко, что за столом вздрогнули, как от выстрела.

#### IV

Знаменитая зангинская рыба, в муке выпучившая стеклянный глаз, уже стала вчерашним днем, столько стаканов ей влито вслед, столько тостов, смешных и



исторных, плачущих, трогательных, растянутых, произнесено ей вслед. Из глубины откуда-то кричит хозяйка, и Назик, вытянув потную ручку из крепких пальцев жениха, улыбаясь ему черными глазками, вертлявыми, как птичий клювик из гнездышка, бежит отдаться в материнское распоряжение,—сейчас принесут на стол блюдо с молодым барашком.

Музыканты, разойдясь от вина и человеческих голов, преносходят сами себя. Тарист рвет косточкой струны своего голубиноного тара и жмурит седые брови, хорошо, дивно воркует тар под старой рукой. Надрыгается кяманча от плача, ходит ее живот танцующим животом негритьянки туда и сюда, покуда летает по струнам сумасшедший смычок кяманчиста. Рыбой безбородый перс осатанел над бубном. Глаза его точно вылились из орбит, нету глаз, пустые впадины стонут, истекая сладостным соком,—впрочем, это стонет голос рыбного перса из тонкого, растянутого трубочной рта,—как он поет, может сейчас оценить только он один. Нет награды такому певцу,—вздохи мечтателя Саади выслушают ему душу неиссякаемой негой, перс прижал к себе бубен, он поет белизну груди ее, воркование голоса ее, паутину волос ее, восход глаз ее,—и их, разбил бы бубен от иступленья певец!

Фу, что же это за такая за музыка!—не удержавшись, вскрикнула Клавочка.—Что же это за мяукающее такое, ведь это никакие уши не вынесут! Мой муж, Захар Петрович,—здешний, он тут родился, он даже отлично говорит по-армянски. А я никак привыкнуть не могу. Вот в Москве был концерт восточной музыки, то-то смеху было, один пел такой: «А-а-а-дын верблюд, ду-у-ругой верблюд! тре-е-е-тий верблюд!»

— Да нет же, Клавочка, я тебе говорил, это пародия! Это же шутка была!—воскликнул начканц.

— Никакая не шутка, если как две капли воды! Ой, уморил он меня!—Клавочка хохотала.

Между тем хозяйка и дочери быстро очищали угол комнаты для танцев. Они носили стулья и столики, ногами подталкивая рассыпанные бумажки. Как только освободился круг, из-за стола встала с протянутыми руками теща виноторговца Гнуни.



Старуха открывала танец. Опустив низко еще красивые веки, сжав губы, улыбаясь только наклоном щеки и уголком рта, старуха медленно плыла под музыку, то отставив пятку, то наступая на нее, и голова ее с неподвижным лицом то откидывалась, то клонилась набок. Чем дальше, тем ее медленные движения становились выразительней. Уже наклон головы как бы всю ее бросал вниз, подбородок вскидывался со старушечьей томностью, пальцы вытянутых рук играли, а за столом приостановили еду и ударяли размеренно, в такт, ладошами.

Сам тамада выскочил вторым. Перед плывущей старухой он вынырнул с лицом, так же величественно неподвижным, как у нее, прижал кулаки к груди и, пыхтя, выбрасывал то одну, то другую ногу, приседая.

Музыка дергалась все неистовей, присядка его учащалась, он то отставлял каблук, как бы глядя на него, то подворачивал и всем корпусом, то спиной, то грудью, наступал на томно кружившуюся старушку.

Это был танец любви, целомудреннейший из всех танцев в мире, без прикосновенья, без взгляда, без игры лица,— вся сила выразительности была в отброшенных вперед руках. Уморившись, старушка охнула и остановилась. Ей закричали: «браво, браво», приняли под руки, и сам хозяин с почетом повел ее, красную и улыбающуюся, на прежнее место.

Между тем тамада все отбивал каблуки, то выталкивая руки вперед, то прижимая их к груди. Багровый его затылок и красный нос блестели от пота. Теперь дочь хозяина, Пазик, вставши, вступила в круг.

Армянские девушки ходили в школу ритмо-пластики и хореографии. Они уже потеряли неискренность жеста. Пазик в легком платье, чулочках «виктория», с пышным черным вихрем волос, повязанных сзади алою лентой, сделала томный жест, словно сходила по черепкам с музейной этрусской вазы. Поднятая вверх кисть с растопыренными пальчиками театрально зывала: «Нет, нет, пожалуйста, не подходите ко мне!» Плечико, двигаясь, говорило: «Ну так что ж, мне-то какое дело?» Это была игра дрессированного зверька, и



чем горделивей поглядывал на дочку виноторговец, плативший за ученье денежки, тем скучнее становились профессора. Для них под защитой фруктовой вазы хонин поставил особую бутылочку финьшампаня.

Профессора смаковали, со скукой отворотясь от Ивана.

Два месяца не получаем жалованья,— говорил начиванц (он был в совершенном восторге от рыжего).— Если бы вы знали все эти интриги! Кричат «строительство», «строительство»,— простите, вы не коммунист? А какого черта, если сегодня дают деньги, завтра не дают денег, сегодня электрификация, а завтра электрификакосты! Иван Гаврилыч, что я тебе сказал, не бойся ты бога, ведь ты голову пропьешь!

Старик в золотом пенсне, говоря сам с собой и тряся плечи в мелком неумолкаемом хохотке, пил безостановочно все, что перед ним стояло: пиво, водку, красное, белое, дамский мускат, столовый уксус. Дрожь его пальцев, хватавших рюмку, вызывала сконфуженные улыбки соседей.

Националел до того, что с ним сидеть стесняются, и чтоб остановить старика, этого не догадались. Вылез из-за стола, Иван Гаврилыч!

Но Иван Гаврилыч махнул ему ручкой, как делают дорогим друзьям из окна вагона. И опять внимательно глаза рыжего с таинственной остротой обежали его, как бы увидя что-то, сокрытое от других. Уже он встал, словно желая подойти к старику и увести его, но тут вдруг Клавочка в преувеличенном ужасе схватилась и прижала к себе его руку. Глазами она показывала на художника.

## V

Бедный леф наклонил низко голову жестом бычка. Исподлобья глядел он на благообразного мещанина с красным лицом,— вот-вот бросится. Мещанин, обмахиваясь большим носовым платком, желтоватым от старости, с удовольствием слушал музыку, а сейчас, вежливенько, вполоборота поворотившись к танцующим,



даже привстал немного от удовольствия, показавши старомодные фалды длинного вороноподобного сюртука.

— Сюртуки!— пробормотал леф.

В его помраченных глазах мещанин двоился, троился. Колода карт выскочила из фруктовой вазы, опадая сотней длиннополых валетов и королей в сюртуках. Сюртучишки подбирались к столу, потирая руки, брови их сближены у переносицы, усы закручиваются над вывернутыми бледными губами, и носы их тоже закручиваются у ноздрей завитком, напоминающим не нос — револьвер с опущенным дулом. Сюртучишки подсмеивались, набирались в группы. Пальчиками разглаживали губы, приподымая рыжую щетинку усов, пофыркивали.

В ужасе леф отвернул голову и увидел дядю Михака, нет, не дядю Михака — виноторговца Гнуни. Он пробирался вперед через лес сюртучков. Его расплуснутый лоб ростовщика в бородавках сиял от пота. Желтые, опавшие к вискам козлиные глаза сияли тоже. Бороденка торчала перышком, и на худых плечах огородного чучела плясал пиджачишко,— виноторговец Гнуни находился в зените восторга.

Тогда художник Аршак пережил, как он потом нехотя рассказывал, превращение номер первый. Превращение номер первый заставило его дико схватить стакан и закричать через весь стол тамаде:

— Тост, тост!

Тост бедного родственника — это что-нибудь да значит!

— Художник, приезжий из Москвы,— милостиво объяснил соседям виноторговец. Все приготовились слушать, и в эту самую минуту пухлая рука Клавочки цепко схватила рыжего.

— Я увидел,— рассказывал позднее трезвый художник,— такую лестницу из апокалипсиса, лестницу баранов и козлов в сюртуках. Женщины и мужчины говорили «бэ-э-э». У женщин с невероятной быстротой отрастали курдюки. Они качали курдюками и брильянтовыми серьгами, их крупные глаза пучились, как кукиши. Блеянье их было хрипловато. Каждый смотрел



ни то, что делал другой. Их задние мысли были мне видны, как хвосты. Положительно, у всех была задняя мысль. Нет, я не могу этого описать. Уверяю вас: то, что и тогда сделал, это была прямо гениальная затея с целью самозащиты!

Он поднял стакан и провозгласил тост за дядю Ми-  
хак

Дядя Михак, по его словам, был жив-живехонек. Он поспришул в стране — кулаком, хозяйчиком. Он мастериг свои баночки на чужой кухне, он притаился, он нафарсился в защитный цвет. Дядя Михак — вечный предприниматель, он подтачивает социализм, сидя внутри его, как червь в абрикосе. Не доверяйте дяде Михаку, обнаруживайте его, выводите на свежую воду! Узнавайте его по женам его, — жены дяди Михака при социализме и при чем хотите разве не лоснятся от сытой жизни, не отращивают курдюки, не источают тонкий, змеиный шип завистливости? Узнавайте дядю Михакана по детям его — дети его разве не учатся пролезания, пролезанию вперед, заполнению лучших мест, получению лучших наград? Разве не учит дядя Михак детей своих шептать по-иностранному, стучать на фортепьянах, выдерживать во-время экзамены, оттесняя, выдвигая тех, кто ночами сидит, натруживая мозг, над книгой, кто тяжело трудился в детстве, кто еще не припал к учебнику? О, что за прибавку внесут они нам, Михак и потомство его, в цемент для здания социализма!

Именно здесь, когда одурманенные вином мозги слушателей смутно поняли несоответствие речи художника праздничной обстановке и прежде всего с грохотом отодвинули свои стулья вставшие профессора, вдруг пережил оратор превращение номер два и — шипнул!

Превращение номер два исходило от двух глазок, двух черных и внимательнейших глазок восьмилетней девочки, золушки в доме. Положив подбородок на край стола, она откинула головку и, приоткрыв рот, слушала его со всею серьезностью таинственного детского существа своего, удерживающего все силенки и помыслы на одном: как бы не заснуть и не быть про-



гнанной от неслыханно интересных и непонятных ей дел взрослых людей. И не то, чтобы уж очень хороша была эта девочка. Напротив, она была дурненькая. Гладкие без блеска волосы зачесаны в одну косицу, открывая неуклюжую раковину большого смугловатого уха, нос у нее был длинный и глазки близко сидели у переносицы, но все эти явные признаки сходства с виноторговцем Гнуни,— в миниатюре, в детском виде своем,—поражали в ней за душу хватающей трогательностью и неповторимостью. Художник вдруг прикрыл веки руками, словно хотел заплакать. Невыносимая жалость схватила его за сердце. Он представил себе: девочка сейчас умирает, она умрет; после того что он сказал, ей нельзя жить и вырасти!— и разве должна она вырасти в дядю Михака? Мысленным взором увидел он лица советских школьников, жадно и счастливо обращенные к нему, советскому художнику, может быть воспитателю,— к нему, новому человеку...

— О, гнусно! — воскликнул тихонько из-под ладони себе самому художник, трезвея внезапно от острого чувства раздвоенности.

Но уже никто и не слышал и не понял его. Невобразимый гам стоял сейчас в комнате.

— Гадость, что такое... безобразия! — лаяли басом профессора.

— Это же, это же, ах, ты! — задыхался виноторговец, распахивая за отвороты пиджак. — На серебряной свадьбе, про дядю, про дядю родного! Наелся, напился, и я ж его, как кровного родственника! Скажите, прошу, умоляю, стоит ли еще земля на воздухе, цел ли еще мир после этого?

Но больше всего кричал и тряс головой до бешенства доведенный доктор Петросян:

— Так люди в гостях не напиваются, приличные люди за стаканом вина сидят ночь и две ночи, поют, танцуют, речи держат, никаких безобразий, никаких оскорблений. Тут уважаемые граждане собрались. Все мы работаем, жены наши работают. Хозяйка ночь не спала в тяжелой работе, варила, жарила, готовила, а вы за ее же труды — на хлеб ее плюнули! Поражаюсь, молодой человек, новейшему воспитанию!



Но тут, во всеобщем шуме и гаме, рыжий (давно уже один на другим не грубо, но и не ласково оторвавшийся от себя цепкие пальчики Клавочки) резкими шагами подошел вдруг к неподвижному старичку в золотом венке, пощупал ему голову и крикнул:

Да поглядите же, ведь он умер!

### *Глава третья*

#### **УТРО**

##### **I**

В школе, где училась и маленькая Гнуни, урок открылся не совсем обычным вопросом:

— Ну, так как же, дети, с чего начинается утро в нашей стране?

Школа в старом, сильно потрепанном помещении, — крыльцо еще не достроено. Дует из-под дверей, где могла бы пройти старая крыса с выводком. Дует из окон, из щелей в стенах, из щелей в полу.

За окнами носится мартовский ветер. Облака в небе лежат комочками, точь-в-точь дешевый крем из мыльного корня для кондитерских трубочек. А за столбами, свесив вниз ноги в стоптанных чувяках, калошах, ботиночках поновее, три десятка ребят обоим полами мигали глазами в новую руководительницу.

Стирую они спровадили. Старая всхлипывала на уроках. Ее провожала в школу мамаша. В уши она окладывала вату, потом затыкала уши пальцами, кричала громче всех в классе и в учительской закатывала истерики: она оборонялась от детей.

Но сейчас, когда старая ушла, в классе нашлась ее партия. Эта партия острыми глазами следила за новой, готовясь поймать в ней тысячу смешных сторон, и с безошибочной зоркостью уже заметила: муфта!

Руководительница была пожилая, лицо квадратное, с большим лбом. Руки ее пахли дымом, не отмываемым ни водой, ни мылом, — многолетняя возня у железной печки. Одета она была без всяких претензий, но и



не плохо, а муфта из старого плюша, огромнейшая, сразу удивила ребят. Плюш на муфте до того обносился, что уже не осталось ворсинок, только желтели отполированные временем крупные редкие нитки. Подкладка висела из муфты подшитыми, но все же бахромчатыми кусочками.

Муфта была набита, и руководительница положила ее возле себя с такой осторожностью, словно там были все ее драгоценности. Оппозиция начала строить догадки: «живой кот, она его с собой носит», «новорожденный ребеночек», «теплые вязаные штаны», «чай с самоваром и булками».

Но тут предположения сразу были прерваны, и оппозиция против желанья взята за шиворот неожиданным открытием урока:

— С чего в нашей стране начинается утро?

Раскрыв рты, ребята принялись догадываться, куда маленький человек, встав с места, не выпалил: «С домов». Один его чулок, подстегнутый к резинке английской булавкой, неизменно срывался и скользил к башмаку, ножка была красная и вся в синяках и царапинах от бесчисленных походов. Для мальчугана — самого маленького в классе — дело было яснее ясного. Дом принимает людей ранним утром на службу, в школу, в лавку. С самого раннего утра он должен прибираться, готовиться, раскрывать ставни, протирать окна. Но объяснить это в двух словах, когда весь класс смотрит на тебя, не так-то легко. Мальчик ограничился кратким и загадочным:

— С домов! — Потом прибавил для девочек только еще одно пояснительное слово, закруглив его туманным жестом в воздухе: — Снаружи!

И сел на место.

Руководительница подождала еще некоторое время и собрала неуверенные ответы.

Девочки: «с умыванья и одеванья», «с доброго утра», «с первого урока», «с жаворонков», «с восхода солнца».

Мальчики: «с извозчиков», «с хлебной торговли», «с вокзала», — последнее означало, повидимому, вокзальные часы, по которым сверялись все часы в городе,



но тут же сосед шепнул: «Дурак, там московское время, а у нас собственное», — и представитель вокзала ответил свой ответ обратно.

Руководительница сидела в несомненном волнении. Она считала опыт на свой страх и риск, — старые руки ее слегка похолодели. Там, дома, лежали учебники, по которым еще велось преподавание, — и она была в ужасе от них. Авторы учебников, порывая со старой методикой, еще не овладели новой, — материал был сух, примеры надуманны, скучны и непонятны для ребят, а главное — в них не было живого дыхания новой советской действительности.

Эти книжки, казалось ей, ничего не могли дать детям: ни знания, ни настроения, ни образов, ни чувств. Они не будили мысль. Они портили детям язык, и родной и русский.

Как-то она проговорилась об этом ответственному лицу, заглянув по делу в его кабинет, и тот ответил ей скучноватым тоном, не глядя на нее и карандашиком небрежно по столу:

— Нельзя же в конце концов, товарищ. Мы получаем директивы, весь Союз учит по этим учебникам, там сидят настоящие головы, а вы — старый человек, дореволюционный педагог. Вас посылали на курсы, для чего вы переподготавлились? Ваша критика для нас не может быть авторитетна. Да, наконец, — он вдруг ожил, потому что вспомнил очевидное доказательство, — никогда еще дети не учились с таким наслаждением, как в наших школах. Что это доказывает? Если бы учебники были, как вы выражаетесь...

— Не в учебниках дело, — ответила она тогда с полным отчаяньем, — учатся, потому что новые, замечательные ребята пришли в среднюю школу! Учатся, потому что мы творим уроки, на севере по крайней мере. Там учителя работают, как артисты, от урока к уроку, наконец, там в виде реакции на зубрежку и лабораторный метод и дальтон-план, общественная работа, детям зубрить на дом не задают, все проходится в классе. А у нас четыре часа держат детей в школе, разлечься нигде, приучить к аккуратности нигде, шкафчик для калош нет, печей нет, через четыре часа



вторая смена в коридоре землетрясение устраивает, кончить не успеешь,— что мы им в эти четыре часа даем?

— Довольно, товарищ! — Ответственное лицо встало, раздув усы. Это случилось в его учреждении впервые. Отсутствие прецедентов делало его беспомощным. И старая учительница стала кочевать между биржей труда и комнатой, разделяемой ею с племянницей.

Она проговорила сгоряча. Ей совсем не хотелось потерять место, прослыть реформатором. Но уж так бывает с человеком: жест, вырвавшийся у него невольно, как парус, надутый ветром, становится вдруг его двигательной энергией.

Днем и ночью, лишённая работы, она собирала мысли и силы к сраженью. У стратегов — завоевание вселенной. У нее, старой учительницы Ануш Малхазян,— первый «лабораторный урок» для второй группы... И сегодня, побывав до урока в учительской, она уже знала, что препятствий множество.

Вот что означал ее немного дрожащий, но громкий и необычный для ребят вопрос: «С чего в нашей стране начинается утро?»

## II

Подождав ровно столько времени, сколько нужно, чтоб исчерпать «ответоспособность» класса, она мысленно осмотрела и как бы взвесила эти ответы. Они были именно такие, какими могли быть. Ни один не ответил: утро начинается с гудка на фабрике, с пастушьей свирели. Потому что фабрик в городе было еще мало, фабрики стояли недавно выстроенные, новенькие, редкие, как зубы во рту ребенка, небольшой группой за городским вокзалом. А земля пока не начала посылать сюда в столицу детей бедняков, тех, кто знает пастушью свирель и сам был пастушонком. Перед нею была детвора городских ремесленников, садовладельцев, мелких служащих. Но старая учительница знала — они будут расти вместе с ростом их родины; и надо пробудить в них любовь к ее росту, умение видеть и чувствовать этот рост и желание в нем участвовать.



... Ребята! — начала она звонко и дотронулась до муфты; таинственная эта муфта вдруг словно ожила, и люди усталились на нее в ожидание. — Вот представьте себе — это наша страна. Земля поворачивается к солнцу, и на этом боку, где у нас была ночь, наступает день. Солнышко начинает захватывать нашу сторону, сперва все самые верхние ее точки, потом то, что пониже и еще ниже. Ну-ка, ребята, ежели это у нас Армения, с чего солнышко начинает?

— С Масиса! — крикнул тот самый маленький мальчик, который раньше кричал: «С домов».

Руководительница улыбнулась ему. Положительно, он ей понравился.

— С Масиса, это верно, мальчик, но Масис ведь сейчас не в нашей стране. Ты не знал? Масис — в другой стране, в Турции. А у нас тоже есть высокие горы — Арагац и другие горы, пониже. Вот давайте-ка прогуляемся вместе с солнцем по всей Армении, посмотрим, как и с чего в каждом месте начинается утро.

Она все держала муфту перед собой, но ничего из нее не вынимала. Только в таинственные недра муфты извлекала ее собственная рука и по мере надобности придавала муфте нужные очертанья. Тут-то и оправдала себя старая муфта с желтовато-бурым обглоданным плюшем. Руководительница говорила, а вместе с губами двигались на столе желтые волны, то выпрямляясь, то горбась, и левой рукой подсобляла себе рассказчица, указывая на очертанья муфты.

— Вот на самом верху солнце лизнуло горные вершины. Там еще лежит снег. Это хороший снег, он поит Армению водой, дает пищу рекам, ведь Армения страна сухая, воды у нее мало, а без воды не вырастет хлеб, не будет травы, нечем кормить себя и скотину. Солнце пошло ниже, на горные склоны. Здесь нет деревьев. Нет и жилья. Но летом здесь густая, хорошая трава, а потому сюда выгоняют кочевники свой скот. Эти склоны так и зовутся пастбищами, яйлаками. На все длинное лето приходит сюда кочевник, и не один, и с семейством. За десятки верст, даже за сотни он пригоняет худой, за зиму отощавший скот, занимает кочевку, годами считавшуюся его местом. В арбах он



привозит одежду, посуду, семья его живет под арбой или в шалаше, и так он проводит все лето, пока не придет август, а с ним первые холодные ночи. Это место, дети, называется пастбищной зоной, и люди занимаются тут скотоводством. Пониже лежат их деревни, куда они возвращаются на зиму.

Тут муфта зашевелилась опять, как живая, и рука вытянула из нее коробочку — не коробочку. Когда дети, тесня друг друга, столпились вокруг столика, Ануш Малхазян уже расправила на нем модель крестьянской хижины-землянки. Два столба в земле, дверь между ними, внутри очаг и дыра в потолке для дыма; за перегородкой — помещение для скота. Одна за другой вынимались из муфты игрушечные вещички: прялка, дубовая люлька, чтоб сбивать масло, плетеные блюда, кожаные сандалии. Высоко живут скотоводы, далеко до них и далеко им до других людей, и вот они все, что нужно, делают себе сами.

— Но солнышко бежит вниз, вниз от скотовода, туда, где потеплее и где уже есть деревья. Это зона садов. Тут растут вкусные и полезные вещи: виноград, персики, абрикосы, груши, гранаты, грецкий орех, инжирное дерево, айва и много другого. Жителям здесь уже скот держать невыгодно, есть ему нечего, гонять его на пастбище далеко, а земля нужна под плодовые деревья и виноградники. У людей тут сады, много садов, и каждый ходит за своим садом, перекапывает, поливает, лечит, если деревья заболеют, чистит от гусениц и жуков. У каждого осенью больше плодов, чем нужно ему самому в пищу. Излишки он везет в город и продает; учится сушить фрукты, делать из винограда вино и водку. За проданное он получает деньги и покупает на них в городе все нужное: одежду, посуду, инструменты. Здесь люди живут теснее и больше знают, больше видели, чем скотоводы. Они часто бывают в городе, отдают своих детей учиться. Но солнышко бежит еще ниже, и вот оно доходит до ровного места. Тут, детки, горам конец. На ровном месте проведены железные дороги, лежат города, и земля тут родит еще более нужные вещи: она родит хлопок, из которого делают бумажные ткани, родит рис, пшеницу, ячмень, табак и



другие млики. Это зона хлебопашеская, и сейчас, ранним утром, крестьянин встает, чтоб чистить заржавевшие инструменты, готовить соху и борону, заготавливать для запашки зерно.

Эти крестьяне тоже часто бывают в городе, им нужны городские товары. Откуда же город достает все эти товары? Городу, чтоб люди в нем могли жить и питаться, нужно много хлеба, масла, овощей, мяса, а в обмен на это он должен дать крестьянам и садоводам инструменты, посуду, материю. Когда-нибудь я вам расскажу, откуда все это берется и как мы начали строить свои фабрики и заводы, а сейчас, дети, еще два слова об одном друге и товарище солнышка. Покуда оно бежало сверху вниз,— и он бежал с ним тоже сверху вниз. Этот друг и товарищ солнца — вода.

Здесь учительница передохнула. Уже давно в коридоре трещал звонок. Длинная фигура ее коллеги, Сатеник Мелконовой, изволнованно маячила перед дверью класса, являя стриженную по моде горбоносую голову к длинейшим из ушей побрикушками к замочной скважине. Длительные глаза Сатеник Мелконовой, всегда обведенные темными кругами, блестели от любопытства. Но в замочной скважине ничего не слышалось, кроме смутного гула голосов.

Муфта, как замученное животное, лежала сейчас на столике перед учительницей. Недра ее опустели. Тесьмочки безжизненно вывалилась. А дети, столпившись попрежнему и не желая расходиться, протягивали ей пальцы-руки. Каждый хотел дотронуться до нее и узнать, пет ли в ней еще чего-нибудь.

С завтрашнего дня, дети, весь класс делится на три зоны. По две скамьи, считая от стены. Знаете, что должна делать каждая зона? Завести у себя коллективное, общими силами, хозяйство. Я дам вам книжки, картинки, бумагу, клей, карандаши, и больше вы не должны ни о чем спрашивать, покуда не сделаете, что нужно. Пастбищная зона должна приготовить вот такую модель хижины, как у меня, кибитку, потом вырезать и раскрасить стадо — барашков, коз, коров, буйолов, ишаков, лошадей. Хозяйство должно иметь свою



конторскую книгу с подробной записью, из чего оно состоит.

Скотоводы в восторге запрыгали. Им досталось самое интересное. Но четыре передних скамьи громко запротестовали. Деревья надо рисовать в тетрадку, а не вырезать, учить разные названия, и домиков не клеивать, а читать гораздо больше,— так выяснилось при подробном объяснении учительницы. Четыре скамьи решительно не пожелали такой несправедливости. Они объявили, что не хотят двух других зон и присоединяются к скотоводам. Но скотоводы цепко держали модель хижинки. Пусть передние скамьи занимаются своим делом, у них в зоне и без того много людей.

Ануш Малхазян слушала, трепеща от удовольствия. На лице ее, впрочем, ничего не отражалось.

— Вы забываете, ребята, что про первые две зоны еще не кончено! У них будет машина, трактор,— когда подучитесь, я дам вам ее клеивать. Они будут ездить в город. Имейте в виду, я — город. Вот на этом столе,— она опять положила руку на муфту,— я устраиваю город со всеми городскими вещами. У меня тут базар будет, фабрика будет, мельница будет...

— И кино?

— И кино и аптека. Ну, кто хочет из двух передних зон перейти к скотоводам, пусть переходит. Решайте.

Соблазн ездить в город победил. И только один маленький мальчик с опущенным на башмачке чулком решительно встал и пошел к скотоводам. Городские дома надоели ему. Он захотел нарисовать лошадь и взялся вести в конторской книге лошадиные дела. Узнав, что его зовут Суриком, учительница дала свое согласие, и на большой грифельной доске было написано:

«Сурэн переходит из хлебопашеской зоны в пастбищную зону».

Дела было еще так много! Дети решили для каждой зоны выбрать цветной значок, чтоб не перепутываться на первых порах. А звонок в коридоре уже перестал звонить, перемена кончилась, и Сатеник Мелконова с вытянутым лицом проследовала в свою группу,



она длинно растягивая коротенькую по колено и узкую юбочку из трико. Встретив в коридоре подругу, она дернула плечом:

Сумасшедшая Малхазян делает с детьми, что изобретет ей в голову, она уже раз вылетела с места, теперь разведет тут свои затеи, и все группы начнут бунтовать, не дадут заниматься. Лабораторный метод, подумаешь. Все отлично знают лабораторный метод. Она не ездила дальше Тифлиса, что она может показать им нового?

Подруга ответила

— Посмотрим.

У Малхазян лежал еще наготове рассказ про воду, но она поняла, что сегодня о нем нечего и думать. Дети требовали подробностей про зоны. Тогда она разделила на группы свои записки, вырезки, газетные и журнальные статьи, фотографии, статистические отчеты — все, что собирала, разыскивала, списывала, срисовывала в течение долгой безработицы, и показала, как пользоваться этим материалом. Были выбраны писемководы, статистики и записки.

Тихо и торжественно возвращалась она домой. Муфта ее почти опустела. Руки лежали в ней и судорожно сжимали одна другую.

Пойдя во дворик, она увидела привычную картину развешенного и по-городскому тесного людского жилища. Нишу на трех веревках радиусами от балкона висело свежепостиранное белье. Толстая жена советского служащего кричала на продавца керосина, стоявшего со своими бидонами и кружкой. Чад от мангалки вместе с синим дымом возносился к небу, распространяя вкусный запах печеного мяса. Дети — их было пятеро — носились, крича, по дворику, и вылитая сильная помойка, стеклая на камнях, примешивала ко всему свой нудный запах гниющего пара.

Пало было пройти сквозь все это, добраться до крутой деревянной лестницы и долго карабкаться во второй этаж, где учительница Малхазян жила в одной комнатухе со своей племянницей, или, чтоб сказать точнее, ютилась у своей племянницы, инструктора Цека, товарища Марджаны Малхазян.



### III

Еще в дверях она увидела, что племянница ее стоит неподвижно посреди комнаты, свесив вдоль платья руку, сжатую в кулачок. На тетушкины шаги она как бы отмахнулась от глубокого раздумья и вскинула голову. Две пары глаз встретились. Обе женщины, привыкнув отгадывать друг друга с первого взгляда, тотчас же поняли, что каждая из них взволнована и у каждой есть многое на душе, о чем нужно рассказать другой. Но тетка была экспансивней племянницы, и по молчаливому сговору ей всегда принадлежало первое слово. Снимая в углу калоши, она уже говорила:

— Марджана, я сейчас провела пробный урок.

— По лицу вижу, тетя, что хорошо.

Учительница улыбнулась, повесила на крючок пальто и уже только после этого, со свежей влагой в глазах и в носу, к которому она поднесла теперь свежий от холода носовой платочек, подошла к племяннице, задушевно поглядывая на нее.

— Ты обедала? Садись к столу, я тебе все подробно расскажу.

Марджана села к столу, но ни тетка, ни она не прикоснулись к еде. Разгорячась, тетка перескакивала от одного предмета к другому. Grimасы коллег в учительской при ее появлении, мальчик с опущенным чулочком, злущие улыбочки Сатеник Мелконовой на прощанье, замечательный урок про воду, который она не успела провести, три зоны, коллективное хозяйство — все это сливалось в одно бурное повествование, украшенное взлетами жестикулирующих рук, похожих на ветки хвороста, пожираемые все усиливающимся пламенем пожара. Если б теперь заглянула незамеченной в комнату какая-нибудь из завистливых коллег учительницы Малхазян, то-то была бы она довольна и побежала бы пошущукаться с кем следует, выкатывая круглые глаза:

— Самоуверенность, дорогие мои! Что она воображает о себе, какие рожи строит! Ну и учительница, прямо шут гороховый, а про нас-то, про нас-то! Базарная торговка так не тараторит, как эта молчаливица затараторила.



Но иных свидетелей в комнате не было, а Марджана слушала и понимала не то, что лилось у тетушки с языка, а то, чем была охвачена тетушка, что она провела сейчас, в этот день своего торжества, после многомесячной подготовки, и от чего, как отработанный пар, струилась теперь ее разбуженная энергия потоком необдуманных слов.

— Не ухлокайся, тетечка, они тебе еще ножки будут растаптывать.

Да, учительница знала это. Но когда под ногой есть тигр, когда знаешь, что ты встал хорошо и тебя везет теперь, везет именно туда, куда надо, — мы еще поборемен, милый мой, за настоящее-то дело! Взяв вилку и ножик, она приподняла глубокую тарелку, под которой лежала вчерашняя холодная курица, и спросила Марджану:

— Начнем, а?

Минуты две они ели в глубоком молчании, и задумчивость Марджаны, легшая на ее красивых бровях тихим важным и ублаженным, все еще не разрешалась ни единым словом признания. Она аккуратно разжевывала нитку и глотала ее мелкими кусочками, почти не глядя на то, что ест. Пальцы ее подносили ко рту такие же маленькие корочки хлеба, и тетка видела, что в пальцах нет удовольствия от еды, нет его и в губах и что Марджана совсем не голодна, вернее, ужасно сыта, если не от хлеба, то от чего-то, что стоит у нее комочком поперек горла. Но не такая девушка Марджана, чтоб задавать ей вопросы.

Учительница зажгла керосинку, поставила чайник и собрала грязную посуду, выглядывая на полках, что осталось с утра непомытым.

Комната их служила предметом постоянной и всеобщей зависти. Два маленьких окошечка выходили прямо на плоскую крышу, укатанную песком и асфальтом. Здесь стояли два ящика с зеленью и зимние горшки с цветами, выставленные на солнце. Отсюда прямо им в комнату сияли две снежные вершины Масиса, сегодня окутанные клочьями тумана, предвещавшего ветер и бурю.



Чисто побелена была комната. Маляр в свое время осведомлялся у них, как сделать побелку, просто или с мотивчиком, и, увидя мельком лицо Марджаны, не ответившей на вопрос, вдруг про себя решил сделать с мотивчиком и сделал: под потолком, опоясывая комнату, шли золотистые разводы, похожие на павлиний хвост. Краска, правда, скоро вылиняла, но все же розовое сияние осталось под потолком, где у других людей скапливаются паутина и копоть. Тетка спала на кровати, племянница на красивой тахте, покрытой «мутаками» — длинными валиками подушек из полосатого красного шелка.

Да, милейшая у них комнатка, надо сказать правду. Тетка подумала, а племянница произнесла, и опять мысли их совпали на одном предмете.

— Тетя Ануш, останешься ты теперь одна в этой комнате. Я утром узнала в Цека. Меня в уезд посылают.

Марджана не сказала, что этого перевода в уезд она добивалась сама. Тетка сильно подозревала это. Сказать по совести, лучшего выхода сейчас нельзя было бы придумать. Сердцем, смотревшим на людские страсти с высоты своего женского, давно отжившего жизнь возраста, Ануш Малхазян представляла себе положение племянницы совсем с другой стороны, нежели это сделала бы женщина помоложе. Ей казалось, что самолюбие во всей этой истории — главное. Марджана болезненно горда; ее ударили по самолюбию, оскорбили, и надо теперь, чтоб зажила рана.

— Этот тип скоро раскается, Марджик, вот увидишь!

Что-то молнией прошло по лицу девушки. Не следовало так говорить.

— Ты меня прости, дорогая. В уезде, конечно, тебе больше будет работы, чем здесь. Таким, как мы с тобой, в деревне больше дела, чем в городе, говорила и повторяю это. Вот у меня эти ребята; ведь все, что я им в школе дам, семья истребит. Ведь это чьи дети? Мелких собственников, кустарей, лавочников. Когда еще у нас тут рабочий класс подрастет! А там, в уезде, — завидую тебе, — будешь целину поднимать. Каж-



дый раз, как ты по деревням ездила, такая возвращалась свежая, бодрая, любо было глядеть на тебя. Нет, прино же, завидую тебе...

«Прочем, что же это говорю я ей, пошлости каких», — перебила она себя мысленно. И горячо колыхнулось внутри: «Ребят своих обидела, ребята хорошие. Как у нее всегда бывало в такие минуты, она схватилась за свою муфту, валявшуюся не на месте, и села с муфтой к себе на кровать.

— А знаешь, Марджик, удивительный это был тогда человек на **Марже!**

И на этот раз старая учительница говорила из глубины души и без всякой задней мысли:

— Помнишь, я тебе рассказывала, рыжий, в разбитых очках? Странно, право, как взгляну на муфту, вспоминаю его. Удивительно он про мою муфту сказал. Не похожий такой человек, вот бы тебе с кем познакомиться!

Они обе лежали теперь и отдыхали, — одна со своей муфтой на кровати, другая спиной к ней на тахте. Учительница уже забыла про невзгоды племянницы и со счастливым улыбкой повторяла самой себе интересный урок про воду: как бежит вода сверху и как люди пользуются ею. Сперва только для питья, пьют и скот поят; потом для садов, огородов, полей, но сады, огороды, поля не могут сами подойти к реке, надо, чтоб вода подползла к ним, — и люди научились делать каналы.

Как делаются каналы, плотины, шлюзы; как человек регулирует пропуск воды сквозь шлюзы; как деревенский «сторож воды», мираб, распределял ее поровну, кому сколько нужно, по маленьким канавкам — арыкам...

Но люди, поделив землю, никак не могли поделить воду. Одному мираб недодаст, другому передаст. Стали миробы, как попы, брать потихоньку за воду подарочки, кто больше даст, тому и воды отведет больше... Рассказать, как в старину были смертные бои между деревнями, как, бывало, крестьяне убивали друг друга из-за воды. А вода течет и учит: нельзя меня делить, я слитная, единая, будьте и вы слитные, тогда всех напою равно. Расскажу детям, как вся нижняя зона органи-



зовалась в артель. Не стало теперь прежних мирабов: отдали мираба в музей...

А потом еще дальше про воду: как люди вздумали использовать ее силу, сделать, чтобы она служила им своим движением. А для этого нет лучше армянских речек, потому что это сильные речки, они текут с высоких гор вниз... Тут маленький рассказ про мельницу, и можно даже сделать модель мельницы, поставить ее в школьном дворе на канаве... Колесо, турбина, главный принцип...

Потом экскурсия на гидростанцию, понятие об электричестве.

Ах, смутно, неясно знала сама Ануш Малхазян про электрическую энергию и про то, как строятся станции. Это было ее самое слабое место. Вздыхая, она вспоминала, как выискивала всюду книги и не было таких книг. Как спрашивала у спецов, и не умели ответить спецы, не находили простых и образных слов, того, что нужно ей и детям.

— Марджик, ты в какой уезд поедешь?

Но племянница ничего не ответила и даже не двинулась. Должно быть, заснула. Руки, ноги и всю себя она подобрала под вязаный платочек, растянутый над нею, как панцырь.

#### IV

В это же самое утро Клавдия Ивановна Малько вышла из дому, чтоб исполнить поручение мужа своего, начканца.

Клавдия Ивановна шла мелкой поступью, притоптывая каблучками. К большому ее телу очень шло мелкое — и дробный шажок, и посаженная у губ искусственная маленькая родинка, и мелкие зубы во рту, и кудряшки по самые брови, и особенно эти две открытые дырочки ноздрей, поднимающие нос вверх, как у деревянных лошадок. Даже в полном одиночестве Клавдия Ивановна суживала зеленые глаза в постоянном смешке и хохоточке, словно невидимые руки щекотали ее где-нибудь подмышками. Поводя пышными плечами и рыбой плескаясь в неудержимых, щекотных улыбоч-



них, постукивала она по мостовой, замечая, как одеты идущие впереди женщины и что выставлено на окнах. Мысли ее на улицах были всегда одинаковы: «вот бы мне такое пальто» или «вот бы мне такого мужчину»; теплеющие зеленые глаза все пробовали на себе, приближали, снимали, высчитывали.

Муж зарабатывал так мало, прибавки его считались рублями. У Клавдии Ивановны не было дорогих платьев, не было вкуса, не было портнихи. Она душилась дешевыми фиалками, напоминавшими валерьянку, разбавленную китайским чаем. И все же, когда она проходила, большим своим телом рассекая воздух и плывя в волнах **требешком** с мелкими камушками, — шланна Клавдия Ивановна не носила ни зимою, ни летом, — от нее как бы шел теплый ветер, необыкновенно душистый теплый ветер, обласкивающий, опархивающий, обогащающий встречающих. Ежась в приятном холоде, оглядывались ей вслед мужчины. Отлично понимая силу слова и слогана являлась ею, Клавдия Ивановна ~~встречаясь~~ на встречных глаза, которым на гидро-стреле, где случался муж ее, завистницы дали прозвание ~~облака~~.

Город, обдуваемый ветром и пылью, дыбился некачественным туфом плоских построек. Казалось, не было в нем защиты от ветра и пыли, и плоские серые постройки, выливаемые нагорьем под самое небо, пузырями лопались от разреженного, пустынного воздуха, беспрепятственно в них разгуливающего.

Кутаясь в пальто, пряди каштановых волос по ветру, Клавдия Ивановна вступила под сень базара и приходила его, ища, где посуше. Как и множество других людей, ей подобных, она видела тут лишь место, где иногда можно купить дешево и все есть, что нужно, а иногда — ничего не найти, как вот сейчас, когда подорожал хлеб. И винила то продавцов, то большевиков. Между тем базар, откуда рассасывались по городу в плетенках предметы ежедневной необходимости, открывал думающему человеку интереснейшие вещи.

На корточках, свесив тяжелые ватные штаны, у высоких корзин и кувшинчиков сидели армянские и курдские крестьяне, и загорелая их кожа на щеках, обтяги-



вавшая косточки скул, блестела. Глубокими впадинами мерцали натруженные, красноватые от дыма глаза; выражение их было ново для наблюдателя. Еще недавно по одному взгляду могли вы определить степень доверия, точнее — недоверия сельчанина к городу. Защитная маска простоватости, под которой — ответная настороженность: если ты «не обманешь — не продашь», то и я обхитрю тебя, притворяясь обманутым. Но сейчас исчезла, оттаяла настороженность. Сельчанин вскидывал на вас, городского, глаза с открытой мыслью в них. Он видел большую пользу от города. Он узнавал своевременно, чем живет мир, что совершается в стране, в республике, в уезде. Газета приходила к нему, в глухие места, вместе со звоном колокольчика местной почтовой брички. Город вел большие дела, он строил, он втягивал сельчан в работу, и с новым чувством шел сейчас на базар крестьянин, погоняя перед собой ослишку с курджинами, шел полный вопросов, любопытства, ширившей сердце мысли, что время — движется, не стоит на месте, подходит перемена, — еще неизвестно, какая она, перемена, но для него, для бедняка, хуже не будет, а может, и лучше будет.

Артели тогда еще можно было пересчитать по пальцам. Но уже многим в деревне, кто научился читать газету, ясно было, что городу мало хлеба, что не угнаться с крохами хлеба, добытыми на клочках земли дедовскою сохою, дедовским серпом, дедовскими цепями да досками на гумне, влекомыми потною лошадьёю, чтоб обмолотить зерно, — не угнаться всем этим за новою городской силой, растущими фабриками и заводами, учреждениями и домами, силой, не знающей удержу в росте. Кулак в эти дни осмелел и воспрянул. Он читал своими глазами, слышал своими ушами, — а слухом, как водится, земля полна, — что в далекой Москве нашлись такие, по кулацкому разумению, «мозговитые» товарищи, которым ясно — без него, без кулака, не обойтись советской власти. Придет она к нему, кулаку, на поклон. Товарный-то хлеб-батюшка у кого? У него, у кулака, под спудом. А без хлеба какая тебе, скажем, индустриализация в городах? Вот и кланяйся, больше-



вик, кулаку: не бедняк-разиня, у которого ячменная лепешка да пустое лукошко, выручит тебя из беды!

Но, с другой стороны, и бедняк в деревне стал больше думать. Он тоже знал свое. Вон абаранцы, самая беднота в республике, начали на ноги вставать, а чем? Артельным молочным хозяйством, сыроваренными заводами, построенными советскою властью высоко в горах. Раньше, бывало, толпились они, абаранцы, у глиняного забора на базаре, за гроши отдавая себя в батраки, куска хлеба зимой не видели, траву с соломой жевали. А нынче не спускается вниз абаранец, и туговато кулаку с наемной силой. Знал армянский крестьянин и многое другое из газет. На помощь артельному, коллективному хозяйству отпустила советская власть в одном только нынешнем году свыше шестидесяти миллионов рублей. Значит, кулацкие-то защитники не очень в чести в Москве. И внимательно следил в деревнях крестьянин за тем, в какую сторону повернет перемена...

А покуда базар жил своей жизнью. Старухи курдючки продавали мацун, кислое молоко буйволихи, и деревянными от старости, негнувшимися пальцами обирали у горлышка кувшина остатки белой жидкости. Хлеб был дорог, и все вздорожало,—тихие куры со связанными вместе лапами, равнодушные к смерти, свисавшие у продавца головами вниз; белое буйволиное масло, обернутое крупным капустным листом; мед в кадушках, бараний жир, даже пряности за отдельную стойкой. Сколько их было тут, пряностей, еще неведомых на далеком Севере: красные стручки перца, мелкие, высохшие и связанные в ожерелье; плоские, овальные семена тмина, мягкие и черные; серые корешки имбиря, о которых говорил продавец покупателю, непременно взявши из кучки один корешок и начав его со вкусом прожевывать на языке, что корень этот, в союзе с натопленным маслом или бараньим жиром, излечивает от грудной простуды, кашля и насморка; сухая травка рехан, заготовленная с осени для того, чтобы сдобрить похлебку, а рядом — сухие стебли тархуна, мяты, толченый чебрец, красная пудра толченого барбариса, черный настой гранатного сока для шаш-



лыка. Все это с каждым днем дорожало. У розовых луж возле прилавка, за которым ловко кроил мясник баранью тушу, дрались, рыча, собаки. Городские амбалы — носильщики с деревянной приступочкой за спиной — ловили покупателей. Поймав, они накидывали приступочку на спину, подхватывали на нее свою ношу и, поддерживая ее толстой веревкой, не торопясь, разбредались по городу.

«Нет,— думал обыватель, шагая по лужам за своим амбалом,— где-то там, в России, может, и установился новый порядок. Но у нас он не удержится. Верен народ старому обычаю. Силен обычай. И чем, скажите, плох этот обычай? Авось как-нибудь стороною обойдет время наши места...»

## У

Не думая, не гадая, что в этот час утра к ним шествует Клавдия Ивановна (художник уже позабыл, как пригласил ее вчера в гости и даже нарисовал на бумажке дорогу в «мастерскую»), оба иовых приятеля сидели на своих сенничках, собираясь идти на биржу.

Художник был хмур и заспан; хмель тяжело бродил в нем, воспоминания мучили его.

Рыжий давно уже встал, умылся в арычке и даже — к тайному раздражению Аршака — проделал все утренние упражнения шведской гимнастики. Он успел, впрочем, и в городе побывать, запасася хлебом, куском овечьего сыра, вскипятил воду в кастрюльке.

Но художник, хоть и прожил пять лет в Москве, не жаловал утреннего чаю, особенно с похмелья. И рыжий, сидя на сенничке, один прихлебывал из своей жестянки. словно по сговору, оба молчали о вчерашнем. словно по сговору, оба, — как если бы и не было вечернего пира у виноторговца, — продолжали свой прежний разговор об искусстве.

— Натуру вам нужно,— рассуждал рыжий, откусывая хлеб с сыром.— Приглядитесь к живой натуре. Меняется человек, меняется выражение человека. Тут и подсматривайте современность.

— Очень милый совет, если принять во внимание,



что за натуру надо платить по рублю в час. Кроме того, натуру, которую я оплачу, натура профессиональная — столько же изменилась, сколько эти вот камни. Они выдают свое выражением, с каким у нас в Строгановском в двадцать первом году сидели. А может, и в девятом и в восьмидесятих прошлого века.

Очень я ходил пешком, — продолжал как ни в чем не бывало **рыжий**, отставив кружку, — всю страну не ходил. Очень **красив** народ, когда наблюдаешь его в работе. Труд **тяжкий**, раньше сказали бы — каторжный. В Даралатагизе **видел**, как землю от камней очищали, — очень похоже на выкорчевыванье. Подкапывают со всех сторон камень, ломом подпирают его, а он в землю вживался, прочно сидит, как корень, — и когда поднимут его, земля **гулко** так крикнет, словно зуб вытащили. Этих камней сотни, тысячи на гектар. Я наблюдал выражение лиц. Нет **чувства** тягости у людей, хотя в застывший день повисла, **чувство**, что на себя работают.

А **замечали** бы, как советскую власть чествуют. Нет, они не чествуют. Или еще одно — грация. Народ удивительно грациозен, те, кто в горах живет. Видели вы, как они прыгают **из арбы** буйволу на ярмо и сидят там на корточках, **спиной** к дороге, лицом к арбе? Попробуйте так — не сумеете. Вот если б я был художником, я подсмотрел бы это новое выражение в народе, то, что еще словами нелегко объяснить, нужных слов, пожалуй, не подберешь, а художник без слов передает, он зажжет это, поймает, задержит, покажет другому, заставит заметить, задуматься, — и это будет великое искусство. Будь только у меня талант, ручаюсь...

За кого это вы ручаетесь?

В отперстии глиняного заборчика стояла, улыбаясь, Катюшка. Она была в восторге, что, наконец, разыскали их и что **рыжий** тут тоже. Кошачьи глаза ее с любопытством бегали по пыльному дворику, безглазой коробочке сырца, земляной крыше и веревке на дворе с висющими штанами в полоску. Вскрикнув от ужаса, художник выбежал из дому, как заяц, подхватил нечистые штаны и опять молниеносно удрал в дом.



— Ха-ха-ха,— хохотала Клавочка, закидывая голову,— вот чудак, чего вы стесняетесь? Чудак человек, да что, я штанов не видела?

Рыжий вышел навстречу, учтиво поклонился ей и отодвинулся, давая дорогу. Он указал на бревно жестом, каким придвинул бы мягкое кресло. Ветер вздымал пыль и колот щеки. Но гостей принимать приходилось на улице.

— Не совсем понимаю,— сказал рыжий.

В Клавочке так и метнулась странная, ей непонятная радость. Клавочка раздувала рваные ноздри. Вот он стоит перед ней, этот большой, спокойный, учтивый человек с разбитыми стеклами в очках, с рыжими вьющимися волосами над крутым лбом, и она опять видит его замечательный твердый подбородок, его крепко сложенные красивые губы и эти его руки — Клавочка видела их во сне, честное слово.

С дрожью обрадованного животного она выхватила из кармана сложенную записку и тотчас же отвела руку за спину.

— Чего не понимаете?

— Как вы могли нас разыскать?

— Да я бы с завязанными глазами нашла! Ведь он мне вчера план нарисовал, вы не видели,— она кивнула в сторону домика,— описал, куда идти, сколько шагов, где завернуть, где повернуть. Рекомендовался знаменитым художником, обещал с меня портрет написать. Рисует он? Вы мне правду скажите!

— Товарищ Аршак Гнуни большой художник,— серьезно ответил рыжий.

Но художник уже вышел из домика, приглаженный, помолодевший. Глаза его сияли: он никак не ожидал. Он не верил себе.

— Клавдия Ивановна, Клавочка, молодец, что пришли. Умница. Я вас писать буду. На выставку попадете.

— Ну-с, я иду на биржу...

Но тут, прерывая болтовню лефа и кидаясь в сторону рыжего, Клавочка вдруг вытянула из-за спины руку с запиской:



Куда же вы? Досказать не даете. Час целый хожу по кинциям, туфли топчу, а вы уходить? Муж мой **ним** записку написал, вот нате, читайте. И если вы только задумаете уходить, я тоже уйду. Любезные каки. Дама к ним в гости приходит, а они!

Рыжий развернул записку. Он перечитал ее дважды. Находясь гидростроя, напоминая вчерашний разговор, просил «**выручить** и принять место архивариуса, место, конечно, **маленькое**, жалование гроши, но если товарищ, насколько он понял, безработный, интересуется **«электрофилакостью»** — выехать надо сегодня же, дороги и **подъемные**»... Необходимость идти сегодня на биржу неожиданно отпала. Осталось собраться, на что рыжему **требовалось** пять минут.

— Муж велел спросить, как вас зовут, — ах, неужели вы **оглашаетесь**? В дыру такую на шестьдесят рублей? И ужасно рада, если вы **соглашаетесь**. Оригинально как, имени-фамилии не знают, а на службу перу. Еще жена муж спросить, записаны ли вы в **книгу**.

— Он агитатор, — сказал деф.

Нока рыжий читал записку, а Клавочка юлила, худощавый установил **самодельный мольберт** и, натягивая платно, ходил вокруг Клавочки, приглядываясь к ней **истеричными глазами профессионала**. Он чувствовал холодок и покалывание в пальцах — предвестники работы. Великое нетерпение овладело им. Шагая туда и сюда, идя к плечу, **заглядывая сбоку, спереди, сзади**, он как бы брал Клавочку на прицел, не вытерпел, выхватил гребень с камушками, вскрикнул с восторгом «**гадость кокая**» и назад воткнул.

Ай! — рассердилась Клавочка. — Ведь этак **сломать** можно. Только какой же он агитатор, если его на конторскую должность приглашают. Ну, что это, вот теперь он уходит куда-то, и так и не ответил. Все вы с нашими глупостями!

Клавочка, сядьте. Займите позу старого мира. Рыжего вы не трогайте, рыжий абсолютно для вас **недостижимая мечта**.

— Вот еще чепуха-то!



— Недостижимая, говорю вам, мечта. Миф, идеал. Вы на меня обратите внимание, я восточный мужчина... Сидеть надо терпеливо. Вся суть в терпении. Это еще что там у вас за дрянь на щеке, чем вы ее намазали, чернилами, что ли?

— Родинка,— неуверенно сообщила Клавдия Ивановна.

Рыжий ушел все-таки. Правда, через неделю она поедет к мужу и увидит его. Но сладостное возбуждение, похожее на наркоз, проходило, как тепло от солнца, зашедшего за тучу... Впрочем, настоящее солнце именно сейчас и выглянуло, залило дворик, татарский домик, Клавочку, ее каштановые, стоямя начесанные волосы и бархатную куртку художника, а вместе с солнцем неожиданно воротился рыжий.

Он даже как будто прибежал в странной поспешности. Бежать — это не шло к нему. Сунулся куда-то за стену. Художник подмигнул Клавочке, почесал себе углем щеку.

— На часы прибежал посмотреть!

— На часы?

За двориком на ровной площадке стояла в земле одинокая палка, и тень ее ходила по вычерченному кругу. Арно Арэвьян устроил солнечные часы, потому что других часов у них не было. Поглядев, он крикнул художнику: «Четверть двенадцатого» — и опять ушел, на этот раз прочно.

Непонятные чувства мучили Клавочку. Солнечные часы доконали ее. «Независимый какой,— думала она про рыжего,— часы палкой устроил!»

— Но все-таки вы объясните, почему агитатор?

Художник вглядывался, отступал, пыхтел. Как всегда при работе, страшная сосредоточенность мешала ему взяться за дело, и он вынужден был отводить ее в десятке лишних движений, во вздохах, подобно тому как выпускают из машины чересчур конденсированный пар. Вот, наконец, главный толчок урегулированной энергии. Пальцы бросили уголь, схватили кисть.левой рукой искал художник нужный ему кусок разбитой палитры. Глаза приняли страшное выражение, губы приказывали: дыц, ни гу-гу, сиди теперь смирно!



Через четверть часа Клавочка, втянутая в круг его напряжения, ослабла и мелко зевнула. Ей не терпелось, что там такое нарисовал художник.

По умогченному и все еще очень бледному его лицу, Клавочка видела: он счастлив и доволен. Теперь можно было поговорить. Не отряхивая мелких капелек пота и вдруг ощутив учащенное свое сердцебиение, художник как бы подбежал к старту.

Первая волна творчества, огромный пережитый подъем, следила за нст, но уже он знал, что вещь будет и начало положено. Теперь его движения сделались более свободными, не страшно было упустить, потерять. «И работаю, работаю,— мельком бросилось в голову,— в сущности есть только это в мире. Как давно этого со мной не было. Слава богу, слава богу!»

— Ну-е, Клавочка, можете пошевелиться. Что вы такое — еще неизвестно. Выражения в вас, о котором явней сюжет, — нема. Нету. Не может быть. Но зато подборка получается. Старый мир готовится в атаку. Выход, товарищи! Внимание! Осторожности! Здесь угроза. Выход к бактериям. Тоже искусство, черт побери!

— И сидеть не буду, если вы такие гадости бормочете! Вы меня за кого принимаете? — вдруг всполошилась Клавдия Ивановна, густо, по-настоящему краснея от самодлюбия. — Вы привыкли, наверно, со всякими натурщиками. Я вот мужу, Захар Петровичу, скажу, он нам рванцу объяснит.

Она даже попытку сделала встать, хотя на бревне под солнышком было сейчас так уютно и успокоительно. Художник кинулся к ней, удерживая ее локтями. Она пофокусничала еще, повертела плечом, потом любопытство взяло верх. Ей захотелось узнать, сколько он зарабатывает. Нисколько? Вот новости! Значит, рыжий праврал, что он большой художник. Ах, этот рыжий! Станный мужчина. Одет плохо, пиджак, верно, на американке купил. Очки разбитые, полтинник стоит новое стекло вставить, — даже полтинника у человека нет. На улице с ним показаться совестно.

Вы в рыжего врезались, Клавдия Ивановна, вот и чем дело.



— Я?! В рыжего?! — Она ахнула от возмущения и тотчас же опрокинулась в мелком бисерном хохоте, словно рванула веревочку и бусы посыпались.

Хохот дал ему новые мысли. Кисть заплесала в руке, и опять страшные глаза, тяжеловатое сопение, опять шаг к полотну, шаг обратно, и эти творческие, переносящие взгляды от натуры к картине, от картины к натуре, человеческая камер-обскура, весь вздыбленный, взъерошенный, вытянувшийся магнетизм безошибочного жеста. Тише, тише, он заклинал и молил ее глазами. Вернее, он не обращал на нее никакого внимания. Его сопение раздражало Клавочку; как будто нельзя сдерживаться или сопеть тише, про себя!

Она вдруг вспомнила далекое прошлое, восемь лет, десять лет назад, свою первую беременность и первый аборт. В родильной, куда привели ее дожидаться, стояла женщина в рубашке. Она держалась руками за железную спинку кровати и как-то странно изгибалась всем телом. Живот у женщины ходил ходуном.

— Рожает,— объяснила санитарка,— садиться не желает, всяк по-своему.

Худое лицо женщины блестело от пота, волосы спутаны и мокры на лбу, выражение лица рабочее, как вот теперь говорят — трудящееся, и она, изгибаясь туловищем, деловито сосредоточенно сопела. Глаза ее скользнули по Клавочке, и видно было, что глядят мимо, во что-то внутри себя, в глубину производимой работы. Вот если б Клавочка умела мыслить и обобщать, она задумалась бы над этим сходством. Но ей было понятно только внешнее.

— Сопит, как роженица!

Досадно и как-то брезгливо сделалось Клавочке, как тогда, при взгляде на рожавшую женщину. Вот она ни разу, ни разу не довела себя, ни разу не допустила себя до родов,— фигура осталась и здоровье,— здоровья не занимать-стать, а дураки трудятся, выламывают нутро и...

Тут художник, весь побледнев, скосил глаза на нее. Последняя тайна вещи, неуловимое выражение, сущность вот этой машинки с дырочками, музыка флейты, душа Клавочки, идея, содержание, название картины,



любопытство последней тайны предмета, установка на цель или на причину, атака старого мира,— все равно, черт побери, как назвать, все равно, лишь бы схватить это, перенести, оторвать ему голову!

Взвешенный, как петух, почти прыгая, бешено возмущенный художник на мелькнувшее в Клавочке выражение, и яростно забегала кисть по полотну, а мурашки побежали по позвоночнику.

— Ах, мать честная! — взвизгнул он вдруг тонким голосом, интуитивнейшим тоном. — Довольно! Не переборщайте!

Вскрикнув восторг, схватил с мольберта картину и побежал в домик. Когда возвратился, вид у него был обмороженный, распаренный, руки он вытирал тряпочкой, жирной от скиннидара. Глаза сияли обыкновенным, всегдашним своим блеском, и шутком гороховым он захопотал вокруг вставшей с бревна Клавочки:

— Великая вещь — натура, Клавдия Ивановна. Глазница, что дали поработать. Кончу картину, конфеты вам подарю.

— Вы лучше что-нибудь покусочечней поднесите. Конфетам и боа вас кушать можно! — практически рассудила Клавочка.

### *Глаза четвертая* **ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА**

#### **I**

В облаках пыли подъезжали к вокзалам линейки, фургончики и деловитые комиссариатские машины.

Так часто ездили тут одни и те же люди с одними и теми же портфелями, что носильщики знали их всех в лицо.

Путь из столицы Армении в Грузию, почти единственный железнодорожный путь на всю республику, напоминал по бесчисленным отъездам и возвращениям, по шмыганью всех сортов людей, обходившихся без чемоданов и соскакивавших со ступенек вагона торопливо и рассеянно, словно сходили со ступенек жилья свое-



го, путь этот напоминал отчасти железнодорожное следование портфелей и командировок между Москвой и Питером.

Изредка ругал какой-нибудь новичок несносный поезда́й состав: «Что же это у вас вагонов приличных нету?» Или же пожимал плечами на неуважение кондуктора к ночному времени, потому что входил кондуктор в любое купе и дергал за любой предмет, будь то нога или рука спящего пассажира, и как бы вносил с собою обязательную бессонницу, деловитую сноровку человека, выполняющего в служебные часы служебный долг. Оттого, может быть, и привыкли все следовавшие от одной столицы к другой проводить эту ночь как бы на ходу и даже засиживаться до позднего часа в буфете, огороженном углом жесткого вагона с маленькими деревянными столиками не то пивной, не то погребка.

Под шум и дерганье износившегося состава по износившимся рельсам здесь, в скудном свете красноватых лампочек, толстый буфетчик-грузин качался за стойкой, небогато украшенной пожилыми твердыми курицами, сыром, зеленью и всякого рода бутылками.

Посетители мало интересовались едою: в руках официанта непрерывно вертелся пробочник. За стойкой на полу для людей непьющих задыхался от пара толстый самовар. А мимо, с воем и свистом ночного ветра, со скрежетом вагонов, пролетали пустынные станции, как мячи, подкинутые к небу. Казалось, вокруг этих станций нет ничего: ни земли, ни людей, ни быта, и сваями, выносящими их над пустотой, проносились мимо столбы.

При посадке жизнь скапливалась у жестких бесплаткартных вагонов, где место доставалось с бою. В этот день, как обычно, туда кинулась, давя друг друга, волна пассажиров попроще, путешествующих с детьми, женами, корзинами, двугорбым курджином на плечах, мешками, жестяными бидонами и всем прочим скарбом.

Единственный мягкий вагон оберегался кондуктором, и пассажир в него шел крупной рыбой, не густо, без суматохи. На этот раз, впрочем, маленькая заминка произошла от деревянной дамской картонки, застрявшей на незначительное время поперек дороги; и покуда



испуганный протаскивал ее в двери, а кондуктор, приставив на ступеньку, больше для виду подгонял ее ладонью, несколько пассажиров устроило необычный для вагоного затвор.

Тут были как раз те, кто ездит часто и по делу. Все они были знакомы друг с другом, и даже успели надоесть друг другу, встречаясь на всяческих заседаниях. Две-три фуражки инженеров, военная шинель, кофта, еще кофта, котелок; когда последний в этой кучке, ничем особенным не примечательный, защищая перед собой молоденькую женщину с саквояжем, помог ей подняться и прыгнул сам, торопливо приблизилась к следующему вагону еще одна пассажирка.

В руках у нее были целых два чемодана, по виду не очень легкие. Короткая юбка открывала высокие, сшитые по моде сапожки. Пальто на девушке раскрылось по коду, и длинное полосатое кашне, распутившись, висело касалось платформы. Уже она собралась двинуться и набородаком протиснуть лажатый во рту билет кондуктору, как, поднявши глаза, увидела на площадке вагона нару: молоденькую женщину и взявшего ее под руку мужчину во френче, ничем особенно не примечательного.

В ту же секунду, даже четверть секунды, чтоб быть точным, девушка рванулась и от кондуктора и от поезда, из воздуха прозвучавший в воздухе второй звонок заставил ее броситься, путаясь ногами в кашне и роняя плечи под тяжестью вещей, к отдаленнейшему вагону.

Она успела вскочить на ступеньку. Прижавшись головой к чугунным перилам, она, задыхаясь немного, ставила обе свои вещи на площадку и уже в этом отчаянии, когда чья-то рука приняла их сверху и помогла ей влюбаться.

Благодарю вас,— сказала девушка, подтягивая кашне вокруг шеи. Больше она ничего не прибавила, и по лицу ее было видно, что экспансивность не в ее характере, что эта странная поспешность и бегство из одного вагона в другой никак не вяжутся с ее привычками и что теперь от нее не дожидаться ни одного из естественных восклицаний вроде: «вот ужас, чуть не опоздала», «насилу добежала» и тому подобное.



В жестком вагоне, набитом бесплацкартной публикой, было тесно. Не глядя, она уселась в первый же свободный угол, ногой прижала свои вещи и вдруг с горячей краской на лице как бы охнула про себя и крепко прикусила нижнюю губу. Так бывает с человеком, когда он неожиданно вспоминает что-нибудь очень стыдное и хочет отмахнуться от воспоминания, как отмахиваются от боли, махая в воздухе ушибленным пальцем. Прогоняя воспоминание, девушка даже головой тряхнула, даже руки к ушам подняла, словно собираясь взять себя ладонями за щеки, но тут же и опомнилась, и прежнее выражение, с каким она стояла на площадке, снова вернулось на ее лицо. Все эти быстрые движения ее внутреннего существа наблюдал с интересом рыжий.

Он сидел возле нее в своем дамском пиджачке и все в тех же спортивных туфлях, закинувши ногу на ногу, спокойно оперев спину о жесткую спинку дивана, обе руки по привычке в карманах. Его разбитые стекла, тускло поблескивавшие под косыми лучами заходящего солнца, опускались и поднимались вместе с качанием вагона. Когда девушка опустила приподнятые руки и, совладав с собой, кинула взгляд на соседей, он отметил про себя: «Красивые брови».

Между тем девушка внимательно осмотрелась вокруг. Семейство джюльфинских тюрков сидело перед ней. Две мусульманки, откинув ситцевые чадры, держали на коленях, у раскрытых грудей, полуспящих ребят. Классическая их поза — утомленно раздвинутые ноги, широчайшие юбки, складками свисающие между колен, тонкие смуглые пальцы, охватившие голенькие тела младенцев, — делала их похожими на иконы богоматери. Возле них, подняв ногу по-турецки на лавку, а другую свесив, старый азербайджанец мохнато глядел перед собой из-под бараньей шапки. Глаза у него были мечтательные, точь-в-точь как у армянского крестьянина, примостившегося внизу между лавками на двух крепко увязанных мешках. Из соседнего отделения шел запах лука и вина.

Дверь внезапно стукнула, и девушка так резко вздрогнула, что рыжий перестал качаться. Белокурый



человек в коричневом свитере прошел мимо, посвистывая. Он не глядел ни на кого, но прищуренный глаз на рябоватом лице тотчас же привычно отпечатывал в памяти **каждую** мелочь: мешки под крестьянином, два подозрительно раздутых курджина на полке, корзины с яйцами, слишком уж четко выглядывавшими из сена, — это был агент ГПУ по борьбе с персидской контрабандой.

Когда он прошел, девушка вынула свой билет. Подержав его с минуту в руках, она, видимо, решилась, повернула голову к ближайшему соседу и на этот раз увидела рыжего, хотя солнце било ей в глаза. Его разбитые черты и внимательное лицо с добродушным носом что-то смутно ей напомнили. Сдвинув брови, девушка протянула ему билет:

— Я хочу поменаться с кем-нибудь, кто едет до этой станции. У меня мягкое место. Но мне по некоторым причинам надо остаться в жестком. Можете вы помочь мне?

Рыжий принял билет, и девушка видела, как он блистала и разбитым стеклам. Потом, встав с места и выложив место небольшим сверточком, ни слова не говоря, пошел к соседнему отделению. Девушке было видно, а потом слышно, как он — левая рука в кармане, приняв с билетом поднята — вопросительно, со смущенной учтивостью обращался с предложением поменаться. Его голос все удалялся и удалялся.

Но вот он снова стал приближаться. В повторных вопросах его звучал некоторый юмор. Вернувшись, он покачал плечами, вынул левой рукой из кармана нечто вроде кошелечка, сшитого из клеенчатой тетрадной обложки, и опустил туда пальцы.

Девушка нетерпеливо глядела на эту большую, спокойную руку, золотившуюся в солнечных лучах. Рукава, слишком короткие, открывали молочно-белую, как у женщины, кисть. Он достал, наконец, свой собственный билет и молча передал его соседке. Билет был как раз до нужной станции.

— Так чего ж вы!

С удивлением она следила, как он приподнял свой сверточек и вытянулся, чтоб достать шапку. Фалдочки



его странного в талию пиджачка смешно оттопырились, приподнялись, и ей стала видна облезлая металлическая пряжка на штанах. «Чучело какое!» — мелькнуло у нее в мыслях.

— Контроль сейчас пройдет,— вежливо объяснил рыжий, достав, наконец, шапку.

И направился к выходу.

## II

С ловкостью акробата он проделывал путь, только что в обратном направлении пройденный агентом. Поезд был полон, набит до отказа. Один за другим перед ним раскрывались вагоны, и словно книгу о жизни своей страны, разделенную на главы, читал он, минуя их.

Если б сейчас вот, пользуясь случаем и насильственным ничегонеделанием, чья-нибудь терпеливая рука раздала всем едущим анкеты, а потом собрала их; и если бы грамотные, натрудив за себя карандаш, обслужили и тех, кто не силен в письме, чтобы не оказалось анкет незаполненных,— тогда статистик легко и просто поймал бы экономические закономерности, причину отливов и приливов людей из столицы в столицу, точную подоплеку того, что делается в этой стране, и того, что, быть может, не делается в ней. Но терпеливой руки и анкеты не было, и никто лишний раз не имел повода выругаться «бюрократором».

Только острые зрачки рыжего и его серо-голубые маленькие глаза прокалывали на булавочку своего внимания всех, кто ему встретился, да пересекший этот путь агент запомнил, что следовало ему запомнить.

Деревенские меняли место не в одиночку: семьи мусульман из пограничной полосы передвигались в Азербайджан; крестьяне из самых глухих местностей Армении, доев ячмень и выждав дорогу, расползались по местам, где нужны рабочие руки. Их крепкие спины, их буйволиные сандалии, сквозь дырочки подвязанные к ноге веревками, их широкие плечи, коричневые от загара лица и ястребом опущенный отощальный нос, в очерке своем хранивший своеобразное, хищное благород-



то, — это был особый тип армянина, горный тип, при-  
ближавшийся к курдскому. Опустив голову, сидели пе-  
реселенцы на скамьях и на мешках, слушали, как лю-  
битель **какой-нибудь** бродил осторожно и медленно кос-  
точкой по **тару**, да смотрели от нечего делать на свои  
руки, то на **поднятую** вверх ладонь с ссадинами и на-  
пухшими темными занозами, то, повернувши ее, на за-  
горелый тыл с миндалинами длинных ногтей.

Служащие с женами раскладывали на лавках цвет-  
ные пледы, **выбрасывали** поверх подушки, и перед ними  
на столиках **качались** медные чайнички или же просто  
жбанчики с **проволокой** вместо ручки. Они ехали на  
стройки, на заводы, и тоже семьями, и весь свой домаш-  
ний уют везли с собой на новое место, заполнив верх-  
ние полки и десятки мест в багажном вагоне.

На плацкартных вагонах **пробегал** в белом фартуке  
побойщик буфетчика, насунув **сросшиеся** у переносицы  
брови. Он жонглировал стаканами чаю, щедро разбра-  
сывая их в полки по столикам и окуная в них оло-  
вянную ложку в потребном количестве сахара.

Присутствовали худощавые граждане с подобран-  
ными по манер английского короля **брюками**. Эти были  
пановы — жены их оставались дома. Худощавые граж-  
данине вылезать звали все станции, им не надо было даже  
в окно взглянуть, чтоб **произнести** название, и сле-  
дование их было самое **незначительное**: они останавли-  
вались в Эчмиадзине, Сардарабаде, Улукханлу, чтоб тот-  
час же, помахивая **небольшим** чемоданчиком, скрыться  
в недрах вокзала. Это были маклеры, путешествующие  
инженеры, **подрядчики**, неунывающие частники. Они  
стояли кидались в места, где расширялись вены бюдже-  
та, — шло **крупное** строительство, готовился пуск завода.

Рыжий все шел и шел, угадывая, где его будущие  
послуживцы и кто едет вместе с ним на гидрострой.  
Но вот он попал в шумящий, как улей, вагон, где кон-  
дуктор, посмеиваясь, прислушивался к своим пассажи-  
рам, **интересованно** и не без почтительности просунув  
голову в дверь.

Рыжий пробормотал «виноват», что, впрочем, с оди-  
наковым успехом он мог бы сделать и перед деревян-  
ным чурбаном. Протиснувшись боком и пронеся свое



ловкое тело сквозь тесноту людской гущи, он тотчас же поднял брови, говоря себе «а!».

Так и есть, это были неизбежные по всему пространству Союза счастливые птицы железных дорог, чьи регулярные перелеты скопом, чей радостный гомон и озабоченность, чьи руки, занятые листовками, книжками, брошюрками, блокнотиками, галдеж с повторением одних и тех же слов, охваченность могучим единством темы вставляли, казалось, вскипающим перпендикуляром к монотонному продвижению колес, словно река, бегущая вдоль русла, вдруг переметнулась через него прямо вверх, над гигантской плотиной. Это была делегация, одна из бесчисленных, ехавшая в столицу Союза, на съезд, тоже один из бесчисленных.

Рыжий вспомнил чью-то прочитанную филиппику против обилия съездов, подписанную наркомом («Семашко», — припомнил он), и протестующе сложил губы в улыбку. Протест относился не к съезду — к газетной филиппике.

На делегатов стоило посмотреть. Деревенского можно было тотчас узнать по принаряженности, по необычной для него чистоте и новизне одежды, торжественности и даже прямизне, с какой держался он возле других. И волосы его, подстриженные и помытые, лоснились чинно и радостно. Городской, напротив, щеголял нараспашку потертой ежедневной одеждой, заплатками, даже несчищенными пятнами. Он вез с собой профессиональную грязь на руках, жаргон производства или же учреждения, и его радость проскальзывала лишь в некоторой задорной, безобиднейшей, впрочем, заносчивости. Он брал опеку над деревенским. В стране, где крик о всеобщем обучении, как ответным эхо, встречался стоном: «школу дайте», где не хватало учителей, помещений, учебников, — съезды были громадной школой для взрослого, фильтром, всасывающим, перерабатывающим и выбрасывающим население по местам с сотнею новых навыков, сведений, с единством полученного метода, с веселой зарядкой к труду, с расширенным горизонтом и неутомимой охотой поделиться всем этим.

Рыжий шел дальше, обуреваемый фактами своего вагонного шествия.



Но когда он вступил на новую площадку и перед ним, качаясь боками, лязгая, стуча железом, вырос новый вагон, окрашенный в желтую краску, — мягкий, — мысли его вдруг вернулись к молчаливой девушке с красивыми бровями.

От кого или от чего убежала она из мягкого вагона?

### III

Здесь были молчание и относительная тишина. Из открытых дверей синеватыми облачками шел папиросный дым.

Мужчина, ничем особенным не примечательный, давно уже вошел со своей молоденькой спутницей в вагон, где два молчаливых человека, один в штатском, другой в военной форме, макали носы в газету. Подняв голову, они вошедших узнали, и военный кивнул, а другой произнес товарищеское «ага» и даже «эге», что в применении к спутнице вошедшего прозвучало, как «ага-го, брат».

Очень хорошенькая, с прекрасным цветом лица, бархатистыми щеками, юная, плотненькая, она куколкой уткнулась у окна, тотчас же сняла перчатки, поглядела на ногти свои и, откинув борт сумочки, стала припудривать себе подбородок, с обезьяньей быстротой, кусочком розового бархата, глядя глазами барашка в откиннутое зеркальце.

Мужчина, ничем не примечательный, сел рядом, вынул портсигар, взял папиросу, потом предложил соседям.

— В Тифлис?

— В Тифлис. Ее к матери везу! — легонький кивок в сторону женщины, подхваченный ею как приглашение. Он не сказал, впрочем, как и соседи не показали, что знают о вызове его в Тифлис, центр Закавказской федерации, со специальным отчетом. Смутное чувство тревоги, похожей на тошноту, прятал он и от себя и особенно от жены, ничего еще не знавшей об этом.

Зашелкнув плоскую пряжку сумочки и подвинувши на глаза буколки стриженных волос, осторожно, как



если б они были искусственные, молоденькая его спутница наклонилась в сторону двух спрашивающих.

Ее вступление в разговор произошло так мягко и неприметливо, что даже и вспомнить, какими словами и при каких обстоятельствах влился в беседу ее очень подвижной, открытый и дребезжащий от качания поезда голосок, не мог бы никто из сидящих в купе. Бойко, с большим облегчением для мужчин, хорошенькая женщина вела болтовню, а спутник ее курил папиросу за папиросой, с притворным наслаждением следя за собственными жестами заправского курильщика, помогавшими ему казаться спокойным. Но тревога прорывалась все же. Нервным жестом он закрывал и раскрывал сухо трещащую между пальцами спичечную коробку, отводил левой рукой дым от себя и указательным пальцем правой руки беспокойно отряхивал папиросный пепел прямо под ноги. За спиной его по грязному бархату сидения полз клоп.

И в наружности пассажира было что-то, напоминавшее клопа на бархате: сухощавый рисунок плеч и груди, военная выправка, тугой воротник, подпирающий суховатые, гладко выбритые щеки; суховатые волосы бобриком, стриженные аккуратно и с проседью на висках, впечатление жилистости, подобранности, авторитетности, и тут же распушенный рот, мясистый и бесхарактерный, и загнанная глубоко в глаза почти трусливая растерянность.

Но человек знал себе цену. Не глядя на раскрытую в коридор дверь, он видел, как публика из других купе, прогуливаясь по коридору, заглядывает сюда, будто невзначай.

Одни бегали глазами по его спутнице, другие разглядывали его самого.

Негусто, биллиардными шарами, откатываясь и набираясь, они уже несколько запрудили коридор, когда еще одна примечательная пара, энергично проталкиваясь, прошла в купе.

Это были юркая личность типа секретарей и старый немецкий писатель, член одной из многочисленных иностранных делегаций, посетивших в этом году наш Союз. Юркая личность, проталкиваясь бочком, вела пи-



сителя в фарватере, и то, что она проплывает не для себя, а для оберегаемого на буксире беспомощного человека, делало ее нахальство законным и непреодолимым.

Бедняга писатель был стар, глуховат и до крайности утомлен. Его заграничный костюм говорил о бедности, скитаниях, неудачах у себя на родине. Лицо холерического типа, с мешками под глазами, болезненно раздражено: он устал ездить с вокзала на вокзал, из дома в дом, устал от феерического перелета по деревням, городам, пулам, заводам, промыслам, где приходилось высудивать и произносить речи, жать руки. Писатель был благовоспитан по-старомодному, он казался уступчивым; эта уступчивость удесят�еряла и облегчала чужую словоохотливость, каждый думал, что убедил и подействовал, и чем больше думал каждый, что убедил и подействовал, тем более копил в себе писатель упорную стертую силу протеста — закон противодействия, направленный для мистов и для людского общения.

Крупный человек между тем очень мало заботился о интересах своего патрона. Он шустро ринулся подбираться к двери, оканчивший полисением: знакомить великих мира сего. Подхалимство — одна из бескорыстных способностей души человеческой! Нервно юля палубардаком и как бы вторгаясь им в высшую для него сферу, юркий человек был сейчас бесконечно утешен и обласпан, как маленькие дети, принятые в игру взрослых.

Тучный немецкий писатель пожал руку суховатого мужчины по френче, соседи сдвинулись, и писатель сел против него внушительно и с уважением зараз, — так привыкли на Западе относиться к лицам официальным.

А из дверей, налезая на юркого человечка, уже стеной надвинулись соглядатаи: почтительно послушать, как и о чем будут разговаривать.

#### IV

Немецкий писатель говорил по-русски. Выговор у него был твердый и слегка шипящий — признак славянина. Человек во френче старался говорить по-немецки,



и его глуховатый, носовой выговор, ударения на окончаниях даже там, где не нужны они, с головой выдавали азиата. Юркий, захлебываясь, переводил:

— Wenigstens, — в нос, крепко обрушиваясь на последний слог, — венигстэнс, по крайней мере хорошо ли показали вам нашу молодую социалистическую страну? — спрашивал тоном хозяина, но, правда, очень редко бывающего дома, человек во френче. — Венигстенс, по крайней мере видели вы наши фабрики, коньячный завод, новые кварталы? Едете ли вы сейчас в Ленинанкан или на гидрострой?

Роль хозяина была исчерпана. Человек во френче откинулся на бархат и тотчас же стал нервно дергать скулой и кончиком уха, борясь с мелкими клопинами укусами.

Юркий вставил, радостно давясь словами, что как же, объехали и видели, и еще поедут, если понадобится, но тут именно писателя и взорвали скрытые, накопленные им без выхода пары протеста. Тщетно силился он унять дрожь кончиков пальцев, искавших по карманам носовой платок. Говорить было неприлично, не принято, и все-таки он говорил, его твердый шипящий рот брызгал слюной, усы щетинились, и казалось, что слюна и усы пахнут чем-то не нашим, а заграничным, вероятно запахом второсортной берлинской сигареты.

— Я видель, — сказал писатель и тотчас же, подняв брови, оглядел всех, приготовясь к сопротивлению, — я видель очень много. Строящиеся дома, новые фабрики, постановку нового дела, — какова плавка базальта, не только у вас, в вашей стране, нового, но и у нас, в нашей стране, старого.

— Какого же вы, геноссе...

Но поднятый вверх палец писателя остановил человека в френче.

— Я говорю, и я хочу сказать, — начал писатель, отчеканивая, — вы, да, вы начали делать вещи и начали очень много говорить, что делаете вещи. Но мы очень давно и очень хорошо делаем вещи, и мы об этом молчим, мы уважаем свой время. Приезжая к вам, мы, европейцы, ищем видеть не вещи, а новый принцип, очень новый принцип, очень новый для нас принцип.



И — о, что ж я могу видеть в вашей стране, господа, если вы разрешаете мне сказать правду? Я видел много-много мест, много-много людей. Но я мало видел уважений к человеку. Если мы мешаем работать, это есть неуважение к человеку. Вы собираете людей в разные места делать вещи, и что происходит потом? Потом у нас начинают, — подряд, подряд, *rings herum*, — мешать этим бедным людям, тормозить этим бедным людям, сердить этим бедным людям...

— Кто такой? — шепотом спросил в коридоре один другого.

— **Синдикалист**, кажется...

А писатель, волнуясь и портя речь, продолжал:

— Чем мешать? Чем тормозить? Чем сердить? *Ja wohl*, я очень знаю чем. Я скажу очень подробно чем. Место работ есть фронт. Люди работ есть в данное время *Soldaten*. Начальник работ есть в данное время командир. Первый вопрос: вы собирали людей, навоз им хороший фураж, хороший корм, иначе их энергия не дает максимум, — и везде и наблюдал ревизия, ревизия, ревизия кооператива, потому что везде был неидет, неидет, неидет кооператив. Лучше делать сначала хорошо — и после хорошо, чем сначала плохо — и после ревизия. Второй вопрос — кого слушать должны? Много хозяин — нет хозяин. Один бедный работник работает, — у него восемь, девять, десять командир: инженер командир, директор командир, рабочий комитет командир, рабочий инспекция командир, охрана труда командир, уездный исполком командир, рабочий печать командир, приезжие люди командир, тогда рабочий тоже хочет быть командир и пишет доносу Гепеу, кричит и делает себя выше всех. Один пугает другого, другой пугает третьего, работа в одну сторону, работа в другую сторону, и все идет плохо, все очень идет плохо, время, силы, деньги идет больше, чем надо. Я это видал, я это слышал. Есть правил: хочешь приказывать, учись слушаться. У вас все хотят приказывать и никто не хочет слушаться.

— До сих пор заграничная печать нас в другом вирила, — снисходительно ответил человек во френче. — И выходит, по вашим словам, у нас анархизм какой-то



дикий, а вовсе не диктатура. Полнейшая свобода, не так ли?

— Нет, о нет! Один другому мешает, и один другому боится.

В коридоре давно уже толкали друг друга локтями. Спецы, сняв пенсне, сконфуженно перетирали их,— спасительный жест, неизвестно с какого времени введенный в употребление. Один рыжеусенький, полноватый ехидно шептал соседу, пофыркивавшему в платок:

— Валаамова-то, а? Заговорила, а? Кормили, поили, возили... ха-ха! Хронометражистов забыл, ей-богу, забыл хронометражистов... Что? Ты не знаешь? На Волховстрое у нас... умора, потеха была! Прислали порцию несовершеннолетних с часами и карандашиками, стоят у тебя за душой, записывают: полминуты встал, минута поднял, сорок секунд чихнул, минута перевернул, две минуты глядел... Для чего ты говоришь? А что я в мыслях читаю, для чего? Хиромантия — для чего? Мало у нас фантазии, лишнюю ко...командную высоту выдумать?

Он хрюкнул Пришепётывая, другой инженер, постарше, с элегантною выправкою путейца и очень алыми из-под пышных усов губами, почтительно поддержал немца, обращаясь главным образом к человеку во френче:

— Нам в работе очень мешают приезжающие. Туризм нового типа. Это, конечно, может быть, хорошо, интерес не к природе и древностям, а к хозяйству, но это очень убыточно для государства. Мы обязаны всякому давать транспорт, предоставлять помещение, снимать нужного человека с производства, чтоб ходил и объяснял, и потом, знаете, каждый рабочий чувствует в приезде начальство и обязательно начинает жаловаться, много выдумывает. Производительность труда в такой день безусловно падает, а таких дней у нас...

— Четырнадцать в неделю! — крикнули из коридора.

Странное выражение мелькнуло на лице человека во френче, мелькнуло и мгновенно исчезло. Но и в короткое мгновение поймал это выражение военный. В ответ он пристально взглянул на человека во френче. Он



не сподил с его лица своих глаз полминуты. Взгляд его говорил — непонятно для посторонних, но явственно для партийца:

«Докатился! Уж не радуешься ли дурацким речам чужого? Репликам старых спецов? Уж не видишь ли тут подтверждения своим выводам — развинтившегося, наконец оторвавшегося, выдохшегося, чужим ставшего элемента? Смотри, докатишься до потери партбилета!»

Человек во френче не глядел на военного, но он угадывал и ощущал этот взгляд по смутному томлению над лобзечкой, по желудочному какому-то беспокойству; уж не раз за последние дни это физическое беспокойство посещало его, и врачи ссылались на «диафрагму». Военный повторил во взгляде только то, что он высказывал ему вчера в кабинете. И то, что едет военный в поезде с ним поезде и тоже в Тифлис, усиливало тревогу человека во френче.

Уходящим взглядом по соседу в штатском, он не переставал наблюдать. Селел в штатском, закрыв глаза, чтобы не видеть вид, что заснул.

Тогда он принял официальную позу; привычная сушесть акцентилась в сдвинутых бровях его и подобранных губах. Он вскинул глазами в окошко, искал глазами на столике, — как бы ища журнала, или газетки, или чего-нибудь во внешней природе для перемены разговора, — жест, вполне обязательный для окружающих. Но в журнальчик углубилась его молоденькая, искренно смущающаяся жена, а в окне проплывало сейчас, озаренное молодым месяцем, снеговое седло Масиса. И пустынейшая земля вокруг, истоптанная, с залежалым в мирщинах снегом, дышала, казалось ему, в окно все тем же тревожным запахом. И крестьяне, провожая глазами поезд на станциях, глядели на него, как опять же казалось ему, пронзительным взглядом военного.

А писатель, не встретив ожидаемого отпора, уже снисходительно приводил примеры неуважения к людям, сильно напирая на то, что и сна не уважают у нас и будят в поездах спящих людей то дерганьем, то стуком, то разговором, то даже метаньем вещей с верхней полки прямо тебе на голову... И, наконец, хлеб. Возвысив голос, он развел пухлыми руками:



— Такой большой страна, и хлеба нет! — Он даже советовать начал: — Дать свободу крестьянская инициатив, — иначе откуда же хлеб?

Военный сложил газету и всем корпусом повернулся к писателю. Но прежде чем он успел заговорить, как, видимо, собирался, в коридоре уже заговорил кто-то другой, звонким и юношеским голосом. Это был рыжий. Он не заметил движения военного. Он пробирался к дверям купе, учтиво прося извиненья. Руки он сунул в карманы — жестом оратора, говорящего на ходу. И военный, с любопытством скользнув по нем взглядом, дал ему говорить.

— Вы, простите меня, ничего не поняли в нашем новом мире, — начал рыжий. — Вы хотели увидеть у нас новый принцип. И все время глядели на него, не видя. Новый принцип нельзя увидеть старыми глазами, старым способом оценки. Вам кажется, мы все друг другу мешаем, мы не разграничили своих функций. Но как иначе построить новое общество? Как найти меру? Ведь вы ее не найдете в кабинете, не напишете на бумажке: ты, директор, оттуда — досюда, ты, рабочий, отсюда — дотуда. Это совершенно невозможно, ведь мы все — члены единого общества, мы еще мало знаем нашу практику, не накопили ее, не успели проделать. Заходя за пределы работы друг друга, мы помогаем найти меру, установить реальное равновесие. Вы еще сказали, что мы неэкономно относимся к человеку, к расходу его энергии. И вот этот товарищ инженер поддерживал вас, привел пример с приезжающими в гости на производство, мешающими работе посторонними людьми. Он назвал это неверным словом — туризм; но это совсем не туризм. Это опять новый принцип — один из видов всеобщего обучения. Мы, правда, теряем в одном. Но мы выгадываем в другом. Эти миллионы новых интеллектов, которые пробудила революция, подняла, активизировала, — они хотят знать, знать то, чему ни в какой школе не научишься, да и не хватит школ. У нашего Наркомпроса — Наркомата просвещения — огромный бюджет; в вашей стране о таком бюджете и мечтать не могут, но он для нас катастрофически мал по сравнению с тем, что требуется. И вот каждое пред-



приятие несет у нас накладной расход на обучение, на просвещение масс. Заводы, фабрики, стройки — объекты такого бесплатного наезда. Массы учатся в них, как в музеях, в библиотеках, в школах. И руководители наши, инженеры, хозяйственники, как и рабочие и крестьяне, тоже ответно учатся, должны учиться от приезжих, от их присутствия, их критики, их похвалы, их требовательности.

Он поредохнул немного и закончил:

— Вы вот сказали: Европа делает вещи дешевле и лучше нашего. Да, но ведь Европа делает вещи, а мы делаем вовсе не только вещи! В этом вся суть!

— Не вещи? Так что же вы делаете?

— Мы делаем п л а н о в у ю вещь, уважаемый херр! Разница? Разница огромная, колоссальная. На каждой фабрике, на каждом строительстве, в каждом производстве, которое вы у нас сейчас посещаете, выделяется, как обобщающей, или строится вещь плюс наше новое общество, плюс профсоюз, плюс броня подростков, плюс любимая рация, плюс производственное совещание, плюс контроль, плюс учет, плюс план! Вещь плюс план — это сверху, вещь плюс контроль — это снизу. Нам придется — десятки хозяев, но вы ошибаетесь: десятки факторов, а не хозяев — и единая мысль партии. И то, что каждый фактор расширяется за счет другого, это и есть борьба за меру, борьба за систему, борьба за новое общество. Вот новый принцип, который мы искали и не нашли, — хозяйство без собственника! Не десятки хозяев, а десятки факторов, и люди, как их представители, — увлекательный мир, а мы посетили его и не увидели!

Он умолк неожиданно, как начал, и, словно смутившись, отступил назад, в коридор.

— Спор двух беспартийных, — точно формулировал в досрех тот, кто раньше на взгляд определил немца: «синдикалист, кажется». Но молодежь в коридоре, подавшись заразительной интонации рыжего и блеску его очков, теснее налегла на плечи равнодушных, и красные щеки, блестящие глаза, полураскрытые рты поощрили: так его, дуй его, крой по-нашенски!



Тут и вступил в разговор военный. Рыжего он слушал в пол-уха, сразу же, с первых слов его угадав приблизительно все, что тот сможет сказать. А мысли его, в продолжение всей речи рыжего, были заняты иностранцем. Он видел отлично, что вспышка писателя, вызванная усталостью и непривычно быстрой сменой впечатлений, имеет на самом деле другие, более глубокие корни. Писатель, видимо, слышал и про правый уклон, и про вредную бухаринскую теорию вrastания кулака в социализм, и про споры о пятилетнем плане, на составление которого дана была директива три с лишним месяца назад, в начале декабря, на пятнадцатом съезде партии. Может быть, знал писатель и о других вещах — вредительстве группки инженеров в Донбассе, связи их с бывшими хозяевами, за спиною которых действовали некоторые государства. И уж во всяком случае знал он о трудностях с хлебом, о сопротивлении кулаков, об отказе их сдавать товарный хлеб по государственным ценам.

Военный не был большим экономистом, не был и очень ответственным работником. Но он был честный член партии, страстно ей преданный, и ненависть поднялась в нем на того, кто сидел сейчас, отводя глаза в сторону, перед ним в купе, на ничтожного человечка, перебежавшего в такую минуту в лагерь трусов и отступников. «Слушай, слушай,— думал он про себя с презрением,— слушай, как немецкий попугай повторяет словечки мерзавцев. И кто информировал этого попугая — у нас или за границей?»

Но когда заговорил он, и следа нельзя было подметить в его спокойном, простом лице от этой мгновенной вспышки ненависти.

— Вы, должно быть, знаете, товарищ, что мы начинаем сейчас пятилетний план строительства социалистической индустрии в нашей стране? Это будет огромное, невиданное нигде в мире строительство. Мы уже строим, построили мы немало. И при таком размахе промышленности, намного увеличившем рост городов, при таком развитии социалистической индустрии — наше сельское хозяйство опирается все еще главным образом на мелких единоличников-крестьян. Артелей у



нас, где мы можем применить большую технику, трактор, комбайн,— и в результате собрать больше зерна,— иртелей у нас еще очень мало. В стране нашей работает сейчас на земле не меньше пяти миллионов сох,— заметьте, не плугов, а ветхозаветных сох. Может ли это удовлетворить нас хлебом? Нет. Что надо сделать, чтоб мы могли двинуть вперед сельское хозяйство так, как двинули промышленность? Выход один. При социалистической промышленности должно быть и социалистическое сельское хозяйство, вместо маломощных единоличников должны быть сильные и мощные коллективные хозяйства, где будет место для трактора и комбайна. Тогда мы получим и хлеб в нужном количестве. Именно в эту сторону и направлены наши усилия. А вы предлагаете назад пятиться, к отсталому кулаку, к старому кулацкому хозяйству? Разве совместимо это: социалистическая индустрия, передовой рабочий, хозяин своих лавочек — и рядом кулак, темный честный собственник? Несовместимо, товарищ. Совет ваш никуда не годится. Приезжайте к нам через два-три года — увидите, как много будет у нас хлеба. Изучая нашу страну, надо было крепко помнить: нам трудно, потому что мы идем вперед. Грусон, которые нас назад тянут, мы сметем с нашей дороги. И потому, что мы вперед идем, с каждым шагом мы, наша страна, становимся все сильнее и сильнее.

Он умолк и подождал, посмотрев вопросительно на писателя, захочет ли тот ответить. Но немец, уже порядком утомленный и перенесенный вдруг речью военного в атмосферу слишком большой серьезности, не захотел отвечать. Он улыбнулся гармонической улыбкой равнодушного в сущности человека, мало уже во что верящего и не способного ни очень защищать свое, ни очень отвергать чужое, и прекратил спор, как останавливают велосипед: соскочил и как бы пошел с ним рядом:

Куда мы теперь будем, что мы теперь смотрим, госпоже Влипьян? Гидрострой? Хорошо, очень хорошо. Обещаю вам (наклон лысой головы в сторону рыжего), обещаю вам, любезный доктор (о, уж, конечно, рыжий был доктором философии!), посмотреть вашими глазами



на гидрострой плюс новое общество! И обещаю вам (наклон в сторону военного) приехать через три года покушать хлеба из ваших «колькозов»!

## V

Пассажиры медленно разошлись. В коридоре опустело. С грудой тюфячков и подушек прошел старый седой проводник, которого все называли Акопом. Но и Акоп звал многих своих пассажиров коротко, по имени, переходя на теплое армянское «ты». Он и сейчас стоял все время вблизи дверей, с живейшим интересом прислушиваясь к разговору, и вернулся к делам своим лишь после прощальной реплики немца.

Этот старый, сутулый человек в серебряных очках с ваткой на переносице служил здесь, кажется, со дня основания дороги. Он мог бы рассказать о старой забастовке александропольских — ныне ленинканских — железнодорожников, мог бы подробно ответить, кто и куда едет в его вагоне и по какому делу едет. Он знал в лицо чуть ли не всю республику. И когда восхищенная молодежь, обступив его, стала спрашивать:

— Дядя Акоп, кто это сейчас так хорошо говорил — в военной шинели?

Он с таинственной осведомленностью, заведя вопрошателей в тамбур, назвал имя и добавил:

— За назначением едет.

И тут же по адресу человека во френче, понизив голос до шепота, сообщил, подняв свои очки на лоб и приблизив губы к самому уху любопытного, — что «у этого дела плохи, очень плохи».

Агент в коричневом свитере высунул голову из купе — он оказался соседом рыжего — и крикнул:

— Акоп, неси постель!

И старый проводник заторопился из тамбура.

Рыжий, молчаливо пришедший в купе, молча сидел на месте. Час был поздний, вечер сгустился за окном в чернильно-черную ночь, увял в облаках нежный ободок полумесяца, и только звезды были видны, если прижать к стеклу лоб и долго глядеть в темноту.

Он привык рано ложиться, и так как место его было



нижнее, терпеливо ждал, покуда Акоп расстелит на верхней полке постель для агента и тот заберется к себе. Но агент поставил на столик бутылку, развернул салфетку с сыром и яйцами, вынул сложенные вчетверо ломты белого плоского хлеба, лаваша, соленые огурцы и назвал **рыжего**, а потом и Акопа к столу.

Акоп звал агента тоже по имени, Мишей. Крохотный металлический стаканчик Миши по очереди обошел всех троих.

В нынешний год делегаты часто к нам ездят,— начал разговор **Миша**, похрустывая огурцом в зубах,— были настоящие, **рабочие**, дружеские к нашему государству. А этот писатель ума не нажил. Пустой.

— Пожилого человека не надо бы взад-вперед таскать,— отозвался Акоп.

Рыжий молчал. Он рано встал, весь день бегал, и ему неожиданно хотелось спать. Но спутники его пригласили к каменной бесконнице, они сделались частью ее, и как же продолжаться.

— Куда путь держите? — полюбопытствовал Миша и, уловив, что он гидрограф — служите, — не отставал: — Хорошая, значит, служба, — прогони в мягком. Рублей, вернее, на триста?

Нет, и свой жесткий билет на мягкий обменял. — Арно Аревян замаялся. Ему не хотелось говорить о ненавистой девушке.

На тут вмешался проводник Акоп. Хитрая, всезнающая улыбка тронула его губы. И неожиданно сон пропал у **рыжего**, ему вдруг стало интересно, как в раннем детстве. Акоп, не торопясь, заговорил:

— Не иначе — с Малхазян обменялись. Я ее видел. Она в мягком ездит. Она совсем было вошла, билет мне протянула, но тут...

Тррах — шлепнулась с верхней полки пустая бутылка, замигал, как от удара, электрический свет, — это дернули со всей силой колеса. Стаканы на столике опрокинулись, остатки вина струйкой потекли вниз. Поезд остановился.

— Это чего? Это затормозили на полном ходу, — забормотал Миша. — Вы меня подождите, я узнаю! (Бегает)



Он круто побежал по коридору, пока рыжий рукавом вытирал окно, запотевшее от дыханья. Было непроглядно темно.

Говорят, изобретут люди новые двигатели — без шума, свиста, копоти, пара. Говорят, придет новая, стеклянно-чистая пора, когда раскинется небо, протертое, как оконное стекло на пасху, — и контуры вещей, краски их обозначатся с невиданной ясностью и яркостью. Ведь сошла же многовековая копоть с тучных соборных куполов наших и с золоченых крестов в эпоху голодного безвременья, когда стояли фабрики, не дымили и не коптели воздух. Но мне, признаться, жалко будет век громкого дыхания, век копоти и пара. Жалко огромных труб, чьи колоннады говорят о рабочем районе, жалко дымной акварели неба, тронутой сизью, и тревожных городских закатов, замутненных копотью, а еще больше жалко пронзительных ночных гудков паровоза, маневрирующего по путаным колеям и отводящего паровую душу в иступленном, разобиженном, будящем крике, — всегда на á-á-á.

Так или около того думал и рыжий, расплюснув нос на стекле. Весь этот мир уже отходящей в прошлое техники лежал сейчас за стеклом, будя черноту светом и звуком. Армянское нагорье, широкая степь Ширака еще не были пройдены, еще предстоял впереди буйный ветер холодного Ленинакана, за которым волчьими стадами скалились пограничные горы.

Еще дальше путь должен был вступить в ущелье, прославленное на весь Союз красотой и особыми трудностями, с какими его прокладывали.

Инженеры в бесчисленных докладных записках писали об этом ущелье: «Перегон с тяжелым профилем». Красивые слова у техники! И правда, в прямом своем смысле, профиль у этого ущелья, изрытого Бамбак-Чаем, был красив тяжелой красотой, как иногда у воздушной красавицы отяжеляет лицо нос с горбинкой. Рассеченные горы лягут справа и слева от него кровавыми ломтями базальта. Низкорослые деревца побегут по скатам, плоская армянская крыша исчезнет, ее сменит треугольник и черепица. Торжество инженерного гения — полотно — там свивалось и расплеталось змеей,



ползая в жерло туннелей, возносясь акведуками, пролетая кружевным мостом. Таков был Лори-Бамбакский уезд Армении, о котором мечтал Арэвьян, разглядывая непроглядную темь за окном.

Он видел, впрочем, как бегали черные фигуры людей, мигая фонариками. Безостановочно стучал под вагоном молоточек, пробуя его кости. Бам-бак, бам-бак.

Он схватил шапку и вышел вслед за другими пассажирами.

Поезд стоял почти в воде; с неба текло. Не разобрать было выражения лиц, освещаемых фонариками, но в мундире и пуговицах, в сапогах и запахе, в поведении и в опыте было у всех суетившихся профессиональное единство. И вся дорога, поблескивавшая желтыми точками сквозь мартовскую слякоть, раскрывала в этой мирной ночной росе отрывистыми словами, фигурами смазчика, сцепщика, машиниста, в раскачивающейся походке и в едкой машинной моче, окипившая, варевая, изработанный пар — особый железно-железный мир, мир вечной бессонницы, во всей необыкновенности его действительности. Что-то случилось, встревоженные пассажиры уже знали — случилась катастрофа: впереди товарный наскочил на товарный, очищают полотно. Особое дорожное сладострастье, какое охватывает человека, когда случается что-то, мотало пассажиров в темноте от вагона к вагону, наливало их голоса беспокойством, и оно же, вдруг охватив рыжего, понесло и его к отдаленному жесткому вагону. Но тщетно ходил он по лужам взад и вперед и заглядывал в темные окна — девушки с красивыми бровями нигде не было видно.

Продрогнув в своей «амазонке», рыжий не без грусти повернул обратно.

— Это, это черт знает что такое! Да вы поймите, третий раз за месяц! — Частник, с отвороченными на манер английского короля брюками, приподняв воротник, стоял в луже и негодовал.

Из темноты вынырнул мелкий взъерошенный человечек с губами, отстоящими друг от дружки, как плохо подобранная крышка; он принялся объяснять:

— Дежурному по станции в телефон звонили, спра-



шивали: готовы принять осьмнадцатый номер? А дежурный говорит: «готовы», а сам спать пошел!

— Ах, скажите пожалуйста, спать пошел!

— Да это бы ничего,— вмешался смазчик,— это бы вовсе ничего. Стрелочник не дурак, стрелочник слышать должен — идет поезд прямо на запасной, где у нас четырнадцатый стоит. Ему бы стрелку-то, стрелку перевести. Стрелку перевести — и все ничего.

— Так чего же он, стрелочник!

— Стрелочник?

— Ну да, чего же он, спрашивается?

— А стрелочник... Не было его, стрелочника, на месте. Стрелочника не было, и не слышал.

— Ужас! — Частник так и вскидывался коленками, брыкаясь от неразделенного ни с кем негодования.— Сам нарком проезжал, ревизию делали, и вот так последствия!

Темная фигура кондуктора подвинулась ближе. Уши кондуктора зашевелились. И не понять было, говорит ли он всерьез или дразнит испуганного частника.

— Дак что стрелочник! — Бас его прозвучал внушительно.— Что это он, дурак, заладил: стрелочник, стрелочник. Машинист на паровозе имеется? Имеется. Глаза у машиниста есть? Есть. Машинист видит — семафор занятый путь показывает,— тут тебе затормози, останови машину, и обошлось дело.

— Ну и что же машинист? — с неопределенной надеждой спросил частник.

— Машинист?

— Да, дядя, машинист, я спрашиваю.

— А машинист,— кондуктор сплюнул в сторону и разгладил рукой усы, эдак ладонью вправо и ладонью влево,— машинист, мил человек,— подумав, ответил он,— машинист выпивши был, вот тебе и машинист.

Неизвестно, какое восклицание было в запасе у слушателя. Заглушил его пробежавший мимо черный, как уголь, истопник. Остановясь, чтоб заткнуть вылезшую из сапога штанину, он услышал речь кондуктора и решил внести свою посильную долю в импровизацию:

— А машинист, один, поезд затормозит? Затормозит, спрашиваю? На то кондукторская бригада имеет-



ся. Закон — кондуктёрской бригаде под уклон во все глаза глядеть. Если чуть что, кондуктёрская бригада за тормоза хватается.

— Ну, — впился в него частник, — ну, так чего же?

— А то и чего, — набилась, я тебе скажу, кондуктёрская бригада в один вагон, да и задрыхла!

— Вай, это можно ума лишиться! — взвизгнул вдруг, теряя свою интеллигентность, частник. — Вай, что вы говорите! И мы едем, кушаем, пьем, спать ложимся. И у нас дома семейство! И возможно — так всегда поезды ходят: дежурный спит, бригада спит, машинист спит, стрелочник гуляет...

Он замотал руками и наткнулся на рыжего.

— Вай! — вырвалось у него снова. — Вы слышали?

Рыжий взял его под руку и повел вдоль полотна; этот путь любил от свежести и от одиночества, оттого, что вставали из мокрой тьмы эманации невыполнимых, необъяснимых желаний.

Слышала. Они разыграли вас. А эти аварии — они на всех пор, повсюду. (он отступил, поднял правую руку и широким жестом раскинул ее) пока тут у нас всего четыре состава ходят и один запасной путь. Срок дайте, увеличьте составы, снизим поездов, дежурный каждые пять минут слышать будет: «Принимайте номер такой-то, принимайте номер другой», — когда времени не будет спать, у нас крушения исчезнут, из памяти испарятся...

Частник тревожно вслушивался, прижимая рукой бумажник.

И скоро заснул поезд, а наутро пошел, и, как ни в чем не бывало, зажило полотно своей жизнью.

Опять всасывал каждый производственный участок часть пассажиров: прыгал партиец в сапогах, вылезал с портфелем хозяйственник, железнодорожники с простопатыми лицами, с копотью в носу и на пальцах, вынимая из карманов пакетики или конверты, адресованные по начальству, относили их вместе с привязанной за спиной посылочкой, — постоянная и бессмертная «оказия».

Инженеры и техники, горняки, узнавая друг друга, здоровались. К ним с улыбочкой — отблеском схваток



былых и будущих — подсаживались профсоюзники. Эта публика следовала дальше рыжего — на станцию Аллаверды, где черными извилинами труб, рогами допотопного мамонта, на фоне крутых, еще оснеженных гор, вздымался медеплавильный завод.

Словом, все потекло, как надобно.

И только агент не успел дослышать, с кем рыжий обменялся билетом. И только рыжий не успел дознаться, от кого или от чего убежала из мягкого вагона девушка с красивыми бровями.

## *Глава пятая* **ГИДРОСТРОЙ**

### **I**

Только к самому вечеру подошел опоздавший поезд к станции. Никто приезжих не ждал, и мосье Влипыяну пришлось раз десять забежать, крутя головой, к начальнику станции, припугнуть телеграфиста крепко составленной, но тут же назад отобранной телеграммой, горячо поговорить с молчаливыми крестьянами, обладателями подвод, а писатель, устало морщась, сидел в это время, раскинув плед на коленях, в грязном станционном помещении и тоскливо думал о несварении желудка, нарушенном режиме и необходимости пить слабительное.

Не дожидаясь и не расспрашивая, рыжий между тем шел по Чигдымскому шоссе вверх, делая чудовищно большие шаги. Он забирал пространство ногами, как легкие зигзаги мяча берут его под собою, отмечая точки касанья упругими взлетами. Кентаврическое наслаждение движением, словно едешь сам на себе, как на лошади, было одним из приятнейших для Арно Арэвьяна. Не видя людей, он не стыдился быть нежным. Его губы сложились в смешную и умильную гримасу. Маленькие глаза под разбитыми стеклами сияли нежной и сочувственной радостью. «Звездынька, — думал он, нелепо и чувствительно сокращая слово, вскинув разбитые стекла очков кверху, — милая, миленькая...»



Вечер сиял тысячью звезд в небе, контуры гор стали отчетливы, воздух налил­ся глубокими ночными запахами, пахло вокруг все, что днем неощутимо для пешехода, накрытое дорожной пылью,— гниль в овраге, грибки на древесной коре и самая эта кора; но гуще и слаще всех пахла земля органическими испарениями, сотней частиц, разминаемых под ногами и ютящихся между крепкими песчинками, подобно каплям меда между твердыми стенками воска. Все это знал и любил **рыжий**, чувствовал с благодарностью, потому что он был одинок и неразделенное наслаждение природой получил в дар вместе с одиночеством.

Впрочем, уже на втором повороте одиночество его стало условным. Мертвых дорог не бывает, и Чигдымское шоссе жило в этот час своей жизнью.

Тихие копыта волов ступали из темноты — жестом, каковы ладони, шутя на руках,— осторожно пятерней (ладоней); их головы мотались темными пятнами из-под ярма. Тонкий силуэт кнута, стоямя воткнутого в сено, возникал вдруг на зеленоватом небе. Кучер спал, уткнувшись лицом вниз; дыхание его, ночной сон человека, входила в глубину ночной симфонии как необходимый ее элемент. Еще сильнее вставал сон над круглыми темными кучами обозов, припертых к горному откосу; неподвижность их наливалась высоким смыслом покоя; оглобли были закинута на козла; ярмо уткнулось в землю, колеса осели, припертые щебнем; распряженные во­лы спали в позе египетских сфинксов или жевали тихонько, прислонясь к кустарнику. Шел мимо **поожиданный** человек, не разглядеть было, кто и какой он. Близость его в этом ночном мраке воспринималась **рыжим** почти физиологически,— как, не видя и не глядя, чувствует собака собаку.

Доверяя больше ногам, чем глазам, Арэвьян уверенно сокращал дорогу и догнал, уже беря последний подъем на вершину каньона, чигдымскую наемную ли­нейку. Тройка сытых лошадей везла ее, позванивая бубенцами; над пассажирами, в тесноте сидевшими спина к спине, болтался высокий балдахин «крытого верха», и кучер кричал «нно!» таким резким, крикливым голосом, что даже ночь вокруг показалась светлее.



Среди пассажиров была и Марджана, закутанная в кашне, с прижатыми к бокам локтями. Рыжий видел на станции, как она озабоченно переговаривалась с молодым парнем и как понес парень куда-то ее вещи, а сама она легкими шагами, спеша за ним, переходила мостик.

Он выступил из темноты и поднял руку.

— Место есть?

— А куда тебе?

— До гидростроя.

— Садись.

Линейка была полна, но рыжий прыгнул на подножку, подняв над головой свой сверточек, и, не дожидаясь ворчанья пассажиров, ловко втиснулся между девушкой и невидимым человеком в брезенте. Марджана, пуская его, приняла руку, и теперь он сидел с ней бок о бок, занеся руку над плечом ее, в неудобной и напряженной позе.

Ему хотелось, чтобы она признала его и заговорила первая. Но Марджана молчала. Между тем человек в брезенте сделал попытку зашевелиться. Он высунул из капюшона голову. Он-то уж во всяком случае признал рыжего, признал бы среди миллиона людей.

В темноте его усилия заговорить оставались незамеченными, но возня локтей раздражала соседей. Этот парень был худ, брезент его выпачкан беизином, руки непропорционально велики для туловища. Если б было светлее, по некоторым другим признакам — копоты в носу, черным ногтям, воспаленной глазной сетчатке и обветренности кожи на скулах — опытный человек угадал бы в нем шофера или автомеханика.

— Я извиняюсь...

Классически неграмотное слово потухло, как плохо зажженная спичка.

— Послушай, придержи локти, — заворчал сзади толстый чигдымский гражданин. — Ты не один едешь.

— Я извиняюсь, вот они должны меня помнить. На бирже, третьего дня... они речь произнесли.

Марджана вспомнила тотчас же слова своей тетки о смешном рыжем человеке на бирже. Она внимательней взглянула на соседа и встретила блеск его разби-



ных очков. Обращаясь к толстому гражданину, человек и презенте между тем продолжал:

— Хорошо они про машину сказали. Шофер я... Эх, едем вот на трех лошадиных силах, сидим боком, а была бы машина да руль в руке...

Прерывая его, сверкнули из темноты два ярких глаза автомобиля. С петушиным ревом прошла мимо эластичной, бесшумной лакированной крысой, вильнув кузовом, пустая машина; это за писателем послали из гидростроя на станцию.

— А был бы руль в руке... — он продолжал говорить, раздражая соседей. Усилие слушать мешало ночной тяжести их тел, мешало покою, дергало слух. Но каждому лень было сказать: «Замолчите». Беспокойный шофер сообщил о безработице, смерти жены, непорядках на бирже, чигдымском тесте, о различных системах автомобиля, о службе в России.

— Вы тоже на гидрострой? — тихонько спросил рыжий рыбак. Та наклонила голову.

— Желю вот забыть не могу, — упорствовал человек и презенте. — Еду, гляжу на звезды, ночь хороша, и думаю про себя: где она, где жена моя, есть ли что на том свете, или правду говорят большевики: религия — дурман. Трудно, очень трудно потерять близкого человека. Скажите мне, — продолжал он, настойчиво поворачиваясь к рыжему, — как, по-вашему, есть личное бессмертие или полное исчезновение, был человек и пропал человек?

Рыжий ответил:

— Разве непременно нужно личное бессмертие, чтоб не пропал человек?

Спины ехавших сзади шевельнулись — людям стало интересно слушать.

— И в каком возрасте должен он получить это бессмертие? Ведь он себя одинаково любит и ребенком и стариком. По-моему, если уж представлять себе вечность, так в виде...

— Ну?

Рыжий помедлил немного, он задумался.

— Бессмертие — это всеобъемлющая память, — сказал он, — отложи себя в мире, отработай честно, до



предела, и это не может исчезнуть, и память человечества навеки тебя удержит,— если не сразу, то постепенно придет к тебе. Ведь это факт: миллионы лет прошли, а мы постепенно восстанавливаем даже работу моллюсков, мы историю земли вспомнили, ихтиозавра вспомнили. Неужели работу человека не воскресит память? Ведь она же в материи отложится, эта работа.

Но рыжего не поняли на линейке, и человек в брезенте, вздохнув, стал смотреть на звезды.

Линейка остановилась. Извозчик слез и, подойдя к нагруженному кузову, молча отвязал багаж.

Марджана расплачивалась, и рыжий нащупал в кармане монетку. Им предстояло идти с полверсты вниз, вещи Марджаны он связал и перекинул через плечо.

Девушка же взяла его сверточек. Без любопытства и не бунтуя, принимала она это совместное путешествие, и пальцы ее равнодушно лежали на свертке, не прощупывая сквозь бумагу, что везет странный рыжий человек в пакетике. Он легко понес тяжелые саквояжи, ступая за нею большим и сильным телом. Он молчал, чувствуя молчанье ее как обязательство. Он только раз, когда она оступилась, быстро и крепко взял ее под руку и тотчас выпустил, почувствовав неприязненное одиночество этой равнодушной и неохотно отданной руки. Так они шли, все ускоряя шаги, почти бежали на белый огонь городка. Первый барак наплыл на них квадратиками освещенных окон. Тогда девушка остановилась и взяла свои вещи.

— Вы сказали про память. Но память — проклятая вещь, проклятая,— внезапно произнесла она, подняв глаза на внимательные стекла спутника.— Много есть такого на свете, о чем лучше не помнить. Фальшь, например. Ну, прощайте. Сюда я только на сутки, больше, может быть, и не увидимся. Благодарю вас.

## II

Первый строительный участок расположился в три яруса по косогору.

В самом низу, где шумела речка Мизинка, работала сейчас третья смена, и оттуда шел яркий свет; повыше



темною тенью стояли бараки, плохо пригнанные, слабо освещенные; красноватые лампочки здесь часто выкручивались, вызывая грозную ругань коменданта. Заглянув в окно, вы могли бы увидеть полутемные углы общежития, койки со свернутым в трубку одеялом, одиночество голых, ничем не украшенных стен, полы, еще влажные от мытья, железную печку с обугленным поленом и возле — недосушенный сапог или обмотку. Здесь жили сезонники, их холостяцкий быт пахнул недоеденным куском ячменной лепешки, принесенной с собой из деревни, и тощая курница заходила сюда со двора, вертя головой, хотя оставляла курица больше, чем подбирала, к великому раздраженью уборщиц.

Ярусом выше были бараки семейных, тут жили мастера, механик, монтер, партийная и профсоюзная интеллигенция. На окнах висели занавесочки, тюлевые гардины. Приподнятый край их открывал картину жилья, устроенного прочно. Сюда свезли из города железные кровати, тюфяки и венские стулья. На стенах висели шитые крестиками дорожки, и чистая бумага украшала полки, где ярко блестели сковороды и кастрюли. Семейная кровать с обилием подушек и пестрым стеганым одеялом выдавала простейшую правду жизни; и еще не спали дети, возившиеся, приподнимая голые задки, на полу и лежанках.

Здесь уже был некоторый устой, перед баракom остро пропитанная земля стеклела в помоях,— утром была стирка,— влажно болтались в воздухе протянутые между столбами веревки.

В одном из окон мелькнула голова человека, читавшего книгу. Он двигал губами, два бледных сероватых уха малокровно топырились под ладонями, державшими голову. Глаза человека опущены, черная с подпушиной борода, когда вбирал человек передними зубами в рот нижнюю губу, покусывая ее, вставала дыбком, волосок к волоску, на круглой впадине подбородка. Нервно дернулись желваки,— это он почувствовал на себе взгляд рыжего через окно,— впрочем, рыжий был уже далеко, он шел наверх, описав ровный полукруг вдоль всего косогора.



И когда вернулся наверх, к той самой линии барачков, с которой начал свой пробег по участку, — рыжий очутился в верхнем ярусе, где находились конторы, домик начальника участка, клуб, жилье старших технических служащих. Здесь он обдернул на бедрах свою «амазонку», поправил очки на носу и двинулся в контору.

Начальник участка, Левон Давыдович, сидел за стеклянной дверью, лицом к окну, спиной к двери. Спина Левона Давыдовича была выразительней его сухого, щучкой вытянутого книзу лица. По спине угадывался пугающий, спина имела выправку. Плечи полого спускались вниз, шея ловко двигалась в чистом крахмальном воротничке, и только дергавшаяся под тужуркой ключица выдавала нервозность Левона Давыдовича. Собачий день выдался сегодня. Утром он поругался с председателем месткома. В обед грузовик привез из Чигдыма необыкновенную женщину с ветхим клеенчатым портфельчиком — народного судью. Вечером предстояло присутствовать на суде над проворовавшимся рабочим, то есть, по мнению начальника участка, не признававшего никаких общественных функций на стройке, — жестоко терять время; и вот сейчас, наконец, в эту самую минуту, ожидал он вдобавок европейского гостя, о котором возвестил телефон со станции.

В такое неподходящее время для представленья за спиной Левона Давыдовича кашлянул кудреватый с проседью мужчина в черной кавказской рубашке, с ремешком вокруг талии, начканц Захар Петрович. Он держал за локоть рыжего.

— Нет, это ваше дело, подчеркиваю — ваше личное дело, — Левон Давыдович почти вскочил со стула. В другое время он сказал бы совершенно иное и прежде всего разглядел бы нового служащего. Но сейчас он думал о скандальном поведении месткома в конторе, о дерзостях, выслушанных в присутствии рабочих.

— Я не уполномочивал вас, Захар Петрович, на такой рискованный способ приглашения служащих! У нас каждый день неприятности, вы сами слышали. Согласуйте, если хотите, с месткомом... Но имейте в виду, — я ничего не слышал, не знаю, не принимал. Нет, нет,



оставьте разговор до согласования с надлежащими органами!

Он схватил фуражку. И только сейчас встретился с веселым взглядом рыжего. Этот взгляд порастил его своей рассудительностью, смешанной со странным и почти добродушным юмором.

— Разумеется, архивариус нам нужен...— вырвалось у него против воли. Но тут же, досадуя на себя, начальник участка вышел.

Десятком огней светились вокруг бараки, сноп белого пламени стоял над руслом Мизинки, весенний воздух был чист, но Левон Давыдович злился. Крепким сердитым шагом промаршировал он вдоль конторы и, чтоб сократить путь, решил идти через соседний барак, где жили конторские служащие.

Тут, однако же, раздражение его усилилось. В коридоре барака было не прибрано: ослежен пол, забрызганы красные трубки огнетушителей, кадка в углу полна мусора, жестяной рукомойник пуст, а в переполненной шайке под ним несчетное количество папирос. Левон Давыдович не знал, что запустение здесь было преднамеренным. Барачные дамы забастовали с утра. Ни одна из них не вымела коридора, не вылила шайки, не вынесла мусора. Причина тому крылась в комнате № 4, где жительствовавший начканц.

Частые отъезды его жены, Клавдии Ивановны, взваливали на соседок тяжкие повинности коммунального характера. Уборщица барака для служащих была сегодня выходная. В такие дни жены служащих выполняли чистку по очереди. Но выходило как-то так, что как раз в эти дни жена начканца отсутствовала. А тут изволь и мести и мыть, пока ходит и сорит окурками чужой мужчина, не сват, не брат, грязными сапогами по общему коридору, побрякивая кавказским пояском на черной шерстяной рубашке и никогда не отвечая на поклоны или вежливые «здравствуйте».

Правда, и присутствие Клавочки сулило соседкам мало приятного. Каждая имела тут мужа, сына или зятя. Тайное женское чутье возвещало им об опасности, заключавшейся в присутствии Клавдии Ивановны, в шелесте юбки ее, пахнувшей валерьянкой и китайским



чаем, топоте туфель ее, сношенных сбоку, взлете волос ее, медных на солнце, сдобном и рассыпчатом голоске ее, умевшем заговорить кого хочешь, а уж смеха Клавдии Ивановны не переносила ни одна женщина в бараке.

И не работала Клавдия Ивановна ни для себя, ни для мужа, белья не стирала, держа по месяцам скопленным где-нибудь за корзинкой или же шкафом; чайные чашки ополаскивала водою из рукомойника, забывая их вытереть; обед брала из столовой, или возьмет горшок мацуна и ест с мужем из крынки, сыпля в нее сахарного песку нерасчетливо,— социальная угроза бараку была в поведении, во вкусах, во внешности Клавдии Ивановны, и если брился муж или сын перед зеркальцем да не шел утром в пропахшее аммиаком отхожее место, а спускался куда-нибудь вниз, под незаметный пригорочек,— значит, теплый ветер весны проносился по коридору, теплое безумие опархивало огнегасители рваными шарфиками Клавдии Ивановны, значит, пожаловала она сама из города на участок.

Такое же глухое чувство тревоги испытывала и «первая дама» участка, жена Левона Давыдовича, «мадам», как звал ее муж, говоря о ней с кем-нибудь третьим.

Левон Давыдович долго работал в Бельгии, и жена его была бельгийка. «Мадам» была старше мужа, в волосах ее, собранных под шелковую сетку, проступала седина. Она жила в двух комнатах, где прохладно блестел фарфор на полках, мерцало серебро, сине-белый отлив полотняных салфеточек говорил о добротной стирке и глаженье. С двух темных фламандских картин на стене дышали влажные языки легавых, застигнутых художником на охоте над пойманной дичью,— Левон Давыдович был охотник, он собирал охотничьи картины и старинные кавказские патронташи. В обед стол накрывался так, как нигде нынче: хрустальные подставочки, три сорта ножей и вилок; лиловый датский фарфор на белоснежном полотне скатерти, множество графинов и тарелочек, чье назначение постороннему оставалось тайной.

Вошедший гость в предвкушении блюда приятно провел бы полчаса за разглядываньем сервировки. И гость



был бы жестоко обманут. Весь гидрострой знал бельгийскую кухню «мадам». Ее безжизненные супы вошли в поговорку. Вареная курица с запахом розы и лаванды, одинокая на блюде, в окружении пяти-шести твердых и непроваренных картофелин, пугала воображение инженеров и техников, изредка приглашаемых на обед. Скупость царила здесь, хлеб резался бумажными ломтиками, крошки собирались в жестянку на пудинг.

Придерживая тонким пальцем с рубиновым перстнем занавеску, «мадам» глядела с сухою и ревнивою горечью в окно на мужа, — он вышел только что из соседнего барака.

— Мари, — сказал Левон Давыдович, появляясь в дверях, — вот тебе новость. Приехал немецкий писатель, настоящий, знаменитость. Его надо принять как можно приличней. Займись этим. И кстати... скажи ты, пожалуйста, кому-нибудь в соседнем бараке, чтоб убрали грязь. Это невыносимо, я штрафовать буду!

Он повысил голос до тонкого визга, потому что заметил кривую, многозначительную улыбку «мадам» и знал ее смысл так же точно, как полную для себя невозможность пускаться в опровержения; знал он также и свойство своего характера — длить неприятные минуты, почти наслаждаясь их губительным действием. И сейчас, вместо того чтобы уйти, он несколько раз повторил: «штрафовать», потом сел в столовой, явно мешая жене и мучительно желая ее реплик, ссор, неприятностей, чего-нибудь, что поставило бы, наконец, точку над всеми несчастьями сегодняшнего дня.

### III

— Н-ну! — сказал начканц, как только Левон Давыдович вышел. — Ну и ну! Пиковый валет, придется нам с вами идти к председателю месткома.

Он с величайшим огорченьем оглядел контору.

Архив, только что привезенный сюда из города, в совершенном беспорядке валялся на полу. Бумажки, не вшитые в дела, перемешались и кашей ползли с полок, оседая под тяжестью брошенных сверху папок. Конверты с вырезанными кем-то марками, зияя дырами, кое-



как перевязанные бечевой, кирпичами стояли вдоль стен. Пыль лежала густыми пятнами, снятая лишь сомнительным пожатием чьего-то сапога.

— Вот извольте видеть,— на вас вся надежда была! Во-первых, два языка, во-вторых, добрая воля. Поищите-ка человека на ваш оклад со знанием русского и армянского. А теперь я вам прямо скажу: ничего не выйдет. Знаю я местком.

— А вы, Захар Петрович, сходите все-таки,— посоветовал конторщик Володя, предвидя неприятную нагрузку для себя самого,— ревизия будет,— достанется и вам и месткому. И без того в конторе чихают, как на табачной фабрике, а я, заранее вам говорю, я этих бумаж, просите не просите...

— Молчи! — оборвал начканц.

Он хотел выругаться, но тут заметил выразительный взгляд рыжего. Рыжий глядел на бумаги — и, черт побери, как он глядел на них! Старый библиотечный маньяк мог бы глядеть так на партию переводных романов, где совершаются убийства, сыщик бродит по страницам, замедляя развязку, он и она избегают друг друга, чтоб истомить любовью читателя, словом, где есть все специи для вкусной приправы серенькой и обыкновенной жизни.

Не довольствуясь взглядом, рыжий вдруг подошел к пачке конвертов и взял ее, как берут покупку. Положив на стол, он развязал веревку и стал перебирать конверты, разглядывая их, приподымая к очкам и смахивая с каждого пыль. Ловкие пальцы вытаскивали бумажку, она легко и приятно разворачивалась,— от конверта к конверту шла длинная повесть.

— Знаете что? — сказал рыжий, встретив прищуренные глаза начканца.— Будь только возможность, я бы вам это даром разобрал. Захватывающее чтение. Но сейчас, если так надо, идемте в местком.

Когда оба они вышли и в конторе стало сонно и тихо, Володя нерешительно выбрался из-за стола, где он вяло полировал себе длинный грязноватый ноготь на мизинце. Володя считался красавчиком, огромнейшая шевелюра у него низко свисала на лоб, рогами испанского меринуса закручиваясь над приятными глазками; Во-



лодя носил френч и комнату свою украсил портретами киноактрис. Он подошел к пачке с конвертами и любопытно взглянул на первый. Потом, почесываясь, вынул из конверта листок и прочитал его.

— Ерунда, — сказал себе Володя, бросая листок поверх конверта, — фокусничает, цену набивает. Ерунда, — повторил он почти обиженно.

И все-таки, возвращаясь к столу и полированию ногтя, неприязненно, навязчиво, с каким-то беспокойством он продолжал думать о зажегшемся взгляде рыжего и о словах его. Что же могло быть интересного в переписке насчет пятидесяти бочек цемента?

Между тем во втором ярусе начканц и рыжий ходили от барака к бараку, ища председателя месткома, и, наконец, узнали, что он пьет чай в соседнем бараке, у завскладом Косаренки.

— Своя компания, — просвещал рыжего по дороге начканц, впрочем, очень тихо и оглядываясь, не слышит ли кто.

Здесь два мира делились, им предстоял спуск за враждебный ему, начканцу, кордон. Наверху, в конторе, каждого из этого чуждого мира наградили тайными кличками, и с каждым велась политика. Председателя месткома, Агабена, хорошего коммуниста, звали в конторе «вредным». Секретаря ячейки, молчаливого и очень молодого, совсем недавно приехавшего на участок, наоборот, снабдили наклейкой «безвредный», а в разговоре с приезжими прибавляли еще: «секретарь у нас подготовленный», потому что приехал он прямо с партийных курсов. Завскладом Косаренко, в прошлом моряк из Архангельска, именовался «отчаянным». Еще один коммунист, Степанос, бывший учитель, получил прозвище «дьячок».

Все четверо, они сидели сейчас в душной комнате Косаренки, где пахло чем-то очень уютным и семейным — от высоких перин, от чая, от пара, от смазных сапог и разморенной на печи гречихи. За столом, кроме них, были гости: Марджик и необыкновенная женщина с клеенчатым портфельчиком — чигдымский народный судья.

Женщина была худощава; длинные глаза ее косили



чуть-чуть; горбатый нос, тонкий и смуглый, говорил о характере и делал профиль ее похожим на арабскую лошадку. Очень широкая в бедрах, она сидела красивой позой женщины, которая никогда не думает, как ей держать себя и куда деть ноги. В этой счастливой и очень редкой у женщины особенности чувствовать свои ноги, как руки— двумя добрыми друзьями,— было что-то мужское и независимое. Марджик поместилась возле нее, облокотясь на стол, и, несмотря на свои пыльные мужские сапожки, упершиеся в подножку стола, казалась женственней, чем элегантная и слегка надушенная соседка.

Они говорили о предстоящем суде, перед смуглой женщиной лежал блокнотик, исписанный мелким, тончайшим бисером армянской вязи. Карандаш она держала наготове, как револьвер,— стук в дверь заставил ее вскинуть раскосые глаза на входящих.

Появление начканца и рыжего было необычайно, и в ту же минуту в комнате все замолчали, даже дети Косаренки прекратили возню.

Трудная обстановка сложилась в те дни на участке. В необъятной стране нашей то был крохотный и очень глухой уголок, десятком километров отдаленный от ближайшей станции; а эта станция, тоже глухая и маленькая,— целым днем железнодорожного пути отдалена от республиканской столицы; а самая эта столица — в семи днях пути от центра советского государства. Лишь на девятые сутки сюда завозили московскую газету. И все-таки, как и всюду, как и в других, еще более глухих уголках, жизнь отражала здесь одни и те же черты и факты, переживаемые всею страной. То был тяжкий год; все темные силы, казалось, поднялись в том году для яростного сопротивления большевикам. В генеральных штабах Англии и Франции готовились к новой интервенции против нас. Бежавшие за границу старые хозяева русских шахт и заводов продавали иностранцам родину и подкупали продажных специалистов. Враги народа, отколовшись от партии, смыкались с агентами иностранной разведки, поднимали на советскую власть кулака и проходимца. А на маленьких сравнительно стройках, подобных Мизингэсу, все это



отражалось по-своему, — в осмелении старых служаек, для которых новый строй казался временным и обреченным на провал, в борьбе их, явно и втихомолку, против новых сил на участке — профсоюза, партийной ячейки; в склоках и дразгках местных «дам», в наущничестве, клевете. К тому же многие проекты, составленные наспех, задерживались в центре, где шли работы по составлению первого пятилетнего плана, а это влекло за собою задержку и прекращение кредитов, что еще больше сгущало и осложняло положение.

Прежде чем заговорить, начканц отдышался. Рыжий использовал передышку по-своему: он внимательно обвел стеклами всех, кто сидел за столом. Степаноса, или, по-конторскому, «дьячка», он уже видел: два бледных уха были ему знакомы по голове в окне, читавшей книгу. У Степаноса было доброе сероватое лицо с бескровным большим ртом, густо обросшим бородкой. Когда в раздумье закусывал он нижнюю губу, бородка его вставляла волосок за волоском, как у ежа. Ходил Степанос в длинной одежде старинного сюртучного покроя. Голос у него был приятнейший, без хрипоты. На участке Степанос заведовал клубом и ежемесячно составлял сам, размножаясь на десяток подписей и меняя шрифты, обстоятельный номер стенной газеты под названием «Луйс»<sup>1</sup>. Косаренко был красен от чая, а белые ресницы и брови, мукой посыпанные на лицо, еще сильнее оттеняли его красноту. Кожа у Косаренки казалась выведенной от множества крупных желтых веснушек. Расстегнув ворот, он сидел перед клеенкой, мокрой и облепленной кусочками хлеба, держа на коленях такого же красного и беловолосого, такого же разморенного от духоты и пара голенького сына, Ванятку.

Секретарь ячейки допивал свой стакан в задумчивости, едва взглянув на вошедших. Рыжий мельком увидел его чистенький френч, яркие желтые штиблеты, значок в петельке, густейшие черные брови толщиной в два пальца и остановил глаза на последнем из сидевших, председателе месткома, или, как сокращенно звали его здесь, «месткоме» Агабеке.

---

<sup>1</sup> *Луйс* — свет (армянск.).



Местком Агабек был горбун. Он привстал навстречу вошедшим. Его руки, лежавшие на столе, были несмываемо черны еще с той поры, когда Агабек был кожевником и мял вонючую кожу. И все же что-то обаятельное, что-то завораживающее было в той силе страстности и напряжения воли, какая, казалось, жила в небольшом и хрупком теле этого человека. Зелеными глазами горбун недоверчиво уставился на начканца.

— Мы к вам по делу, товарищ Агабек,— проговорил начканц вкрадчивым голосом,— такое пиковое дело,— архив в конторе видели? Я три дня мотался, не мог найти архивариуса, одного биржа дала — умер, другого взял — вот он самый, разрешите согласовать, провести и все такое прочее как можно скорей. А то наедет ревизия, а грамотному человеку с этими бумагами...

Не успел он закончить фразы, как неожиданно вмешалась Марджик:

— Вот, Степанос, вам и помощник! Вот и конференсье на вашем дивертисменте! Это отлично, что вы зашли, товарищ.

Рыжий благодарно улыбнулся ей: Марджана оказывала ему, сама не подозревая, огромную услугу. Агабек нервно заколотил ногою под стулом,— вопрос разрешался в сущности; он не нашел, что сказать сейчас,— включение нового человека в штат казалось солидным и всеобщим делом, о котором начканц поднял голос, только и всего. Именно так почувствовал положение и Захар Петрович. Он придумал хитрейший ход, каким умная женщина подкидывает мужчине чужого ребенка.

— Так вы с ими, товарищ, приканчивайте скорей, а у меня дело ждет.

И, подмигнув рыжему, он пошел было к двери, потом обернулся, сделал поистине вдохновенное лицо и выбросил козырь, покрыть который нечем было никому из присутствующих:

— А насчет жалованья, друг любезный, честию прошу, не жалуйтесь и товарищу Агабеку лишних забот не сочиняйте,— контора, заранее говорю, больше не даст. Кого хотите спросите,— тарифная ставка, они вот сами в колдоговоре выработали.



Он даже руками развел, — дескать, навязываете людей, так уж и отвечайте!

Чувство меры не позволило ему, однако же, насладиться плодами своей политики. Он тотчас же вышел, прихлопнув дверь, и только на воздухе позволил себе триумфальную улыбочку. Недаром уважали начканца Захара Петровича, недаром ценили его в управлении, и сам начальник участка советовался с ним в тугих обстоятельствах. Щуря свои монгольские глаза, он круто вышагивал по косогору, и серебряные наконечники кавказского пояса бормотали у него по бокам: та-лей-ран, та-лей-ран.

#### IV

Секретарь ячейки аккуратно допил свой чай, встал с места, подтянул френч книзу и очень густым голосом, таким же, как его брови, сказал:

— Ну, пока.

Марджана вопросительно посмотрела на него. Они еще не договорились, как лучше начать собрание, с митинга или прямо с суда. Станный человек! Сидел весь вечер молча, а как пришло время подать голос, — вот тебе и подал голос. Она видела блеск его начищенных желтых штиблет, когда он шагнул к вешалке, чтоб снять нарядную клетчатую кепку. Словно чувствуя на себе ее взгляд, он обернулся к ней:

— У меня занятия с комсомольцами, я, может, успею зайти попозднее. — Сказал и вышел.

Косаренко подвинул рыжему освободившуюся табуретку. Это был хороший, товарищеский жест, и рыжий сел, принимая обстоятельства себе на пользу, но, впрочем, ничуть не лукавя и не ведя политики. Ему попросту было хорошо, он согревался от мартовской стужи, присутствие Марджаны казалось прочным, а главное, один человек заинтересовал его, крепко и всерьез заинтересовал, — Агабек.

— Чайку? — спросил Косаренко. — Жена, Акулина Ивановна, попотчуй.

Рослая и светлая жена Косаренки, с гладко зачесанными волосами, молча поставила стакан и придвинула к рыжему блюдечко с колотым рафинадом.



— Не нравится мне ваш секретарь,— сказал судья мелодичнейшим голосом.

— Секретарь у нас аккуратный парень,— возразил Косаренко; и нельзя было разобрать, говорит он всерьез или шутит.— Зайдите к нему,— стенки сплошь занавешены, щеток сколько хотите — для зубов, для костюма, для шевелюры, для желтых штиблет, для черных штиблет. Я ему говорю: женись! А он отвечает: «Беспорядок разводить, что ли?»

Но Степанос насупился. Не нравилась ему манера обсуждать товарища за спиной, а тут еще чужой человек. И чем плох секретарь? Прежнего сняли за неопытность, а этот в Москве на курсах учился, литературу выписывает, у него полное собрание Ленина в переплете. Зайдешь — журнал на столе, отчеты со съездов...

— Подготовленный, одним словом,— опять вставил Косаренко, и совершенно нельзя было понять: ирония в словах Косаренки или честный, всеми разделяемый трафарет.

— Будет,— вдруг негромко проговорил Агабек.

Сразу все замолчали за столом. Смеющееся лицо судьи стало серьезно. Косаренко кивнул жене, Акулине Ивановне, и та приняла от него Ванятку.

— Вот, товарищ, об чем речь,— продолжал Агабек, повернувшись к рыжему,— клубный день у нас сегодня, программа выработана уже с неделю, но только приходится ее расширить. На участке у нас случился постыдный факт. Покража государственного имущества.

Как только он произнес эту фразу, все сидевшие за столом взглянули на него, и раздробленное внимание стянулось.

— Совершил покражу рабочий. Правда, не кадровик, а сезонник, из местных крестьян.

— На половинных началах,— пояснил Степанос.

Но вопросительные очки рыжего остались недоумевающими. Рыжий не знал, что это за штука — «на половинных началах». И тотчас же в каждом из сидящих за столом вспыхнул интерес к вещи, которую нужно было объяснить другому.

— Замечательное явление это «на половинных началах»,— сказала судья, блестя раскосыми глазами.



Не так давно она исписала мелкою вязью целую страницу блокнота по этому поводу.

— На **половинных началах**, — проговорил Степанос, — живут бедняки в **Армении**, наш **Лорийский уезд** в этом отношении один из первых. **Предположим**, у вас есть кусочек земли и нет скота, нет инвентаря. **Богатый сосед берет** вашу землю, он обрабатывает ее, засекает, жнет и дает вам на землю половину урожая. Это и называется «на **половинных началах**».

— **Обратите внимание!** — вмешалась судья.

Глаза ее блеснули, опадая к вискам; она необыкновенно похорошела. Каждый интеллектуальный подъем красил ее так, как других красит чувство. Еще недавно, записывая его в блокнотик, судья наслаждалась оригинальностью вывода:

— Какой изворот происходит в крестьянском хозяйстве! По-нашему, это бедняк, но в сущности... да, в сущности ведь он не бедняк, а рантье, мелкий собственник, получатель дохода! Он землю за проценты **взаимы** дает!

— Ну, закатили!

— Я вам говорю, мелкий земельный собственник! У него недвижимость, он получает с нее доход, а сам ничего не делает, сам большей частью идет на приработок в город, имеет тридцать — пятьдесят рублей в месяц. Почему я должна считать его бедняком? Почему он не помещик? Нет, погодите, погодите, ваши возражения мне лучше вас известны, я хочу, чтоб вы поняли мою мысль, — он имеет чистый доход с находящейся где-то там недвижимости, ему каждый год аккуратно поступают мешки пшеницы или ячменя, точь-в-точь как помещику... Какая же это крестьянская жизнь?

— Бог знает что за ерунду ты несешь, Арусяк! — недовольно вмешалась Марджана.

Судья была старой ее приятельницей. Свойства капризного ума судьи были известны Марджане. Она знала, что подруга ее очень мало дорожит тем, что можно назвать целью мысли, конечной установкой ее. Но дороги мысли, всякие, кидающиеся в глаза, привлекали ее неудержимой потребностью бега, как тысячи тропинок, неизвестно куда ведущих. Ступать на эти дороги, на все,



сколько их ни попадется, было сильнейшею страстью Арусяк. Оттого, может быть, тихая и замкнутая Марджана немедленно вывешивала на них аншлаги. Она говорила подруге: ерунда, чушь, фантазия, хотя многое из того, что придумывала Арусяк, не было ни ерундой, ни чушью, ни фантазией.

Степанос следил за спором двух женщин снисходительно. Ни за что не признался бы он в этом самому себе, но они были для него «всего только» женщинами — существами не вполне ответственными за свои рассуждения, которые всерьез принимать не следует: пережиток, еще им в себе не искорененный. Раскладывая по столу большие, плоские, сероватые руки, принятые только что от разглаженной бороды, учительским тоном намеревался Степанос дорисовать им картину бедняцкого хозяйства.

Но тут опять вмешался Агабек, совершенно игнорируя женщин и Степаноса. Зеленые глаза его смотрели на рыжего:

— Так вот, приехала судья из Чигдыма, и нам требуется провести в один вечер суд, митинг и концерт. Об этом тут и было говорено, когда вы пришли. Товарищам трудно приходится, а я полагаю, соединить это можно. Но вопрос в том, как соединить?

— Я не могу суд делать зрелищем и отодвигать его в концертное отделение! — тотчас же подала реплику судья.

— Тебе не следовало звать меня и выдумывать мой доклад, — тихо сказала Марджана, — прекрасно можно было обойтись без него.

— Одним словом, каждый другому помеха, — резюмировал Степанос, — кроме того, неудобно как-то: на что именно звать рабочих? Больше трех часов они сидеть не станут, и то от силы. На концертное же отделение каждый пойдет, но и тут у меня заминка. До вашего прихода я говорил товарищам, что необходимо убрать нашего конферансье.

— А кто у вас конферансье?

— Володя-конторщик, — сказал Косаренко, — есть такой, с шевелюрой, — он сделал волнообразный жест



пальцами со лба к носу, и рыжий тотчас вспомнил унылого «мериноса» в конторе.

— Тип этот неподходящ. Попробуйте вместо его, сможете?

Но рыжий не сразу ответил, потому что он серьезно обдумывал дело.

— Вот что я предложу, — снова выручила его Марджана, — объявим общее собрание, — оно и без того необходимо, — на участке сейчас немец, писатель. Надо немцу показать рабочую общественность. На общем собрании поставим вопрос о воре. Можно так: со стороны общественного урока, что ли, первое воровство, тревожный факт, несознательность рабочего, ворующего у себя, в своем хозяйстве, — дадим зарядку в зал, пусть это будет переходом к суду. Поручите мне вместо доклада. Выборы из зала — обвинитель, защитник, свидетели по желанию. После суда конференсье скажет о приезде госте, потом несколько слов по-немецки... Есть немцы-рабочие?

— Латыш-мастер есть, он по-немецки говорит.

— Валяйте латыша-мастера. А там и концерт.

Рыжий глядел на Марджану. Но девушка уже замолчала; подперев голову, она думала о чем-то, опустив ласточкой красивые бровки.

— Ишь ты, — сказал Косаренко, — видать, выйдет дело. Ну, как наша программа, Агабек, годится, а?

— Кой с кем посоветуюсь насчет иностранца, — допускать ли его до наших внутренних дел, — уклончиво ответил Агабек. — Набрехает своим.

— Напротив, — подмигнул Косаренко. — Смотри в открытую, — ничего не прячем. Они и во сне такого не увидят, как наш пролетарский общественный суд. Расскажет — за нас сагитирует.

Не стал Агабек терять времени. Вынув черными крепкими пальцами часы из кармана, поглядел на часы, сверил, идут ли, и кончил голосом твердым, не поддающимся на душевные чувства:

— Айда, Степанос, объявляй общее собрание. Иди и ты с ним, товарищ, в клуб, готовься к программе. Гони, Косаренко, публику из комнаты!



Сияя любезнейшей улыбкой, «мадам» вышла встретить гостя на самое крыльцо. «Мадам» была в старом мягком шелку, шурша падавшем до полу: моды кончились для нее днем выезда из Бельгии. В ушах ее и на пальце горели настоящие благородные рубины, окруженные мелким алмазным блеском. Сухое и породистое лицо было сейчас приветливо — она радовалась возможности поговорить на жестком немецком языке, принять настоящего благовоспитанного человека.

Но когда немецкий писатель, тяжело дыша, поднялся на последнюю ступеньку и усы его раздвинулись ей навстречу, «мадам» испытала легкое разочарование. Безошибочным чутьем она поняла: «Этот не из общества». Поредели нитки на швах его рыжего пальто, воротник неприятно лоснился, главное же было не в этом, а в чересчур ярком и нечистом блеске старых глаз, окруженных мешочками, и запахе табаку, несомненно третьесортного, и пуговице, подшитой недавно и неаккуратно.

Улыбка ее убавилась, как убавляют огня в керосинке.

И писатель, привыкший у нас к товарищеской простоте отношений, смутился и засутулился вдруг, словно попал к себе на родину. Неприятно усмехаясь, он поцеловал руку хозяйке и боком шагнул за ней в двери.

Положение спас Левон Давыдович, мало понимавший в тонкостях. Он пригласил к чаю старого глухого инженера, состоявшего у него в помощниках. Инженер напряженно прислушивался, держа ладонь горсточкой возле правого уха. Густые красивые шторы плотно закрыли окна, свет падал сверху неровными пучками, оттененный пестрой бахромой абажура. На скатерть легли кудрявые тени.

«Мадам» раскладывала варенье на блюдца, тихо позванивая ложечкой, чай пахнул густо и крепко, писатель водил вопросительно глазами, не зная, каким тоном надлежит здесь вести беседу. Влипьян отсутствовал. Пригласить его Левон Давыдович попросту позабыл.

— Мы самі недавно из Европы, — начал хозяин, — многое мне тут непонятно, многое пошло назад. Да, да,



именно назад. Года за три до войны Россия начала богатеть и расти технически. Она пыталась трестировать, синдикализировать, гналась за концессионерами. Я работал тогда в Бельгии. Этот процесс был замечен из-за границы. Сейчас мы брошены лет на тридцать назад: есть что-то дикарское, грубое, мелко-нахрапистое во всем этом, как война босиком, именно босиком.

— Но, вы чересчур резки,— с запинкой ответил писатель. Он вспомнил вагонный разговор.— Новые общественные формы даром не достаются.

— Ах, новые общественные формы! Уверяю вас, многие тут только делают вид, что верят всем этим вывескам. Не вижу я этих новых форм,— от них я бежал пятнадцать лет назад в Бельгию: та же полная неразбериха, кого слушаться, вечная боязнь окрика, и кричит первый, у кого есть глотка, первый попавшийся. Одни стараются угодить больше, чем от них требуется, другой прикидывается лицом значительным, важней, чем он есть, как в торговле, в работе, в ремесле — утруска, усыпка, передача или недохват, недовесок; ни в чем,— понимаете, ни в чем,— нигде, никакой меры...

Старый инженер, откашлявшись, вступил в разговор:

— Я всегда утверждал, что инженер во время работы есть хирург...

— Ах, Александр Александрович, сейчас речь не о том,— наклонилась к нему хозяйка. Но он не услышал ее.

— ...есть именно хирург с ножом в руках. Не говорите хирургу о жалости к человеку, когда он должен резать. Не говорите инженеру о жалости к рабочим, когда от него требуется строить.

Гастрольная фраза была окончена, и старик замолчал.

Легкая и унылая скука определилась на лицах.

Писатель слышал здесь почти дословно свои собственные рассуждения,— что-то, однако же, странное происходило в нем. Там, в вагоне, он сознавал себя глашатаем истины, здесь... но, быть может, навязчивый взгляд хозяйки на его шевелюре, да, не совсем хорошо поседевшей шевелюре, следы дешевой парикмахерской краски; ее понимающий взгляд,— далась дамочке пуговица!



Unglaublich<sup>1</sup>, однако, несомненно, «мадам» вздрагивает ноздрями, как швейцарский блюститель порядка, у которого спрашиваете вы на улице название отеля: «С абсентом или без абсента?» Черт возьми, какое вам дело, пьющий вы или нет? Ну да, он выпивал у себя на родине; горькие минуты, когда вас травят, одиночество, неблагообразие бедности: платите хорошие деньги — кто станет пить дешевую дрянь? Дальше, дальше от прошлого, но взгляд толкает его в грудь, в лицо, в голову, толкает назад, за пройденную черту. Он тяжело поднимается с места...

Общество, то самое общество, что извергло его, вышвырнуло на улицу, виноват — попросту не приняло, держало перед входною дверью и словечко «дома нет», — общество сидело сейчас перед ним, сияя порою тонких черточек, блестя алмазною россыпью на скрещенных пальцах, вздымая из брюссельских кружев змеиную удобу шеи и проницая его змеиным взглядом. *Ne vornehm, ага, не vornehm!*<sup>2</sup>

— Я хочу здесь говорить русская речь! — взволнованно произнес писатель; чувствуя дрожь всего своего старого тела. — Великая, свободная, универзальная русская речь. На мне, на мне... на меня странно кажется, как вы сидите тут и говорить тут мелкий чужой слова. Вы говорить дикар, — о, это позор говорить дикар, имея быть сын великой страны, великого универзального дела. Нет, мое сердце слаб, волнение ядовит меня, я покидай общество...

Он совершенно не был готов к тому, что случилось. Он сознавал: это истерика. Но уже отступать было невозможно, и мельком, в преувеличенном забытьи, он различил искаженное ужасом лицо глуховатого инженера, каменный лик «мадам», чайный стол...

Театрально приподняв руку к сердцу, писатель склонил голову и вышел в переднюю.

Молча стоял Левон Давыдович, держа в руках пальто его. Писатель несколько раз попадал руками в

<sup>1</sup> Невероятно (нем.).

<sup>2</sup> *Vornehm* — благопристойный, приличный; почти непередаваемый эпитет особенной формы светского «хорошего тона», «приличности» (нем.).



подкладку, он уже страдал, он ждал помощи, чтоб разрешить экзальтацию во что-нибудь обыденное и спасти положение. Однако же Левон Давыдович ему не помог. Он раскрыл дверь, принял писателя под руку и свел по ступеням.

Клуб ярко сиял огнями, — там готовились к общему собранию. И в полном безмолвии Левон Давыдович повел писателя в клуб, чтобы сдать его мосье Влипьяну.

Александр Александрович, одеваясь, — он тоже не стал пить чай, — белыми губами шептал «мадам», что из этого может выйти скандал и что писатель — советский агент.

— Возьмут под наблюдение, корреспонденцию просмотрят, захотят придрататься — тысячи способов... Я старый человек, смерти не боюсь...

Но, говоря это, старый человек опадал в своем стареньком пальто, и холеные усы путейца мокрели от ужаса.

Когда Левон Давыдович вернулся к себе, столовая была уже пуста, — посуда перемыта, сервировка убрана, весь этот конфуз большого дня, неудачный наряд, исчез по шкафам и ящикам, чтоб холодно померкнуть в старой клеенчатой скатерти, оставшейся на квадратном столе.

«Мадам» притушила свет, оставив гореть лишь одну лампочку, как делалось у них на ночь. Полуоткрытая дверь мерцала голубым светом, — там, на большой заграничной кровати, голубые шелка одеял вставляли полярными глыбами, и белый медведь, распластав все четыре лапы, лежал внизу ковриком.

— Мари! — сказал муж.

— Все это глупости, Леон, глупости, не раstraивайтесь. Хотите, я вам скажу причину? Старый бродяга понял, что я его раскусила. Уверяю вас, он не комильфо. Этот грязный человек на жаловании у большевиков. Александр Александрович тоже так думает.

— Ах, не говори мне про Александра Александровича!

— Но, милый друг, у меня есть глаза. Он красился, как актер, и эти мешки, эти зубы, — обратили вы внимание на его зубы?



Хрустя пальцами, Левон Давыдович ходил по комнате.

При чем тут зубы? Боже ты мой, при чем тут зубы,— все-таки из Европы приехал человек; месяц, два месяца, полгода назад он видел здоровую и культурную жизнь, мог рассказать, что есть нового,— Берлин строится, как новорожденный, все эти подробности, ах, все эти подробности! Почему одному человеку не поделиться с другим, при чем тут зубы, черт возьми!

Тихой тенью, все еще стройная, старомодная, в длинной юбке, «мадам» прошла перед ним, стараясь коснуться его спиной. Тихий и острый свет сиял в зрачках ее, красивых в эту минуту. Она знала — минута была ее. И Левон Давыдович остановил ее так, перед собой, привлекая слегка эту сухую и негибкую спину. Он заговорил уже совсем убежденно, в затылок ее:

— С утра, понимаешь, с утра все эти бесчисленные раздражения, человек, естественно, устает... Я, может быть, наговорил лишнего, но надо же понять, войти в положение. Нет, стой так, одну минуту. Я не могу идти в клуб в этом состоянии. Александр Александрович дурак.

Мари стояла, чувствуя руку мужа на талии, и потом сделала шаг к спальне, крепко держа эту руку. Так она вела его за собой, не слишком поспешно, потому что каждая женщина знает своего мужчину.

## *Глава шестая* **СУД НАД РАБОЧИМ**

### **I**

Рыжий шел вслед за Степаносом по узенькой тропке в клуб, — и снова развернулся перед ним залитый огнями участок. На звездном небе, облекая с двух сторон ущелье, мягкими контурами темнели горы, внизу невидимо ворчала речка Мизинка.

Степанос, обернувшись, остановился. Разговаривая, он всегда приближал лицо к слушателю, — привычка, укоренившаяся с детства, — у него был тугоухий отец.

— Недостатки у себя видим, — заговорил он прият-



нейшим голосом, разнесшимся в тишине вечера.— Это полезно, конечно. А вот главный факт забываем. Год назад ничего тут не было, у меня у самого здесь, пониже, дядю волки задрали,— должно быть, захотел воды напиться и спустился с шоссе. Год назад наш лорийский крестьянин не знал, куда ему идти на приработок. Бедняки с января сидели по деревням без хлеба. А сейчас поглядите, сколько их у нас на работе. Конечно, еще нелегко с ними, привык у кулака шею гнуть, старается урвать побольше, наработать поменьше. Ведем с ними воспитательную работу. Сезонник — трудный народ. А все-таки года через два какие из них специалисты выйдут, да и сейчас уже видна перемена.

Рыжий глубоко вдохнул воздух. Слова Степаноса своеобразно доходили до него в этой гулкой, звездной темноте и тишине, перекликаясь с тихим потоком собственных его мыслей.

Вот непочатый океан труда — великого, нового, освобожденного, возвышенного, на каждом, на самом, казалось бы, ничтожном участке. Воспитывай, формируй человека — в себе и других,— терпеливо учи отсталого; изучай, измеривай, рой и застраивай землю; осиливай, взнуздывай, направляй мятежную речку. Десятки, сотни профессий нужны,— одни закончат свое, другие начнут свое. Дни, месяцы, годы заполнятся работой. Найдут себя люди, найдут свое место в жизни. И вырастет станция, красавица, родник новой энергии в помощь человеку...

— Кажется, нехитрое дело строить,— продолжал говорить Степанос, теплыми глазами окидывая не очень еще казистый приукрашенный темнотой участок.— Небось всюду строят, капиталисты строят, буржуазия у себя понастроила, у них денег уйма. Но вы поглядите, при нашей бедности, без ихней помощи — ведь мы куда идем с вами? В клуб. Критикуем себя,— а клуб-то построили? Спектакли местными силами ставим. Больницу построили? Врача пригласили? А стройке еще и году нет. Этого вы у них никогда не увидите. А какие у нас комсомольцы тут есть! К сезонникам в бараки ходят, газеты им вслух читают. Нет, мало мы еще свое доброе ценим.



Из барака, освещенного лампочкой, вышел сгорбленный человек и остановился, услыша их. По виду это был старик, в обношенном донельзя тулупчике, в облезлой бараньей шапке, в обмотках, повязанных веревкой, и в лорийских деревенских сандалиях из недубленой кожи. Он стоял, сгорбившись, придерживая пальцами — обращенную из приличия концом внутрь, к ладони, — вонючую цыгарку и поднял навстречу Степаносу лицо в улыбке, растянувшей его беззубый рот.

— Здравствуй, Шакар, — остановился возле него Степанос, — ты что тут стоишь? Иди в клуб, там митинг и музыка будут. Обязательно иди.

— Здравствуй, — ответил старик. — Я пойду, пойду. — Он кивнул несколько раз головой, продолжая улыбаться.

— Беднейший из бедных, — заметил Степанос, когда они уже подходили к клубу. — Сторожем у нас при бараках, с первых дней стройки. Семья наверху, в деревне. А ведь уже интересуется делами стройки, привык. Я вас тут оставлю, вы посидите, пока начнется, и обдумайте, как к делу подойти. Программа концерта висит на стене, спишите ее себе. Карандаш имеется?

Карандаш у рыжего имелся.

Между деревянными табуретками, полом, стенами, полками желтого и еще не загрязнившегося шкафа было тесно и холодно, было похоже на лес. В этом лесу из желтого дерева — маленькой каморке для актеров — возле клубной эстрады и сел рыжий, уткнув подбородок в руки, а локти в колени, — классическая поза мыслителя. Программу — длиннейшую, где приглашенные из уездного центра артисты чередовались с местными любителями, — он уже списал для себя в блокнот и полчаса, оставшиеся до общего собрания, провел, раздумывая, как все это остроумней связать.

Откуда, в какой среде, в каком классе зародился особенный тип подтрунивающего человека, именуемого конференсье? И как прижился он сейчас на советской эстраде?

Ночные бары, влажная дрожь тротуаров под яркими фарами, фрак с потертыми фалдами, непременная замша ботинок, — человек, вогнанный клином меж зе-



вотой зрителей и неудачей эстрадного номера, помесь шута с официантом — сам неудачник, несомненный неудачник, — таков конференсье ночного Парижа или ночного Берлина. Нужно ли это советскому зрителю и для чего? На Западе конференсье был выдуман как момент отстранения. Серьезное стало стыдно — и понадобился конференсье. Брать всерьез зрелище, быть заинтересованным Запад стыдится, стесняется, не имеет наивности. Для юмора над самим собой, снимая ответственность за удовольствие, превращая чувство в позу и бытие в условность, дергается на эстраде промежуточный человек, зарабатывая деньги печальным ремеслом снижения «качества человеческих эмоций»...

Но для чего нам, советским людям, отстранение от честной и простой «полноты чувств»? Для чего зубокальство, облегчающее серьезность искусства?

Мы никогда не стыдились быть серьезными, как стыдятся в буржуазном Западе. Может быть, наоборот, мы серьезничали чересчур. Стоит только вспомнить десятки и сотни плакатов, не так давно еще подстерегавших нас на каждом шагу. Будь это не поздним вечером, а за светло, на том же участке увидел бы рыжий множество самых разных надписей: «Не пей сырой воды», «Вошь — враг человека», «Муха — сообщник болезни», «Уважай труд уборщиц», «Вози тару правильно, не повреждая клад», «Не срывай зря огнетушитель», «Мой руки перед едой»... Десятки надписей для клуба, перед витриной с газетой, в больнице, в столовке, у порохового склада, в конторе, в коридоре бараков. Каждый плакат был направлен на то, чтоб организовать ваш рефлекс, обратить в нужную привычку.

Дидактизм, поучительность, опека над каждым шагом, забота о вас, — хорошо ли? Да, если вспомнить, как молода эта забота, как нова она для человека, к которому направляется и о котором, чтоб обучать и организовывать внутренний мир его, и не помышляли до революции.

Так или примерно так текли размышления рыжего над своим новым делом. Он страстно хотел сделать его хорошо. Под конец он решил: послушаю суд, митинг, присмотрюсь к людям, разберусь в типаже, — авось



удастся — не отстранить, нет, а, наоборот, помочь приблизить к ним, не скучно и не дидактично, а умеючи, остро и занятно приблизить к ним удовольствие от искусства...

Между тем дверные петли скрипом возвещали о посетителях клуба.

Струйки человеческого дыхания врывались с холода вместе с топотом, — густо шла публика, привлеченная дымом от затопленной железной печки, валившим из трубы, ярким светом электричества, падавшим из занавешенных двенадцати окон, и, главное, приятным голосом Степаноса, стоявшего на пороге.

Степанос любил свой клуб наполненным, — приблизительно так, как любит мельник течение воды под мельницей. Без этой живой силы, втекавшей сюда громкой неразберихой говора, смеха и топота, замертво стояли бы несложные помощники Степаноса: сотни три книг и брошюрок, занумерованных под стеклом полупустого шкафа; вычищенный красный коленкор стола, где разбросаны журналы: русские, армянские, грузинские, тюркские; полотнища стенгазеты «Луйс», от названия которой и впрямь веяло чем-то дьячковским, и крупные красивые лозунги на стенах, гордость Степаноса.

На вливающуюся в клуб толпу глядели со стен знакомые лица в рамках из белых и розовых бессмертников. Скамьи в клубе стояли вычищенные, пол аккуратно подметен. Вот только занавеса еще не было — денег не хватило, и раскрытая коробка эстрады позволяла видеть тонконогий стол под кумачом, со звоночком для председателя, графином воды и стаканом; знамена в углу и единственные голубовато-серые декорации, изображавшие стену жилья с намалеванным черной тушью окном.

И все же убогая обстановка клуба жила лихорадкой праздничного подъема. Толпа магнетизировала ее. Она вливалась стихийно, потоком. Но в рассаживании людей по местам наблюдался установившийся порядок.

Первые ряды выбросило к эстраде, как пену к берегу. Твердо простучали каблук начальника милиции. Он проследовал чинно и деревянно к углу, повидимому постоянно им занимаемому, и сел, по привычке вынув папиросу, но не закулив и тотчас спрятав ее, потому что



курить здесь было запрещено. Вслед за ним подошли заведующий кооперативом и пожарник. В противоположном углу собралась контора. Захара Петровича не было (он работал), но волнистый чуб Володи-конторщика уже закручивался, и маленький кассир подшептывал чубу, сидя рядом, ехидные новости. Налитые тяжелой обидой глаза конторщика скользили по эстраде, выискивая рыжего.

Дамы входили с детьми, щеки их густо натерты краской, и так же густо обведены губы. «Составная часть туалета» — сомнительная мазня смесью кирпича с лапином, петушиный гребень стриженного затылка, недавно вошедшего в моду, очень короткая юбочка отмечали здесь не только конторских жен, но и жен чернорабочих. Уборщицы полировали ногти. Ни одна не хотела отстать от другой. Дети, оторвавшись от матерей, стремительно заняли первый ряд.

Глубину залы залило густое море людей. Внимательней приглядевшись, вы и тут замечали некоторый подбор: приезжие с севера, кадровые рабочие, садились рядом; их тотчас же можно было узнать по сочному русскому говору. Входя, они снимали шапки. Армяне-сезонники тоже расселись рядом, не снимая, однако же, по крестьянскому обычаю, еще не изжитому на участке, своих бараньих папах. Никто не курил, — Степанос сумел добиться этого. Завзятые курильщики утешались тем, что без конца подходили к столу председателя, наливали из графина воду в стакан и пили ее. Уборщица молча убирала пустой графин и снова вносила его запотевшим от ледяной колодезной воды.

Незаметно ни для кого, почти последним, вошел секретарь партячейки. Оглядевшись, он заметил местечко на одной из последних скамей, ближе к окну, пробрался к нему и сел, тотчас же слившись с толпой.

Зал рокотал, подобный морскому прибою. Уже и в проходе густо набилась толпа. И, расталкивая ее локтями, большою рыбой проплыл от дверей к первым рядам Влипьян, ведя об руку с такою же широкою готовностью, с какой подают именитому гостю распахнутую шубу, обмякшего и сейчас распахнутого навстречу.



впечатлениям, старого, усталого, потрепанного немецкого гостя.

Предупрежденные кем-то комсомольцы встретили их аплодисментами. Холерические мешочки писателя дрогнули под опухшими веками. Уже он забыл унижение и опять, преувеличенно чувствуя себя, всплывал понемногу в собственном представлении на первое место. Поклонившись, он уселся, закинув голову немного набок, на освобожденный в первом ряду стул, между скамьями.

Вытаращив глазенки, глядели на него дети, маленькие, черноглазые, с невысыхающей зеленью под носами.

Таково было соотношение рядов до начала действия. Взглянув через неплотную дверь в зал, рыжий ощутил его явственно: первые ряды вели себя активно, хотя поодиночке; море голов сзади казалось пассивным, но слилось вместе.

— Конферансье на стройке, — пробормотал рыжий, додумывая проблему, — должен помимо всего и социально мыслить. сумеет разволновать тех, что сидят скопом, поднять глубину. Потом зажечь себя тем, что выдвинет глубина. И потом... потом... это еще пока неясно.

Агабек стоял за его плечом. Он прислушивался к бормотанью. Когда местком Агабек не сидел, а стоял, он сразу выдавал соседу свою очень маленькую фигурку с горбом за плечами и, словно чувствуя это, всегда торопился присесть.

— Володька бил на бараний хохот, — сказал рыжему Агабек. — Володьку дамы наши любят. Вреда тут, может, и нет, да и пользы мало. Не скажу чего, но определенно не хватает нашему клубу...

Он задумался, как определить икс. Недостающего икса он так и не успел назвать, потому что повеяло нежным ароматом духов, — это судья Арусяк шла на эстраду широкобедрой походкой, непринужденно ставя ноги и неся кончиком пальцев, как носят сумочку, свой ветхий клеенчатый портфельчик. За нею незаметно прошла Марджана.

Время было начать общее собрание: стулья задвинулись вокруг тонконового столика, и председатель собрания Степанос протянул к звонку свою сероватую, плоскую, малокровную руку.



## II

Председатель сказал все, что нужно было сказать, — о приезде народного судьи и назначенном к слушанию деле о покраже досок на участке. О том, что это первый случай покражи и он рассматривается как тревожный симптом. Народный советский суд открыт для каждого. Пусть все, рабочие и служащие, примут сегодня участие в нем своим присутствием. Дело серьезное. Надо, чтоб общественность на участке дала почувствовать вору, как клеймит она его поступок. Надо урок дать на будущее, чтобы люди поняли постыдность поступка вора и первый случай остался последним. На участке приезжий, иностранец. Пусть видит он, как судят у нас пролетарским судом провинность против народа, против имущества, принадлежащего народу. Собрание объявляется открытым.

При полной тишине всего зала начался суд.

На эстраду поднялся заведующий кооперативом — защитник; одобрительно встретили прокурора Амб, механика из дизельной. Выбрали двух присяжных, рабочего и возчика с базы.

Когда суд вышел и снова вошел, все встали, и настоящая, большая серьезность охватила людей. Это был первый суд на участке, сама процедура подействовала на воображение.

Секретарь партячейки, сидевший в последних рядах, внимательно приглядывался к своим соседям. Он был еще новым человеком на стройке, не все знали его в лицо, мало кто осведомлен был о том, кто он такой, и секретарь партячейки, видимо, пользовался этим. Он изучал народ на участке. Соседи его, густо сидевшие в последних рядах крестьяне-сезонники, явно отнеслись к суду с неудовольствием. Было заметно секретарю, что вор для них сейчас «свой брат» и что в этом зрелище суда они на стороне вора, может быть, и не потому даже, что он свой, а потому, что раздражает и конфузит их при посторонних лицах на стройке громоздкий и громогласный аппарат судилища. Впечатление это определилось у секретаря не сразу, а когда определилось, он подумал об ошибке. Не так надо было браться.



Вора привели и посадили на скамейке рядом с милиционером, лицом к публике.

Кое-кто привстал, чтобы лучше разглядеть его. Дети мгновенно отлипли от кресла писателя и стали тихонько набираться вокруг скамейки. Вор нетерпеливо отогнал их,— в жесте было задетое самолюбие. Он положительно не хотел, чтобы его заслоняли.

Вор был крестьянин лорийской деревушки, одетый в отчаянное тряпье. Рвань вывешивалась из бесчисленных дыр на его зипуне, сшитом из мешка, подобно тому как из многоэтажного дома с бесчисленными раскрытыми окнами по пояс вывешиваются жители. Ветер, пущенный в зал из дверей, чтоб прочистить немного дымный и душный воздух, шевелил тряпочками на его зипунишке. Ноги крестьянина — по лорийской моде в грязных до колен обмотках, подвязанных веревочками,— пахли буйволиной кожей сандалий. Не то чтоб уж и вовсе не было у него лучшей одежды,— в кованом сундучке хранилось кое-что для большого праздника,— но на стройке, а тем более на суде, осторожность требовала приbedниться.

Лицо вора... Но лицо мог отличить от сотни крестьянских лиц только опытный глаз. Со стороны можно было сказать одно: лицо это совершенно невозмутимо.

Двое свидетелей, крестьянин и милиционер, подходят к столу. Суд берет с них слово, что они будут говорить только правду. Начинается чтение обвинительного акта:

«Вор Грикор Сукиясянц, крестьянин деревни Агдах, безлошадный, шесть месяцев чернорабочий строительства, систематически крал и уносил к себе в деревню доски, каковых скопилось у него двадцать восемь штук. На одной из краж, когда он нес к себе в деревню доску, вор был пойман заведующим железнодорожной базой, проезжавшим по шоссе. На вопрос, что такое он тащит, Грикор Сукиясянц ответа не дал и ускорил шаги. За чернорабочим Сукиясянцем было организовано наблюдение, которое и раскрыло картину систематического хищения. Обвиняемый, будучи пойман с поличным, признал себя виновным в краже досок и объяснил, что брал их для табуреток».



В продолжение чтения Арусяк лениво чертит что-то у себя в блокнотике. Нежные духи Арусяк никак не вяжутся с серьезностью ее звания. Она пренебрегает этим, ее ноздри арабской лошадки впитывают, поднося к носу надушенный белый платочек, нежный аромат левкоя. Но если б кому-нибудь пришло в голову считать Арусяк чужой в этом зале и даже неуместной, достаточно было бы ему взглянуть налево, где вдоль стены столпилась рабочая молодежь.

Из-под очень длинных ресниц косые глаза Арусяк скользят туда, как случайная молния прожектора. Круглые, черные, бархатистые зрачки ребят ловят этот косой взгляд Арусяк, — и между десятком пар очень молодых и восторженных глаз и этой парой лукавых и полуприкрытых — игра в любопытство; несомненно, кокетничает чигдымский судья, сидя за судейским столиком. Аншлаг между нею и толпой поднят, проезд открыт, «своя» говорят взгляды из зала, и «своею» чувствует себя надушенная девушка. Внезапно игра кончается, ресницы взлетают вверх, и, слегка приподнявшись, она задает вопрос:

— Ты какие доски крал, длинные? Сколько метров длины? Приблизительно покажи (меряет по воздуху), такие? Или такие? Или такие? Запишите в протокол.

Вопрос кажется в первую минуту бессмысленным. Уголок канцелярии, дамы с детьми, даже президиум сконфуженно улыбаются.

Но Марджана взглянула на подругу с нескрываемым любопытством. Она никогда раньше не видела ее «в работе». Что-то в вопросе судьи говорит ей сейчас, что эта работа — высококвалифицированная, недаром у легкомысленной Арусь блестящая репутация судьи, большой авторитет и слава всезнайки.

С тихим интересом, улыбаясь внутренне на знакомые ей привычные слабости подруги, обвела и Марджана глазами всех участников драмы. Ей стало тотчас ясно, что вопрос попал куда-то в сокровенное и острое место.

Резко зашевелились рабочие-сезонники, сидевшие на последних скамьях. Встрепенулся подсудимый. Он прикидывался до этой минуты дурачком. Защитный цвет глупости слегка даже переборщил подсудимый: раза



два втягивал в себя носом несуществующую влагу и вытирался ладонью без особенной надобности, хотя пота не было и во рту пересохло; руки выворачивал так, чтоб рвань свисала кнаружи, и хохлился, даже как-то присутствовал под преклонный возраст, хотя Грикору Суксянцу было едва за тридцать. Но странный вопрос судьи сбил его с намеченной линии.

Лицо вора осветилось напряженнейшей мыслью, хитрые глаза метнулись было, как мыши, в глубину зала, ища там помощи, потом с настоящей обидой обратились на судью.

— Какие такие? Аршина не имеем, не портняжили. Подбирал, как попадется... (Он внезапно спохватился и сам остановил секретаря, потевшего над протоколом.) — Ты чего пишешь? Пиши: подбирал, какие поменьше.

Тут начался перекрестный огонь — стороны стали чинить допрос.

Стороны имели, повидимому, какие-то между собой сложнейшие взаимоотношения. В зале у каждой из них были свои приверженцы, подобно тому как есть они у боксеров в цирке.

Защитник, заведующий кооперативом, был по внешнему облику «доброе сердце». Овальная, как яйцо, совершенно лысая, блестящая голова с прорезью тусклых зеленоватых глаз сдабривалась внизу чувственным и тонким хоботком гурмана, сластолюбивой слабостью бритого подбородка, темная актерская синь которого еще сильнее обнажала выразительную красноту рта. Он говорил тонким бабьим голосом:

— А позволь тебя спросить, ты, когда крал, сколько у нас зарабатывал? Рубль двадцать? Запишите: подсудимый получал ниже нормы.

— На экономику бьет, сукин кот, — явственно отозвался Косаренко из зала, обращаясь к соседям. Рубаха нараспашку, белый, веснушчатый, сухо-блестящая кожа на скулах, матросом архангельским сидел среди своих соседей Косаренко.

— Был ли подсудимый под судом до настоящего дела? — осведомился прокурор.

Он тоже имел в зале свою партию и, повидимому, многочисленную. Как бы для пущего контраста с за-



щитником, прокурор оброс не по возрасту бородой, к самому носу начесывал со лба кудри, смеялся негромко, глуша смех в густейших усах и бороде, и никак не похож был на двадцатидвухлетнего. Работал «прокурор» на дизеле и состоял секретарем комсомола:

— Ага, девять месяцев сидел в тюрьме...

— При дашнаках! — перебил тонким голосом защитник.

— Девять месяцев при дашнаках за воровство пшеницы...

Стороны не хотели успокоиться и продолжали сражаться. Ища сочувствия в зале, с улыбочкой устанавливал защитник, что Григор Сукиянец «дома у себя ничего не имеет», «хозяйство никакое», «детей мал мала меньше». Он неожиданно вставил каверзный вопрос: а видел ли кто, как подсудимый крал доски?

Григор Сукиянец сидел в тревоге и оглядывался то направо, то налево. Вернее сказать, не оглядывался, а дергался всем телом, напряженно всматриваясь в вопрошающего и в движущиеся губы его. Казалось, он ищет указания или подсказа в губах.

— Видел ли кто, я тебя спрашиваю, когда ты брал доски? — выразительно повторил защитник.

— Видел, — заторопился вдруг подсудимый и замигал часто. — Многие видели. Брал, не скрывал.

— Откуда брал? — опять вскользь встала судья.

Подсудимый и на этот раз огрызнулся. Станные вопросы женщины волновали его.

— Откуда... Где валялись, оттуда и подбирал!

— На табуретки тебе небольшие доски нужны были, — словно нехотя говорила судья, пристально разглядывая собственные ногти. — Свидетель, подойдите сюда. Расскажите, где вы поймали подсудимого с поличным.

К столу приближается первый свидетель, милиционер. Тощий в своем мундирчике, простоватое мужицкое лицо, подкрученные кверху усики, — и неожиданно четкий голос и знание процедуры. Бойко рапортует, не дожидаясь вопросов, имя, фамилию, возраст.

Он производил обыск в зимовнике. Десять штук досок нашел в одном месте, одиннадцать в другом и семь досок в третьем. Все доски оказались порезаны. Что?



Может ли свидетель установить, где подсудимый резал доски?

Опять возвращается Арусяк с настойчивостью часового маятника все к тому же непонятному для большинства в зале вопросу о размере досок.

Да не все ли равно, где резал и резал ли? Из зала несутся возмущенные голоса: «Зубами грыз». Свидетель, помявшись и сбившись с тона, отвечает:

— Не знаю.

Между тем подсудимый переговаривается глазами с последними скамьями. Кто-то в бараньей шапке встал. Кто-то поднимает пятерню, загибая сперва один палец, потом другой. Еще кто-то складывает ладони рупором и явственно адресует подсудимому единственное словечко, сильное словечко со вложением в него под семью печатями укоризненного смысла, особой предостерегающей инструкции:

— Химар (дурень)!

Внезапно подсудимый вскакивает, роняя шапку на пол. Лицо его озаряется вызовом. Глядя не на судью, а мимо нее, в угол, где качается элегантная тень судьи, то удлиняя нос и капая носом в бумагу, то быстро втягивая его обратно,— говорит Сукиясянц быстро-быстро, убеждающим голосом:

— Э, зачем мне резать, ну, скажи, милая, зачем мне возиться доски резать,— пойди посмотри, какие доски лежат! Сколько хочешь кусков, тут у нас и маленькие лежат и большие лежат. Зачем, скажи, буду брать, что не нужно? Брал, что мне нужно, маленькие доски брал, на табуретку.

Но тень судьи слушает эту быструю речь, нимало не убеждаясь. В зловещем ее качании на стене подсудимому чудится «собственное мнение», и, вытерев ладонью пот со лба, на этот раз настоящий, а не выдуманный, Григор Сукиясянц тяжело садится на скамью.

Никто не слышит тихого нежного свиста из первого ряда. Прикрыв рукой брови и налегая плечом на услужливое плечо Влипьяна, немецкий писатель внезапно заснул нервным сном человека, которому не хватает в толпе кислорода. Зная эту особенность за своим великим протее, мосье Влипьян деликатно держит плечо



и храбро переживает ситуацию, как человек, вышедший прогуляться под очень маленьким дождем. Он знает, что дождик скоро пройдет,— и писатель вдруг на самом деле пробуждается столь же неожиданно, как заснул. Уютно распахивая веки, он невидящими глазами смотрит на эстраду и улыбается умиленно:

— Все очень хорошо, очень хорошо. Merkwürdig<sup>1</sup>, мосье Влипьян, удивительно, Herr Влипьян, это высокое милосердие советского суда... У нас на родине в аналогичных случаях — дерзкие окрики, зуботычина, формальная точка зрения. Не правда ли, вор этот «бедняк» (bedniack) или, может быть, «сердняк»? Конечно, er schämt sich, он устыжается, и его отпустят... О, хорошо, хорошо, menschlich abgemacht!<sup>2</sup>

Разумеется, эту маленькую речь лучше было бы произнести вслух, а не шепотом, и не сейчас, а как заключительный аккорд, обращаясь с трибуны к славному русскому пролетариату. Вздохнув, писатель чувствует нетерпеливую жажду конца, и ему кажется, что все вместе с ним ждут конца и этой маленькой трогательной речи.

Второй свидетель между тем давно уже дал показание, и не близость конца, а самый настоящий интерес к началу пробежал по последним рядам. Второй свидетель под перекрестным огнем сторон долго силился разобраться, свежие ли порезы были на досках, или старые, при дашнаках ли судился подсудимый, или не при дашнаках.

На вопрос, что он может сказать в свою защиту, Григор Сукиясянц угрюмо ответил:

— Ничего.

### III

После некоторого затишья обвинитель поднимается с места. Он, посмеиваясь, переглядывается со своей аудиторией. «Сыпь, не жалей», — поощряют румяные комсомольские улыбки.

---

<sup>1</sup> Замечательно (нем.).

<sup>2</sup> Гуманно проделано (нем.).



Обвинитель речи своей не готовил, на бумажку для памяти ничего не заносил, красноречие — национальный талант армян — вывезет его, он это знает.

Но тихий и слегка недоумевающий взгляд Марджаны странным укором вдруг оборвал его смешливость. Он заметил Марджану только сейчас, как и вообще никто не замечал ее до этой минуты.

Сидя профилем к президиуму и лицом к залу, Марджана, постарев и осунувшись, страдала от течения суда. Несколько раз, повернувши голову, она шептала что-то Агабеку, примостившемуся за ее спиной. Участие ее в происходящем было скрыто от зрителей. Только взгляд, брошенный на обвинителя, выдал вдруг, что Марджана сопротивляется внутренне, не сочувствует внутренне, не одобряет внутренне, и, когда комсомолец, споткнувшись в самом начале своей обвинительной речи, показал, что заметил это ее неодобрение, оно передалось и другим на эстраде и прибавило ко всему происходящему чувство какой-то неловкости.

— Я задаю вопрос, — начал обвинитель голосом гораздо менее уверенным, нежели хотел, — я, товарищи, задаю вопрос, можно ли назвать Григора Сукиясянца рабочим? И отвечаю: нет, это не рабочий, таких рабочих нам не требуется, от такого рабочего избавьте, пожалуйста. У кого он крадет? У себя, у своего класса, у нашего, товарищи, нового строя он крадет. Вы представляете себе? Вы, я, вон те товарищи, и эти товарищи, и миллионы восставшего пролетариата — мы строим новый строй по кирпичику, по дощечке, по гвоздику, тяжело нам, ох, как тяжело: таскаем, пыхтим от тяжести, надрываемся, зато, думаем, с каждым гвоздиком приближается царство социализма. И вдруг появляются среди нас ему подобные Григоры Сукиясянцы; они, товарищи, тоже называют себя рабочими. Но в то время, как мы приносим по дощечке, чтоб построить социализм, они потихоньку, товарищи, у нас из-под носа эти самые дощечки раскрадывают и растаскивают, они их тащат, с позволенья сказать, на гроб социализму! Да, на гроб социализму. Ничем иным нельзя назвать семейные табуретки, какими эти паразиты нашего строительства соблазняются, чтоб уворовывать необходи-



мые нам для целей строительства материалы. О чем это говорит? О вредительстве самого наихудшего вида. С этим, товарищи, надо у нас покончить. Если так будет продолжаться, у нас ничего не останется. Один вор уйдет безнаказанным, десятки других объявятся на участке, сотни объявятся, а посчитайте, если каждый соблазнится доской, сколько этих досок будет у нас пропадать со складов? Так, товарищи, нельзя, невысказано это допустить. Он сегодня взял доску, завтра он возьмет что-нибудь более ценное — машинную часть, алмазный бур. Я требую, товарищи, чтобы вы подошли к вопросу со всей серьезностью и осудили Григора Сукиянца по сто восьмидесятой статье, имея в виду предотвратить раз навсегда повторение таких недопустимых явлений на нашем участке в будущем.

Он разгорячился и кончил уже с полной уверенностью. Правда, больше половины мотивов, хороших сравнений и словечек того обычного зубоскальства, каким полны были его выступления и каким он нравился молодежи, сегодня в речи его не было, хотя все эти словечки обвинитель готовил и перебирал заранее, прежде чем встать; но взгляд Марджаны, как ситечко, процедил их, оставя на поверхности сказанного только то, что надо было сказать.

Подсудимый с любопытством глядел на говорящего в продолжение всей речи. Когда обвинитель сел, он даже вздохнул слегка — от неожиданности. Видно было, что самого главного, того, что его лично, подсудимого, интересовало или пугало, он не дождался от прокурора.

Теперь наступила очередь защитника. Этот взволнованно положил перед собой кучку мелко исписанных листиков из блокнота. Привстав, он сперва потянулся к далекому графину с водой, налил, жадно осушил стакан и начал говорить патетическим влажным голосом, смачивая время от времени языком губы:

— Если б совершивший данное воровство Григор Сукиянец был настоящим кадровым рабочим, тогда, товарищи, все стрелы нашего обвинителя, пущенные, так сказать, с принципиальной высоты, были бы справедливы, и я первый вынужден был бы в своей защите ограничиться только немногими указаниями на смягчающие



обстоятельства. Но посмотрите, дорогие товарищи, на кого, в каком направлении посыпались стрелы обвинителя? Вот он сидит перед вами, Григор Сукиянец, лорийский крестьянин. Перед вами простой сезонник, первый год работающий на строительстве. Хозяйство у него — да разве можно серьезно говорить о хозяйстве таких, как Сукиянец? Лошади нет, инвентаря нет, ячменя нет, запасов нет; как вам известно, этот крестьянин имеет землю на половинных началах, то есть считается в наших условиях самым последним бедняком. С другой стороны, посмотрите, что он имеет от работы на строительстве? Во время совершения покражи Сукиянец получал рубль двадцать в день, иначе говоря, не имел даже нормы. Вы знаете, как тяжела черная работа зимой в наших условиях, когда земля мерзлая, лопата ее не берет, — бьешься-бьешься, не можешь довыработать норму. Он, как вы сами видите, геркулесовой силой не отличается. Я слышу в зале смех, и мне стыдно за этот смех. Ничего тут смешного нет, товарищи, если человек слаб здоровьем, истощен малярией и не может хорошо работать. Вон там кто-то кричит, что у нас не богадельня. Совершенно верно, у нас не богадельня, — у нас своего рода школа, школа перевоспитания вот таких, как Григор Сукиянец, в настоящих, сознательных рабочих. Наша страна земледельческая, прошу этого не забывать, у нас девяносто процентов рабочих таких, как он. Итак, я продолжаю. Крестьянин попадает на строительство, он еще не знает, что можно и что нельзя и почему именно нельзя. Это важно сейчас отметить. Что? Раньше крал? Извините, прежняя судимость Сукиянца здесь не была доказана, а говорить о вещах недоказанных — значит клеветать. Если в быту Сукиянца появилась потребность в табуретке, это на мой взгляд положительный симптом. Обычно у нас в отсталых крестьянских домах сидят на паласах, специальных сидений не употребляется. Я считаю, что необходимость табуретки появилась у подсудимого под влиянием более культурных навыков, приобретенных им на строительстве...

Здесь кто-то сердито притопнул каблуком об пол, как будто хотел прервать оратора. Председатель взялся



за звонок, а потом оглянулся через плечо: топнул Агабек.

Защитник продолжал:

— Большого греха в том, чтобы взять никому, видимо, не нужную доску для понадобившейся табуретки, отнюдь нет, и не только я не вижу в этом греха, но и на строительстве как будто не называли это грехом, так как Сукьясянц брал доски на глазах у всех, брал среди бела дня, это установлено судом, и никому в голову не пришло остановить его, даже и сам Сукьясянц, по всей вероятности, был убежден в том, что ничего дурного не делает. Итак, я резюмирую: за недоказанностью первой судимости и за невозможностью считать собрание ненужных досок воровством, а также принимая во внимание бедность и несознательность подсудимого, прошу вас о полном его оправдании и думаю, что в дальнейшем он красть не будет!

Защитник сел, довольный собой. Сукьясянц, сильно усталый, зевал, не закрывая рта. Дамы из первого ряда улыбались заведующему кооперативом, — он несомненно победил обвинителя. «Хорошо ли?» — спрашивал взгляд защитника, хотя спрашивать было излишне, внутренний голос твердил ему: «Молодец, очень хорошо!»

Но когда встала Арусяк, хрустнув предварительно застешкой своего клеенчатого портфельчика, куда она за минуту перед тем вложила бумаги, защитник встрепенулся.

— Обращаю внимание суда, — сказала Арусяк, блеснув в сторону подсудимого косым взглядом, — что обвинителем и защитником было упущено очень важное обстоятельство. Не безразлично ни для потерпевшего, ни для подсудимого, как и е он доски крал. Если б он взял небольшие доски потребного для него размера, то в виду нахождения и возвращения этих досок строительство не могло бы считать себя пострадавшей стороной. Суд выяснил, однако, что такого размера свеженарезанных досок на складе не было, подсудимый брал, следовательно, большой размер и распиливал доски у себя в зимовнике, где найдена и пила. Таким образом, строительство терпит убыток, получая обратно испорченный



материал, и в праве учинить подсудимому иск в размере своего убытка.

— Не пилил я! — отчаянно крикнул подсудимый, и зевота сразу соскочила с него.

— Химар! — опять крикнул в зале неизвестный добροжелатель.

Суд вышел, соблюдая традицию. Минуты через две он вернулся, все встали, и приговор был торжественно прочтен. Григор Сукиясянц получил шесть месяцев тюрьмы и присуждается к уплате строительству двадцати восьми рублей сорока копеек за причиненный убыток.

Тотчас же, как был оглашен приговор, из толпы вышли двое крестьян и, поднявшись на эстраду, сказали что-то судье. Это были поручители. Их деловитое появление открывало кусочек закулисной стороны суда. Было ясно, что подсудимый давно уговорился с ними, и они ждали своего часу, сидя в зале. Ясно было и по раздосадованному лицу Сукиясянца, сразу потерявшему придурковатость и глядевшему сейчас просто, умно и зло, что параграфы знает он сам не хуже судьи, что болтовня обвинителя и защитника его утомила, что наказание было ему известно лучше, чем всем, кто сидел в зале, и что вся острота положения заключалась для него только в одном: вчинят ли гражданский иск, или не догадаются. Иск был для Сукиясянца самым чувствительным местом.

В перерыве, когда суд окончился и все вышли покурить в маленькую и душную актерскую, где все еще сидел рыжий, Марджана заговорила, обращаясь к местному:

— Это обычная процедура суда на строительстве или это в первый раз так?

За месткома ответила Арусяк:

— Чего ты нервничаешь? Что тебе не нравится? Знаю, джан, — перебила она, когда та собралась сказать что-то, — знаю, молчи. Не делай, пожалуйста, выводов. Нам важно практически решить вопрос, чтоб неповадно было в будущем. Мораль тут ни при чем. Если ты запоешь ему о высоких материях, он завтра украдет опять. А вот когда приходится раскошелиться...



Но Марджана поморщилась. Не то, не то! Арусяк во всей силе ее юридических талантов отталкивала сейчас Марджану своим непониманием.

— Пойми же, ведь это наш, советский суд. Ведь он должен воспитать, устыдить рабочего... А вышло крючкотворство какое-то. Даже вору было скучно слушать защитника,— до того возмутительно, никуда негодна была его речь!

— Я целиком разделяю ваше впечатление,— тихо вмешался подошедший к ним секретарь ячейки.— Но дело тут не в суде. Суд само собой. До суда надо было обсудить на собрании, чтоб подготовиться заранее.

— Ерунда,— прервала Арусяк,— диалектика! Мы делаем свое, масса делает свое, а результат получится положительный. Вот увидите! Да и притом же ведь мы не кончили. Собрание продолжается. Масса, будьте уверены, покритикует хорошенько дела на участке!

#### IV

Изумленно и почти шокированно немецкий писатель смотрит на соседа справа. Влипьян не может дать объяснений,— он удрал покурить. Объяснение, однако же, необходимо: рядом с немецким писателем уселся сейчас, нахально напялив шапку по самые брови, сердитый, но чрезвычайно разговорчивый, лопочущий на своем гортанном языке что-то быстро-быстро, непонятной скороговоркой, сам вор, Грикор Сукиясянц.

Оба его поручителя, тесно сближая головы, втроем с Сукиясянцем на двух стульях, слушают и отругиваются или, может быть, поощряют. Ни один из них не дарит вниманием немецкого писателя, величаво выпятившего грудь.

Маленькая и трогательная речь душит иностранного гостя, как опухоль в зобу,— на этот раз он ничего не понимает. Не приходит ему в голову только одна самая простая мысль: что все это делается вовсе не назло ему и не для него, но что в течение событий попросту и публика, и руководители, и администрация забыли о нем.



Мастер-латыш, предупрежденный насчет приветственного слова, тоже забыл о нем. Он что-то заносит большим синим карандашом себе в книжку, низко опустив круглые очки на бородавчатый нос.

Внезапно очень звонкий, чеканный голос возносится над залом почти одновременно с деликатным звонком Степаноса. Степанос — мягкотелый председатель, события всегда опережают его. Слово принадлежит председателю месткома Агабеку.

Когда Агабек заговорил, из двух раскрытых в мартовскую ночь дверей густо хлынула назад в зал толпа. Усаживаясь кой-как и вперемежку, она разрушила прежние загородочки, и сейчас все слилось: простоволосые русые головы с бараньими шапками, фуражки техников со стриженной по моде прической Марьянки-уборщицы, контора очутилась в гуще партийной интеллигенции, — словом, уже нельзя стало, водя с эстрады глазами, упираться в отдельные характерные группы людей, облюбовавших себе каждая свое местечко.

И Агабек, сердито выбрасывая слова, глядел прямо в гущу на какой-то мысленно им воображаемый фокус, принимавший последовательно все нужные формы слушателя, то ругаемого, то сочувствующего, то норовящего сделать вылазку. Агабек вдруг всей тяжестью выступления своего напомнил, что в зале идет общее собрание и что оно не только не кончено, а и не начато.

— Тут один товарищ выразился, что у нас не богадельня...

— Шш! — мягко остановил зал Степанос и, не дождавшись тишины, зазвонил во всю мочь. — Товарищи, прошу не безобразить! Слово принадлежит предместкома!

— Кому интересно шуметь, тот пусть уходит вон! — звонко продолжал Агабек. — Повторяю, один здесь выразился, и правильно выразился, насчет богадельни. Товарищ защитник ответил ему, что-де у нас не богадельня, а школа, и для подобных Сукиянцу несознательных рабочих будет у нас пролетарская выучка. Однако, спрашиваю вас, товарищи, хорошая, нечего сказать, пролетарская школа на участке. Где это видно, чтоб бревна и доски, поделочный материал дорогой



цены, доставляемый сюда за пятьсот и даже более километров, валялись без охраны по всей территории участка и заведующий складом птиц в небе считал?

— Справедливо. Моя вина! — с места отозвался Косаренко. — Больше этого не случится!

— Где видно, чтобы Сукиясянц мог уворовать без помехи двадцать семь досок и на двадцать восьмой просчитался? — продолжал Агабек. — Унести с участка в деревню, за несколько километров, на своих плечах двадцать семь досок — это не булавку спереть. Одна доска, товарищи, четыре метра длины, двадцать пять сантиметров с лишним ширины, в ней порядочно весу, ее тащить незаметно никак нельзя, многие, следовательно, видели, как Сукиясянц таскал доски, и преспокойно на это смотрели. Вот где, я считаю, больной вопрос для участка. Школа, товарищи, это сказать не так просто. С неба на вас хорошие качества не валятся, их в лавке готовыми не покупают. Хочешь дисциплину знать, хочешь честность воспитать, хочешь из темного человека сознательным пролетарием стать, так ты этого всего по книжке не вызудишь, нет, извините, товарищи, не вызудишь по книжке. Такого экзамена по учебникам не сдают. Дело должно дисциплину иметь, должно счет вещам вести, должно быть так поставлено и организовано, чтоб школой честности сделаться. Коли у нас государственное добро без счету под дождем гниет, это значит — мы сукиясянцев на воровство воспитываем. Предлагаю, товарищи, в ударном порядке покритиковать наши недостатки и неорганизованность в целях скорейшего изжития. Высказывайся, товарищи, кто что может, по этому вопросу. Товарищ председатель, открой прения без предварительной записи.

К этому, повидимому, никто не готовился заранее, но тотчас же несколько голов приподнялось над общей массой сидящих в зале.

Не торопясь, вышел к эстраде мастер-латыш. Он спрятал книжку и большой синий карандаш в широкий карман синего френча, руки заложил за спину, а говоря, поворачивал нос, как острие корабля, то направо, то налево, вводя басистой речью в гущу слушателей.

— У нас имеется на участке лишнее количество



материала, часть его не учтена. С базы получаем без документов, принимаем неисправно. Так, на втором складе приняли арматуру несведущие люди, навалили сперва в самый низ ящики, потребные в первую очередь, поверх их менее нужные, а наверх пошло добро, которому черед никак не раньше будущего квартала. Это есть непорядок. Грузчики смеются над заведующим базой. Рабочим лишняя нагрузка. Теперь, пока до нижних ящиков докопаются...

— Руку об них обломал!

— С места не говори, выдь к эстраде!

— Рабочие обижаются, факт!

— Начальник участка на базе с позапрошлого месяца не был...

— А лампочки получили поколоченные, сделали акт, что упаковка виновата, врут, не упаковка виновата!

— Аветис, не говори с места!

— Что ж, я и не с места скажу! — Черноглазый парень в кожанке выходит к эстраде. — Упаковка тут ни при чем. Младший наш инженер-электрик, ему бы еще поучиться, прежде чем жалованье получать. Он по командировкам за материалами ездит, а привозит не того, что требуется. Лампочки при нем упаковывали. Он их неправильно в багаж сдал. Фирма лучше б него прислала, и не побились, а через него убыток строительству свыше трехсот рублей. Ему говоришь, а он нос воротит: не твое дело. Как это так — не твое дело? Врешь, наше дело, — рабочий у нас хозяин, народные денежки, не твои, плачут. Если рабочему «не твое дело» говорят, это что, школа, по-вашему?

Рыжий, глядевший и слушавший с огромным для себя интересом, увидел вдруг у дверей сгорбленного человека в сдвинутой на затылок бараньей шапке. Как слушал этот человек латыша! Арэвьян сразу узнал его, это был сторож Шакар, встреченный им недавно у барака.

Переминаясь от волнения с ноги на ногу, обуреваемый жаждой тоже слово сказать, забитый лорийский крестьянин переживал сейчас светлый праздник. Он был частью коллектива. Он ощущал себя, свои кровные интересы, свои вкусы и чувства — в соседях. Каждый как



будто говорил именно то, что и он, бедняк из Агдаха, сказал бы, считал справедливым сказать. Нет, он не мог объяснить волнения, подступившего к горлу. Широко стал мир для Шакара, — и — уж полино, уж он ли это стоит, со всеми равный, на собрании, стоит, где не стесняясь режут правду в глаза начальникам... «Рождение советского гражданина», — невольно вслух прошептал рыжий, заглядевшийся на Шакара.

А в первых рядах было другое.

— Опять личности! — вздохнула счетоводова жена. И ей и соседке ее было скучнехонько до зевоты. Кавалер их, Володя-конторщик, сидел мрачно и не острил. И все складывалось сегодня в клубе не по-хорошему: привычные их места, молчаливо за ними оставляемые, заняты, соседи перемешались, они растеряли в толпе своих. Поистине спасением было хоть и позднее, но такое необходимое появление начканца, Захара Петровича, чья кудреватая с проседью голова вдруг появилась над толпой. Захар Петрович уверенно шел к первым рядам, он насвистывал веселый мотивчик.

— Ну, как?

— А вот так. Агента вашего ищите на эстраде.

Захар Петрович на странный ответ Володи не обратил никакого внимания. Добродушным движением руки он убрал со стула двух малышей, вытер стул носовым платком, сел, платок спрятал в брючный карман и опять рассеяно спросил Володю-конторщика:

— Ну, как?

— Я же вам говорю, Захар Петрович, — ваш новый служащий в фаворе. Его вместо меня в конференсье пригласили. Он с Агабеком на эстраде околачивается. Откуда вы его, между прочим, знаете?

Но Захар Петрович был недопустимо рассеян. Он снова пропустил все сказанное мимо ушей. Круглые и веселые глаза его высматривали там и сям в толпе говорящих, потом он откашлялся, плюнул на пол, раздвинув колени, и тотчас же наступил на плевок, усы разгладил, и в горле у него приятно забулькало после прочистки.

— Ну и ну, шпарят по всем линиям. А я, признаться, на концерт шел. Это что ж, это кого они?



Маленький худой рабочий с красными пятнами на скулах почти кричал:

— Там, говорю, нельзя линию прокладывать,— болото, оттепель, вода подымается, через два часа разбирать придется. А начальник участка: делай, что приказано. Сорок человек шпалы с насыпи вниз таскали, вода поднялась, если бы назад не перетащили, понесло бы наши шпалы аж на станцию. Это, я спрашиваю, приказ? Должён рабочий или нет правильность руководства иметь? Это на чей же счет разбазариваться? Считайте суточный труд сорока человек, да часть шпал подмочило, да день потеряли, да работа на мосту стоит, дамбу крепить нечем. Это, я называю, никакое руководство,— с толку сбивают. После этого веры в работу не будет...

— Кто говорит? — прищурился начканц.— Самсонов Михаил говорит?

Больше он ничего не сказал. Но Володя-конторщик почувствовал себя несколько лучше. Наклонив шевелюру, он зашептал в ухо начканцу:

— «Вредный» опять бузотеров выпустил. Ни с того ни с сего, после суда,— да еще в присутствии немца. Многие тут говорили: бурильщик Заргарян, Аветис со склада, мастер Лайтис говорил...

— И Лайтис говорил?

— Первый застрельщик!

Но тут оба заметили взгляд сидевшего по соседству рабочего и замолчали.

## V

Захар Петрович по-своему понимал дисциплину и по-своему понимал службу. У него была законченная идеология и непогрешимая практика. Первая заповедь Захара Петровича гласила: чтоб все шло гладко, и вторая заповедь добавляла: делать дело без шума. Когда начальник участка Левон Давыдович, нервничая, хрустел пальцами и панически повторял, что нет, нельзя работать, сегодня же подаст заявление об уходе, Захар Петрович успокаивал его немногими словами:

— Выше головы не перескочат.



Он твердо верил в среднюю линию миропорядка. Средняя линия миропорядка исключала долгое беспокойство: передерживать человека на беспокойстве никак нельзя,— побеспокоится и войдет в норму. Есть-пить каждому надо, сон в свое время любого самокритика свалит, без бабы тоже не обойтись. Выждать время — вот тактика, потому что время работает на того, кто спокоен, кто не расходует нервов и не выбрасывает слова. Поменьше слов — каждое вырастет за спиной в дерево. Скажешь: «Здравствуйте», через год откликнется: «Давал взятку».

Вот как философствовал Захар Петрович наедине с близкими. Впрочем, он любил дело, и дело любило его,— сложное дело черной лестницы, двойной бухгалтерии, параллельных отчетностей, будки администратора, своевременных умолчаний. И основой для тактики Захара Петровича было правило:

«Каждый начальник хорош».

— Мы с ими тем отличаемся,— говаривал он, вульгаризируя язык и кивая в сторону «бузотеров»,— тем и отличаемся, что для нашего брата плохого начальства нет, а для ихнего брата хорошего начальства нет.

Когда Самсонов кончил, Захар Петрович впервые внимательно уставился на эстраду. Здесь он, к великому своему изумлению (значит, Володька не врет!), увидел рыжего, точнее не рыжего, а узкий спортивный носок его американских туфель, выдававший присутствие рыжего за ближайшей к столу кулисой.

— Ну-ка, садись-ка,— коротко сказал начканц, безо всякого стеснения толкая соседа на свое место, а сам пересаживаясь на чужое,— нуте-ка, послушаем.

Но «слухать» он и не собирался. Делая гримасу глуховатого и как бы нацеливаясь ушами на громкий голос очередного «бузотера», Захар Петрович на самом деле во все глаза глядел на своего архивариуса. Рыжий отсюда был виден. Он сидел в обычной для него позе, вскинув ногу на ногу, прижав локти к бокам, обе руки в карманах, тихое мерцание стекол на лице, где только плотно сжатые губы говорили о характере, все остальное замкнуто и молчит.

«Черт его знает откудова сей человек! Часу не про-



шло — примазался. Ой-ой, Захар Петрович, дурака сваял!» Так приблизительно расшифровывались в словах неясные чувства, возбужденные в начканце уютной позой рыжего на эстраде.

Было странно и неприятно видеть своего служащего вполне независимым. Он, впрочем, может быть, и зависел, только не от начканца, Захара Петровича. Носок его острой туфли был в фамильярной близости с пыльным сапожком чужой девушки, уронившей голову в ладошку, — партийка, должно быть. И местком Агабек был недалеко от рыжего, — девушка, рыжий, Агабек, — каждый по-своему слушал: первая — в совершенной задумчивости, сдвинув брови; второй — блестя стеклами; третий — ехидно, с карандашиком над примятой бумагой.

Даже и Степанос не следит за временем и слушает, а того не замечает, что время за полночь и актеры, приехавшие на концерт, давно уехали обратно на станцию. Вот тебе и концерт! Черт его знает что за нахальство. Нашел время для общего собрания!

Рабочие в зале провалили все: чествование немца, доклад Марджаны, дивертисмент, и, если сказать точно, даже Григора Сукиясянца с его досками провалили рабочие, потому что вот он сидит, Сукиясянц, все еще рядом с писателем, и совершенно неприлично участвует в приемах.

Комочки бумажек одна за другой летят в президиум. Степанос подбирает их плоскою, сероватой рукой улитки, он разворачивает их, словно вареную картошку чистит, и близоруко подносит к сощуренным глазам, — кучка записок растет возле него и растет. С места делаются заявления. Каждому оратору время сокращено до трех минут, а кажется, им конца нет.

— Вот что значит полгода не было производственных совещаний! — говорит Косаренко соседу. — Начальнику бы участка послушать сегодня. Куда он смылся?

Тихо и словно просыпаясь, поднимается, наконец, рыжий с потеплевшей под ним табуретки. Затекала нога — падает, как деревянная. Сужо во рту, кончики пальцев отеки от тесноты карманов. Глаза его ищут взгляд Марджаны и встречаются с ним.



Тесной кучей, разгоряченные, подавленные ворохом впечатлений, симфонией из сотни партитур, идут они все вместе с эстрады вниз, и рыжему нестерпимо хочется взять под руку Марджану, как тогда, на темном шоссе, и говорить с ней, услышать ее негромкий, нежный голос.

Но последнее слово принадлежит злой фее из сказки. Незваная и негаданая, она появляется вдруг, будто занесенная сюда капризом толпы, за тесною кучкой президиума, тоненько побрякивая наконечниками кавказского пояса, добродушно прищуривая узковатые глаза, плотно и твердо наступая на рыжего и отгораживая его, отклоняя его, отвлекая его, загоняя его большою пойманной рыбою в иную социальную плоскость, в мир иных отношений, иных понятий, иного смысла.

— Здравствуйте, Арно Александрович, наше вам!

Рыжий очнулся — вокруг шумят последние выходящие из клуба рабочие. Звезды бледно блещут в небе, — нет Агабека, нет девушки с красивыми бровями, нет арабского профиля Арусяк и духов ее, нет бледных ушных раковин Степаноса, нет зеленых насторожившихся глаз горбуна — вот кого больше всех недостает сейчас рыжему!

— Здравствуйте, Захар Петрович!

Начканц взял рыжего под руку и придержал немного, покуда толпа вовсе схлынула.

— Да-с, не дождалось мы с вами концерта. Между прочим, вы есть не хотите ли? Уж, конечно, хотите, — в столовке дадут, идемте. Что? На ночь не кушаете? Так я вас прямехонько на гуте-нахт доставлю, аккуратный вы человек, — в комнату для приезжих. Завтра мы вырешим, где вам жить. Ну, какое у вас впечатление?

— Плохо организована работа на строительстве, — истрепительно ответил рыжий. — Вы слышали, ведь это поток какой-то, — все жалуются, и обоснованно жалуются.

Захар Петрович добренько засмеялся.

— Ми-и-лай, — простонароднейше воскликнул он, даже остановившись от удивления, — да вы прежде-то когда-нибудь на больших стройках жилали? Нет? Ну, поживете и попривыкнете. Строительный рабочий, он,



знаете, всегда жалуется, без этого, друже, нельзя И скажу по секрету: правильно жалуется, но... но...

Он торжественно упер в «но». Поднял в темноте указательный палец. Поиграл им у самого носа рыжего.

— Но в том и заключается весь ход работы нашего персонала, чтоб уметь не смущаться, понимаете? Потому что вы эти неправильности бессильны тронуть: они, как врачи говорят, «органический порок»

— Вряд ли,— спокойно, хотя и смиренно ответил рыжий.

Начканц опять засмеялся. Смех его был добрый. Смех говорил: напичкали человека, ох, какая возня с ним.

— Дайте-ка присядем сюда на бревнышко. В бараке жарко, заберите перед сном чистого воздуха в легкие. Да, так вот что я вам скажу. Впечатлительны вы очень, Арно Александрович. Я в молодости «Вырождение» Макса Нордау прочел и уверовал, что мир вырождается. А мой дядя, умный человек, говорит мне: «Дураки печатному слову верят. Ты погляди, какой повсеместно прирост населения. Скоро деваться от людей некуда будет, а твой Макс Нордау панихиду поет». Так и я вам скажу: первому впечатлению не верьте. Нужно обстановку учесть, вот в чем дело.

И, внезапно перестав балагурить, заговорив настоящим и простым своим языком, начканц Захар Петрович, даже сам этого заранее не собираясь, будто себе самому, сообщил рыжему очень секретные и ничуть не лукавые соображения:

— Никто на участке не знает, что смета еще не утверждена. Больше скажу: проект в центре не утвержден. Каждую секунду вот эта вся стройка (он руками обвел полукруг) может лопнуть. Так что же может сделать начальник участка? На месте рабочие его тянут, партийные организации тянут, профсоюз тянет, а из управления директива: придержите работы до выяснения положения, ни одного лишнего гроша не тратьте, но чтоб не было паники. Вот вам и изворачивайся! Эти кричат: бараки текут. Эх вы, милые люди, а еще вопрос, имеем ли мы право эти самые бараки строить? Там люди из кожи лезут, надрываются, проект протаскивают, все дело под угрозой, а здесь демагоги науськи-



вают на нас из-за каждого пустяка рабочих. Зло берет, если понять положение. Начальника участка пожалеть надо, а не травить.

Рыжий ничего не ответил, и Захар Петрович закончил:

— Органический порок, я не зря сказал. Вся система на живую нитку. Ихние общие собрания смеху подобны, если знать всю закулисную сторону. Как это можно протаскивать каждую смету в центре к определенному сроку, не имея полного проекта? Раньше-то умный хозяин тысячи на стол выкладывал. Большие стройки не могут денег ждать; дело как пошло — все равно печь затопили, — подкладывай и подкладывай. Иначе — и тепло уйдет и дрова зря израсходуешь. В Москве-то, говорят, многие начали понимать. Разговоры ходят... Мудри не мудри — правда свое берет. А то — ни черта нет, проекта нет, а кипим-бурлим, фотографии одолевают, корреспонденты одолевают... Нет, вы еще мало знаете. Вы повыше, повыше критику наведите. А то, на-кося, нашли мишени! Да не только Левон Давыдович, в нашем положении сам Наполеон лучше бы не организовал работу, а не то что Левон Давыдович...

Со вкусом повторив это, начканц нашел, что пора поставить точку и утрамбовать землю над заброшенным в человека зернышком. Нужды нет, что человек странно глядит на него, не по-свойски глядит. Сон, великий чемпион покоя, покоритель критиков, сон должен стать этим мирным трамбовщиком.

И Захар Петрович повлек рыжего в барак для приезжих.

## *Глава седьмая*

### **БУМАЗЖИ**

#### **I**

Проведя ночь без сна и не в собственной комнате, а в самом нижнем бараке, у жены Маркаряна (о чем крупно написано в примятых губах, опухших глазах и красноте носа), Володя-конторщик шествует домой, из



приличия держа в руках пойманную курицу. Впрочем, уже давно на участке принято говорить, встречая Володю-конторщика, чересчур рано идущего по тропочке снизу вверх: «Ага, опять курицу ловил».

Мать Володи, глуховатая старуха армянка, прямая и тощая, в длинной складчатой юбке и темном платочке, повязанном низко на лбу, ворочается возле примуса. Примус шипит яростно, на примусе уминается рисовая жирная, желтая, пятнами шафрана окрашенная масса. Стройная талия старухи издалека напоминает девичью. Большой ложкой она мнет вниз желтую гущу и облизывает ложку сухими, тонкими, усатыми губами.

Бросив перед ней на пол курицу, Володя не стал пить чай, не стал разговаривать. Жена Маркаряна подлила масла в огонь. Захватив стопочку бумаг со стола, Володя даже красоты перед зеркалом не навел и без чая, без завтрака, не слушая мамашиних причитаний, заторопился в контору.

«Завидуют,— думал по дороге Володя,— правильно она говорит — зависть. До чего же завидуют своему брату! Выдвинули, понравился, пою, играю, образованный все-таки, имею наружность,— нет, надо тебе ножку подставить. Не дают ходу!»

Войдя в контору, где уже потрескивали дрова в печке, он первым делом вскинул глаза на место, где раньше валялся архив.

Место было очищено. За десять дней, проведенных рыжим на участке, весь этот мусор устарелой бумаги, неизвестно для чего сохраняемый, расположился стройными колонками в шкафах и вдоль стен, занумерованный, сшитый, снабженный таинственными литерами и даже законспектированный.

Каждый в конторе запомнил первый день преобразования мусора. В работе рыжего был метод, как, впрочем, и во всем его поведении: сперва, придя сюда, он постоял некоторое время и покачался даже на своих эластичных журавлиных ногах, руки в карманы, разбитые стекла очков, задумчиво вперенные в бумажный хаос. Губы его оттопырились слегка, словно в раскачке, и в позе, и даже во взгляде рыжего была тайна какой-то внутренней музыки или внутреннего танца. Он



и впрямь танцевал мысленно перед каждой работой, танцевал, словно приглашая ее, перед самым ее носом, подобно жесту, с каким люди потирают руки, прежде чем приняться за дело. Итак, накачавшись змеей, неожиданно для конторских служащих, архивариус не прыгнул и не набросился на работу, как они ждали, а очень медленно и спокойно, сопя носом и крепко стискивая губы, стал выбирать одну за другой разорванные папки.

Сказать правду, Арно Арэвьян отлично знал о производимом им впечатлении. Но он не зря назвал себя агитатором в разговоре с художником. Давно уже заметил он, что удовольствие, испытываемое от работы, от самого процесса работы, удесятеряется, когда можешь увлечь ею, заразить ею других.

Взглянув на очищенное пространство, конторщик Володя тотчас увидел руки рыжего. Из кучки, лежащей на столе, эти руки сухо и с приятным шелестом выбирали некоторые разного размера документы, подносили их к разбитым стеклам очков, отодвигали потом, как бы для того, чтоб проверить, и застегивали вместе булавкой. Потом рыжий выбросил перед собой левой рукою блокнот и занес в него что-то мельчайшим почерком, похожим на микроорганизмы или запятые азиатской холеры.

Контора между тем начала наполняться.

Шумно прошла в свою будку очень крупная женщина в собачьем меху, распространяя запах дешевых духов и подмышек, — телефонистка, жена Маркаряна. Муж ее, завхоз, был в вечной командировке. Ворчливо сел на свое место счетовод, красноносый старичок. Поднял стеклянное окошко кассир, мутным взглядом озирая очередь. Позже всех прибыл начканц Захар Петрович, с подозрительно углубившимися глазами и нервной зевотой: к нему после долгого отсутствия приехала ранним утром жена, Клавдия Ивановна.

День начался как обычный день, за вычетом, впрочем, субботнего настроения. В коридоре перед окошком сезонники получали деньги, артельщик за спиной кассира готовил брюхастый чемоданчик, чтоб уложить в него квадратики повязанных денег и тяжелые трубки



медяков,— для доставки их на базу и дальние точки работ. В субботу занятия кончались рано, и настроение служащих было предпраздничное. Даже Левон Давыдович казался менее педантичным, его шукастый профиль в стеклянной будочке с задумчивостью вскидывался от бумаг к окну.

А за окном падал мокрый и вялый мартовский снег, опутывая горизонт мутноватою белью и совершенно исчезая на теплой земле. В такие душные и влажные утра у людей ресницы слипаются от хандры и от лени.

Как вдруг, пренебрегая этикетом службы и зависимостью человека, получающего по самой ничтожной категории, рыжий фыркнул, вскочил и стал ходить взад и вперед, размахивая длинными руками. Потом он остановился перед столом начканца, глядевшего на него с неудовольствием.

— Захар Петрович!

— Ну-с, батюшка?

— Горячее спасибо за эту работу. Я архив кончил. Завтра я представлю подробный отчет и опись. Извините, что перебиваю вас, но это замечательный архив, замечательный!

— Да чего ж в нем замечательного, Арно Алексан-  
ныч?

Рыжий собрался было ответить, но тут помешало маленькое обстоятельство. В контору вошла уборщица, неся чай.

Обычно она застигала служащих в самый неподходящий час: один говорил по телефону, теребя свободной рукой свободную ушную мочку; другой наваливался брюшиной на стол, дописывая работу; третий вышел из помещения; четвертому мешал пятый, досказывая дело. Чай, разбросанный по столам, стынул в стаканах с воткнутой оловянной ложкой, и сахар жидко разлагался на донышке.

Один только рыжий немедленно прятал в стол свою работу и бережно принимал от уборщицы стакан. То был единственный допускавшийся им перерыв. Почти всегда голодный, он, впрочем, и еду любил по-своему. Рестораны его не соблазняли. Маленькие молочные, где хозяин надрезывал на тарелке квадратный бисквит или



рогульку, ставя ее на стол рядом с кирпичного цвета чайным стаканом, и нардисты в глубине скрежетали костяшками, подбрасываемыми горсточкой снизу вверх, что не соблазняли. Он думал о тихих самоварах в коридоре учреждений, о женщине с корзиной булок, прикрытой марлей, — запах чая в учрежденческих стаканах, табачный немного, мучил его воображение в минуты голода. Иногда он мечтал о папиросной бумаге, куда машинистки заворачивают свой завтрак — хлеб, намазанный маслом, с кусочком холодного языка или просто крутым яйцом, поперченным и сдобренным солью. Он выработал в себе условную форму рефлекса на «трудовой завтрак во время перерыва занятий». Но сильнее и постоянной всего любил рыжий местный ячменный хлеб, просто хлеб с чаем.

— Чем же все-таки замечательный? — повторил свой вопрос Захар Петрович.

Рыжий мотнул головой — он завтракал.

Персидская поговорка гласит: к голодному не подходи, сытого не беспокой. Медленно и молчаливо наполнял он свое чрево, покуда липнули ребячьи носы с наружной стороны конторского окна: это младший возраст наслаждался видом завтракающих. Из кармана своей голливудской амазонки архивариус извлек один за другим огромные ломти свежего хлеба и окунал их в чай, а потом откусывал. Так чай никто не пил. Это был тоже метод рыжего. Хлеб, окунаясь в сладкий чай, издавал особенный аромат — мокрого ячменя. Дьявольское однообразие этого аромата и вкусов рыжего было уже известно в конторе, как и то обстоятельство, что ест он единожды в сутки, после того как поработал.

— Я подобен персидскому царю Киру, — объяснил он сослуживцам, как и художнику, в первый же день. — И вообще спросонок ни одно умное животное не ест, потому что вы сперва израсходуйте теплоту! Спросонок всякое тело голодно только по работе и по движенью. А что касается разнообразия, — так разнообразнее сена иници нет. Жуйте одно и то же и мысленно представляйте себе, что кушаете сено.

— Черт тебя поberi с твоим сеном! — пробормотал Володя-конторщик, следя за третьим намоченным в



чае ломтем.— Выдумывает он, Захар Петрович. Ничего замечательного в этом архиве нет, я сам видел. На повышение напрашивается.

Но начканц покачал головой. В глубине своего видавшего виды ума начканц уже давно поставил перед личностью архивариуса большой знак вопроса. Он ловил себя на неудовольствии. Он сожалел, что опрометчиво связался с неподходящим типом. Человек сей был странен и не поддавался шаблону. При нем лишнее слово само собой проглатывалось, И даже его прилипчивость к труду оказалась чересчур необыкновенной,— в ненормальности ее начканцу чудился злой умысел.

— Вот вы увидите,— продолжал нашептывать «ме-ринос», покусывая грязноватый мизинец, на котором он отпускал длинный ноготь,— ничего такого из романов не бывает, чтобы человек зря трудился. Дураков нет. Рано или поздно...

Тут рыжий встал, кончив пятый ломоть, и, вставая, собрал с живота широкими ладонями опавшие хлебные крошки.

— Вы меня спросили, чем этот архив замечателен. Знаете ли вы, Захар Петрович, какие тут папки?

— Из управления, за два года,— неуверенно сказал начканц и вдруг тоже встал.

Ему вспомнилось нечто. Кровь, синяя подагрическая кровь метнулась на круглое лицо, сделав его багровым. Колени Захара Петровича дрогнули. И тотчас же его беспокойство передалось конторе, потому что все, от телефонистки до счетовода, знали серьезность начканцевой натуры.

— В этом хаосе, мною разобранным,— рыжий сделал пластический жест акробата, словно кувырнулся рукой в воздухе,— я нашел семнадцать замечательных папок постороннего содержания, не имеющих к нашему гидрострою никакого отношения!

Чувствуя слабость в коленях, Захар Петрович сел. Страшная истина осенила его: бумага из старого управления, где прежде валялся совнаркомовский архив! Бумага смешанная, неразобранная. Грузили ее за спешкой простые амбалы. А ну, если попали сюда секретные документы? Пропал ты, Захар Петрович, добрый чело-



пек, хитрый человек, умный талейранище, пропал ни за грош!

Собрав мысли, он кинул на архивариуса добродушный взгляд что-то вспомнившего начальника:

— Ты, Арно Алексаныч, повремени рассказывать. Тебе там из города поручение какое-то,— работу кончил, так сбегай, прошу, к Клавдии Ивановне с этой цыдулкой... Память у меня! Хоть к доктору идтить.

Он схватил почтовый листочек, размашисто намарал что-то, запечатал в конверт и надпись сделал: «Клавдии-анне», а когда говорил и писал Захар Петрович, разыгрывая простеца, в воздухе пахло высокой политикой.

Дожидаясь, покуда рыжий возьмет конверт, начканц истерпеливо дрыгал ногою, ни на кого не глядя. Но лишь только за рыжим стукнула дверь, наконецники кавказского пояса так и запрыгали от юношеской быстроты, с какой вскочил начканц и, перебежав канцелярию, скрылся за стеклом инженеровой будки.

Левон Давыдович был занят. В политике Левон Давыдович ничего не желал смыслить. Шепот начканца показался ему не стоящим вниманья,— и во всяком случае:

— Я-то здесь ни при чем, абсолютно ни при чем. Вы помните, я вас направил к местному. Этого человека я не знаю, абсолютно не знаю! Делайте, что хотите.

Проклиная скудомыслие своего патрона, бедный Захар Петрович вернулся в контору, где уже, побросав работу, на все лады обсуждали чудовищное происшествие. Счетовод усиленно рылся в столе архивариуса. Телефонистка, наслаждаясь событием, красила губы. Володя-конторщик говорил. Убитый конферансье воскрес в нем.

— Такого человека, чтоб зря работал,— черта с два. Плюньте на меня, ежели за ним не дашнаки! А то — здравствуйте пожалуйста, «усидчивый работник»,— вот вам, Захар Петрович, ваш усидчивый работник: перепрет какие-нибудь чертежи за границу, тогда как бы вам самим усидчивым не сделаться,— понимай в другом смысле...

Надо сказать правду, непредвиденное открытие облегчило душу решительно всем. Арно Арэвьян — агент дашнаков, или попросту Арно Арэвьян — архивный



жулик,— это делало личность Арно Арэвьяна близкой и понятной каждому служащему. Ненормальность исчезла. Напряжение десяти дней, когда рядом работает человек, нарушающий привычные нормы, перескакивающий их, не жалуясь и не прося прибавки; необходимость уверовать в человека лучших, чем у тебя, качеств,— все это счастливо отпадало, расплывалось в увеселяющей душу спокойной истине: чудес не бывает! Чудес не бывает, Захар Петрович! Чудес не бывает, наивнейший Захар Петрович!

И даже начканцу Захару Петровичу показалось в эту минуту, несмотря на крайнее душевное беспокойство и боязнь «пострадать персонально», будто дышать стало легче.

— Ты, паря, заткнись. Сядьте, товарищи, по местам. Допрежь всего не набрасывайтесь на человека, дайте ему высказаться.

Орфография и синтаксис дошли у начканца до высшей простецкой точки. Он не хотел вмешиваться, как за минуту перед тем не захотел вмешиваться Левон Давыдович. Он не комментировал и не определял, и даже казалось — он берет архивариуса под защиту. Политика научила его мудрому правилу: ждать, чтоб всякое дело, неминуемо наступающее, сделано было вместо тебя другими. Неминуемо наступающим фактом стали тоненький желтый блокнотик и большой лист бумаги, извлеченные счетоводом с торжествующим возгласом из ящика стола Арэвьяна.

— Вот, Захар Петрович, смотрите сами, кого вы на советскую должность приняли,— ехидно произнес счетовод, кладя и желтый блокнотик и лист бумаги перед начканцем.

## II

Быстрыми шагами прошел, почти пробежал, рыжий косогор, неся в руке конверт, на котором так странно было написано:

*«Клавдиванне».*

Ни с какой женщиной не ассоциировал рыжий это имя. Он напевал про себя «Клавдиванне-Джиованне», представляя нечто итальянское.



Большую белую красоту с ноздрями, как у деревянной лошадки, в лиловом платье, пахнущем валерьянкой и китайским чаем, он забыл прочно, вплоть до той минуты, когда:

— Стук-стук-стук, можно войти?

— Войдите, пожалуйста! —

...не распахнул дверь и не столкнулся с Клавдией Ивановой носом к носу.

Она, — тут надо быть очень внимательным, а рыжий никогда не был внимательным к ней, — еще и не окончила, повидимому, утреннего туалета, а может быть, и не собиралась его заканчивать, утомленная встречей с мужем и неразобранными с дороги вещами.

Беспорядок жилья начканца был омерзителен. Логово пахло зверем, живущим на своих нечистотах. Углы, затканые паутиной, пятна на деревянной стене, говорившие о насекомых, грязь подоконника, где заплесневевший стакан торчал из кастрюли с отверделою кашей, обувь и брошенные носки, корзина в углу, наполовину размякший, длинный белый хлеб, почему-то очутившийся на полу, на газете. Но что это все значило, когда поркующим смехом отодвинула Клавдия Ивановна паутину, пятна, мусор, корзину, вонь, как натюрморт на вычурной картине, и почти вцепилась в белые руки рыжего. Она взяла их ладонь к ладони, глядя на него хохочущим взглядом.

— Здравствуйте, у вас тут снег идет, а в городе прямо лето, я вчера утром в декольте гуляла, ой, какой вы тут стали... Это мне письмо? С какой еще стати?

Она читала, все еще левой рукой цепляясь за рыжего, хотя он упорно отводил ее руку. Пока читала, Арно Арэвьян рассматривал и вспоминал. Клавочка изменилась. Что-то в Клавочке изменилось. Она похорошела необычайно, вредоносно и ослепительно. Прежде всего похудела и побледнела особою бледностью, про которую, если не сдобрены щеки фальшивым румянцем, старухи безошибочно говорят: «Гулящая». Блестящие глаза Клавочки обведены беспокойными кругами, медь пышных волос, губы ее... но кто помнит сейчас неутомимую девушку «Декамерона», чьи губы обновляли себя тысячью поцелуев? Рассуждая без филологии,



рыжий мог бы сказать, что женщина перед ним дьявольски заряжена электричеством, потому что ею обладали не неврастеники. Но и еще одна перемена — в одежде. Халатик на Клавочке был дорогой. Под халатиком, неплотно запахнутым, шелковое черное трико. Лакированные дорогие туфли... Правда, вкус у нее не улучшился. Дурной вкус. А вот и еще перемена.

Пока она читала, в лице ее медленно творилось нечто, и рыжий, за неделю привыкший к начканцу, безошибочно узнавал круглую, крепкую физиономию мужа в этом бледном и круглом женском лице. Grimаса начканца, морщинка начканца, быстрый и осторожный взгляд начканца, неожиданный смешок и закусенная губа — могучая биология, создающая род: перед рыжим жена обращалась в мужа тысячью деталей, как это часто бывает и остается никем не отмеченным.

Супружество сливает даже и почерки. Этот размашистый почерк на письме как две капли походил на ее собственный, подобно схожим почеркам тысячи других супружеских пар. Муж написал:

*«Будь с ним осторожна. Задержи насколько сумеешь у себя и не пускай в контору».*

Вчетверо сложив бумажку, Клавдия Ивановна спрятала ее в сумочку, а сумочку бросила на подоконник. Некоторое время она думала, выжидательно глядя на рыжего, и потом вдруг:

— Ах, да!

Через плечо оборачиваясь на него, не ушел ли, она поспешно опустилась перед корзиной, пачкая халатик в грязи и мусоре. Коробки, жестянки, чулки, белье полетели на хлеб, — вынимая одно за другим, Клавдия Ивановна деловито твердила ему:

— Вам письмо, письмо от Аршака, сейчас, куда ж это я его...

Инстинкт подсказал ей, что задержать рыжего можно лишь этим бескорыстным и деловым голосом. Даже подурнев от усилий и прилива крови к лицу, встала она, наконец, с пола и огорченно принялась вспоминать, где письмо.

— Да вы присядьте... Чего ж вы стоите-то? Вон та-



буретка. Письмо я вам отыщу... В корзине? Нет, не в корзине. В сумочке? Нет, не в сумочке. Разве в подушке? А ну, в подушке посмотрю.

— Не беспокойтесь, я после найду.

— Какое ж беспокойство! Аршак — вот армяшка забавный какой... А про портрет вы слышали?

Рыжий ничего не слышал про портрет. Он действительно заинтересовался. Как из туманного далека встал перед ним покинутый город, — работа и участок совершенно оттеснили его. Что-то поделявает художник-леф? Нашел ли заказ? Как виноторговец Гнуни? Дочка его? Жених ее?

Сев возле рыжего на развороченную кровать и не замечая, как отогнулись полы ее халата, открыв ее длинную ногу в трико, женщина обстоятельно и громко рассказывала:

— Портрет он с меня написал — уж и портрет! Вы почему не сказали, какая теперь мода? Стала бы я такому художнику даваться портреты писать, лучше бы на открытке у фотографа снялась. А некоторым понравилось. Наркомпрос для музея купил. Я Аршаку сказала: если за такую дрянь деньги брать, так по крайней мере дайте мне половину. Три дня рисовал — и сразу тысяча рублей. Гнуни я не видела. Погодите, куда вы? Я про портрет подробнее расскажу.

Но тут, не вытерпев, Клавочка сделала плохой ход. Слова — не ее оружие, и связывать речь — не в ее власти. Цепкие, нежные ладони схватили рыжего за белый кончик шеи, выглядывавший из амазонки, и, пройдясь по затылку, со сладострастнейшей лаской вошли в густые волосы. А потом, словно вспомнив урок, с затуманенным зрачком, одним только глазом поглядывая на него, Клавочка перевернула руку и уже не ладонью, а тыловой стороной, словно исчерпав зарядку ладони и пуская в ход запасное электричество, легко и быстро скользнула по щеке рыжего. Этой азиатской ласке научилась она у Аршака.

— Вы кончили? — спокойно спросил рыжий, поднимаясь с табуретки. — А теперь я пойду.

Когда он пошел к дверям, Клавочка, не найдя что сказать ему, осталась сидеть на постели потупившись.



### III

Начканц прочел лист бумаги и крикнул.

Нечто гоголевское было в этой сценке: неподвижные, чрезвычайно бледные и многозначительные лица, тесно сблизившиеся над бумагой, примятой указательным перстом начканца. Отсутствие занавесок на окнах позволило любоваться этой живописной жанровой сценой с улицы. Мальчишка-почтальон, только что опроставший свою почтовую сумку, заглянув мимоходом в окно, почувствовал, что в канцелярии творится что-то неладное.

Он помчался в соседний месткомовский барак предупредить Агабека и, встретив на пути начальника милиции, таинственно кивнул ему подбородком — дескать, там, в конторе, — и ринулся дальше, оставляя за собою в фарватере густой запах чеснока.

— Это пародия, что ли? — спросил, наконец, Захар Петрович, преодолев свою историко-литературную позу. — Пародия на советскую власть?

Перед ним лежала плотная белая бумага, великолепно разграфленная и покрытая сеткой диаграммы. Вверху красивым и четким почерком стояло:

*«Кривая темпа устарения архивных бумажек».*

— Шифр! — веско изрек Володя-конторщик. — Под видом насмешки — обыкновенный политический шифр. Видите цифры? Это он секретные данные спер.

Конторская дверь хлопнула. В конторскую дверь вошел начальник милиции Авак. Это было некстати, и еще более некстати мелькнула в окне быстренькая горбатенькая фигурка Агабека.

— Ну, поехало, — неопределенно пробормотал начканц, чувствуя необходимость объяснений. — Поди сюда, Авак.

Дождавшись милиционера, он приказал, мельком оглядываясь на дверь:

— Опечатай.

Широкий взмах руки пояснил, что опечатать надобно разобранный и приведенный в порядок архив.

— Опечатай, куда не выяснено. Дело в том, това-



риш Агабек, — вот хорошо, что зашли во-время, — у нас тут неполадки. Бумаги-то в архиве, оказывается, не наши. Может, чего секретного попало, так вот — как бы не вышло неприятности.

— Ерунда!

— Конечно, возможно, и ерунда. А все-таки, для порядка. Сами знаете, наш участок не подлежит ни съемке, ни фотографированию без особого разрешения, также и архивная бумага.

Говоря это начканц смахнул со стола себе на живот не только таинственный шифр архиварнуса, но и желтый блокнотик. А уж спрятать их в широкий карман под кавказскую рубашку особого труда не представляло. Только маленькая неожиданность помешала погребению блокнота: полные пальцы Захара Петровича, просовывая в карман желтый корешок, ощутили дружеское пожатие неприятных, холодных, влажноватых пальчиков горбуна, выдававших плохой обмен веществ и болезненность своего владельца.

— Дайте-ка уж и я заодно посмотрю, — сказал Агабек, вынимая из кармана Захара Петровича блокнотик.

Когда рыжий дошел до дверей конторы, они оказались запертыми. Дернув за щеколду, он вопросительно перевел глаза на рабочих, толпившихся в коридоре перед кассой, и, не добившись ответа, вышел. Здесь доброхотцы окружили его. Чесночное дыхание мальчишки-почтальона было путеводною нитью для десятка заинтересованных детских носов. Пробираясь в тыл канцелярии, через канавы и грязь, доброхотцы взобрались прямо на мусорную горку перед конторским окном. Подняв рыжие брови, Арно Арэвьян заинтересовался. Арно Арэвьян к восторгу мальчишек даже засопел слегка и сел вместе с ними на тоненькую дощечку, серьезно и внимательно глядя в окно, где маленький горбун с его собственным блокнотом в руках шевелил не особенно быстро губами, давая начканцу заглядывать через плечо в текст.

Вот что они читали:



## ЧИГДЫМСКОЕ ДЕЛО

*Пояснительная записка.*

«Село Чигдым, 19 тысяч жителей, сыроварня, крупное молочное хозяйство, маслобойные заводы, мыловарня, ректификационный завод, в проекте текстильная фабрика. Два мнения: увеличить имеющуюся дизельную станцию или строить новую, использовав большой Кумарлинский оросительный канал.

Решено строить новую, 5 600 лошадиных сил.

Организован комитет по постройке Чигдымской гидростанции. Трудность добыть деньги: Наркомфин требует сметы.

*Встрепенулся Эльмаштрест.*

Извещение от Эльмаштреста об открытии в Баку отделения (Электромашинный трест, объединяющий заводы бывш. Сименс-Шуккерт, динамомашинный и аппаратный, бывш. соединенные кабельные заводы Дюфлон, арматурно-электрические и ламповые «Светлана», изготавливает динамомашинные электромоторы, турбоагрегаты, трансформаторы, аппараты, провода, кабели, лампы, арматуру, принимает установки и оборудование фабрик, заводов, трамваев и электростанций, гарантирует соперничество с мировыми фирмами, получил заказ от Волховстроя).

*Район большого Кумарлинского канала. Организация.*

Комиссия инженеров обследовала большой Кумарлинский канал, чтоб установить, можно ли его использовать для гидростанции, — от головняка канала до места, где предполагается станция. Получение профилей и планов местности.

Комиссия состоит: из инженера-гидравлика, инженера-механика, инженера-электрика. Техническая контора: чертежник, делопроизводитель, машинистка.

Изготовление проектов, разбивка работ.

1. Рабочий канал (5 верст) начать с осени после оросительного периода и кончить к весне, чтоб во-время подать воду садам. Приготовить вдоль всего канала нужный материал.

С сентября разбить канал на 5 участков, работать одновременно, палатки для рабочих. Кладка стен на цементном растворе — в теплое время.

2. Станционное помещение — по проекту фирмы, которой будет передан заказ на турбины и генераторы.



3. Машинная часть. Иностранные фирмы берутся выполнить в 7 месяцев, русские в 9 месяцев. Железные напорные трубы заказать русским заводам.

#### 4. Сеть. Трансформаторные будки.

Решено придать органу, которому перейдет постройка, максимум автономности. Забронировать 238 000 рублей реальным золотом.

Цена: мастерские 1 р. 20 к. в день.

рабочие — 50 к. в день.

Договорились с артелью каменщиков и щебнебойцев.

Какие повадобились рабочие по специальности: каменщики, каменотесы, каменоломы, бурщики, кузнецы, щебнебойцы, плотники, погонщики ослов.

Лопаты и пр. взяты у военного начальства (начштабдивинж).

*Рабсила.*

*Как трудно было достать цемент, известь, лопаты,*

лопат железных . . . . .	300 шт.
кирок . . . . .	150 »
ломов . . . . .	60 »
топоров . . . . .	20 »
кувалд . . . . .	40 »
пил поперечных . . . . .	6 »
разводков к ним . . . . .	3 »
папок . . . . .	10 »
буров стальных . . . . .	50 »

*Выступает Новороссецмторг.*

Новороссецмторг предлагает цемент, копия технического испытания цемента: 1) измол, 2) условия схватывания, 3) цвет (светлосиневато-серый), 4) постоянство объема, 5) проба нагреваний в плитке, 6) проба водой — через 28 дней, 7) вес литра в рыхлом и плотном виде, 8) площадь разрыва, 9) испытанье на раздавливание.

*Для главных участка работ.*

Первый участок — где будет станция (станционное здание, жилой дом, напорный бассейн, шлюзы, отводный канал, фундаменты для напорных труб и пр.). Второй участок — на головняке канала (головной шлюз, сливной, полузапруды и пр.).

*Коллективный договор с профсоюзом. Как было в теории и что вышло на практике.*

Когда начались работы, между профсоюзом строителей и комитетом был заключен колдоговор. Гидрострой обязался давать преимущество членам союза и нанимать рабочих со стороны только в случае, если биржа не представит рабочих в течение 3 дней. При приеме и увольнении участвует представитель профсоюза. Нанимаются как сдельно, так и по денно,



но в случае сдельной получают наряд в письменной форме с обозначением расценок.

Рабочий день 8 часов, сверхурочных не более 2 часов. Кипяченая вода. Оплата и освобождение одного рабочего для месткомовской работы.

*Подрядчики и биржа.*

А когда приступили к работе, выяснилось, комитет организовал работу при помощи подрядчиков. Подрядчики, их типы. Заявления подрядчиков о новом определении грунтов, требования увеличить оплату, так как приходится корчевать деревья. Нажим на подрядчиков — декрет о принудительном размещении среди них шестипроцентного займа. Война подрядчиков с профсоюзом.

*Вопрос о сдельщине. Как он решался в 1923 году. Борьба профсоюза с комитетом.*

Профсоюз все время агитирует за нежелательность сдельной работы, запрещает сдельным работать свыше 8 часов. Биржа труда присылает оных рабочих в половине девятого утра без инструментов, и хотя десятник отказывается их принять из-за позднего времени, профсоюз настаивает и отбирает для передачи им инструменты у части вольнонаемных. Снятые рабочие потребовали, чтоб им заплатили за целый день. Фактические хозяева на работе — профсоюз и его представители. Позиция профсоюза привела к отказу всех рабочих от сдельной работы, вследствие чего производитель работ уволил рабочих.

Чем грешны подрядчики? Они часто не регистрировали рабочих и, перейдя на сдельщину, не представляли договоров и условий в соответствующие учреждения.

*Развал работ.*

Десятники и техники стали манкировать, приходиться на линию позже всех и уходить раньше ввиду того, что им было отказано в сверхурочных. Несколько рабочих самовольно сбежали. В марте — катастрофическое положение, все рабочие (сезонники) начинают покидать работу. Между тем окончание канала предполагено 15 мая, чтоб дать воду на поливку садов. 29 марта созывается экстренное заседание комитета для урегулирования отношений с подрядчиками, которые по докладу производителя работ медленно ведут работу. На повестке — недостаток в рабсиле, возрастающая задолженность.

*Безобразия в районе работ.*

В районе канала начинаются злоупотребления и разбоя. Два донесения: 1) от подрядчика 1-го участка: в воскресенье 3 февраля какие-то лица сломали замок головного шлюза,



*И рабочие не на высоте.*

*Конфликты между рабочими и местным населением.*

*Техническая мысль продолжает свою работу.*

подняли щит и намеренно затопили весь первый пикет. Одновременно сняли шкив и унесли шпонку от вала. 2) 6 февраля десятник 2-го участка донес, что рано утром 80 человек сделали набег на сады в районе 2-го участка с топорами и инструментами и начали рубить деревья. Он хотел отнять топоры, но порубщики ранили десятника палкой, а рабочего топором. Необходимо организовать охрану по всему району канала.

Рабочие тоже наносят ущерб садам. В Наркомзем поступила жалоба садовладельцев Мешадн Кяфар Карпалай Касим-Оглы и Гусейн Али-Оглы.

На одном из участков запальщик, получив для запальных работ динамит, стал глушить рыбу в канаве динамитом.

Мирабы (распределители воды) малого Кумарлинского канала не отпускают воду для нужд подрядчиков, работающих на гидрострое.

Воду рабочим доставляла агдахская канавка. В марте воды стало недостаточно, временно она прекращалась вовсе. Выяснилось, что воду расхватывали по дороге крестьяне для поливки.

Дело крестьянина Гайсеряна. Он разрушил дамбу на первом пикете, устроив ниже островка рыболовные приспособления. Пущенная вода стала значительно размывать насыпанную землю у низовой стены. Тогда рабочий Харибов разрушил плотину, устроенную Гайсеряном, и частично восстановил дамбу. Гайсеряна обвиняет Харибов в порче его рыболовных принадлежностей.

Вопросы, разбирающиеся в технической комиссии по гидрострою:

1. О ливневых водах на существующем Кумарлинском канале (пропустить их самостоятельными железобетонными лапками или каменными акведуками, оградить канал с нагорной стороны).

2. О порогах и водосборных шлюзах. Пороги углубить и устроить через каждую версту.

3. О трассировке канала. Трасса взята правильно. В узких логах допустить радиус кривизны трассы канала до 5 сажен, с уширением сечения канала для уменьшения скорости.

4. Об обливке дна канала — особо тщательно, так как скорость воды в канале значительная.



*Отдельные инженеры проявляют инициативу.*

*А тем временем в районе работ учащаются несчастные случаи.*

*Экстренные меры, принятые комитетом против развала работ.*

*Конец первого этапа работ.*

5. Об ограждении канала с нагорной стороны от падающих камней устройством берм и других сооружений.

Инженер Григорян докладывает о своем проекте удешевить станцию при помощи габионов Пальвиса. Итальянец Пальвис изобрел материал, заменяющий цемент. Габионы Пальвиса — разнообразной формы ящики, сплетенные из оцинкованной проволоки и наполненные камнями. Они скрепляются вместе и хорошо и крепко держат воду. Из них можно соорудить разгрузочную водосливную стенку форканала, водосливную плотину, низовую подпорную стену деривационного канала и напорный бассейн.

Рабочие укрылись от дождя под откос песчаного карьера, где работы были прекращены вследствие угрожающего положения. Произошел обвал, их засыпало, тронх спасли, одного убило.

Несчастный случай с двумя рабочими. Акт. 15 февраля при уширении канала от удара кирки произошел взрыв динамита, которым тяжело ранило двух рабочих. Расследование выяснило, что до 13 февраля работы по уширению производились динамитом вследствие сильной мерзлости грунта. В цилиндры 12 вершков глубины закладывалось по  $1\frac{1}{2}$ —2 заряда динамита, причем капсуль закладывался только в верхний заряд. Очевидно, какой-то заряд в одном из цилиндров не дал взрыва, в то время как верхний взорвался. Пролежав 2 дня в промерзлой земле и оттого став особенно чувствительным к детонации, заряд взорвался от удара кирки.

Новое заседание комитета от 10 мая. Решено устранить подрядчиков 2-го участка, а также артель союза строителей за то, что не ликвидировали задолженности рабочим. Подрядчики 1-го участка арестованы за саботаж и отказ от выполнения договора. Затребованы рабочие из Ленинакана.

20 июня канал готов, вода пущена, — оказался слишком большой напор.

#### IV

Здесь горбун передохнул и поднял глаза на Захара Петровича. Смутное воспоминание встревожило его. Что-то странное, не совсем обычное было в прочитан-



ном, и свое и как будто не свое, и приблизительное сходство с действительностью и очевидное несходство.

— Надо бы...

Но тут прервал его начальник милиции Авак.

Начмилиции вошел с сургучом в руках, который он только для вида пытался согреть на свечном огарке. Начмилиции никогда ничего не опечатывал, и приказ начканца поставил его в тупик. Скобля пальцем большую круглую печать и дуя на сургуч, как только начинал он кипеть на свечке, милиционер Авак в глубине души жаждал подмоги, и подмога явилась в лице рыжего.

Крепко постучав в дверь, Арно Арэвьян появился, покрытый легким пухом снега, прозябший, отсыревший. И вместе с Аваком предстал сейчас перед Захаром Петровичем.

— Он не велит опечатывать! — впопыхах заговорил Авак с видом человека, насильственно оторванного от дела. — Он говорит: стой! А у меня сразу сургуч простыл. Это не дело — двадцать раз сургуч нагревать...

— Совершенно бессмысленно опечатывать архив, — серьезно сказал рыжий, — не понимаю, чем это вызвано. Вы прочли мой конспектик? Ну, так это и есть посторонние папки, семнадцать штук, вот они: я законспектировал их из жалости, потому что, видите ли, эти папки подлежат...

Длинный палец рыжего показал на отметку красными чернилами:

*«Выбросить за давностью и ненадобностью».*

— Но я не мог их выбросить, — ведь ими тут печи растопили бы, — уютно продолжал рыжий. Он поискал глазами, нащупал за собой стол и, легко приподняв на руках тело, мячиком уселся на край стола. — Я их пожалел. Это ведь страшно интересно. Это постройка Чигдымской гидростанции, той маленькой, захудалой, что дает энергию Чигдыму.

— А, вспомнил! — вырвалось у горбуна. — То-то читаю и удивляюсь. Пять лет назад...

— Четыре года назад. Завтра я собирался сделать об этом маленький докладик перед рабочими.



— Да вам-то какое дело! Кто вас уполномочивал? — не стерпел Захар Петрович. — Инженер новый нашелся! Докла-а-ды делать!

— Но я условился с товарищем Степаносом! — настойчиво сказал Арэвьян.

Дверь в канцелярию, настежь открытая, уже заби-лась головами. Весь коридор, начиная от самого окошка кассира, слушал с жадностью. Младший возраст, подобно подлеску, настойчиво дышал в чужие спины, протискиваясь головами вперед. Слух шел из отдаленных углов коридора, что кого-то арестовали, и, поднимаясь на цыпочки, давя друг друга, дальние лавиной перли на ближних.

— Как на мануфактуру идуть, — язви! Захар Петрович наипростейшим своим стилем. — Айда, вали назад.

— Нет уж, товарищ Малько! Рабочих будоражить — это не дело. Опрометчиво не он, а, извините, вы опрометчиво поступили. Я так думаю: пускай он объяснит, в чем дело, — прервал его Агабек.

Очки рыжего благодарно блеснули навстречу местному. Он страстно хотел поделиться с людьми всем пережитым и передуманным.

Этот архив, куча казенных бумажек, имевших хождение от — до, был для него своеобразной школой предметности; он мог говорить бесконечно о сложных профессиях, неведомых большинству людей (одних, например, каменщиков четыре названья: «каменщик», «каменотес», «каменолом», «щебнебоец»), об инструментах, чье звучанье взывает к действию («цапка», инструмент цапка — это хватает, как собака за ногу), но в сущности начинать с мелочей не следовало, и, вкусно пожевав губами, рыжий проглотил про себя начало.

Он назвал свой конспект романом. Он стал пересказывать его, как делают ребяташки, возвращаясь домой с киносеанса: сперва место действия, потом действующие лица, картина первая, вторая, третья. Село Чигдым, без описанья природы, в цифрах и докладных записках встало перед случайными слушателями рыжего с яркой выразительностью одного из романов Стендаля, начатого с точного, почти архивного описания городских мельниц и их доходности.



- В голодный год, третий год нашей республики, когда большие города думали в первую очередь о продовольствии, о безработных, о размещении беженцев, село Чигдым задумало построить гидростанцию, — так начал свой роман рыжий. — Село Чигдым задумало, а в ответ сразу со всех концов Союза разволновались те, до кого это дело касается. Где-нибудь за границей чигдымцев завалили бы сотней реклам сотни конкурирующих предприятий. У нас при царе какому-нибудь нужному человеку подсунули бы тайком в руку или, как тогда называлось, «заинтересовали бы», и заказ получил бы один из конкурентов. Но в нашем Союзе вместо сотни реклам — одна: к чигдымцам посылает визитную карточку такое хвостатое чудовище, что даже перечислить его трудно, Э л ь м а ш т р е с т. Оно объединило в единое большое, согласное хозяйство, принадлежащее нищему народу, десятки старых фирм, где капиталисты обворовывали народ. Прочитайте характеристику этого героя. Какой поэт придумает сказать так мало и так много в одной единственной фразе?

Он говорил, оживляя каждый столбец папки. Перед слушателями, словно на экране, проходили подрядчики, — ни один не похож на другого. Жирный, со свисающими усами, в высокой барашковой шапке, побежал садовод Мешади Кяфар Карпалай Касим-Оглы жаловаться в Наркомзем, — и на длинной неразберихе этого имени рыжий останавливался многократно, рыжий баллабировал в воздухе звуками этого имени, он предлагал и пространство: «а ну-ка, выдумайте нечто подобное из головы». Диалектика пьянила его, делая изложение почти театральным. Драматизируя обстоятельства, он принимал то одно, то другое выражение лица, менял голос и интонацию. Люди вели свою линию, они строили, вторгаясь в частную жизнь поселян, станция влияла большим китом в лужицу мелкого сельского быта. Тогда начинал мстить быт: крестьяне отнимают воду, разрушают дамбу, разбойничают, жалуются. Но диалектика шла еще глубже. Великолепен был в изложение рыжего инженер. Он возник перед слушателями деловой фигуркой, усеченной, как пирамида, форменною фуражкой, — весь в чувстве касты и кастовой инерции. Сквозь



зубы он жалуется на помехи, жалоба протекает даже в язык казенной бумаги, желчью желтеет в папке. Читая, рыжий оживлял эту желчь, и там, на другом конце качелей, показывал союз и биржу, животом налегшие на ту же доску.

И тут вдруг, обернувшись к местному, внезапно скользнул с образной и театральной декламации к самой деловой прозе:

— Товарищ Агабек, у вас есть директивы о сдельной работе?.. А посмотрите, как барахтался союз четыре года назад. Он агитировал рабочих п р о т и в сдельной работы, он инженерам и хозяйственникам не давал строить, он их держал в хроническом бешенстве, он, на первый взгляд, прямо разорял работу,— сухие бумаги кричат об этом. Сейчас, через четыре года, эта диалектика нам яснее видна, и если б старые инженеры могли, наконец, диалектически воспринимать жизнь,— а инженеры долго этого не смогут,— им всё стало бы гораздо понятней. Мог ли союз четыре года назад поступить иначе? Нет, он не мог поступить иначе! Почему? Потому, что инженеры работали с подрядчиками. Эта старая крыса, подрядчик, был эхом старого мира и его практики. Он на рабочих наживался. Нельзя было при системе подрядчиков допускать сдельщины,— это вело к эксплуатации, а не к повышению производительности. Борясь против сдельщины, профсоюз боролся за новую организацию труда, и не мог иначе, и был тысячу раз прав, и победил, потому что старые, до-революционные подрядчики исчезли, их больше нет, мы теперь работаем с артелями. В будущем, может быть, и артели исчезнут, появятся группы, бригады. Выиграло от этого строительство? Выиграло. Мы строим лучше, чем раньше! А тогда казалось, что профсоюз губит стройку... дайте мне мою диаграмму, где она?

Секрет таинственной бумажонки, политический шифр Володи-мериноса разъяснился. Подняв ее над головой, рыжий громко прочел

— Кривая темпа устарения архивных бумажек.

— Только четыре года прошло, товарищи, а куда мы скакнули, как быстро мчимся, взгляните только! Все



уже переменялось. Возьмите тогдашний бюджет, стоимость рабсилы, кустарное начало строительства, штурмовой порядок, отсутствие плана, отсутствие экономических записок. Никаких в деле документов о загрузке, о потребителях энергии, никакого намека на кустованье, на будущую сеть станций,— это не входило в радиус постройки, радиус был короткий, не плановый, кустарный, дело рождалось одиночкой. Наш теперешний архив и этот чигдымский архив — ведь это две разные эпохи! А если вы вздумаете сравнить их с дореволюционными архивами — разница будет другая. У нас архивы ежегодно стареют, а до революции они были неподвижны, они ужасали своей прочностью: за десяток лет ни условия, ни отношения, ни цены — ничто не менялось, время и быт стояли. Кто не чувствует, не понимает, как мы гигантски двигаемся вперед, какой толчок дала нашей культуре Октябрьская революция, пусть заглянет в эти архивы и сравнит их с нашими. В глаза бросается. Не говорит, а кричит! Вот что может извлечь архивариус из своей работы. А вы считаете это скучным делом!

Он передохнул и тихонько опустил тело на прежнее место, как после полета в воздухе. Он был очень доволен тем, что высказался. Но, быть может, ему не следовало быть довольным или показывать свое довольство? Где-то там, под низколобою черепной коробкой Захара Петровича шла своя назойливая работа мысли. Он думал судорожно. И, нащупав слабое место, в наступившей тишине Захар Петрович взял слово:

— Так-то так, Арно Алексанч. Мы тебя выслушали. В своем времени ты, разумеется, волен. Но!... — Опять особенное, большое но вышло у начканца, как тогда, после собрания. — Но с волками жить — по-волчьи выть. Тут у нас люди из-за куска хлеба работают. Не хорошо, знаешь, между своими выдаваться. Работа пыльная, трудная, сидячая, а ты сиди, ежели пить-есть надо, — ведь вот такая обыкновенная-то наша совслужеская психология. Ну, а ты, брат, с чего стараешься? Зачем за норму заскакиваешь? Это — как бы справедливей выразиться? — для простого служащего человека обидно выходит, не по-товарищески выходит... Да!



## Глава восьмая

### ГЕРОИНЯ РОМАНА

#### I

Вторая смена, отоспавшись, шла вниз.

Наверху заведующий кооперативом с блуждающей улыбкой на лунном лице — он любил популярность — самолично отпускал первой смене хлеб. Нож звучно врезался в трещавшие караван, исходившие теплом от пурни. Хлеб выпекался пышный, но горьковатый, мука была не первый сорт, даже, по правде, дрянь мука; растирая ее между пальцами и пробуя на язык, сам заведующий соглашался. Но у него был готов ответ: «такую прислали», — хотя кое-кто на участке и уверял, что на пироги начальству мука отпускается — первый сорт.

Наследив в кооперативе мокрыми подошвами, черно-рабочие шли в столовку, где по билетикам получали обед.

Ветер бил в стены столовки, мутный огонек лампочки раскачивался под потолком. На деревянных стенах висели заманчивые плакаты, да и все здесь, в этой длинной и темноватой комнате, было заманчиво.

Маленькие деревянные столики с круглой солонкой, деревянный дощатник стен, крохотные оконца, а за чистым прилавком черный ус повара и неизменное блюдо лоби с жареным луком и постным маслом. Трюм допотопного парохода напоминала эта столовка, доски шатались под тяжестью проходивших. Холод падающих сумерек обступал здание, но, борясь с холодом, из кухонного окошка в столовую выплескивались вместе с протянутыми тарелками густые облака пара, и запах борща бил оттуда, наступая на подвигающуюся очередь.

Получив тарелку, рабочие шли к столику, влажные от кухонного пара. Они ели молча. Ели, глядя себе в тарелку. Многие из них только здесь, на строительстве, стали привыкать к горячей пище и впервые в жизни испробовали борща. У себя в деревне они питались всухомятку, — разве что наварит жена белого супа из кислого молока и пшеницы — спаса. А лакомством — величай-



ним — считалось у них **молбэиво**, когда отелится весною корова. Здесь же горячая пища хоть каждый день!

Надламывая краюху, они забрасывали в борщ ломти хлеба и маленькими-маленькими порциями забирали их неполною ложкой, держа ее в мускулистых пальцах с великой осторожностью, боком, чтоб положить пищу на язык, как драгоценную пилюльку. Да и языком не кончался хитрый механизм еды. Слева направо и справа налево, медленно перекладывая жвачку из-за щеки за щеку, двигали евшие челюстями, пока не проглатывали пищу.

Не все, впрочем, ели ложкой. Оглянувшись по сторонам, сгорбленный человек в тулупе окунул в борщ горсточку пальцев. Ловко орудовал он в борще приматым кусочком хлеба, набирая в него, как в губку, жидкость и спроваживая кусочек в рот. Хлеб заменял ему нож и вилку. С непривычки он ронял ложку, как неопытная придишлица ручное веретено. Это был сторож Шакар, выходивший в столовую не часто.

В столовой было тепло от людей, их бараньих тулупов, качанья их теней на слабо освещенных стенах.

Но тем, кто сбегал вниз по косогору, тоже было тепло. Сон еще держался в их теле, как горячая зола угольев в закрытой печке. Работы шли в трех местах: на буровых скважинах, на отводном туннеле и на мосту. Маленькая временная станция с двумя дизелями давала скупой свет на участок работ. Черные шарики бегущих людей накатывались с пригорка и растекались по местам.

Буровой мастер Лайтис, сдвинув низко очки на бородачатый нос, заносил в журнал последние данные. Слева от него бурильщик Заргарян держал на ладони вынутые из коронки столбики. Скважина дошла до сплошного каменного массива, и алмазным бурением выпиливали из-под земли тонкие, ровные, прохладные, желеновато-серые столбики, похожие на третьего сорта соевый шоколад.

У мастера Лайтиса все отличалось педантичным порядком. Рабочие уважали его. Он не спешил приказывать, его басистая речь текла очень медленно, подобно растопленному маслу. И Заргарян знал, что спешить



не надо, и спокойно держал столбики, покуда мастер записывал.

Внутри палатки земляной пол круто утоптан, стол выскоблен, на шнурке висит под брезентом электрическая лампочка. В углу гордость мастера Лайтиса — ящик с образцами последовательно извлеченных пород. *Буровая № 4* — надписано на крышке ящика. А посмотреть внутрь...

Впрочем, каждого туриста приводили неизменно сюда, к буровой номер четыре, и показывали ему журнал мастера Лайтиса и ящик мастера Лайтиса.

Трое рабочих вошли в палатку и, не говоря лишнего, взялись за штангу. Заргарян положил столбик в заготовленный и занумерованный мешочек и тоже встал на своем месте у штанги. Теперь рабочие стояли крестом, с четырех сторон скважины, каждый держась за рукоятку. Бурение производилось вручную. Не спеша, друг за другом, стали медленно крутиться люди.

Латыш посмотрел на них, покачал головой и вышел. Он стыдился за это бурение вручную. Но рабочие на буровой номер четыре любили свой простой и тяжелый труд, гордясь славою скважины, считавшейся на участке образцовой.

Стало уж вовсе темно. Было видно, Впрочем, как еще ниже, у самой реки, где находилась вторая скважина, бежали, покрикивая, люди и брел особенной своей подагрической походкой старенький Александр Александрович, держа горсточку пальцев у правого глуховатого уха. На скважине номер два было неблагоприятно.

О скважине номер два переговаривался и Заргарян с соседями, кружась шаг за шагом и налегая всем телом на рукоятку штанги. Они еще не успели вспотеть, в движении их еще была косная инерция тела, не желавшего производить работу. Каждый из них по опыту знал в себе эту инерцию, как знаешь свойство машины, и знал также, что спустя точный промежуток времени другая, наработанная движением теплота разомнет кости, как бы маслом их смажет, и тело наладится к труду, словно механизм. В ожидании этого перехода все четверо отрывисто перебрасывались короткими словами.



Тлм, на правом берегу, вообще было незадачливо. По правилу, давно бы следовало дойти до грунта и бурить, как они бурили, в сплошной скале. Но черт сглазил правый берег

Вздымаясь осколком какого-то гигантского разрушения, над правым берегом стояла гора Кошка, скаля каменные усищи усмехающейся квадратной пасти. И рабочие суеверно косились на гору Кошку. Они боялись горы Кошки.

Недаром из буровой номер два вслед за крепкими кляк будто породами полезла вдруг какая-то мокрая труха, — глина, речная глина показалась на глубине вместо ожидаемого сплошного грунта. Рабочие испуганно вертели штангу в буровой номер два, покуда бур с алмазною коронкой не застрял в скважине.

Случилось это еще утром. И с утра на буровой номер два бились и потели люди, как они бьются сейчас; с утра щукастый профиль начальника участка сердито колдовал у скважины, рабочие кряхтели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот с лица, лезли на веревках вниз, орали что то наверх, требовали один, другой инструмент, но бур плотно застрял внизу, забив собой скважину. Со стороны все эти усилия рабочих напоминали мучительную натугу лошади, ходившей животом направо и налево в оглоблях, чтоб свезти непосильный груз.

Но Заргарян бросил в спину переднего соседа слово:

— Дня три бы им повозиться...

— Не выйдет,— догадаются, Латуса нашего за за-  
гвоздок возьмут...

Из коротких слов было ясно, что бур не вытаскивали нарочно. И было ясно, что четвертая скважина, работая полным ходом, сочувствовала второй.

Мастер Лайтис дошел до старого инженера. Александр Александрович передвигал свои сухие подагрические ноги, подергивая ими по-генеральски. Он покраснел от ветра, синие губки его под пышными усиками испуганно сжались. Он был в курсе некоторых тонкостей: начальник участка не позвал своевременно Лайтиса, начальник участка сам руководил первыми попытками, начальник участка спасовал, и теперь ему, безответ-



ному Александру Александровичу, надо вынести ядовитую помощь Лайтиса и взгляды рабочих.

«Левон Давыдович постоянно так, это — система. Я не боюсь, конечно», — думал про себя Александр Александрович, панически озираясь на тень Лайтиса.

Когда мастер подошел к буровой, угрюмые лица рабочих стали смотреть в сторону. Все это были сезонники, тощий и невеселый народ, крестьяне из верхних лорийских деревушек. Их промокшие обмотки, сырая верхняя одежда и даже мохнатые концы барашковых шапок пахли дымом и кислым молоком. Запах въелся годами и был неистребим.

Лайтис минуту-другую ловил глазами их уклончивые зрачки.

— Я вас! — как бы говорил внушительный нос латыша, словно острие корабля, поворачиваясь во все стороны.

Но вместо угрозы он присел на деревянный сруб.

— Запущено, поздно позвали. Кто руководил? Левон Давыдович? Да ведь они неопытные по нашей части. Забили, хуже забили!

Один из рабочих подскочил к мастеру и тоненьким голосом начал жаловаться. Он сверял глазами речь свою, как часы, для точности, с выразительными лицами товарищей. Он руками показывал размер коронки, — разве такую коронку можно нацеплять на эту штангу? Рабочие в один голос отказывались, а начальник участка заставил. Вот теперь доказательство: застряла коронка. Почему в буровой номер четыре не застревала ни разу? Дело понимать надо, без понимания приказывать — одна порча.

Теперь вмешался самый старый крестьянин, красноватые глазки его глядели в упор, этот не отворачивался и даже смешка не скрывал. Гнилые, цынготные зубы шепелявили: не такая вообще тут земля, чтоб строить, старые люди давно говорили, старых людей надо слушать.

— Заткнись! — заорал, рассердившись, латыш. Его пролетарское нутро возмутилось.

Поднявшись, он по мосту прошел на правый берег, где молчаливо работала первая скважина, уже несколь-



ко дней показывавшая гальку; еще дальше, под самым боком у горы Кошки, два брошенных и затопленных шурфа безнадежно уперлись в глину. Геологи переврали что-то: у самых стен кварцевого порфирита, под сенью скалы, — место, таить было нечего, гибель-место, — плевали на людей всякою мутью, шла зелень нарушенных пород, речные гальки, а главное — ни с того ни с сего — синеватая глина. И все это вместо обещанного туфа. А ведь тут, по плану, плотину ставить! В глубине души Мийтис так же верил геологам, как и крестьяне.

Он вернулся назад ко второй скважине.

Магнитом пробовали, Александр Александрович?

Старый инженер встрепенулся. Переспросив два раза, он снял руку с ушной раковины и махнул пальчиками.

Магнитом еще не пробовали, и для Александра Александровича открылось поле действия.

Рабочие уже знали, что бур сейчас вытащат. Они становились на работу. Жалобщик, получив из рук Александра Александровича наряд на магнит, весело побежал к складу.

И все это время, изредка вскидывая глаза на отдаленную точку внизу, освещенную бледным светом, Заргарян и его три товарища, тужась, крутили и крутили штангу. Крестовина четырех рукояток поворачивалась, издавая особый носовой звук. Рабочие уже не занимались тем, что делалось на второй скважине, их покрасневшие лица были равнодушны, как внезапно становятся равнодушными к жизни очень тяжелые больные. Силы их мускулов перешли в движение, фосфор их мозга перешел в движение, легкая, уже привычная тошнота стояла в горле от тысячного поворота вокруг штанги, и колени, сгибаясь под прямым углом, равномерно, настойчиво, с силой вскидывались и вскидывались все в одном крошечном кругу.

## II

Снизу вверх ничего не было видно или почти ничего, кроме контуров гор на уже потемневшем и густо выцветшем небе.

По сверху вниз, там, где вилось Чигдымское шоссе,



был виден не только ленточною глистой трижды свернутый барачный городок с его тремя рядами огоньков, ярус под ярусом, но и далеко под ним, в русле Мизинки, бледное пламя работ.

Со стороны станции (только что отошел поезд) неся в этот час, неимоверно гремя и дребезжа, почтовый возок. Четыре маленьких лохматых лошадки, с собачьей мелкотой и дробностью перебирая короткими ногами, возносились с зигзага на зигзаг под улюлюканье кучера Пайлака.

Кучер Пайлак не сидел, он всегда правил стоя, крепко стянувши кушак русского полушубка на животе. Разбросав руки с вожжами, дико покрикивал Пайлак на своих собачьих коней, будя ночь арханзмом своего появления и этой повозки, насчитывавшей, должно быть, лет восемьдесят.

Очень высокая, старинной формы, с приступочкой, на которую даже мужчина не смог бы ступить, не опершись предварительно ногой на колесную ось, она издавала, подпрыгивая, шум сотни жестянок из-под молока. На дне повозки лежал запечатанный огромной сургучной печатью мешок с почтой, принимая от толчков резкие и неожиданные очертания чего-то неуклюже-живого.

В повозке сидел, подняв воротник к носу, необыкновенно тупой и невыразительный парень, считавшийся первым женихом в районе,— чигдымский почтальон. Обеими руками стиснув ружье, рукоятью припертое между колен, чигдымский жених спал крепчайше, не просыпаясь ни от толчков, ни от гиканья кучера. А Пайлак, даже правя и улюлюкая, не переставал смотреть и думать.

За думанье никто не заплатит Пайлаку, говаривал чигдымский кулак, отец почтальона. То был накладной расход его личности, и, быть может, именно за подобную расточительность Пайлак считался на селе Чигдым, в противоположность своему начальству, парнем ничего не стоящим.

Пайлак был занят и озабочен каждое мгновение своей жизни — встречами, разговорами, сломя дух передаваемыми поручениями, но если бы вы захотели подсмотр-



реть его в этой кипучей деятельности, вам пришлось бы взглянуть под самую черепную крышку Пайлака, в одиночество его тайных помышлений. Здороваясь мысленно со сбежавшими деревцами, поворотами шоссе, мелькнувшим профилем камня, Пайлак бормотал им что-то распухшими от ветра губами.

Настоящее поручение он выполнил мимоходом, как делают что-нибудь нереальное, во сне или же в театре: вынул из-за пазухи веревкой обвязанный пакет и, когда проезжал мимо арки, с которой ответвлялась вниз от шоссе дорога на гидрострой, не останавливаясь, швырнул его мальчишке-почтальону. Тот подхватил пакет на лету. Долгим опытом он выработал точное знание времени и точный взмах руки. Нырнув под арку, мальчишка побежал на участок. А Пайлак помчался дальше.

Только теперь-то и начиналось самое главное дело Пайлака. Он должен был передать ей, — ей, чье имя окружено величайшей тайной, — последние новости, последние шаги врагов.

Она каждый день бежала навстречу Пайлаку, и в этом было главнейшее ремесло ее жизни.

Она выбегала издалека, там, где стоят Мокрые горы. От Мокрых гор откreshиваются и армяне и грузины, спросите-ка, где они, и грузин кивнет в сторону Армении, армянин — в сторону Грузии. С Мокрых гор идут всякие беды — дожди, снег, градины с грецкий орех.

Выбегая оттуда тощей девчущечкой, распустив зеленые волосы, мчалась она, судорожно дыша, навстречу Пайлаку. Ножка ее, оскользнувшись, пробовала там и там дорогу. Волосы, цепляясь за встречные камни, оставляли зеленый блеск между песчаных отмелей. Где пробежать нельзя, она серебристо скалила зубки и вгрызалась в землю, — кто мог остановить ее? Над камнями, подпрыгивая вихрем серебра и золота, бегунья проскакивала, — ай, ай, что за девушка, милая девушка, джан ахчик<sup>1</sup> была длинноволосая красоточка!

Пайлак покачал головой, усмехаясь во весь свой большой рот. Он знал, что не так-то легко догнать ее,

---

<sup>1</sup> Джан ахчик — милая девочка (армянск.).



пять и шесть раз за сутки может она изменить дорогу, нынче ловите ее слева, завтра ловите ее справа,— ахчик джан, я привез колдуну три больших серых конверта, и на одном из них стоит, буква к букве, очень приятное слово: «секретно». Ой, это хорошие новости! Что станут люди писать секретно, кроме как если сомневаются, или боятся, или получили по шапке? Смотри теперь в оба, наступают большие, важные события! Беги передай горе Кошке привет от чигдымского кучера Пайлака. Скажи горе Кошке: пусть смотрит в оба!

Ослепленный глубокой важностью наступающих дней и событий, чувствуя в себе эту ночь и все звезды, какие только есть в запасе у неба, пьяный шорохами, шепотом бегущих деревьев, во весь рост вытянувшись, гикнул что есть силы Пайлак на своих быстроногих лошадок и распластал обе руки с вожжами, как если б встречные ветры зеленоволосою девушкой кидались ему на грудь.

Но озабоченно стрекоча и мурлыча, любовь кучера Пайлака пробегала внизу, в самой последней глубине каньона. Словно чуя надвигающиеся перемены, зеленоволосая девушка собралась с силами. В Мокрых горах девять дней шел дождь вперемежку со снегом. Сегодня снег стал таять. Она взбухла, вскипела от весенней подмоги. Цвет ее замутился, серыми кудрями била она по камням, вскарабкивалась, перекидывалась, грохоча и урча, катила сотнею пальцев неистовые шары — каменное оружие гор. Добежав до начала работ, Мизинка яростно замедлила,— русло ее здесь расширялось. Несколько затейливых полос в гальках говорило о хитрости речки. Пайлак не выдумывал. Мизинка меняла здесь русла, как платья. Покинутый длинный пробег хранил только исчезнувшую влагу на камнях, потому что речка, изменив направление, начинала вдруг бить на другой стороне. Докладная записка, в свое время подшитая к делу, сухо осведомляла об этих капризных свойствах и указывала на необходимость «ставить и хорошо крепить левобережную дамбу».

Здесь, на этом плацдарме, была для Мизинки самая страшная встреча с врагом. Здесь ей готовили западню.



Сперва она пробежала тремя неровными струями под чем-то, что раздражало ее, сердило и утесняло своей необдуманной грузностью, потом вдруг, мгновенно изменив течение, стала тонко и остро, сильным напором бить в крайний левый ряж моста. Наверху людя, балансируя на еще не законченном мостовом настиле, крепили железом доски.

При скудном свете двух фонарей, вознесенных столбами на берегу, был смутно виден весь этот мост, уже почти законченный. Только что проведенная, жирная от прокатки дорога подходила к нему и отходила от него с той стороны по искусственной насыпи.

Мост был временный, деревянный, предназначенный для перевозки материалов. Выбежав из-под ряжей, как из-под четырех растопыренных пальцев, старавшихся цапнуть ее, Мизинка бросилась снова вперед, к черному горлу ущелья, видневшемуся перед ней. Оно было освещено с правой стороны.

Именно тут, справа, не на самом речном пути, а таинственно и стороне от него, такое же черное, такое же узкое, такое же непреодолимое, виднелось нечто, внушавшее речке, повидимому, невыразимый ужас:

Клопоча в этом месте, Мизинка споткнулась порогами. Даже и утекая в горло ущелья, обращала она серебро своей пены, дрожь тысячи брызг, хвостатую накипь полн на тихий и весь исковырянный, весь в горках земли необыкновенный бережок. Здесь был вход в отводной туннель.

Александр Александрович уже давно, обходя работы, проследовал к туннелю. Глуховатые уши он старательно заложил ваткой, потому что в этом месте был сильный сквозняк.

Отводной туннель в сто пятьдесят метров длины уже несь был пройден по оси и расширен. Здесь работали лонинаканские греки. Вход в туннель шириною в двадцать три метра напоминал верхушку хорошего бокала для шампанского, суживавшегося к концу. Земля сочилась здесь тепловатой влагой, но дальше в самом туннеле дул резкий ветер. Диаметр там сокращался до пяти с лишним метров.



Деревянный настил, укрепленный на середине туннеля, делил его на два этажа, мешая поймать глазом красивое и круглое жерло. Лишь там, где талию туннеля охватывало массивное железное кружало, глаза невольно, пробегая по обручу, угадывали внизу его продолжение и представляли себе там, под досками, полое пространство.

Между досками настила и проложенной по нему колеей были дыры и щели, куда с непривычки ушла бы нога новичка. Но рабочие ходили, не глядя, раскачивающейся походкой. По рельсам, резко скрипя, подкатывались тачки с бетоном. Стоя боком в туннеле, рабочие начинали бетонировать стенку, и ясная, правильная, простая и несложная работа в той ее стадии, когда уже целое видно и ряд действий понятен не вразбивку, а в совокупности — увлекала, повидимому, и самих рабочих и молодого практиканта, стоящего сейчас рядом с Александром Александровичем.

Отводной туннель был только маленькой деталью постройки, но красивой деталью. Практикант чувствовал это. Он таскал с собой в картонной папке рабочий чертеж. Его восхищало простое остроумие техники, жизни, казалось, мало, чтоб строить.

Бывший слесарь, потом красноармеец, а теперь вузовец, практикант Фокин пропускал академический год, как и собственные дни отдыха, увлеченный стройкой.

Но Александр Александрович упорно не вынимал ватки из уха. Его рассеянный, совершенно равнодушный взгляд блуждает сейчас по туннелю, ватка служит защитой от слишком громкого, быстрого, горячего напора слов.

В сущности говорить тут не о чем, — Фокин отлично мог бы не говорить. Его, как грамотеев на ликпункте, в сорок лет восхищающихся буквой щ а, сводит с ума вот это наглядное, греческое, волшебное «пи», когда он тарашит круглые пролетарские глаза на ясный обруч кружала, пересеченный диаметром настила.

— Ну да, ну да, очень красиво! Геометрия! — иронически шамкает Александр Александрович, а про себя брезгливо думает, шагая рядом с Фокиным: «С такими невеждами мы строим».



### III

Фокин между тем прервал вдруг себя и ринулся, подняв плечи и уперши подбородок в грудь,— жест боевого петуха,— головой вперед на чернявого молодого рабочего.

Раздалась крепчайшая ругань — один только Фокин позволял себе ругаться на участке, за что и попал однажды в стенное детище Степаноса, газету «Луйс».

И только фокинскую ругань рабочие выносили.

Чернявый, присев боком на деревянный краешек обшивки, утрамбовывал насыпанный за обшивку бетон. В позе его Фокину чувствовалось критическое пренебрежение к бетону. Вырвав из его рук трамбовку, стал Фокин торжественно уминать приятную влажность бетона и приговаривать, причмокивать вперемежку с бранью. «Вот как, парень, — не пироги месить!»

Александр Александрович воздержался от замечания. Чернявый рабочий шушал ему страх. Это был Аристид Самсонов, грек, брат того Михаила Самсонова, что работал в плотничьей артели на мосту. И Михаил оскомину набил на участке, а уж про Аристида давно ходил слух, что он ставленник ГПУ.

— Бетон, Алесан Саныч, никуда не годится,— развязно произнес чернявый, подходя к старичку,— вот в Германии бетон — это да.

Он достал папироску и, хотя курить на настиле строго запрещалось, закурил самым спокойным образом. Он даже старику протянул коробку и, к удивлению Фокина, подагрические пальцы с небольшой старческой дрожью вытянули и зажгли скверную самсоновскую папироску.

— В Германии бетон — это да, другая категория. В Германии даже штукатурка хороша. У нас идешь по улице, висит рабочий в люльке, кистью стену лупит. А там рабочий стоит на асфальте да из кишки любые этажи берет. Это я хорошо знаю. Я в Хамбурге на баррикаде за революцию сражался.

— Что бетон плох, это ты врешь,— презрительно сказал Фокин.— Бетон удовлетворительный, утрамбуй его получше, вот тебе и будет бетон. И про баррикады врешь. Сражался бы за революцию, так бы через пень-колоду не работал!



Они дошли до конца туннеля и обернулись.

Сводчатый, куполообразный, охваченный музыкальными тактами кружал отсюда был виден весь во всей технической чистоте своей формы. За спинами их на сырой и усыпанной гальками площадке раздавался равномерный стук, прерываемый звуком сыплющегося тела: это работала бетоньерка. Рабочие засыпали ковш, и он опрокидывался с глухим ревом в бетономешалку.

И здесь тоже, если приглядеться, рабочие двигались ловко и с удовольствием, работа ладилась, потому что между ровным жерлом туннеля и между этой компактной, маленькой, остроумной машинкой, чисто и твердо выполнявшей свои операции, уже установилась требовательная и размеренная во времени связь. Уже знали внутри туннеля, когда и сколько подадут бетона, тачка подкатывалась во-время и без суеты; и уже знали рабочие у машины, как и когда загружать тачку.

На операцию изготовления бетона можно было смотреть часами. Фокин и приходил сюда смотреть — из чистого удовольствия, как любят иные «сумасшедшие» люди смотреть на закат солнца.

Машина состояла из трех связанных друг с другом частей — большого чугунного откидного ковша, подымавшегося примерно, как чашка бульона ко рту больного; моторчика, приводившего все в движение, и, наконец, бетономешалки, походившей, если продлить сравнение, на большой открытый рот. В бетономешалке имелись даже зубчатые челюсти.

Рабочие щедрым и нескупым жестом, потому что работы у них было сравнительно немного и рассчитывать силу не приходилось, загружали ковш сперва тремя ящиками гальки. Ковш поднимался, гальки сухо пересыпались в открытую пасть бетономешалки, а сверху, выделяясь автоматически, подобно слюне из слюнной железы, брызгала вниз на гальку тонкая струя воды. Тем временем в ковш засыпалась уже другая пища. Ящик промытого песка и третья часть бочки цемента. Опять, поднимаясь, ковш опрокидывал сыплющуюся массу в бетономешалку, и пасть пережевывала гальку с песком; крутясь из стороны в сторону, пересыпая пищу с челюсти на челюсть, приятно, щекотно, со стрекочу-



щим вкусным звуком ходили и отплясывали в кружившейся бетономешалке гальки, обволакиваясь песком и цементом. Теперь они становились уже не сухими, а жирными, смутно блестящими, влажными, приятно хрустывая на металлических зубах; но тут машина, остановившись, поднимала хвостик, и готовый бетон тяжелыми галетами сыпался на поставленную тачку. Все, кроме засыпки, производилось автоматически.

Подойдя к машине, Фокин сунул пальцы в заготовленные носилки с песком. Он потер его между ладонями, вкусно взяв стопочку. Потом, прищурясь, взглянул на него и протянул Александру Александровичу. Песок был хорош.

Старый инженер, удерживая зевоту, похвалил. Спору нет, работа здесь, на туннеле, шла, и сами рабочие отлично знали это.

Ему хотелось вернуться, выпить чаю и лечь спать до ужина. Но оставался еще третий участок работы, необходимо было вновь пройти через туннель и, узнавши насчет коронки, спуститься по мокрым и грязным доскам на мост.

Фокин, простившись, остался стоять у бетоньерки. Он слышал шум Мизинки, в этом месте ревя выскакивавшей из ущелья. Зеленые глаза ее из-под вороха сверкающих пеной волос как будто уставились на практиканта блестящим взглядом тигрицы: это речка, беря препятствие, на мгновение вскипая пеной, замерла над камнем.

— Погоди ужоточко,— ласково сказал Фокин,— добежишь до знакомого места, да не тут-то было. Тут тебе такого наставим, что ты живо повернешь боком да пойдешь мышью в туннельчик. И не таких выдывали!

Он теперь тоже врал, как Аристид Самсонов насчет баррикад. Никаких «таких» Фокин отродясь не видел и даже Кавказ знал только проездом. Уроженец и житель Севера, веснушчатый, как деревенская девочка, он знал реки медленные и полные, отражающие в своих водах бледное небо и белизну облаков. Но уж очень хорошо было жить, отчего и не приврать малость Фокину впереди-то с собой?



Подняв пальцы и складывая их кукишем, от избытка чувств улыбаясь нежнейшей улыбкой, счастливый Фокин показал зеленоглазой красавице комбинацию из трех пальцев.

Для рассвирепевшей речки это была между тем отнюдь не последняя неприятность. Выскочив из самого узкого места ущелья, где по проекту предполагалось воздвигнуть аховую американскую плотину в тридцать семь метров вышины, речка побежала теперь по глубокому дну каньона. Справа и слева от нее вставали замшевыми стенами старые порфириновые кручи, похожие днем на изъеденную временем тусклую кожу слона. Зигзаги ее пути, не особенно резкие, шли вниз к станции, падение тут было очень большое, речка кубарем скатывалась, бормоча сердито на ходу, но сегодня все шло не так, как полагается. Большую, раздутую дождем и снегом весеннюю массу воды не хотели оставить в покое даже ночью.

В одной из теснин каньона при свете звезд да ярких ручных фонариков можно было разглядеть узкий, плоский, на финскую лыжу похожий мостик, вознесенный на стальных тросах. Возле него копошились с ящиком и темным скелетом какого-то инструмента два человека.

Один носил фуражку инженера. Другой был крестьянином.

Первый, в фуражке инженера, был гидрометр Ареульский.

Каждый, кто слышал фамилию эту в первый раз, невольно переспрашивал: «Как? Ареульский?» Но далеко не каждому по секрету сообщали темную тайну этой фамилии. Дело в том, что гидрометр Ареульский, бывший в те дни и не гидрометром и не Ареульским, а недоучившимся студентом Прохоровым, внезапно, по совершенно неизведанным причинам, поместил в газете таинственный запрос насчет перемены фамилии Прохоров на Ареульский, призывая высказаться тех, кто видит к тому препятствия. Не встретив препятствий, загс переименовал фамилию, и Ареульский стал фактом. О мотивах он намекнул только однажды: человек должен носить фамилию по себе.



Гидрометр **Ареульский**, взволнованный начавшимся пещинным лаводком, самолично вынимал из ящика вертушку и прикреплял ее к концу длинного шеста. У него не было помощников, кроме толстяка **Мкртыча**, названного местным острословом, комсомольцем из дизельной, Санчо-Пансой при Дон Кихоте.

**Мкртыч** во время не оказался на посту, и речка опрокинула сегодня доску с делениями, стоявшую у воды и показывавшую уровень. И сейчас **Ареульский** грозно молчал и не давал **Мкртычу** ни до чего дотрогнуться, что было сильнейшим выражением гнева.

Но так как стоять на мосту с вертушкой и записывать, следя по часам за звоночком, число оборотов в секунду никак нельзя двумя руками, а требуется их по меньшей мере три, **Ареульский** молча сунул в руки **Мкртыча** шест с вертушкой и, дав ему презрительный подзатыльник, толкнул к мосту. Идя, точнее переваливаясь, с шестом по зыбкому мостику, **Мкртыч** показывал издалека жунавое и толстое лицо с ямочкой на щеке. За ним тинивая змеиной полз шнур от батарейки.

Оставшись один, гидрометр **Ареульский** запахнулся и валялся, как **Альмаинов** и плащ. Лицо его перекосила горькая усмешка.

Лицо было чрезвычайно худое, вытянутое книзу, глаза мрачные и тощие в провалах глазниц, брови дугой, и был бы в этом лице совершенный испанский стиль, если бы не подпортил нос. Нельзя было скрыть, что нос **Ареульского курнос**. Он торчал обыкновенной, как говорится где-то у **Лескова**, пипочкой и довольно прохладно дышал на губы, отстоявшие от него неестественно далеко.

Поставив удобно на краю моста батарейку, **Ареульский** прикрепил фонарик, достал секундомер и раскрыл свой блокнот. Опять же необходимо сказать, что блокнот свой **Ареульский** не давал в руки простым смертным. Каждому, кто хотел бы вникнуть в тайну его профессии, он коротко и сухо замечал, что высшая математика не поддается передаче, учиться, учиться надо для этого. Заклятому своему врагу, практиканту **Фокину**, склизившему как-то, что гидрометрия дело пустое и что вычислить скорость воды — просто плюнуть, он долго не



мог подавать руки. А помирившись, не глядя ему в глаза и усмехаясь снисходительно, объяснил, что «дебет или расход реки исчисляется интегрально, ибо движение волн — это не прямое движение, а оно описывает параболу».

Описывая параболу, мутные волны Мизинки ждали сейчас последней своей неприятности.

Мкртыч дошел до середины моста. Здесь он остановился и стал опускать шест с вертушкой в воду. Вертушка — красивый инструмент со стальными лопастями, похожий на детскую игрушечную ветряную мельницу, какие делают из пестрых бумажек и продают сидящими на палочках, — соединена была с электрическим звонком. Опустив ее до поверхности воды, Мкртыч стал ждать.

Мизинка разъяренно забила в стальные лопасти. От каждого удара воды лопасти непрерывно вертелись, и всякий раз, как вертушка совершала двадцать пять оборотов, автоматически звонил наверху звонок.

С секундомером в руках Ареульский записывал, сколько оборотов делает вертушка в секунду.

Такие измерения проделывались у поверхности реки, в середине ее и у самого дна, где скорость воды равна почти нулю. На поверхности расход был самый сильный, а в середине реки слабее. Обыватель, присутствуя на опытах, сказал бы, что река течет быстро на поверхности, посередине дает среднюю скорость и на самом дне стоит, как в луже. Но Ареульский, снисходительно улыбаясь, отверг бы такую арифметику и показал бы, что «средняя скорость» лежит не в середине, а ниже середины, как результат движения по параболе.

Чтобы вывести эту среднюю, — сказал бы он, — и требуются интегралы.

Мимо Ареульского пробегает Мизинка, унося свое израненное вертушкой, избитое вертушкой нежное водяное тело.

В этом стремительном беге, неукротимая, невозвратная, как человеческое время, когда-то воспетая Гераклитом в его афоризме «все течет» и «нельзя войти второй раз в ту же самую воду», потому что она меняется скорее, чем через мгновенье, — не знает речка Мизинка,



что уже высчитан, выверен и найден весь жизненный уклад ее, весь «режим» ее, как сухогато говорят записи: когда, в какой месяц и где, в какой точке, сколько и с какой скоростью пробегают в Мизинке воды.

#### IV

Между тем другой бегущий, мальчишка-почтальон, несет уже до верхних бараков полученный от Пайлака пакет.

Кучер Пайлак не врал речке. Кучер Пайлак сказал правду: в пакете было ровно три сероватых конверта, и на одном из них стояло: «секретно».

Начальник участка уже ушел из конторы и был доволен, куда его влекло скрытое неблагополучие семейной жизни.

С минуты приезда Клавочки на участок это таинственное неблагополучие дало себя знать в мигрени «мадам». Хрустя тонкими пальцами в рубинах, «мадам» сидела у окна, понизав голову пестрым шелковым шарфом. В обед она ложилась на кушетку. Прибор ее на столе, против прибора мужа, оставался нетронутым.

— Мари, да ты скушай чего-нибудь, — говорил муж насильственно беспечным голосом, глядя, как сухие и тонкие руки ее прикладывают к плоскому лбу платочек, намоченный в уксусе.

Мари загадочно улыбалась. Она вперяла в мужа выцветшие глаза монахини. Сложная и героическая работа происходила в ней. Ей казалось, что эта работа ясна и понятна ему, ясно и понятно усилие простить, снисхождение, одинокий отход к себе, к своему величайшему самопожертвованию: «Видишь, я знаю, терплю, не устриваю сцен, живи, но... не трогай меня, я умираю, мать может».

Кушая суп с твердыми и плохо проваренными макаронами, Левон Давыдович совсем этого не видел, а про себя произносил только два слова: «Сумасшедшая психопатка».

Макарона выскальзывала у него изо рта, он неловко тягивал ее обратно, помогая себе большой серебряной



ложкой с бельгийскими инициалами «мадам». Не мог же он сказать ей, что жену своего начканца, Клавдию Ивановну, ни разу не видел ни в лицо, ни в профиль и даже не знает, толстая ли она блондинка, или худая брюнетка.

Но по странному свойству своей натуры мучительно длить всяческие неприятности, как бы видя в нагромождении их нечто вроде собственных своих заслуг, Левон Давыдович навязчиво стремился в эти минуты быть дома, сидеть под выцветшим взглядом жены, впитывать хруст ее пальцев и подставлять себя под укусы: на, на, на.

Так и теперь, подставляя себя под укусы, уже два дня небритый, он ходил взад и вперед по столовой, как можно сильнее и громче наступая на пол.

Три конверта легли перед ним на столе, и на одном из них стояло «секретно».

Так обыкновенно писали из управления, злоупотребляя секретностью. Каждую ерунду конспираторы из управления передавали сюда на участок под этим кричащим заголовком. Пожав плечами, начальник участка разорвал конверт и все на ходу, причиняя «мадам» гнетущее сердцебиение своим скрипучим шагом, принялся было за чтение.

Но не прошло и секунды, как письмо полетело на стол, а сам Левон Давыдович резко остановился у висевшего на стене телефона.

В соседнем бараке, сидя за деревянной перегородкой у небольшого участкового коммутатора, телефонистка, жена Маркаряна, встрепенулась. Она прервала увлекательное занятие — гаданье на картах — и, сняв телефонную трубку, приложила ее к уху. Облачко задушевной преданности прошло по ее лицу: говорил начальник.

— Хорошо, Левон Давыдович, сейчас, Левон Давыдович.

Положив трубку, она поспешно вытянула из дырочки упругую кишку соединителя и вложила его в другую дырочку: квартира начальника участка соединилась с отводным туннелем. Потом, оглянувшись по сторонам, жена Маркаряна осторожно нажала кнопку, чтобы не слышно было контрольного звонка, снова схватила труб-



ну и, сложив губы сердечком, устремила блуждающие, круглые, томные глаза под потолок,— она мирно подслушивала.

Начальник участка взволнованно требовал к телефону Александра Александровича.

Отнодной туннель ответил свежим и грубым голосом («Кажется, Фокин», — телефонистка презрительно поморщилась: она не любила Фокина), что Александр Александрович минут пять как ушел на мост.

Начальник участка потребовал узнать, вытащен ли бур из скважины номер два.

Фокин ответил, что вытащен.

Тогда начальник участка, — он, несомненно, волновался, голос его дошел до писка, что-то случилось, что такое могло случиться? — начальник участка велел срочно разыскать на мосту Александра Александровича и передать ему, что он, Левон Давыдович, просит его немедленно, тутчас же, идти обратно, — начальник участка будет ждать его у себя на дому.

Жена Маркаряна провела трубку, — кто-то шел к ней за перегородку. Это был Володя-конторщик. Но сказать ему что-нибудь она не успела. Только что захлопнутое ею окошечко номер девять открыло глазок. Говорил опять квартира начальника участка.

Отвечая Левону Давыдовичу, телефонистка плечом отводила чересчур любопытного Володю-конторщика. Володя-конторщик, охваченный равномерно любовью и любовиством, старался использовать двоякую выгоду своего положения. Он тянулся к трубке, налегая на большие плечи жены Маркаряна, чувствуя с удовольствием знакомый запах собачьего меха. Роман их начался именно тут, у трубки коммутатора.

— Да, Левон Давыдович, хорошо, Левон Давыдович... то есть я хочу сказать, — круглые блуждающие или телефонистки и нечистая улыбка ее больших, раскрасневшихся губ с укором сомнамбулы повернулись к Володе-конторщику, — хочу сказать, что их нет сейчас в канцелярии, Захара Петровича нет. Если хотите, я за ним пошлю кого-нибудь. Хорошо, будьте спокойны, передам в точности.

Она в третий раз положила трубку. Нужно было



спешно послать за Захаром Петровичем и передать, что начальник участка ждет его немедленно у себя на дому.

Набросав телефонное поручение на бумагу мелким и кривым почерком, жена Маркаряна повернулась к Володе-конторщику. Новость была сейчас важнее поцелуя. В новости захлебывались оба: «меринос» определенно знал от мальчишки-почтальона, что пришла бумага из управления с пометкой «секретно»; его любовница определенно знала, что в квартире начальника участка готовится экстренное совещание.

В этот час, когда в сущности оба они, и Левон Давыдович и начканц, должны бы присутствовать в канцелярии, даже и аккуратнейший Захар Петрович был по семейным обстоятельствам дома.

Крепко и поздно пообедав привезенными Клавдией Ивановной из города булками, колбасой, копченой грудинкой, огурчиком, шестидесятиградусной карабахской водкой, ореховой халвой и прочими припасами, для быстроты и легкости положенными вместо тарелки на бурый лист оберточной бумаги, Захар Петрович отдыхал сейчас рядом с Клавдией Ивановной на кривоногой семейной кровати и с удовольствием курил, пуская дым в потолок.

На шелковое черное трико своей жены он не обратил особенного внимания. Супруги были заняты сейчас тихим и немногосложным разговором, впрочем и без того неслышным ни за стеной, ни в коридоре. Логово начканца было так грязно, воздух (или отсутствие воздуха) такой плотной завесой стоял здесь, как столб пыли на солнце, что шепот и шорох падали вниз, едва родившись.

Сегодня, как и всегда, оба они думали и беспокоились об одном и том же. Начканц знал это свойство семейной жизни и уже с утра, приглядевшись к ослепительно похорошевшей, но чем-то внутренне обеспокоенной жене, и сам от нее не скрыл собственной тревоги.

После обеда каждый из них поведал секрет другому, утаив — словно не секрет, а порцию шоколаду — половину исключительно для себя. Даже и то, что половина утаивается, один про другого знал и считал в порядке вещей.



Пичкаин сказал:

И, Клава, кажется, фифишку свалял. Рыжий этот... не того, словом. Ты бы в городе...

Жена ответила:

— Не беспокойся! Двадцать раз узнавала.

Клавоочки и в самом деле думала о рыжем. На душе у нее лежала тяжесть. Про письмо она тогда не соображала. Аршак написал письмо, и это письмо до сих пор лежит у нее за подкладкой пальто. Половина, которую она утаивала сейчас от мужа, именно и была в этом письме.

Получив конверт для передачи, она еще в городе поддерживала его, как делала решительно всегда с чужими письмами, над кипящим чайником и легко на пару вскрыла его. Аршак писал своему другу малопонятно:

«...Мы оказались правы насчет натуры. Упорно овладеваю ею. Но в характере моего дарованья нет, кажется, нужного нафоса, чтоб воспроизводить положительные. Получается киффуз. Делаю карикатуры для местной газеты. Посылаю в Москву альбом сатирических зарисовок с натуры — какими «мы не должны быть». Клавоочка очень удилась — сочный рубенсовский кусок мяса. Но лучше было бы платить обыкновенной натурщице рубль в час, потому что эта обошлась мне в полную стоимость портрета (купили на выставку за 500 рублей). Сигнализирую на участок: будьте осторожны.

Аршак».

Дальше в письме был замечательный постскрипtum:

«Пишу собственно вот зачем: меня вызывали в угро-наек, спрашивали ваш адрес. На что он понадобился, не знаю, поэтому дипломатически направил их в управление Мизингэса. Имейте это в виду, хотя на беглого каторжника вы не смахиваете».

Обидные слова в письме про нее, Клавоочку, как про кусок мяса, да еще ссылка на 500 рублей, были причиной того, что письмо Аршака, хотя и вновь старательно заклеенное, «затерялось» у нее в подкладке пальто. Но запуганная странной припиской, Клавоочка терзалась в



догадке: что же значит такое,— политика, ясно,— только грозит ли политика рыжему, или, наоборот, сам рыжий грозит политикой? Станный человек, на грошовое жалованье без разговора поехал, часы палкой устроил, уж не бежал ли нарочно из города? По мужу, Захару Петровичу, выходило, что опасность грозила не рыжему, а, наоборот, от рыжего. Мужу, Захару Петровичу, могла выйти через рыжего неприятность по службе.

— Если хочешь знать,— Клавочка оперлась на кулачок и повернула к мужу бледное, сейчас чуть помятое лицо. Ее блестящие, вывернутые зеленые глаза, обведенные синевой, стали таинственными, как у маленьких детей, когда они хотят «пугать»,— вот тебе, если хочешь знать, совет...

В дверь отчаянно застучали. Мальчишка-почтальон барабанил в нее обоими кулаками. В зубах у него, пропитанная чесноком, белела свернутая записочка: телефонное поручение Левона Давыдовича.

## V

На мосту работали в этот вечер три артели.

Две из них крепили дамбы с правой и с левой стороны моста — вернее, обкладывали их камнями, выломанными тут же на горе в местном туфовом карьере. Эти артели состояли из чернорабочих. Третья артель, плотничья, заканчивала укладку моста.

Мост был первым строительным опытом Левона Давыдовича по части мостов. Перед умственным его оком, когда он проектировал этот мост, стояли тишайшие долины Фландрии и меланхоличные реки Фландрии с их ровною и постоянною водяной массой. Даже облака Фландрии представлял себе Левон Давыдович, поскольку он был охотником, любил охоту на диких уток и, как все охотники, имел чувство пейзажа.

Облака, долины и реки тесно срослись в этом представлении с академическим учебником расчетов, лежавшим для освежения памяти перед ним на столе. Управление поручило эту маленькую работу начальнику участка, и, вполне отвечая маленькой работе, вставал на



первой странице книги стандартный образ моста,— нечто вроде «перворастения» Гете,— конструктивная схема, подобная в магазинах готового платья приличному стандартному пальто на средний рост.

Левон Давыдович был педантичным человеком буквы. Он хотел сделать приличный и красивый мост «на средний рост», задание было строить сопротивляемость на двести пятьдесят кубометров.

Это значило, что мост рассчитывался на меньший, чем средний, расход воды в речке. Между этим детищем начальника участка и тем тонким мостиком, похожим на финскую лыжу, была глубокая родственная связь, хотя и по «боковой линии»: там, на мостике гидрометра, изучался расход воды в реке; там найдены были данные, по которым высшая точка этого расхода — сильный весенний паводок, случавшийся с Мизинкой не чаще чем раз в сто лет, — давала цифру в семьсот пятьдесят кубометров в секунду. Именно эти-то исчисления с рекой и надеждой, что Мизинка, разлившаяся крупно ранее в прошлом году, даст в годы последующие затухающие весенние разливы, и привели здесь, на обсуждении и утвержденном решением «деле о постройке временного деревянного моста через речку Мизинку для перевозки необходимых грузов», к поставленной цифре: строить временный мост на двести пятьдесят кубометров.

— Четыре года постоит, а больше и не надо,— такая была преддetermined душа этого моста.

Но Левон Давыдович любил монументальность. С бумаги, исчерченной его суховатой небольшой рукой, на берега Мизинки перенесся академический суррогат из учебника.

Он был навязан Мизинке, как приличное стандартное платье из магазина. По-своему он был даже красив. Это были тяжелые, ложномонументальные, мнимосolidные формы, выполненные в легком материале, это был детский пистолет «пугач».

Вот он стоит сейчас, почти законченный, при бледном свете звезд и скупом пламени фонаря.

Справа и слева к нему по искусственной насыпи подходит новая дорога, еще жирная от недавней прокатки.



Дамбы чисто, для красоты, обложены камнями, — так красят под бронзу гипс. Мостовой настил ровною колеёй с невысокими перильцами возносится над сторуками воплями ферм, этих карнатид современности. Под фермами уплывают вниз спеленутые ноги карнатид — деревянные ряжи.

Говоря же без поэтических аналогий, надо сказать прямо: Левон Давыдович построил через Мизинку обычный деревянный мост на четырех ряжах, какие хорошо ставить на медленных реках по ровным руслам или же, еще лучше, в учебниках механики для наглядного обучения простейшим применениям закона рычага, но не на горной речке с крутым паденьем.

Подходя к нему не с дороги, а с низу, где все еще ходят рабочие и подвозятся строевые доски (потому что новую дорогу, как незастывший пломбир, покуда не трогали), вы видите пять красивых пролетов и тяжелый профиль. Станным кажется этот профиль над тощим и худеньким тельцем речонки, распластавшейся в этом месте на животе. Курица могла бы перейти ее вброд. Шевеля зеленым остреньким плечиком, проползала Мизинка между ряжами, и не хватало Мизинки, чтоб заполнить, забить, захватить все пять пролетов. Свернувшись, она била в последний ряж, грызла его сотней зубов, оставляя вдруг совершенно пустыми все четыре пролета, как ненадетые рукава от платья.

Третья артель, плотничья, делала свое дело наверху спеша и молча; но той ясной и слаженной, хорошо понятой работы, какая была в отводном туннеле, здесь не чувствовалось.

Наоборот, плотники показывали короткой небрежностью своих движений, что на постройку моста они глядят несерьезно. Внизу, где крепили дамбу, раздавались смешки и шутки. Тяжелый и мнимосolidный профиль моста казался рабочим чем-то вроде господина в котелке, который не сумеет, когда понадобится, поднять ведро с водой.

— Разве в наших местах это мост? — подхватывал Михаил Самсонов, понимавший по-армянски. — Инженеров этих за решетку, вот куда. Аробщики, которые



нам доски возили, и те смеются: для кого, для красоты строите? Первая вода его сковырнет.

Он злобно швырнул камнем в ряж.

— Нам еще лучше, — дважды работать придется, — отозвались сверху.

Насчет того, что верхним, плотничьей артели, дважды придется работать, нижние как будто не только не сомневались, но и еще про себя вспомнили что-то очень смешное. Они ответили раскатом хохота.

Плотник Шибко, возглавлявший верхнюю артель, принимал сейчас длинную последнюю доску настила, медленно передвигавшуюся в руках десятка рабочих, — доска шла в воздухе, плавно и тяжело колыхаясь, стесненная в движениях своею бесконечною длиною, как поуклюжее тело змеи.

Шибко сделал вид, что не слышит хохота. Он был внушителен даже среди своих рослых и крепких товарищей. Лицо его походило на старую лубочную картину «Боярин» — холеная квадратная борода Шибко сильно с проседею, кудрявая и на лоб растущая шевелюра, стриженная «под гребенку», брови твердые, ясно очерченные, глаза серые с поволокой, — никак не соединялось все это с рассказами о его особых талантах. Он пропустил хохот мимо ушей: неделю назад он ухитрился получить с артельщика дважды зарплату за одну и ту же работу: первый раз по оригиналу, второй раз по копии.

Когда Александр Александрович, шлепая калошами по мокрым камням, подходил к правобережной дамбе, после которой самодельная и неудобная лесенка вела на мост, рабочие артели Шибко уже спустили последнюю доску настила.

Она вдвинулась, неся за собой все свои точки, с приятною и чувствительной для плотника упругостью в оставленное для нее пустое место. Рабочие, сбившись в кучу, сидели теперь на мосту, глядя, как Александр Александрович подходит.

Что бы ни говорили о Шибко (а с кем греха не бывает!), вся эта артель, да и сам Шибко были опытные, зрелые рабочие, исколесившие немало дорог нашей необъятной родины. Руки у них были золотые, и они



знали, что умеют работать. В досужий час каждый из них смастерил бы для вас любую тонкую штуку из дуба или березы. Но сейчас странное, почти тупое равнодушие было у них на лицах.

Подняв голову и восходя на последнюю, самую каверзную ступеньку, — здесь брались обычно руками за настил, чтобы не свалиться, — Александр Александрович увидел их всех со спущенными беззаботно ногами, с равнодушием в сонных глазах, с зевком на пухловатых и светлоусых ртах — забубенную артель Шибко, умевшую, как никто на участке, изводить самой ловкой формой поединка — молчанием. Артель молчала, даже когда пила горькую, когда вырабатывала по тридцать целковых в сутки на душу.

Александр Александрович боялся их больше, чем Аристиды Самсонова. А тут, поднимаясь, он услышал вдруг, что артель разговаривает.

С какой-то медленностью, словно горло опухло и слова выходили оттуда с сильной натугой, рассказывал Шибко — он это делал раз в год — о русско-японской войне, в которой участвовал. Шибко говорил, словно и не сидели они здесь, на новом мосту:

— А китайская женщина не работает, сидит дома цветочком. Муж сам за нее все делает — и стирает он, и котел на огонь ставит, и за дитей ходит, дитю носит, и на жену, как на икону, молится. Есть у них выражение «жиб-кашанхэ» — жена-красота!

Эта неожиданная речь оскорбительно подчеркивала все глубочайшее пренебрежение артели к «текущему моменту». Последняя доска настила, последний гвоздь полугодовой работы, который они должны сейчас забить, отодвинулись этой речью в сторону. Словно в защитный цвет оделись, — рабочие артели Шибко были сейчас так же неестественно и мнимомонументальны, как построенный ими мост. Поза их за внешней полной беспечностью прятала неуважение.

Отдышавшись, Александр Александрович долез. Ему следовало пройти по мосту, который на днях должна была принять комиссия из управления. Но у него подагрически ныло правое плечо. Он медлил.



... Александр Александрович! — молодым и свежим голосом закричал догнавший его Фокин. — Сейчас начальник участка по телефону звонил, просит вас воротиться, он ждет на квартире. Сказал — поскорее!

Тайные вести Пайлака начали медленную работу.

## *Глава девятая*

### ГОРА КОШКА

#### I

Рыжий спал на спине, подложив руку под затылок. Проснувшись, он не сделал никакого движения, а только отирал глаза: его часто будили таким образом на ранней заре, когда приходил тифлисский поезд. Он все еще ждал в комнате для приезжих, хотя наступил апрель, который месяц его пребывания на стройке.

Человек, приехавший сегодня, не обратил на рыжего никакого внимания, — он разматывался. Стоя посреди комнаты, он метавался обеими руками раскручивал вязанный шарфик с шеи. На нем была не по сезону тяжелая кожаная светлорыжевая куртка, вязанные гетры, тирольские подбитые гвоздями ботинки и легонькая кепка. У стены прислонил он бамбуковую трость, на стол положил чемодан и портфель. Размотавшись, приезжий снял стул, сел посреди комнаты и, пытаясь, стал стаскивать гетры.

Разглядывая его, рыжий вспомнил, что произошло вчера.

Прежде чем началось таинственное совещание в квартире Левона Давыдовича, прежде чем секретарь ищейки снял с вешалки нарядную клетчатую кепку, идти на собрание, — весь участок знал и на все лады пересуживал в клубе новость о том, что проект Мизингеса либрикован в центре. В воображении рыжего встал этот вечер в клубе с той минуты, как он зашел туда почитать глесту. В этот вечер рабочие словно взбесились: стук от шара пропитывал стены барака, сухой трескотней сыпались они на зрителей, и зрителей набилось в барак



множество. Стук был в сущности главным удовольствием игры. Среди рабочих находились виртуозы,— закрыв глаза, по одному стуку могли они определить, кто и как бросил кость.

Играющие сидели по двое за маленькими столами перед длинной гладко отполированной доской. Тут были и местные и приезжие издалека,— они тоже научились играть. Эти долго, прежде чем бросить, бренчали костями в кулаке, потрясая ими в воздухе, а потом вдруг бросали всей пятерней на доску, бестолково растопырив пальцы. Настоящих нардистов это оскорбляло, тихие рабочие азербайджанцы, в бараньих высоких шапках, с мелкими чертами лиц, изрытых оспой, тонко улыбались; невежливые армяне супили на резкий стук брови.

Настоящий игрок — он мог с ума свести зрителя, душу вымотать зрителю законченным совершенством игры.

Настоящий игрок кончиком пальцев знал число очков на костях. Бросал он сразу: медленно скатывал кость по ладони к самому концу пальцев и как бы капал ею на доску с острия последнего ногтя. Обласканная длинной лаской, нагретая кость падала особенно: казалось, она обращает к игроку шестиглазое лицо.

— Тридцать девять лет играй — научишься,— говорили опытные игроки и нагибались вкусно, стопочкой забрать камень, стукнуть им и через всю доску одним только вытянутым концом третьего пальца переслать куда следует. Ни одна игра в мире не знала подобной пластики. И через весь Восток, от Нила до Каспия, нардистов роднили одни и те же арабские восклицанья, произносимые с особенным гортанным шиком:

— Дубéш! Пайджурчáр! Дубарá!

Ну, где же было шахматисту и его жалкому лексикону из «нута-с» или «ну-ка» и песенке, застрявшей в зубах, как хрящ от обеда,— где соперничать с нардами?

Степанос огорченно наблюдал за рабочими, охваченными магией жеста. Это был в сущности сидячий та-нец,— азарт их становился с каждой минутой сильнее. Сюда набились все, кого собрал и кормил Мизингэс, за исключением работавшей смены. Даже частники на-ползли сюда.



Частником на участке считался сапожник, построивший себе особнячок из сырца и монопольно чинивший обувь; цирюльник, располагавший всю свою музыку за пределами закрытого помещения прямо на воздухе: венский стул, тазик, кисть, коробочку с мыльным порошком; гребни он держал в собственной шевелюре. Также частниками считались торговцы луком, носившие свой товар в мешках со станции. Но эти, как и деревенские торговцы, за пазухой державшие яйца, а в бутылках от боржома — густое, грязное буйволиное молоко, пропитанное запахом дыма, уже вытеснялись по всей линии местным кооперативом.

Именно тогда-то, в самый разгар игры, заглушая и стук нард и гортанные арабские восклицания, и закричав вдруг отчаянно, на русском языке, Михаил Самсонов, прибежавший с моста:

— Братша! Старики-то ведь правы, старики-то! Нананостная гора Кошка. Просект-то в Москве... провалили мост!

И точно же, как по волшебству, прекратилась игра... швырнув кости, рабочие вскочили с мест и окружили Самсонова...

Здесь рыжий опять открыл глаза, потому что, вспоминая, успел даже и выдремнуть слегка.

Человек в светлокоричневой кожаной куртке стоял у самой его постели, нетерпеливо глядя на него желтоватыми козлиными глазками. Он что-то жевал.

— Проснулись? Доброе утро. Вы здешний? Ага! Я геолог Иван Борисович Лазутин.

Рыжий мгновенно, мячиком поднялся с кровати.

Покуда он натягивал носки и штаны, приезжий деликатно повернулся к нему спиной, барабанив пальцами по столу. Когда же рыжий, в рубаше поверх штанов, пошел умываться, он тоже вынул из чемодана складной баульчик, где были в футлярчиках мыло, зубная щетка, паста, гребешок и прочие туалетные принадлежности, перекинул мохнатое полотенце через плечо и пошел за рыжим.

Нетерпеливо перебирал он ногами, покуда Арно Арзвьян мылил шею. Приезжий глядел на стройную спину, на чистую линию затылка, на длинные ноги акробата и загадывал, где работает этот великолепный



экземпляр человека. Но, когда рыжий, умывшись, вернулся в комнату, геолог забыл о своем нетерпении помыться, едва смочил руки под краном, брызнув воды на нос и тотчас побежал в комнату, еще с порога окликнув:

— Да вы сидите, не торопитесь, будем чай пить.

Торопиться рыжему было некуда. Сегодня он отдыхал. Да и час слишком ранний,— еще очень бледный горный рассвет стоял за окном, делая предметы тусклыми.

Геолог между тем продолжал суетиться, все поглядывая на рыжего и на легкие движения его спокойной белой руки. Он достал холодные пирожки с фаршем и выкладывал их на тарелку.

За дверьми Марьянка-уборщица, щеголяя короткой юбкой и городскими туфельками на босу ногу, раздувала для приезжего самовар. Она, как и все женщины на участке, была стрижена по моде, и ее синеватые щеки были густо вымазаны кармином. Неся поднос, она распустила в ухмылке губы.

Геолог улыбнулся в ответ, продолжая жевать что-то. Со стороны казалось, будто геолог держит за щекой вечную карамельку. Слова выходили у него изо рта, сопровождаемые мелкими брызгами. Это Иван Борисович отучивался — и никак не мог отучиться — от куренья.

Сейчас, в муках уязвленного самолюбия, он не в силах был оставаться наедине с собой. Слова, не сказанные, но десятки раз повторенные самому себе, душили ему горло. Подождав, когда Марьянка, без надобности покрутившись по комнате, ушла наконец, он устремил свои желтоватые глаза на рыжего:

— Слышали, а? Москвичи утверждают — неправильная экспертиза: фельзитовых туфов якобы нет. А наши, как водится, перед москвичами на животе. На участке что говорят? Крют Лазутина?

Не скрывая любопытства, рыжий глядел на коротенького человека. Он знал, что перед ним крупнейший геолог Закавказья.

О маленьком домике на Авлабаре, собственности геолога, рассказывали чудеса. Холостяк, человек со странностями, Лазутин попал в Закавказье задолго до



революции и прочно обосновался там, работая на богатых заказчиков — промышленников, концессионеров, солидные фирмы. У него был нюх на «полезные ископаемые», он физиологически чувствовал близость руды. Как-то читая Гете, он набрел на таинственную страницу в «Вильгельме Мейстере» о подобном чутье земных недр и отчеркнул место карандашом. «Вы мне не верите, так верьте, пожалуйста, Гете, — говаривал он с тех пор. — Это есть материал для науки, подобная связь. Минеральные ключи я чувствую за пятьсот саженей, у меня чешется кожа. (Сося леденец, геолог растягивал гласные: ко-а-жа.) Медь причиняет мне спазму. Марганец... гм, насчет марганца... дам в обществе нету? Поработав на марганце, я, черт возьми, еду выкутиться».

Но Лазутин злоупотреблял оригинальностью. Она появляла его, как некоторых модных врачей. Постепенно шепотом стали говорить про Лазутина: «Да, конечно, но, знаете, он дилетант все-таки». «Научность хромает у нашего Ивана Григорьевича», — добавляли самые верные лазутинцы.

Он долгое время нес свою клычку, как дребедень на игольнике, не замечая. Но, узнав, уже не мог от нее отвязаться. И подмоченная репутация сделала его суетливым, желание оправдаться душило его, один в своем удивительном домике, среди собранных драгоценностей, знаток Закавказья, исходивший его вдоль и поперек, Лазутин чудаковато и вспышками переходил от яростного самомнения к горчайшему самоунижению. Только показывая свои коллекции и переживая их сызнова, он обретал внутреннюю уверенность и спокойствие.

## II

Коллекции были действительно великолепны. Пять, шесть часов проведя в домике, вы узнавали страну. Длинные боковые коридоры, где узкие окна бросали полоситый свет, хранили сокровища Азербайджана. Почти каждое было найдено, открыто, исследовано Лазутиным, — в шкафах за стеклом дашкесанские железные руды, медь Кедабека, серебро-свинцовые залежи Мех-



маны, колчедан Чирагидзора, отдел минеральных источников Исти-Су, нефтяное богатство в Баку.

Обойдя их, проникали в квадратики Грузии с сетью ее областей, — здесь были отдельные маленькие комнаты, свет падал с застекленного потолка. Лиловые стены марганцевой комнаты давали тон. Все разнообразие Чиатуры было представлено здесь, от блестящих, круглых оолитовых зерен марганца до жирных кусков руды. Тонкая пыль пачкала пальцы. Черная рука шахтера — несмываемая перчатка — вознесена была над шкафом. Стекла хранили превосходные модели шахт, изогипс показывал залегание марганцевого пласта, диаграммы украшали стены. На полках была собрана лучшая литература по марганцу на французском языке.

Любитель, не побоявшийся красноречия Лазутина, бывал здесь приятно вознаграждаем. Обойдя комнату, геолог подводил его к изящному умывальнику: фиолетовое душистое мыло к его услугам. В этом углу маленький музей практически разъяснял пользу марганца: косметика, профилактика, гигиена — красивое сочетание фиолетовых оттенков; восковая распухшая рука — змеиный укус, — и лечение рядом: шприц, пузырек с раствором марганцевого калия. Химия занимала отдельную полку. Рельсы на подоконнике, сталь с марганцем и без марганца, процент их изнашиваемости. Все это Лазутин готовил мелочь за мелочью сам, наслаждаясь растущим количеством предметов. У него в кабинете среди множества расписаний были столбики календарных дней, и к каждому приписывал геолог карандашом, что приобретено или сделано им для музея.

От марганца вы проходили к углю. Здесь соперничали два «т» — Тквибули и Ткварчели.

Хитрый Лазутин в каждой комнате разнообразил свои методы. В комнате «грузинского угля» он путеводителем сделал экономику. Посетителю предлагалось углубиться во взаимоотношения цен, в сложные комбинации стоимостей и качеств. Лазутин дал тощий тквибульский уголь во всей его невзрачности. Но рядом с тквибульским углем геолог, превращаясь в инженера и экономиста, поставил во всей остроте проблему угольной пыли.



Зритель сперва только узнавал о ней из надписей и картинок, видел ее образцы, знакомился с опытами брикетирования. Потом маленькие модели печей, детские игрушки, демонстрировали работу на пыли. Потом, широким сводом вырезок, журналов, фотографий, надписей в уголь вмешивалась техника и технология, зрителю давалась экономическая перспектива: какой выгоды, какой дошневизны, какого огромного сохранения угля можно достичь употреблением угольной пыли. И в свете этих новых знаний тквибульский уголь с его плохим качеством, так неуважительно поминаемый металлургами, получал особое значение.

На другой стороне комнаты раскрывала свою замечательную полосатую колоннаду работа ткварчельских буровых скважин. И здесь опять Лазутин превзошел сам себя. Впервые, быть может, в геологическом музее была показана по вертикалям опыт нескольких буровых скважин, расположенных рядами, и эти колонки, соответствующие масштабу комнаты уменьшенные, красивым движением своих стоек раскрывали все тайны залегания угольных ткварчельских пластов. Между ними большие черные цифры указывали на расстояние одной буровой от другой. Сбоку, злетантный, как альбом для стихов, в наряднейшем кожаном переплете, — образец идеального «журнала» бурового мастера.

Переходя взглядом от одного столбика к другому, вы ясно видите сечение осадочных пород, характернейший разрез «каменноугольной системы». Вверху шел нанос, за ним красная полоса глины, за глиной — семья серых сланцев, глинистых и песчаных, за сланцами — точнее, между особым грязным слоем углистых сланцев, — неизменно чернела густая полоска угля, потом в пестром хороводе семейство сланцев с многочисленными сородичами — сланец песчаный, кудрявчик, сланец известковый, сланец глинистый, песчаник, опять сланец углистый и новый, мощный слой угля, — захотите — и, взглянув на масштаб и на продольные полоски сечения, вы легко определите толщину угольного пласта — 3,75 метра.

Внизу под сланцами и углем красиво и пестро стоят крепкие столбики туфогенного песчаника, подпочвенных залегающих. Эти гладкие, словно отполированные столбы



вынуты из настоящей штанги. Лазутин сам пропорционально уменьшил их масштаб.

— Вся угленосная площадь Ткварчел у меня под рукой, — гордился он. И показывал тем, кто понимал толк в деле, образцы пробного ткварчельского кокса из печей Макеевки.

Если посетителем музея была женщина, Лазутин быстро вел ее в «дамскую комнату» — очаровательную бело-розовую комнату кутаисского барита. Здесь прохладные блестящие кристаллы красивого камня разрешалось приласкать рукой. Здесь был и маленький «Ausflug», как говорят немцы, маленький пикник в промышленность. Картонная модель баритового завода, последовательные стадии превращения барита в суррогат краски и белый легкий дамский столик со стулом для отдыха в комнате, крашенный грузинским баритом.

В отдел Армении вела красивая витая лестница. Отдел помещался наверху. Маленькие чердачные ниши, складчатые, подобно телу гармоники, шли вокруг центральной, стеклянным куполом увенчанной большой залы — залы «синтеза», по слову хозяина. В каждой нише собраны были редчайшие музейные экспонаты сокровищ Армении — зангезурской и аллавердской меди, анийской пемзы, каджаранского молибдена, серного колчедана, железистого хромита с берегов Севанского озера, пегматитовых жил лорийского гранита, великолепных строительных материалов, начиная с артекского туфа и кончая гаммой цветных мраморов.

Опьяненный увиденным, переполненный новыми знаниями, усталый, замученный, сохраняя в ладонях приятную прохладу камня, в глазах — оранжевое сияние спектра от бесчисленных красок и оттенков, зритель подводился, наконец, Лазутиным к огромному полотну, растянутому на экране в самой середине залы, под сияющим куполом. Взяв в руки легкую бамбуковую палочку, геолог обнимал здесь зрителя от избытка чувств за плечи и, нескончаемо растягивая гласные, тянул, почти не находя слов:

— Ка-а-рта! Литологическая карта Закавказья. Первый опыт в Союзе. Что? Дилетант Лазутин? Фокусник



Лазутин? Приглашайте, приглашайте своих генералов, охотьтесь за профессорами. Ползайте на животе перед всяким, кто с вас запросит. Нашенская, закавказская манера — уважать дорогостоящего человека. Ну, а скажите-ка мне, кто из генералов сделал там у себя, в центре-то, литологическую карту? Ась?

На полотне была подробнейшая карта распространения минерального сырья в Закавказье. Каждое ископаемое имело свой цвет, знак мощности, качества, применения. Это была замечательная работа. Кто умел быть геологом, — так говорил Лазутин, — для того подобная карта служила почти таблицей Менделеева: уместившим оком восполняя пробелы, тектонически путивествуя по недрам, схватывая в стройной связи как будто случайные нити месторождений, вы научитесь разгадывать покровы земли, населять пустоты, правильно предполагать...

— Правильно предполагать — вот талант нашего брата! — здесь, задвинулся слегка, волшебник своего феерического музея вел гости вниз, в первый этаж дома на Алабаре, где молчаливый грузин повар не спеша ставил на скромную клеенку стола яркий фаянс (тарелок) травки пахучие, жирный суп из молочной сыроворотки, грузинское гоми, перченый, красномясый люллиббай.

И этот диковинный человек, на четвереньках опробовавший камни и тропки всего Закавказья, ошибся в пустом вопросе, ошибся так грубо, так невероятно...

— Ай! — вскрикнул вдруг геолог и хлопнул себя по башке ладонью, словно бил муху. — Да ведь быть этого не может, быть не может. В шесть часов получил телеграмму, в девять выехал. Молодой человек, у вас хороший череп, где вы работаете? Прошу вас, молодой человек, запомнить: я докажу им, что ерунда, чистейшая ерунда. Как? Наносы, осадочные породы, речное ущелье? Идемте. Одевайтесь. Нечего терять время.

За окном уж рассвело, и самовар, внесенный уборщицей Марьяикой, давно перестал петь. От пирожков остался лишь жирный след на тарелке. Рыжий, вставая,



изо всех сил вытянулся — он каждое утро укреплял эдак свой позвоночник — и, замедленно выпустив глубокое дыхание — выдох длиннее вдоха! — ответил Лазутину:

— Я готов.

### III

Совещание у Левона Давыдовича затянулось глубоко за полночь.

Секретный пакет, как всегда бывает с секретами, принес вести, гораздо менее страшные, нежели те, что разнеслись по участку.

Правда, проект был забракован. Правда, управление предписывало замедлить темп, перейти с трех смен на одну, остановить капитальное строительство и не делать никаких новых трат на подсобное, включая сюда и жилые бараки и все по договору обещанные меры благоустройства участка.

Но тут же были и совсем другие распоряжения. Именно они-то и делали задачу Левона Давыдовича невыносимо сложной. Роняя шукастый профиль в бумаги, начальник участка в десятый раз читал:

«Сохранить рабочую готовность участка, помешав уходу квалифицированных и кадровых...»

(Помешать их уходу, сбавя заработок!)

«...ни в какой мере не допустить паники на участке...»

(Здесь делал «гм» начканц, Захар Петрович, и помечал у себя в блокноте карандашом.)

«...иметь в виду, что по пересмотре и переработке проекта строительство должно пойти ударным порядком, для каковой цели совершенно необходимо держать, так сказать, рабочую силу «под парами».

Держать ее под парами! Александр Александрович представил себе артель Шибко. Держите ее под парами, уменьшив сдельщину! Холодным потом покрылся позвоночник Александра Александровича. Даже сосед, Алавердский завод, сманивал у них слесарей, повышая им категорию. При остром-то закавказском голоде на рабоче-го? Вот именно! Он тысячу раз согласен с Левоном Давыдовичем, что наше управление...

Крепкое словцо удержал начканц, крикнув в самое ухо Александра Александровича:



.. Да не об этом сейчас!

Начальник участка действительно говорил не об этом. Едва сдерживая истерику, он вспоминал Бельгию.

Забыв про скупость и меркантильность своих хозяев, плативших гроши рабочим, забыв про стачки, которыми отвечали доведенные до отчаяния горняки, забыв про сибитавинное зависимое и унижительное положение на службе у акционерной фирмы, где его оскорбил как-то начальник, толстый и грубый нахал, задев национальное чувство Левона Давыдовича, — отчего собственно и вернулся он к себе на родину, — Левон Давыдович видел войну прошлое в розовом свете. Он вспоминал те щедрые тысячи, какие бросали, не жалея, капиталисты на разведку. Тысячи тратились на буровые! К проекту приступали, изучив природные данные до ниточки! Почти лаял Левон Давыдович, выкрикивая об этом, как обиженная породистая гончя, которую послали стеречь сусликов.

Своим начканц ушерию переводил — и в этом была его извращенная роль — совещание на практические работы.

— И так начинаю, — говорил начканц, для видимости заглядывая в блокнот, — одним ударом двух зайцев. Под сокращение мы подведем, Левон Давыдович, непокойных личностей.

По его мнению, в панике на участке были повинны неспокойные личности.

Разглагольствуя пятерней кудреватые с проседью волосы, начканц читал список:

— Мастер Лайтис, — благо с буровыми теперича на дмнй идет.

Бурильщик Заргарян, у него жилплощади нет, дак не строить же!

Самсонов Михаил, — и всю артель сезонников за ненадобностью. Эх, хорошо бы и Аристида зараз.

Но Аристид Самсонова отстоял Александр Александрович. Чернявый мог навредить.

Между тем, пока под знаком конспирации шло это совещание на квартире начальника участка, в клубе было назначено бюро.

Члены бюро, счетом восемь человек, собрались



вокруг стола, крытого красной суконкой. Председательствовал секретарь ячейки. На повестке стояло три вопроса: о положении на участке (докладчик секретарь); об агитационной работе среди сезонников (Степанос); о нарушении дисциплины (Агабек). Но основным был — и все члены бюро знали это — доклад секретаря.

Только что побывавший в столице республики и задержавшийся на день в уездном центре, секретарь ячейки был в курсе всех новостей. До бюро он никому ни о чем не рассказывал. И сейчас семь пар глаз было устремлено на него с тревогой и напряжением.

Те, кто близко знали каждого из членов бюро, их человеческие слабости и недостатки, — меньше всего признали бы за ними какие-нибудь преимущества, умственные или духовные; наоборот, как это бывает у близких людей или родственников по крови, они сказали бы с величайшим скептицизмом, с глубокой уверенностью: «Авак? Наш Авак, сын Амбарцума?» Или: «Завэн? Завэн Никогосов? Да какие они руководители? Завэн на три копейки продаст, на две обвесит. Авак, когда страшный сон видит или бандита в горах ловит, про себя еще «Хайр-мэр» («Отче наш») читает... Вот так руководители!» Быть может, говорившие это на какую-то долю истины и были правы, но они видели и понимали в близком только то, что лежало к ним ближе.

Завэн Никогосов, человек городской, со стажем торгового служащего, заведовал на участке кооперативом. Это он произнес речь на суде, названную Марджаной «возмутительной»; стоя у себя за прилавком, он, конечно, никого не обвешивал, но начальство уважить умел. И явные его слабости — любовь к рисовке, к популярности — закрывали для близких другие немало-важные, а на участке попросту незаменимые качества — практическую, бескорыстную готовность всегда, при всех обстоятельствах отдать свое время и силы на потребу общества, на выполнение партийного поручения. Он нес множество «нагрузок» и со всеми справлялся. Кто на участке сколотил драмкружок, раздобыл и привез из столицы сборничек пьес, разучил и торжественно поставил спектакль? Никогосов. Кто ведает шахматным кружком? Никогосов. Кому поручено организовать здесь



филиал общества охотников? Никогосову. Кто ведает членством в МОПР и Осоавиахим, собирает взносы, проводит собрания, делает по поручению ячейки доклады? Опять же Никогосов. И сейчас, придя на бюро в распахнутом пиджачке, запыхавшийся, только что принимавший от кладовщика муку, он усаживается на место, а дунное лицо его теряет свою постоянную улыбчивость и становится деловым и напряженным.

Начальник милиции Авак прибыл раньше него. Он сидит прямо, как аршин проглотил, затянутый в поясе ремнем, — и очень молодые, как два чернослива, глаза его глядят из-под сросшихся бровей преданно на секретари ячейки. Авак в ранней юности, может, еще и читал по привычке свое «Хайр-мэр», но сейчас он ходит в кружок политграмоты, руководимый секретарем, а по воскресеньям и сам проводит беседы со стариками селенниками.

Но почему, задержавшись глазами на этих двух самых главных членах бюро и мельком obeжав других, присутствующих в своем качестве, — Фокина, пришедшего вместе со Степаносом, Косаренко, Амо из дизельной и, наконец, Агабева, — мысленно повторяет секретарь то, что сказал только недавно в уездном центре на вопрос, «исправинься ли?» — «с таким бюро справлюсь, можете положиться».

— Товарищи, на нас возлагается очень большая ответственность, — негромко, но солидным своим баском начинает секретарь докладывать.

В его докладе есть все, о чем уже было говорено на совещании у Левона Давыдовича. О пересмотре проекта, об ошибке геологической экспертизы, о приказе управления, о предстоящем сокращении штатов, о том, чтобы не допустить паники на участке, — но, повторяясь с монономом, все эти вопросы встают перед членами бюро в новом освещении.

Секретарь подковал себя перед собранием, как он это делал всегда. Пересмотрел газетные вырезки, разложенные по конвертам; аккуратно развернул томики Ленина, разбухшие от бесчисленных закладок, которыми отмечал секретарь нужные для него места, перечитал отчетный доклад Сталина на XV партийном



съезде. И ясная, прочная уверенность в том, что надо сказать, что надо — с такою же ясной и прочной уверенностью — сделать своим и для этих семи человек, самых сознательных членов партии на участке, а через них и для всей партийной организации, — наполнила душу секретаря.

Пути назад нет и не будет. Строительство не сократится, не будет свернуто, — наоборот, огромные стройки начнутся по всей стране. Это единственный путь, принятый нашей партией. Трудности сами собой понятны — заграница не дает займов, кулак прячет хлеб, часть инженеров вредит — продалась бывшим хозяевам, Англия и Франция готовят новую интервенцию — мало мы им наклали, еще хотят, — обострилась классовая борьба внутри нашей страны. Кулацкие подголоски смыкаются с троцкистами, предают наше дело. Классовый враг всюду зашевелился, есть он и у нас, на участке. Он захочет использовать момент, чтоб ослабить, разъединить партийные силы. Требуется большая сознательность, большая бдительность с нашей стороны. Мы на большом посту поставлены партией: стройка Мизингэс — это одна из крепостей социализма, она будет питать тяжелую индустрию республики, она рабочий класс воспитывает, крестьянина воспитывает. Каждый из нас должен сейчас вдвойне, втройне напрячь свои силы...

Секретарь говорил долго и сам остановил себя. Неясное чувство несовершенства, недостаточности речи своей поднялось в нем, передалось, может быть, от некоторого падения напряжения в глазах Авака, устремленных на него, и оттого, что Фокин и Степанос опустили вовсе глаза, а местком явно думает о чем-то своем. Секретарь знал свой недостаток: он хорошо подготовился в общей части, но он еще мало знаком с участком и с людьми на участке.

— Что же конкретное ты предлагаешь? — спросил неожиданно Фокин своим резким и молодым голосом, воспользовавшись минутною паузой в докладе.

— У начальника участка сейчас черные списки составляют — кого снять с работы. Можешь быть уверен, лучших людей снимут, — вставил Агабек.



Сам видел, что творилось на общем собрании,— вмешался и Косаренко.— Что ты будешь делать, если с тобой не считаются, с бюро не считаются, производственные совещания объявили склокой, на профсоюз наплевательски смотрят; Агабека, когда он интересы рабочих защищает, вслух кличут «вредным»? Что ты против всего этого выставишь?

— Товарищи,— подумав, ответил секретарь,— общее собрание мы провели, и результаты оно дало: рабочие высказались. Ряд замечаний мы записали, будем следить, чтоб их учли, провели в жизнь. Производственные совещания мы созывать будем, и никто нам в этом не мешает. Атмосфера не сразу меняется, она складывается, мы ее создадим собственной работой. Многие отрицательные факты у нас оттого, что стройка еще не на полный ход заработала, она в сущности еще на консервации. Против черных списков ты, Агабек, можешь выступить, без тебя все равно ни одного увольнения не оформят. А режим экономии мы соблюсти обязаны. Мы обязаны помогать управлению в строительстве. В этом и трудность, что надо и помогать и быть начеку и понимать, что не конкретно так, как вам хочется. Но вы знаете и людей и положение больше моего. Я считаю, что если гореть стройкой, понимать ее важность, болеть за нее — можно найти общий язык.

— То классовая борьба, то общий язык,— иронически пробормотал Косаренко.

Но Степанос понял секретаря. Он взял слово:

— Арсен, на мой взгляд, прав: кто нам запретит работать? А своею работой мы укрепляем партийную линию на участке. Критику снизу зажать никто не имеет права. Однако рабочая критика одно дело, а кулацкая критика другое дело. Разбираться надо. Среди части сезонников распространяется кулацкая критика. Какова ее цель? Опорочить стройку в глазах населения, отпугнуть от стройки. Идет она от темноты, через стариков, внушается бедняцкому слою. Но кем внушается? Суеверием суеверием, а кто-то суеверие это раздувает. Необходимо резко тут вмешаться, повести энергичную работу. Авак, тебе со стариками следует обстоятельно поговорить, откуда такое идет. Слышали про



гору Кошку? Гора Кошка, видите ли, колдует, она не даст построить плотину! Тут прямой враг гадит! — И Степанос, близко поднеся к глазам мелко исписанную бумажку, стал перечислять разговоры, слышанные на участке, и меры, какие надо принять. — В стенной газете никто не пишет, — пожаловался он, заканчивая чтение.

— Прямое дело Амо, — заметил Фокин, кивнув на механика из дизельной, — изощрай, Амо, свое остро-словие у Степаноса.

— И надо переменить название газеты, товарищ Степанос, — ведь это Эчмиадзином пахнет, «Луйс», — неужели другого не придумаешь?

Амо, он же и протоколист собрания, старательно записывал, наклонив к плечу голову, все, что говорилось по второму вопросу. Тем временем Агабек, выйдя из клуба под звездное ночное небо, негромко позвал:

— Вартан! Гурген!

И когда две темные фигуры, отделясь от стены, подошли к крыльцу, молча сделал короткий жест рукой, говоривший, что время для них пришло идти на собрание. Третий вопрос — о нарушении дисциплины — касался обоих этих рабочих, вызванных Агабеком на бюро.

Вартан и Гурген, два партийца, были — и с этим решительно все согласились бы — две беспокойнейших личности на участке. Гурген, огромный парень со сломанным носом, рябой, состоял в кузнечном цеху. На свадьбах он напивался, а напившись, плакал о том, что вот сирота Гурген, отца-матери у Гургена нет, и если в эту минуту черт дергал шутника какого-нибудь хихикнуть или даже попросту, кашлянув, отворотиться, тяжелый, кровью налитый, бычий взгляд Гургена прицеплялся к несчастному и предвещал много неприятностей. Недаром Гурген был в клубе инструктором по физкультуре. Что до Вартана, всегдашнего закадыки Гургена, то Вартан был красавчик, поэт и рабкор. Это его заметка о скандальном происшествии с арматурой появилась в центральной газете. Это он соперничал с Володи-конторщиком по части сердечных дел. И, что более важно, два года уже Вартан готовил сценарий



лич кинематографа, показывая товарищам адресованное ему и на машинке выстуканное письмо. Работал Вартан в механической мастерской, и тут было слабое, или, как говорили в комсомоле, «узкое» место Вартана: спешил кончить дневную работу, Вартан делал не очень уж много и не очень охотно. Вечерами же, набирая производительности, он стоял у станка вовсе другим человеком: ни заботы, ни почесывания, ни разговоров — хорошие, чистые, толковые вещи вырабатывал тот же Вартан по-доброму. «Смотри, дойдет до тебя», — говорили Вартану товарищи из дизельной.

Усевшись рядком за дальним краем стола, оба приятеля опустили головы. Не глядя на них, Агабек повел свою речь.

Факты, переполнившие терпение Агабека, были совсем неприглядны — буйство и драка, учиненные в деревне Гургеном, брак нужной детали, запоротой в механической Вартаном.

— Говорили о борьбе с темнотою, с суевением, — Вартан говорил Агабек, — стариков ругаем. А молодые наши члены партии хорошие? Всюду большевик в стране на первых постах, а у нас имя коммуниста позорят. Завтра начнем увольнять. Что ж, уволим в первую очередь. За пьянство и рвачество. С аттестатом.

Глаза Гургена налились кровью, Вартан щипал бахромку на рукаве. Они каялись утром у себя в цеху и в мастерской, каялись в месткоме перед Агабеком, договаривались, как и чем искупят вину, и сейчас боялись, что Агабек уже все забыл и перерешил.

А председатель месткома, блестя зелеными глазами, отчитывал и отчитывал их, покуда кудрявый вихор на лбу у Вартана не взмок от пота.

Вартан держал за пазухой вчетверо сложенный листок — заявление на бюро. Оба друга работали над ним весь день, раз пять переписав его начисто. Вартан вынуждал Гургена на производственное соревнование — работать без единого брака. На строительном участке это был первый вызов — первая ласточка движения, о котором здешние рабочие еще только в газетах читали, — и Агабек сразу понял огромное его значение для участка.



Далеко за полночь расходились члены бюро, довольные совещанием.

— Сумбурно, но в общем хорошо поговорили, дошло,— так резюмировал его про себя секретарь, пробираясь по темному косоугору домой.

Весело шли Вартан и Гурген, дорогой придумав еще одно дело — в прибавку к соревнованью. Они жили в одном бараке с двадцатью двумя холостыми рабочими. Ночная смена вставала, вечерняя укладывалась, — и оба друга тут же, радостно хохоча, объявили о своей затее. До утра они не могли заснуть от веселого возбуждения, представляя себе, что за рожа будет у старого Месропа, когда вместо восьмирукого дэва... И что за рожи будут у всех вообще на участке. И каждый чигдымец, чигдымец особенно, проезжающий наверху по шоссе, — непременно увидит красное пламя.

Вартан и Гурген задумали в первый же выходной забраться на гору Кошку, водрузить на вершине ее, считавшейся до сих пор неприступной, огромную красную звезду и, проведя туда электрические провода, зажечь на пяти ее концах яркие лампочки.

#### IV

В то же утро старик Месроп, обтянув над цынготной челюстью желтые птичьи губы, стоял возле кузницы, обеими ладонями опершись на пастушью палку, и с недоброй улыбкой смотрел, как кривой костоправ Павло орудует стальной пилкой в окровавленном лошадином бедре.

Под брюхо лошади, подпирая ей заднюю ногу, врезался ремень и такой же обтягивает переднюю часть брюха. Оба браслета пришпилены наверху, на деревянной перекладине, и лошадь свисает в них, четко подогнув ногу, словно при скачке. Глаз у нее зашелся, круп мелко дрожит, — вся она, без крика и ржания, передает острое ощущение боли, и мальчишка конюх дует ей в ноздри, чтоб не обмерла лошадь.

Милиционер Авак, стоя тут же, рассказывает, как было дело: ехал он, значит, к мосту под горой Кошкой



по новой дороге, а в темноте — не видно, — мячиком камень и прямо в кобылу; возьми он чуть влево — нечестно, был ли бы еще цел сам Авак! В этих местах, чуть дождь или роса, обязательно камни прут, на честном слове держатся. Месяца не проходит без несчастного случая...

— Это как кого, — знающе сказал Месроп; желтая протабаченная слюна собралась у него в уголках рта, — как кого, а крестьян камень не обижает. Наш шот ничего, проходит.

В иное время не дал бы Авак спуску на месропову контрреволюцию. Но сегодня не хотел и связываться. Он чуть не плакал, глядя на раненую кобылку, клонившую своей детский профиль с приподнятым, как бы курносим, носом набок, — так иной раз, замлев, усталый человек склонит на ладонь щеку.

Рваная рана на крупе, — зашить ее можно было, но милиционер Авак знал, что останется хромота. Лошадь была бы строительства, резвунья, из породы рысистых, хорошая лошадь.

— А черт-и там шлет проекта? Слух ходит, инженеры местным обиходились? — совершеннейшим дурачком, но еще ехидней Месропа, спросил костоправ.

И этот, ей богу! Кормится, ест, пьет, квалификацию пропил, а туди же, за выжившим из ума дедкой... Авак вспомнил, как они вчера на бюро крыли подобных личностей, и, разгорячась, даже про лошадь забыв, сунул-ся в готовую речь на ехидного человека. Честное красное лицо Авака так и горело потребностью высказаться, и быть бы «поверженной линии», — как про себя определял Авак, — быть бы поверженной линии и подбитой и выпрямленной к чести местных партийных сил, если б в эту минуту не опустилась на плечо Авака соронькая тряпичная фильдекосовая рука и грозный голос начальника участка не крикнул пронзительно:

— В чем дело? Кто лошадь брал без наряда? Вы? Вы?

Начальник участка, разбуженный раньше чем следовало, стоял сейчас в небольшой группе лиц, которую милиционер в первую минуту не распознал от неожиданности. Начальник участка был простужен, полоса-



тое кашне свисало у него с плеча, пальто было туго, по самый пояс, застегнуто. Он глядел яростными глазами на раненый круп. «Конечно, испортили, хорошую, дорогую кобылу испортили!» — причина, достаточная для взрыва, хотя в эту минуту она — только предлог. Левон Давыдович был взбешен до крайности. Он был взбешен оттого, что от него требовали деликатности. Геолог — вот кто требовал деликатности. В такую минуту — прорва дела, напряженнейшая ситуация, нервы — вó, дали бы человеку выспаться — был бы работоспособен, а тут извольте насильственно деликатничать, вставать чуть свет, идти к шуту лешему по сырости, якобы проверять экспертизу, — масло лить на уязвленное самолюбие («подумаешь, уязвленное самолюбие, вы мне, покажите, у кого сейчас нет уязвленного самолюбия?!»)...

Руша весь свой гнев на безмолвного Авака, начальник участка совершенно забылся. Узкий ботинок его дергался, истоптывая землю, словно был он клыком рывшегося в земле кабана. Щучий нос, бледный до дурноты, устранил даже Фокина. Отделившись от спутников, практикант Фокин подошел к Левону Давыдовичу и негромко сказал:

— Вы его зря. Он как начальник милиции имеет право взять лошадь.

— Ах, имеет право! Извините, забыл. Он имеет право взять лошадь, вы имеете право замечание делать начальнику участка. Кто еще имеет право? Скамья подсудимых — вот вы имеете на что право, калеча лошадь. Понимаете вы или не понимаете?

— Садист, — пробормотал Фокин.

Красный от оскорбленного самолюбия, начмилиции Авак напряженно глядел на концы сапог; круглые, выпученные глаза его были немые, как закатившийся взгляд кобылы, и с уходом начальника не прояснились. Даже цынготный старик попятился прочь от кузницы, да так, идя спиной, и вскинул два белых глаза на квадратную, ощерившую в странном оскале гигантские каменные усищи вершину горы Кошки.

Конечно, он это зря разругал милиционера, Левон Давыдович понимает и даже, забегая вперед собы-



ним, видит, чего не видят ни Фокин, ни окружающие. «И из него врага себе сделал, а вероятно, и делу врага,— думает Левон Давыдович, шагая в сторонке от прочих,— скажут: зверь, маньяк. Ну и пусть скажут...»

• Простите, Иван Борисович, я несколько задержал вас.

Голос начальника участка звучал сейчас отменной, сердечной вежливостью. Глаза начальника участка осмотрели на геолога подкупающе внимательно. Было трудно подумать, что именно геолог и вызвал вспышку. И сам геолог Иван Борисович, в отличном настроении, уболагодворенный, как бог некий, незримой человеческой жертвой,— оглядываясь вокруг на знакомые места и ощущая в душе излишнюю горячность начальника участка, про которого недаром, значит, поговаривают: пенсионный человек,— менее всего считал себя причиной этой горячности. Из их маленькой экскурсии было четверо, и каждому из них, прежде чем тронуться в путь, геолог пытался напомнить: не жмет ли. «Первое дело — не мерзнуть, тогда не простудитесь. При ходьбе не жмет простудитесь, если только вас не стесняет одежда», — таинственно предупреждал геолог, испытывая необычайный прилив энергии.

Чем больше Левон Давыдович чувствовал необходимость быть деликатным, тем самоуверенней и забывчивей становился толстяк. Уже предстоящая прогулка была для него удовольствием, доставляемым не столько ему, сколько им. Старый дидакт проснулся в нем. Легкая бамбуковая тросточка то и дело взлетала, чертя быстрые дуги в пространстве, и геолог, брызгая сочной слюной, ворочая леденец во рту, говорил, приятно затрудняя речь, вкуснейшие вещи обо всем, мимо чего несли его ноги.

Легкий взлет палочки описал дугу и вокруг лошади, распрятой на своей деревянной гильотине. Они стояли сейчас возле моста и, оборотившись, глядели вверх на мостовую, где кривой Павло все еще ходил вокруг лошади. Левон Давыдович испытывал жестокую потребность перннуться и загладить чем-нибудь резкость. Лучшее всего хлопнул бы он Авака по плечу и сказал по армянски: «Плюнъ, пустяки это».



Не в силах справиться с искушением, начальник участка с видом человека, нечто забывшего, вдруг пошел вверх по тропинке, сделав им знак обождать.

Тут именно и взлетела легкая тросточка геолога.

— Дети,— сказал он, пухло ворочая губами,— дети, рисуя лошадь, делают ее многоногой. Позвольте вам сказать, что геология целиком оправдывает детей. Знаете ли вы, что родоначальник лошади, фенакодус,— древнейший лошадиный скелет,— имеет вместо копыта пять длинных пальцев и каждый из пальцев похож на отдельную ножку? Возьмите рисунок ребенка — бегущую лошадь,— и вот вам фенакодус.

Только рыжий и слушал геолога, потому что четвертый спутник, Фокин, обеспокоенный уходом Левона Давыдовича, глядел ему вслед и думал свое.

— Десять ног — это начальная механика и человеческого ума, и машины, и организма. Лошадиные ноги отмирают совершенно так, как лишнее колесо велосипеда. Но приходит ли кому в голову сопоставить историю скелета с историей машины? — продолжал говорить Лазутин.

Рыжий не успел ответить. С горы уже спускался Левон Давыдович. И был он красен больше прежнего, и узкий ботинок его дрыгал и нервничал, отбивая пространство, как если б не две ноги были у Левона Давыдовича, а двадцать ножек фенакодуса.

Криво улыбаясь, подходил к ним Левон Давыдович, совершенно потерянный от того, что случилось: там наверху, желая помириться с Аваком, он по странной случайности опять накричал на него, накричал острым, простуженным, злым голосом, посылая зачем-то вниз, на станцию (хотел начальник участка дать отпуск Аваку), и никто не услышал в этом голосе бабьих слез о прощении, а наоборот — прозвучал голос придиркой и приказом.

Махнув рукой, не глядя в оступелое от обиды лицо милиционера, страдая невыносимо, начальник участка быстро сбежал с горки и пятипалым каким-то фенакодусом предстал перед спутниками.

Фокин, кое-что слышавший, вторично подумал: «Ну и садист же».



«Язва сибирская», — сказал наверху Павло.

А рыжий, внимательно obeжав взглядом растерянную фигуру начальника участка и щучьи глаза его, загланные сейчас, словно головки гвоздей, глубоко внутрь, удивился безмолвно, до чего этот человек нервно издергался.

Будь продолжена в эту минуту история рудимента и машине и в организме, сказал бы, должно быть, рыжий, любитель всяческих аналогий: «А когда начнется процесс распада, организм и машина развинтятся и расхлябются до последнего, тут надобны десятки вставных деталей, тут оживают, наверное, все рудименты, и обычное, нормальное действие архаизируется у человека и машины, вспять идет, нуждается в подпорочках вновь...»

## V

Мастер Лайтис, заложив руки за спину и поворотив спину им, как острие корабля, в фарватер отошедшей группы людей, направил им вслед презрительную улыбку, — он сдерживал ее все время, покуда геолог копался в глине, лезл в шурф и бегал вокруг буровой номер два.

Он сдерживал ее, даже вырезывая ровный квадратик глины, словно фунтик масла, кладя его на чистую белую бумагу и подавая сверточек Ивану Борисовичу. Но сейчас, в присутствии Заргаряна, мастер Лайтис посмеивался, потому что ни на грош не уважал геолога.

В этом вопросе, сами того не зная, мастер, начальник участка и рабочие разделяли тайком одно и то же чувство, и это же чувство делили с ними сотни рабочих на других стройках, всюду, где убитые проекты — целиком или в части какой-нибудь — хоронились при помощи геологической экспертизы, вернее ошибки ее, вскрытой, как в медицине, уже на покойнике.

Котлованы, заброшенные на глубине десятков метров, тысячи, израсходованные на буровые, шурфы, оплывшие водой, остановленные постройки, миллионы, пущенные по ветру, — там упирались в гальку, здесь



приняли за скалу огромный горный валун, занесенный с землей и песком в глубину речного ложа тысячелетним каким-нибудь ураганом,— все это были действительные происшествия, злорадно передававшиеся из уст в уста.

«На кой ее ляд»,— говорила усмешечка Лайтиса, и отошедший от буровой Левон Давыдович злобно думал о том же,— он педантически всходил сейчас по очень крутой тропинке на ту сторону каньона, вслед за прыгающим и без умолку болтающим геологом.

Подняв воротник к самому носу, чопорно, словно штопор из пробки, вскидывая колени зигзаг за зигзагом, Левон Давыдович думал о холеной земле Европы, где каждая пядь изучена, спланирована, занесена десятки и сотни раз на всякие карты, где даже техники-изыскатели вымерли за ненадобностью, подобно ихтиозаврам. Ведь не анекдот, что для съемки в колониях англичане выписывали при царе техников из России.

«Проведут под руслом штольню — вот вам в два счета и узнали грунт! А геология для старых дев или воскресной школы»,— почти вслух пробормотал он и остановился, потому что передние остановились тоже.

Практикант Фокин, шедший рядом с геологом, один был, должно быть, другого мнения. Он нес бумажный пакетик с глиной. Его обветренное молодое лицо, веснушчатое как у девочки, напряженное от интереса, всеми точками своими — выпуклым блеском глаз, сжатой вприкуску челюстью и надбровными холмиками — впитывало, казалось, ученую болтовню Ивана Борисовича как даровую учебу. В этом лице было честное уважение к науке,— так в ранней молодости честно уважают женщину.

— Они говорят,— задыхаясь немного от долгого подъема и забыв недавнюю ненависть к начальнику участка, сказал Фокин,— будто эта самая глина и подтверждает ихнюю экспертизу. По-нашему, глина, а по-ихнему

Как прошлый раз Александр Александрович, начальник участка брезгливо подавил свой рефлекс. «Вот с такими мы строим!» Светлые, сияющие глаза Фокина



гидели сейчас на глину, как тогда на волшебное «пи» и туннеле.

Факт тот, что на этом нельзя ставить плотину, — сдерживаясь, красный от ветра и насморка, ответил начальник участка.

Геолог **разговора** не поддержал, — он уже снова шагнул вверх, **победоносно** раздувая, как крылья, полы своей кожаной куртки. Легкая его тросточка вонзалась во встречные камни. Он бормотал, и каждое «о» тянуло в этой бормотке, словно вагонный состав, бесконечную вереницу «а», **уподобляясь** английскому «то-аст».

— Вопрос, — неслоь сверху, сопровождаемое вальтом бамбуковой тросточки.

Фокин отстал немного, — он страдал от неразделенных мыслей. Только что им полученное знание не умалчило, не уменьшилось, — **дождавшись** рыжего, шедшего в одиночку, руки и карманы и **наслаждавшегося** природой, Фокин запягал рядом:

— Лазутин, а? Слышал ты? Эта самая глина — продукт туфа. Значит, все-таки верен был анализ, что так **фоккинские** туфы.

Начальник участка повернул к нему голову:

— Уголь то же, что и алмаз, товарищ Фокин. Однако из этого не следует...

Но Фокина трудно было сбить. Фокин в эту минуту презирал начальника участка, как тот его. «А спросить бы, — думалось **Фокину**, — отчего сионский собор в Тифлисе пожелтел, или спросить, что есть туф, — хороша инженер-строитель, который ни черта не знает и знать не хочет **про** местный материал». Новичком, **фанатичным** **узнавшего**, зажженный лазутинским пафосом, Фокин шел рядом с рыжим, просвещая на этот раз его теми же откровениями, каких только что наслушался сам. Из уст Фокина они были категоричны, они внушили легкое подозрение своей полной ясностью, и, быть может, Лазутин, услышав он сейчас **фокинскую** речь, смущился бы несколько, как повар, которого угостили его собственной стряпней.

Туф, оказывается, замечательный материал! По туфу по одному можно кафедру открыть. Он с течением времени меняется, цвет меняет, консистенцию



меняет, может от разных там агентов — воды, воздуха — превращаться в труху, глину, и если на этом месте мы нарвались на глину, значит там туф был, — здорово, а? Иван Борисович говорит: произошла катастрофа, дислокация. Может, не надо было нам глубже копать? Может, и выдержало бы плотину?

«Иван Борисович в чем хотите уверит, — а вот почему он об этой катастрофе чуточку раньше, до отправки проекта, не обмолвился?» — Впрочем, начальник участка не сказал этой фразы, он только подумал. Катастрофа так катастрофа! Пусть пропадает рабочий день в поисках катастрофы, и пусть они все станут Шерлоками Холмсами и докторами Ватсонами, ежели нет прямых директив. О, дикая, дичайшая, варварская манера строить.

— Послушайте, куда же в конце концов?!

Но геолог, взбежав на последнюю маленькую вершинку, высочайшую в этой местности, победно остановился.

Он был на потухшем вулкане Оган-даге, праотце здешних мест. Отсюда, если глядеть вниз, видать было все лорийское плато, прямое и странное в своей обрешанности, как куча сдвинутых вместе бильярдных столов. Невдалеке курилась сизым дымком беспокойная гора Ляльвар, стягивая к себе облака, словно магнит железные опилки. Горстью розовых шариков, в пяти-шести точках, насыпаны были тесные черепицы лорийских деревушек, разделенных черным провалом ущелий. Под деревьями шла жизнь речных русел, шла жизнь квадратиков по берегам рек, фруктовых садов с выбеленными стволами и белым сырцом оград.

Еще ниже шла жизнь железнодорожного полотна, исчезавшего в черных дырках туннелей и дышавшего пенной полоской дыма по пройденному пути, как если б не поезд, а волны морские окатывали полотно.

Любитель в бинокль мог бы видеть мельчайшие подробности лорийского пейзажа, так не похожего на другой армянский пейзаж, араратский: если там в поле зрения набегали бесчисленные арыки и шлюзы, эти замочки на рту самого болтливого существа в мире — проточной воды; если там любовались вы остатком



луги или каменного акведука, древнейшим мостом, и оно говорило о связи, распределении, высокой общественной роли воды, то здесь, на лорийском плато, вода представляла губителем, червем, чье извивающееся длинное тело разрезывало и проедало земные массивы, отделяя людей друг от друга и швыряя их в пустынное одиночество.

Вместо мостов, символов связи, в поле бинокля входили монастыри. Каждая деревня имела свой монастырь, защитного цвета скалы. Вот он встает, скупой в красоте своей — конус, узкие впадины ниш, неровные редкие окна, неожиданно посаженные в насмешку над симметрией то в виде ромашки, то крестиком, то монархической звездой; и душа развалины, веточка переломки, тихо раскидывается над камнем, седая от солнца и сухой пылью. Пыльной казалась и память здесь, меж красноокатых могильников, выдающих окись железа, — знаменем безднного колодца времени, где глубина рвущего звук, нашла память в этих местах, и только пастух нарушал тишину картины неожиданным появлением из за развалины. За пастухом катились бараны, и ливанный оскал собаки, как голова прокаженного, вынырнула, — Впрочем, прид ли бы он мог вынырнуть через этот эту бездну простора в поле бинокля!

Геолог жевал губами, — он только что приготовился найти катастрофу. По правде, он нес ее с собой всю дорогу, как истые теоретики, потому что нашел готовой уже внизу, вместе с кусочком глины.

Но тут вмешались два обстоятельства, совсем разных и даже не связанных вместе. Первым вмешался ветер.

Над тишиной и неподвижностью воздуха, в которой они шли сюда, предвестником солнца пробежала дрожь. В торопливом опархиванье ветра было почти телесное касанье, словно ладонь на щеке. Травы, камни, песок, голоса метнулись и потеплели от переданного движения, — никакой дирижер не смог бы подать в оркестре это кратчайшее мгновение перехода от тишины к солнцу. И каждый в этот кратчайший миг невольно потянулся к фуражке, чтоб снять ее.

Второе же обстоятельство пришло за первым, подготовленное секундой молчанья. Они стояли сейчас над



необъятным простором, где зеленым паром курились лорийские каньоны; на склоне прямо перед ними вилась пыльная, красная, выпуклая, убитая сотней ступней дорога.

Сколько ни гляди на нее, видеть можно было лишь одно, обычное — как из верхней деревни шли дети и женщины с деревянными тяжелыми кувшинами за водой к роднику. Чувяки отскакивали от выпуклой глади, голые пятки шуршали по ней, подолы мели красную пыль, женщины были румяны тем кирпичным деревенским румянцем, что нахлестан ветром и снегом; их опавшие в веках глаза и опавшие вокруг десен губы говорили о непомерном труде, — и вот все, что виднелось там, кроме разве длинной вереницы спин, когда понесут они полные кувшины в гору.

Если сравнить с выразительным видом, куда раньше указывал геолог палочкой, упорно твердя о стране вулканов, об истечении Оган-дага, о позднейшем приходе базальтовой лавы, о катастрофе, оставившей здесь разбитый, как студень, кусок массива («вот эти граббены», — собирался закончить геолог и последним отпрыском катастрофы указать там, внизу, осколочек порфирита — маленькую отсюда гору Кошку), — если сравнить все эти подробности с тем, на что глядели сейчас пристально все четверо спутников, то картина была так проста и обычна.

И, может быть, именно поэтому Фокин не выдержал:

— Послушайте! — сказал он геологу неожиданно другим тоном, совсем непохожим на прежний, ученический. — Вон наверху деревня. Внизу, в двух километрах, вода. За водой люди ходят четыре километра, вниз и вверх.

— Ну и что же? — несколько удивленно спросил геолог.

— Я хотел бы знать, может ли помочь геология? Вот вы сказали — страна мелких вулканов. Так неужели страну мелких вулканов нельзя изучить так, чтобы знать, где, в каких резервуарах, по каким трещинам стекает вода, где она собирается, чтоб расположить жилье у воды или воду поднять к жилью? Страшно смотреть, сколько люди драгоценного труда зря ухло-



шавлют. Мученицы эти женщины. Вон мне рассказывали про Чиатуры, что там упала вода при разработке и все селение обезводилось; разве это не дело геологии — помочь воду найти?

Тут и рыжий вступил в разговор, сочувственно блеснув стеклами на разгорячившегося Фокина.

— Вы раскапываете пласты, находите окаменелости, возитесь с ними, определяете, классифицируете, — обратился он к геологу, — но современные живые пласты, населенные живыми людьми, — разве нельзя мыслить их вместе с землей, воспринимать в целом? Мне думается, пора геологии, подобно истории, повернуться лицом вперед. Иначе мы не сумеем планировать. Это значит, и ей придется в некотором роде социологизироваться, включить в понятие земли еще маленькую добажку: земля как населенный пункт, населенный живым обществом, а не окаменелостями. Согласны?

— И во всяком случае... — простуженным голосом вышедшая вдруг Левон Давыдович, заражаясь открытым энтузиазмом на геолога, как произвольно взлаивает собака на другой лап собачий из подворотни.

Она стояла сейчас на нежном голубоватом куске кружевного января, чья пустая сердцевинка полна была кружочных кристалликов горного хрусталя, и глядел на ночь этот солнцем залитый, недопустимый мажор потающего весеннего дня, забывая о навязанной ему деликатности.

— Во всяком-то случае ведь можно ж было раньше сказать, что туфы там выперты над аллювием или чем хотите, — раньше, до отправки эскизного проекта в центр!

## *Глава десятая* **ПРОЕКТ МИЗИНГЭСА**

### **I**

Ранний зной в городе Масиса — как и боялись садоводы — сменился неожиданным снегопадом.

Погибая, в лохмотьях снега стояли тысячи садовых



деревьев,— фарфор лепестков, розовое и белое пламя персиков и абрикосов боролись со снежным пухом и умирали под ним, а солнце топило снег под ногами прохожих и топтало его, как саранчу. В этой ранней весенней вылазке и в том, как зима нашлепала забежавшую вперед, раньше времени, весну, было бы чистое наслаждение, если б не мысль о причиненной ею беде: под снегом гибли не только сады, но и незащищенный, едва народившийся овечий и козий приплод.

К лихорадке прошедшего снегопада, нахлеставшего людям щеки, прибавилось еще нечто, добавившее оживленья и блеска глазам, встревоженности и взволнованности голосам; и особенно оживились те, кого знали в городе как шептунов или «беспроволочный телеграф». Из конца в конец города они передавали весть о том, что намечаются перемены. Шепотом называли того, кто должен уйти,— и даже знали, кем заменят его. Это было тем удивительней, что и уходивший и заменявший его только вчера приехали вечерним поездом из столицы Закавказской федерации, приехали в одном вагоне и с вокзала до города — в одной машине.

Но если об этой большой перемене ходили только слухи, то снятие товарища Манука Покрикова, заведовавшего «Отделом водного хозяйства» и одновременно начальника Мизингэса, с обеих этих должностей и перевод его на тыловой пост стало уже фактом. Событие это согнало со стульев служащих и остановило жизнь учреждения, как останавливается внезапно жизнь улицы под дождем: опустели столы, молчали клавиатуры ундервудов, надрывается от плача телефон, и к нему никто не подходит,— а зато в комнате зама собрались все, кроме зама (зам вызван выше), и обсуждают свежие новости, гадая, почему, отчего и как дальше будет.

Нельзя было бы придумать более неподходящего времени для частного визита в отдел, но учительница Ануш Малхазян, как и все люди с сильной волей, всегда нарывалась на «неподходящее время» и научилась преодолевать его. Наследив мокрыми пятнами по лестнице, она отерла калоши о половичок в коридоре. Ей



испрямленно нужно было собрать сведения насчет гидростроя и договориться о школьной туда экскурсии. И она твердо вступила в полупустую канцелярию.

— Вы обождите, товарищ, сейчас не до того, или нам лучше пройти этажом ниже, в управление строительства, там тоже могут дать все нужные сведения,— ответил ей уже на ходу взволнованный служащий, пробежав мимо нее в соседнюю комнату, на двери которой красовалась надпись «Зам. зав. отдела водного хозяйства».

Ануш Малхазян согласна была ждать сколько угодно, сидя или стоя, — раз люди заняты. Но учительница, обдумавшая свой визит в учреждение за неделю до этого, никак не была расположена уступить и уйти. Медленно сев в углу калоши, она отряхнула большую плюшевую обивочную муфту и положила ее на стул. Потом расстелила шарфик с шнуром и вместе со свернутыми перчатками тоже положила на стул. Самой ей сидеть не хотелось, и чтобы разрядить возбуждение, она принялась ходить из конца в конец пустой комнаты, разглядывая, что висит на стенах и стоит за стеклом в шкафу.

Она пришла сюда обобщить и собрать в систему свои материалы по водному хозяйству да заодно уж узнать и про «электричество», потому что давно обещанный ребятам «урок про воду» колом стоял у нее поперек горла и лихорадил ее, покуда не придет минута отдачи. А Малхазян по опыту знала, что минута отдачи — особенная минута — требует полноты знания, той окончательной, последней нагрузки, какой у нее, чувствует она, нет еще, самую малость нет. Разгуливая по комнате, она нетерпеливо разглядывала все, что тут находилось.

В этой общей канцелярии неизвестный чиновник из плеяды «первослужащих», когда новизна учреждения еще охотит людей, словно молодость до нарядов, к украшениям, расстановке и уборке, развесил вдоль стен все полагающиеся плакаты, диаграммы и графики, снабдив их каллиграфическими надписями во всем пошибом уже искусстве «чистописанья».



Большая розово-зеленая карта Армении с черной сетью каналов висела на одной стене. К ней прежде всего и подошла Ануш Малхазян.

Своеобразная древняя культура была в этой карте. Она противоречила сборному виду канцелярии и ее наивной деловитости. Чувствовалось, что экономистом, плановиком, правителем, статистиком народ стал недавно и не приобрел еще навыков, — об этом рассказывали детская несложность диаграмм и родоначальие цифр, еще очень недавнее, — цифры вели свое происхождение с 1920 года, года рождения молодой советской республики. Но родоначальие каналов — черненьких черточек, бесчисленными штрихами избороздивших карту, — было несравненно почтеннее и отдаленней.

Иные датировались временами персидского владычества. Иные уходили еще дальше, в незапамятные времена. Пунктиром шли каналы древние, засыпанные и заброшенные: от них осталась местами каменная кладка, намек на древнейший шлюз, высокое искусство трассы, известное в старину. Зубчатой линией были помечены каналы, еще не заброшенные, которыми население до сих пор пользуется. Двойной колеей лежали каналы новые, созданные революцией, и своего рода праправнуками нарождались двухцветные линии, — это были запроектированные каналы, которым предстояло сказать свое слово в будущем.

Между сетью линий вставляли особым треугольным знаком водокачки и прочие хитроумные сооружения, подававшие воду путем электроэнергии снизу вверх. Словом, чем больше глядеть на эту карту, тем виднее было, как изучена здесь, в этой маленькой стране, вода и какая строительная культура связана с ней, во всей неосознанности ее для населения, передававшего из поколения в поколение искусный опыт водопользования, подобный строительному опыту бобра.

«До чего все-таки своеобразна республика наша, — вздохнула она, оторвавшись, наконец, от карты. — Египет — не Египет, Голландия — не Голландия, а так, смесь огня и воды, и не забыть, кстати, разницу...»

Здесь учительница полезла в муфту и достала большой, внушительный блокнот с заткнутым в него каран-



лином. Надлежало отметить для детей разницу, дать им пережить вот это раздвоение физического тела страны — на север и юг.

Разница между севером и югом была огромная, и еще не нащупала учительница, как сказывалась она, и какой связи была с хозяйством. Если глядеть на карту, север лежал густой зеленой полосой, покрытой интригами гор. На севере было много лесов, много возвышенностей и рек. На севере глаз не разыскивал меж густотой речных и железнодорожных отметок никаких признаков канала и искусственного орошения. Но под зеленым севером на карте лежал розовый юг — пустынная плоскость араратской долины и Котайка, где каждая пядь земли пересечена каналом или арыком.

Не успела она условным знаком для памяти поставить в бланкете пометку, как в канцелярию вступил еще один, по внешнему виду такой же несвоевременный посетитель.

Посетивший был уже десять дней в городе Масиса и представлял каждому беспризорнику, словно первомайское карнавальное чучело, — это был член какого-то иностранного арыковского общества, целью которого по всем правилам и вкусам уже забытой нами буржуазной филантропии было: дать деньги. Но, разумеется, не просто дать деньги... Соответственно своему заграничному званию, прибывший напоминал в городе Масиса приемами, поступью, палочкой с монограммой, прищипанной в галстук, нафабреной горсткой усов, снятой под самым носом, шиком пиджачных отворотов и большим помахом искусственной челюсти — актера, только что, в чем был он по ходу пьесы, неизвестно для какой надобности сошедшего со сцены и пустившегося в настоящую жизнь, не жалеючи казенной спецодежды.

Там, на сцене, все это было сущей реальностью: тугий крахмал манишки, выпученной на груди, как рыбье брюхо, и проткнутой большим солитером — запонкой; тугий голос, выходивший несколько с запасом, будя мысль о заложенном носе или плохо отхаркнутой мокроте; тугая поступь во всем величии заграничного лака и резиновой подошвы. Всем этим там жили люди, и человек, приехавший дать деньги, был «цвет



интеллигенции», реальная личность, внушившая доверие капиталу. Через него, через эту манишку и заложенный нос, протягивал капитал деньги советской республике.

Но, приехав в советскую республику, достойный человек почувствовал вдруг бутафорию своих атрибутов. Он ходил по улицам, подкидывая набалдашником палки совсем как-то иначе, скромнее, нежели делал это у себя дома, а мальчишки все-таки улюлюкали, и не было знатока, способного отличить от стекляшки актера настоящий, чистой воды бриллиантовый солитер.

Человек, приехавший дать деньги, вошел сюда вместе с обязательным мосье Влипьяном. Вот уже десять дней, как он ходит по учреждениям и наркоматам, приглядываясь, куда эффективнее применить благотворительность.

Весь город Масиса с его беженцами, беспризорниками, жестоким жилищным кризисом, домами, подпертыми снаружи по ветхому фасаду балками от нежелательного разрушения; больницами, где койки, как начинка из пирога, лезли, не помещаясь, из переполненных палат; нескончаемым топотом очереди, гуськом еще с ночи становившейся у водопроводного крана на улице, чтобы собрать к утру драгоценное ведро влаги, — криком как будто кричал о помощи. А если выбраться вон из города, там стонала земля о дорогах, там археолог разводил руками над дивными камнями развалин, — охране их по бюджету текущего года ассигновались поистине «крохи»; там посевы требовали тоже охраны — градобитной пушки, да мало ли что было там! Откашливаясь и шевеля в крахмале воротника внушительным «адамовым яблоком», посланец капитала чувствовал себя мухой в меду — так много вокруг деятельности.

Но только один мосье Влипьян знал досадную подробность, еще не сообщенную человеку в манишке. Мосье Влипьян страдальчески переживал ее. От принятия миллиона здесь... воздерживались! Он остановил сейчас друга-приятеля, быстро переходившего канцелярию, чтобы войти в заветную дверь к заму, и об руку



испустился с ним туда же. Комната была в табачном дыму. Говорившие плавали в этом дыму, раскрывая рты, как рупоры громкоговорителей,— они пересуживали ведомственную новость.

— Да ты понимаешь?— судорожно шептал мосье Вилиппи своему приятелю, пока тот еще не вырвался.— Он нам деньги дает, миллион валютой дает, и условие пустяки, ну, так, ерунда какая-то: поставить на мраморной доске, что имени такого-то... И нет же, уперлись наши, а человек ходит, ищет, куда миллион сунуть. Сделай милость, расскажи ты ему о каналах, он каналами интересуется!

— Некогда,— отрезал приятель,— иди вниз, на строительство, хотя там тоже некогда.

## II

Новость, ошвынявшая людей со стульев в обоих этажах здания — наверху, где был видный отдел, и внизу, в управлении Минингера,— была только на первый взгляд обидная для них, ведомственная новость. Вместе с их собственным начальником (они это знали) уходило и лицо официальное. Точнее, начальник их уходил вместе с официальным лицом. А это значило, что установившиеся привычно удобные отношения для одних людей и тяжело напряженные для других резко прерывались. С уходом официального лица словно гигантский подъемный мост разводился над республикой, пропуская заждавшиеся корабли. Разводясь и повиснув в воздухе, мост задерживал справа и слева потоки людей, пешеходов и мотоциклетиков, добивавшихся перехода со стороны на сторону в налаженной житейской спешке. А внизу, как заждавшиеся корабли, торопились пройти пакки, лежавшие под сукном; назначения, сорванные зря; дела, задвинутые в тыл; решения, запутанные окончательно. Множество дел и учреждений оказывались заделанными в той или иной степени уходом официального лица.

Недовольные — из тех, кто хорошо «сработался» с уходящим, то есть нащупал слабые его стороны и под сенью их комфортабельно отдался собственным сла-



бостям,— уверяли под шумок, что теперь начнется истинный хаос. Довольные открыто отдавались движению свежего воздуха, чувствуя, что наконец-то начнется размах в работе. Ожили коммунальные отделы горсовета, где с некоторых пор искусственно тормозилось принятие решений. И, словно лишний раз подтверждая древнюю метафору человечества, громко возопиял камень.

Собственно это событие — открытая дискуссия о камне — готовилось уже давно. Камень в городе Масиса был свой, традиционный, крепко связанный с прошлым, с матерыми подрядчиками, с потной египетской работой каменотеса, трудившегося над ним в одиночку и с глазу на глаз,— туфовый рыжий камень, тут же неподалеку добываемый из карьера. Из этого камня воздвигались испокон веку дома, по дедовским правилам, с деревянными верандами во двор и однообразием фасадов снаружи.

Но под разведенным мостом уже начали плыть первые воинственные натиски бетона,— сперва в мальчишеских и срывающихся голосах молодежи, требовавшей «идти в ногу», потом в бурном нашествии новых элементов стиля,— казалось, в строительстве один угасающий древний род сменяется новым, нарождающимся. На эстрадах клубов, в табачном дыму собраний, перед сотнями возбужденной молодежи, изумляя город Масиса невиданным разгаром страстей, уже не раз кричал и жестикулировал художник Аршак Гнуни.

— К черту камень!— орал он, несясь с эстрады вниз бледным лицом в ореоле черных с проседью волос и руками, десятирившимися от жестикуляций.— Я утверждаю — камень дала нашему жилью церковь! Теперь фабрика, завод, промышленность дают нам бетон. Всюду, где идет промышленное строительство, там и новый стройматериал. Почему мы должны отставать? К черту камень, дорогу бетону!

Его поддерживали молодые архитекторы, увлеченные по фотографиям кубиками домов, строящихся на Западе, и мечтавшие о Корбюзье и Гроппиусе.

Вооружившись литературой и поблескивая в сторону зала воинственными улыбками, они всходили на



«триду — драться за новый стиль. В первом ряду сидел и накручивал ус полноватый мужчина в пенсне, товарищ из Наркомпроса. Он был благожелателен. Он очень смутно разбирался в архитектурных стилях.

Серебристо-седой архитектор, знатный человек в республике, сухо отвечал молодежи. Он с тонкой иронией говорил о дорогостоящем бетоне в стране дешевого строительного камня, — и это был довод экономический. Хрустнув подагрически тонкими пальцами, архитектор поднял руку, призывая аудиторию слушать без выкриков. Он указал на буржуазность особнячков Корбюзье, их связанность с безличным и безнациональным характером западного империализма, — никакой культурной традиции, отказ от народного наследства, — к чему ли нам подражание? И это был довод идеологический. Он намершило улыбнулся в сторону Аршака Гнуни.

— Откуда вы взяли, где вы прочитали, что церковь была зам туф зам, строительный материал? Раньше церковь была мост, был родник, было древнее виноградарство, была эвфразия, были целые города из камня, зато вы Ани, — да и, конечно, что же худого, если мы города нашим великим национальным зодчеством средневековым и бережно сохраняем мастерство старой кладки камня? А цементный раствор, на котором стоят тысячи лет церковные плиты из туфа, — ведь он протоплен из нашего бетона и ему больше тысячи лет!

И это был довод профессиональный.

Но молодежь должна была переболеть корью, а старый архитектор — увидеть первую неуклюжую кубическую постройку в городе — дань времени, — прежде чем слова эти ожили для нового поколения.

Художник Аршак Гнуни возмущенно дергался на своем стуле, слушая их. А поглядеть в зал — что только было в зале на этом невиннейшем диспуте об архитектурном стиле, устроенном обществом помощи беспризорным! На знаменитом Вормском соборе, где открылся Лютер, или же в историческом зале jeu de paume — только там, может быть, нашли бы, порывшись в пыльных полотна истории, этот судорожный трепет щечных мускулов, зажженную силу глаз, магнетизи-



ровавших оратора, хрустеньем сжатых кулаков, хрипоту от волнения, топот ног — страсть сотен молодых жизней, еще недавно мирно и сонно сновавших взад и вперед, начистив сапоги и приглажив волосы, по главной улице города Масиса. А сейчас, впивая всем существом происходящее, они судорогой реплик твердили ораторам, что спор протекает глубоко под спудом, глубже сказанного, острее названий. Страстно хотелось спорить, — свежий ветер в стране предвещал большие работы.

Бетон протянул свои щупальцы и в управление Мизингэса, куда сейчас, ничего не добившись наверху, спускались втроем учительница, человек в манишке и мосье Влипьян. На стройке уже давно шли работы с бетоном, а сейчас из центра приехал инженер организовать полевую лабораторию по бетону. Он тоже попал не во-время. Он бродил из комнаты в комнату, не видя нужного человека, потому что в управлении происходил кавардак еще больший, чем в отделе водного хозяйства.

Здесь ни по стенам, ни вдоль стен никаких традиций не чувствовалось. Учреждение было молодо и откровенно пусто, — в новеньких комнатах новенькие столы, в ожидании новых служащих, были голы, словно земля под паром. Ни стопочки бумаг, ни обкусанной ручки еще не взойшло над чистой суконкой, ни даже кляксы. Впрочем, на содержательного человека и тут была пища.

Учительница Ануш Малхазян, куда шли они рядами пустынных комнат, заглядывая во все двери, внимательно, как лозунги, запомнила вывески: «Гидротехнический отдел», «Электромеханический», «Рационализации», «Снабжения», «Линий передачи», «Исследовательский», «Секретный», — при желании можно было представить себе жизнь учреждения по этим вывескам, как представляют люди с воображением роман или фильм по названиям глав.

Начальник над этой армией призраков, товарищ Манук Покриков, заканчивал в своем кабинете разговор с замом, обращаясь преимущественно к завхозу.



Как и все, кто в городе Масиса уходил на более высокий, по тыловой пост, товарищ Манук Покриков испытывал некоторое стеснение сердца перед завхозом и невольную потребность услышать от него лишний раз преданные и привычные речи, которых — опять же как и тысячи других завхозов в подобные минуты — стоявший в дверях усатый человек упорно сейчас не говорил.

Завхоз непривычно молчал, он непривычно принял бумажку, он непривычно выйдет из комнаты и в безмолвии коридоров обрушится на желтогубую уборщицу, прячущую, мокрыми пальцами пересчитывающую куски сахара на подносе, — такова природа завхоза. А давно ли, — мог бы подумать, почти как романс, переживая это ничтожнейшее обстоятельство, товарищ Манук Покриков, — давно ли блокноты и ручки, тяжелая кожа английских кресел, бронза вождей на столе, часы из стражи, но из черного мрамора, нарядный дамский портфель выманили даже теплый укор со стороны завхозника: «Ну, уж это, Минай Иванович, выдумал!»

Через коридор, в длинном проектном бюро, где стены гниели от чертежей, толпился почти весь штаб Минисиса — главы пустых отделов, намечавшие учрежденно, как булавки держат в узловых точках выкроенное, но еще не сшитое платье.

Это был цвет закавказского инженерства. Кто знал страну до революции, тот мог бы, заглянув в комнату, назвать почти каждого из присутствующих; среди них — среди позеленевших от частого окрашивания дедни путейца, обветшалых усов гидравлика, блеска холерических лысин, немодных швов на спине тузюрок и перхоти на полустертом сукне форменных мундиров, среди старейших консультантов с мешками под глазами, похожими на сточные желоба, куда стекает возраст, — были люди, честно служившие советской власти, но и такие были, кто чувствовал себя в родной стране, как раньше, так и сейчас, простою наемною силой, ландскнехтами.

Эти последние десятки лет работали на самых разных хозяев: концессионеров, капиталистов, чиновников



департамента, а нынче на советскую власть. Они обсуждали новую перемену в штабе, понизив голос. Каждый из них чувствовал новый крен, словно был на борту парохода.

Уже несколько дней в Мизингэсе кривили губы над местной выделки анекдотами: рассказывали, как гидростанции, стоившие миллионы, стоят без потребителя, как спешно выдумывают потребителей в виде галетной фабрики или механических прачечных и как в свою очередь спешно приходится озабочиваться потребным количеством грудных детей для галет и грязного белья для прачечных; но, посмеиваясь и внося лепту в безыменное творчество анекдотов, инженеры были спокойны: они знали, что все пойдет своим чередом — проект перепроектируется, деньги отпустят, стройку закончат, их пригласят на новую, — хотя глубже и дальше этого они не видели и не судили. Из всех видов людей, способных на панику, к ней менее всего склонен ландскнехт.

Но сегодня выдался не совсем обычный день, и спор, занимавший людей в проектном бюро, был не совсем обычный спор.

Тот самый вихрь, что развел над страной Масиса гигантский мост и снимал сейчас с поста их начальника, пригнал к ним с севера, в управление Мизингэса, беспокойнейшего человека — создать и наладить новый и, повидимому, беспокойнейший отдел рационализации. Покуда спутники Ануш Малхазян проходили в кабинет начальника, учительница, не желая по некоторым причинам встречаться с Мануком Покриковым, помедлила перед этой комнатой, где гул голосов прорезывал свежий басок, и сейчас же увидела приезжего человека. С пальцами на подбородке, где перышком вздымалось нечто вроде бороды, рационализатор чистейшим московским говорочком на «а», мягчайшими «скушна» и «конешна» влиял в остроугольную атмосферу комнаты. Одет он был небрежно и даже напоминал слегка расстегнутой у ворота косовороткой, кожаным пояском и сандалиями «скороход» на ногах старого «вечного студента». Но когда он вставал, заложа руки за спину и скользя подошвой, в его,



нилось бы, таком мягком облике, гармонически сочетавшемся с мягким говорком, неожиданно проглядывали огромная задорная сила и охота словесно поспорить с собеседником. Именно этот человек в мирной беседе напал вдруг на инженеров Мизингэса со скандальной горячностью, изобличавшей в нем уже выработанную точку зрения.

— А копейшна, — доканчивал он речь, обращаясь к старому и осанистому путейцу, — во всех однородных случаях ищите одинаковую причину. По-вашему, мелочи экспертизы виноваты, по-моему — нет. Я работу в моем отделе шире и глубже беру, чем другие берут, и если проект провалился, я ставлю первый вопрос: из каких источников возник проект, чем он вызван, где его предпосылки, почему именно могло случиться, что экспертиза ошиблась?

— Вздор, — пробасил инженер, — проект как проект. Сколько ни выискивайте — логику вы же не можете изобрести. Логически все было сделано в свое время. Идея была? Была. Сам Графтио на Мизингэса работал. Обработаны изыскания? Обработаны. Вот шкаф, робость, пожалуйсти. За десять лет данные неизменны, обработаны; никто Мизингэса из головы не выдумал. Там еще французы строить хотели. Уж если ставить вопрос, я прямо скажу: обоснованней Мизингэса мало найдется проектов.

Но рационализатор критически дергал себя за петельку.

— Пасчет источников — тоже вздор, — спокойно продолжал инженер.

Он был тем спокойнее, что защищать Мизингэса приходилось ему, как лечить чужого ребенка, — без кровного страха и без волнения; глубочайшее равнодушие к Мизингэсу читалось сейчас в монументальных чертах инженера и его обвисших, как у бульдога, нечисто выбритых щеках.

— Вот вам мнение опытного человека: проект провалился, потому что нет в сущности особенной надобности строить. Где наши потребители? Куда мы спешим с энергией? В центре понимают, поэтому и прижимают.



Приезжий человек исподлобья глядел на путейца. Он еще не открыл рта, но в блеске глаз и в дрожании пальца на подбородке было больше страстного интереса к теме, нежели во всей тираде его собеседника.

— Факт тот, что Мизингэс не зажег вас, товарищ. Плох тот проект, который общими фразами защищают... Я почему говорю об источниках? Вы создавали проект по старым материалам. А что было в прошлом? Французы турбину хотели поставить для своих медеплавильных заводов? Подумайте хорошенько — французы, концессионеры! Ну, что им была страна? Какое вообще дело, кроме интересов своего кармана, да еще на чужой, взятой в концессию, земле? А теперь вспомните нашу действительность. Мы не один киловатт, не одно электричество — мы миллиарды киловатт всей потенциальной энергии нашей системы поднимаем, у нас все связано, нет отрыва между вещами. Возьмите Волховстрой, Днепрострой. Волховстрой у нас решил задачу судоходную и энергетическую, Днепрострой должен решить задачу судоходную, энергетическую и оросительную. Вот как надо подойти к проекту Мизингэса, с наших позиций. Тогда не будете обожествлять старые французские бумажонки, и провала не получится.

— Интересно знать, — ехидно ответил спец, — какую вы конкретно имеете связь между экономикой и техникой? Я не говорю об общих фразах, общие фразы — пожалуйста. Каждый сумеет. Но вы мне объясните простыми словами, какую разницу это составит для технического проекта плотины, философствуете ли вы о будущих задачах, или не философствуете, дадите ли энергию Мизингэса на медеплавильный завод, или на химию, или еще на что-нибудь? Вот бы вас главному инженеру послушать!

— Он слушал, — я с ним в Москве разговаривал. Он сам, если хотите, и подсказал мне эти мысли. Я вам...

Но тут, прерывая рационализатора, дверь в комнату стремительно распахнулась.



### III

Товарищ Манук Покриков уже собирался бежать на очередное заседание и одной рукой втискивал в нагрудный портфель бесчисленные доклады, а другою придерживал у рта чубук, чтоб отвести его, словно собою, и вынуть, покашливая, дымок крепчайшего сухумского табаку, когда мосье Влипьян с фамильярной почтительностью представил ему денежного человека.

В былые времена Манук Покриков чрезвычайно любил визитеров. Он знал наизусть, как учили мы в молодости таблицы силлогизмов в учебнике Челпанова, прикинул из всей его звонкой технической терминологии, с колоннадой цифр и блеском различных ссылок. В столе у него лежали альбомы со множеством фотографий, газетные вырезки и собственные статьи, потому что товарищ Покриков, любитель литературы, и сам иногда записывал. Но сегодня визитер испортил ему настроение, и интеллигентный Покриков не доверял посетителям.

— Завел, завел, — откашливался он, — вот я могу, если захочу, написать докладик..., а впрочем, мои инновации...

Тут он встал и, широко шагая полноватыми ножками в крагах, похожими на бутылки из-под шампанского, стремительно отворил дверь в проектное бюро:

— Товарищи, будьте добры!

Завел Манук Покриков сделал пояснительный жест рукой.

Он очень спешил. Он, со своей стороны, снабдил гражданина докладиком. И, предоставляя мосье Влипьяну в десятый раз рекомендовать и объяснять положение, покуда гражданин в манишке, подняв брови, прочтает докладик, товарищ Манук Покриков так же стремительно вышел, оставив в комнате солидный запах кожи и сухумского табаку.

Появление грузного посетителя с котелком в руке среди спора и трагический шепот мосье Влипьяна заставили рационализатора на подоконник. Он с живейшей любознательностью поглядывал оттуда на колоритную фигуру приезжего. Неуловимое нечто, чувство



стиля отмечало силуэт гражданина в манишке, его эспаньолку и пухлые пальцы, листавшие докладик с важностью церковного попечителя. Гражданин был доволен. Впервые за десять дней пребывания в городе он почувствовал себя уверенно, — перед ним в докладике, отстуканном на машинке, были знакомые — в высшей степени знакомые — вещи.

— Вы, господа, — проговорил он тугим голосом, заставляя невольно подумать о заложенном носе, — как я вижу, воспользовались данными нашей харибовской комиссии?

— Что за комиссия? — шепотом справился рационализатор.

Ему объяснили. Харибов, богач, в дни дашнакской власти заказал лучшим умам республики: создать статистику. Лучшие умы воспользовались старыми экспертизами концессионеров. Материалами этой статистики, изолированной, как башня Эйфеля, и почти столь же бесцельной, как башня Эйфеля, все еще пользовались, потому что богатства ее в бесчисленных папках достались большевикам.

— Да, если хотите, — ответил старый инженер-путеец, — вот тут первый вариант проекта, он целиком из работ комиссии, а вот наш вариант. Тут, видите, какая разница: вы знали французский проект, концессионный, на маленькую, местного значения, а мы строим большую районную станцию на солидную мощность. Но, конечно, в основном, технически... — Он не договорил.

Он взял несколько чертежей со стола. Здесь был старый вариант станции с маленькой плотиной и второй, грандиозный, менявший всю местность, — пальцами инженер указал на высокую точку в ущелье, где должна была быть плотина в тридцать семь метров. Оживившись слегка, он штрихами набросал озеро, какое зальет постепенно... залило бы, впрочем, если бы был осуществлен проект. Но сейчас дело несколько меняется, вместо плотины мы ставим шлюз. Заминка? Да, заминка была, осторожность — вот чем она вызвана. Будут ли строить? Ну, разумеется, будут



строить. Главный инженер в Москве перепроектировал уже места, риску ни на копейку.

Он говорил сейчас ровным, приятным, солидным голосом. По своему, по-ландскнехтски, он был на высоте и выполнял свою роль с безупречным тактом. Его спокойный, обиденный тон внушал доверие к фирме, доверие и знанию, к долголетней культуре лиц, взявшихся строить, к тому таинственному немножко миру высшей квалификации, за который он сейчас, здесь, представляет.

Но рационализатор, хоть и чувствовал себя мальчишкой перед этим бастионом накопленного десятилетиями знания, не мог усидеть на подоконнике. Он соскочил на пол и вдруг неожиданно-молодым движением выхватил из рук гражданина докладик.

— Дайте-на. Неужели вы так-таки всерьез убеждены, что доверие, как вы, бутафорской этой комиссии ошари-вам не только? Вот, оказывается, откуда вся путаница.

Пустой взгляд на него, подняв брови. Глубокое, ошеломляющее замешательство, этой вылизкой на авось, неуверенность и малочисленность, дамы и строгий призыв к дисциплине здесь, в стенах общего для них учреждения — вот что было во взгляде старого инженера.

Под этим взглядом рационализатор смутился было, но тут же снова вспыхнул. Он был одинок в этой комнате, он был почти без оружия. Он знал, что Минин и десятки Минингэсов строились вот так, по наследию от прошлого, и не мог же он выступать безразлично против прошлого. Нет, не против он, чтоб даже и взять из этого прошлого все, что разумно в наших условиях, но... но...

— Послушайте, я эту комиссию не знаю, но возьмите факт. Комиссия ваша на заказ капитала изучает страну. А как она берет страну? Административно берет. Для нее губерния или уезд, скажем, сфера действия юридика — незыблемая единица. Ее статистика — в таких слепых клетках, а для нас — это шоры. Нас это гипнотизирует, мешает видеть. Вот вам, к примеру, две реальности на карте: север и юг, север — промышленность, юг — сырьевая база, а по старой статистике



тут чересполосица, тут ни того в сущности, ни другого, — и это мешает нам здраво делить, кроить, резать, соединять, иметь перед собой два реальных района. Нам нужен свой незапутанный узел, своя статистика, — нет, дайте докончить, не перебивайте, пожалуйста! — и если хотите знать, мне вовсе нет надобности изучать ваши материалы и эту самую комиссию, чтоб доказывать ее устарелость, достаточно одного. Допустим даже, что капитал способен организовать, но это еще может быть, когда он ставит прямую, реальную цель, когда он видит выгоду, на голодный желудок, если можно так выразиться; но филантропически, на сытый живот он просто в бирюльки играет и уже сам-то по этим своим материалам вряд ли всерьез стал бы строить, будьте уверены!

Он задыхался от потребности высказаться, статистика была коньком рационализатора. Он уже обобщал, забежал вперед, и особенности маленькой республики, все, что успел заметить, — ставки на дешевизну, малую к себе требовательность, привычку к обидчивости, к самоуничижению, — все это склонен был отнести за счет многолетнего приживальчества у благотворителя.

Но тут своевременно и его и Ануш Малхазян, — при первом же слове о севере и юге подобравшуюся к рационализатору с блокнотом в руках, — прервало резкое и радостное восклицанье: это специалист по бетону, бродивший без толку из комнаты в комнату, увидел вдруг здесь, среди инженеров, нужное ему лицо.

В «нужном лице» с большим трудом можно было узнать приехавшего в управление для доклада запыленного, тощего и расстроенного начальника участка Левона Давыдовича.

Он стоял здесь армейским солдатиком среди франтов генерального штаба. Как всегда с переносом людей из одной, привычной, среды в другую, он изменился в манерах и облике — и выправки меньше, и шукастый профиль слабее, и самоуверенности убавилось, но было и еще нечто: когда, чтоб дать людям встретиться, инженеры расступились и в раскрывшемся круге, как в медальоне, стал виден Леон Давыдович, с



ним вместе в эту комнату ворвался фронт. Он ворвался и необычайно грязных, глиною вымазанных высоких сапогах, которые начальник участка не успел в городе почистить, ворвался в пыли и взъерошенности пальто, примятого от вагонного лежания; в этом ярком, не городском загаре, выдававшем вольный воздух и свежий ветер, — из-под фуражки расстроенное лицо Левона Давыдовича выглядело молодым и свежим, словно приехал человек с дачи или из санатория.

Он сжимал портфель, ничуть не интересуясь спором, что шло, что время уходит, люди заняты по пустякам, а тут дело ждет.

За спиною Левона Давыдовича, прекращая спор, стоял сам Мизингас, — не тот, о котором рассказывалось в цардном докладе, валявшемся сейчас у ног главного рационализатора, а тот, что уже вырос десятком баранов и тысячами рабочих рук на склонах лорийского каньона и требовал пищи, внимания, денег, людей, материалов, инструкций и руководства, отнюдь не разговаривая ни жалеть, ни шутить.

Специалист по бетону тотчас вцепился в начальника участка. Заявлено было смотреть, как говорят они, оба фронтовика, о совершенно фронтовом деле, и тому, кто бывал на участке, наезжал туда, проклиная временную, неудобную ночевку в бараке, вспоминались тотчас же резкий и свежий воздух каньона, шум реки, полет птиц, запах земли и глины, дымки над бараками — словом, все то, что должен еще завтра утречком увидеть специалист по бетону, если, договорившись с начальником участка о полевой лаборатории, выедет ночью с ним на строительство.

Вопрос Ануш Малхазян застрял невысказанный.

Человек в манишке медленно поднялся, натягивая на левую руку перчатку.

Привычка находить в людях, как и в себе самом, скрытый, жадный интерес к деньгам, ко всему, что имеет отношение к деньгам, даже когда недосыгаемы деньги, привычка чувствовать власть над людьми, возбужденная в них этот скрытый огонь, оправдывалась еще только на одном мосье Влипьяне, да и мосье Влипьян был сейчас непозволительно рассеян.



Посланец капитала оскорбленно двинулся вон из комнаты. Как недавно пережил он на миг бутафорию своей манишки, шляпы и набалдашника, так бутафорией показался сейчас ему (правда, тоже на миг) и миллион валютой, даже если сравнить его с теми таинственными «крохами» советского бюджета, что ассигнованы на охрану памятников старины!

#### IV

Твердо ступая маленькой полноватой ногой в коричневой краге, товарищ Манук Покриков возвращался уже поздно вечером с последнего заседания домой.

Дом этот уже знаком читателю. Нам приходилось при совсем других обстоятельствах вступать в него, слышать запах стекающей на камни выплеснутой помойки, клонить голову под веревками с развешанным для просушки бельем и подниматься по очень высокой и крутой лестнице вверх.

Покриков миновал первую дверь, где раньше жила Марджана, а сейчас единолично жительствовала тетка ее, сорвал со второй двери лоскуток бумаги с большими армянскими буквами, — жена извещала, что ушла к сестре, — и своим ключом открыл вторую дверь.

Было уже темно. В окнах блеснул иней — вечерами еще подмораживало. Небольшая голая лампочка — окудная, как в учреждении, — осветила квадрат, где у товарища Покрикова шла своя линия, у жены — своя линия. Стол в углу, куда полетел сейчас нарядный дамский портфель, табак, просыпанный всюду, где не следовало, — это была линия товарища Покрикова. Линия его жены выражалась в широкой расстановке стульев, которым не хватало пространства; в сердитом беспорядке платьев на вешалке, которым не хватало пространства, словно каждое из них облегалo отдельное тело и тело требовало себе места; в раздражающей тесноте посуды, бросавшейся со стола на стулья, как в бегстве.

Нельзя было упрекнуть эту комнату в мещанстве, но в ней жила одна мысль, похожая на болезнь: мысль



и необходимости еще одной комнаты, о совершенной невозможности поместиться и расстаться в четырех стенах, а если говорить о добавочной жилплощади, так уж именно только о соседней, куда вела даже соблазнительная заклеенная дверь. Там, в волшебном уюте, с выходом на крышу, где в горшках, даже сейчас, под снегом, цвели цветы, где был виден Масис во всей его светлой легкости, будто плавающий на блюде воздушный пирог, где под потолком нежным заревом сияли нарисованные «мотивчики», где пустая тахта выдавала присутствие главного жильца, там, именно там следовало устроиться жене ответственного работника, а не беспротийной старухе...

Но обе линии рухнули разом, как рельсы над пропастью. Чтоб только не слышать злорадного голоса Ануш Мамкани: «Ведь вы уезжаете, товарищ, на что вам моя комната?» — жена Покрикова сидела сейчас у сестры.

И этой ночью не слышать режущего голоса жены, Мануш Покриков не пошел вперед за ней, а сел к пустому столу без чая и без ужина и принялся потрошить записки, — он вынул из дамского портфеля один за другим проиндексированные доклады, записки и сметы.

Будь рыжий сейчас, в этой комнате, архивариусом, быть может он рассказал бы нам об уходящей эпохе, как о далекой чигдымской станции, и портфель Покрикова устарел бы на наших глазах, подобно чигдымской панке, знаменуя новый, высший этап, куда поднимается наше хозяйство. Но рыжего тут не было, — впрочем, рыжий тут был, но был совершенно особенным образом. Полноватые ножки в крагах товарищ Покриков выкрутил вокруг передних ножек стула — любимая его поза с детства — и только что собирался разжечь свой чубук, как вздрогнул и встал со стула. Он вспомнил пустиковый, но неприятнейший разговор, который при данных обстоятельствах мог обернуться серьезно. Приятель один, имевший касанье к угрозыску, остерег товарища Покрикова насчет рыжего на участке:

--- Там у тебя один фрукт, рыжий парень, Арэвьян по фамилии, так ты его лучше убери, потому что в



учреждении, я слышал,— подробностей, жаль, не знаю,— почему-то заинтересовались этим фруктом.

Что за рыжий, Покриков и понятия не имел. Он на участке не был с месяц и сегодня еще не успел поймать и расспросить Левона Давыдовича, но было ясно, что предупреждение приятеля упускать из виду нельзя. Каждый сучок могут превратить теперь в бревно по его, Покрикова, адресу. Что ни случись, он будет виноват,— хотя тайное, жгучее, в высшей степени постыдное чувство и шептало ему: хорошо, если б случилось сейчас что-нибудь, хорошо, если б случилось именно без него и о нем пожалели, хорошо, если б трудности возросли, если б поняла публика, что не так легко дело делать и... почти физическая жгучая ревность, как к жене, уходящей к другому мужу, была у Манука Покрикова к Мизингэсу. Неестественно было бы желать «новобрачным» счастья.

Но в вопросе о рыжем другое дело: рыжий относился к дебету его собственной прихода-расходной книги. Товарищ Манук Покриков подошел к телефону и резко зазвонил во все места, где можно перехватить начальника участка.

Звонки разнеслись по дому и вызвали в соседней комнате злорадные смешки. Там у Ануш Малхазян сидели гости.

Не успела вместе со снегом пройти по городу новость, не успел подняться подъемный мост, как жители города Масиса по неминуемой ассоциации вспомнили учительницу и ее племянницу.

Первой явилась коллега, Сатеник Мелконова, блестя ушными подвесками и ломая костлявое лицо в улыбке. Она еще с порога приятнейшим голосом какой берегла исключительно для мужчин, поздравила милую джанчик. Милая джанчик, оказывается, была не в курсе. Она не слышала главной новости.

— Ведь он уходит, миленькая моя! — громким шепотом произнесла Сатеник Мелконова, делая вид, что не замечает кислоты на лице учительницы, терпеть не могшей гостей.

Слова она поясняла жестом: цыганский палец, с большим дутым золотым кольцом и красным от мани-



кюра и не совсем чистым ногтем, торжественно вознесся к окну. Там, за окном, в темноте, сиял соседний двухэтажный дом, где жило лицо официальное.

Восемь окон, залитые светом, были хорошо видны отсюда и напоминали аквариум, где тончайший тюль гардин колыхался, подобный воде, а за тюлем взад и вперед большою беспокойною рыбой сновало лицо официальное, шевеля вместо жабер собственной тенью на стене. Тусклый ежик волос, провал глаз, папироса во рту, стройный, в хорошо сшитом френче, человек ходил мимо стола, где сидели люди, мимо пустых углов спальни, мимо оконных пролетов, все повторяя и повторяя круг своего шествия: это был тот самый, ничем особенным не примечательный пассажир, что ездил недавно в Тифлис.

Он ходил взад и вперед, куря одну за другой папиросы и не поворачиваясь на разговоры за чайным столом, где сидела его молоденькая жена вместе с сестрой своей, толстой мадам Покриковой.

Старая желаньем поглядеть на все это, а кстати и подлизаться к коллеге своей, Сатеник Мелконова, не дожидаясь приглашения, повесила на крючок плюшевую пакидочку. Комната наполнилась запахом сильных и резких духов. Обтянув коротенькой юбкой колени, Сатеник уселась на подоконнике.

— Живут, как буржуи жили, — ехидничала она, — вы посмотрите, не убрали даже дубовый шкаф; ковры Карапетовых, а несчастные Карапетовы на рынке старьям торгуют. Рояль, рояль! Ох, джанчик, я не могу: даже чайный сервиз Карапетовых!

— Оставьте его в покое! — отрезала Ануш Малхазян.

Новость не особенно ее задела. Как всегда, она в этом вопросе не понимала Марджаны. Ей казалось, самолюбие во всей этой истории — главное, да и давно ушедшим вставало время, то время, когда Марджана, не зажигая света, сидела тоже вот так на подоконнике, с платочком, растянутым у нее на плечах панцырем. Нежный профиль племянницы, ласточкой вскинутые брови, локти ее, голые из-под платка, и мутаки на тахте, — бедные мутаки, осиротели совсем, — ну, разве не



святоотатство пускать сюда Сатеник с ее скверным запахом изо рта!

Страдая от нарушенного одиночества, нетерпеливая Ануш Малхазян мысленно гнала Сатеник, оберегая от ее взглядов таинственный уголок с тетрадами и блокнотами, где она только что сидела и занималась. Но Сатеник получила подспорье во второй гостье.

Без стука приотворив дверь, в комнату заглянула старуха.

— Марджана где? — спросила она в дверях. — Слышала, милая, убирают молодчика, да чтоб смирила я его аршином! <sup>1</sup>

Вошедшая — дальняя родственница, седьмая вода на киселе, уже много лет, с тех пор как пошла Марджана в партию, не приходила сюда. Приличие требовало вскрикнуть и броситься ей навстречу; к тому же ходил слух, что у старухи Ефросиньи Абгаровны дурной глаз. Круглое, гладкое, расширяющееся книзу, как морда гиппопотама, лицо старухи было румяно, и маленькие глазки пропадали в нем, словно изюм в тесте. Раскрыв для просушки зонтик и поставив его в углу, старуха приложила сомкнутыми губами, под которыми крепко сжала беззубые десны, сперва к Ануш, потом к Сатеник Мелконовой и уселась на самую середину дивана.

Тут-то и зазвонил нервозный телефон в комнате Манука Покрикова. Фосфор еще зажжен был у Ануш Малхазян в мозгу, вызывая приятную ясность мысли и потребность работы. Она двигалась по комнате сомнамбулой, только бы не потушить его и не перебить работу, — а в сущности дело было потеряно: тяжелый старый гиппопотам не уйдет без чая, и нужно готовить чай и подавать реплики.

Прислушиваясь одним ухом, она мысленно выметала из комнаты нечисть, а нечисть устроила между собой смывку: Сатеник повитухой уставилась в рот Ефросиньи Абгаровны, ловя нескромные речи. Ефросинья Абгаровна, польщенная вниманьем, высказывалась:

---

<sup>1</sup> Народное выражение: да чтоб он умер. Аршином меряют покойника, когда шьют ему саван.



— Раззвонился петух — один девушку испортил, другой на комнату зубы точит...

— Тетенька! — опять лопотнула учительница.

— Ну, что, «тетенька»? Уж не обошел ли и тебя старости? Из любви к яичнице лижут ручку сковороды. Я вот пойду глядеть, как они жен на вокзал повезут, — ты мне сахару внакладку не клади, а положи и чашку две ложки варенья, — пойду на вокзал глядеть, скажу молодчику два слова!..

— Тетенька! — опять лопотнула учительница.

— ...Зашел в деревню, где нет собак, и ходил без полки!

На этом афоризме старуха временно успокоилась и ждала, пока да Ануш придвинет к ней, вместе с Сатеник Мельниковой, чайный стол.

Сказав по правде, шибко двинула на нее учительница бывший чайный стол, где музыка чашек и ложек в стальных шнелем зашумела, отражая вопль ее собственных тягучих мыслей. Там в уголку лежали тетради ребят, на невинных милых буквах ползали по тетрадкам во всей радости бытия; там чистый, как дети, и такой же радостный план, крипо перенесенный на вартин печатей по памяти, отчасти с пометок в блокноте, где север и юг перекликались, север и юг ждали свидан; там тощий журнальчик по республиканскому манифесту, еще не разрезанный, ждал ее старого костяного ножика, — и все это погибало сегодня, наверняка погибало. В лучшем случае (чтоб не пропал день даром) она успеет разве написать письмоцо Марджане и насчет комнаты (остается комната) и насчет того человека (уходит человек)...

— Да ты задушить меня хочешь своим столом! Совсем, мать моя, мозги потеряла! — крикнула беззубо Ифросинья Абгаровна, обеими ручками упираясь в налетевший на нее стол.

## У

Снегопад, промчавшись над городом Масиса, ушел. Снежные вихри еще кружились по дороге, вдоль телеграфных столбов, уносящих от города бесконеч-



ные провода. Но и по проводам, казалось, бежали остатки бури. Провода в нескончаемой дрожи несли и передавали из города Масиса последствия бури, музыку Морзе. В одинокой комнате старый телеграфист, быстро перебирая пальцами, вытанцовывал на аппарате изумительное разнообразие комбинаций из двух ударов — длинного и короткого. Тончайший регулятор звуков, носитель ритма, человеческая рука лежала на аппарате и как бы пульсировала с ним вместе. Два долгих, три долгих, три коротких, четыре коротких, короткий, два долгих, короткий, долгий:

— Москва,— выстукивал телеграфист.

Где-то привычное ухо принимало удары, по стуку прочитывая их в уме, как мы глазом читаем шрифт. В Москву шло чрезвычайное уведомление о том, что на место уходящего Покрикова начальником назначается главный инженер Мизингэса.

Главный инженер поздним вечером возвращался с решающего заседания к себе в гостиницу. О назначении он еще ничего не знал. С ним шли спутники, и московский весенний снег мягко поблескивал в электрическом свете. Попутчики разговаривали; огненные рекламы призывали отпраздновать победу, шел запах из ресторана, скользили по мокрому асфальту эластичные жгуты шин, естественный наркоз большого города держал в человеке подъем, как держит пробка углекислоту в бутылке, но если бы можно было раскрыть человека, только что, защищая проект, пережившего огромный подъем и сейчас, подняв воротник, медленным шагом шедшего по Мясницкой, мы в нем прежде всего, как при позднем вскрытии, заметили бы начало серьезной болезни.

Главный инженер Мизингэса, в противоположность начальнику своему, товарищу Покрикову, терпеть не мог литературы,— честно сказать, он вовсе не знал литературы и смотрел на нее, как большие — на занятия маленьких, считая в порядке вещей даже нескончаемую неграмотность газетных заметок, путавших турбины с напорными трубами.

Он вел большие дела. Несколько лет он работал по водному хозяйству Армении, и карта, пленившая учи-



теплицу, где сеть каналов, древних, новых, новейших и будущих переплетается в сложном узоре, была его дачей.

Именно эта равнинная часть Армении, — где диктовала вода, потому что ее не было, где недостаток воды был организатором быта, культуры, хозяйства, — и тянула его к себе, обостряя мысль тысячью технических догадок и предположений.

Здесь был дешевый киловатт-час, побочный киловатт-час, дававшийся в руки попутно, как попутно даются уходящее тепло или газы при сжигании кокса. Энергия как побочный продукт широчайшего водного хозяйства, — вот это и было любимейшей мыслью инженера, расщепить водную артерию, оросить тысячи га, скомбинировать оросительные участки и пустить воду после использования на семейство турбин системной кокальной станции — сложнейшая и увлекательная задача, где два зайца убивались одним ударом.

Возникла проблема Армении он выносил и прочувствовал, и его мысль была целиком занята вопросами создания, развития, их использования, наилучшей технической формы для получения «побочного продукта», дешевого киловатт-часа энергии.

К генеру, где вода ничему не диктовала и не играла в хозяйстве роли, главный инженер был совершенно равнодушен. Мизингэс достался ему совсем недавно, в готовом виде, весь, как он был, в нарядной беспомощности своих предпосылок, — необоснованный и сомнительный для строителя, опасный продукт формальных докладов и множества докладчиков, где число до бесконечности дробило ответственность.

«А в конце-то концов отвечать придется мне», — была первая мысль главного инженера.

Но когда тот же Мизингэс потерпел крушение и ему пришлось отдуваться и перекраивать, он по привычке мобилизовал все свои силы. «Проведу, а потом откажусь!» — вот чем он жил в эти дни сплошной бессонницы, напряженных часов над проектными чертежами, утомительной возни с сотрудниками, самолюбием их, психологией их, мнительностью их, настроением их. Посмотреть на него — никто не сказал бы, что



главный инженер глотает досаду или же злится: у этого человека было терпенье гувернантки.

Сейчас он шел, борясь с желанием пойти, наконец, к врачу. А пойти к врачу нужно было. Его мучила нудная боль в правом боку, слабость правой ноги, боль при каждом ее сгибании, ходьбе, усаживание.

Главный инженер был заурядный на вид человек с мужиковатым лицом, на котором только желтые виски выдавали страшную усталость; виски облысели, редкие, неживые волосы на них лежали тускло, как у покойника. С головы же на лоб спускался некрасивый мысочек, укорачивая ему лоб и придавая неприятное и замкнутое выражение глазам, мутным от утомленья. И только улыбка его — неожиданной прелести и тонкого, заразительного юмора — освещала вдруг это простое лицо, делая его прекрасным.

«Я, кажется, пойду все-таки», — решил он про себя и распрощался со спутниками, чтоб завернуть к врачу. Прощаясь, они уговорились встретиться попозднее в ресторане и махнуть куда-нибудь. Но при мысли о театре, или кино, или баре главный инженер почувствовал озноб.

Вот уже много месяцев он переживал страх смерти, и преимущественно в кино. Стоило экрану вспыхнуть чужой жизнью, как больной человек вспоминал о неминуемости и близости ухода. «Со всем этим надо покончить и выяснить, наконец», — думал он, поднимаясь по темной лестнице и вступая в приемную врача.

По-московски это была не приемная, а узенькая, передняя, где, чередуясь с вешалкой, стояли стулья и мимо больных проходили в уборную и кухню, или забегала собака в ошейнике, или, минуя больных, проплывал гость — вестником здоровья и ненарушенных человеческих обычаев.

Люди сидели, подобные испорченным двигателям. Больных было много. Каждый нес в себе внутреннего врага — невидимое семейство микробов, присосавшихся где-нибудь в загибе сердечной мышцы, или мучительные спайки в кишечнике, мельчайшие и стойкие язвы, тайную опухоль, гнездившуюся неведомо где; сигналом о внутреннем враге были темная кожа и не-



уловимая деформация черт и этот бессознательный испуг в глазах, какой есть у кошки, когда подвяжешь ей висюльку на хвост. Иностранцем телом приживался внутренний враг, обессиливая человека.

А в соседней комнате врач, сам больной диабетом, одна шевеля тонкими губами и безразлично глядя на очередного пациента, выстукивал и выслушивал внутреннего врага, утомительно повторяя: «Отдохнуть, отдохнуть надо, бросить занятия, не насиловать своего организма. Иначе... что ж иначе: еще хуже будет, если инпустите».

«Публика здорово поизносила, — думает главный инженер, — и все-таки еще ничего. Я молодцом все-таки!»

И так как он совершенно уже не мог сидеть ничего не делая, а читать было темно, главный инженер принялся мысленно делать смотр всему тому, что произошло в эти месяцы.

Скитания по учреждениям, отсида в гостинице, как с ниткой на дисковом на подоконнике с бумажек, бесчисленные встречи в коридорах и на заседаниях с людьми, пригласившими проекты, — конечно, все это было в большой мере утомительно и безалаберно, и европейцу иному показалось бы, что не жалеют у нас людей на ерунду, но в сущности... он вот сознательно прозевал две командировки за границу! Да, в сущности это все вместе учило и снабжало знаниями, каких ни от какой заграницы теперь не получишь.

Каждый приезд, считая по пальцам, расширял ему горизонт. За любым проектом (и своим в том числе) он начал видеть уже совершенно не то, что видел и с чем ездил раньше, — не узкий интерес своей печки: «протащить во что бы то ни стало», не беспокойство о смете, не профессиональное самолюбие, вообще не... не... А что — я вам скажу, что:

«если за этим данным проектом, в хвосте его, я не увижу еще другого, третьего, четвертого, десятого, целую цепь проектов, так, значит, дрянь дело и не стоит».

Они тащили хозяйство, как рыбак тащит сети на берег: сеть выходила клетка за клеточкой, и огромней-



шей сетью клеточек покрывалась страна; а в том, чтоб клетки тянули друг друга и были связаны, была та острая радость творчества и то волнение, с каким ученый открывает звезду в телескоп,— именно там и на том месте, где должна быть звезда, где ей приказано быть гениальной логикой мысли, отгадавшей законы вселенной.

Здесь он насупился легонько, как бывало с ним в редких случаях, когда навязывали проводить поздно вечером даму из гостей. Он вспомнил Мизингэс. Честное слово, он защищал его, как провожая даму из гостей.

Хоть новый проект был блестящ и обходил трудности, хоть строить по новому проекту и привлекало его,—там были особые технические новшества и завлекательные моменты,—но Мизингэс был и остался одиночкой каким-то, кастратом каким-то, черт его побери! За Мизингэсом воображение не рисовало ему хвоста, тех далеких очертаний новых неизбежных проектов, как спины больших рыб, плывущих скопом. Без связи, без какой-то центральной связи со всей экономикой страны Мизингэс был уродцем.

«Ты, брат, уродец, ты — дама»,— чуть не сказал вслух главный инженер.

Он увидел себя в приемной врача, где осталось еще одиннадцать человек до его очереди. Считая по десять минут в лучшем случае на душу, выходило два часа.

Главный инженер встал и снял фуражку с вешалки. Сумасшествие — сидеть два часа!

Над внутренним врагом, гнездившимся в теле, прошел ток той высшей формы материи,—зовите ее как хотите — электричеством, внутренней секрецией, энергией или просто, как средневековые храбрецы иные, духом,—что вернула внезапно больному человеку всю прежнюю власть над телом и чувство здоровья.

«Лучше лягу пораньше да выплюсь, да завтра встану здоровый,—успокоительно подумал он, направляясь в гостиницу,—завтра встану, а от Мизингэса лучше всего отказаться. Без него хватит дела! Завтра же откажусь. Пусть ищут человека!»

Но до самого дома он продолжал думать о Мизин-



гсе, испытывая почти физическую потребность увязать что с целым, разглядеть за ним нечто: быть не могло, не должно было быть, чтобы где-то, в чем-то не оказалось этого «нечто».

В номере было светло с улицы, и света он не жаждет, а, раздевшись, понадеялся сразу же и заснуть. Но сон не шел. Главный инженер ворочался с боку на бок, ощущая работу сосудов, трепет и пульсацию крови, как в дизельной. «Откажусь,— бормотал он,— изолированная нелепость, предмет роскоши, к черту — пусть другие строят. Выпью брому, а то не засну».

Он встал, коренастый, в одном белье, босиком прошел к выключателю пустить свет и, когда осветил комнату, увидел на полу белый квадратик телеграммы, не замеченный раньше.

Прочтя телеграмму, главный инженер почесал у себя над бровями. Потом, вместо брома, сел к столу, где лежали бумаги и чертежи в синей папке с надписью «Планирный туннель». Новый проект понизил отметку туннеля, его разобьет на несколько метров ниже, и можно было протелеграфировать, чтобы приступили к проверочной триангуляции.

Но не в этом, конечно, дело было. А в том, что одиночество Минингса с упорством психоза лихорадило ему мозг. Там, на юге, все было просто и ясно, каждый канал пойдет в работу, каждая капля отслужит двойную службу, игра стоит свеч... Чертя пальцем острые вершинки, одну за другой, главный инженер вдруг наклонился к столу и волосатой рукой, словно муху ловил, прикрыл эти вершинки. Простейшая мысль плачком вспыхнувшей спички вдруг осенила его: вершинки напомнили главному инженеру профили сезонных выработок энергии.

Стоило только отвлечься от бумажного гипноза, от всех этих докладных записок, где будущая энергия Минингса вливается в предполагаемый северный куст, стоило только представить его кустующимся в первую голову не с севером, а именно с югом, как получалась — блестящая вещь получалась! Особенность Минингса выходила тогда козырем. Его летняя мощь покрост летнюю нехватку юга, где вода летом слу-



жить будет для орошения,— да еще хватит ли одного Мизингэса, чтоб урегулировать нагрузку?

Он знал, как и многие из его товарищей, что сейчас, в тиши кабинетов, большими, ведущими умами в нашей стране составляется грандиозный план пятилетних работ. Он знал, что план этот охватит и возьмет в свою огромную сеть и его республику, а с нею и маленький Мизингэс. Мыслить большими масштабами! Дожить, дожить — чтоб увидеть воочию, как покроется вся необъятная земля советская сотнями, тысячами строительных объектов, увязанных воедино... Первый пятилетний план!

Он выхватил из папки синие листы с проектами будущих нагрузок и профилями сезонной выработки юга и погрузился в них, не чувствуя, как стынут у него под столом голые пятки.

Только в третьем часу утра, судорожно зевая, веселый, взъерошенный, довольный, с чувством совершенного здоровья и убежденного бессмертия, какое вспыхивает в минуты полного обмена веществ в организме,— он поднялся из-за стола, уже имея в зародыше, про себя только, идею целого. Так, для будущего.

— Мы, по чести говоря, кессонщики, нам лучше не выходить из-под нагрузки — отсутствие ее состарит нас,— вслух проговорил он, уже залезая под холодное, жидкое гостиничное одеяло и грея пятку о пятку,— а ведь хорошо это сказано: «кессонщики»!

## *Глава одиннадцатая*

### **МАРКС И ВЕЙТЛИНГ**

#### **I**

Начканц Захар Петрович был в эти дни занят — вот как: правой рукой он проводил у себя под кадыком. В отсутствие начальника участка такое стало закручиваться, что ни спать, ни есть спокойно Захару Петровичу не приходилось,— он был занят, как проговаривался иной раз в конторе своим людям, «консолидацией сил».



В стеклянной будке начальника, не подозревая о консолидации, сидел Александр Александрович и мелко надписывал бумажки; подагрические пальцы Александра Александровича тряслись; нанося подпись, он бормотал в пышные усы, что начальник участка всегда так, что это система: в труднейший момент уехать и обрушить ответственность на него, Александра Александровича.

На самом же деле труднейший момент целиком захватил не его, а начканца.

Шли увольнения. Работа сворачивалась на участке, как паруса и мачты на яхте во время штиля. В этом сворачивании Захар Петрович видел для своей деятельности далекие перспективы. Почесывая концом ручки веко, лохматый и подтянувшийся, он устремлял широкие глаза в невидимые пространства, где воздвигались, карниш за кирпичиком, умственная постройка, названная Захаром Петровичем, для краткости, «консолидационной» и тянула в участки латыш, мастер Лайтис, узлом в шпифе острогом корабля вытянутый нос, — «а не латыш был, куда не пригнать»; полкан каблук, в котором, ныряя, пошла на станцию Аветис со склада, получив рыцаря; этот, не в пример прочим, жаловаться пойдет; Заргарян и другие молодчики, с узлами и жеманом, отгромыхали на арбе, — будет уже время подумать, каковы «узкие места» на участке...

В глубине своей беспартийной души Захар Петрович твердо был убежден, что уход бузотеров понравится кому следует и выше стоящим. Истина-то, не глядя на всякие лозунги и несущественные убеждения, — «единая»: приказано строить, и надо строить. А уж там как ни верти, при беспокойных строить, как по канату ходить.

Высматривая из конторы окно насупротив, в соседнем бараке, где помещался местком, Захар Петрович не продолжал мысли, но все знали, чем интересуется дальновидный мозг его. Шли слухи, что местком Агабек не поладил с секретарем ячейки.

«Вот она где, истина-то», — посмеивался про себя начканец, особым пристальным взглядом следя за крыльцом напротив: крыльцо было грязно, крыльцо



было сбито набок, хоть сейчас возьми рукой да и надломи его. Дверь сорвана с петель и кой-как приткнута в угол. Из нее валил пар, когда в нее самое не валили люди,— а валили люди во все часы, приемные и неприемные, шли сезонники в овчинах, обозчики с хомутом на шее, комсомол в шерстяной майке,— видно было в стекле, как качается зеленое лицо Агабека, бледное до фантастики, и тень от горба пляшет гофмановским придатком сбоку,— «накачаешься», злорадствует Володя-конторщик.

Он сидит павой за своим столом, и никто не мешает Володе, как мачехе в сказке, чувствовать себя здесь, в конторе, глядячись в зеркало, «всех прекрасней и милей»,— рыжего-то ведь нет, спустили и рыжего по теченью. Правда, совсем уволить не удалось. Агабек, ссылаясь на просьбу техников, оставил его помощником на изысканьях, рейки таскать. Но для Володи такой конфуз казался худшим, чем увольнение,— с чистой работы да на простую, мужицкую, с которой даже толстый дурень Мкртыч справляется.

— В первый раз я, Захар Петрович, воздухом дышу,— с истинным жаром вырвалось у Володи-конторщика.

Но начканц, в поисках консолидации, не задерживался на победах. Он уже действовал стоя и на ходу, говоря «гм» и рукой отстраняя в коридоре мальчишкупочтальона, поспрошав у него предварительно то и се и между слов забравши письмо для передачи,— ни на миг и ни на вершок не простирали свои действия Захар Петрович бесцельно. Сейчас торопливой походкой, с письмом в руке, он перешел улицу и спускается вниз, кавалерийски выгнув ноги, а в промежуток между ходьбой откашливается подготовительно, без сплеву так делает перед речью оратор.

Секретарь партячейки сидел у себя в бараке. Он готовил доклад. Чтоб не мешали, секретарь запер дверь на крючок и, опустив голову, собственноручно зажал уши, но, повидимому, тревога или иное что грызли секретаря, потому что, зажав уши, он не мог остановить глаз на лежавшей перед ним работе и тотчас же встретился взглядом с Захаром Петровичем, деликатно гля-



левшим в окно с письмом в руках: дескать, минуточку, письмо примите.

— Людей у нас в обрез стало, мне по дороге: чем согнать кого — дай, думаю, занесу,— запыхавшись, сказал Захар Петрович, когда секретарь скинул крючок с дверей. — К докладу готовитесь? Ай, хорошо тут у вас. Это я одобряю.

Он медлил, будто обласканный чистотой этой комнаты, теплом, шедшим от русской печки,— секретарь тепло любил, и ему в эти дни снегопада и похолодания щедро топили печь. Половичок у входа, и тот будто бы пригнулся начканцу. Умильно пригнув голову к плечу, Захар Петрович прочел армянскую надпись: «Вытри нос», — и, боком взглянув на секретаря, убедился, что тот, по собственной Захар Петровицовой терминологии, «скуцует». Непokoйный взгляд и насупленное лицо, равнодушный жест, с каким секретарь отложил письма, излишек движений по комнате — ясное дело, скуцает парнишка, засол, как сын, и то ему интересно, что на ухасти говорит и какую линию выдержать,— это же лучше его понимаю.

— Ну, уж попал, так извините — присяду. Мне сейчас вырваться из конторы не легче, чем папе римскому из Ватикана.

Захар Петрович сел и пристально оглядел секретаря. Тот все молчал. Захар Петрович не улыбнулся,— он стал серьезнее, добродушно серьезен, нежно серьезен, задумчивое отцовство было сейчас в его круглом лице и ладони, положенной на худую руку секретаря,— Захар Петрович совершенно опростился. Наипростодушнейшим своим тоном, понизив голос, почти жалостно, словно баба, припал он голосом к молчаливому уху, которое, впрочем, внимательного человека поразило бы упрямым чем-то в загибе и даже в краске.

— Уж хоть бы вы, товарищ, урезонили нашего предместкома. Ячейка-то в курсе ли? Я от службы хочу откланываться, вот оно до чего. Острый момент, режим экономии,— стронтьелству нужна помощь... нет, уж погодите отвечать, дайте я вам выскажусь откровенно: гиру он нам сорвал. Транспорт он нам чуть не разладил. В наших местах, к весне сорок аробщиков догово-



рить — шутка? Я с ими сапоги обтрепал, ходил, кланялся, улещивал — заместо Алексан Саныча, а товарищ Агабек — нате, тятя. Кулаки, говорит. Контора, говорит, кулацкие элементы на службу берет. Так ты дай мне, человек чужак, бедняка с арбой да с парой волов, я ж его хоть сию минуту найму. Или вот с увольнением. Я, что ли, хозяин? Советская власть приказывает сократить, так или нет? Ты если с умом — войди в положение, помоги строительству, а местком: этого нельзя, того нельзя, третьего не моги; выйдите поглядите, что делается, какую агитацию развел. Кружало сломали — в местком. Компрессор плохо работает, механик пьян — в местком. Цемент якобы перерасходуют — в местком. Демагогия получается. Или ты местком, или ты стенгазета, или ты жалобная книга... На нашем обыкновенном языке я это так называю: вредительство, вот я как называю. Неорганизованных элементов вокруг себя собирает.

Ухо секретаря дернулось, — Захар Петрович, неосторожно дыша в него, повысил голос до вскрика.

— Извиняюсь, — сказал начканц, снизивши против воли эффект своих слов.

«Безвредный, безвредный, а вот накося, раскуси его, — думал он про себя, неожиданно раздражаясь на молчанье и на жест, с каким секретарь, вставши с места, потянулся за кепкой, давая понять о выходе. — Одна сатана вся их публика, ты ему душу вывернул, а он деревом-березой развесился... тоже секретарь!..»

— Ну, так я пошел... всего! — довольно-таки принужденно и, можно сказать, задним числом проговорил Захар Петрович, выходя из барака вслед за «безвредным».

## II

По улице навстречу ему шла Клавочка, об руку с двумя женщинами — женой Маркаряна и счетоводовой. Платье ее рвалось вперед вместе с легкой, мелкой походкой, как занавесочка меж оконных рам, — соседки утяжеляли и придерживали Клавочку, они были грузны, и шаги крупнее. Вырвавшись, чтоб подбежать



к мужу, Клавочка сделала круглые глаза. Она тоже действовала. Ее не тянуло с участка в город, ей на участке сделалось интересно,— вместе с мужем она «консолидировала».

Прошли времена, когда соседки, ей в пику, замалчивали, что выдают в кооперативе, или же из-под носа скупали яйца,— легко хохоча, она дожидалась теперь стука в стенку: «Клавдиванна, пойдете за рисом?», стука в окошко: «Клавдиванна, яички продают, вам десяток не надо ли?»

Выпархивая из дверей, с платочком на голой шее, розовая и теплая,— хотя бы другие от холода носы терли,— она продевала руки соседкам под локти и шла поровисто, играючи, словно воспитанница с гувернантками. Жене Маркаряна собственной бритвой она брила подмышками; старухе — Володиной матери — кофейную мельницу подарила (поищи-ка теперь в лавке кофейную мельницу!); счетоводовой гадала на картах, замирая головой, вслепскиная ладошками. И ничего не жалела Клавочка, ни времени, ни добра,— «разве не дружится — думала про себя Клавочка.

В проназанном оживлении и щедрости, с какой разбрасывала она улыбки и теплоту своих мягких, подушечками, ладоней, был, однако же, расчет: на чужого мужчину Клавочка теперь не глядела, и лицо ее делалось даже скучным, точь-в-точь как у воспитанного чедливца при виде людей, считающих деньги. Приличное равнодушие, зевок в пол-отворота, «я лучше у себя подожду», — социальная угроза отпала, в поведении Клавочки замечался перелом.

— Я в кооператив, а ты чего? — шепнула Клавочка мужу таинственно.

— Иди, иди,— рассеянно ответил начканц, махнув рукой.

Отходя, она пересмеивалась, равняла шаги с соседками, и если б начканц имел время взглянуть через плечо, он увидел бы, что женщины спускаются по косягору, для чего-то избрав в кооператив самую дальнюю дорожку, низом.

Погода — нельзя сказать чтоб располагала к прогулке. Вот уже дней пять, как на участке шел снег



пополам с дождем. Наверху, на Чигдымском шоссе, там подмерзло и ветер гнал гвозди в лицо — оледенелые длинные снежинки. А на самом участке грязь была — не вылезти. Прыгая, где по камушкам, а где по дощечке, Клавдианна явно тянула спутниц по дальней дороге, судорожно и весело пощипывая их, в знак общей тайны. Женщины, уступая, шли.

Там, рядом со складом, был самый забытый барак, да и самый грязный притом. В отличие от семейных, он высился холостяком, — ни лужи, ни кровавых пятен от резаной курицы, ни мусорного ведра, на окнах — ни занавески. Крыльцо к ночи не запиралось, а так и било по ветру, мешая другим спать. Но зато обладал барак странными собственными предметами, заменявшими жилые предметы прочих людей: по коридору стояли длиннющие палки, крашенные, с цифрами; лежали на столе цепи, веревки, катушки. В сарайчике, когда он заперт, неподвижно на трех ногах дожидались какие-то непонятные звери, треножники и ящики с тонкою штукой, теодолитом. Даже простой рабочий швырялся возле сарая всякими иностранными выражениями, вроде «нивелир», «экер», «мензула», «бусоль». Но сколько ты там ни швыряйся, уважать тебя за это не станут.

Ни одно место на участке не пользовалось меньшим почетом, нежели этот барак, где жило «хулиганье», как тихонько, холодком обдавая, определяла Клавочка, — публика бессемейная, с неистовым аппетитом и малой способностью считаться с салфеточками, или стульями, или мытым полом в другом бараке. Уходя раньше всех, еще до зари, эта публика позже всех, когда в столовке ничего уже не оставалось, возвращалась с работы, и знай лезет по комнатам, выпрашивая где кипяточку, где хлеба, где просто «нет ли чего пошамать», — вульгарностью этой просьбы в ком хотите убивая добрососедское намерение угостить.

«В деревнях от них стоном стонут», — рассказывала жена счетовода, у которой в деревне имелись родственники-кулаки.

Короче сказать, в бараке жили техники, изыскательная партия, — начальник партии, старый техник



Гришин, его помощник Айрапетьянц и десятник. Изыскатели отнюдь не считали себя последними людьми на участке, тем более что, по совести говоря, они были первыми.

Еще когда и барак не было, да и сам Мизингэс неизвестно быть ему или не быть, Гришин с Айрапетьянцем и десятком других, осев на деревне, взяли под поготь всю эту местность, обшарив ее треножником вдоль и поперек,— днем они шарили — их длинные рейки шагами мамонтов, равномерно туда и сюда, утыкали пространство, исшагав его треугольниками; а ночью при лампе распухшими от ветра и стужи пальцами держали чертежное перо и на бумажном поле квадратиков вставляли — странным подобием все тех же шагов мамонта, движений реек — стройные и косые леса трансверселей: техники заносили местность на план.

Земля со всей ее сложной прелестью, оврагами и приторками, долинами и скалами, уминалась тут в точках и линиях, разложенная, как примятое платье. Сейчас Гришин с Айрапетьянцем заканчивали последнюю съемку на верхнем склоне каньона; им оставались пропорочные работы по большому напорному туннелю да трассировка подъездного пути в тупичке.

В бараке с ними жил Фокин, сюда приходил ночевать Ареульский с вертушкой и своим неизменным Санчо-Пансой, Мкртычем, когда позволяла Мизинка; и сюда же из комнаты для приезжих начканц временно переселил Арно Арэвяна,— можно сказать, на свою голову переселил: рыжий, сдружившись с техниками, вместо расчета засел в изыскательной партии за рабочего.

Не дойдя шагов десяти до барака, Клавочка заволновалась еще пуще. Остерегая соседок, шепотом повторяя им, как и что надо, Клавочка не могла унять дрожь в локтях и, стягивая платочек, даже шепнула: «Ой холодно». Ей и всерьез стало холодно от волнения и завлекательно интересно, когда, мелким шажком, ношкою, подкрадываясь к крыльцу, она снова и снова шептала спутницам: «Душечки, милочки, не забудьте!»

Но женщины не забывали. У них был заговор.



Жена Маркаряна втянула губы внутрь, пышные плечи в собачьем меху распрямила и первой, ступая по шаткой лестнице, поднялась в барак. За нею, хихикая в руку, дробно прошла счетоводова жена, а Клабочка замялась — «живот болит», но тут же, сияя глазами и вздернув ноздри, как у деревянной лошадки, бледная от волнения, холодея, со стиснутыми ладонями, шибче всех поднялась по ступенькам, обогнала обеих и постучала к рыжему.

И все-таки в этой комнате, как ни ругай, было славно, — рыжий сидел на длинной лавке, возле него на подоконнике стояла кастрюля, стены увешаны ружьями, рюкзаками, седлами на рваных ремешках, а на столе, в ожидании путешествия, чей-то готовый мешок и дорожная фляга в парусине. Рыжий приподнялся, держа пальцем место в книге, которую он читал. Глаза у него покраснели слегка под разбитыми стеклами и были сейчас вопросительно, почти раздраженно, устремлены на помеху.

«Гришина дома нет», — хотел он сказать. Но в дверях жались женщины. Ежилась толстая Маркарян, — она, как было у них условлено, должна была первой сказать фразу и заученным голосом начала:

— Вы знаете, товарищ Арэвян, мы в клубе спектакль хотим ставить, пьесу «Тайный бандит»...

— А, пустяки, не в спектакле дело, — вдруг подвела экспромтом Клабочка, быстро проходя в комнату. Она обдумала эту сцену давно — взять рыжего неожиданностью. Заставить выдать себя — как-нибудь, чем-нибудь. Помочь мужу своему, начканцу, выявить подозрительного человека.

Беря страшные клятвы с соседок о молчании, она им, как роман с продолжением, рассказала кое-что о рыжем, разукрашенное собственной фантазией. Два факта, никому неизвестных, личное ее достояние, составляли «документальную» сторону этого криминального романа: во-первых, рыжий был раньше (обратите внимание — раньше, — когда же это, при дашнаках, что ли?) «агитатором», сообщено Аршаком; во-вторых, об адресе рыжего справлялся угрозыск, — источник тот же, но подтвержденный письменно.



Дамы заранее поделили роли, как и что сказать. Но, хорошо все обдумав, Клавочка вдруг сорвала приготовления лобовой атакой. Ее охватило вдохновение:

— Не в спектакле дело, хотя там действует тайный бандит на стройке. К нам, Арно Александрович, следователь из угрозыска приехал, сейчас, сию минуту. Будет вести допрос. Будет нас спрашивать. Чего мне скрывать? Аршак под большим секретом сообщил мне... и я вот не знаю теперь, нужно ли это власти передать, или смолчать, — как вы скажете?

— Да в чем же дело?

Она вдруг взяла рыжего обеими руками за воротник амазонки и притянула немножко с балованным видом очень хорошей знакомой, и зеленые, вывернутые, блестящие глаза ее уставились в разбитые стекла рыжего с неистовым, почти страстным любопытством, — правда? Она для приятельниц вложила в вопрос таинственное нечто, понизив голос до глуховатого шепота:

— Вы же ведь раньше-то были агитатором?!

(«Примечайте, все примечайте, глаз с него не сводите!» — говорил он шепот двум другим женщинам.)

Но рыжий не вздрогнул, не побледнел и не упал в обморок, как они втроем ожидали, а очень спокойно снял руки Клавочки с воротника, словно отцепляя налетевшую жужелицу или же колючку, и кивнул, здороваясь, в сторону двери, — там уже с минуту стоял Степанос, не без удивления наблюдая сцену.

— Товарищ Степанос, вы за книгой? А я и кончить не успел. Войдите, войдите, товарищ Степанос.

Женщины неловко столкнулись в дверях с новым посетителем, выбираясь из комнаты.

Для Степаноса книга, которую он дал рыжему с условием прочесть в один вечер, была только предлогом. У него была дружба с рыжим. Он говорил ему «ты», хотя тот обращался к Степаносу на «вы».

Но изменяя себе, учтивый, как старички на пенсии, рыжий придвинул табуретку к столу и пошел запереть их женщинами. Но в воздухе контрабандой осталась женственность — смесь валерьянки с китайским чаем, влажный, как насморк, запах весны, даже мокрый собачий мех жены Маркаряна вливался в букет особым



привкусом. Это был воздух, невыносимый для него. Чувствительный к запахам, он, вместо того чтобы запереть дверь на ключ, как собирался, взял да и распахнул ее настежь, изменяя обычной сдержанности и протестуя вдруг всем своим большим телом против всеобщей мании конспирации, охватившей участок.

— Нет, ты дверь закрой все-таки, будет разговор,— негромко предложил Степанос. Он хотел знать перед бюро настроение беспартийных на участке, о чем и как говорят. И собирался выпросить об этом у серьезного человека, рыжего.

Между тем три женщины спускались в кооператив уже не в обнимку, как раньше, а гуськом. Стало по-настоящему холодно, Клавочкин нос посинел.

Вышло или не вышло?

— А вы заметили, как он перевел разговор, точно и не его спрашивают? — сказала жена счетовода.

— И голос не дрогнул, вроде опытного преступника! Я таких типов по книге знаю,— прибавила жена Маркаряна многозначительно.

Русский язык Клавочки был милей и натуральней. Она берегла его про себя. Она подумала,— в опадающем платице вокруг колен, когда шла за ними самой последней, потеряв уже удовольствие от прогулки, было что-то похожее на зевоту,— платье зевало, как и сама она, пережив возбуждение: «Сволочь ты, вот кто!»

### III

В пять часов было объявлено бюро, но члены бюро, кроме восьмого, Фокина, с двух часов испытали потребность встряхнуться, запереть присутственное место или же просто выйти из комнаты, где сидят,— каждому бессознательно чувствовалось, что надобно приготовить себя к бюро.

Один Фокин преспокойно орал на рабочих в туннеле, вырывая трамбовку,— работы шли из рук вон.

Доведенный до хрипоты, Фокин сел на бочку и вытерся рукавом,— может быть, день, сумрачный день, тучи, большое давление, может быть, малярия,— жуж-



жит что-то в ушах, как от жара, но факт тот, что и Фокин стал частью этого разлаженного и никуда не годного целого: лодыри, стукачи, лапотники,— ругался он про себя. Инерция большой работы сегодня разбита, не вытанцовывалась работа.

Может, иной поэт какой-нибудь, сидя у себя при опущенной шторе за столом, с отчаяния грызет ручку и думает, что не пишется, нет вдохновения,— может, такой поэт и не знает,— а стоило бы ему заглянуть в смущенную душу Фокина,— что не для стиха только, а для каждой большой работы, для пилы, для молота, для **трамбовки**, черт побери, требуется вдохновение, та **слаженность**, **согласованность**, «само пошло», **маслом смазанная дорожка** усилия человеческого, то, чего нет сейчас в **любимом туннельчике**, и Фокин сидит, обтирает бесплодный пот, готовый лезть на стену. Только сегодня ничем не **прошибешь** рабочих,— выдался такой день. Давление. Или **малярия**? — а ну, на ночь **книга вынуть!**

Но пока Фокин борется мыслями со странной, тугой разлаженностью, обступившей, подобно тучам, рабочих в туннеле, другие члены **бюро**, каждый по-своему, переживают нечто, похожее на **фокинскую малярию**.

Переживает ее **начмилиции Авак**, идя по шоссе и торопясь идти, чтоб поспеть в **участок** раньше машины: он был внизу на станции и пошел пешком, только чтоб не столкнуться с **Леоном Давыдовичем**. Честное круглое лицо **Авака** и подкинутый под самый околыш взгляд (так иной **франт** подкидывает фуражку, как у него — глаза) **кажутся** невыразительными, но сердце **Авака** **обуревают** сильные чувства. Вот если б взорвалась сейчас **бочка** на пороховом складе, куда поставлен **любимчик Левона Давыдовича**, **хромой Никита!** Или вот если б **вывалила** машина **начальника** под откос,— **зубы скрипнули бы**, если б позволил себе **Авак** **припомнить** сценку **возле кузни** и собственное **трусливое молчание**,— не сумел, дурак, ответить.

Как дремоту, сбрасывая такие мысли, **начмилиции** **сидятся** думать о другом; он говорит себе насильственно: «**Ай, нехорошо**»,— насчет положения вещей на **участке**, но **взгляд** его, **против воли**, **выжидательно**



ищет внизу, где тоненько, через туман и слизь очень плохого, почти уже темного дня заблестели огонечки,— признаков суеты, катастрофы, чего-нибудь необычайного и неожиданного... Кажется, еще лишняя капля — и этот исполнительный, сдержанный парень забудется до непоправимого.

Огонечек горит в дизельной. Там член бюро, Амо, тот, что оброс не по возрасту бородой и чья прокурорская речь гремела по поводу Сукиясянца, тоже волнуется нынче,— он снова готовит речь. Комсомольцы, зашедшие к нему, распаляют прокурора. Каждый принес новость: классовая борьба на участке; верней — наступление на рабочий класс! Вы можете, как хотите, отрицать эту борьбу, но, нагнув молодую голову, крепкий корешок шеи, сочный, словно морковка какая-нибудь, бородач, поблескивая умным и знающим взглядом, заносит по-армянски в блокнот:

«Пункт первый — увольнение, под предлогом сокращения штатов, именно тех, кто выступал с критикой. Пункт второй — явно бессмысленное увольнение,— Аветис со склада. Там штаты не сокращаются. На складе идет работа, склад получает по накладным. Оставшиеся перегружены. Будут нанимать на место уволенного другого рабочего. Так — для чего же? Пункт третий — рабочим не сделали доклада о причинах провала проекта, о возможном новом проекте, работа вслепую. Пункт четвертый — драмкружок. Засилие мещанской публики. Шкура барабанная (жена счетовода не пожелала играть с рабочим: «от него пахнет», и не разрешила по ходу пьесы обозвать ее «шкура барабанная», а вместо этого «дурочкой»)...»

Здесь пишуший плечами пожал,— дальше некуда! Кто они на участке? Наемная сила? Кто их хозяин? Капиталист какой-нибудь? Где они на географической карте?

Кинув окурок в плевательницу (курить запрещалось, ходивший в дизельной приезжий инженер-электрик невзначай оглянулся на Амо), прокурор дописал пункт пятый: «...распределение в коопе. Когда ни придешь — дамы с корзинками, отпуск в первую голову «чистой публике», рабочий не получает молока, масла,



ждет лишнее время...» Впрочем, это уж по себе бить, по своему же члену бюро!

Как раз в эту самую минуту, примерно к двум часам, почти к закрытию, в лавочке кооператива рабочие ждали «лишнее время». Не то чтоб в очереди. Очередь была,— они загодя запомнили, кто где. Но отпуск продуктов затормозился. Заведующий кооперативом с улыбкой на лунном лице,— улыбка была, впрочем, неспокойная и скорее по привычке,— отодвинув покупателей к сторонке, делал подсчет. Он спешил кончить пораньше, потому что и он тоже перед бюро,— а бюро будет серьезное, драться будем,— испытывал неприятное, нехорошее чувство,— то ли выйти, то ли дело докончить, но что-то сделать, округлить как-то день; и он эффектно щелкал костяшками, округляя день.

За его спиной, на стоячих весах, чей-то мешок с недосыпанным рисом вздрагивал, и рисинки падали, как капли с уха,— рабочий ждал, положив локти на высокую лавку прилавка, а за ним налегли десятки других.

Лампочка светила скудно. Полки перед рабочими мерцали последовательным строем продуктов, марширующих группами и со знаменами,— армия эмалированных чайников с белой дощечкой: «два сорок»; вихрь черных шнуров от ботинок, сплетенных, как амен, под знаменем «по паре в одни руки»; пирамиды папиросных коробок; жестянка с сухими галетами, «400 граммов на пайщика»,— кому время, смотри, изучай, разбирайся взглядом, потому что нет вещи не поучительной, не способной лечь мостиком к выводу, не показательной для широты-долготы.

Но тут, прерывая, может быть, иной любознательный ход мыслей, на полки с продуктами легла пышная тень,— между рабочих пробирались жена Маркаряна, Клавочка и счетоводова, успевшие запастись плетенкой и посудиною.

— Мне, товарищ, только бы тертых помидор,— шипрится.

Умоляющая гримаса хозяйки и ее беспокойный взгляд по полкам. Заведующий кооперативом, со вздохом оставя костяшки, поднял с весов мешок с рисом; потом привычным жестом поставил на весы, где еще



блестели одинокие рисинки, посудину и ловко, из-под зажатых пальцев, на другую чашку весов — сперва камушек, потом другой, третий, — весы пришли в равновесие. Лизнув палец, которым она, свесившись всем телом, ковырнула откуда-то масло, жена Маркаряна деловито смотрела, как густою кровяной гущей стекает в ее посудину пюре из помидор: щи не ушли бы!

А день и совсем стемнел. В начале третьего зажглись огоньки в бараках, зажглись и большие, качающиеся на канатах, придорожные фонари, в свете их заплясали реденькие снежинки.

Снег, впрочем, с минуты на минуту усиливался, — и вот вовсе нет снега, один дождь, — крупней и крупней дождь; по улице метнулись фигуры, разбегающиеся в разные стороны, словно шпарил дождь клопов сверху, — дети под мешком или куском брезента; три наши дамы под развернутою газетой; запасливый некто под зонтиком, — через минуту на барачной улице ходил только гусь Косаренки, а сам Косаренко с порога глядел на него.

Косаренко глядел на гуся, но думал в сущности не о гусе и не о погоде, — не свойственно для себя самого, Косаренко вдруг начал вспоминать прошлое. Хорошее у него было прошлое; да и места были — замечательные места, не чета этой стройке. Северный порт, а потом — Петроград, а потом — Донбасс, мариупольский завод, Красная Армия, опять Ленинградский порт, — за десять лет наберется, о чем вспомнить.

Перебирая события своей простой и напористой жизни, Косаренко остановился на одном — самом ярком. Во все трудные минуты он прибегал мысленно к этому событию. Он черпал из него помощь и совет. И сейчас перед ним встало свинцовое небо Петрограда 1917 года... В конце ноября, число он навеки запомнил, — двадцать второго, — он слушал на Всероссийском съезде военного флота речь Ильича. Теплая волна любви, нежности, преданности, готовности на смерть и любые муки ради революции, ради победы правого дела — опять охватила, как тогда, Косаренко.

Речь Ильича не была застенографирована. Простой хроникерский отчет о ней, напечатанный в тогдаш-



них «Известиях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», до сих пор хранился у него в вырезке, и не дальше как утром он снова перечел полустершиеся строки. Он их наизусть знал, и особенно ему близки были слова: «Нужна твердая власть, нужно насилие и принуждение, но мы его направим против кучки капиталистов, против класса буржуазии. С нашей стороны всегда последуют меры принуждения в ответ на попытки — безумные, безнадежные попытки — сопротивляться Советской власти».

А разве сейчас, на участке, не видать этих попыток? Разве увольнение лучших людей не сопротивление советской власти? Разве шушуканье разных чуждых людей в кабинете чужого человека, инженера, когда в Донбассе инженеры предателями, врагами оказались, — разве это не сопротивление?

«А мы, посемь человек бюро, не то что их принудить, мы сами между собой никак не столкуемся, — додумывает Косаренко гневно. — Да я еще среди них моряк, бывший флотский, к нам, к военному флоту, Владимир Ильич особо обратился, чтоб мы «все силы положили», уберегли единство и сплоченность трудящихся. Но что делать, как поступить, ежели секретарь...»

Что именно секретарь, он, впрочем, и себе бы не смог ответить. Ему нажужжали уши о секретаре. Неистребимое «я слышал», «он говорил», «говорят», «рассказывали», «а ты знаешь», «а такой-то»... Даже Степанос, тихий и солидный Степанос, сказал ему вчера, вывернув малокровные, сероватые ладони перед приятелем, словно показывая этим безнадежность положения на участке:

— Начканц открыто заявил, что администрация нижмет — и Агабек вылетит с участка. По начканцу жена Покрикова, Марья Амбарцумовна, вершит дела. Ни его мнение наплевать, конечно, а что получается, ты понимаешь? Чем я это мнение в глазах рабочих побью, если завтра снимут Агабека? Марья Амбарцумовна бежит к Нине Амбарцумовне, Нина Амбарцумовна к мужу, муж звонит в совпроф...

— Да ведь он ушел? — прервал его тогда Косаренко.



— Ушел, так не он, другой, третий; будет, одним словом, по-ихнему. И в такую минуту, знаешь, что наш секретарь делает? Ходит по членам бюро и говорит, что Агабек зарвался. Начканца выслушивает. Лично в окошко видел! Начканца слова повторяет. Я Арсена люблю, но, знаешь, у меня кипит прямо, я готов эту тряпку, этого франтика так пронести в газете... а с другой стороны, *ынкёр*<sup>1</sup>, руки опускаю. Какой, скажи, во всем этом смысл? Культработа у меня на нуле, до сих пор из центра лектора не дают, кричат — строительный участок, а отношение хуже, чем собачье.

— Ох, Степанос! На прежней, старой работе разве мыслимы были бы такие разговоры? В Донбассе, в Ленинграде — разве позволил бы рабочий уволить его против месткома или рабкора снять — рабкора снять!

А секретарь в эту минуту сидел в комнате Косаренки. Он сюда пришел давно, и разговор между ними выгнал беловолосого Косаренку на улицу — гуся глядеть.

Постояв эдак, Косаренко вернулся назад, нервно высвистывая мотивчик. Он не любил секретаря и считал его слабым. Секретарь знал, что Косаренко не любит его и считает слабым. Но в эту минуту (она, как малая капля в ничтожно маленьком мире, где были они действующими лицами, отражала в себе другие такие же минуты в больших мирах и сильна была общностью, одновременностью с ними) секретарь знал, что каждый из них делает больше, чем свое дело, и отвечает за большее, чем за свое дело. В эту минуту, по упрямой и прочной особенности своего характера, он пришел за советом и помощью не к тем, в ком мог бы найти сочувствие и с кем мог бы, употребив слово начканца, Захара Петровича, «консолидироваться», а, напротив, к наисильнейшему критикану и порицателю, открытому своему противнику, Косаренке.

За час, что они проговорили, секретарь услышал не очень приятные вещи. Он, по словам Косаренки, не имел авторитета на участке, его спиной пользуются как щитом, партийного руководства не чувствуется, рабочий актив сокращен, комсомол без помощи, напле-

---

<sup>1</sup> *Ынкер* — товарищ (армянск.).



пательство на молодежь, Агабеку поддержки нет, Агабек на свой страх и риск...

— Да ты слушай,— сказал секретарь, когда Косаренко вернулся, своим спокойным и ровным голосом, словно продолжая только что прерванный разговор. Уши его горели. Но в загибе их было опять нечто упорное и неподатливое.— Я с тобой не насчет своих талантов советоваться пришел. Я предупреждаю: ты проводишь Агабека. Парень зарвется. Я насчет Агабека пришел. Понял?

#### IV

А в месткоме все эти дни творилось чистое столпотворение. Входя и выходя, рабочие оторвали дверь барака, и густые мокрые хлопья снега заносили коридор, уже, впрочем, до теста замешанный и залепленный бесчисленными следами.

К Агабеку шли увольняемые с жалобой, остающиеся — за советом. Шли и те, кому просто душа велит отвести ее. Сторож Шакар, оживившийся необыкновенно, стал приводить сюда самых неожиданных людей — и уже не с жалобами, а с просьбами, с заявлениями, чуть ли не с исповедями. То это был местный цирюльник, которому необходимо стало перевести все заведение под крышу, и срочно ходатайствовал цирюльник о жилплощади, а также о материале для вывески. То это была группа сапожников, добравшаяся сюда откуда-то из соседней республики, чуть ли не из Ахалкалак. Сапожники тоже требовали внимания и выдачи им хлеба, в чем кооператив упорно отказывал. Приводя их к Агабеку, сам Шакар в комнату предместкома не входил, а становился где-нибудь у наружной стенки барака, под дождем, сияя мокрым, до странности оживленным лицом,— и ждал.

Агабек никого не гнал и никому не запрещал говорить, сколько душа желает. Он стоял возле своего столика, опершись коленкой о стул, и напряженно выслушивал всех проходящих.

Если б был на участке большой музыкант в эти дни, из тех, кто слышит внутренним ухом незримую мело-



дию человеческого характера, то скрытое от наблюдателя движение в человеке, подобное росту травы, которое, словно годами накапливаясь, атом за атомом, медленней, чем часовая стрелка на часах, вдруг предстает перед взорами уже готовым, уже сделанным, выросшим — в поступке или действии; если б был, повторяю, такой музыкант на участке, он сделал бы неожиданный вывод.

Всегда живой и решительный Агабек, привыкший дело делать сгоряча, еще хорошенько себя не обдумав, казался сейчас до странности пассивным. Он бездействовал, отдавшись всем встречным ветрам, он, как губка, впитывал и впитывал в себя чужие веянья, ничего не высказывая и не выдавая сам. Только напряженное ожидание выдавал он в голосе, в зеленых глазах, направленных на говорившего. В первые дни заварухи на участке, начавшейся с увольнений, это ожидание казалось чем-то почти радостным, почти счастьем, даже скрасившим и омоложившим бледное лицо горбуна. Но со дня на день оживление потухало в нем, и вместо напряженного ожидания во взгляде Агабека проскальзывало все чаще и чаще недоумение.

Он был умен. Он не мог от себя скрыть, что «материал», набираемый им в папке, стал обретать некий двойственный, нежелательный характер. С одной стороны, его дело как будто было правое дело — он боролся с вылазкой чуждого духа на участке, вылазкой буржуазии, как прямо определил в разговоре с ним Косаренко. Классовая борьба, — большевик должен знать свою ясную позицию в ней. Факты были бесспорные, их все перечисляли по пальцам, о них в стенгазете написано, он изложил в большом докладе, который собирался послать в уезд, а если застрянет там без ходу, то и в столицу республики. Но где-то, с какого-то неопределимого, не имевшего четкой границы места начиналось сомнительное.

Поток шедших к нему людей нес с собой, вместе с законным недовольством, которое надо было разобрать, которому он, член партии, поставленный на ответственный пост на стройке, должен был дать по закону ход и нечто другое, нечто, переходившее от одного к



другому, как зараза, как зевота или насморк,— нечто, чему он, как член партии, должен был дать отпор. Как что нечто другое поймать, уточнить, определить в слове? Как найти точность образа, точность определения, то предельное, высшее знание, каким Агабек не обладал? Склока — вот, может быть, слово, но нехорошее, приблизительное слово, не полно, а значит и не точно покрывающее факт. Склока росла на участке, это всякий мог видеть, это горело в больных, горячечных глазах у некоторых рабочих, кстати же сказать — менее всего интронутых увольнением. Даже в себе самом чувствовал Агабек с ужасом этот больной огонек: прислушивался к тому, что говорил рабочим, и вдруг сам слышал, сам подмечал, что в речи его звенят чужие интонации, как врываются иной раз в музыку посторонние звуки — паровозный гудок, кашель, сирена автомобиля. Но тайком от себя самого Агабек гнал это знание, не признавал его, не хотел признавать, потому что, как он некрепко думал, оно мешает ему правильно действовать. Думал так, и не подозревал председатель месткома, что именно в эти напряженные дни, не свойственные для себя, как раз и бездействовал он, сделавшись вдруг пассивным.

Подняв глаза на очередного жалобщика, но думая про себя все об одном и том же, о главном, как отделить нужное от вредного, Агабек и не увидел сразу, кто стоит перед ним.

А посетитель тут же опустился на табуретку, не в пример прочим, кто скромно простаивал в комнате, и пронзительным голосом говорил:

— Табельщик жулик. Агабек ынкер, одерни его. Человек злобствующий, выслуживается на нашем рабочем горбу. Один раз обсчитал меня при расценке, я смолчал. Хорошо, думаю, потерплю, поскольку рабочекрестьянская власть. Жертвую кровью-потом. Второй раз обсчитал при расценке. Нет, думаю, нельзя, не по закону. И что же ты полагаешь,— сегодня объявляет, что гулял я. А где я гулял? Кто видел? Спросите товарищей, все знают. Последний ячмень в деревне доели, сын приходил — плачет, бедный. Айрик, говорит, кушать ничего нет. А этот табельщик, собачья душа! Не



дам себя обсчитывать. Что же на строительстве делается, ынкер Агабек, нажим на рабочего идет...

И лишь при этих словах разглядел вдруг Агабек, кто перед ним сидит и тошным голосом, словно пародируя его заветные мысли, тянет неподходящую речь бывший вор, Григор Сукиясянц!

— Ах ты, кулацкий подголосок, — неожиданно распалившись, пробормотал Агабек, — думаешь, я не знаю, как ты табельщика два раза обманул? Табельщик добросовестный, честный парень, подкованный человек. А ты лодырь отпетый, много ты для советской власти пота и крови пролил! Иди, иди, не о чем нам с тобой разговаривать!

Выпроводив Сукиясянца, Агабек ладонью отер сразу вспотевшее лицо и, отогнув рукав, поглядел на часы. Пора, пожалуй, идти на собрание.

Что-то шевельнулось в нем, похожее на удовольствие. Может быть, чувство внутреннего одобрения, что вот дал все-таки отпор Сукиясянцу, — значит, линия между важным и вредным, хоть и не определимая в одном слове, на практике сразу бросается в глаза. И, значит, не вовсе он, Агабек...

Что «не вовсе», председатель месткома додумывать не стал.

## V

Поезд, в котором приехал Левон Давыдович со специалистом по бетону, опоздал.

Шофер раза три ходил на станцию, и все три раза буфетчик ставил на прилавок сполоснутую рюмочку. Шофер, выпив, говорил буфетчику, что при такой жизни не только ничего от жалованья не останется, но еще и своего доложишь. К приходу поезда он уже не глядел в глаза и не разговаривал, обиды жизни взволновали его, как если б он прочел о самом себе в книге. Надутый и молчаливый, он подождал, чтоб сели, дернул рычаг, как поводья, и сорвал злость на машине, а если шофер срывает злость на машине — это уж последнее дело.

Машина участка, хоть и была не первого качества



и чаще ездила в ремонт, нежели иной зав в командировку, любила хорошее обращение. Раза два на крутых взлетах она съехала назад, причиняя Левону Давыдовичу беспокойство и мешая отдаться разговору, потом пошла быстрее, чем следует, хотя и дорога, и дождь, и камни, налезшие с косогора, не очень-то располагали к скорости. Темнеть стало так быстро, что шоферу пришлось зажечь фары.

На темнеющий день и на эти два глаза, сверкнувшие внезапно на повороте Чигдымского шоссе, глядел снизу старый неряшливый человек без пиджака из окна участковой больницы, стоявшей поодаль от участка.

«Ишь несутся», — неодобрительно подумал врач; он только что проводил из амбулатории последнего больного и разыскивал, сняв фартук, свой собственный пиджак, пропавший куда-то.

Врач на участке был старый общественник, успешный за время службы по промыслам и фабрикам, сидевший до революции в тюрьмах и побывавший в разных далеких местах административной высылки. Он основательно обрусел и давно позабыл армянский язык. В его носу, по-старчески тяжело висевшем на лице, в его пожелтевшей вокруг рта, растрепанной бородачке был инный староинтеллигентский дореволюционный стиль. Такими же были и манера носить подтяжки, и староинтеллигентский формат очков в золотой оправе. Он все-таки не успел найти пиджак. Разговаривая сам с собой в поисках пиджака, врач, неряшливый в личном быту, но педантически аккуратный по службе, занимался одновременно установкой флаконов, щипцов, ножниц, остатков марли и ваты — каждой вещи на свое место — в стеклянном шкафу, да так, без пиджака, с ворохом вещей вдруг и подошел к дверям, когда постучали.

Стук был сильный, хозяйский.

— Амбулатория закрыта, прием закончен! — пискливо прокричал врач, подойдя к двери.

Но стук повторился и усилился: стучал взволнованный Левон Давыдович, весь в грязи и глине. За ним виднелась длинная и тощая фигура очень стройного,



в талию, специалиста по бетону. Он не был выпачкан, но именно он-то и пострадал: левый рукав на локте был дочиста содран и по руке сочилась кровь. Автомобиль вывалил их вниз.

— Э-ге,— протянул доктор,— вы меня извините, я без пиджака. Я это заранее знал. Входите скорей; так, знаете ли, нестись, как вы неслись,— это сумасшествие. Как вы сказали? Товарищ Гогоберидзе, Вахтанг Николаевич? Очень приятно, у меня слабость к грузинам. А ну, пройдите туда к столику,— сейчас займусь вами, вот только фартук надену. Удивительное дело у меня с пиджаком: как исчезает, значит, преждевременно, значит, будем еще фартуки надевать, фартуки-с надевать-с!

Надевая, старичок присматривался к новому человеку на участке. Тот стоял молча.

Специалист по бетону был еще очень молод, но строг по наружности. («Коммунист»,— подумал врач.) Он был в высоких сапогах, его новенький френч затянут на стройной и тонкой, чересчур тонок; талии узеньким ремешком. Смуглое и длинное лицо, сейчас не побритое, видать было, что очень скоро зарастает,— волос опустил его чуть ли не с самых подглазниц до шеи. («Туберкулезный»,— опять решил врач, профессионально оглядывая длинное тело и узкий провал груди, узкие, почти детские плечи.)

— Сядьте, Вахтанг Николаевич, я сейчас.— Он мыл руки, теребя ногти сломанной, плохонькой, почти безволосой щеткой. Не без расчета он тер долго.

Начальник участка, редкий, можно сказать небывалый, гость в больнице, ходил сейчас вдоль по комнате, разглядывая амбулаторию.

«Ходи, ходи, братец. Разглядывай наши прорехи. Просишь, просишь — от тебя шиш с маслом»,— редко кого ненавидел так старый врач, как именно злополучного Левона Давыдовича.

— Скупенек у нас Левон Давыдович,— подмигивая грузину, сказал он, вытирая руки.— А ну, покажите, с чем вас поздравить. Царапина, больше ничего. Зашить надо. С полчаса времени займет, если позволите.



— Полчаса я не могу ждать,— вмешался Левон Давыдович, пропустивший мимо ушей «скупого»,— вы меня простите, товарищ Гогоберидзе...

— Вы в конторе будете? Я туда приду; вот, может быть, доктор даст кого-нибудь проводить.

— Я сам за вами пришлю, фаэтон пришлю.— С этими словами Левон Давыдович вышел.

Промывка раны — дело грязное, но старичок именно это дело любил и молча делал, сощурив старые, мохнатые глаза. Пальцы его после мытья были холодны и нетверды по-старчески, вату он экономил и поворачивал кусочек в руке чистым местом, покуда весь его не использует. Однако же зашивка вознаградила сторицей. Узнав, что приезжий — коммунист, врач необыкновенно оживился. С коммунистами он считал долгом побеседовать, излагая до тонкости свою собственную принципиальную точку зрения,— а сейчас на участке был острый момент, сейчас на участке такое, с позволения сказать, творится,— все старое, похороненное, казалось бы, безвозвратно на дне души, вдруг, словно свежей водой полнотой, влилось в старике и даже побеги дало.

— Я старый народник, товарищ Гогоберидзе, в тысяча восемьсот девяносто седьмом году я... минутку, вот ту баночку с йодом, рядом, да, да, спасибо, дружок. Вы человек молодой, так вот что я вам скажу, я не марксист, чувствуете? Не марксист, нет-с. Я и в анкетах прямо пишу: принципиальный вопрос, социалист, но не марксист. Вытяните руку, еще вытяните. Так, а теперь штопать вам руку будем, пластическая так называемая операция. Я и за хирурга, я и за зубного, я и за акушерку на участке... Нет, для народника, для человека моей культуры — Маркс узок, товарищ Гогоберидзе, узок Маркс. Это я прямо говорю каждому большевику в лицо. Не та для нашего поля действия фигура нужна, темперамент не тот. Как вы себя теперь чувствуете? Хорошо? Минуточку, одну минуточку,—с таким, как вы, свежим человеком поговорить для меня — отдушина.

Старичок, сорвав с пальцев налипшие куски ваты и марли и похлопав для чего-то ладонями в воздухе, сунулся в другую комнату.

Там он жил. На неудобной и неудобной постели,



на столе, под столом, на табуретке у старика валялись книги — желтоватые, залитые чаем и жиром, закапанные стеарином, с воткнутыми, для памяти, огрызками спичек, веточками, карандашами, — он подхватил желто-красный потрепанный томик и, выбежав к специалисту по бетону, нашлепал книжку, как шлепает акушерка новорожденного.

— Вот-с. Читали? Вам, в вашем возрасте, эта полемика ничего не говорит, а мы ее нутром знаем, чувствуете? Капитализм для народника, для человека старой культуры, для общинников, для старой русской общности — чем, я вас спрашиваю, был капитализм? А первые-то наши марксисты, Ленин, для них, я вас спрашиваю, чем был капитализм на Руси? Вы не помните, а я помню, наш брат, подпольщик, помнит. Мы с первыми марксистами во как дрались. Больше я вам скажу. Бей буржуя — это наш лозунг.

Он налестывал книгу все еще грязными от крови и марли пальцами. Он не видел вежливой скуки, даже досады грузина, искавшего глазами часы, — в амбулатории часов не висело. Свои часики грузин разбил вдребезги, когда вылетел из автомобиля. Он не слушал, что ему болтает старик, а врач все налестывал книгу, останавливаясь, чтоб прочесть две-три фразы и снабдить комментарием, — старинные споры, удел мемуаров, учебников политграмоты, давно ставшие историей, вдруг ожили в этой голой, со стеклами вдоль стен, комнате, где стоял собачий холод, холодней, чем снаружи. Фаэтон не показывался.

— Не наша, не нашего человека фигура Маркс, — вдруг громко, над самым ухом грузина прозвучал голос старичка, — врач держал его за плечо. — Хотите знать мое личное мнение? Вейтлинг — вот это фигура для нас, Вейтлинг — да. Борец, рабочий, бродяга, вольный тип, ветер, человек без предрассудков, без этой сидячей, без этого, как бы сказать, цирлих-манирлиха, рассудочности, скрупулезности, фармацевтики, — тоже ведь немец, а свой человек. Я Вейтлинга чувствую, а Маркса не чувствую. Ну, вот хотите не хотите — не чувствую.

— Скажите, у вас есть часы?

— Часы?!



Врач положил книгу на подоконник и стал снимать фартук. Часы у него были в пиджаке, а пиджак, черт его знает, куда запропастился. Впрочем, он вспомнил вдруг и почти с облегчением сказал пациенту:

— Часы у меня с четверга стоят.

Он и сам не заметил, как словно надпись сделал под собственным портретом, — надпись для дружеской пародии.

«Какие, однако же, тут ихтиозавры водятся», — удивленно подумал про себя специалист по бетону.

В том, что до сих пор не было лошади и приежжего позабыли в берлоге у старого говоруна, Левон Давыдович, по чести, не был виноват.

Он почти бегом дошел до дизельной, с которой и начинались первые бараки, и отсюда еще по телефону приказал лошадей, но кучер ушел неизвестно куда, а помощник кучера, прежде чем самому запрягать, сделает все от него зависящее, чтоб дожидаться кучера и увильнуть от работы. Он ходит с кнутом от конюшни до грязного барака, где живет вместе с кучером, и все поглядывает, не покажется ли тот.

Сам же начальник участка, дойдя до конторы, немедленно и с головой влип в работу, даже забрызганное пальто не снял.

Повернув голову над бумагами, пододвинутыми Александром Александровичем, через стекло своей будки он встретил взгляд Захара Петровича — «кстати, Захар Петрович!»

— Здесь, — весело, с задумчивостью ответил начканц.

— Вот что, Захар Петрович... — начальник участка подил глазами по канцелярии и не видел рыжего. Все-таки он понизил голос: — Помните, я предупреждал — не мое дело? Так вот, этот архивариус ваш, каков бы он ни был работник, — нужно его убрать, немедленно убрать с участка, за ним из угрозыска следят, и хороши вы будете, если явятся сюда арестовывать. Он, может, вор какой-нибудь беглый, я, право, не разобрал, в чем дело, но он определенно под наблюдением.

— А-ах! — вырвалось у начканца.

— Это я не от себя. Приказ. Приказ от начальника строительства, — поняли?



— А-ах! — еще отчаянней простонал начканц.

Ах, черт его побери, как он влопался! За всю свою долгую службу ни разу, ни разу не влопывался так несчастный начканц. Недаром сосало у него под ложечкой. «Кто, — ну скажите, ей-богу, кто поверит, что взял человека по одной внешности, так, здорово живешь, с пьяного ужина, имени толком не дослыша?.. Кто тебе поверит, дурак ты!»

— А-ах, Левон Давыдович, убили вы меня своими словами. Я ж его сократил, да разве мы на участке хозяева? Местком его опять взял. Вместо десятника, у Гришина, — и ведь ушел сейчас с изыскателями, наверх ушел, двое суток прошляется, — где я его искать буду?

Нет, даже начальник участка в эту минуту не понимал отчаяния Захара Петровича. Страх, больше того — ужас овладел человеком. Приложив руку ко лбу, молча озираясь вокруг, начканц не сел, а прямо плюхнулся перед Левоном Давыдовичем на стул: вот оно — оправдилось, вот тебе и не верь в предчувствия.

— Имейте в виду, — голос Левона Давыдовича стал сух и визглив, — в этом деле ответственность несете целиком вы. Я не знаю этого человека. Я его не брал. У меня достаточно своих неприятностей. В управлении..

Уж, конечно, в управлении он все взвалил на него, на начканца, можете не сомневаться! Но не таков был Захар Петрович, чтоб не забрать себя тут же в руки: еще сидя, рука на лбу, в хаосе мыслей, он начинал прощупывать ниточку, едва видимую ариаднину нить, — спасение для себя.

Не отвечая, он встал и пошел из будки.

## *Глава двенадцатая*

### **ПАВОДОК**

#### **I**

Погода, я вам доложу!

Мимо начканца быстро прошагал, завернувшись в плащ, сумрачный гидрометр Ареульский; он спешил вниз к реке, откуда рабочие посылали тревожные сооб-



щения. Мизинка, с утра вздувшаяся, безостановочно поднималась.

Застряв в реке, крестьянская арба показывала подъем воды. Мужик накручивал волю хвост, но, расставя ноги, вол не двигался, а вода все прибывала вокруг него и вокруг застрявшей арбы — так тебе и переехал реку!

Впрочем, на все эти мелкие подробности и даже на странное появление Аветиса в кожанке (вернулся парень), о чем-то пересмеивавшегося с плотником Шибко, и на уход из конторы начальника участка, тоже вниз, к реке, — на все это, занятый своими мыслями, как-то недосужливо отмахивался Захар Петрович, — в характере его была черта всех сильных личностей: бессознательно верить, что события подождут, покуда им, личностям, недалечко сбегать по своей надобности.

Своя надобность — ариаднина нить — вела его домой, но не прямо домой, а, чтоб найти время оформить мысли, вокруг всего участка, по косогорам и людным местам, — на людях Захару Петровичу думалось легче, чем в одиночестве. Потребностью быть на людях он как бы заботился о некоем внутреннем алиби. На людях Захар Петрович, как еж на иглах, чувствовал себя сокровенней и безопасней. Он имел свойство делать множество посторонних и успокаивающих зрителя движений — высмаркивался, за воротником тер носовым платком и долго потом глядел на платок, скоблил чем попало переносицу, а чаще рылся в карманах, щуря глаза на извлекаемые оттуда бумажки и бумажонки, будто бы никак не находя нужную — это последнее он проделывал виртуозно. Мимо подобной занятости текли люди, воспринимая Захара Петровича как в своем роде пустое место; читатель и по себе знает, стоя где-нибудь в очереди или в трамвайной коробке, сколь успокаивает его при разговоре подобная занятость соседа.

Суетливо-отсутствующим придатком к этому дню, полному всеобщего беспокойства, прошел Захар Петрович по людным местам и застрял в столовке, где ел долго и канительно, присматриваясь к каждому куску на вилке и чуть ли не поднимая его на свет.



План, мелькнувший в уме его, зависел до некоторой степени от исхода бюро,— но вот узнай-ка об исходе бюро! Впрочем, по разным причинам бюро как будто и вовсе не состоялось. Заведующий кооперативом, воздев лунное лицо над борщом, был тут; начмилиции Авака спешно вызвали с тремя милиционерами к реке; Агабек все еще сидел в месткоме — видать, и нескоро соберутся.

Обтершись по-простонародному горсточкой и с ладони заброся в рот оставшиеся крошинки хлеба, Захар Петрович встал, наконец,— будь это в царские времена, где-нибудь на службе среди крестьянства, он поискал бы образ в углу, чтоб накрестить усы, потому что начканц Захар Петрович любил пластику и обычай, но сейчас он только отрыгнул, больше для красоты, чем из потребности, и вышел.

Его сразу обдал ветер с дождем. Было почти темно, темнело с каждой минутой, перемена произошла во всем. Люди мотались под дождем взад-вперед, не жалея сапог; жены их высыпали с ребятенками, глядя из-под ладони; подняв длинную юбку, сухая, прямая как палка, пугая архаизмом своей одежды гусей на улице, прошла по дороге жена Левона Давыдовича. И наверху, будя ночь архаизмом своего появления, словно откликнулся кучер Пайлак: он гнал, раскинув руки с вожжами, крысоногих лошадок, улюлюкая сквозь вой и свист ветра многозначительно, важно, охваченный близостью надвигающейся катастрофы, и его старомодная, с высоченной приступочкой, лихо отзванивавшая повозка подскакивала, как пустая жестянка из-под молока, на каждом придорожном камне.

Все словно кинулось навстречу чему-то выросшему впереди, как растет морской вал в бурю. Странная парниковая теплота была в воздухе после утреннего мороза,— стало ясно, что, кроме ливневых вод, в эту ночь хлынет сюда тающий по горам снег тепло охватило снег, как ломота схватывает тело.

Внизу при вспыхнувшем электричестве горсточка людей суежилась на месте работ. Спешно снимались буровые, где еще осталось оборудование; люди таскали презент, свернутые кольца шнуров, деревянные шесты,



доски. Вол так и не вывез арбу из реки: он шел, распряженный мужиком, по половодью, задрав свой накрученный хвост, и безостановочно облегчал желудок, но не было свидетелей воловьею нервозности. Мокрый лорнец глядел с берега на перевернутое брюхо арбы, плывшей, задрав колеса, к мосту — не выловить, не спасти арбу.

В быстроте надвигающейся катастрофы было нечто ритмическое, подобное танцу, и тем удивительней, что первые такты, можно сказать, мимо прошли Захара Петровича: сдвинув картуз на затылок, он попросту направился домой.

Клавочка лежала с ногами на одеяле, подушка на животе. Клавочка была расстроена: соль просыпала, да еще в пятницу. Придя из лавки и чувствуя боль в пояснице, она, раздражившись, метнула покупки на стол — весь день был такой неудачный, обидный для нее, — и тут-то и просыпала соль. Этого еще не хватало — с мужем поссориться! Правда, она тотчас же перебросила через плечо, как полагается, три щепотки, и верный заговор пронесла, известный от покойной матери, тоже трижды: «сухо дерево — нынче пятница», но кто его знает, действуют ли еще заговоры при большевиках. Все на свете они перевернули. Праздники люди забывать стали — беда с числами. Великий пост — а поди-ка найди тут сухих грибов щи заправить или квашеной капусты. Квашеную капусту великим постом Клавочка любила страстно. Ей казалось — и поясница у нее болит от буйволиного молока, пахнувшего дымом, и от надоевшей до одури баранины. Решив, что нынешний день — все равно пропащий день, Клавочка разлеглась на кровати.

Но удовольствие от лежания и от приготовленного на этот случай грязного томика Оливии Уэдсли с мешочком изюму было омрачено просыпанной солью. При виде мужа она скользнула ногами на пол, подушка у живота:

— Заря, я соль просыпала.

— Подумаешь, золото.

— Да ты слушай в пят-ни-цу! У тебя есть неприятность?



— Лопаешь изюм непромытый, а в деревнях брюшной тиф.

Он явно избегал разговора, а это была неприятность номер первый. Захар Петрович брезговал ревновать. Мелкие подробности семейной жизни он смахивал со счетов, как полушки при сведении баланса, но нынче во всем: в запахе жилья, в мягких складках Клавочки,— ее расслабленных локоточках, уткнутой в подушку, и бледноте распушенных по-бабьи щек,— чудился ему недопустимый дух, чужое присутствие, прямо сказать — присутствие рыжего, о котором, быть может, мечтает собственная жена его,— а, чтоб!..

— Я тебя предупреждала...

— Лучше молчи — предупреждала! Весь день шлюхой вокруг него ходишь; предупреждала! Сама же и в городе его выискала неизвестно как,— фактически ведь это ты мне его, матушка, нашла, а сейчас «преду-пре-жда-ла»!

Клавочка подняла рукав к носу и заплакала. Она всхлипывала с удовольствием, потому что пятница — доказательство; но, перескакивая с мысли на мысль и сквозь всхлипывания угадывая несвязную мужнину речь, деловито додумывала в эту минуту: хорошо ли?

Самому куда следует загодя написать — это дело. Это и была «ариадна мысль» начканца...

Тотчас же угадав ее, Клавочка сама, сквозь всхлип, прибавила в семейную «каассу» и от себя малую толику: «Сейчас на Агабека везде косо смотрят!» Не муж в конце концов, а сам предместком Агабек без биржи принял рыжего, да еще уволить мешает. Главное — ты его уволил, а он наперекор опять принял... Увлечшись, она вскочила с кровати и уронила подушку на пол.

— Пиши так, Заря, пиши, что ты узнал, что про него в городе московский человек, интеллигентный член профсоюза, можешь при случае фамилию назвать,— я тебе тогда сообщу, открыто говорил, будто он занимался агитацией...

— Агитацией? — Захар Петрович усталился на жену. Он даже кулак сжал от неожиданности. Дурак дураком предстал он сам себе в эту минуту.— Значит,



ты (крепкое словцо сорвалось у него) все время знала и собственного мужа под суд подводила?

Ничего она не знает и не подводила; горькое действие рассыпанной соли в пятницу, неумолимая примета, подвергшая Клавочку роковой участи, почти пьянила ее сейчас своей неизбежностью. Ее даже тошнить стало; рыская в шкафу, где лимон, по засаленным за неделю тарелкам, в суете посыпавшихся немытых ложек, попадая пальцами то в муку с мышиным пометом, то в варенье, в открытую помаду для лица, — только бы опять соль не просыпать, — стояла Клавочка около шкафа, глядя в зеркало на пишущего начканца.

Но взамен курчавой с проседью, обезьяньей головы мужа ей вдруг померещился Арно Арэвьян, как он тут и комнате сидел и как упруго и нежно щека его охолодила тогда руку Клавочки. Звериная нега к чему-то убитому в ней волной прошла по животу, — ребенок, дитя, нерожденные младенчики, — она остро почувствовала, какие мякотьные, мякотьные, ну совсем как у соеунца, волоски у рыжего на затылке. Разнежившись, сладко представила себе Клавочка: посадят рыжего за решетку.

— Зарик, ты, дуся, брось, пожалуйста, волноваться. Я тебе, помнишь, говорила — вместе ехали, Мишей звать, молодой такой, в шерстяном свитере? Ты мне дай заявление, я этому Мише собственноручно отвезу, и никто знать не будет.

— Молчи, дай писать!

Он писал и успокаивался. Он писал благородно. С исторической точки зрения, в порядке событий, Захар Петрович был прав на все сто — участок свидетель.

«...между прочим, вышеупомянутый шаг к сокращению и увольнению Арно Арэвьяна встретил сопротивление со стороны нашего месткома, товарища Агабека, и в силу этого, вопреки моей воле, произошло оставление Арно Арэвьяна на участке, несмотря на неоднократное указание на недопустимость такового, имея в виду прецедент с архивными бумагами, хотя я пустил в ход все имеющиеся законные меры ограждения строительства от безусловно неблагонадежной личности, по слухам занимавшегося ранее недозволенной агитацией...»



Тук-тук-тук...

— Вы дома? Выдьте, пожалуйста, на минуточку, Захар Петрович! Вода идет. Весь участок внизу, даже мамаша у меня тронулась! — так я хочу знать: вы ничего против не имеете, если не успею к шести в контору?

Володя-меринос был приятно возбужден волнением на участке.

— Вода, говоришь?

Начканц сделал «гм» и шагнул к вешалке, где висел плащ с капюшоном. Он только сейчас сообразил — где же это у него голова?

— Обожди малость, я сам пойду!

## II

Вода на участке была событием первой величины. По секрету передавали, что наверху, в Чигдыме, где пользовались двумя оросительными каналами, не в срок спустили воды и даже умысел был, но только Мизинка снесла первую перемышку для отводного туннеля и повредила у самой станции дамбу...

Паводок прошлого года, случившийся поздно, к концу апреля, был, как крестьяне говорили, «какого не запомнят старожилы». Именно этот прошлогодний паводок и успокоил насчет моста — в управлении сошлись на том, что вторично такой воды, повторяющейся каждые сто лет, не чаще, ждать в скором будущем не приходится, и что мост с расчетом на двести пятьдесят кубометров свой срок простоят.

А весна между тем пошла с норомом — и вот уже третий раз били тревогу, — третий раз сломя голову любители острых зрелищ мчались к реке, вздувавшейся выше нормы. Но настоящего, полного паводка, какой проходит, можно сказать, единожды, как болезнь с иммунитетом, корь или оспа, и ошибиться насчет которого нельзя, еще не проходило.

Дождь и снег в последние дни, смена тепла на холод, едкие ночные росы смущали крестьян, — не один Месроп суеверно косился на Мокрые горы, покуривая козью ножку и сплевывая между цынготных зубов тоненькой струйкой.



Но с некоторых пор на участке принято было помалкивать. Шибко с артелью, задержанный на мелких плотничьих работах,— и тот насчет моста прохаживаться прекратил и даже, к тайному ужасу Александра Александровича, самолично украшал мост к приемке комиссией из управления и на самой приемке всей артелью пьянствовал и веселился. Однако Александр Александрович, поздно вечером проходя мимо месткома, видел иконописную голову Шибко, что-то шепчущие алые губы Шибко, расчесанный пробор, ровный, как на нестеровских отроках; наклоняясь к бледному профилю Агабека, плотник обстоятельно ему что-то вшепывал, а карандаш Агабека двигался по бумаге. Но это было вчера, а сегодня при первой воде вся артель собралась внизу.

В молчании, с каким она расступилась перед начальником участка, было что-то намеренное. Начальник участка шел не один. Наверху догнал его, наконец, специалист по бетону, товарищ Гогоберидзе, и, чтоб времени не терять, как был с повязкой,— пошел рядом, умеряя своей близостью нервозность Левона Давыдовича.

Разглядеть мост еще нельзя было. Шоссе под дождем раскисло. Начальник участка водил рукой, показывая Гогоберидзе то одно, то другое. Но он это делал рассеянно; его щукастый профиль, когда падал свет, был мертвенно бледен: не то чтобы он боялся за мост — ни разу, с первого дня постройки, он не испытывал сомнения в работе,— но в воздухе было нечто, причинявшее дурноту,— к перемене погоды, должно быть.

— У нас так: вода пройдет, и сразу установится погода. Хорошо, что строительный сезон...

Он только что собрался сказать: не потеряем строительный сезон (потому что новый проект, еще не дошедший во всех деталях до участка, но уже в общих чертах ясный, был утвержден по всем инстанциям),— как в ослепительном свете качающихся фонарей, из-за поворота шоссе окруженный жужжанием голосов, похожих на пачку мух над съестным, им навстречу наплыл большой, видимый отсюда на все три четверти профиль моста.



Начмилиции Авак стоял у самого въезда на мостовой настил, раскинув руки. Его круглое лицо, красное от переругивания с толпой, было напряжено; мнительному человеку оно показалось бы даже не ко времени пьяным или накрепко, словно чиханье, удерживающим усмешку. Милицционеры возились пониже, у дамб. На мост публику не пускали. Авак ругался: отчаливай! Кто-то в майке, синий и веселый от стужи, выкрикивал для интересующихся: «Опять камень подмыло!»

— Правая дамба ничего, а левую подмывает, — сказал, подойдя к Левону Давыдовичу, десятник.

Но Левон Давыдович не услышал.

Представьте себе идущего вам навстречу человека, представьте эдакого толстяка в реглане, с тросточкой, в новых полуботинках и заграничном котелке, — с тем дружелюбнейшим международным подмигиваньем, с каким пьяница видит пьяницу во всяком живом существе, — ноги толстяка заплетаются, трость в его сжатых пальцах, обтянутых замшей, игриво вычерчивает, как на дуэли рапира, неожиданнейшие зигзаги в воздухе, лишая его вдруг точек опоры... И вот именно таким толстяком, величественно смешной, самоуверенный, как пьяница, наплыл всей своей тяжестью призрак моста на остановившегося начальника участка.

Это было его детище, знакомое наизусть. Ничто не переменилось. Два покосившихся глупых шеста на перилах напоминали недавнюю приемку — лоскутья красных флагов, поломанные лампочки от иллюминации жалко торчали на шестах. Но призрак жил сейчас. Зыбкими, заплетающимися, почти куролесящими казались его четыре ряжа, стоявшие сейчас не на мокрой гальке, как их привык видеть Левон Давыдович, а в бешено бьющей, натекающей, стремительной массе воды. Тросточкой в руках гуляки ломались в зыбком свете вечера, в каскадах дождя, преломлявшего свет, очертания ферм, множившихся перед глазами, — построенный мост был в действии. Но если б он мог заговорить, мост, казалось, лихо запустил бы, спотыкаясь на четырех ряжах, классические слова всех времен и народов:

«Ты п...п...пьян, братец».

Отшатнувшись, Левон Давыдович перестал глядеть.



Это длилось, впрочем, одно мгновение. Впоследствии, вспоминая минуту, Левон Давыдович никак не мог объяснить, что в сущности с ним было.

Грузин, спокойно стоявший рядом, внимательными глазами смотрел туда же и видел большой деревянный, громоздко построенный через реку мост — только и всего. Он не любил и не знал дерева, и ему в голову не пришло критиковать, но специалист по бетону сказался во взгляде, каким он первым делом обшарил дамбу. Тут-то и показала себя работа Михаила Самсонова. Левая дамба, обложенная для красоты тяжелыми, добытыми повыше из карьера камнями, казалась сейчас толстой сигарой, уткнутой в пепельницу концом внутрь. Не придушенный на конце огонек тлел и отмывался от сигары — именно так, оправдывая сравнение, легкими круговыми колечками отмывались, как дым, снизу от дамбы медленные, тяжелые каменные плиты.

— Вы крепили дамбу на цементе? — спросил грузин.

Левон Давыдович пришел в себя:

— Нет. Да это ничего, выдержит. Большого паводка не может быть. Какой там цемент... Алексан Саных, камни подвозят? Дайте распоряжение, чтоб засыпали справа, часть людей пусть пройдет через мост... Что? Я сейчас! Туда, туда пусть набрасывают... Ах, да передай, черт дери, ему кто-нибудь в ухо! Извините, Вахтанг Николаевич, вы спрашивали про цемент. Мы строили максимально дешево, на сопротивляемость в двести пятьдесят кубометров...

Часть рабочих, прорвав руки Авака, побежала через мост на ту сторону, паясничая и приплясывая, как бы пробуя ногами упругое сопротивление досок под собой. За ними медленно, подняв воротник, пошел начальник участка, извинившись перед спутником.

Грузин, новый человек на участке, остался стоять, глядя на мост, казавшийся ему, честно говоря, некрасивым. Но если б спросить его, чем некрасив был мост, он вряд ли бы нашелся ответить, потому что инженер Вахтанг Гогоберидзе не был строителем, а был человеком материала, и технология, а не форма — вот что открывалось ему в предмете.



Сколоченные из бревен ряжи, тонкорукые взлеты ферм, весь этот визг остроугольных, линейных, обнаженных в своем скелете форм ничуть не прельщал его со стороны конструктивной. Никакого смысла он не видел в нем, потому что не чувствовал в мосту передачи силы, косого движения, единственного в мире по гениальной всеобъемлемости закона рычага,— того, что прежде всего увидел бы и почувствовал механик. А видел он только намокшее, угловатое непрочное вещество.

Ему вспомнились ясные линии построек из бетона и очарование легких дугообразных мостов, где железобетон был почти живым телом, где скелет движения спрятан, как у человека скелет, и где просто стоит себе над рекой, очаровывая вас, полукруглый пролет белоснежного моста, словно радуга в небе,— опоясывая берег с одного конца на другой,— вот это мосты, да!

Впрочем, смешно было бы и сравнивать настоящие, серьезные, большие мосты, стоившие миллионы, с этой деревянной нескладиной над маленькой речкой, сделанной... тут он осмотрелся и деловито сообразил, для чего собственно нужен был этот временный мост:

Для перевозок машин и материала на тот берег, где, повидимому, пойдет главная работа: котлован, вход в напорный туннель...

«Да ведь и моя лаборатория должна быть с той стороны!» — подумал, уже остро захваченный судьбой моста, инженер Гогоберидзе.

### III

Та сторона участка, отделенная Мизинкой, была только последние три дня связана с барачным городком постоянной и безопасной связью, а до открытия движения по мосту крестьянские арбы с материалом и машинами переезжали реку вброд независимо от погоды; рабочие иной раз тоже шли вброд повыше, где река текла не шибко, или пользовались зыбким висячим мостом гидрометра.

Сложность перехода наложила на ту сторону, где стояли два-три барака и два больших складских здания, особенный отпечаток, какой есть в больших городах



на фабричных окраинах. Главные работы предполагались именно здесь и для них строили склады и готовили кузню, механическую мастерскую, расчищали место под жилье. Именно тут, недалеко, были каменные карьеры, откуда предполагалось возить камень для будущей плотины, еще когда не забраковали первого проекта. Тут же, в одиночестве, отгороженный высокими стенами из сырца, спрятанный в ложбинке и всегда охраняемый угрюмым, волосами обросшим, милиционером, стоял, как своего рода склянка с черепом в отдаленном шкафу у аптекаря, мрачный и одинокий пороховой склад. Сюда прийти — значило сразу нюхнуть работу как она есть и как она предполагается на ближайшее будущее. И здесь рабочие чувствовали себя больше хозяевами, нежели на той стороне.

Инженер Гогоберидзе опять нагнал начальника участка и перешел с ним через мост — он хотел посмотреть место, где будет полевая лаборатория по бетону, хотя времени для этого никак не подвело.

У деовой дамбы, на порядочный кусок обмытой, ковырялись списавшие на веревках рабочие. Группа с тачками ползла под дождем вверх, чтоб взять из карьера камень. На другой стороне любители надсаживались от критики.

Володя-меринос под большим ветхим черным зонтом держал под руку собственную мамашу, глядевшую неожиданно умными, старческими, толковыми глазами на картину перед ней. Старуха выходила изредка и не попусту; узловатым, нетвердым пальцем она указывала вперед и головой трясла — ей мост не нравился; по-армянски, жестким выговором, она сыпала замечаниями, как из сита: чэ, чэ, чэ (нет, нет, нет), не нравится и не устоит мост.

«Удивляюсь, какой он некрасивый под дождем», — сказала жена Маркаряна.

— А вот только вашей бабьей критики не достало! — Рассерженный Захар Петрович прошел мимо них к Аваку, но и в круглом лице Авака и в его уклончивом взгляде было нечто.

Мост вышел на экзамен. Мост вышел на экзамен не один. Начканц знал, что экзаменуется с ним вся



система управления на участке, весь подготовительный период работы, шесть месяцев, можно сказать, не одного Левона Давыдовича, а главным образом его, начканца, политической системы, в которую он непогрешимо верил.

Захар Петрович повернулся к экзаминаторам, прищурив свое мохнатое и уверенное око: экзаминаторы, черт побери, старались! Яростный теплый ветер дул с Мокрых гор, похожий на веселье собачьего лая, когда мчится собака за автомобилем. Черные низкие клубы туч висели сверху, источая редкий тяжелый дождь. Мизинка проносилась внизу без кудерька пены, и даже шума от нее как будто меньше стало — Мизинка была страшна. Ее гладкое черное, одутловатое, словно отъевшееся водой тело мягко прокатывалось внизу — как на резиновых шинах по асфальту катит лихач.

«Н-да!» — сказал начканц. И опять он услышал рядом бабий визг, и кто-то, хихикая, воскликнул:

— Ужотко он был красивше!

Так на участке говорили только Марьянка-уборщица или артельная прачка. Но восклицание относилось к мосту. Восклицание выразило общее мнение.

Раньше, кто ни посмотрит при дневном свете на этот чистенький, мнимо монументальный мост, строившийся над мелкой и как будто смирной рекой, тот обязательно скажет: «Какой красивый». И теперешнее восклицание «красивше», отнесенное к прошлому, показывало, что вся эта публика видит ночью, в эффектной ночной обстановке, при свете тысячесвечовых, брошенных сюда волн электричества, в вое ветра и брызгах дождя, словом в романтическую минуту экзамена — то же самое, что видел специалист по бетону, — категорию эстетическую, а говоря попросту — уродливую, некрасивую, неблагообразную сторону моста, словно за эти несколько часов сооружение могло измениться или перестроиться.

— Дура-то, прости господи, — громко сказал Захар Петрович, — красивше-некрасивше, тебя бы инженером поставить! Для красоты мосты строятся? Чем зря балясы точить, шла бы по своему делу. Вот я возьму да за панику штрафовать буду, потому — имей понятие, о



чем говоришь. При такой воде и выдерживает, вот что надо сказать про мост. Держись, надо мосту сказать. Отстаивать надо свое сооружение, поняла?

Но кто-то прошел в темноте мимо начканца, задев его рукавом, и в ответ сказал одно слово: «дерьмо». Слово тоже относилось к мосту.

Быстро оборотившись, чтобы разглядеть бузотера, Захар Петрович оступился в лужу, а когда поднялся — первое, что он увидел перед собой, был мост.

Меньше всего понимал начканц в красоте или делал вид, что понимает. Но природный вкус, тайное чувство, неизвестно как жительствоющее в человеке, даже в самом прозаическом, ударило ему в голову, и начканц не удержался. «Ах ты, мать твою», — выругался он с бешенством не то по адресу выпачкавшей его лужи, не то вдогонку бузотеру, а вернее всего — в направлении моста, виновника неприятности, — мост и в самом деле был... не того.

Чем и как объяснить некрасоту моста, Захар Петрович не знал, и если технолог Гогоберидзе воспринял ее как плохое качество материала, ставшего несовременным, то начканц и с ним досужая публика участка — конторщики, дамы их, семьи рабочих, мелкий подсобный элемент — все они воспринимали по сей день и восприняли сейчас мост просто как составную часть пейзажа.

И в самом деле, в хороший день, на пустом галечном ложе, над тонкими струями веером бившей шумливой речки, под облаками, слегка, вроде как яичный белок, взбитыми на синеве неба, между стенами ущелья цвета старинной охры, — мост стоял ничего себе и даже казался в уходящем покое своих четырех ряжей красивым. Но куда же и почему запропала красивость?

Подойдя ближе, начканц увидел своего бузотера — это был молоденький паренек, скромняк и тихоня, не имевший с начала работ ни одного замечания. Он стоял в группе рабочих, неотступно глядевших не туда, где левая дамба и куда другие глядели, — там весь скат был почти обнажен от камней, и люди сверху бились, чтоб остановить размыв, — а они глядели поближе, на крайний слева ряж. По виду ряж был как остальные.



Рабочие между собой переговаривались насчет практических вещей: как крепили ряжи, сколько и какого сыпано в них камня, всухомятку сыпано или на растворе; но каждый знал, что цемента на постройку не пошло и фунта. Все они были согласны между собой насчет моста; но если технолог брал его глазом как материал и женщины тоже взяли глазом как часть пейзажа, то эти рабочие-землекопы, так же как стоявшие подале плотники и работавшие на дамбе щебнебойцы и камнеломы, — все они брали мост не на глаз и даже не видели его целиком, а судили по седьмому чувству людей, делающих вещи: «Рази это в наших местах мост?»

Если б кто пожелал вытянуть из них замечания по-существенней, то добился бы разве что одного. Каждый по порядку навел бы критику, касающуюся детали, ему понятной: место под мост неладно, под самым напором, берега тут некрепкие, дамбы для красоты заделаны, а толку мало, ряжи частые, большой воде пройти тесно, крепежу недостаточно, главное же дело — не соответствовал мост «нашим местам»: капризному нраву горных речек, который — нрав этот — был досконально изучен рабочими: «На живую нитку делали».

— А когда наш брат, рабочий, на живую нитку делает, не жди, брат, толку. Ежели ты всю правду хочешь, вон гляди толк-от каков: и стоит мост, да не работает.

Услыша громкую и спокойную фразу рабочего, суммирующую воедино все, что сегодня вокруг моста говорилось, Захар Петрович почувствовал легкое и неожиданное беспокойство впервые за весь день. Не то чтоб усомнился в мосте — мост был незыблем, как его система, и не то чтоб серое мужичье на миг выложило ему свой резон, — «тьфу на их замечанья», мысленно сделал Захар Петрович: будто уж мог бы рабочий больше инженера знать и глубже его судить!

— Да чего ты понимаешь, колесо немазаное, — проговорил он с великим и убежденным презрением, не очень, правда, громко, когда прошел мимо.

И тем не менее беспокойство он ощутил настолько, что решился пройти на ту сторону, к начальнику участ-



ка, — не случилось бы чего, мелкой какой прорухи! Всеобщее настроение показалось ему опасно: спички недостает. Хоть и облегчили участок от беспокойного элемента, а рабочий — вот он каков: и тихоня заговорил хуже бузотера.

Полный горечи и презренья, он отстранил рукой Авака и, не слыша, что ему кричат, быстро прошел тем же путем, какой за полчаса до него проделал Левон Давыдович.

Начальник участка, охрипший от крика, был внизу, под мостом, где крепили дамбу, но когда Захар Петрович, человек комнатный, с большим трудом до него добрался и хотел заговорить, держась ради предосторожности за спину рабочего, он увидел, что Левон Давыдович странно как-то стоит, деревянно и без всякого оживления, а ближе подойдя — рассмотрел его лицо.

Отсутствующим, недвижным взглядом начальник участка глядел прямо в воду, туда, куда смотрели и рабочие с другого берега, на ближайший к ним ряж, смотрел удивительно, — начканцу припомнилась мать его над больным братом, — так только мать и глядит, зная, что умрет ребенок.

Но ведь ничего как будто, стоит ряж... Невольно, покоряясь неподвижности этого взгляда, Захар Петрович с гнетущим чувством стал тоже глядеть и заметил, наконец, кое-что, самую малость. Водой давно сдвинуло и захлестнуло камни, горстью насыпанные вокруг ряжей, вода поднялась теперь выше. И вода медленно расшатывала ряж, словно слабеющий зуб во рту, незаметным плавным, сильным движением, взад-вперед, как душит жертву страшная судорога смерти.

Только в эту минуту правда дошла до сознания Захара Петровича. Ничего не сказав и не спросивши, как кошка, быстро, где по спинам, а где хватаясь рукой за чужой пояс, вскарабкался он к мосту и услышал остереженья: уже ни с той стороны на эту, ни с этой на ту без очень важного, начальником участка данного приказа, не переходил народ. Вместо Авака у настила выстроились пять человек с той стороны, и цепь была с этой.



— А пусти ты, черт тебя,— заорал начканц, врезавшись в цепь и ударив кулаком по чужой руке,— пусти, говорят!

Вырвавшись, он побежал по мосту, чувствуя или воображая странную слабость под ногами, но никакая опасность в эту минуту не задержала бы Захара Петровича. Тяжело проскочив мимо милиционеров, он на ходу крикнул:

— Володька! Я к гидрометру... Стой тут, не сходи с места, часы держи! Как первый ряж тронется, запиши время.

#### IV

Гидрометр Ареульский, натура для окружающих загадочная, с утра был в очень странном настроении. Странное настроение выражалось в нем преимущественно молчанием, но молчанием, обязывающим окружающих к принятию мер,— даже бедный Мкртыч испытывал неопределенные порывы к действию, считая себя виновным в молчании патрона.

Скосив рот в язвительной усмешке, Ареульский заносил весь день сложные данные своей науки из блокнотика в официальный, приготовленный для сего график, но делал это, как если бы сводил с землей последние счета. Раза два за день раскрыв рот, он обронил, между прочим, фразу: «собираюсь уходить» или «скоро простимся», вынуждая слушателя, даже и постороннего человека, усиленно и с безграничным убеждением упрашивать его «остаться», «не бросать дела», «малость обтерпеться».

Только один Фокин, услыша фразу, легкомысленно произнес: «А что ж, проводим»,— но от Фокина чего ждать!

Странное настроение гидрометра было вызвано людской несправедливостью.

Известно, что водный режим, наука, им ведающая, даже если похерить практику, не брать в счет эпоху, когда от наших, от гидрометрических данных зависит, можно сказать, вся индустриализация,— а возьмем вопрос с научной стороны, беспристрастно, разве ж гид-



рометрия станет в ряд с какой-то там геодезией, землемерным делом? Землемер испокон веков и в литературе описывался как незначительная специальность. И он, гидрометр, для своих изысканий не мог человека допроситься! Ему, гидрометру, дали в помощники неквалифицированную личность, Мкртыча. А технику Гришину, для простейших работ,— здорово живешь, отпустили интеллигента с университетским дипломом,— рейки таскать!

Закрутив кашне, в макинтоше, гидрометр Ареульский шел под дождем на свой пост, и Мкртыч, всем нутром чувствуя собственную виновность и находя утешение только в табачке, с утра им припасенном, да в клочке газеты для закрутки, отмахивал умеренными шагами это же расстояние, но поодаль.

В узком месте ущелья, при единственном фонаре, возносился похожий на финскую лыжу мост. Камни, накатанные Мизинкой, белели, как черепа, вдоль берега. Тесные здесь скалы почти касались друг друга, ткнулись друг к другу, как дитя к матери.

Мрачное величие места, приятное испанской душе Ареульского, было, однако же, нарушено чьим-то присутствием. Подойдя ближе, гидрометр увидел двух ребят в накинутах на головы мешках от дождя, лихо покачивающихся на мосту,— это были соревнующиеся друг с другом рабкор Вартан и его закадыка Гурген. Уже несколько дней, как они победили Кошку и работали образцово, о чем даже в республиканской газете писали. Будь Ареульский не так занят обидой, присутствие этих двух парней на неполюженном месте удивило бы его. Но сейчас он только рукой махнул, чтоб не баловали, и сунулся к реке.

Однако же в том, как бежала Мизинка, было сегодня нечто новое. Она замолчала, прикусила язык,— шума реки сверху почти не было слышно; отсюда, если глядеть, речка смахивала на конвейер из гладкой, вздутой, натянутой черной кишки, неслышно подаваемой слева направо, или же на узкое тело водяной крысы, животного почти мифического.

В молчании Мизинки был словно отзвук молчания гидрометра, оно казалось налитым тяжелым и злове-



щим смыслом. Резвая джан-ахчик, красоточка кучера Пайлака, хрупкая зеленоглазая бегунья,—где она? Призраком с Мокрых гор, неизбежностью, паркой, безглазой головой крота на минуту поднялось черное тело реки, уставившись круглым, невидящим, тупым всплеском воды на мост,— и слепота стихии даже на Ареульского подействовала.

Покачав головой, он пробормотал: «Паводок!» Нет сомнения, проходил настоящий паводок, большая вода, весенняя корь реки.

Нельзя было упустить время.

В каждом деле — у станка, при паровом котле, в игре пианиста, у наездницы, прыгающей через обруч, у больного брюшным тифом — есть такой момент, когда нельзя потерять секунду, а надо подогнать полную свою сообразительность и собранное внимание именно к этой кульминации, чтоб не сползла точка. Скрутить во-время нитку, или камфару впрыснуть, или подойти к центральному узлу произведения своего, соединяя высший расход энергии с моментом высшего на нее спроса,— в этом в сущности и лежит секрет всякой работы.

Для гидрометра Ареульского такой точкой был паводок, и думать о личных своих незадачах в такую минуту уже было нельзя. При всем испанском стиле Ареульский был честный профессионал, тотчас же почувствовавший в себе, как хорошая лошадь при первом движении вожжей, знакомый прилив энергии.

Он побежал сам с вертушкой на мост, где уже невозможно было стоять без опоры,— ветер рвал его с тросов. Ночь шла сюда вместе с ветром, а с ночью неотступно шла вода, и надо было встречать воду,— каждая секунда теперь имела значение, потому что в каждую секунду расход воды увеличивался, уже не в воле Мизинки было не набухать и не идти к кульминации,— и Ареульский должен был поймать кульминацию, не прозевать высочайший момент паводка. Он стал высчитывать с часами в руках, залепленный дождем, жестким и сильным, как глина, расход воды, подобно врачу, державшему перед кризисом пульс больного.



Расчет теоретиков лопнул. Какой там раз в сто лет! Если на глаз считать, расход и теперь уже возрос втрое, и видать было, что нынешний не уступит прошлогоднему...

Гурген и Вартан, отошедшие было подальше, подошли снова и прислушались. Втрое — значило уже двести двадцать пять кубометров в секунду. Но если для гидрометра действие цифры было только действием воды на вертушку, а все вместе — умственным бегом за кульминацией, то Гурген и Вартан вцепились в эту цифру ушами, как следователи, цифра их, видимо, не устраивала, они почесали головы под мешком, переглядываясь, — «двести двадцать пять...»

— Ты, товарищ Ареульский, проверь, не многовато ли. Вода-то ведь с полчаса как пошла.

Голос Вартана звучал почти вкрадчиво. Он подошел к мосту, — мокрый серенький блокнотик в ладони. Его лапидарно, Гурген, следил за большими, круглыми, старинными часами, висевшими у него с шеи на черной тесемке. Но Вартану ответил не Ареульский: гидрометр животом лежал на мокрых полозьях моста, несшегося в ночь с быстротой детских санок, и матершил в сторону своего помощника, Мкртыча. А ему ответил из темноты простонароднейший говорок начканца, Захара Петровича:

— Тебе, паря, не колбасу вешают, — «проверь». Хошь не хошь, а сказано вполне ясно: двести двадцать пять.

Захар Петрович подходил медленно, хотя сюда бежал бегом. Столько же, сколь недовольны и разволнованы казались рабочие, был Захар Петрович доволен и успокоен. Цифра — видать было — вполне устраивает начканца. Вначале, подбегая сюда, он чертыхнулся, завидя «общественников». Гурген и Вартан в мешках, их тени, лохматые от ветра, — «ишь следопыты нашлись!» Но мозг его, как в трудные минуты жизни, после утреннего затишья работал ослепительно, на полный ход; «и очень даже хорошо», — одобрил он их присутствие тотчас же. Следопыты не следопыты, но свидетеля в этот каверзный час не мешает иметь. Пусть-



ка утрутся! Двести двадцать пять — цифра в самый раз. Накинь еще пять минут...

— Растет вода! — крикнул он, тужась против ветра и сплевывая изо рта дождик. — Верно, уж за двести пятьдесят перевалило...

А ну, кто кого пересилит! Меряя усмешечкой, от маковки до штанов, обоих примолкших рабочих, Захар Петрович обстоятельно располагался к отсидке в этом чертовом месте, где даже привычного Мкртыча тошнило от страха. Сесть, разумеется, некуда, но умному человеку стать с толком в заслон от ветра и от дождя, имеючи, между прочим, полный перед собой вид, — тоже не воробей-дело. Уже он стоял в наилучшей близости от гидрометрического поста, слушая звоночки и бормотанье сквозь ветер Ареульского, задавал между делом подсобные вопросы Мкртычу, — а Гурген и Вартан, не желая сдаваться, опять полезли на мост.

Тут, вдалеке от освещенного фонарями главного фронта, где сейчас ежилась от холода участковая публика и где серой мышью — воротник поднят, руки в карманы — оцепенел Левон Давыдович, — тут, в темноте, было, по чести говоря, покойнее, хотя умозрительная, высшего класса, окончательная борьба решалась именно здесь.

«Думали, дураки сидят... а ну-те, настряпайте-ка!» — с полным, счастливо вернувшимся к нему хладнокровием рассуждал начканц.

Мысль о погибающем мосте больше его не трогала. Мост погибал по закону, на самом что ни на есть законнейшем основании.

Хозяйственно, зорким оком вглядываясь в темноту, Захар Петрович и тут не терял времени, а перебирал в уме различные графы расходов на мост: материал — главная статья, а материал не пропадет, разберут да выловят, — словом, дело-то не так страшно. Шесть месяцев системы управления на участке совсем даже не проваливались на экзамене. Мстительно запоминая, кто в этот день радовался или ругал мост, Захар Петрович обещал про себя в будущем кой с кем хо-о-рошенечко посчитаться, но, впрочем, весь этот сложный букет мыслей он таил до времени про себя.



В первую минуту никто крика Захара Петровича, обращенного к Володе-конторщику, толком не понял: при чем тут гидрометр и часы?

Так не понимают деликатного появления в дверях приличного человека с аршином,— кивком бровей и таинственным шепотом запрашивающего «из дубочка или фанеркой под дуб», покуда еще лежит больной, окруженный родственниками, в кровати. Был еще тот переходный момент в болезни, когда не знаешь, куда она клонится,— ни один человек в публике, кроме, впрочем, одного-единственного, но об этом позднее,— не подозревал, что мост гибнет, умирает, дожидая последнего часа.

Мост стоял, как стоял раньше, странным и неподвижным, но вполне знакомым и как бы неизменившимся в своем лице,— храня то же самое выражение безразличия и покорности. Он не работал.

Не потому, что последними его перешли начальник участка и специалист по бетону.

Не потому, что справа и слева цепь из живых человеческих рук окончательно оградила его от действия, как ограждает в музее металлическая цепочка кресло какое-нибудь, ставшее памятником самому себе и насмешкой над смыслом бытия своего, лишенного человеческой нагрузки.

Нет, мост «не работал» в том особом непередаваемом значенье, какое вложил в эти два слова произнесший их рабочий: он не сопротивлялся.

В картинной позе над бьющей водой мост высился в сущности только материальным препятствием, поставленным для игры,— и его ряжи напоминали кегли. Тот, что медленно расшатывался под ударом воды, был сейчас предметом всеобщего внимания. Он походил на утопающего, чьи ноги держат акула или щупальцы спрута—сила, сильнейшая всех его сил, безнадежность которой влияет на ум человека, делая его безумным, и борца превращает в маньяка, прыгающего, как галужка в рот, навстречу гибели,— вот именно таким утопающим качался ряж на глазах у зрителей.



Его обреченность отзывалась почти что в зубах у людей: с каждым толчком воды люди мысленно тоже толкали его, чтоб, наконец, расшатать и свалить — словно это был не ряж, а вырываемый зуб.

Когда он екнул и втянулся вдруг в черную гладкую воду, у публики вырвался вздох облегчения. Но и в самом мосту гибель отозвалась чем-то радостным и облегченным: не успел упасть ряж, как легко и мгновенно, словно рассыпаясь легкими радиусами веера, раскрытого детской рукой, с треском наступающего освобождения, одно за другим развернулись перед зрителями действия: плавно, над упавшим ряжем, всеми своими точками, мостовой настил вдруг сделал кренделек, опустился выбоинкой, напомним кастрюлю с ручкой или Большую Медведицу. Тотчас же другая, более длинная, часть настила начала медленно, медленно, словно шерсть на коте, вздыматься над тремя еще уцелевшими ряжами.

Но разрушение и на этом не остановилось, хотя стало уже невидимым. Оно перешло в незаметные движения ферм, торчком выпятившихся под согнутым настилом, в ослабленную покинутость ряжей, в раздвижку бревен и досок, — в непрерывное разложение формы, раскрепление ее, обратную работу, похожую на то, как крутит оператор задом наперед фильм. И оттого, что эту работу мост как будто проделывал более активно и наглядно, а еще верней — оттого, что эта работа, несомненно, велась мостом, как, несомненно, не велась в нем необходимая работа на сопротивление, — сейчас он показался куда красивей, чем раньше.

Его гибель и на людях отразилась шиворот-навыворот.

То глазели в полной неподвижности, потеряв волю к действию, а сейчас, не успел ряж поплыть, рабочие самостоятельно, не дожидаясь приказа, побежали спасать материал. Насколько — странная логика человеческая — ни один из них не пожалел о мосте, настолько все сейчас стремительно озабочены были жалостью к бревнам и доскам.

Десятник пошел к Сан Санычу договориться о разборке. Любитель из чернорабочих, скинув одежду, по-



красовался в темноте на берегу белизной своего тела, попрыгал даже, прежде чем лезть в воду,— сверху ему смельчаки, доползшие до выбоины, кинули конец каната: это рабочие, с опасностью для жизни, весело и почти с песнями,— да и запели бы, если бы не стыдно,— вольные, как эта вода, разом окрепшие, весело чувствовавшие физическую свою силу,— как на игру или на спорт лезли валить и разбирать фермы и увязывать доски для спасенья гибнущей части мостового настила.

Вместе с ними, подняв воротник, невидимый Левон Давыдович, по голосу как будто ничего, без паники, спокойнейше руководил разборкой, в то время как старенький Сан Саныч, кряхтя от подагры, устанавливал по реке накаты, чтоб не упустить лес вниз по теченью.

Именно в эту самую минуту и вспомнил Володя-меринос крик Захара Петровича о числах и гидрометре. Крик припомнился, впрочем, каждому одновременно, точно он и впрямь появился в дверях человеком приличной внешности, с аршинчиком в руке и вопросом насчет дубка или фанерки под дуб.

В самом деле: сколько же было времени, когда смыло первый ряж?

Быстрее мыши сунувшись пальцами за пиджак, Володя-меринос поднес круглый часовой циферблат к глазам, выйдя предварительно туда, где ярче падал свет фонаря. Его распухшие от холода пальцы не остались на циферблате равнодушными. Семь часов двадцать пять минут... клади пять минут на возню, разговоры и прочее такое, итого семь двадцать — большой палец Володи прикрыл минутную стрелку, словно блоху поймал.

Но тотчас же голоса вокруг показали Володе, что номер этот не пройдет, что окружающие тоже заинтересованы в вопросе и что вокруг пяти разыграется торговля — в одну секунду словно порох взорвался: вся толпа зрителей, безучастная к гибели, проявила к вопросу о времени, как рабочие к спасению материала, острейший интерес.

Стоя в центре надвинувшейся кучки людей, где среди женской публики уже стал преобладать мужчина,



а женщин, не догадавшихся, в чем острота вопроса, сдвинули в сторону, Володя отчаянно с часами в руках жестикулировал: спор шел о пяти минутах, снимать их со счета или же нет. А какие там пять минут! Гибель моста и все, что произошло за гибелью, исчислялось по меньшей мере получасами, — дурака не валяй, Володька! В шесть пятьдесят пять погиб мост. Не заживляй для администрации тридцать минут, заячья душа, да и заживляй — не вывезет, потому что гиблое твое дело, слезай с верхов!

Комсомольцы, хохоча, довольные до того, что даже и притупилась злоба, глядели, тесня Володю, в его круглое, красное, нагловатое лицо с кудерьком на лбу и в его нашлепнутый на часы большой палец, — комсомольцы были уверены, что пришел их час.

Но и Володя был уверен, что никакой их час не пришел. Мост погиб, когда следовало, и не мог не погибнуть по закону. Подобно учителю своему, начканцу, Володя-конторщик в ответственные минуты чувствовал и понимал вещи именно так, как необходимо должно было быть по душе и желанию начальства.

«Поблагодарит вас, таких-сяких, начальство за вылазку, — думал он не без злорадства по адресу комсомольцев. — Отвечать-то за мост не вы будете!»

Хоть и не долга была его, Володина, учеба у начканца, но бессмертные догматы Захара Петровича жили, как в своем роде конторская предпосылка, всосанная вместе с входящими и исходящими, вдохнутая воздухом смежной с начальством комнаты, не проветривавшейся с царских времен, — и эти бессмертные догматы сделали сейчас Володю из глуповатого мальчишки-нахала членом великой корпорации.

Он знал, что ревизия наедет — неприятностей не оберешься, неприятностей для товарища Манука Покрикова, а за ним для лица вышестоящего, а затем для лица еще выше стоящего в первую голову — и что даже если сделают эти лица противоположный вид, им будет усердие Володи — затушить или умерить неприятность — только лишь по душе, ибо такова сущность всякого службизма.



Радость людей, теснивших Володю, была проще,— вместе с мостом они, как там ни говори, получили в руки оружие. Мост-то ведь, как там ни говори, провалился,— провалился мост!

В произвольной радости они держали карту козырем вверх,— их молодые лица,— а была тут все молодежь, армянские парни из механической, клубные работники, члены артели Шибко, члены пожарной команды,— их молодые лица, смеючись, не прятали секретов: вот тебе козырь!

Им дело казалось проще простого: шесть месяцев зажима на участке, разгон лучших общественников, единовластие держиморды-начканца, самодурство чуждого и ненавистного большинству инженера Левона Давыдовича, шесть месяцев издевки над голосами рабочих, людей опытных, знающих, не один мост на своем веку выстроивших, да чего там перечислять,— одно скажи — хватит: шесть месяцев без производственного совещания!

И для них, для рабочей молодежи участка, мост погиб по закону, не мог не погибнуть, но только закон был в неправильной постановке работы, а не в паводке, не в цифре паводка, не в лишние тридцати минутах, хотя сейчас и они, как Володя, вцепились в эти тридцать.

Ни до, ни после гибели тот, кто сидел сейчас наверху и суммировал факты и кто получил, наконец, козырь в руку, не спустился вниз и не побывал на реке, потому что у него не было свободного времени, но именно для этого человека, ставшего вождем недовольства, обремененного растущим багажом фактов, и должны они были отвоевать тридцать минут, прибереечь тридцать минут, принести тридцать минут, чтоб дать ему в руки лишнее преимущество.

Агабек имел сведения о событиях на реке чуть ли не каждую секунду.

Он сидел в маленькой накуренной комнате месткома, под грязным зеленым абажуром лампы,— вернее, не сидел, а стоял, упершись в стул коленкой, а другую коленку безостановочно сгибал и разгибал под столом, как если бы она у него засиделась. Зеленое лицо Ага-



бека с отежшими от усталости веками было, несмотря на хорошие новости, как будто невесело. Вот уже несколько дней Агабек жил, а еще больше внушал себе, что живет, в растущей атмосфере гибели и близкой катастрофы.

Чувство конца стояло в этой комнате, вместе с оторванной и никем до сих пор не приделанной дверью, стоявшей прислоненно к наружной стене,— день и ночь в открытую дверь натекал холод, сырость, натекало людское недовольство, шлепавшее мокрой подошвой, пятнившее грязью, глиной, навозом совершенно уже не различимые половицы в комнате. Оно вошло сюда с нарушенным уставом трудового дня, не кончавшегося для комнаты ни в обед, ни в ужин. И конец был даже в том, что уборщица миновала комнату, считая уборку бесполезной и лишней. «Отмоешь, как же,— кричала Марьянка-уборщица,— ты сам и защищай мои трудовые антиресы, коли ты сидишь в месткомах!»

Этому чувству конца, утеснившему и сжавшему мысли и действия Агабека, подобно тому как сжимается к концу движение по параболе, принесенное известие должно было дать последний, решающий толчок.

Так по крайней мере думал запыхавшийся Гурген, самолично мчась снизу под мокрым от дождя мешком, красный от бега, довольный своим гражданским подвигом: он досидел до финала, хоть и не пересидел начканца. Он взял под ноготь ихний сговор, они в точности с Вартаном занесли цифру,— в шесть сорок снесло ряж, а тогда паводок был двести двадцать пять кубометров... Впрочем, цифры Гургена были несколько недостоверны, как и остальные цифры в этот вечер.

Ожидая встретить полное удовольствие Агабека, Гурген увидел только невеселый и странный взгляд горбуна, налитый чем-то бóльшим, чем усталость. Против стола, повернув к Агабеку свой молодой и мало-выразительный профиль, сидел сейчас секретарь ячейки и для чего-то некстати играл выпачканной в чернилах линейкой, поворачивая ее так и этак и похлопывая ею по коленке. Длинные полы его пальто, висевшие до полу, были вымазаны землей и глиной, указывая на недавнее путешествие секретаря по месту работ.



Когда Гурген кончил запыхавшимся голосом рапортовать, секретарь все так же в профиль, не поворачивая лица к нему, не поднимая глаз, негромко сказал, положивши обратно на стол линейку:

— А это нормально, что рабочие радуются гибели моста? Как тебе кажется, Агабек?

## *Глава тринадцатая* **ИЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ**

### I

Сорок лет — возраст серьезный.

Думаешь смолodu, ежесекундно сбрасывая за плечо действия и поступки, слова и помыслы, что время — там за плечом — глотает и втягивает их, словно забвенью или пустое место. Но в сорок лет чувствует вдруг человек забытое за собой прошлое в его странной, усиливающейся, цепкой устойчивости, в окаменении всех, ушедших и позабытых, необдуманно сделанных, на ветер сказанных слов и поступков, — это пришел срок «схватыванья», страшный срок схватыванья для человеческой жизни, как он есть для бетона, — и теперь уж поздно.

Не разворишишь, не отдерешь, назад не возьмешь того, что вчера еще было гибким, податливым, готовым к формовке: время, «цементно-водный фактор», держит теперь все прошлое, каждую мелочь, в процессе твердения — и оно целиком тут, и как много подлости, гадости, убийства близких, непоправимых жестокостей, низких пустот начинает нести за собой тяжелеющий шаг человека!

Но если вы работали в жизни, если вы создавали в ней вещь, или форму, или же отношение, — усилием рук, ставших большими, нечувствительными от труда, ревматическими, огрубелыми; усилием мозга, оскудевшего сейчас кровью, насыщенного утомленьем, отдавшего весь свой фосфор и отвердевающего от склероза; усилием чувства, находившего в нужный час слово и



взгляд, самозабвенные, исходящие соками доброты и страдания,— все это брошено, хоть бы и не знал и не видел никто вашей муки и вашей работы, в могучий раствор, где будет схвачено и затвердеет в несокрушимый бетон прошлого. Тогда, слабым шагом ковыляя к концу или досиживая жизнь в кресле, старческим костяком прислонитесь вы к этому прошлому, как к опоре и монументу, и улыбнитесь себе. Ладно, прожито!

Ни одной из девушек, сидевших сейчас вместе за длинным клубным столом, не было сорока, и ни одна еще не испытывала этих первых минут «схватыванья»,— но все три работали на эпоху, когда взят человек, как ком земли на лопату, в его наивысшей мере усилия, и когда напряжение, труд до восторга, до полной отдачи — попросту засчитывается человеку как норма,— до такой степени он стал обыденным.

У Марджаны, как и у тетки ее, Ануш Малхазян, была тоже своя армия,— это была армия молоденьких и хлопотливых завжен, разбросанных по глухим и дичайшим точкам района. Серьезные армянские девушки, кончая в городе краткосрочные курсы, несли в деревню городской метод работы, который усвоила и сама Марджана. Метод требовал от них, как требует вода от пловца, чтобы они, попав в инородную стихию, сразу сумели удержаться на ней, завоевать себе положение, получить право голоса,— и все это было построено на двух-трех основных принципах, как два-три основных жеста у пловца.

Уважать деревню — был первый принцип; заставить себя уважать — второй... А оба вместе требовали от завжен, чтоб худенькая городская женщина, воспитанная под лампочкой в двадцать пять свечей, из школы пришедшая на курсы, знавшая жизнь по книжке,— чтоб эта будущая воспитательница женского актива на деревне, партийный руководитель, которому придется и разбираться в сложных житейских делах и по-матерински опекать женщин подчас вдвое и втрое старше нее,— чтоб она с первого дня своего въезда в деревню сумела увидеть в деревне о б щ е с т в о и войти в него, как входит человек в привычную для себя среду, а не ступенькой вверх или ступенькой вниз.



Деревня сидела сейчас перед ними,— это было делегатское собрание лорийских крестьянок.

Женщины всех возрастов — старухи, повязанные, по стародавнему обычаю, платком от уха к уху, хозяйки, с запахом очага и кислого молока от подолов, со множеством складок на юбке, таких засаленных и плотных, что в падении их было нечто стоячее, почти скульптура; молодухи с румянцем, словно надраным кирпичом на щеку, сгушавшемся от каждого слова.

Крестьянки сидели, подняв ноги к себе на скамью и оставив туфли, самодельные сандалии, грубо сметанные чужаки лежать на полу,— им все еще непривычно было сидеть, держа руки-ноги в бездействии, и на делегатских собраниях они отдыхали от обуви.

Женщины уже заметили на Марджане каждый пустяк ее одежды, как заметили бы и небрежность того городского гостя, кто в деревенской грязи нашел бы защитный цвет для собственной лени и неопрятности и подумал бы про себя: «Ничего, сойдет, здесь не город».

Одним из первых условий «уважить деревню» была нарядность: Марджик, как и вся ее армия, приходила сюда в ослепительной чистоте блузок, в брошке на блузке, в чистых городских туфлях.

Судя по лицам, день выдался особенный. Судья Арусяк, с выражением почти нескрываемой досады, вырисовывала по столу, опустив глаза, кубы и треугольники, чтоб только дать выход судейской своей любви к разбирательству и симметрии. Судья Арусяк попала в почетный президиум тоже не зря,— день требовал необычайных мер и полной людской чаши.

Марджана, не совсем спокойная, закрыла собрание, потому что крестьянки нетерпеливо ждали конца. Как только сказаны были последние слова, сразу же и выяснилось, что дело не в собрании, а в том, что сейчас, после собрания, будет говорено,— и прежде всего с необыкновенною быстротою из клубного зала исчезла третья из девушек, сидевших в президиуме, чигдымская завжен Гинó.

Она встала и вышла вместе с президиумом. Но узкий проход, для нее раздавшийся, тотчас же за ней и сомкнулся. У самых дверей ее подхватили под руки две



комсомолки. Болтая о том о сем, они увели ее подальше от клуба и держали теперь за углом с двух сторон под руку, как ведут и поддерживают за погребальными дорогами близкую родственницу покойника.

Таков был внутренний такт того общества, где завжен Гино жила и работала свыше года, и ей отлично ведомо было, для чего это делается. Высоким голосом завжен нервио поддерживала разговор, под взглядом девушек, сострадательно и любопытно уставивших на нее свои яркие черные глаза.

А в зале дело шло своим чередом. Арусяк и Марджану, шедших вслед за Гино, схватили в проходе цепкие, нетвердые руки крестьянок. Руки, давно потерявшие от тяжелой работы чувствительность, шершаво, в подмогу речи, ходили по блузе и пуговицам Марджаны, обшаривая каждую, словно ягоды собирая. Глаза, вскинутые сейчас на девушек, и рты, освобожденные от повязок, были необычайно оживлены,—крестьянки жаловались судье и Марджане на нехорошие дела завжен.

Опустившись на скамью между крестьянками, обе девушки слушали то, что давно им было известно и о чем в кармане Марджаны лежало забавное письмо-жалоба, пересланное ей в район из центра. Письмо, подписанное комсомольцем, как и речи крестьянок, как и вся эта действительность большого села Чигдым, не представляло «юридического казуса». Никто не травил, не убил никого, не насиловал и не требовал алиментов, но и во всей тонкости талантов судьи Арусяк и ее высокой квалификации она вряд ли бы сразу разобралась, что тут поделывать.

Бедная Гино, поддавшись возрасту и одиночеству,—ей шел тридцать пятый год,—полюбила первого своего помощника, «правую руку», как она выражалась,—восемнадцатилетнего комсомольца, краснощекого парня, которого явные чувства завжен привели в замешательство и несмыслимый конфуз перед деревней,—он не разделял этих чувств.

Подняв два коричневых пальца, быстро-быстро по пальцам считает старая мелкозубая лорийка, мать комсомольца, сидящая сейчас возле Марджаны, возраст



сына. За возрастом сына медленно и значительно высчитывает она другой возраст — возраст завжен. За матерью, перегнувшись к ней, молоденькая сестра комсомольца страстно тянет Марджану за рукав: «Гагик из деревни уйдет, вот что!» И крестьянки, уstraшенные срамотой Гагика и разделяя страстность девушки, закивали Марджане: «аё, аё»<sup>1</sup>.

Когда, наконец, поднялись Арусяк и Марджана, в тело их перешла теплота от обсевших скамью женщин, одежда их пропиталась запахом кислого молока и очага. Юридического казуса тут не было, и казалось бы — личное дело, кто смеет вмешиваться? Но солдат безымянной армии завжен, рядовой этой армии, позволил себе оплошность. В штабе этой армии строились колонки цифр, указывавших из года в год рост числа женщин-делегаток, женщин — членов сельсовета, женщин, ставших грамотными, а букеты этих цифр с гордостью посылались в центр. Но цифры ничего не говорили об усилении, пошедшем на воспитание новых членов общества, о ежедневном труде и подвиге маленьких скромных завжен, — рядовой этой армии не смел позволить себе оплошность.

Потерянный авторитет! Страшная вещь на деревне, где воспитание нового человека требует убежденной веры в твое право воспитывать, в твое превосходство. Выйдя с крестьянками из клуба, Марджик и Арусь тотчас же заметили Гино, стоявшую между двумя комсомолками, — завжен Гино улыбалась им жалкой улыбкой, обнажив два остреньких белых зуба.

Но вместе с завжен тут было еще нечто, — выйдя из душного клуба, где столбом стоит пыль в солнце, они увидели это чистое солнце во всей его славе, без пыли, на деревенской площади, — сколько раз люди видят весну и все за свой век никак не привыкнув к ней!

Весна была в жирном блеске грязи, по которой медленно, чреватые птичьей любовью и полупьяные от тепла, ходили, поджимая лапы, куры; в зернышках ячменя, сверкавших из грязи, — зерна набухли, размокли, лежали, дыша жизнью, — вот-вот прорастут; в старом и

---

<sup>1</sup> Да, да.



грязном колесе чьем-то, заново вымазанном и прислоненном к воротам; в теплоте радужных, оплеснелых на солнце помоев.

Чуть-чуть малярийный запах весны охватил все село, сделав медленными шаги людей и прищуренными их глаза, а головы, словно стеклом набитые, расширяя под шапками весенней, стеклянной одурью.

Большое село Чигдым, хоть и метило оно в город главную своей улицей, двухэтажными зданиями, фабрикой, сыроварнями, обилием вывесок, парикмахерской, аптекой, почтовым двором, где стоит сейчас высокий железный возок Пайлака, — все еще сохранило на своих задворках весь стиль богатой, но древней армянской деревни, где рядом с каменными домами еще встает земля кротовым бугорком допотопного жилья и дым вылезает из невидимой дыры в потолке, тощий и одичалый, как кот из чердачного окна.

В первый же пролет деревенской площади, за двухэтажными домами, можно было увидеть кусок этой древней деревни, яркий на синеве неба, и там тоже вставала весна, в нежном зазывном блеянье матерей-овец, доносившемся с далекого выгона вместе с протяжным скрипом арбы, чьим-то унылым и дальним криком, растянутым эхом весны, — у весны только и слышишь подобные неслаженные и нестройные, неизвестно откуда берущиеся и волнующие кровь звуки.

Завжен Гино, зайцем забегаая перед Марджаной и судьей Арусяк и ежеминутно оглядываясь на них длинным, неестественно оживленным лицом, повела через эту весну и грязь обеих девушек к себе в комнату, помещавшуюся в школьном здании, далеко внизу от площади, на самой окраине деревни.

На той же окраине старый богатый лориец Агаси-ага принимал сейчас по знакомству, завязавшемуся еще с прошлогоднего лета, почетных гостей — Гришина и Айрапетьянца.

Гришин и Айрапетьянец забрели сюда по многим причинам, — их догнала весть о гибели моста и о возможной ревизии. Их догнала смятая повестка, врученная Арно Арэвьяну местным аробщиком после того, как раскутал аробщик дюжину тряпочек и мокрыми паль-



цами, меж пятаков и гривенников, нашарил повестку. Она вызывала Арно Арэвьяна в чигдымский угрозыск. Гришин вспомнил тотчас об Агаси-аге, и, чтоб рыжему не уйти одному в Чигдым, отчасти из любопытства, — в чем еще там дело, — отчасти же, и главным образом, из нежелания ввязываться в ревизию, оба техника сочли за лучшее вернуться на участок кружным путем и, дав здорово крюку, сидели сейчас, сняв и оставив сапоги сушиться у очага, в одних носках на тахте у Агаси-аги, в верхней горнице большого его дома.

Гришин и Айрапетьянц... Но сперва: что за люди Гришин и Айрапетьянц? В семье техников, живших в дружбе, если не считать легкого трения между ними и Ареульским, Гришина уважали, как старшего. Гришин, начальник изыскательной партии, знал эти места как свои пять пальцев, с точностью помнил каждый крестьянский двор в окружности, мог дать справку, где у кого что есть, откуда вернее взять рабочих или тару, с кем лучше не связываться. Говорил Гришин мало, но его круглый лоб и челюсть, развитая, как хирургические щипцы, его щеки, втянутые внутрь, и вздутые от ветра и привычки к свисту губы указывали на характер. Он звал себя последним из изыскателей.

Маленькому Айрапетьянцу, с его интеллигентным видом, золотом пломбы в зубах и пенсне на шнурочке, мечтавшему подучиться на инженера, он говаривал: «ты дура». А и в самом деле, если глядеть в корень, инженера поискать — всегда найдешь, даже хорошего слесаря поискать — найдешь, а настоящего изыскателя — шабаш! Кончается профессия. Изыскатель, подобно валторнисту или флейтисту, есть профессия дефицитная.

Школы, такой вот школы, чтобы всю страну облазить, работать с лучшими мастерами строительного дела, при прокладке больших дорог, под строгим военным начальством, как это было еще до революции, — такой вот школы молодежь не знает. И организм тоже нужен изыскателю, вроде как валторнисту легкие.

Гришин свой организм мерил на литры. После бутылки коньяку брался провесить любую линию — и провешивал. Треножник мог заплетаться, эккер мог косить



свой зрачок, а он, Гришин, по-военному стоял твердо и смотрел перпендикулярно. Вообще же за тридцать лет ночевок под небом, ходьбы по болотам, прыганья по скалам он только и болел всего один раз, да и то, как конфузливо признавался, детской болезнью — корью.

У Агаси-аги был двухэтажный дом, крытый черепицей, — и внизу, на веранде, между неровными обтесанными столбами, поддерживавшими карниз крыши, похожий на околыш фуражки, шла жизнь всей семьи, — у Агаси было восемь братьев с детьми и женами и семнадцать душ собственного семейства. Двоих, — еще с того лета, как жил у него Гришин и в верхней парадной комнате разместил контору, — Агаси-ага пристроил работать на Мизингэсе, а нынче не без тайных замыслов хотел хорошо накормить Гришина.

Острым взглядом кулака, привыкшим распознавать вещи и давать им цену, он отметил изо всей семьи племянницу, как отметил бы черную с белым телку или длиннолапую курицу: в хромоногой Каринэ был толк. Стоя в задумчивости возле жены, возившейся с молодым овечьим приплодом, Агаси думал, что такой надо дорогу дать, а там и сама пойдет.

Обруч висел на стене, — он мельком взглянул на тесный быт веранды, оснащенной, как корабль, для дальнего и в сущности черепашьего плаванья, бочками, полными добра, посудиною с острым днищем, медными котлами для варки, веревками от стены к стене, хворостом, гирляндами лука и красного перца, кнутовищем из ножки джейрана — местного производства, красивыми принадлежностями, натянутой рамой с начатым грубоватым ковром и в углу, на сене, новорожденной семьей ягнят, — тесен был обруч для племянницы!

Его старуха, жилистая и еще не отражавшая, нагнулась. Сотней обвислых складок легла ткань, жирная от грязи и пота, но между складками в линии бедер и натруженных ног, стоявших покорно и монументально, было зловещее сходство с материнским задом овцы. Старуха выпрямилась, держа за ноги двух ягнят, — их шерсть еще мокра от непросохших родильных вод, и худые, влажно-кудрявые тельца будут волочиться вниз



головой, словно картинка из библии, когда понесет их старуха подложить под мать, мелко и нежно BLEЮЩУЮ с выгона.

Может, кому иному, старозаветных дел мастеру, и кажется все это прочным, но Агаси-ага был дальнОЗорек, предвидел неприятности, уже не раз стучавшиеся к нему, и знал, что советская власть не жалует кулака или, по его собственной терминологии, «аккуратного хозяина». Он не прочь был поставить на всякий случай своего человека поближе к власти: «Каринэ — она и в партию может пройти, от такой будет семье польза».

В верхней нежилой горнице, где окна не открывались ни зимой, ни летом — от мух, где вдоль стен на деревянных тахтах лежали и висели паласы, скрипел под ногами пол и блохи танцевали на табуретках, было уже все приготовлено для гостей: овечий сыр и крупно нарезанный лук в глиняных тарелках, разной формы стаканы с ворсинками от утиральника вдоль мутного стекла, темный, водой окропленный лаваш пополам с песком...

Дочь Агаси, Вардуш, с обидой в круглых, выпученных, поволокой затянутых глазах, шибче, чем нужно, стучала тарелками. К вечеру выпуклые глаза нальются слезами, и в слезах отойдет обида Вардуш, но сегодня она бросает тарелками, сегодня она, не без тайного согласия своей матери, будет огрызаться на отца таким тонким и поднятым голосом, каким лается иной раз обиженная собака. Родная кровь мстила отцу за тайные мысли, — ни для кого в доме не был секретом план старика насчет Каринэ — хромая Каринэ и сейчас сидит в клубе, с гребешком в волосах, а она, Вардуш, разрывайся ради нее...

Если б помыть или мокрым полотенцем протереть окна, в них тоже глянула бы весна, надрывающаяся на улице в затяжном петушином крике; но весне было трудно спорить с мутной домашнего изделия лорийской водкой. Трудно спорить с яркою, в капельках пота, лысиной Агаси-аги, — густейший навар из барашка разлит по синим тарелкам, запах чеснока встает в паре, раздражая аппетит, после стаканчика пальцы лезут за мягким куском сыра, крошинками опадающим на ска-



терть, — зубы жуют медленно, мысли ползут и того медленней.

Агаси-ага — хороший хозяин, выдавший виды. Как и все лорийцы, он знает свой край, — во сне разбуди, по именам перечтет знаменитых лорийцев; где кто родился, из какой деревни вышел, — он знает, впрочем, и не только это.

С хитростью истого лорийца знает он час, когда гость в третий раз, не говоря ни слова, протянет пустую тарелку, а уже пальцы гостя в промежуток не идут на лук, а после затяжного вдоха и выдоха нащупывают грудь, тут ли, между прочим, табак или папиросница, и, не найдя, забегают по карманам штанов.

Эту минуту, созданную для спокойнейшей передышки, иные любители проводят сосредоточившись, чтоб дать осесть пище, и ковыряют в зубах дольше, чем надобно, спичкой, а на вопрос не отвечают. Менее опытный человек непременно сдаст в такую минуту, сделкатничаает, будет ждать, пока гость откушал по третьей, но истый лориец, Агаси-ага, крепко знал, что упустишь — не наверстать. После третьей обмякнет и занемееет гость, хотя б и отведывал иных, поданных вслед за наваром блюд: разварной бараньей головы, кусочков мелко пожаренного барана или огромной миски мацуна, к которой Вардуш придвинет янтарный лорийский мед, все равно тут дело растянется послеобеденной мягкотью пуховых, вынутых из сундука подушек и одеялом, принесенным снизу вверх, — вот почему, как только Вардуш, стуча шибче, чем нужно, посудой, в третий раз приняла от Гришина пустую тарелку, Агаси-ага повел разговор, что и как на строительстве и нет ли — аробщики говорили — нужды в молодом, сильно способном и жадном на грамоту человеке.

Гришин не сразу ответил хозяину. Он с удовольствием слушал, как урчит у него в животе пища. Перекликаясь неистово, на дворе орали весенние петухи. Запыхавшаяся Вардуш несла с лестницы третью до краев наполненную тарелку. Все это было хорошо.

— На строительстве момент неподходящий, ревизия, — отвечал, наконец, Гришин, поднимая многозначительно бровь над тарелкой, — вот после ревизии —



дело, брат, другое, после ревизии, брат, нам и не один человек понадобится.

Мысль о ревизии напомнила ему рыжего — что-то уж очень долго запропастился рыжий!

А когда пойдет такой разговор, найдите мне человека в обществе, чтоб не вспомнил нечто, подходящее к случаю. Понизя голос и взглянув на дверь, старик Агаси сообщил технику о местных чигдымских новостях: и в Чигдыме у них беспокойно стало, — на днях двух воров поймали — жили тут под видом дачников. И крупные оказались воры: по дорогам грабили. Теперь, говорят, награбленное разбирают и хозяевам возвращают.

— Воры? — удивился Гришин, прихлебывая навар и начиная смутно тревожиться за Арно Арэвьяна.

## II

Где же был рыжий? Знал ли он, что говорилось впоследствии ему на участке? Икалось ли рыжему, по верной примете, от Клавочкиных пересудов?

Рукою Клавочки принятый и куда нужно снесенный документ лежал сейчас перед ним на столе, за которым сидел он против начальника угрозыска. Рыжий только что замолчал, и в комнате еще звенело эхо юношеского голоса, еще стояло очарование задумчивых глаз рыжего и его спокойного рассказа. Рыжий уютно сидел, как у себя дома, на стуле, и если б не сжатые губы, изобличавшие в нем стыд, — рыжий не за себя стыдился, — и жест, с каким, перебрав, он отодвинул от себя писчий лист с убористым и банальнейшим, хорошо знакомым ему начканцевым почерком, можно было б подумать, что рыжий очень доволен и сейчас будет чай пить. Начальник угрозыска, крутя в руке папиросу, так и не удосужился закурить, покуда ставил, часто макая в чернильницу, последнюю букву. Он спешил покончить с этим анекдотическим делом, и внимательный рыжий, медленно прочитав все, что записал с его слов по-армянски начальник, — где нужно, поставил точку, а где нужно, н — запятую, — перечел еще раз, сощурился и подписал.



— Желаете получить вещи? — спросил начальник угрозыска.

На стульях были разложены: серый пиджак, альпийская палка, кожаный бумажник с монограммой, две-три толстых книги, вязаное кашне. Заношенно и враждебно глядели вещи со стульев, как будто набрали чужой жизни за полгода, — так глядит пойманная и одичалая, отвыкшая от хозяина собака. Бумажник был пуст.

— Н-да, — проговорил начальник, покуда Арэвьян, не торопясь, засунул бумажник за пазуху амазонки, обвязал своим кашне толстые книги, перекинул пиджак через руку и с удовольствием взял старого друга — альпийскую палку. — Н-да, гражданин в угрозыск заявление подает, что его обокрали, акт о том на месте составлен, мы воров изловили, — а тут целое сочинение! Вот уж у некоторых от страха глаза велики. Забавные у нас люди.

Коротко, кивком, ответил рыжий, ему все еще было стыдно. Он простился с начальником и понятыми и вышел из угрозыска.

С минуту он постоял на крыльце. Что за глупость! И стоило акт составлять! С полгода назад раздели его в темной улочке ночью, — отняв все, что было на нем и с ним, — и месяцами держали этот хлам, должно быть не найдя покупателя. Но почему «агитатор»? Откуда наплел начканц весь этот несусветный бред? Постояв, он двинулся. Он шел навестить школьную конюшню, где оставил рейки и теодолит.

Стараясь прочно забыть, что случилось с ним, рыжий отдался мыслям о новом своем ремесле, — за эти пять дней он привык к Гришину и Айрапетьянцу, привык к инструментам.

Люди были просты и грубы, без психологических тонкостей. Даже худой костяк Айрапетьянца, если глядеть на него не спереди, а в спину, был грубый костяк, выдавший виды, носивший ношу, его ноги в сапогах шли под тупым углом, вразвалку, как ходит человек, близкий к природе и привыкший, если полезет штанина из сапога, сунуть ее на ходу обратно или заткнуть за голенище пачку папиросной бумаги. Люди были просты



и грубы, а и того проще были инструменты. Их можно было нести в мешке. С ними не очень церемонились в дороге. Да и сама дорога то там, то сям обсажена была простым и грубым следом их ремесла,— на вершине торчала в одиночестве вежа, от нее, сбегая к ложбине с той простотой арифметики, с какой пить идет зверь непременно к логу и мерить идет изыскатель тоже, как на водопой, держась на лог, стояли другие тонкие силуэты, напоминая, что местность обхожена и вымерена.

В этой простоте ремесла и людей было нечто успокоительное. Последнее время участок и рыжий вместе с участком жили такой нездоровой жизнью, а вокруг, по терминологии начканца, «такое закручивалось», что вырваться с головой из сложности, отдаться простоте и архаике очень древнего, быть может древнейшего, ремесла, быть с нехитрыми и простыми мастерами этого дела показалось Арно Арэвьяну счастьем.

Арно Арэвьян, хоть и очень немногие догадывались об этом, был в сущности человеком нервным.

На участок ему уже не хотелось,— встретить начканца, вернее дать этому человеку встретить себя, рыжему было, как скромно определил он в мыслях, «не очень удобно». Посвистывая, чтобы изгнать окончательно привкус начканца, он дошел до конюшни.

Маленький школьный двор, где они остановились, был запущен, но и в этой запущенности сияла весна. Черная пирамида кизяка слезилась в углу двора от солнца, таяла желтой жижей мочи, как тает снеговая глыба. Славный дух шел от конюшни,— там стояли лошади, переступая с ноги на ногу и втягивая мягкой губой ячмень из стойла.

Рыжий поднялся в школьную комнату и здесь собрал по подоконникам и табуреткам, что Гришин и Айрапетьянц успели раскидать без надобности,— всю их нехитрую походную канцелярию: ролики, кальки, обкусанный букет карандашей, синие листы с белыми струнами трансверселей,— Гришин учил рыжего искусству проложения местности.

Он подобрал с пола тонкий мелок, тушь в пузыречке, разную карманную труху, с удовольствием расходуя



время и крепко увязывая дорожную сумку. Арно Арэвьяну не надоело чувствовать себя десятником, как никогда, впрочем, не надоедала ему ни одна профессия.

Собрав вещи, он оглянулся разок для проверки и сошел вниз. Под лестницей была деревянная дверь в комнату, где жила чигдымская завжен Гино. Он и в нее заглянул проходя, — скорее всего просто нечаянно, потому что ничем эта комната не интересовала рыжего. Но, заглянув, остановился.

Эта неряшливо убранная комната, подобно сотне других, имела на себе стиль безыменной армии Марджаны, и аскетизм ее говорил об отсутствии у хозяйки времени на себя, — посреди была железная печь, почти никогда не топившаяся, на ней стоял сломанный примус. Кровать в углу, завешенная справа и слева бельем, чулками для просушки, сброшенным платьем. На выключателе возле дверей — дешевый бумазейный в клетку халатик, обшитый фиолетовой тесьмой, мыло в разбитом глиняном черепке на полу, возле ведра с водой, — но рыжий глядел не на это и даже не на чьи-то два увязанных и очень знакомых ему чемодана посреди комнаты, — рыжий глядел на письмо и телеграмму: письмо и телеграмма, видимо просунутые под дверь, в отсутствие хозяйки, лежали совсем близко на полу и адресованы были Марджане.

Прочтя адрес, рыжий почти вскрикнул от неожиданности — он вдруг сразу узнал и чемоданы. Марджана была здесь, она должна прийти сюда, — потребность говорить с ней охватила его.

Он сунулся было в ворота, но тут же вспомнил, что и Гришин ждет его у Агаси и нужно было предупредить Гришина. Не зная, как ему быть, он замедлил в подворотне и тут увидел трех девушек, — они приближались гуськом по грязной деревенской улице.

Марджана шла последней, идти нужно было медленно и по камушкам, чтоб не увязнуть по щиколотку в грязи. Глядеть нужно было себе под ноги — занятие раздражающее, и поза — когда уже не думаешь ни о чем постороннем и не о самой себе со стороны, а просто, сердясь на обстоятельства и трату времени, балансируешь с камня на камень, — невыгодная, конечно, поза.



Мало кто мог бы простить себе, если бы застали его в этой позе и за таким занятием, но Марджана, насупив брови, замученная собранием, а до него долгим, мучительным путешествием верхом из дальней деревушки района в Чигдым, и без того шла сердитая и постаревшая.

Марджану расстроил потерянный авторитет. В Марджане боролось нечто,— она и сама не знала что,— боролось нечто против необходимости поднять авторитет. Бунт был в Марджане, жалкая улыбка Гино... Болезненно вспомнив эту улыбку, она вскинула голову и вдруг встретила блеснувшие из подворотни разбитые стекла.

На оплошность, как и на подвиг, нужно меньше секунды времени. Прежде чем сообразить, что она делает, захваченная врасплох, с забившимся сердцем, она ни с того ни с сего прошла мимо рыжего не поклонившись. Она и не притворилась, что не узнала его,— правая, обращенная к нему щека Марджаны вспыхнула.

### III

Арно Арэвьян остался под воротами. Он был поражен. Рыжий был умный человек. Он понимал, что ребяческий поступок Марджаны,— серьезной и сдержанной,— мог только одно значить... Мысли смешались в нем.

И все же он не хотел и не мог верить медленной, разгоравшейся в нем, ослабляющей радости,— он стоял, улыбаясь, почти сослепу, как если б из очень темной комнаты вышел на свет. Но и Марджана была умной женщиной: она поняла, что она сделала; двигаясь и говоря с завжен, подняв с полу письмо и телеграмму, прочтя их,— она холодела от стыда. Всею виной была глупая Гино,— она беснлась на Гино. Она чувствовала свою правую щеку отдельно от лица. Щека была ненавистна ей в эту минуту, как Гино, как Арно Арэвьян,— так бы и ударить себя в эту щеку! И взгляд у нее стал такой растерянно-виноватый, что судья Арусак сделала свои выводы.

Письмо и телеграмма подруге были из города



Масиса. Весь свет знал сейчас, о чем можно писать ей из города Масиса! Человек уходил, и «как она еще любит его», ревниво подумала Арусяк.

— О чем тебе телеграфирует тетка?

Опомнившись, Марджик взглянула вокруг себя. Легкое, невесомое равнодушие вставало в ней к этой комнате и ко всему, что тут было. Легкое, невесомое равнодушие к вопросу подруги и к письму на коленях...

— Ты накурила в комнате! — сказала она капризно.

Ей невыносимо было сидеть дольше. Она встала, словно хотела куда-то выйти, — в этом вольном или невольном движении было так много выразительности, что Арусяк от неожиданности косить перестала.

Изумленным взглядом она впиалась в подругу, — подруга уходила, как если б стены комнаты были картонные и сами они из папье-маше, и ничего вокруг, — так выходят во сне или в мечте. Хорошая с каждой минутой, Марджана стояла посреди комнаты, сжав пальцы в кулачки.

— Пусти ты меня, — вырвалось у нее, хоть Арусяк и не думала удерживать подругу. Предупредительная Гино рванулась было, но Марджана захлопнула за собой дверь.

Она прошла через весь двор, под ворота, и ничуть не удивилась, что рыжий был еще тут.

Рыжий стоял тут совершенно попрежнему, руки в карманы, и не смотрел никуда, кроме улицы, но он слышал стук захлопнутой двери. Острое нетерпение сжимало ему горло.

Четверть часа — материальное течение времени, когда вдруг то, что вошло в человека, имеет свой собственный, ни на что не похожий, сумасшедший ритм, — течение времени остановилось. Два спокойнейших человека, равно охваченные нетерпением, пряча глаза друг от друга, — подобно борцам на арене, — должны были встретиться в подворотне.

Арно Арэвян не верил еще. Марджана не знала еще, что скажет, — ей было важно отнять у рыжего, — она ненавидела рыжего, — этот маленький случай, безделушку, мелочь, пустяк, в котором она с головой себя выдала, этот глупый детский испуг без поклона, — а как



отнять, она совершенно не знала, и она шла, сжав кулаки.

Перед тем как к ней повернуться, рыжий поднял к лицу пальцы — он снял очки. Он обратился к Марджане лицом с беспомощно-близорукими, сильно сощурившимися, неуверенными глазами. Сжимая очки, он стоял и ничего не говорил, сумасшедший ритм затих в нем. И Марджана, подойдя, вдруг почувствовала, что только об этом смешном человеке она и думала всю неделю, ни о чем другом, кроме него, не думала.

— Хоть бы вы, наконец, вставили это дурацкое стекло! — сказала она Арно Арэвьяну голосом, каким говорила с ним в своих мыслях, и протянула руки к той руке, где были очки.

#### IV

Гришин увидел рыжего в ту минуту, как к нему подошла Марджана. Прибавив ходу, он крикнул через всю улицу:

— Арэвьян! Где ты пропадал?

Он очень прилично поел. Он выпил. Не так чтоб уж очень, но выпил.

Айрапетьянц, тонкая жила, плелся за ним, делая плавательные движения или вроде того, как дают барышням бицепсы щупать, но Айрапетьянц, известное дело, много не мог выдержать.

Радостно возбужденный Гришин до крайности интересовался, что там, в угрозыске, спрашивали у рыжего... — но! Хитро подмигивая, он ничем не обнаружил своего интереса. Как человек истинно выпивший, Гришин стал преувеличенно, до тонкости осторожен. Его хитрый пьяный глаз с обкусанными бровями так подмигнул, — дескать, держись, знаем, — так скопился на Марджану, — «партийка небось?» — что рыжий не выдержал и расхохотался.

Смех был ему нужен разрядить волнение.

— А что я тебе скажу, — важно произнес Гришин, дойдя до них и остановясь, слегка раздвинув ноги и загораживая собой явно подозрительного Айрапетьянца. — Налево кругом, марш. Иди, брат, в Молокосоюз, там обещали машину нам дать, скажи — Гришин послал.



Скажи, чтоб в два счета — и никаких. Пустая идет на станцию.

— Вот и отлично,— вмешалась Марджана. Смех рыжего заразил и ее, она стояла теперь во всей своей обычной спокойной прелести, и милый негромкий голос Марджаны никак уж нельзя было не дослушать.— Вот и отлично,— вы меня тоже прихватите на машину. Я получила телеграмму от тети,— это она сказала одному Арэвьяну.— Тетя с экскурсией на участке, она очень просит приехать, чтобы повидаться. Я нынче поеду, а завтра как-нибудь доберусь назад,— прихватите, можно?

— Непременно прихватим,— ответил рыжий.

Он посвистывал. Он надел очки. Он опять стал десятником, а впереди был вечер в машине, стеклянное небо апреля уже становилось розовым, повис наверху нереальный, совершенно невероятный какой-то, тощий и трогательный, казавшийся мокрым, как новорожденный ягненок, и хвост под себя поджавшим,— месяц.

Самое же невыносимо забавное было в двух пьяных, веселых людях, до смерти жалевших рыжего. Айрапетьянц даже икнул от жалости и тотчас поправил у себя воротник.

Ребята теплые и не дураки, они припасли рыжему кой-что в бумаге, а главное — основательную бутылочку, высовывавшую свою честную голову из кармана пальто Гришина. Оба порядком мечтали накачать друга в дороге, да и самим раз-другой пожелать здоровья, а женщина — верней, и не женщина даже, партия — всю музыку рыжему испортила.

Причмокивая и подмигивая, строя убийственно жалостные рожи, Гришин рукой показал Арно Арэвьяну на заветный карман и погибшее счастье.

— Я пойду приведу машину,— сказал рыжий.

Марджане тоже вдруг сделалось истерически весело. Уже Арно Арэвьян скрылся на улице, а оба техника отсчитывали ступень за ступенью вверх, в школьную комнату, а она все еще прыскала со смеху, тщетно стараясь задушить хохот платком,— ей вдруг вспомнился низколобый Гагик, мать Гагика, сестра Гагика, письмо Гагика, защищавшегося от срамоты, а срамота была —



в нежной любви завжен. Только и было, может, всего, что походила бедняжка завжен по улицам, чтоб встретить Гагика на перекрестке, или раз-другой под видом дела спросила о нем у крестьянок...

Трагическое вставало во всей нелепости и обращалось в комизм,— легко хохоча, она вошла в комнату, где обе девушки, озабоченные ее уходом, судили и гадали, что случилось. И пусть хохочет Марджана! Эпоха и труд сейчас слишком серьезны, чтоб не лелеять это коротенькое веселье, как драгоценный миллиграмм радия.

— Вещей у вас нет? — через полчаса постучав ей в окошко, спросил Арэвьян.— Вы знаете, кстати, кто повезет нас? Помните меланхоличного шофера на линейке, у кого жена умерла?

Чтоб окончательно закруглить юмористику, жизнь и тут подстраивала невероятный сюжетный фокус. Как его не помнить! Марджана отлично помнила шофера. Он первый сказал ей, кто был рыжий,— вернее, тетка первая рассказала ей о рыжем. Шофер получил машину, он служит в Молокосоюзе.

Нужно было садиться. Ей хотелось говорить с Арэвьяном, рассказать о тетке, но и Гришину хотелось говорить с Арэвьяном, узнать, наконец, в чем дело было.

Первые пять минут у машины прошли в рассаживанье и укладке.

Уже вовсе стемнело, и было светло только от слабого света месяца.

Весна не ушла из воздуха, не подмерзли лужи, в свежем ветре дуновеньем лихорадки и остывающих луж стояла весна, как стоял месяц в небе. Пахло снизу запахом горячего лаваша, где-то прилежной хозяйкой нескончаемо выпекаемого в пурне.

Кто бы с ним ни хотел говорить, а рыжий помнил и знал свое дело. Он не спеша принес и уложил рейки, ящик с теодолитом. Любо было смотреть, как несет он с лестницы дорожные мешки, не забыв прихватить и шапку Айрапетьянца: сам Айрапетьянец спал бестревожно,— он первый залез в машину, на лучшее переднее место, и тотчас заснул.



Марджана не могла сдержать жалобную улыбку,— неужто придется ей сесть с Айрапетьянцем?

Но рыжий держал дверцу и помог ей сесть — рядом с Айрапетьянцем. Гришин полез к шоферу, удрученно зевая,— все были недовольны, и даже шофер был недоволен.

Один Арэвьян еще раз спокойно обошел автомобиль, посмотрел, все ли в порядке и крепко ли увязаны рейки, потом снял шапку и поклонился двум девушкам, провожавшим Марджану.

— Я завтра вернусь! — крикнула им Марджана.

Наконец, он вошел не торопясь в машину, захлопнул за собой дверцу, откинул переднее сиденье и сел лицом к Марджане. Колени их соприкоснулись. Арно Арэвьян отодвинул свои. Мерцанье разбитых стекол, укачиваемое машиной, казалось, говорило Марджане о невозмутимом спокойствии их хозяина.

Гришин, повертываясь, энергично толкнул его в спину. В громком шепоте можно было разобрать слово «шамать».

— Нет, спасибо!

— А выпить? — голос Гришина еще понизился и был полон уныния.

— Не к чему!

— Ну и ну!

Отворотясь, техник занялся воркотней. В пьяном виде он ненавидел политику. Политика — не свой брат. Политика и выпивка — две вещи несовместимые, ну а партийка в ночной тиши, при молодом месяце, бок о бок с вами,— есть факт политический.

— Я с вами хотела говорить, а сейчас все слова растеряла,— сказала Марджана.

Голос звучал жалобно. Глаза глядели жалобно. Кончики пальцев она вытянула больше, чем требовалось, но пальцы лежали, не принятые чужой рукой, и, глядя на него, Марджана думала: а ведь этот смешной человек, тучело,— она вспомнила, как в вагоне назвала его тучелом,— он никогда, ни в чем не был смешным, он был хозяином положения, все, что он делал,— хотелось с ним согласиться, что это правильно.



Но в этот вечер автомобиль летел дивною лентой шоссе, месяц кружился в небе, незабываемый ветер шуршал в волосах, в этот вечер, который, быть может, никогда не повторится,— Марджана со вздохом вспомнила, что не дописала к завтрашнему дню отчета,— жизнь во всей беспросветной серьезности, столбики дней, как календарь на стене,— она видела, все это гонится и догоняет, завтра уже догонит... почему отодвинулся рыжий?

— Я с вами тоже хотел говорить,— сказал рыжий. Он хотел говорить с ней еще тогда, до встречи в подворотне. Он хотел рассказать обо всем, что пережито и сейчас остро переживается на участке,— о гибели моста, об Агабеке, о секретаре, о системе начканца, о нездоровом настроении на участке. Он хотел больше всего говорить о секретаре. Мысли теснились в нем.

— Ведь я все время, с первой минуты встречи, разговаривал с вами мысленно,— почти пробормотал он приглушенно.

Могучий женский инстинкт подсказал Марджане, что рыжий отвечает ей глубже, чем протянутая ее рука, чем это волнение, пришедшее с весенним ветром. Тихонько она оттянула руку.

— О чем же вы говорили со мной?

— Помните тот первый вечер на участке, разговор у Косаренки? Ваша подруга, судья, сказала о секретаре: «Не нравится мне секретарь»?

Начало было неуклюжее,— но рыжий торопился, он видел ее внимательные глаза на себе. Как бы хотел он иметь дар речи, быть гением слова, быть музыкантом, чтоб взмахом руки передать точность знания, ту точность знания, что ценил рыжий в других и себе выше самых блестящих талантов и что труднее всего передается в слове. Настроение на участке... Он любил Агабека и не очень любил секретаря, как Степанос и десятки других на участке, вернее — не очень его чувствовал. Но все эти дни, присматриваясь к секретарю, он с изумлением видел, как разворачивается этот медленный, не очень умный на вид, похожий на семинариста парень,— во всей смешной ерунде своей педантической, нарядной сущности,— как он разматывается изо дня в



день, чтоб под спудом деталей, всей мелочи слов и жестов, дойти вдруг до оси человеческого характера — до содействия. Секретарь — один на участке — действовал, и правильно действовал в эти дни. Рыжий втянул верхнюю губу в рот, он засопел, он думал, подбирая слова, чтоб все это лучше, точнее, правдивее выразить...

— Я понял, что такое линия партии в этом хаосе событий и настроений,— закончил он, наконец, свою не совсем складную речь,— и хочу вам сказать...— Он вдруг покраснел, как юноша, он никак не смог договорить. Ему невозможным стало быть вне партии, его потянуло в партию, он написал перед самым уходом в горы с изыскателями письмо к Марджане. Быть частицей этого могучего, коллективного, единственного в мире движения к правильному действию, движения к истине в огромном круговороте мирских страстей и поступков, где случай, как безголовая обезьяна, гонит вещи,— случай, анархия, борьба интересов, самолюбий, честолюбие, волчья грызня друг с другом,— и только ясная мысль коммуниста-большевика, мысль партии, пробираясь сквозь все заторы, отметая, ломая, пронизывая их, указывает человеческой совести дорогу к истине. Он никак не смог договорить это, потому что почувствовал в словах, встававших сейчас в его душе, беспомощную, наивную «беспартийность», как сам он охарактеризовал их.

— Секретарь — хороший партиец, но он там недавно и не сразу овладел положением. Рабочие справедливо критиковали недостатки, но критика рабочих стала вырождаться в групповщину, во внутреннюю склоку, и это, к сожалению, потянуло за собой Агабека,— вот в чем секрет положения на участке,— утомленно немного ответила Марджана.

Для нее все это было ясно и понятно. И она, как многие другие ее товарищи, в разговоре как раз осуждала секретаря — за то, что он дал склоке развиться, не сумел начать действовать гораздо раньше. Ей вдруг показалось, что сидевший против нее большой человек гораздо, гораздо моложе нее.

— Вот видите! — быстро ответил он.— Вы так скоро и точно все сформулировали. У вас уже есть опыт. Это



как раз то, о чем я... Это движение к правильному выбору, к истине... Партийное сознание!

Марджана неожиданно для себя вздохнула. А сама она чувствовала себя в это время такую «бабой», как мысленно определила она. Ей было жалко вечера, жалко месяца в небе, жалко прошедшей по сердцу теплой волны нежности, которая — думалось ей — безвозвратно ушла, похоронена и оказалась случайной, как пролетевший ветер. Все снова становилось на привычное место.

Прошло полчаса, прошел весь путь до участка, трижды кружил месяц то справа, то слева, прежде чем опять заговорила Марджана:

— Помните мягкий вагон? Там ехал человек... Этот человек сейчас уходит, вы его знаете. Этого человека я думала, что люблю, и сошлась с ним. Это было унижение, а не любовь. Погодите, не отвечайте ничего, — не в том дело, что отношение к своей женщине, к партийке: сошелся и отошел, никаких обязательств, не в том, что он неожиданно для меня женился, — так, что я даже и не знала, и притом на мешаночке, на чужой, а в том, что тут не было любви, ничего не было, и омерзительна мне память об этом, омерзительна память о лишнем в жизни, ненужном. Омерзительно тащить в жизни, что не нужно было иметь. Я от этого мучаюсь, и никто не знает, отчего мучаюсь.

— Но ведь и нет ничего, раз не было! — голос рыжего прозвучал лаской. И голос и слова были так просты и так утешительны.

Айрапетьянц неожиданно проснулся: «Как это так ничего нет? В кармане, в газете...» Впрочем, тут же и заснул снова Айрапетьянц.

— Любовь идет долгими путями, ее никогда не надо форсировать, — продолжал говорить Арэвян, и Марджане показалось, что он отвечает не только на ее рассказ о себе. — Любовь надо очень беречь, очень очень беречь. Когда она есть — она есть. И неразделенная — она есть, и это очень большое счастье, очень большое благо. А о том, чего не было, — стоит ли вспоминать и мучиться?



Марджик засмеялась нервным, тихим смехом, чувствуя, как что-то, полчаса назад казавшееся ей похороненным, могуче встает вдруг из самой глубины ее сущности и переполняет сердце теплом и счастьем.

На том самом месте, где когда-то остановилась линейка, шофер ловко, на полном ходу, затормозил машину. Он долго прощался с ними и тряс рыжего за руку.

Когда Арно Арэвьян покончил, наконец, со всеми своими делами, — Марджик терпеливо ждала его, — он с узлом и рейками в одной руке — другую, свободную, протянул ей. И она взяла эту крепкую руку, и рядом они пошли по тропинке на участок.

## *Глава четырнадцатая*

### **РКИ НА УЧАСТКЕ**

#### **I**

Станция в глубине каньона краснела горстью нескольких черепичных крыш, за которыми не было видно поселка. Здесь почти не было сколько-нибудь большого движения, указывающего на близость населенного центра.

Справа и слева стоял каньон, исчерченный зигзагом деревенских тропок и крепким нажимом Чигдымского шоссе. По тропкам болталась ослиная кладь, под кладью семенили сухие ноги осла. По шоссе катились шары молоканских возов с силуэтом воткнутого в них кнутовища, словно ложки в воздушный пирог, — и это было все.

Было все, покуда пятой мамонта не вступил на станцию гидрострой. Тогда эта небольшая станция в ущелье с отголоском вечной, величавой бессонницы железнодорожного царства, с запахом нефти, возбуждающим, как алкоголь, со спящими вдоль перрона людьми на мешках, покуда неторопливо, к поезду, не подбрасывают люди мешки на плечи, с шелухой и бумагой, осаждающейся в виде атмосферных осадков, с грязными лестницами, грязным асфальтом, обшарканным залом буфета,



где тоже спит сон на длинных скамьях, пропахших до безнадежности ножным потом, с торопливым фонариком, бегающим, словно клопик, по полотну, и голосом, полным влаги: это вдруг ударит язычок в медное небо колокола, возвещая поезд, — эта небольшая станция за-разилась лихорадкой больших строек. Она внушительно обросла новыми для нее зданиями, расширилась, умножила рельсовые колен. Расти было некуда — ущелье теснило ее, но черепичные крыши побежали наверх, по склону. Время стоянки поездов здесь удлинилось. Увеличилось число железнодорожных служащих. Появилась внизу длинная деревянная контора, а в сущности — постоянная гостиница, где приезжавшие на гидрострой с вечерним поездом могли переночевать.

Но за последнее время и станция, обязанная гидрострою своим ростом и значением, подхватила лихорадку, перебросившуюся сюда со строительного участка.

Перебегая за своим делом по рельсам, железнодорожник, остановясь, мог бы сказать вам, какая последняя на гидрострое неприятность. За игрой в покер толстый начальник станции передавал партнеру, скрывая от него свое тайное удовольствие, очередной гидростроевский скандал. На телеграфе, где подоконник изрезан перочинным ножом, наподобие курортной скалы, увековеченной туристами, строчили возмущенную заметку о головоутиастве на гидрострое.

Гидрострой пришел на станцию портфелями командировочных, суматохой сотен приезжих, нечаянным окриком не по адресу, завалами накладных, грузом десятков вагонов, множеством лаптей и сапог, обалдело обступивших ларек и скудный буфет, где под тусклою лампочкой качается одурь позавчерашнего сморщенного от сухости барашка, — и все, что вчера еще казалось благом для станции, сегодня было встречено уклончивой усмешечкой железнодорожника, вспомнившего вдруг, что он — лицо другого ведомства.

У каждого ведомства, как известно, свои интересы. Между дорогой и гидростроем неожиданно вспыхнула борьба ведомственных интересов. Складской сторож, приемщики, артельщик ежедневно вступали в бой со



станцией, называвшей себя в сношениях с Гидростроем «дорогой». Дорога вцеплялась в простои вагонов, неправильные накладные, перевранные депеши, занятость телефонной сети, не прямо, а через белые квадраты казенных отношений; чуть ли не каждый день казенный пакет от станции втирался теперь в сумку чигдымского почтальона, чтоб проследовать на участок. Так отразилась здесь лихорадка, бывшая людей на участке.

Но в это утро, встречая тифлисский поезд, дорога как будто забыла ведомственный интерес.

Вот уже двое суток, как Аветис в кожанке и с ним три плотника из артели Шибко, при дружественном сочувствии дороги, жили на станции и беспрепятственно вторгались в станционную жизнь. Они залепляли телефонную будку, ведя по прямому проводу таинственные разговоры. Их видели на телеграфе, запросто, через плечо, заглядывающими под палец телеграфисту, когда принимал палец бумажную ленту с точками. Буфетчик нескончаемо мыл стаканы и отпускал чай и папиросы «на круг».

Начальник станции и прикативший на моторной дрезине помнач железнодорожного участка, возбужденно жестикулируя, самолично ходили с гидростроевцами по полотну и долго, покачивая головами, глядели вниз: внизу, у высокой каменной дамбы, отгородившей полотно от капризов Мизинки, лежал символ погибшего моста, несколько штук занесенных рекой и прибитых сюда бревен. Дамба, частично водой расковырянная, и брёвна, застрявшие в ее вымоинах памятью о мосте, — так и держались рядом, бок о бок, подобно неожиданному сговору гидростроя с дорогой. По непонятному распоряжению бревен отсюда не убирали и дамбу хранили как она есть — в неприглядной размытости ее серого, крепко потрепанного бока.

Тифлисский поезд опаздывал.

Туман был так силен, что утро, пронизанное красными точками фонариков, походило на ночь. Но в вечной и хлопотливой бессоннице крохотный мир станции продолжал свою жизнь, — он был форпостом строительства.



В это утро, как и всегда, старый замученный паровоз с собачьей судорогой понадергал из туннеля несметное количество товарных вагонов. От туннеля к туннелю весь второй путь был занят ими. Приход и отход товарных, неопределенность стоянья, дрожь их длинных старых составов и бесконечные аварии с ними были самым больным местом начальника станции. Вагоны скрипели, толкаясь, как люди в живой очереди, и требовался весь обычный моцион кондукторской бригады, свистки, беготня к машинисту, чтоб дерганье состава, наконец, прекратилось. Тогда выступил заведующий складом.

Забыв, что подходит долгожданный поезд, рукой махнув на всякие там поезда и людей в них, побагровевший от ярости, заведующий потрясал в лицо начальнику станции бумажонкой, массивным, но энергичным жестом крутил издалека голову вагонному проводнику и требовал немедля опростать вагон, — задерживать вагон было негде; но и принимать бочки, летевшие теперь вниз, на мокрую землю, тоже было негде. Терпеливые бочки с цементом ложились в лужи, терпеливый старый вагон с меловой отметкой стоял и скрипел, терпеливая грязная земля в лужах подхватывала бочки, — вещи ждали, чтоб их услышали, — и как раз в эту минуту на первом пути заблестели из туннеля два ярких, пронзительных глаза. Бойкий молодчина-паровоз с принаряженным хвостом пассажирских вагонов, шипя и свистя, вылетел из туннеля, зачавкал челюстью и, замедляя ход, как судьба, медленный и неотвратимый, подошел к затрясшемуся перрону.

Аветис поискал глазами единственный желтый вагон и впопыхах бросился к нему, но тут же и остановился. Внезапный страх охватил Аветиса: из вагона и в самом деле стали выходить люди. Верил или не верил Аветис в собственное могущество, вызвавшее вдруг из тумана этот поезд и людей в нем, но люди были реальностью, рано утром, в предрассветный час, они один за другим спускались из вагона, и людей было много — больше, чем можно было представить себе.

Кондуктор с фонариком стоял и ждал, а из вагона, опустив плечи, все выходили да выходили новые люди, —



в тумане колыхались портфели, кружились роговые очки, сверкнула кокарда на фуражке железнодорожника: пухло вылез бывший начальник строительства, товарищ Манук Покриков; за ним секретарь райкома; кого окончательно не ждали, вылез коренастый человек с серьезным лицом — главный инженер, прихваченный прямо с московского поезда; и, наконец, журналист с аппаратом.

Зайдя им навстречу, Аветис помахал над головой фуражкой.

Но приезжие шли мимо, не обратив на Аветиса никакого внимания; они шли мимо, держась особнячком, — шли мимо, как марширует — улица сама по себе, а он сам по себе — военный взвод.

Рабочие из артели Шибко и Аветис остались стоять. Они глядели вослед приехавшим со странным и неопределенным чувством; тут были, может, обида, а может, и нечто вроде конфуза; посильней, чем обида и конфуз, шевелилось неясное сознание, что теперь пошло дело всерьез, теперь само пошло дело, теперь покатилося, — а куда докатится...

Тревожный вопрос о качестве — о качестве всеобщей работы и в том числе их собственной работы — неожиданно встал перед рабочими и Аветисом.

## II

Приезжие, зайдя в станционное помещение, пробыли в нем недолго и, когда вышли, разделились: группа их с главным инженером прошла туда, где грузили бочки с цементом, а старик в кокарде, предводительствуемый сторожами с фонариками, медленно повернул к дамбе. Он был высок ростом, его большое, старое серое ухо, торчавшее над облезлым бархатом воротника, было наслушано ведомственной грызни. Ухо привыкло ко всякой всячине, ухом улавливал он сейчас поспешающий вслед за ним шаг помнача железнодорожного участка.

Уминая рукой непослушный, почти пружинный напор своих лохм, помнач развязно спешил к дамбе, но перед самой дамбой пал духом. В бледном, редющем тумане изрытое тело дамбы всплыло вдруг во всей своей



пространственной величине, как жалобщица на суде. В корявых вымоинах тощие бревнышки лежали подобные птичьим перьям. Напрасно откашливался помнач,— вещи заговорили прежде, чем люди открыли рот.

— Роль тарана,— выговорил, наконец, помнач участка, озираясь за поддержкой.— Вон таким образом...

Он для наглядности обеими руками взмахнул из стороны в сторону, чтоб изобразить гибельную роль моста, над которой они вот уже двое суток упражняли всей станцией свои возмущенные чувства.

— Дурака не валяй,— скучно произнес старик,— вам были отпущены на ремонт средства. Дамбу-то вы с прошлогодного паводка осматривали? Ремонтировали дамбу?

Он уже уходил, и помнач почесал под фуражкой. Помнач даже сплюнул на три бревна вниз и бесцельно, хотя и несколько успокоенно, как человек, которого сняли с акробатического шеста, побрел по перрону.

Шофер гидростроевской машины ждал гостей утро, ждал день, ждал до глубокой ночи,— гости сидели в конторе склада, сидели в станционном здании, ходили по полотну, и предатели-вещи поднимали им навстречу рванные лица бумаг, тощие лица исходящих, твердые рты засовов, жалкие руки поломанных ящиков, битой посуды, потерянной накладной. Вещи цеплялись за фалды начальника станции, цеплялись за хмурого заведующего складом, как водоросли за утопающего.

Шофер, хоть и заходил в буфет, но против обыкновения был молчалив, глядел в сторону, на вопрос нехотя бурчал ни тебе «да», ни тебе «нет», а так, недружески, что его дело — машина. Его дело — скажут везти, везу.

Аветис в кожанке долго чего-то прохаживался по перрону, но никто не имел надобности ни в его речи, ни в пометках, ни в указаниях Аветиса. Молча и в сомнении двинулись он и другие рабочие назад, на участок — предупредить Агабека.

Только к трем часам ночи, нервно позевывая, вышли люди со склада, но и тут они разделились,— секретарь райкома, бледный человек в роговых очках, остался, чтоб присутствовать на собрании ячейки.



Время остановилось; мимо темных бочек, тихого дождика, остова деревянных балок, недостроенного склада, мимо размытой дамбы люди, повесив голову, шли к комнате станционного клуба, где краснел кумач из угла, а люди были все те же самые: телеграфист, начальник станции, помнач железнодорожного участка, рабочие с базы, завскладом, помощник завпочтой... Первое звено цепи, как бусинка с четок, было ревизией нащупано, и первое звено оказалось вовсе не хитрой гипотезой о «таране»: халатность и нездоровые ведомственные отношения на станции — вот что отметили приезжие.

### III

Ежегодно, в определенные сроки, проводится плановая ревизия.

Она стала частью самих работ; к ней привыкли и ее ждут. Каждый отдел встречает ее прошпиленным докладом, цифры сгоняются к ревизии отчетами, подобно концу семестра.

Она имеет свой метод: сперва проникает в штаб, чтобы изучить управленческие папки, проверить бухгалтерию; потом продвигается в жизнь предприятия, обследует работу на месте, созывает общее собрание, слушает голоса людей и сама подает голос.

Но внеплановая ревизия, самый факт ее — неожиданный для хозяйственника. Внеплановая ревизия есть выражение недоверия, поднятая тревога, своего рода «руки вверх», — она застигает вас как снег на голову.

Естественно, что товарищ Манук Покриков был оскорблен, был унижен в лучших своих чувствах, был нервно расстроен. Нижняя губа товарища Манука Покрикова раздулась, как бывало с ним в нервные минуты. Потребность высказаться держала его весь этот день в лихорадке, и к ночи он не чувствовал никакой усталости; быстренько подходя к автомобилю, он думал про себя, тревожно косясь на приезжих: «Середнячки, мелкая публка!» Ни один из них не мог бы поспорить с самым младшим инженером из его управления.



Середнячки, кряхтя и позевывая от усталости, уселись с ним рядом. Главный инженер занял место возле шофера.

Ревизия ехала сюда впервые. Но как раз в этот период времени, когда правые уклонисты в партии мешали строительству и подрывали доверие к нему, на многих стройках появились общие недочеты и погрешности, вызванные одними и теми же причинами — медленным прохождением проекта, приостановкой строительства, трудностями финансирования, — и каждый из трех инспекторов руководился на практике знанием этих типовых ошибок. В пределах этого узла ошибок могло быть только «более или менее», и это более или менее падало на хорошее или дурное руководство, на большее или меньшее умение людей.

Они уже знали, что тут, как и на некоторых других подобных ей стройках, их встретит недоработанный проект, неутвержденная смета, ошибки первоначальных данных, притянутая наспех экономика; знали, что бараки будут течь, сапоги не выдаваться, клубная работа хромать или отсутствовать; знали также, что местное начальство будет желать, чтоб всего этого в полной мере не называли, из опасения лишить стройку доверия в центре и подложить свинью с кредитами, — но это знание их было отнюдь не программное, а скорей инстинктивное и практическое, какое бывает в пальцах или в ногах от привычки к одному роду движения.

Главный инженер, сидя спиной к ним, думал о том же, но совсем по-другому.

Шоссе пядь за пядью поднималось. Каждый вершок подъема отмечал падение речки, бежавшей им навстречу. Подъем шел крутой, и падение было крутое, — речка, маленькая и мелководная, набирала своим падением так много силы и энергии, как может набрать волей или талантом человек щуплый, больной и тщедушный.

Все Закавказье выбрасывало с вершин хребтов, с уступов ущелий, с высоты кочевков и нагорий множество таких речек, тощих и энергичных за счет падения, — лихорадкою этих энергий опоясывались внизу города и долины. Речки крутились, делали завороты, скачки,



пороги. Росчерки этих петель на плане можно было пересекать карандашом, высчитывая, где удобней взять и куда удобней бросить отрезок полученного падения,— всегда находились блистательные возможности.

И вот инженер думал о практике начатых строек, о душе этих речек, чьи фокусы стоили денег и времени; о тайне русел, дававших самые разнообразные комбинации грунта, иной раз расщелину в пядь шириной между массивными стенами порфирита, или глину под туфом, как было у них, или пеструю рухлядь на несколько десятков метров; о борьбе с валунами, похожими на мячи гигантов,— он думал о сумме опытов, что получится через три, через пять лет, когда их одиноким усилием, трудом тысяч еще не очень опытных, не очень обученных рабочих, скудной пока техникой, первобытной архаикой штанг, бедностью машин, оборудования, знаний и тяжестью условий для жизни в этих глухих местах, куда и доехать трудно, и хлеб перебросить трудно, и человека нелегко заманить,— будет достигнуто знание, коллективное знание, будет накоплен опыт, коллективный опыт.

Новым социалистическим опытом, новым знанием, величаво встающим навстречу, глядела на него со дна Мизинки владычица этих мест, будущая гидроцентральный. Говорить он не собирался и только сказал, немножко неожиданно для соседа и не очень громко:

— Проектирование отстаёт в силу целого ряда причин... Но мы исправляем проекты, мы находим новые решения.

Однако Манук Покриков не дал ему разговориться.

Товарищ Манук Покриков, как и все они, думал о тех же вещах, но думал опять по-своему. Чуть ли не с каждым метром шоссе делало зигзаг, шофер фыркал в темноту сиреной, замедляя машину, и, откидываясь на поворотах, товарищ Манук Покриков представлял себя самого рулевым. Он видел пройденный путь — как цепь собственных усилий. «Я», — мог бы сказать товарищ Манук Покриков.

Кто, кроме него, мог в такое время, когда со всех сторон шли слухи: в центре проект провалился, смета не утверждена, на месте чехарда с людьми, когда были



минуты — даже обыватель поговаривал, что курс на электрификацию оскандалился и дан лозунг попридержаться, — кто смог бы выполнить задачу: не развалить строительство? А деньги? Прищурившись и понизив голос, товарищ Покриков готов бы намекнуть на тонкое обстоятельство — связи. Случайное, но счастливое обстоятельство, — кроме него, ни один человек не смог бы достать деньги, а достать деньги, когда не утверждена смета, а на участке надо платить рабочим, материалы надо оплачивать, служащих надо оплачивать, инженеров в управлении надо оплачивать, — это вам не фунт изюма! Если б не он — тютю ваши инженеры, половину переманил бы Тифлис, слесарей не нашли бы днем с огнем, лучшие рабочие разбежались бы, ведь вы не представляете этого факта: удержать дело при совершенно неопределенном будущем, — и ответственность!

— Всю ответственность я нес, — проговорил Покриков.

На отдалении подвиг казался почти грандиозным, хотя он сложился из переговоров по телефону, мельканья в машине полноватых ножек в крагах, спешно всходивших по лестницам, из пожиманья рук, голоса, полного значительных интонаций, спешки, спешки из того, может быть, что сам товарищ Манук Покриков очень мало спрашивал себя и других, что такое Мизингэс и как он задуман.

— Я пять кило потерял за три первых месяца!

Вызов ревизии он считал актом злонамеренным:

«Завистники, раз. Склочники, два. Склочников у нас сколько хотите...»

Шофер, может быть, слушавший, не объехал камня, и машину крепко подбросило.

— Кого вы считаете склочником? — спросил один из членов ревизионной комиссии.

— Я вам не могу персонально указывать, кого считаю склочником, — он покосился на шофера, — но назовите вы нормальным, когда на важнейшую стройку в республике не находят более подходящих личностей, чем, скажем, местком — полуграмотный кожевник, да еще без профстажа, прямо с фабрики в предместкомы



такой сложной и ответственной стройки, как Мизингэс, да еще русского языка толком не знает? Я сам работал в Совпрофе, я два года был, если вам неизвестно, наркомом труда,— мне смешно было, когда указывали нам, управлению, на недочеты,— да я сам лучше них, если потребуется, укажу недочеты! Но, знаете ли, агитировать, палку в колеса вставлять, каждую бездарь, каждого бездельника, пустопляса на нас за ворот поднимать,— я вам документально представлю,— это вредительство!

Они уже подъезжали к участку. Главный инженер приподнял веки, да и шофер покосился вниз: всякий, кто видел место впервые, и тот, кому оно давно знакомо, вряд ли бы смог остаться равнодушным при въезде на участок.

Это был все тот же лорийский каньон, земля, развернутая веером, с прорытым в ней ходом неутомимой речушки; по земле, локонами на вызвездившем и уже бледном небе, стоял спутанный, редкий, еще голый лесок: объединенные козами мелкорослые деревья. Странным оскалом бежали вниз камни, играя, как зайцы в поле, без страха перед человеком: приседали на задние лапы, вытягивались всем телом, поднимали ухо. А внизу, выпятив вперед оскаленную пасть с натуженными каменными усами, торчком высилась среди них, как перед прыжком, присевшая гора Кошка.

— А это когда сделали? — улыбнулся главный инженер.

Им навстречу, блестя сквозь сумрак, горела на горе Кошке красная звезда.

Шофер замедлил ход, начав по-армянски рассказывать про Вартана с Гургеном, но не успел еще кончить, как машина мягко вкатилась в барачный городок. Коегде горел свет. Справа и слева пролетали бараки с пятнами освещенных окон. На высоких столбах качался свет; только темные окна конторы да верхних барачных спали; и хотя на участке, как всюду на земле, было много припавших собак, живших по темным углам возле ящиков с мусором, эти собаки не выскочили и не залаяли,— деревенский стиль в этом месте был отменен даже собаками.



#### IV

Агабек не ложился вовсе. Глаза его в синих кругах воспалены от бессонницы. Большой костяк, нездоровое тело, которому не дает он ни сна, ни отдыху,— измучено вконец.

Но экзальтация держит Агабека, он отдал себя целиком; каждый, кто в его комнату входит, смотрит на Агабека жадным взглядом, каким человечество глядит на своих вожаков,— Агабек принимает с чужих плеч тяжесть.

Комната, где он живет, жильем почти не пахнет. Любой на участке, даже сезонник, обживаетея в своем углу и заводит подобие уюта, хотя бы это был кирпич в печке для поддержания тепла или махорка в газетной бумаге, сунутая под тюфяк. Но одинокий горбун, охваченный чувством катастрофы, с некоторой поры и вовсе перестал думать о течении жизни: он не снимал сапог, не ложился на койку; серый кот с обкусанным ухом, питавшийся самостоятельно, был охвачен тревогой, как перед покойником: кот, задремав, вздрагивал, раскрывал во всю ширину голубые глаза, менял место, перестал мыться. Кот прыгнул без видимой надобности с подоконника вниз, снизу на табуретку — подоконник и табуретка были пусты, чашка и тарелка стояли пустые, календарь на стене висел задним числом, комната была теперь холодней и запущенней месткома, где так и не повесили до сих пор двери.

Но и в этой комнате, как в месткоме, стоял тот же тонкий и острый дух, он исходил от самого Агабека, и только он был реальностью. Дух был — никак его не определишь, любившие Агабека безошибочно знали его. Так пахнет, быть может, полное нервное истощение,— тело, дошедшее до отказа, до забвенья себя,— тонкий, как ладан, запах кожи, сгоравшей от вечного внутреннего жара.

На полке серой пылью покрылись книги. Агабек перестал читать. Он это сделал сразу: буквы шли медленно, требовали условности, навязывали и не отвечали,— он их прихлопнул, держа в руках книгу обеими



ладонями, словно мух раздавил, и после этого не читал. Газеты так и не забирал из конторы, они накапливались, и уже исподтишка все, кто был незастенчив на руку, тащили его газеты.

Когда стало известно о приезде ревизии, люди зачастили к нему еще шибче, и в эту ночь сюда заглянул чуть ли не весь участок, оставляя после себя новый предмет жалобы,— в папке Агабека были особые листы, куда он заносил кривыми буквами, по-армянски, доводы жалобщиков,— мост имел особый лист, кооператив особый, компрессор особый, отводный туннель...

Впрочем, с отводным туннелем вышла целая история: когда Фокин прослышал, что Агабек ведет списки жалоб, он ворвался к нему с поднятым кулаком:

— Ты кого слушаешь? Аристид Самсонов слушаешь? Ты лучше скажи, где Аристид Самсонов околачивался, когда мы перемычку спасали? Ты мне Аристид Самсонов покажи, чтоб он мне пожаловался, мне самому, вот я тогда послушаю Аристид Самсонова!

Утихнув, Фокин сел и вытер пот. Он сказал Агабеку: «Стыдись». Ему времени не было разбираться, потому что все три дня, как прошла большая вода, Фокин дрожал за отводный туннель — выдержит ли перемычка, и только и видели его в бараках: ночи и дни безотлучно проторчал Фокин с горстью рабочих, отстаивая перемычку, но работа и без того была хороша.

Почти законченный — последнее кружало сегодня сняли — туннель, гордость Фокина, не пострадал. Он стоял сияющим жерлом пушки,— маленькая, очищенная от лесов, стройная деталь целого, она одна, можно сказать, и говорила за постройку, а через неделю пусть хоть все воды с Мокрых гор войдут в него,— достроен туннельчик!

Весело и с прибаутками новый рабочий, с необычным для здешних мест и редким названием «сопловщика», ловко орудовал соплом, засыпая из пушки сухим, гороху подобным, дождем цемента ровные, вогнутые бока и небо туннеля: он торкретировал... Это была последняя операция.

— Лучше бы ты зашел да посмотрел, что за штука торкрет, да увидел, как рабочие рты поразевали, да по-



думал насчет повышения квалификации,— соплом, брат, орудовать научиться — это не папиросу курить. Я сам учусь. Я...

Тут Фокин, перегнувши к местному свое круглое, веснушчатое, как у девочки, лицо, задушевно и чуть стыдливо, как иной о любви, и зачем-то понизив голос, спросил Агабека насчет лаборатории по бетону,— смотрел ли внизу Агабек лабораторию по бетону?

— Интересная штука — бетон!.. Сходи послушай грузина. Лет через десять... Эх, Агабек, если б мост не подвел, да ты знаешь, будь оно проклято, как нам этот проклятый мост влетает?! Если б не подвел мост, нам бы уже развернуть лабораторию, нам бы как раз время к напорному туннелю приготовиться. Я, знаешь, решил в будущем на бетоне специализироваться. Лет через десять...

Агабек и сам не знал, почему визит Фокина перед самой ревизией раздражает его. Он хотел попрекнуть Фокина, но не нашел слов. Лексикон Агабека был беден, «аполитичный» — вот слово; в такую минуту, когда идет борьба, когда класс отстаивает себя, когда старый мир в атаку идет на советскую стройку, в такую минуту не время насчет бетона разгораться,— но ничего этого он не мог сказать, потому что слово «аполитичный» было ему незнакомо ни по-русски, ни по-армяноки.

— Это хорошо, что приедет РКИ,— сказал вдруг неожиданно Фокин, поднимаясь с табуретки,— очень хорошо! Подтянет публику. В другой раз неповадно будет такие мосты строить.

— А! Дошло до твоей шкуры, так и ты,— мрачно блеснув в него воспаленным взглядом, сказал Агабек.— Мост, я считаю, последнее дело. Спасибо — он нам помог...

Но Фокин не слышал, он уходил. Он оставлял Агабека в самую острую минуту разговора,— и все оставляли его, не договорившись.

Опустив вниз голову, на свои бумажки, на папку с жалобами, Агабек вдруг почувствовал легкое похлопывание на плече,— это серый кот тревожно взбирался к нему, беспокойно расширяя зрачки. Агабек снял кота,— кот был особенный, не любил ласки и не часто шел к



человеку. Он был прокусан в боях с крысами, слегка лыс в том месте, где ранено ухо; шерсть его загрязнилась, хвост был тонок и стар. Но сейчас, переживая тревогу, кот не уходил, а скребся когтями у самых ног Агабека.

Даже себе самому не хотел бы признаться Агабек, что грызет его.

В первый период борьбы он знал, за что и против чего; он объяснял, как все объясняли,— мало ли где неправильно поставлены работы; но вот уже несколько дней, как Агабек упал духом.

Веру, что его услышат и положение изменится, он потерял. Бессонные ночи, недомоганье, возвратившийся к нему кашель, ночами не дававший покою, замучили его. Он сидел вот так, голова в руки, упорно уставясь перед собой в одну точку, да если б и не было фактов — фактом вставляли перед ним темная боль в голове, темный поток мыслей и непослушные руки, беспомощность пальцев,— ах, он так мало знает, каждый, кто хочет, обойдет его, посмеется над ним, он не в силах ни определить точным словом, ни разорвать паутину, душившую его: малограмотен, вот в чем беда! Как хотят, так и вертят, чего надумают, того и поднесут; кто их проверит,— баре, баре, вот они кто! И ревизия, которую он ждал, которую сам же и вызвал,— какой там черт ревизия! Кому надо прикажут, головами покрутят между собой, вот оно и будет ревизия.

Может, заболел Агабек. Может, есть такой изворот чувства, раковая опухоль мыслей, когда все существо человека теряет ось, дает крен в одну сторону, видит и слышит одну половину,— тогда торопись помочь человеку, чтоб не покатился под гору, не погиб парень.

Но уж во всяком случае не начканц, Захар Петрович, поторопился бы помочь человеку!

Начканц тоже не спал, хотя для видимости, чтоб спрятать концы, делал работу не в конторе, где с вечера было темно, а у себя на дому, с Володей в помощниках, при густо завешенном окне. Он приводил в порядок счетные книги, спешно заканчивая сложную отчетность, сверяя цифры со свежим листиком из блокнота, куда были



наспех занесены какие-то хитро прикинутые знаки,— избави бог, если подумает кто, что прикидывал и заносил их Захар Петрович вполне самолично и на свой страх.

Тоже и грех сказать, что вполне спокоен был Захар Петрович и в сознании своей победы. Наоборот, он был неспокоен, был нехорошо бледен, давил отрыжку, хоть и не съел домашнего ужина, оставленного с вечера Клавочкой на подоконнике: отрыжка, полагать надо, была с ним на нервной почве. Еще с вокзала товарищ Манук Покриков, уважавший начканца, звонил ему и говорил, что приедет, а зараз спрашивал насчет того и другого.

К утру он надеялся докончить работу. Сложные вычисления касались тех самых графиков, о которых он вспомнил еще у моста, когда погибал мост; вычеты стоимости спасенного дерева, разный другой непредвиденный момент, новая статья, не включенная в прежний список,— мост, прикинутый на счетах, облегчался от лишнего груза рублей и выплывал если не вовсе младенцем, то значительно — по собственному определению Захара Петровича — «дешевше».

— А и пущай надсаживаются, пусть клязуют,— говорил он в процессе работы верному своему помощнику Володе,— пусть-ка шиш с маслом выкусят! Да еще помни: отблагодарит ревизия строительство за дешевку!..

Когда машина подъехала, он приподнял краешек оконной занавески и глядел на прибывших. Они поднялись на ночевку в барак для приезжих, а там, распоряжением начканца, с вечера жарко топила Марьянка, застлала постели чистым, от клопов посыпала порошком, самовар и все прочее — ни о чем не позабыл Захар Петрович. Выспятся гости, утро вечера мудренее.

Он увидел, как товарищ Манук Покриков, проводив их, сам завернул в сторону — ночевать к начальнику участка; и начканц, забрав кое-какие бумаги да без шума накинув пальто на плечи, двинулся туда же.

— Ты, Володя, в случае чего беги спроси меня. Не попорть бумагу. Я к Левону Давыдовичу минут на десять, на двадцать, а уж ты — сделай милость.

— Да я и так, Захар Петрович, в поте лица!..



Два дня комиссия РКИ не выходила из конторы,— и тут впору было вспомнить рыжего, хотя лавры его пожал начканц. Архив гидростроя, входящие и исходящие, переписка — все было в образцовом, удобном для обозрения порядке.

Из сметы, кроме стоимости погибшего моста, работы не выскочили, и к концу второго дня было ясно, что бой пойдет из-за перерасхода на мост, а насчет моста товарищ Манук Покриков не беспокоился. Трое инспекторов делали свое дело не очень поспешно, их почти не было видно. На третий день, рано утром, ревизия вышла из конторы.

Группа людей, в окружении рабочих,— в пути на-леплялись все новые и новые попутчики,— двинулась вниз к мосту, вернее к тому месту, где прежде стоял мост. Усилиями этих нескольких дней мост был уже разобран до последнего бревнышка и материал аккуратно сложен.

Вода еще не спала, сообщение с другой стороной велось по гидрометрическому мостику, и нарушенное равновесие работ уже дало о себе знать: по эту сторону для прибывающих материалов не хватало складских помещений: бочки с цементом, те, что мокли на вокзале, повидимому, и тут не могли быть желанным гостем,— а левобережный склад пустовал.

Навстречу ревизии шел специалист по бетону, и по нем тоже видно было, как сильно его зарезал мост,— лаборатория, точнее здание лаборатории, была на том берегу, а прибывшее оборудование, без крыши над ним, под жалкой защитой брезента валялось на этом. Мкртыч, ухмыляясь во все свое круглое лицо, под терпеливой рукой грузина, самолично ему помогавшего, набрасывал на спину связанные веревкой, вложенные один в другой квадратики открытых ящиков с решетчатым дном,— Мкртычу невдомек было, на что нужны людям еще и эти диковинки. Мкртыч с величайшим трудом привык к вертушке и батарейке гидрометра, потом он месяцами привыкал к шаганию треножников и теодолиту; и сейчас снова навьючили на Мкртыча несооб-



разные, ни на что не похожие вещи: качели на цепях, сита огромных размеров, кубики вроде тех, какими дети из песка пироги лепят.

Кивком поздоровавшись с прибывшими, грузин повернул толстяка Мкртыча лицом к реке и, придерживая рукой его груз, зашагал с ним рядом обратно: так они сделали уже три рейса.

На впечатлительного человека вид разваленного равновесия, архаизм этих сношений берега с берегом, опасность и медленность перехода по тонкому, финскую лыжу напоминающему мостику на тросах, удаленному от места работ, должны были сильно подействовать — сильнее, чем все письма и донесения, скопившиеся в папке у РКИ.

Почти болезненно поджал губы главный инженер, покосившись на это. Он шел несколько в стороне, заложив руки за спину, и, должно быть, крепкое слово застряло у него в горле.

С каменным лицом впереди шествия двигался за неделю отошавший Левон Давыдович. Его шукастый профиль был непроницаем ни для чьего глаза. Он отвечал на вопросы и делал жесты. Голос его был писклив. Левон Давыдович загадкой для окружающих в эти дни как бы превратился в тряпичную куклу, в автомата. Нашитыми бусинками казались его глаза: так мало понятно было их неподвижное выражение. Он точно прислушивался в разговоре и в полной тишине к чему-то, похожему на условный сигнал,—и не получал его, но рабочие и даже Сан Саныч, чья рука горсточкой торчала сейчас над глуховатым ухом, называли про себя невразумительное состояние начальника участка «толстою кожей».

— Вот вся наша работа за полгода, сами видите,—задыхаясь от несомненного торжества, потому что картина сама за себя говорила, сказал комсомолец из дизельной.

Он шел в своей группе — Аветис, начмилиции Авак, несколько рабочих,—и на этот раз они держались по правую руку ревизии.

— Шесть месяцев готовились к капитальному строительству! Теперь бы к стройке приступить, а...



— За стихийное бедствие инженер не отвечает! — возвысил вдруг голос старенький Сан Саныч; он неожиданно для себя услышал слова комсомольца. Радостный факт услышать чужую речь сам по себе взвинчивает тугих на ухо, а тут был, кроме того, и новый начальник строительства. Сан Саныч, тишайший на участке, подняв палец кверху, заговорил:

— Вы почитайте, молодой человек, труд Сюрреня, классический труд, «Les ponts dans les Alpes», — французское название он произнес очень нарядно и в нос, — и тогда вы узнаете, что мосты на горных речках — проблема сложнейшая для строителя. Горная речка опрокидывает все расчеты. Вы сами слышали, высокий паводок здесь бывает в сто лет раз, а нынче мы имеем его два года подряд.

— Насчет паводка!.. — свистнул комсомолец.

— Паводок паводком, а мост мостом!

— Сами не младенцы, знаем, каков был паводок!

— Товарищи, разрешите, — парень в майке выскочил вперед. Парня подталкивали сзади под ребра, — разрешите два слова! Мы тоже считали, когда прошел паводок.

— А ты, паря, акт подписал?

Саркастический голос принадлежал начканцу, Захару Петровичу. Он тоже был тут. Вездесущий начканц незаметно шагал и все слышал, все видел, но обезьянье лицо его, простецки и даже добродушно ослабленное, ни следа уже не носило беспокойства или нервов каких-нибудь. — Акт, говорю, подписал?

Сказав так, он подмигнул окружающим — дескать, слушайте, слушайте, срамота будет, и в подмигиванье была крепчайшая уверенность, что все присутствующие, в ком мозги шевелятся, так именно и мыслят обо всем происшедшем, как он, Захар Петрович, — акт, этот главный показатель, все, что осталось от разобранного моста, должен был открыть ревизии чистую правду, как она есть, — акт же подписали все. Да, жалуйся не жалуйся, доноси не доноси, а вот так оно и вышло, что акт, составленный в момент гибели моста силами и напряжением Захара Петровича, был подписан чуть ли не



всем участком, да и самими жалобщиками. Зная вес документа, Захар Петрович подмигивал.

Но жалобщики не ставили документ ни в грош.

— Что с того, ну, говори, что с того?

— Да ты ответь перво-наперво, подписал или нет?!

— А я тебе возражаю, гражданин, что с того?

Парень в майке взвился улыбкой:

— Есть такие разные обстоятельства, при которых подписываешь... Нажим бывает, уговор общий бывает, а еще бывает «дипломатическая необходимость»...

Он запнулся слегка, его глаза-черносливы налились напряжением: так ли и уместно ли слово сказано? Они подписали официальный акт, чтоб выиграть время. Предместком Агабек, придя в контору, тоже подписал акт,— большая, неровная смесь силы и беспомощности, подпись Агабека, где по старой карабахской привычке, воспитанной от соседства с мусульманским востоком,— Агабек был карабахцем,— он ставил только согласные, выбросив гласные на произвол читателя:

Гбк

— эта подпись была до сих пор величайшим трофеем начкянца.

— Ну, голуба, это ты нам лучше не рассказывай, придержи язык за зубами,— медленно отозвался Захар Петрович, словно кулаком взмахнул, чтоб верней выбрать место,— за такие дела людям высылку дают. За такие дела ты об себе, как об юридическом фрукте, докладываешь. Мы тут, на строительстве, не в пятнашки, да будет тебе известно, играем. Понял?

«Мы вынуждены были подписать явно подтасованный акт, чтоб выиграть время и посмотреть, куда клонит администрация»,— так, склонив голову набок, выводил Амо из дизельной при молчаливом согласии товарищей: «Прилагаем за нашей многочисленной свидетельской подписью настоящий акт, что мост по часам тронулся в шесть сорок, а в то время паводок был от силы двести тридцать кубометров, в чем может засвидетельствовать сам гидрометр Ареульский...»

Ревизия РКИ хранила этот документ, как и много других, у себя в папке.



Почти с недоумением выслушивал, руки за спину, всю эту перебранку главный инженер, хотя недоумение его было обращено не на бранившихся. Он глядел насупленным взглядом на товарища Манука Покрикова, ожидая от него слов или поступка, требуемых минутой, но товарищ Манук Покриков был красен, как кумач, красен, как страдающий насморком, слезы бешенства закипали в его круглых глазах; когда, наконец, он прорвался, это было продолжением перебранки:

— Потрудитесь, Левон Давыдович, раскрыть портфель... Тут нашлись люди...

Покриков задышался. Почему слушает РКИ голословные выпады? Невежество берется судить, — невежество простить можно; но когда вмешивается явный умысел, явное склочничество, вы слышали — фальшивое свидетельство, обвиненье в лицо всей администрации...

— Я должен сказать, что по адресу моста допускались такие ребяческие, такие невежественные суждения, бабьи ахи и охи, — участок повторял не критически, что болтают плотники или лорийские аробщики. Следует...

Они дошли до механической мастерской. Красавчик Вартан вышел навстречу комиссии. Здесь, в большом светлом помещении, стульев почти не было, но комиссия вопреки всем правилам расположилась на ящиках — и вокруг нее, притесняясь все гуще да гуще, сели и стали разгоряченные люди с багровыми взволнованными лицами, кровью налитыми глазами.

Левон Давыдович жестом автомата положил портфель перед бывшим начальством. Сказать по правде, Левон Давыдович и его странное поведение из себя выводили и начканца и товарища Покрикова.

В сущности главным лицом, против которого направлены обвинения, был именно он. Мост был его работой, гибель моста на его совести, ненависть рабочих — к нему. А вместо помощи Левон Давыдович — хуже колпака был Левон Давыдович с его пассивными, деревянными жестами, с кашне вокруг шеи, руками в перчатках, щучьим лицом — заснул человек стоя: манекен, а не личность!

Мысленно и начканц и Покриков честили начальника участка чуть ли не одними и теми же словами.



Было и в самом деле загадкой поведение человека, считавшегося до этих пор задирой в принципиальных технических вопросах. Бояться ему вряд ли и было чего. Щелкнув застежками, товарищ Покриков раскрыл портфель.

Если прогулка по месту работ и слова, брошенные на ветер, были величинами в ревизии невесомыми и относящимися скорей к понятию «атмосферы», то здесь, в портфеле, были собраны вполне весомые — больше того, веские — доказательства, обелявшие начальника участка и его злополучный мост.

Здесь был прежде всего проект моста, прошедший четыре авторитетных инстанции, — четырежды оправдан был автор проекта. Здесь были солидные справочники, монументальные книги, большие, хорошие издания со множеством иллюстраций и чертежей, учебники с датой текущего года, — только вот так, гуляя, как обыватель, по тропинкам да слушая ерунду, можно представить себе дело, солидное дело, начатым сбухты-барахты, без огромной технической культуры, без того, что зовут традицией, школой, опытом... В управлении у товарища Покрикова не зря работали лучшие специалисты.

— Мостовое дело... — начал пренебрежительно Покриков, но тут его перебил председатель комиссии, огляделся, что-то спросил на ухо у соседа, а потом поднял руку: он предложил до начала беседы послать за отсутствующим, чье имя неоднократно упоминалось сегодня — за гидрометром Ареульским.

## *Глава пятнадцатая*

### **МОСТ**

#### **I**

Белые стихи, нечто вроде того жидкого и слитного состояния, в какое впадают тела подогретые, были далеко не единственным признаком заболевания Ареульского. Человек сдает в иные минуты, как сдают, скажем, головки гвоздей или веревки от качелей.



Это началось со странной ритмической прозы, — гидрометр вдруг начал писать ритмической прозой. Хорошо, если б ограничилось письмом к матери: «Мать дорогая, тебе адресует твой сын злополучный, брошенный в вихрь необъятных и тягостных сердцу сомнений...» Но ритмический стиль полез в таинственный, в высшей степени важный документ, над которым собственно и заболел Ареульский.

К мысли об этом документе, о необходимости создать таковой документ он пришел в результате многих роковых обстоятельств. Начать с самого вечера паводка. Вначале, как отметил сам Ареульский в вышеупомянутом документе, он:

«безумно доверчивым был и ответ без заминки давал».

Но и более крепкий мозг не выдержал бы того, что пришлось в этот вечер пережить Ареульскому. Гидрометрия, дотоле никого не интересовавшая, гидрометрия, униженная и оскорбленная, или, еще крепче, оплеванная в его лице, когда, как говорилось в документе:

«жалкий какой землемер помощника вдруг возымел», а он, Ареульский, был предоставлен работать в стихийную и ответственную минуту не с кем другим, как с невежественным Мкртычем, — именно эта униженная гидрометрия и превратилась вдруг в центр вселенной.

Красноречиво рассказал Ареульский в своем документе, заимствуя отчасти из Байрона, отчасти из Безыменского эпитеты и обороты речи, как странные фигуры в темноте обступили в грозу и молнию его зыбкий ночной пост и ехидно задавались целью выудить у него цифру паводка. Только в ту минуту и понял Ареульский все роковое значение собственных ответов. Тогда именно он сменил «безумную доверчивость» на «темную догадку». А иначе сказать, Ареульский понял, что цифра паводка имеет какое-то особое и решающее значение для всей будущей судьбы людской, цифрой паводка хотят воспользоваться, чистый научный факт хотят сделать жупелом и оружием для всякого рода «личностей». Поняв это, Ареульский устранился великой и необычайной ответственности, ниспадавшей на него, и вот



тут-то, по словам первого и единственного свидетеля, невежественного Мкртыча, Ареульский и «тронулся».

Человечество не должно было оставаться без обличающего этот важный момент документа, а также без цифры паводка... Цифра паводка...

Определить точную цифру паводка дело было, конечно, нехитрое, если иметь точные данные, но точные данные — кто мог ручаться за полную точность данных? Можете вы поручиться за точность свешанного в магазине сахара? Можете вы поручиться за точность накапанного в рюмочку смертоносного лекарства? Сейчас вам кажется — двадцать пять, а через секунду — двадцать четыре, и нет гарантий, что не двадцать шесть, — точность есть нечто в высшей степени неточное, особенно если стоят над вами с ножом к горлу.

Расшатанный мозг Ареульского не вынес. Ночью, после того как подписан был акт, где цифра паводка, отнесенная к приблизительному периоду времени, указана была в приблизительном колебание от четырехсот до пятисот кубометров в секунду, — Ареульский в холодном поту постучал к местному.

Занкаясь и шепелявя, он признался, что абсолютных гарантий он дать не может. Говорил ли он в вечер паводка насчет двухсот двадцати пяти кубометров? Говорил. Было ли тогда шесть сорок? Возможно, и было. Не в том суть, что говорилось, а в позднейших, более сложных исчислениях... Движение воды, как настоятельно повторил Ареульский, имеет место по параболе, и если исчислить...

Он взял себя пригоршней за лоб. Глаза Ареульского приняли совершенный испанский стиль. Он человек науки, он не хотел быть участником заговора, но подпись на акте... Мог ли он поручиться? Нет, Ареульский поручиться не мог.

С той поры гидрометр засел дома в чрезвычайной, одичалой задумчивости. Он знал, что за ним пошлют. Видимый мир нуждался в нем, зависел от мозговой операции Ареульского. Небритый и важный, с отдельными, выросшими выше нормы седыми волосами в черных бровях, — раньше Ареульский пинцетом выдергивал эти волосинки, — в дождевом, даже в комнате не снимае-



мом, плаще, исхудалый, он торжественным голосом промолвил «войдите», когда к нему постучались...

В ожидании Ареульского перебранка насчет моста разгоралась все шибче. К товарищу Мануку Покрикову с его портфелем притеснились, — он стоял в окружении возбужденных людей.

Сбегав куда следует, парень в майке уже приволок главного свидетеля, плотника Шибко. Свидетель, расчесывая указательным пальцем иконописную бороду, спокойный, как статуя, выжидал минуту. Но начканц не мог этого оставить. Начканц иронически тряхнул свидетеля, употребив старинный парламентский способ опорочивания:

— Уж ты-то бы помолчал! А кто жуликом деньги по копии слямзил?

Плотник спокойно повел голубыми с поволокой глазами и высвободил плечо из-под начканцевой руки — за него ответили из угла.

Тут такие слова пошли, что самого Захара Петровича скрутило, — пошли слова насчет копий и подстирок, насчет казенных денежек, которые плачут, насчет убытку, а насчет убытку загнулось и нашим и вашим: в воздух, словно мяч, полетели козыри.

Начканц допытывался: «А ну, какой убыток от моста?» — и, посмеиваясь со злорадством, метнул для посрамления противника настоящую цифру; но противник, обученный участковым экономистом, комсомольцем из дизельной, отпарировал: «Ты считай убыток плюс сумма от простоя, от теперешнего развала работ, от задержки, причиненной гибелью моста...»

Не дождавшись гидрометра, товарищ Покриков в нетерпении сердца обернулся к членам комиссии. По его мнению, раз зашла речь, с недоразумением пора покончить. Он попросил, чтоб раз навсегда, вот сюда, перед ним, — кулак Покрикова обрушился на портфель, — выложили все, что говорят и думают о мосте рабочие. Не за спиной, пусть скажут в лицо, — левой рукой он нашарил в кармане закладочку: в закладке стояли пометки, цифры страниц и названия книг. Товарищ Покриков знал, что по всем пунктам он посрамит невежество.



Тщетно стали бы сейчас задерживать стихийно собравшуюся публику. Через час в клубе должно было состояться общее собрание. Но уже все, весь участок, за исключением женской его половины, занятой в кухне и по службе, был здесь, напирал в двери механической, ждал за дверьми.

Сам Степанос, лихорадочно потирая длинные малокровные ладони, дышал воздухом назревшей бури, он явно беспокоился и был необычно бледен. Был тут и секретарь ячейки, дотоле никем не замеченный. Сам Фокин пришел из туннеля, — работы повсюду остановились.

Переглянувшись, члены комиссии сделали то, что уже само собой сделалось, — они объявили в механической мастерской общее собрание.

Роль стола сыграл ящик, поставленный на станок. Белый, из кармана Степаноса появившийся лист лег на стол. Молоточек заменил звонок. Председатель комиссии РКИ, до сих пор, как и другие два члена комиссии, как будто ничем не проявивший себя, приподнялся.

Но здесь к слову сказать о членах комиссии РКИ, мысленно названных товарищем Мануком Покриковым «середнячками» и «маленькими людишками».

Опыт множества проведенных ревизий дал этим людям ту спокойную силу действия, какую зовут философы «единством метода». Глядя со стороны, да еще очками европейца какого-нибудь, очками слепца какого-нибудь, воспитанного на делах судейских и на книжечках, где ведут следователи разбор всяких острых и таинственных случаев, — глядя вот этак со стороны на слова и действия трех инспекторов, — и впрямь можно было пожать плечами: дескать, что же, мелко, товарищи, — никаких с вашей стороны талантов допроса, подковыристых штучек, тайной беседы с напуганным человеком с глазу на глаз, для беспристрастного показания, никаких, дескать, умных и хитрых моментов в ревизии... Но, однакоже, так мог бы подумать только чужой человек. А своя публика, приглядевшись, неминуемо бы почувствовала во всем поведении комиссии то, что я назвала выше «единством метода».

В чем был метод? В умение дать говорить фактам.



Люди и цифры, вещи и явления, психология и обстановка во весь голос, перебивая друг друга, разгоряченно заговорили вдруг на участке, обступив трех молчаливых людей, державших покуда мнение свое при себе.

Только одним ясным признаком и сказался, быть может, председатель комиссии. Кто привык взвешиваться на медицинских весах, знает уверенный жест, с каким опытная рука фельдшера или сестрицы, дав поколебаться весам, находит верный момент, когда прищелкнуть затвор и остановить качанье, чтоб доложить вам о вашем весе.

Вот это умение, полученное от долгого опыта, во-время щелкнуть задвижкой на бесконечно тонких, тончайших, нескончаемых качаниях вверх-вниз обступившего вас материала, умение остановить поток фактов, сказать «довольно», когда вес явления найден, — вот это и было личной заслугой человека, стоявшего сейчас выпрямившись, с бумажкой в руке, и повернув безволосое, внимательное и простое, морщинами тронутое лицо в сторону собравшихся.

Он прочитал повестку и объявил общее собрание открытым.

## II

— Товарищи!

В повестке дня:

- 1) Вопрос о мосте.
- 2) Слово предместкома.
- 3) Слово секретаря ячейки.
- 4) Доклад главного инженера.

Выступления, товарищи, без предварительной записи, в порядке живой очереди. Кто имеет сказать относительно моста, переходи налево... Дай перевод, товарищ!

Когда взволнованный голос, переводя речь на армянский, умолк, наступила на несколько мгновений нервная и возбужденная тишина, и в ней каждый сильнее почувствовал важность того, что должно быть сказано.

Несколько раз скрипнула дверь — входили запоздавшие. Зеленовато-бледное лицо Агабека застыло у самой стены. Появившийся Ареульский через всю толпу мрач-



но проследовал к президиуму и остановился, потому что сесть было негде.

— Эх,— сказал Фокин довольно громко,— жаль, Арэвьяна нет!

Даже и в этом сказался самостоятельный нрав Фокина: жалеть рыжего на участке не смели. Соединенным усилием участковых дам рыжий прослыл таинственным беглецом, преступником заграничного калибра. Одни говорили, что он перешел с пулеметом персидскую границу; другие — что, будучи дашнакским агитатором, снял ответственному лицу, по поручению иностранного капитала, вместе с шапкой голову; третьи — что под видом архивариуса он собирал шпионские сведения; но убедительней всего говорили факты: повестка из чигдымского угрозыска и обыск, который будто бы, по уверению местных дам, хотели произвести в помещении рыжего. Не удался обыск потому только, что помещения, как и вещей, у Арно Арэвьяна в сущности не оказалось, а это наполнило участковую публику и само по себе почти мистическим ужасом.

Один Фокин плевал на слухи. Угрозыск или не угрозыск,— дело разъяснится просто, а по его мнению — Арно Арэвьян был хороший парень,— он самолично даст ему рекомендацию.

Приглядевшись сейчас к движению толпы, Фокин озабоченно встал и тоже двинулся: он шел налево, где набиралась своя публика. Тут был иконописный Шибко с указательным пальцем в бороде, был начмилиции Авак, был молоденький рабочий, последний тихоня на участке, и немало других. Каждый из них ждал минуты, когда придется сказать о мосте.

— Слово принадлежит товарищу Шибко!

Плотник вышел вперед, ставя ноги в сапогах разбивочкой, медленно, по-деревенски. Издалека он казался важным. Лицо плотника, строгое и картинное, глаза, вскинутые под потолок, палец в бороде — не подведет парень, сейчас видно — себе на уме человек. Собрание, в предвкушении больших и веских событий, разволновалось, тем более что Шибко перед речью помедлил, как бы нахватываясь воздухом.

Но вот минута прошла, а Шибко все помалкивал.



Тишина стала беспокойной. Шибко помалкивал, хотя все знали, что насчет моста он собаку съел. Шибко помалкивал — саркастическая усмешка тронула пухлые губы Манука Покрикова, сидевшего в президиуме. А Шибко помалкивал не случайно.

Не то чтобы он растерял слова или струсил: он помнил очень хорошо все, что хотел сказать, но в эту минуту непредвиденное и большое затруднение ощутил плотник Шибко: слова его, загодя приготовленные, нуждались в том, чего не было: в видении гибнущего моста. Главным доводом для тех, кто видел гибель моста, было седьмое чувство; а повторить, что тогда знал и всякому мог передать, — в обстановке механической мастерской, где благоухают пылью и жестью спокойные стружки, где стоят станки, где солидно пачкает металлическая пыльца, где ничто не напоминает ту ночь, — повторить эти доводы оказалось неимоверно трудным.

Шибко молчал и вдруг, выдавая себя, этот крепкий и величественный человек переминался с ноги на ногу. В самом конце мастерской местком Агабек опустил низко голову, — он переживал его стыд, как свой.

Товарищ Манук Покриков встал. Он сделал ручкой, подманивая к себе свидетелей против моста: да ну же, ступай вперед, иди, кто собирался, ближе иди! Он выжидательно и даже ласково нацелился на тихоню-рабочего, пристально, в упор, взглянул на Авака, — товарищ Манук Покриков был в эту минуту великолепен.

— Смелей, товарищ! Повторяйте ваши доводы. Я ваши все доводы знаю, они у меня вот здесь, — он ударил по портфелю, — если хотите, я вам лично могу повторить...

— Для наших местов это не мост, — угрюмо сказал Шибко.

— А почему?

Тут раззадоренные усмешкой Покрикова и тем, что Шибко занимал место оратора, а им можно крикнуть из угла, — выступили и другие, кто собирался.

Замечания были те же самые. Неделию назад они звучали убедительно, они были полны простой деловой правды, к ним хотелось прислушаться, от них пришел бы



в восторг любитель всего ясного и не банального, близкого к искусству, но сейчас сами говорившие высказывали их нерешительно и с ноткой недоверия к себе.

Фокин, подняв руку, вышел вперед.

— Место под мост, на мой взгляд, было выбрано неудачно,— сказал Фокин,— в любом руководстве нас учат, что ось моста надо направлять нормально к потоку и нельзя ставить мосты, где река меняет русла... А именно в этом месте Мизинка сплошь да рядом меняет русла, разбрасывается на рукава. Когда прорабатывался вопрос об отводном туннеле, это было отмечено. В вопросе же о месте для временного моста это недостаточно принято во внимание. Вот, я считаю, главный грех. Второе обстоятельство: нельзя, товарищи, завязав глаза, полагаться на теорию! Теория хороша, а и сам не плошай. Теория говорит, что паводок бывает периодически, раз в определенное число лет, а собственные наши глаза и уши, если б мы их держали открытыми, нам бы сказали, что снегопад в этом году ненормальный, что ломка погоды в этом году катастрофическая, что надо ждать неминуемых последствий этого, то есть большой воды... Следовательно, или надо было отложить стройку моста, или увеличить сопротивляемость моста хотя бы кубометров на пятьдесят...

— Ну и еще больше денежек ухнуло бы!

— Нет, не ухнуло бы, если б приняли во внимание всю совокупность!

Покриков выслушивал Фокина, чертя карандашом в записной книжке. Когда Фокин кончил, он поднялся, с виду спокойный; губа Покрикова уже опала, он не только владел собой, он знал, что раздавит бузотеров. Он не стоял,— парил над собранием, испытывая необычайную во всем теле легкость.

— Итак, товарищи, в результате всех выступлений мы получаем такую сводку (он поднял бумажку). Вот у нас критическое замечание без всяких доказательств: «Для наших местов это не мост». Согласитесь,— здесь Манук Покриков раскинул пухловатые ручки и взглянул на инспектора,— что этак можно любую вещь в пух и прах разнести. Твоя кепка, например, товарищ,— не для твоей головы кепка. А почему? Да потому! Или



вот этот станок — не для мастерской. А почему? Да так! Таки и потомуки в счет не идут. Если же перейти к остальным замечаниям, то что именно ставят мосту в вину? Во-первых (он стал считать), ряжей слишком много, речке тесно было пройти; во-вторых, ряжи ставили всухомятку, не на растворе; в-третьих, местные жители говорили: «Такой мост не годится»; в-четвертых, левую дамбу плохо крепили, для красоты ставили. Наконец, наиболее существенное: замечанье практиканта Фокина насчет выбора места под мост, его я выделяю особо. На все эти замечания, товарищи, я вам подробнейшим образом отвечу, и вы увидите, что на ветер критиковать легко, а строить трудно и что в управлении тоже, товарищи, не дураки сидели. Начну я с проекта моста. Товарищ Фокин, вы правы, место под мост не из удачных, но, если вы потрудитесь прочитать вот эти докладные записки, вы увидите, что вопрос поднимался и ставился много раз; мало того: обследована была много раз местность в попытке найти более удобное место. Но из двух зол выбирают меньшее, и когда нет, так нет, лучшего места нельзя было найти: дальше в ущелье будет плотина, а вверх по течению место еще шире и неудобней. Проект моста (Покриков вытащил из портфеля проект) прошел, как я сказал, четыре инстанции. Дальше этого — некуда. Осторожней, чем мы, для мелкой детали, для временного деревянного моста вы вряд ли найдете людей. Вот, товарищи, лучшие, величайшие специалисты мостового дела, по которым учились и учатся наши инженеры...

Он одну за другой достал и показал собранию толстые переплетенные книги в закладках и бумажонках.

— Профессор Передерий, курс о мостах; Патон, специалист по деревянным мостам; инженер Митропольский, профессор Прокофьев, Гнедовский и так далее, и так далее... Разверните и читайте. Что они говорят? На реках с большой скоростью течения ставятся мосты на ряженных опорах — раз. Пролетов предпочтительно нечетное число, а, значит, ряжей четное, и мы должны были ставить или два ряжа, или четыре...

В этом месте, в зените торжества своего, Покриков вдруг услышал с той стороны, где стоял Агабек, непри-



стойное, неповторимое, возмутительное восклицание: «Аля-баля — сыпь баляляка»... Не говоря уже о беспардонности, это неграмотное, несуществующее, бессмысленное выражение унизило своим идиотизмом высокий дух Покрикова, паривший в дебрях технических выкладок.

Он не спал ночь над книгами, он воображал искренно, что как большевик, как вождь строительства... Залившись ярчайшей краской и содрогаясь от возмущения, бедный товарищ Покриков тоненько крикнул в президиум:

— Я протестую! Я требую занести в протокол, лишить слова...

Но местком Агабек, тяжело пройдя под десятками глаз к президиуму и свесив на грудь голову, бледный, страшный от выражения безвыходной и самоубийственной иронии, — он сейчас уже ни во что не верил, — сделал вещь, которой никто не ждал от него: попросил вычеркнуть его из списка.

Он сам отказывался от слова.

Все же блестящая речь Покрикова была сорвана. Лучший ее номер, прибереженный к концу, он вынужден был скомкать, — насчет цемента: какой же дурак заливает деревянные ряжи цементом, где это слыхано! Впрочем, РКИ сама разберется в вопросе. Недобросовестность и невежественность нападок на мост и без того ясна.

Он обеими руками сгреб свои книги и бумаги, рассовал их в портфель, а портфель передал председателю комиссии... и сел.

Слово принадлежало секретарю ячейки.

Выступления секретаря начканц Захар Петрович не опасался. Он как будто из бани вышел и сам себя поздравлял «с легким паром». Он вынул огромный носовой платок и окунул в него разгоряченное лицо с величайшим удовольствием, — Захар Петрович отдыхал всеми нервами.

Блаженное рассеяние, словно все пуговицы расстегнуты, охватило его минуты на две; законнейший, можно сказать, отдых застал мутью глаза, и он уже безо всякого участия взглянул перед собой, ожидая увидеть



чистенькую фигурку «безвредного», хотя голос, донесшийся от стола президиума, почему-то и не похож был на голос «безвредного». Только встряхнув дремоту, начканц сообразил, что говорит не секретарь ячейки, а новый начальник строительства.

Главный инженер по поводу моста выступать не собирался. В нем было сильно кастовое чувство, как в каждом, кто получил техническое образование. И хотя про него говорили: «это наш человек», и главный инженер действительно был наш человек отнюдь не потому только, что «строил социализм», а потому, что хотел строить социализм, но выступить на общем собрании участка с критикой проекта, вышедшего из его штаба, он считал неприличным, профессионально недопустимым.

Проект был сделан в его отсутствие, он прошел четыре инстанции — три технических и одну правительственную. «Дубина стоеросовая», — подумал главный инженер, взглянув на подпись своего технического заместителя, председателя первой инстанции.

Бывают дела, которые старый, интеллигентский такт привык заминать. Возможно, что и тут старый такт, ворвавшись в дело, и победил бы, но музыка будущего, хочешь не хочешь, выскакивает из старых тактов, и музыка будущего вставала на этом собрании, несмотря на беспомощность выступлений рабочих... Заморачивать головы в вопросах технических главный инженер допустить не мог.

— Разрешите, я сделаю добавление к словам товарища Покрикова.

Он начал мягко. Он бессознательно искал обойти трудности, но язык инженера был непокладист.

— Вам тут сослались на мнение мостовиков, что в реках со значительными скоростями ставят обычно ряжи. Я должен добавить, что в этих учебниках говорится: ставят ряжи при условии скалистого дна, когда нельзя забить сваи. Я должен добавить, что ряжи сами по себе, конечно, раствором не крепят, но в случае нетвердого грунта совершенно необходимо вбивать и бетонировать ряжи на определенную глубину в грунт. Далее,



я должен прибавить, что там, где возможна скорость у дна более полутора кубометров, ставить не забытые в грунт ряжи, имея в виду неминуемость подмыва, считается недопустимым... Мне брошена записка, и в этой записке, товарищи, у меня спрашивают — имелась ли опасность подмыва у нас в Мизинке. Я поставлен в очень неприятное положение. Я моста не видел. Как он погиб — судить не могу. У меня правило: не судить о постройке, покуда я сам в ней все не прощупаю. В вопросе с мостом главная задача была в нашем управлении — это построить его как можно дешевле: во-первых, потому, что денег было отпущено в обрез, во-вторых, вы сами знаете неопределенное положение с проектом, в-третьих, постройка временная, на три-четыре года, при таких постройках главное, что принимается в расчет, наивозможная дешевизна. Я это все говорю, чтобы рабочие знали, что именно требовалось от проектировщика... Теперь относительно подмыва. Вы сами видите: в этом месте Мизинка бьет то в одну сторону, то в другую, иногда по нескольку раз за сутки меняет русло. Ну, а факт перемены русла само собой говорит о наличии размыва реки.

Большого сказать он не мог. Свой краткий отчет он сдал в сторону ревизии. Старый такт возмущенно говорил в нем: «Очень нужно было высказывать, доносительство, позор!», а строитель, сидевший в нем, упрямо отмахивался: «Ну и пускай, а головы морочить не дам, нечего головы морочить!»

Впрочем, действие его речи вышло очень ослабленное.

Кое-кто, заранее зная, что говорит начальство, вовсе не слушал; другие не поняли; третьих ввел в заблуждение суховатый и деловой тон, — слова хоть и были понятны, но отнести их к мосту и сделать из них прямые выводы они не решались, слишком уж противоречил таким выводам деловой и спокойный голос инженера.

Даже сам товарищ Манук Покриков не сразу сообщил, какую тяжесть имело это скромное «добавление» к его словам. Когда же спохватилась публика, было поздно: перед ящиком президиума стоял и



говорил секретарь ячейки, по прозвищу начканца «безвредный».

Он был, как привыкли его видеть, в чистом френче, в начищенных до блеска штиблетах. Его упрямые волосы зализаны мокрой щеткой. Сцепляя перед собой пальцы, без всякой бумажки, секретарь свое выступление начал застенчиво и так тихо, что с дальних концов мастерской крикнули: «Громче».

Тогда он заговорил громко. Впрочем, с первых же слов, хоть и были они тихи, начканц Захар Петрович люто насторожился. Через секунду он уже упер обе руки в коленки, нагнувшись всем корпусом в сторону оратора. А через минуту он ел оратора глазами, был фиолетов, был охвачен желудочной дрожью, какая бывала с ним в момент наивысшей неожиданности.

— Товарищи!

Насчет моста: как мне говорили специалисты, а также я прочитал в руководстве механики, сопротивляемость можно видеть на самом мосте,— если поплыл ряж, когда вода залилась до самого мостового настила, то тут, значит, подъем воды в реке выше, чем мост был рассчитан. В таком случае винить некого. Но вода-то у нас до половины ряжа, и того не дошла, когда тронулся ряж. Весь участок тому свидетель, хотя товарищи, правда, бросились почему-то от моста к гидрометру. На разобранном материале еще можно отметить след воды: половина верхних бревен ряжей осталась совершенно сухая. А в таком случае приходится констатировать...— оба уха секретаря багрово вспыхнули,— что мост был построен, к сожалению, неудовлетворительно. Однако же не об этом сейчас главная речь. У многих из товарищей в глубине мысли должно шевелиться, что нехорошо и ненормально создавшееся на участке положение. Мы, товарищи, хозяева наших строителей, мы этими мостами, станциями, дорогами двигаем страну к победе, к знанию, к культуре, к социализму, нам каждый мост должен быть дорог, как своя нога или рука. И вот я вас спрашиваю, говорю честно: был рабочий в этом деле на высоте? Был ли партиец на своем посту в этом деле? Местком правильно ли поступал? Ячейка в целом правильно ли действовала? Я должен, товарищи,



сказать, что, к стыду нашему, ничего подобного не оказалось. Ты, рабочий, и ты, партиец, обрадовался в эту минуту, что мост гиб. Только и было у вас надежд, чтобы скорее снесло, да так снесло, чтоб обнаружился дефект моста. Вы следопытами на участке заделались, пинкертонами бегали собирать факты; самый из вас честный парень так извертелся, точно при советской власти, при нашем строе, нужно один на один в темном месте буржуазными хитростями врага подбивать, — отсюда, ребята, и до подполья один шаг...

Смешки в зале тронули ухо начканца. Рабочие разволновались. Развеселились рабочие. Видно, что речь секретаря, не очень складно, с сильным армянским акцентом произносимая, армянскими словами, когда не хватало ему русских, пересыпаемая, дошла до сердца и задела за живое.

— А ты сам чего делал? Помощи от тебя много видели? — заорал, но без злобы, а скорее задиристо и со вспыхнувшим интересом Амо из дизельной.

— Поскольку я не мог вас остановить, мне первому осинный кол, — отозвался секретарь, — но дайте, товарищи, говорить. Свое слово я не кончаю, а только начинаю.

Он сделал паузу и оглядел мастерскую. Он не был оратором, ему говорить было трудно. Но красноватый кончик уха, неодолимо упрямый в своем загибе, показывал, что, как там ни трудно, а нужное слово свое он доскажет.

— Посмотрите, — начал он снова, — строительству года нет, а люди уже выросли, некоторых узнать нельзя. Рабочий Мкртыч считался на участке безнадежно отсталым, дважды дезертировал с работы в спецодежде и снова возвращался — оборванный, без обуви. От него отказались изыскатели, отказывался гидрометр. Было это еще при мне, а я на стройке новый человек. И на моих глазах Мкртыч вырос, заинтересовался стройкой, — он подал Фокину заявление, что хочет подучиться на сопловщика. Такие сезонники, как сторож Шакар, раньше ничем не интересовались, кроме заработка, а сейчас товарищ Шакар у нас общественник, активист. Таких у нас десятки, завтра сотни



будут. Стройка родное, кровное дело трудящихся. Кто честно наблюдает факты, тому ясно, какое великое, общенародное дело совершаем мы на наших социалистических стройках. Как же не дорожить ими, не любить их, не гореть за них душою? А мы с вами, рабочая и партийная общественность, докатились до злопыхательства, до групповых вылазок, позор это!

Он чуть передохнул и опять заговорил:

— На том факте, что общественность, рабочие и партийцы дошли до подобной недопустимой ненормальности, задерживаться не приходится, всем ясно. Но что рабоче-крестьянская инспекция не может знать, это мы ей обязаны охарактеризовать. Рабоче-крестьянская инспекция знать не может, в силу каких именно причин мы, партийцы и рабочие, дошли до такого грустного состояния, она знать не может, а, полагаю, спрашивает себя, где же корни положения на участке. Корни, товарищи инспекция, в неправильно поставленной организации управления на участке, в силу чего начались у нас ошибки. За все шесть месяцев на участке не было ни одного производственного совещания. Голос рабочего, может быть, верен, а может, и ошибается, но голосу рабочего не дали ни в том, ни в другом случае раздаться, чтобы при всей общественности его заслушать, дать ему ход или вскрыть ошибку сразу на месте. И в какое время делалось это? Когда нам партия лозунг дала о самокритике, — он неожиданно из кармана вынул свежий, вчетверо сложенный лист газеты, только что полученный из Тифлиса. — Вот он, лозунг, — прислушиваться к голосу масс, к низовой критике... А на участке рабочего не выслушивали, рабочего держали в потемках насчет проекта, а стройка должна учить нас, от чернорабочего до профсоюзника, до секретаря ячейки, всех учить, чтобы на следующей работе мы были уже с прибылью опыта, с прибылью знания; ведь нам не только книгами, а и всем ходом дела должно даваться ученье. Если проект забракован, дайте объяснение причин, дайте нам знать общую экономику, общее состояние стройки, ведь вслепую — это не работа...

Он отер с лица пот чистым носовым платком. Он удивил зал, он привел его к полному, абсолютному



молчанью, к тишине, в которой слышно стало, как громко сопит забывшийся начканц.

— Что же касается неправильности в организации, то пусть рабоче-крестьянская инспекция спросит бывшего начальника управления, кому на участке доверялось больше всего, кто с нашим инженером Леоном Давыдовичем единолично вершил дела и за завхоза, и за помзава, и за начканца...

— Что-о?!

— Да, повторяю, кто имел единоличную функцию на участке? Был ли это наш человек, из таких беспартийных, что, может, иного партийца в работе на два кона обгонит? Был ли это с правильной установкой работник, знавший, во имя чего сделана революция? Нет, товарищи, начканца Захара Петровича я называю тем, что он есть: старым, дореволюционным, царского, барского времени службистом, своему хозяину приказчиком. Такой человек есть враг революции, враг лучших лозунгов революции, духа революции и всему направлению нашей политики, потому что такой человек...

— Да что это насчет личностей! Товарищ председатель!

— ...такой человек, куда его ни посади, первым делом глазами себе наищет старшего, такой человек делает из начальства себе хозяина, он перед ним животом ляжет, он по-своему, если желаете, из кожи будет стараться, не доест, не доспит, и к великому, к величайшему стыду нашему, такой человек навредит больше, чем можно себе представить, потому что к нему попривыкнут и к выгоде от такой службы попривыкнут, забывая главный корень работы — не в самолюбии, не в личном самолюбии дело при социалистическом строительстве. Такие служаки, если им дать ходу, приводят к старой и недопустимой атмосфере, и последние мы были бы бараны или цыплята, если б не крикнули такому факту в глаза: не место тебе, старый факт, в новом мире!

— Ну, это ты поглядишь, кому место... — прошипел присмиривший начканц, вставая, чтоб покинуть треклятое собрание.



Но пройти было нельзя: человек на человека лез в мастерской,— и откуда наперло! В зеленых глазах месткома, попавшегося на пути Захару Петровичу, было такое сиянье, что начканц аж зажмурился, прошмыгнув мимо.

### III

Левон Давыдович сохранял во время собрания все тот же деревянный вид. Он сидел незамеченный, у самого выхода. Он был безучастен, когда говорил Покриков. Но при словах главного инженера брови его задвигались, лоб наморщился и вскинутый щучий взгляд изобличил явный интерес. Он даже привстал слегка.

Левон Давыдович был строителем. Он был единственным в ту злополучную ночь человеком, кто среди глазающей на мост публики понял сразу, что мост погибнет.

В отличие от Гогоберидзе, воспринявшего мост как технолог; публики, видевшей в нем часть пейзажа; рабочих, понимавших каждую вещь, как себя,— рабочая она или нет,— Левон Давыдович с первой минуты, в видении пьяного моста, почувствовал, что мост — плох о п о с т р о е н. Плохо построен,— в этом и крылась разгадка.

Ужасное чувство, холод, похожий на столбняк, чувство слишком поздно пришедшего опыта оцепенило начальника участка. Лишенный дара аналогии, сухой и ограниченный ум его был все же глубоко придирчив к себе, был честен особой фармацевтической честностью,— все эти дни, деревянно шагая и действуя, он продумывал мысленно, как доложить об этом комиссии. В виденье гибнущего моста, впервые за всю свою практику, Левон Давыдович ощутил почти мускульно, на себе самом, значение формы как строительного фактора... Из любви к преувеличению он уже твердил себе, что паводок решающей роли вообще не сыграл.

«В нашей практике сплошь да рядом строят на сопротивляемость ниже среднего, а мост выдерживает средний паводок... Я не учел обстоятельств, не учел факторов размыва, и я должен был искать более



гибкую форму — при ней тот же самый расчет дал бы другой эффект!»

Разъяренная Мизинка тогда же подсказала ему иные, более гибкие формы: сваи у берегов, езду понизу, фермы, как у висячих мостов, вскинутае наверх, — все эти дни, лунатиком бродя по участку, он ждал сигнала и, наконец, этот сигнал услышал.

Как только смолкли слова главного инженера, Левон Давыдович бросился из мастерской, чтобы успеть написать и подать рабоче-крестьянской инспекции свой рапорт. Тончайшее сладострастие, сладострастие опозоренности, пьянило его.

От дверей мастерской, вскрикнув, шарахнулись две темные женские фигуры, они подслушивали; он их догнал, — благовоспитанный, чопорный начальник участка вдруг хулиганом схватил сзади ближайшую к себе женщину и тотчас же выпустил.

Обернувшись, она мельком увидела атаквистический, книзу вытянутый, почти бессмысленный оскал знакомого профиля, а для него круглое, бледное женское лицо в кудряшках, с ноздрями-дырочками, как у деревянных лошадок, с низким, дионисийским лбом было совершенно незнакомо. «Должно быть, это и есть жена Малько», — смутно, как рок, припомнил Левон Давыдович.

— Фу, вот тоже! — рассыпчато и с вызовом произнес женский голос.

Но Левон Давыдович шагал, шагал дальше, язвительно усмехаясь себе самому, усмехаясь мысленно своей жене, клоня набок профиль.

Наверху его ждала еще одна встреча.

Под аркой, возле самой конторы, преграждая путь, дюжины две ребят, взявшись за руки, уставились на него любопытными глазами. Дети были одеты вразброд, по-городскому, но обстоятельно: в платках, косынках, сапожках, и каждый держал сверточек или корзинку; было видно, что дети приехали издалека. Большой гидростроевский грузовик стоял тут же.

А к Левону Давыдовичу, широко улыбаясь квадратным лицом, с облезлою муфтою на животе, подходила незнакомая седая женщина.



Начальник участка вспомнил серый конверт с печатью, вспомнил, как утром распорядился выслать грузовик, мысленно чествуя Наркомпрос крепкими словами,— нашли тоже время для школьных экскурсий!

— Извините, мадам, у нас на участке ревизия. Конечно, рад что приехали, но разумнее было бы списаться заранее... Помещение вам на ночь приготовлено. И...— Левон Давыдович страдальчески сморщил лоб.— И завхоз, и комендант, и начканц — все на собрании. Пожалуй, будет лучше, если вы сейчас прямо спуститесь вниз, вот по этой дороге,— минут пятнадцать, десять; спросите механическую мастерскую,— там...

Он не договорил, а сделал успокоительный жест. Там разберут, что с ними делать.

Он уже опять шел, прыгая через ступеньки по конторской лестнице.

## *Глава шестнадцатая*

### **ГИДРОЦЕНТРАЛЬ**

#### **I**

Ануш Малхазян никаких особенных встреч и не нужно было.

Ануш Малхазян торжествовала, ее широкое бледное лицо успело загореть от ветра, волосы выбились из-под старой шляпки, она вела свою армию, как полководец, широко ступая ногами в калошах.

Вот и попали они на настоящую стройку, и не людей, не помещения, куда ребят расселить, не чай с маслом с хлебом, даже не поводыря по этим местам, ничего этого,— гидростанцию, вот они кого торопились увидеть лицом к лицу; гидростанция в воображении ребят и самой Ануш Малхазян вставала желанным и завлекательным чем-то, вроде как для иного провинциала Париж или Лондон.

Всю дорогу в поезде они лепили носы к стеклам. Пуговочки ребяческих носов, широко раскрытые глаза восхищенно следили, а старые губы Ануш рассказывали, как широкий Ширак медленно сползает вниз, как



одна часть Армении, южная, с ее нагорьями, ровным простором, канавками, безводными незасеянными пустырями уходит из-под поезда, словно прошитый кусок материи из-под швейной машинки; а другая часть, северная, гористая, шумнорекая, заросшая лесом, поднимается им навстречу, и поезд карабкается к ней по туннелям,—внизу, под полотном, пел зеленый Бамбак, ущелье перед зачарованными детьми поворачивалось то лицом, то в профиль, красные ломти базальта ровными многоугольниками, волшебною колоннадой вставали и падали, а если б еще лето было! Летом цветочков бы!

Но безидейный пейзаж мудрая Ануш Малхазян тотчас же забраковала. Она раскрыла перед детьми сталактитовые тайны пещер, раскладывала, как бутерброды, вкусные геологические пласты, ставила на речках бесчисленные плотинки, и дети решали глазами: а если тут запрудить речку,—где скинуть воду на турбину?

Потом они вылезли, один за другим, под считающим, озабоченным глазом учительницы, на мокрый перрон. Воздух был крепок, он опьянил их.

Езда на грузовике верх блаженства, гомон и хохот, толчки, угроза вывалиться.

— Тетя Ануш, Сурэн на мой завтрак сел.

— Тетя Ануш, Оля щиплется.

— Это что? А это что? — Серебристый перелив голосов, как пена шампанского, встающая над бокалом, вставал и грозил ежеминутно разлиться из грузовика во все стороны.

Даже шофер нет-нет и оборачивался на всю компанию, завидуя беспричинной радости жизни, избытку энергии и матерям и отцам, у которых есть дети. Волшебницей с муфтой была всесильная Ануш Малхазян.

Не очень-то легко добиться экскурсии, хлопотать у дороги, у Наркомпроса, у родителей, но в конце концов они сейчас идут, не чувствуя усталости, по широкой новой дороге, мимо деревянных, свежестроенных барачков, где все напоминает о временности и важности людского жилья, а снизу встает туман, там бежит речка Мизинка, героиня гидроцентрали.



Чем держала Ануш детей, она и сама не догадывалась: тем, что, подобно ребенку, пожилая, большая женщина с седыми над губой усинками, сама первая пуще всего и была захвачена «уроком про воду», который намеревалась получить и дать детям.

Останавливаясь на каждом шагу, разглядывая пекарню, баньку, нехитрый водопроводный кран, помещение милиции, конюшню, кузню, они шли не пятнадцать минут, а добрые полчаса, покуда, наконец, не указал им рабочий механическую мастерскую.

Вызвать завхоза и добиться от него толку оказалось, однакоже, делом нелегким.

За это время в механической много произошло. После речи секретаря нельзя было остановить поток желающих высказаться насчет участкового режима,— в табачном дыму круглый лик товарища Покрикова расплылся, словно его и не было, никто не догадывался пощадить уши и нервы товарища Покрикова.

Даже старый пустой говорун, больничный врач, и тот вылез с полемикой, потрясая скудной описью жалкого инвентаря и жалуясь на скарედность.

Даже начмилиции Авак припомнил обиду.

Один Ареульский, недоуменно озираясь, все стоял, прижатый к стене, и ждал, когда его вызовут, но Ареульского позабыли.

Наконец, пришла минута, когда встал председатель комиссии РКИ, и его спокойная рука, похожая на руку опытного фельдшера или сестры, щелкнула задвижкой на докторских весах; пресекая мелкую зыбь прений, качанье тончайших неравновесий, она установила точный вес явления.

— А теперь...— сказал председатель комиссии.

Было решено, что общее собрание само собой перейдет в первое за полгода производственное совещание и что начнется оно обещанным большим докладом нового начальника Мизингеса, главного инженера.

Разгоряченные и усталые люди отказывались от перерыва. Если и перешло в ком-нибудь напряжение и мелкую и невольную зевоту, так новое обстоятельство придало ему бодрости. Новое обстоятельство, в лице маленького Сурэна, прошмыгнуло в дверь. У Сурэна



давно упал чулочек, оторвавшись от резинки. Он во все глаза смотрел на станки и на людей за ящиками. Но Сурэн в одиночестве не остался.

Дверь механической настежь открылась, разрешение было получено, и шумной гурьбой, вкатываясь живым потоком маленьких энергий, дети перебили усталость больших людей. Они расселись по рукам и коленям, вскарабкались на подоконники, оседлали и шупали механические станки.

Довольная до глубины души учительница вошла вслед за ребятами и с достоинством уселась на табуретку, перекинутую ей через головы: она и надеяться не могла, что так все хорошо выйдет, что попадут они прямо на главный доклад и услышат — знаете кого, дети? Она тихонько указала им на упрямую черную голову строителя, знакомую стране по фотографиям.

События и разговоры этих трех дней отодвинули главную тему. Строитель, сидя в московской гостинице, переживал ее как единственную реальность; он полгода жил гидроцентралью, он жил воздухом XV съезда партии, воздухом наступающих великих работ, — а участок, где были заложены первые камни гидроцентрали, всего менее о ней думал, — такова в сущности была невеселая правда, которую умственным оком видел строитель сейчас перед собой.

Нужно было выправить положение. Оно в сущности уже выправлялось. Будущее — широкое, дух захватывающее будущее, — вот что стояло при дверях. И дети казались ему словно ласточками — ласточками весны первого пятилетнего плана... Косясь в ту сторону, где сидел Покриков, и конфузясь за него («неспособный, явно incapable»), главный инженер резким движеньем отодвинул бумаги: он должен впустить на участок главное действующее лицо.

## П

### ДОКЛАД СТРОИТЕЛЯ

— В первом проекте, как вам известно, была задумана высоконапорная плотина в тридцать семь метров. Когда проект отпал, потому что грунт оказался слиш-



ком рыхлым, а на таком грунте ставить высокую плотину опасно,— перед нами возникла задача: каким образом добиться большого напора без высокой плотины? Но сперва, товарищи, несколько слов по поводу прежнего проекта.

Здесь главный инженер поглядел в публику и улыбнулся.

Перед ним, доверчиво разместясь на коленях у рабочих, сидели дети, даже очень маленькие дети. Лица рабочих немногим ушли от этих круглых, внимательных детских лиц.

Главный инженер был умный человек, он слыл «оригиналом»: трафарет не имел над ним власти. Доклад его, как и все такие доклады, был строго отчетный, был сух, хотя приурочен к уровню слушателя. В другую минуту он сошел бы, как шпона в руках у наборщика, но сейчас — главный инженер чувствовал — нужно что-то другое, штатское что-то, как сказал бы военный, определяя гражданский мир интересов.

Отголоском этого «штатского» в самом строителе еще горел не ушедший пафос. Он был еще полон частных своих мыслей, широких, в работе найденных обобщений, был полон видений будущего, о которых говорили ему в Москве товарищи, работавшие над пятилетним планом. И эти видения бродили в нем на свободе простых мыслей, лишённые цифр и специальных терминов.

Мальчишески почувствовал себя вдруг главный инженер, и вместо обычного, сжато изложенного доклада, ему захотелось попросту быть понятым, захотелось дать пережить всем, кто тут есть,— Фокину, сидящему в первом ряду с девочкой на руках, и самой девочке, и величавому Шибко, и вон той старой женщине с муфтой, рабочим и детям, и этому стройному рыжему человеку, тихонько вошедшему в мастерскую,— дать пережить то, что сам глубоко в голове знает и переживает, чем зажжен его мозг. А подумано — сделано.

Так и не убрав с лица улыбки, главный инженер встал и вышел из-за ящика поближе к слушателям:

— Вот что я хочу сказать по поводу прежнего проекта. Были разговоры,— и, может быть, вы тоже слышали, тем более что не с одной нашей гидростан-



цией, а и с другими вышел такой же конфуз,— были разговоры, что вообще высокие плотины ставить не следует. Над высокими плотинами насмехались. Говорили, что мы собираемся в Закавказье городить эти высокие плотины где попало, и возможно — эти разговоры создали у вас такое впечатление, что инженеры, задумывающие высокие плотины, люди пустоголовые и наш первый проект будто был таким — аховым, пустым, неправильным проектом. Но это будет ошибкой так думать, товарищи.

Если вы хотите понять, что такое гидростанция, вы меня **выслушайте** внимательно. Самое первое и самое естественное желание при постройке гидростанции, даже не мысль, товарищи, а прямо-таки чувство,— именно этим чувством инженер и отличается в своем деле от другого человека в другом деле,— это будет хотенье поставить наивозможно более высокую плотину. Объясню примером. Вот товарищ землекоп. Когда он **начинает работать**, первым долгом он себе ставит целью, бессознательно или сознательно, **загрести** своей лопатой как можно больше земли, ровно столько, сколько он в силах за один раз без вреда для себя поднять. Для чего он стремится к этому количеству? Для того чтоб **выгадать**: **лишний раз не проделывать** всего движенья, не сунуться второй и третий раз за той порцией, которую можно убрать в один прием. Если он с этого **начинает работу**, я прямо скажу: это настоящий землекоп. В каждом деле есть такое начало, где **работник** или показывает себя настоящим работником, потому что сразу ищет **наилучшую меру усилия**, или показывает, что он для этого дела не рожден, если этой меры не ищет.

Теперь, перейдя к инженеру, я скажу, что тот никогда **не** будет хорошим гидротехником, кто с самого начала не нацеливается на наивозможно высокую в данных условиях плотину. Почему? Да потому, что получить напор такой, **какой мы в силах получить**, это и есть первая мера **усилия для гидротехника** при постройке гидростанции. Вот, значит, и нечего ругать старый проект,— он **отпал** не потому, что была высокая плотина, а потому, что **недостаточно были сделаны изы-**



скания с грунтом, и эти изыскания подвели проектировщика.

Теперь вернемся к первой мере усилия, как я сказал,— к желанью получить наивозможный напор. Вы, вероятно, все понимаете, что означает такой напор. Река течет сверху вниз и на протяжении, скажем, двух верст дает очень большое падение, скажем, сто двадцать метров. Но так как эти сто двадцать метров растянуты на две версты, то от них нам и пользы нет никакой; подставьте турбину прямо под струи такой речки,— турбина едва перекрутится. Если же мы в подходящей точке преградим реку высокой плотиной, создадим большой напор, а потом отведем эту собранную воду почти по прямой линии, чтобы не терять на уклон, к тому месту, где река уже протекла две версты, и если мы эту воду, при помощи особых труб, бросим вниз, она полетит на турбину со страшной силой и даст нам большую энергию. Я взял один тип рек, наш, кавказский. Есть другие типы. Есть такие, где воды много, а паденья мало. Поэтому сила энергии зависит не только от напора, но и от количества, от так называемого расхода,— в общем, запомните, вот формула для всякой гидростанции: мощность ее равна числу десять, помноженному на число расхода воды, помноженному на число напора<sup>1</sup>.

Я вам не зря говорю формулу,— формула нужна для хорошего мыслителя совершенно так, как корзина для домашней хозяйки, идущей на рынок: формула сразу держит все продукты для обеда или все основные части явления.

У нас с вами речка мелководная: воды в ней очень мало, зато паденье большое. Ясно, что мощь гидростанции зависит на нашей речке от ее паденья, и если бы мы могли использовать это паденье очень высокой плотиной, запрудить речку на сорок метров высоты, у нас была бы мощная гидростанция. Не смеяться над высокой плотиной, а надо только пожалеть, что ее у нас опасно ставить.

---

<sup>1</sup>  $N = 10 \times Q \times H$ , где  $N$  — мощность,  $Q$  — расходы воды в реке,  $H$  — напор или паденье.



Все ли вы поняли? А может быть, уж слишком понятно говорю?

Для одних речь инженера и в самом деле была слишком понятна; но эти, замороженные чем-то, звучащим в тоне инженера, именно той «штатскостью», необычайной формой доклада, на которую он решился, с интересом ждали, куда новый начальник клонит.

Другие... тихо заснула на плече у Фокина маленькая черноволосая девочка, раскрыв рот. Но большинство детей не спало, а терпеливо слушало, улавливая в речи знакомое и оживляясь на бесхитростных примерах.

Дети у Ануш Малхазян были — не под стать другим. Сурик давно уже перешел от лошадей к таинственной «лошадиной силе», он слушал докладчика, глядя ему в рот, — Сурик твердо решил стать инженером.

— Я сделаю отступление. Когда выяснилось, что у нас с грунтом неважно и ставить высоконапорную плотину нельзя, то, как всегда бывает по пословице — пришла беда, отворяй ворота, одно горе никогда не приходит в одиночку, — люди начали, и без злого умысла, а просто по свойственному людям паническому чувству, вешать на наш бедный Мизингэс всяких других собак. Стали говорить: «Да и стоит ли вообще строить Мизингэс? Для чего нужна энергия, которую Мизингэс даст? Завод еще не построен, другие потребители тоже висят в воздухе. Станция будет дорогая, со станцией столько уже неприятностей, а впереди и того больше, грунт опасен не под одну плотину, он и под напорный туннель, тот туннель, который должен по возможности с самым ничтожным уклоном повести воду, занятую у реки, к напорным трубопроводам, он и под этот туннель тоже опасен, так как придется его здорово крепить». Значит, и много, и дорого, и опасно, и рискованно, и не очень-то нужно строить... Вот была такая минута. Каюсь вам, я тоже был не особенно поклонник Мизингэса.

Мы с вами сегодня разбирали нездоровую атмосферу на участке. Я думаю, вы понимаете теперь, что не только вы одни были виноваты в этой нездоровой атмосфере. И мы, проектировщики, были виноваты. В центре у нас аукнулось — задержали проект, на участке у вас



откликнулось — свернулась работа. Это, конечно, людей не извиняет, но это объясняет, почему люди зарвались. Сейчас эта минута прошла, Мизингэс получил полное признание, он будет строиться, но достаточно ли для нас услышать решение и на том успокоиться? Нет, недостаточно. Мы хотим с открытыми глазами знать, почему Мизингэс должен быть построен.

Каждый из нас, товарищи, даже последний чернорабочий, должен быть немножко экономистом, потому что мы хозяева нашей страны и наших построек. Дети и те у нас учатся быть экономистами: каждый ребенок в школе учится не на каких-нибудь несуществующих предметах, а на живых вещах нашего хозяйства, на живом населении нашей страны: что такое диаграмма, что такое сравнительная стоимость, что такое кривая, проценты и т. д. Этим их обучение отличается от старого обучения. Так вот, будучи экономистами, мы требуем, чтоб нам разъяснили, стоит ли игра свеч, выгодно ли строить Мизингэс. На это есть общий ответ и есть особый частный ответ. Общий вам, верно, и самим известен, и вы его тут слышали от секретаря партчейки, — каждая социалистическая стройка не может, не быть выгодной для нас. Каждая социалистическая стройка в Союзе дает работу людям, учит, перевоспитывает, создает новых людей, поднимает сознание рабочего класса. Вы сами на себе видите, как многому, и притом во всех смыслах, вы научились за эти коротенькие полгода на постройке, которая толком еще и не начата, какими вы стали требовательными. Во-вторых, каждая разумная стройка поднимает удельный вес нашей экономики и нашей мощи, приближает нас к победе социализма. Это общий ответ. На него есть возражение: денег у нас не так много, и между постройками мы должны выбирать такие, которые нам в первую очередь наиболее выгодны. Здесь нам следует вспомнить, что основой всех основ в нашей стране является электрификация. Без энергии, как без хлеба, нельзя работать, тепловая, паровая, электрическая, гидроэлектрическая энергия — это хлеб для машин, это начало начал для нас. И водная энергия самая среди них дешевая. Повторять такую азбуку уж наверное лишнее, вы сами



знаете, что в Закавказье большие запасы гидроэнергии, все их необходимо использовать, дать стране, потому что они есть основа будущей индустрии. Среди этих речных запасов наша шустрая Мизинка занимает не последнее место. Технически ее одолеть — задача благодарная, потому что Мизинка даст дешевую энергию. Насчет потребителей и говорить не стоит. Знаете, как в наших плановых расчетах бывает? Как на балконе без птиц. Попробуйте посыпьте ячмень на этом балконе: налетит столько птиц, что вы ахнете, откуда берутся. Мы едва успеваем планировать гидростанцию, а потребители кружатся над каждым нашим планом, как стая птиц. Есть очень важные потребители и у Мизингэса, а самый важный — завод азотистых удобрений, первый в Союзе. Насчет удобрений мы стоим чуть ли не на последнем месте среди других стран, между тем мы хотим поднять наше земледелие, переделать природу, хотим получать с земли во много раз больше, чем сейчас, а этого без удобрений нельзя достичь. Так вот, мы берем воду, мы эту воду заставим работать; она даст энергию, при помощи энергии мы из воздуха выработаем азотистый продукт, а этот азотистый продукт пойдет в землю, чтобы дать ей больше питательных соков, а эти соки дадут нам больше хлеба, а хлеб...

— Мы скушаем, — громко подсказала, проснувшись, черноволосая девочка, потому что она почувствовала голод.

В зале расхохотались. Смех, как впрыскивание камфоры, поднял внимание у тех, кто устал.

Именно в этот момент главный инженер понял, что общие фразы, даже когда они нужны и наиболее легки для понимания, утомляют гораздо сильнее, чем то, что и для него представляло наибольший интерес.

— Я перейду к частному ответу, почему нам Мизингэс строить необходимо, — сказал он, когда затих смех.

### III

Опустив голову, он с минуту искал, с чего лучше начать. Особенное волнение, какое бывает, когда говоришь о любимом, охватило его.



— Представьте себе, что перед вами карта Армении...— начал он, и старая учительница вздрогнула на своей табуретке,—вы легко различите два района: север и юг. На севере мы сейчас сидим, а на юге, наверное, каждый из вас был, он знает нагорье Масиса, большие пустынные безводные пространства, богатейшую вулканическую землю, на которой урожай может быть, если ее полить хорошенько, прямо чудовищный. Орошение и сделалось главной задачей юга. Больше того, на юге испокон веков занимались орошением. Там всюду вы найдете следы каналов, а есть древние каналы, которыми до сих пор пользуются. Но где есть запруда, там мы можем иметь и гидроэнергию. Представьте же себе такое положение, когда задачу оросительную связывают с энергетической и одна и та же вода идет и на поля и на турбину. Выгода от этого получается огромная: часть капитальных сооружений общая, все равно что вдвоем подрядить одного извозчика, понятно? И дешевле и времени идет меньше, но есть одно «но». Энергия, которую вы от такой комбинации получаете, очень неравномерная, она имеет характер сезонный. В самом деле, вот стоит плотина. От нее идет канал. В конце канала, предположим, станция. От канала расходится множество шлюзованных канавок или другой канал. Эти канавки или этот канал берут и раздают воду каждой десятине земли, которая по пути лежит. Что достается турбинам? Почти ничего. Но вот весна и лето прошли, земля отрожала, никакой поливки больше не происходит, вся вода бежит по главному каналу и целиком выбрасывается на турбины. В результате весной и летом мы почти не имеем энергии, а зимой имеем большую. Здесь наша энергия подражает человеку и может быть названа крестьянкой-сезонницей: летом она отдает силу полям, а зимой занимается работать на фабрику.

Но вы сами знаете, сезонники-рабочие народ ненадежный, на сезонниках далеко не уедешь. На сезонной энергии тоже далеко не уедешь. Для химических заводов, для фабрик, для освещения и отопления, для транспорта нужна энергия постоянная. Как же тут быть?



А вот как: посмотрим, какую энергию нам даст Мизинка...

— Летнюю,— ответили из публики.

— Ну, разумеется, летнюю, даже весеннюю. Именно в то время, как наши поля по весне жадней всего требуют воды, в то время Мизинка и проносит свой наивысший паводок, которому мы недавно были свидетелями. Зато зимой она тощает, и, как бы мы ни регулировали нашу станцию при помощи запасных резервуаров воды, все-таки у нас здесь зимой энергии будет меньше, чем летом. Вот и получается необходимость: в целях получения равномерной гидроэнергии построить ряд станций на северных речках, Мизинке и Бамбакчае, не выполняющих оросительной работы, для того чтобы уравновесить энергии южную и северную созданием хорошо разработанного, правильного армянского куста.

Но так как не одна Армения, а и все Закавказье имеет районы сельскохозяйственные и энергетические уюлы, то армянский куст может организованно влиться в закавказский куст — и тут всем нам: и техникам, и инженерам, и экономистам, и рабочим, и вам, дети, будущие строители,— предстоит столько работы, что хватит на жизнь нескольких человеческих поколений. Выходит, что гидростанция — как человек: пока одна работает, и цена ей невелика и смысл ее узок, а когда смыкается с другой, вливается в коллектив,— и от нее другим больше пользы и ей от других больше пользы. А кроме того...

Здесь он дал волю лирическому подъему:

— Кроме того, товарищи, кустованье в пределах советской земли, в рамках советского законодательства, дающего нам возможность строить связный план целого народного хозяйства,— такое кустованье увлекательно, интересно, совершенно еще не изучено, таит в себе колоссальные открытия по технической и экономической части и даст нам в руки силу планирования, подобной которой ни у кого в старом мире нет.

Знаете, как сказано об этом в декабре на XV партийном съезде?



Тут главный инженер достал из кармана записную книжку, раскрыл ее пальцем и прочитал:

— «...государство, держа в своих руках национализированный транспорт, национализированный кредит, национализированную внешнюю торговлю, общий государственный бюджет, имеет все возможности руководить национализированной промышленностью в плановом порядке, как единым промышленным хозяйством, что дает громадные преимущества перед всякой другой промышленностью и что ускоряет темп ее развития во много раз». Видите, товарищи, как грандиозны перспективы для нашего строительства? Стоит потрудиться для этого, а? Стоит взяться за Мизингэс, сорвать ветку для будущего куста, не правда ли?

И о нас с вами сказаны золотые слова. Будем их помнить, товарищи. Вот послушайте: «Такие гигантские предприятия, как Волховстрой, Днепрострой, Свирьстрой, Туркестанская дорога, Волго-Дон, целый ряд новых гигантов-заводов, с судьбой которых связана судьба целых слоев технической интеллигенции, не могут пройти без известного благотворного влияния на эти слои. Это есть не только вопрос о куске хлеба для них. Это есть вместе с тем дело чести, дело творчества, естественно сближающее их с рабочим классом, с советской властью»... Дело творчества! Дело чести! — с силой повторил главный инженер. — Давайте же перейдем к предстоящей нам большой работе... — И он вынул из портфеля голубые листы кальки.

Дети уже устали и засыпали. Детей нужно было вести ужинать, уложить их спать. Со вздохом Ануш Малхазян встала с табуретки и нащарила возле себя ладонью первую лохматую головку, — дети стеклись, как цыплята, к подолу учительницы.

Признаться, ей, большому ребенку, жаль было уйти от заманчивого доклада, потому что сейчас будет самая специальная часть, новый проект. Но ребята меньшие требовали ее попечений, а за дверьми нетерпеливо ждала Марджана.

Пошептавшись с комендантом, учительница вышла из мастерской, сопровождаемая всей своей утомленной армией, и комендант тоже вышел.



Тогда, переменив тон и метод, главный инженер закончил доклад.

Читатель устал, быть может, как дети Ануш Малхазян. И автор, подобный сейчас старой учительнице, с горечью сердца чувствует, как сохнет внимание читателя, как слипаются глаза и говорят книге: «довольно», — не для всякого ведь технический инвентарь подобен пригоршне драгоценных камней, которые перебираешь и не в силах насладиться досыта!

Но следует все-таки вспомнить Фокина: весь сияя, он глядит в рот начальнику строительства, когда тот описывает сложный и остроумный проект, единственный на весь Союз. Весь сияя, он неожиданно встретит после доклада знакомые, милые разбитые очки рыжего и непременно на радостях подхватит рыжего, чтоб побежать с ним вместе на тот берег к Гогоберидзе. Жалко, не слышал Гогоберидзе.

— Замечательный напорный туннель, мы его схватим в шести забоях, и вместо плотины — вальцовый шлюз, этаким пузан в шесть с половиной метров, на бетонном ложе... бетонных работ одних до тридцати тысяч кубометров, здорово для наших мест, Гогоберидзе, а?

И скупой на слова грузин своим тихим голосом ответит Фокину:

— Видишь ли, Фокин, правильное начало — в сущности первая вещь для дела. А фактически-то к правильному началу приходишь всегда напоследок, фактически-то правильному началу нас учит середина и даже конец дела. Возьми бетон. Надо нам было пройти через практику, накопить груды опыта по проектировке бетона, и только теперь мы и знаем, с чего начинать в бетоне... Так оно и с проектом. Так оно и со всей нашей жизнью!

1928—1948

Дзорагэс — Москва







## ОЧЕРКИ







## ДЕЛО БЫЛО В ХАРЬКОВЕ

### 1

Прелесть украинской речи можно понять только на Украине. Там мы отделяемся от «своей печки», от привычки воспринимать чужую, но знакомо звучащую лексику как нечто «похожее» и, следовательно, как искаженно-свое. Там мы перестаем постоянно примерять украинский язык на русский и вдруг начинаем слышать, именно слышать звучание самой мовы, необыкновенно мягкое, переливчатое, влажное по высокой и напряженной силе гласных. Тут-то вам и откроется, сколько юмора, ласки и особой пронзительной чувственности внесла мова в русскую речь еще со времен Гоголя, у которого «дивчины» никогда не «улыбаются», а непременно «усмеваются», — украинская «усмішка» вместо русской «улыбки»; где на вас смотрят красиво звучащие «очи», а не наши обычные «глаза»; где «думка», «дума», «задумчивый», вся серия производных заменяет русское «мнение» или «размышление». Заставьте зазвучать вот эту важную, углубленную и сверкающую описательную лексику Гоголя, и тогда станет ясно, чем одарила нас украинская мова.

Я, грешный человек, впервые почувствовала мову, когда со стенной газеты огромного харьковского электромеханического завода, — ХЭМЗ, как его коротко называют здесь, — мои собственные русские слова взгля-



нули на меня по-украински. Не про «коханья», чей корень уже приглянулся русскому,— речь шла про заказы и выполнение, слова сухие и надоевшие нам. Но в стенновке они звучали мягко и пригласительно,— «замовлення» и «виконання».

Впрочем, начать нужно не с этого, а с самого дня приезда в Харьков.

Люди, знавшие о цели моей поездки, махнули заранее рукой: ничего не выйдет. В вагоне я ни к чему не готовилась и не раздумывала, а держала мозги на привязи, как держат охотничьих собак до появления дичи. Не было никаких следов впереди, ни образа, ни способа действия, надо было просто покачиваться на километрах пути и ждать первой встречи с действительностью: она сама научит. А дело, от которого заранее отказывались в центре, на которое люди осведомленные смотрели как на безнадежное, заключалось попросту в том, чтоб заставить ХЭМЗ выполнить обязательство и дать генераторы Дзорагэсу и Гизельдону, двум крупным гидроцентралям Закавказья и Северного Кавказа. В Москве, говоря грубо, просто плюнули на это дело. ХЭМЗ имел обязательства поважнее, шла кампания по ускорению сдачи заказов двум великанам нашей пятилетки — Магнитострою и Кузнецкстрою.

На заказы помельче в такую минуту крайнего напряжения и заминки с оборудованием смотрели приблизительно, как на щенят под ногами: вы-то еще чего путаетесь! И ждать помощи от ВЭО<sup>1</sup>, трагически заткнувшего уши, не приходилось,— надо было действовать как-то мимо ВЭО, возглавлявшего все наши электрозаводы, в том числе и ХЭМЗ. Заказчики, собравшиеся в эту минуту в Москве в большом количестве, вышли в сущности на экзамен. Каждый из них мог действовать оригинально и по шпаргалке. Перед каждым лежал спасательный пояс с надписью «объективные причины», и он мог нырнуть в него и с поясом на животе (или докладом в портфеле) благополучно вернуться на свою стройку, чтоб дать волю дьявольской иронии, критике центра и рассказываниям очередных

---

<sup>1</sup> Всесоюзное электротехническое объединение.



московских «политанекдотов». Перед каждым лежал и формальный выход — нечто вроде запасного выхода на случай пожара: он мог добиваться, обивая пороги и коридоры учреждений, бумажонки с печатью, мог гоняться за внешним знаком победы, за переводом его стройки в число «ударных». Но когда я сунулась было к этому запасному выходу, мне ответили в Энергоцентре:

«Мы потому и не заносим Дзорагэс в список ударных, что Дзорагэс ведь уже достроен».

Над ответом стоило призадуматься: в самом деле, уж коли без списка и без бумажонки достроили в первую очередь, достроили раньше ударных, так, значит, и ударность зависит в сущности не от включения в список, а от чего-то... вот именно это «что-то» и продиктовало дальнейший образ действий, третий возможный образ действий, имеющийся перед заказчиком: непосредственное обращение к производителю заказа, к заводу.

Можно целую книгу написать о том, как важно рабочему видеть свой заказ, видеть не только в отвлеченном рабочем чертеже или у себя в цеху, но и дальше, за стенами завода, видеть, где и для чего будет помещен этот заказ. Не менее важно и строителю не раз и не два за время изготовления, а в порядке тесной связи — примерно как у матери, отдавшей ребенка в ясли,— видеть завод, на котором этот заказ выполняется, знать условия, обстоятельства, людей, в чьих руках получает форму нужное для него оборудование. Этим могла бы выработаться у нас новая этика, в которой «равнодушие» — чувство как будто ненаказуемое и лежащее вне понятия нравственности — обозначилось бы в системе людского поведения как порок и недостаток; и отсюда и формализм, и «отписка», и то, что мы не можем сейчас никак вытравить из нашего обихода только потому, что все эти свойства и приемы не считаются «проступками», не входят в понятие «зла», сделались бы сами собой вещами отталкивающими и подлежащими ответственности, как взятка, обман и дезертирство. Короче сказать, нам нужно пристрастие, то самое пристрастие, о необхо-



димости которого говорил В. И. Ленин и которое великий практик Гете сделал методом всего своего естественно-научного мышления. Пристрастие как отражение большой любви к своему делу.

Итак, избрав третий выход, я ехала на завод ХЭМЗ. И как раз в эти дни Харьков жил особенной, приподнятой жизнью. Харьков принимал гостей — делегацию ленинградского горсовета, с которой он (как и с Москвой) подписал торжественно договор о соревновании... Мы из газет об этом договоре слышали, но что он такое на практике, пришлось испытать, должно быть, мне первой. Только что отпечатанный договор между горсоветами трех городов был подписан дня за два до моего приезда, но уже задолго до подписания Харьков провел целый ряд мероприятий, которым Москва и Ленинград могли бы у него поучиться. Харьков — город-производитель. Он имеет около пятидесяти крупных заводов и множество мелких. Его европейская, отличная планировка, изящество и какая-то собранность помогают переносить и даже не замечать стремительную тесноту сокращающейся с каждым днем жилплощади. Вокзал налетает на город, город грудью налетает на заводы, но вам легко в нем, легко в переполненных до отказа вагончиках, прямо из центра бегущих с надписью на лбу: «завод!» бегущих не на окраину, а на людный и красивый проспект, где заводы-гиганты собрали вокруг себя все из города, что покраще: превосходную (говорят, одну из лучших в Союзе) поликлинику, зеленые насаждения, английскую стандартную униформу домиков-коттеджей рабочего поселка. Хотите знать цифры? Каждый завод — маленький губернский город: на ХЭМЗ — шестнадцать тысяч рабочих, на соседе его, паровозостроительном, — семнадцать тысяч.

На этих заводах, частью местного, частью общесоюзного значения, есть, разумеется, много членов горсовета. Из членов горсовета на пятидесяти крупнейших заводах Харькова составлены так называемые депутатские группы. Это реальные представители городской власти на местах, щупальцы нервной ткани, проникающие в самые толщи предприятия. В каждой



депутатской группе секретарь освобожден от своей производственной работы, остальные члены группы остаются в цехах. Все основные правительственные начинания проводятся через эти группы, и администрация завода — я видела, как она говорит с депутатами, — она говорит с ними, как с членами правительства, и она в любое время дает им ответ и отчет.

В харьковской гостинице легко было наткнуться на договор о соревновании. В нем горсовет, между прочим, обязывается контролировать срочное выполнение всех ударных заказов, размещенных на территории Харькова. И завод ХЭМЗ, входящий во всесоюзное объединение ВЭО, в основном вопросе (контроля за заказами) оказался тесно связанным с этим живым, жизнедеятельным, образцово работающим и идущим впереди по соревнованию правительственным органом — Харьковским горсоветом. Стало ясно, что если поможет кто, так уж именно горсовет и его заводская ячейка — депутатская группа.

## 2

В горсовете с ответом долго не канючили. Вопрос сам по себе ясный: если для сдачи генераторов не приходится наносить ущерб ударным заказчикам, Магнитострою и Кузнецкстрою, а можно ускорить дело попутно, — так пожалуйста. Решить же, можно или нельзя, должен завод и еще конкретнее — цех. Таким образом, мое путешествие к производителю придвинуло меня за ответом вплотную к заводу и даже к цеху. А из горсовета вместе со мной вышла темноволосая юная девушка с серьезным лицом и озабоченными глазами: она была инструктором по всем депутатским группам, и она стала моим Вергилием по харьковским заводам.

Отменная организаторская работа действует на окружающих так же воспитательно, как чистота производственной выделки. В своем путешествии за генераторами я как бы спускалась с высокой лестницы вниз, от главков, завов и замов — к расходящимся, раство-



ряющимся в массе низовым работникам: и как в детской игре, когда ищешь спрятанную вещь и тебе говорят: «холодно», если далека вещь, а потом, по мере поисков: «тепло», «еще теплее», «горячо», — характер и метод работы, интерес к ней и отношение к вам становилось все жарче и все действенней, словно и впрямь приближалась я к искомому предмету. Но и больше того: з н а н и е, подлинное знание сути дела, и обстоятельств, имеющих вокруг дела, и реальных возможностей, и та степень бесстрашия и решительности, которая вызвана знанием и пониманием условий, — все это усиливалось в людях по мере моего продвижения от главков к низовым работникам. Наверху ничего не детализировали; отказывали — без реального участия, резали по живому, как по бумаге; наверху — очень многого попросту не знали, потому что верх сидит, сидит и буквально и фигурально, статически и методологически, — выводы и цифры подвозятся к нему готовыми. Но чем дальше вниз, тем больше движения входит в обязанность и характер работы. Инструктор — величина постоянно движущаяся; инструктор по депутатским группам знает заводы, знает каждого депутата, а с секретарями групп периодически совещается. День моей спутницы — весь в ходьбе и общении, и отменная ее работа по инструктажу как бы сразу ввела меня в определенное воспитательное русло.

Не так-то легко на ХЭМЗ разыскать секретаря группы! Он, можно сказать, всюду. Его очень бледное от жары и от пота лицо мрачнеет при виде вас: еще нагрузка! Но вот он вас выслушал, и ваше дело уже сделалось его делом, как бывает при операции с хорошим хирургом, — не волнуйтесь, вы в верных руках.

Здесь, спустившись еще ближе и теснее к предмету поисков, мы узнали неожиданные вещи. Узнали мы, что группа рабкоров давно заинтересована нашими генераторами и целая сшитая папка с надписью «Дзорагэс» и «Гизельдон» хранит материалы, статьи, вырезки, к ним относящиеся. Будучи наверху, мы там маху дали, — мы механически повторяли с досадой в голосе, что вот-де несчастье какое — поручили наш заказ ХЭМЗ, заводу, который раньше никогда не делал гене-



раторов... Но здесь, в непосредственной близости к цеху, хотя еще не в цехах, вдруг узнаешь, что именно это обстоятельство («раньше никогда не делал») и есть самый счастливый наш козырь, — самолюбие завода, самолюбие рабкоров и ударных работников подзадориваются новизной задачи: никогда не делали — должны справиться с первым генератором — первую ласточкой будущих заказов. Недаром же массовый печатный орган завода, его газета, называется «Генератором». ХЭМЗ должен стать заводом, производящим генераторы.

Еще дальше, в цеху, вам расскажут окончательные подробности. Заказ стоит — почему? Потому что заграничные части прислали, на испытании они оказались негодными, забраковали их. Решили использовать свои, советские. Но ленинградский завод прислал болванки для полюсных наконечников ротора весом в сто тонн. Что с такой машиной делать? Ее нужно подвергнуть осаживанию, чтоб она стала пригодна к формовке, а для этого на заводе нет подходящей печи (для предварительного нагрева). И болванку ломают, ковыряют, швыряют об землю, — бьют, чтоб она раскололась. В цеху мне сказали: «Взялись бы ребята из паровозостроительного, там у них можно, осаждали бы болванки, — тогда плевое дело выпустить генератор. Но не хочет паровозостроительный, отказывается, — своего-де не успеваем».

Секретарь депутатской группы и инструктор переглянулись. Паровозостроительный — там ведь тоже депутатская группа! Появление этого нового отростка власти на заводах вызывает к жизни и новую, огромной важности общественную функцию: возможность двум и трем и нескольким заводам, в лице своих секретарей депутатских групп, организовано сообщаться друг с другом. Вот что можно было вычитать во взгляде инструктора. И если раньше один завод официально давал заказ на осаживание болванок другому заводу, а техническая дирекция (получающая заказ) официально отклонила его: она перегружена, у самих программа не выполнена, — то теперь получается дру-



гое: невыполненная своя программа отнюдь не означает, что все цехи перегружены, не означает, что нет машин, которые не вписывались бы в простой, что нет рабочих, которые не захотели бы отработать сверхурочно или еще как-нибудь, с разрешения охраны труда. Не только не во вред заводу и его собственной программе, но даже и с некоторой новой зарядкой для обычной работы может завод выполнить маленький заказ, сурово отвергнутый дирекцией... Нужно ли писать, что мы поехали на паровозостроительный?

Хорошие ребята на паровозостроительном! Там есть кузня. Она держит знамя и не хочет его выпускать. Секретарь депутатской группы взял дело на себя с той же простой выразительностью, как и секретарь на ХЭМЗ,— и передал его в кузнечный цех.

Так, переходя от инстанции к инстанции, от связанных, нерешительных, малоосведомленных главков учреждений до веселых, сильных, до мелочей знающих суть своего дела рабочих,— учитесь вы в сущности не по книжке, а на фактах тому, кто есть хозяин страны нашей. А за таким хозяином и дело не пропадет!



## ВМЕСТО ОТКРЫТИЯ

### 1

Есть неприятности, доставляющие радость. И есть несостоявшиеся «открытия», которым суждено быть причиной настоящих открытий, особенно для нашего брата, журналиста.

В приподнятом, как полагается, настроении, с чувством «выходного дня», как едешь на дачу,— я отмахала тысячу километров для того, чтобы дать фельетон в газету, обреченный заранее на трафарет. Наши праздники обросли своими ходячими выражениями. Хочешь не хочешь,— взять кое-что из их арсенала пришлось бы и мне. Правда, я могла бы нарушить традицию, капнуть дегтем, что вот-де опять назначают «пуск», не считаясь с настоящим положением вещей на стройке, пустят пыль в глаза, повертится турбина с недельку, а там пойдут бесчисленные перебои и аварии, о которых говорилось на всесоюзной конференции по генплану электрификации: «Открывать станции мы научились, строить мы умеем отлично, а вот эксплуатационный период — болезнь наших новостроек». Но не пришлось ни шарить в арсенале праздничных трафаретов, ни капать дегтем. Гидростанция, куда я приехала, строилась не трафаретно и в пусковой период вступила необычно.

Вместо разукрашенной арки, суетни на перроне, множества лишних людей, соответственного излишества в вокзальном буфете я попала в будни, те самые



будни, какие год назад, три месяца назад, четыре года назад заставляли приезжие, спускаясь из вагона. Ничто не говорило о празднике. Я поплелась на «базу», первую остановку перед тем, как ехать на строительный участок. И тут ничто не говорило о празднике. Комната для приезжих была свободна. Сторожиха заспанно вышла с ключом. Знакомый конторщик шел мыться — был ранний час — первым в коридор к жестяному рукомойнику. И в тесном ущелье, щетиной вставшем перед окнами, под монотонное пение речки, гудки паровоза, лязганье товарных вагонов — шла обычная жизнь, охватившая меня своей прежней рабочей инерцией... Вон неутомимая маленькая фигурка начальника второго участка мелькнула перед жерлом туннеля, — на второй участок идти больше километра по железнодорожному полотну. Да что же это значит?

— Неужто недостроили?

— А вот подите сами посмотрите. На сто процентов.

— Так чего же голову морочите? Люди на открытие приезжают, а вы...

— Открытие отложено.

— Почему?

— Чтобы темп не сорвать.

Говоривший ничуть не шутил. Он просто повторил ходячее объяснение, повторил то, что сказал главный инженер, как отдают приказание по армии:

«Открытие отложить, чтоб не сорвать темп».

Я села и задумалась. Оно, конечно, неприятность не маленькая, — приехать на открытие и не увидеть открытия. Не будет знаменитой ленты, которую перерезывает какой-нибудь крупный человек, не будет членов правительства, их речей, киносъемки, зрелища поднятой воды, ринувшейся на турбины, и первых вспыхнувших огней от рожденного ею электричества. Но, с другой стороны, что же означает эта замечательная фраза, преподнесенная мне вместо открытия?

Мы так часто и много пишем о темпах, что вряд ли один из тысячи отдает себе отчет, что такое темп, а в этом равнодушии девятисот девяноста девяти человек из тысячи к тому, что такое темп, — вряд ли отдают



себе отчет люди, руководящие темпами и назначающие сроки. Короче сказать, мы учимся планировать финансы, материал, кадры, цифры, людей и вещи, но совершенно забыли планировать темпы, из нашей практики планирования выпал самый важный объект — скорость течения времени.

Планировать темп значит видеть не только данный факт, но и целевое назначение этого факта. Возьмем простейший случай планирования темпа — лошадиные бега. Здесь цель — это финиш, скорейшее прибытие к месту. Но даже здесь, если жокей пустит лошадь сразу во весь дух и будет ее нахлестывать и гнать сломя голову, можно заранее быть уверенным, что он сорвет лошадь и не придет первым. Почему? Потому что такой жокей не знает культуры темпа ипподрома, не знает, что лошадиную скорость надо развивать медленно и с запасом, уметь рассчитать момент, когда можно перегнать противника без риска потерять быстроту. Возьмем другой простейший случай планирования темпов, когда цель меняется. Вас понесла лошадь. Здесь цель — остановить лошадь. Но опять же только новичок и отроду не сидевший на лошади станет сразу дергать узду, чтобы добиться цели. Наверняка он затаит дело, если не поплатится ребром. Выиграть время в данном случае, то есть максимально экономнее подойти к цели — это значит пустить лошадь нести некоторое время, пока она не ослабит гонки и не даст легко себя остановить. Оба примера указывают на различные темпы, хотя имеют в себе нечто общее, а именно: скорейшее завоевание времени в обоих случаях идет не по прямой. Пусть не упрекнет меня иной горделивый читатель: тут лошадь, а у нас о человеке речь идет. И у меня не о лошади (хоть лошадь и дала наступающей эре свою единицу меры, «лошадиную силу»), о человеке, управляющем ею, речь идет. Это он, а не она создает темп.

Посмотрим теперь, что такое темп строительства. Целевое назначение стройки вовсе не в том, чтобы быть достроенной и открытой. С открытием, речами, празднеством кончается ли жизнь стройки? Нет, не кончается, а начинается. За эту жизнь стройки отвечает



ли тот, кто ее строил? Отвечает, как мать за ребенка. Если нет юридической ответственности (в известных случаях и она есть), то существует ответственность моральная. Целевое назначение данной стройки, гидростанции на реке Дзорагет, дать энергию целому ряду потребителей; из них главный — химический потребитель, требующий бесперебойной, налаженной и равномерной отдачи энергии. Следовательно, темп строительства, данного строительства, должен выработать свою культуру, зависящую от конкретных условий: он должен быть так рассчитан, чтобы не оставить станцию ждать потребителя, не оставить потребителя ждать станцию, а, главное, чтоб приурочить момент пуска к такому полному овладению механизмами, когда пуск не окажется холостым выстрелом, чтобы после него люди не положили зубы на полку или не срывали темпа эксплуатации станции еженедельными авариями. Вот если произвести такой анализ понятия «темп», то можно прийти к трем выводам, очень немаловажным.

**Вывод первый:** нельзя не признаться, что в нашей практике мы слово «темп» понимали и применяли часто механически. Мы гнали взасос и думали, что «держим темпы». Какой толк в каждом вузе, в каждом кружке прорабатывать механицистов и вскрывать механицизм в любой книжонке, одновременно не замечая такого огромного факта, как механическое отношение к затрачиваемому на каждый данный трудовой процесс времени? Формальный подход к темпу привел к гонке, азарту, мчанию во весь дух и неизбежно сопутствующим азарту срывам: утере быстроты, опозданию. Речь тут идет не о потере качества (проблема качества мною совсем не затрагивается сейчас), а именно о потере времени, то есть в последнем счете о срыве тех же темпов.

**Вывод второй:** в технике есть замечательная система расчетных коэффициентов, которые представляют собой общее правило, принимающее во внимание все конкретные особенности явления. Таков, например, коэффициент полезного действия машин. Невольно возникает вопрос: не можем ли мы исчислить формулу



полезной затраты времени, то есть создать своего рода коэффициентный показатель для темпа? Это есть вполне конкретная мысль. Она не с потолка. Если сейчас она кажется необычайной, то придет время, когда плановая наука возникнет, когда плановик будет оперировать своими расчетными коэффициентами совершенно так же точно и безошибочно, как инженер оперирует своими. Поэтому каждый факт, указывающий на правильное понимание темпа, на имеющийся опыт в этой области, нужно ценить и приветствовать как радостное накопление.

И вывод третий: следовательно, главный инженер, сказавший фразу «отложить открытие, чтоб не сорвать темп», совершенно правильно и не формально, а по существу подошел к задаче достройки станции. Он не оторвал темп строительных работ от темпа эксплуатации (или работы станции), для него последняя стадия своей работы явилась проверенным переходом к первой стадии выработки энергии. Разве не праздник — такое отношение к делу вместо формального пуска с речами и флагами, вслед за которыми — всегда можно было бы тихонько да незаметненько простоять месяца три, перемонтировав негодную часть или докончив недоделанную? И вот я, вместо «открытия» в кавычках, получила настоящее открытие без кавычек, которое, уж конечно с большей пользой, нежели отчет о празднике, переадресовываю читателю.

## 2

Однако же сказка на том не заканчивается. Уж раз приехала я на стройку, уехать было бы последним делом. Строительные работы закончены на сто процентов — это значило, что задержка в пуске, породившая вышеупомянутый приказ главного инженера, вызвана или отсутствием (недосылкой) нужного оборудования, или неправильностями монтажа. То и другое, вопрос об энергооборудовании и вопрос о монтаже, являются сейчас наиболее острыми и интересными. О них говорят на конференциях, пишут доклады;



для обсуждения их собираются правительственные комиссии. Но если вы хотите проникнуть в суть этих вопросов, узнать то, чего никогда не узнают ни на конференции, ни в комиссиях, езжайте на стройку, живите на ней в период монтажа, прокипайте в общем котле с людьми, знающими больше, чем генералы, людьми, у которых профессия въелась, как дым в кожу,— и учитесь, учитесь замечательным вещам.

У нас сейчас затеяно большое дело — биография заводов. Это, сомнения нет, нужное дело. Но пока ковыряются в прошлом, завод делает свою историю сейчас, и притом вовсе не так и не там, где ее ищут по готовой схеме (готовая схема для нынешнего времени — ударничество, соцсоревнование и так далее). Как курица перестает носить яичко в то место, где ее заметили и стали забирать яйца, так и живая биография завода засекречивает себя, переключивая в темный угол. Кусочек этой живой истории, засекреченной для посторонних, довелось мне узнать самым странным образом — и это было, можно сказать, открытием номер два.

Попив чаю у сонной сторожихи, я двинулась на второй участок по линии полотна.

Второй участок постепенно стал главным узлом постройки, хотя на свет родился гораздо позднее первого. Эта последовательность строительных работ гидростанции (сперва котлован, плотина, вход в напорный туннель или начало деривационного канала — головняк; потом здание самой станции, напорные трубопроводы, завершение туннеля — второй участок) имеет ту прелесть для строителя, что привлекает одну за другой определенные группы рабочих, подчас кочующих со стройки на стройку. Даже чисто строительные группы, например артели плотничьи, бетонщики, особенно же забойщики, становятся странствующими знакомцами вашими, причем в процессе странствования эти группы накапливают своеобразный, не только профессиональный, но и человеческий опыт, известную (в прямом смысле) «светскость», они знают свет и себя умеют показать, их рассказы неисчерпаемы, их требовательность повышена. Профессия и особенности работы на



каждую группу накладывают свой отпечаток. Но когда строительная часть закончена, строительные рабочие большею частью разъехались, наступает «царство монтажа». Как циркачи свое дрессированное зверье, везут монтеры с родных заводов изготовленную машину.

Для гидростроев Закавказья главнейшие механизмы посылали Путиловский и Металлический заводы в Ленинграде, Электrozавод и Мостяжарт в Москве, ХЭМЗ в Харькове. Да не обидятся представители этих заводов за сравнение с циркачами: оно вызвано по ассоциации радости. Встречают их с волнением и любопытством. Ждут их напряженно, забегая им навстречу. Вся стройка ждет их, ждут приготовленные, отделанные отверстия машину, ждут бетонные ложа тяжелый стальной груз, ждут подъемные краны, ждут заготовленные помещения людей — и вот они появляются. Если речь идет о плотинах, о щитах и затворах, то уже непременно действуют путиловцы, и среди них хозяином ходит, гоголем ходит известный на весь Союз Григорий Александрович Бирюков, монтажник. Сколько механизмов поставил он на работу, и они пошли из-под рук его в дело! А сколько проводов, теплых проводов пережил он со своими путиловцами по окончании монтажа! Потому что есть такой обычай: каждой стройке непременно провожать Григория Александровича, говорить ему речь, увидеть особую бирюковскую присядку в камаринской, одобренную крепкой и затейливой улыбкой, и каждого путиловца в его группе заметить и запомнить настолько, чтобы нельзя было не признать на следующей стройке... Крепкие и нужнейшие люди монтажники, большие патриоты своего завода, большой среди них процент партийцев, потому что это старые кадровики с солидным производственным стажем, отборная пролетарская косточка. Но... нельзя, чтоб без «но». Засахаривать явление — значит лишать его жизни и интереса. В том-то и дело, что некоторые монтажники, самонужнейшие люди в Союзе и притом т у г о (если почти не) з а м е н и м ы е (смены с подобным опытом еще им нет), отлично чувствуют выгоды и преимущества своего исключительного положения, пользуются им и нередко доходят до самого подлинного рвачества.



Надо иметь в виду, что рвачество монтажников — особого рода. Одно дело — рвать за работу, и другое дело — рвать самой работой, то есть время производства работы считать источником своей выгоды. Монтер выезжает на стройку с удовольствием. Он едет командировочным; каждый день нагоняет ему суточные; стройка предоставляет монтажникам лучшее питание, нянчится с ними, и существует обычное предрасположение у тех, кто везет механизмы, — растягивать елико возможно время их сборки. Тут мы наталкиваемся обычно на искусственное замедление темпов, с которым бороться нужно умеючи. Необходимо поставить монтажника и монтаж в такие материальные условия, которые эту форму рвачества сделали бы невозможной. Надо оплачивать не «договорные сроки» (когда можно смонтировать раньше срока, монтер оттягивает дело, лишь бы не потерять условленное), а самое дело и премировать качество дела. Десятки способов можно придумать, чтоб изжить у монтажника командировочное настроение.

Было или нет такое настроение у монтажника ленинградского Металлического завода Сторожева — это лежит на его партийной совести. Речь у меня пойдет сейчас не об этой стороне дела. Речь пойдет о другом.

Что произошло на стройке, дав повод отложить пуск? Обычно перед открытием станции устраивают пробный пуск агрегата. Здесь хозяевами своих механизмов являются монтажники, и работа машин служит как бы испытанием их собственной работы по сборке. Ленинградцы с Металлического привезли и установили турбину. Когда была пущена вода и турбина заработала, масло между пятой и сегментами слишком нагрелось, и отдельные частички металла стали гореть. Остановив и разобрав пята, увидели, что пята и сегменты по поверхности перегорели. Для читателя вся эта история — пустой звук, но пусть читатель представит себе всю установку, пусть станет мальчиком и как бы делает вещь для себя. Положим, что из напорной трубы вниз бьет вода, еще ниже — сток, по которому вода уходит в реку. Надо, чтобы вода из трубы была не зря, а ударяла в лопасти рабочего колеса (турбины



Френсиса в семь с половиной тысяч киловатт); движение колеса будет передано генератору, а генератор переработает механическое движение в электричество. Но где и как поместить колесо и генератор? Их надо повесить над водой, повесить так, чтобы рабочее колесо пришлось под струю напорной воды. Как грушу, наннзывают всю установку на вал и вешают ее, — а тяжесть «груши» не маленькая, около восьмидесяти тонн, — вешают ее на чугунную пятую весом в шесть тонн. Между пятой и подставками, на которых она сама держится, должно происходить трение, — турбина ведь делает огромное число оборотов в секунду. Это трение изучено (тоже коэффициент), с ним борются разными способами, кладут на подставки своего рода металлические подстилки, а самую пятую облицовывают другим металлическим составом; между пятой и сегментами вливается масло. Одним словом, всеми возможными способами уменьшают коэффициент трения, покуда конструируют установку. Но делают и еще одно: помогают работе всей этой гигантской «груши» чисто динамическим путем, в самый момент пуска.

Есть замечательные страницы в книге Петрова-Водкина «Хлыновск», это там, где он описывает работу грузчиков. Принимая тяжесть на спину, грузчик не только расставляет шире ноги, но становится на цыпочки. Тяжесть как бы соскальзывает на него, и сам он участвует в процессе ее скольжения. Вот нечто подобное продельвается и со всей установкой. Когда делают тяжелые турбины (для дзорагэсской турбины, не очень тяжелой, это, правда, не было обязательно, однако по некоторым причинам, о них ниже, могло бы быть желательно), то проектируют их с особым гидравлическим подъемником, который не сразу вешает всю тяжесть восьмидесяти тонн на пятую, а поддерживает эту тяжесть до тех пор, покуда вращение не наладится и масло не засосется, иначе сказать, он должен разгрузить турбину.

Посмотрим теперь, как обстояло с дзорагэсской турбиной. Она «перегорела» (то есть перегорела поверхность пяты и сегментов) при первом же пробном пуске. Почему? Строители — не механики. Машину они не



знают. Случившаяся беда первое время была для них потемками. А монтер Металлического завода — упомянутый выше Сторожев — никому не объяснил причин аварии. Сторожев в этой истории вел себя недопустимо. Он не прочь был взвалить вину на строительство: то-де было неладно, да это мешало, да третье, да четвертое... Но, кивая на строительство и законспирировав случившееся до полной тайны, он начал, тоже тишком, принимать меры, которые и прояснили перед строителями до некоторой степени всю историю: он выписал от завода новые сегменты с поверхностью из баббита, послал старые сегменты в Эривань тоже покрыть баббитом и принялся весьма медленно скоблить поверхность пяты... Тут-то и всплыл вопрос: а почему собственно и пяты отлиты целиком из чугуна и сегменты, вопреки нашей старой практике, тоже целиком из чугуна? Пяты и сегменты отлиты из одного и того же состава, это в наших условиях новшество; и, вводя это новшество, завод даже не обеспечил себя разгрузкой турбины, то есть сделал ее без подъемника. Монтеры «покрыли» вину завода своим молчанием, они помешали строительству тотчас же разобраться в деле и ускорить принятие мер. Нельзя этот образ действий назвать согласованной работой.

Но, спрашивается, почему надо было так старательно прикрывать завод? Тут-то мы и подходим к засекреченному уголку заводской истории, который ни в какую биографию, пожалуй, не проскочит. А в нём есть острота. Если угодно, в нём есть проблематическая острота, вопрос «отцов и детей» в технике, вопрос борьбы нового со старым и вытекающие отсюда для нас оргвыводы.

Дело в том, что дзорагэсская турбина имеет свое начало в далеком (сравнительно с отливкой) прошлом. Она имеет начало в отъезде нескольких молодых советских инженеров в Америку. Побывав там полгода, инженеры увлеклись американскими методами и вернулись в Ленинград с готовыми планами. А в ленинградском Металлическом порядке были старые, и старой школы спец сидел на заводе. Между молодыми новаторами и старым спецом возникла распря, спец



ушел, молодежь победила — и первым результатом победы явилась отливка пяты и сегментов для дзорагэсской турбины — по американскому способу, из одного чугуна. Отлить — отлили, а пустить — не пустили. Перегорела турбина. Чугун наш и чугун американский — повидимому, Федот, да не тот, — во всяком случае на первом опыте завод сел, и этот провал монтажники хотели прикрыть, только бы не проникло в печать.

Напрасно, товарищ Сторожев, более чем напрасно! Оргвыводы из этого дела таковы: в наших советских условиях борьба нового со старым должна протекать совсем по-другому. Этой борьбе никогда не надо ставить препон, точнее — нужно широко открыть дорогу новому, но именно поэтому введение нового сугубо обязывает новаторов. Отливайте и пробуйте, но как? Прежде всего, испробовано, проверено ли лабораторным путем качество чугуна для пяты? Была ли проверена и испытана турбина до ее отправки? Можно ли было пусковое строительство подвергать риску неиспытанного эксперимента? Завод, вводящий технические новшества, не должен вводить их н е р я ш л и в о, иначе такому новаторству грош цена, это будет Америка Митрофанушки, до которой можно доехать на извозчике.

Итак, болезни монтажа, бегло намеченные в этом эпизоде, упираются в болезни нашего оборудования. Известно, что его у нас и вообще мало, потребность покрывается меньше чем наполовину, поэтому должна быть поднята ответственность завода за то, что он выпускает, чтобы процент покрытия потребности в итоге не стал еще ниже.

### 3

Но тут может вступить Госплан. Цифры Госплана другие, и меня следует исправить: по данным Госплана, всесоюзная потребность в энергооборудовании будет удовлетворена (будет!) в текущем году на шестьдесят семь процентов, а к концу второй пятилетки должна быть удовлетворена на все сто. Однакоже «будет» и



«должна» не значит «есть». Госплановская наметка ставит нас перед тем фактом, что почти половина наших электростроек, во вторую пятилетку намеченных к пуску, останется недооборудованной.

Чтоб читатель лучше представил себе эти проценты, не черными по белому, а... белыми по черному, то есть недостающими, пустыми местами в реальном целом, я расскажу ему, как обстоит дело в одном Закавказье. Пусковая стройка, дзорагэсская, о которой идет выше речь, кричит сейчас о трансформаторах: несмотря на все обещания Москвы, она их не получила до сих пор. Ее открытая подстанция в Караклисе стоит перечнем пустых пятен: список недостающих предметов занимает четыре полных страницы мелкого письма; в нем значатся такие остро необходимые вещи, как масляный выключатель, разъединители, трансформаторы, проходные и опорные изоляторы, контрольный кабель, шунтовый регулятор, даже клеммы.

Как работать с такими пустыми местами? Канакергэс не получает оборудования вовсе. Крупнейшая стройка Закавказья—Рионгэс—в таком же положении. Ее огромный фронт (одна деривация — девять километров) обслуживается столь скудным транспортом, что диву даешься: неужели нет у нас автомашин для Рионгэса? И вот сюрпризы, устроенные московскими заводами: обещали дать наборные клеммы (Электросвет), но другой завод не дает металлических частей (Мосэлектрик), и поэтому обещание сдано в архив; послали трансформаторы (Электрозавод), но нет к ним тележек, и поэтому нельзя начать монтаж. Нет кабеля, генераторов, масляных выключателей; нет регуляторов к турбинам, изоляторов, измерительных приборов; задерживаются «Красным путиловцем» лебедки.

Спустимся к Северному Кавказу. Там недодача похожа на издевательство. Гизельдон получил турбину, но не получил трубопровода. Баксанстрой заказал турбины и оборудование «Путиловцу», проект уже сделан, но заказ аннулирован заводом и до сих пор нигде не размещен. Если я спрошу, кто следующий — десятки строек поднимут голос с жалобами. В этой недодаче характерная черта: некомплектность. Одно есть, дру-



гого нет. А когда на стройке одно есть, а другого нет, это значит фактически ничего нет, потому что одно без другого мертво. Представьте себе, что вы получили в подарок игру, где не хватает половины объектов, или часы с неполным механизмом, или очки без стекол, или стул без ножек. Вы — человек частный, ваша потребность на вас и кончается, но поглядела бы я, как станете вы благодарить за такой подарок. «Да какого черта!» — закричите вы с заградой нервных сил. «Да какого завода!» — кричат строители. А нервную силу огромного числа людей, едущих со строек вытягивать у завода то одно, то другое, — никто не считает и не оплачивает. А нервная эта сила — наше главное богатство, двигательная энергия социализма, и разбазаривать ее не приходится.

Как это видно из примеров, речь у меня идет о гидростройках. Руководствуясь данными того же Госплана, мы будем во второй пятилетке иметь мощностей на двадцать два миллиона киловатт, из коих свыше двенадцати процентов принадлежат гидравлическим установкам. Рост значения гидростанций с каждым годом таков, что по словам сухих отчетов «центр тяжести все более перемещается в их сторону». Удельный вес их возрастает с одиннадцати процентов в 1932 году до двадцати шести в 1934 году. Казалось бы, этих данных достаточно, чтобы поставить вопрос о гидроэнергооборудовании, которое изготавливается сейчас вразбивку, более или менее случайно на разных заводах. Но, к сожалению, надо признать, что в вопросе этом царит преступная путаница. Не в отчетах. Не в резолюциях. В отчетах и резолюциях все благополучно. А на деле.

Разберем здесь один вопиющий факт, в отчетах совершенно заглаженный и зализанный. Вопрос о срочной достройке цеха гидротехнического оборудования на территории Путиловского завода. История этого вопроса доказывает, что наши плановые организации или «не интересуются» ведомственными делами, или не знают, что делается у них под носом, или планируют будущее, предоставляя настоящему катиться под откос, как оторвавшемуся вагону от чересчур резвого паровоза.



«Красный путиловец» был отцом нашей гидротехники. Путиловцы дали механическое оборудование для Волховстроя, Загэса, Кондопожа, Рионгэса, Ленинанской ГЭС, Сардарабадского канала, Канакергэса, Свирьстроя, БРЭС, Басканстроя, московского Рублевского водопровода и так далее. Щиты с подъемными механизмами для плотин, затворы, решетки, напорные трубопроводы, мостовые краны, деррики, лебедки, домкраты, ворота — вот самое беглое перечисление вещей, изготавливаемых путиловцами. Но вещи проектируются, — и на заводе выросло чрезвычайно опытное конструкторское бюро (около сорока человек конструкторов и производственников). Но вещи оставляют по себе производственный след, — и на заводе образовался большой склад моделей, богатейший архив чертежей. Отпочковывание отдельного цеха стало настоятельной необходимостью, и было естественно думать, что этой необходимости пойдет навстречу сам завод. Однако администрация завода не пошла навстречу. Технический директор Ветютнев резко выступил против. Постановление треста Котлотурбины за подписью Афанасьева — лежит втуне; начатая постройка цеха — лежит втуне; специалисты дезориентированы; заказы срываются; Ветютнев желает разгрузиться от механизмов и гидротехники.

Почему Ветютнев тормозит дело? Он пламенный поклонник серийного производства, — очень хорошо; он хочет сделать Путиловский завод строго специальным, — очень хорошо; он знает, что механическое оборудование гидротехнических сооружений берет страшно много стали, а сталь нужна для основного производства завода, — очень хорошо. Но отпочковывание нового цеха есть не выдуманный, а органический факт для самого завода. Нельзя не считаться с опытом, кадрами, историей, усвоенной практикой самого завода, и механически отсекал все это. Отпочкуй цех, пусть цех станет новым заводом, скомбинируй его с основным, это не грозит никаким разнообразием. Самое главное — нужда в стальных болванках — покрывается, во-первых, тем, что новый цех будет брать их у Колпинского завода и лишь на тридцать процентов у Путиловского, а во-вто-



рых, сам Путиловский вводит новую сталелитейную, повышая процент отливки болванок. Не так дело страшно.

Пока длится грызня между Котлотурбиной и упрямой администрацией Путиловского завода и никто не знает, будет цех или не будет цеха,— вдруг совершенно неожиданно и неподготовленно появляется известие о том, что Волгострой (важный сейчас потребитель механизмов) строит свой собственный завод. Где, с кем, когда это согласовано? Справятся ли кадры Волгостроя с задачей? Куда денутся конструкторское бюро Путиловского завода и богатейший опыт этого бюро с чертежами и архивом? Не заберет ли их Волгострой? А если заберет, что будет с другими стройками-заказчиками?

Да нельзя же так, товарищи! Нельзя воображать, что «над нами не каплет», а «в резолюциях все упомянуто и цех признано необходимым достроить». Посмотрите, что делается на деле. Стройки не получают оборудования, будущие заводы существуют пока только на бумаге, а один из главнейших цехов-поставщиков, реальный производитель, поставлен в положение не то мертвеца, не то рыбных консервов, не то вагона с картофелем, который гниет на станции. Это ведь почтище снабженческих неувязок. Время бежит, и госплановские сто процентов во второй пятилетке могут оказаться оторвавшимся паровозом.

Вот куда мне пришлось попасть вместо открытия. Я рискую, впрочем, на манер монтажников, слишком растянуть командировочные и нагнать суточные, а потому ставлю точку.

1932

Дзорагэс



## МОСКВА — ГОРОД УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

### 1

Из немногих эпитетов, какие общи у старой и новой Москвы, этот один неоспорим в своем постоянстве и значении. Старая Москва была университетским городом по преимуществу; в ней росли и складывались кадры учащихся, студенчества, интеллигенции. Новая Москва остается университетским городом по преимуществу; в ней учатся, переучиваются, учат и готовятся к тому, чтобы учить. Но если мы спросим людей, прошедших две высшие школы, одну до революции, другую после революции, чем отличается старая учеба от новой, старая Москва университетская от новой — в двух словах на это не ответишь. Вернее — на это есть точный ответ именно только в двух словах, но, чтобы подойти к этим двум словам, чтобы заставить их прозвучать понятно и доступно для читателя, требуется далеко не «двусложный» рассказ очевидца, к которому я сейчас и перейду.

«Очевидец» — их уцелело не так уж много — имел большое счастье поступить четверть века назад в московскую высшую школу; через пять лет, поздней осенью, в октябре 1911 года, — получить на руки диплом об ее окончании и ровно два десятка лет спустя, при точном совпадении месяца, в октябре 1931 года, — шесть слушательницей на скамью одной из самых своеобразных, а пожалуй и самой своеобразной (небывалой



в прошлом и в других странах!) советской высшей школы — Плановой академии при Госплане СССР.

Материал и масштаб для сравнения — необычайно удачны, вот почему я и упомянула выше о «большом счастье».

Рассказ мой не зря начинается с обозначенья месяца. Академический год в отличие от всех других и раньше и теперь исчисляется с осени. И я не ошибусь, если назову самой характерной порой для Москвы и для показа Москвы, особенно университетской, именно начало академического года, первые дни осени. Четверть века назад вокзалы выбрасывали в эту пору в Москву некоторое количество скверно одетых молодых людей. Они съезжались из далеких углов «Российской империи», по несколько суток трясясь в «бесплацкартных», с горячей жаждой учиться, с зашитыми где-нибудь на лифчике или в рубашке рублями, сколоченными летней «кондицией», — подготовкой оболтуса, — или двумя-тремя годами уроков, — и Москва их встречала привокзальным «тушем»...

Голос «ломается» в своем развитии у всего, живого и неживого, человека и машины. Но как резко и показательно поломался он у Москвы! Четверть века назад на привокзальной площади приезжий окунался в чудовищную какофонию, где грохотали железные колеса извозчиков по неровным булыжникам (кто еще помнит эти булыжники?); где заливались бойкие уличные торговцы, выкликая сезонный товар, — антоновку, «моркву», рыбу, горячие «пирожки филипповские»; где резко позванивали конки, соперничая колокольчиком с мерными подвесными бубенцами крестьянских подвод; где этажом выше, с дерев и карнизов, неся оглушительный треск вороньего карканья и галочьих криков, разбухших на сытном корму овсяных зерен, обильно выклевывавшихся из густого лошадиного помета, сутками и даже неделями лежавшего на улицах (кто найдет теперь лошадиный помет в Москве?); и, наконец, еще выше, последней оркестровой краской в этом голосе Москвы, связанной с ним тысячью исторических ассоциаций, — дубасили воздух колокола, перекликавшиеся с пузатых, округлых высот всех знаменитых москов-



ских сорока сороков. В этом широком звоне приезжий карабкался на «ваньку», нарицательное для безответного хозяина клячи, обладателя изумительной махинации на колесах, откуда торчали острые, выпружинившиеся ребра, и синего кафтана, откуда лезли пух и всякая всячина,— словно и спал он, и вываливался специально в сору, и бородишку валял, чтобы вот этак, в дырках и клочьях, усесться на облучок и ехать медлешенько по улицам, громыхая всем своим составом, покрикивая «нно!» и уминая ногами корзинку, повязанную веревкой,— скромный багаж студента. Улицы, по которым он трясся, зеленели сотней квадратных бумажек, наклепленных изнутри на оконные стекла. Зеленые бумажки уведомляли: *«Здесь здаеця комната», «Комната сатаплениемъ».*

Но если вокруг приезжего в этом мире изобилия было так много всяких богатств, множество незанятой жилплощади, несъедаемых продуктов, пустующих столиков в столовых и кофейнях, зияющих пустот в театрах, банях и конках, свободных вакансий в университетах и консерваториях, то лично для него от этого обстоятельства шансы занять хорошую площадь, купить хорошую еду, сесть за столик в столовой, пойти в театр, ездить на конках и, наконец, учиться в университете — отнюдь не повышались. Между этими шансами и приезжим стоял таинственный барьер, охранявший возможное от желаемого законом производственных отношений так же крепко, как охраняет закон физики от пролития воду в опрокинутом стакане, казалось бы ничем, кроме воздуха, не защищенную.

С другой стороны, мнимое изобилие отнюдь не говорило и за то, что жилплощади в старой Москве вообще много (куда меньше, чем нынче!), и продуктов в нее доставлялось много (куда меньше, чем нынче!), и высших школ имелось достаточно (неизмеримо меньше, чем нынче!). Секрет заключался в том, что студентов-одиночек, въезжавших в Москву на «ваньке» и попадавших в университет, было ничтожнейшее количество, такое жалкое по сравнению со всей массой стапятидесятимиллионного населения «Российской империи», что его можно было сравнить лишь с ничтож-



ным числом всплывающих пузырьков над огромным бассейном воды, еще не начавшей закипать. Одиноким пузырек, всплывший на поверхность миллионных масс, обреченных родиться и умереть в темноте и невежестве, — вот чем был студент из низов или мелкий интеллигент в старой дореволюционной Москве. Понятно, что на него как будто «хватало» всего, но тем, чего как будто ему «хватало», он не так-то легко мог воспользоваться.

Чтобы поступить в старый университет, нужно было накопить большие деньги — сто рублей за право учения в течение года; иметь аттестат зрелости и свидетельство о политической благонадежности; найти заработок — уроки, переписку, — чтобы жить и учиться в Москве; ко всему этому для инородцев прибавлялись особые трудности, а для евреев так называемая процентная норма. Но среди всех этих обстоятельств выделяется одно, с наибольшей силой и яркостью показывающее нашей советской молодежи упомянутый выше барьер между «охотой» и «неволей», действительностью и возможностью. Я имею в виду выбор профессии. Казалось бы, для старого студента, ничем с государством не связанного, нет ничего легче, как выбрать себе профессию по душе. Поступай на любой факультет, прочти программы, посоветуйся со своими пятью чувствами, спроси у товарищей, — и, хочешь, будь медиком, хочешь — инженером, философом... Однако на деле выходило иначе. В любой биографии знаменитых людей старого мира мы встречаем удивительную вещь — необходимость учиться не тому, к чему лежит сердце. Сколько писателей, жаждавших писать, готовилось быть клерками и стряпчими, проклиная нудную школу юриспруденции! Какое множество художников лучшие годы своей молодости тратило на обучение торговле, для них ненавистной! Какую борьбу выдерживали изобретатели, летчики, философы, подходившие к делу своей жизни через чудовищные препятствия в виде школ, как будто «пазлов», из духа иронии, всегда обучавших не тому, совершенно не тому, на что эти люди чувствовали себя способными. Так было с теми, кто все же, наперекор



школе, выходил в любимое дело. А кто мог учесть «невыходивших», — десятки и сотни тысяч искалеченных школой людей с навязанной на всю жизнь нелюбимой профессией? Кто мог учесть раздвоенцев, тех, кто внутри своей профессии боролся с «ножницами», — естественной потребностью «работать для души» и необходимостью «зарабатывать на кусок хлеба»? Один втихомолку писал стихи, изобретал в чулане, дудел на фистуле, а на людях «отбывал» службу почтарем, педагогом, клерком; другой писал статьи в газету для заработка и статьи «не для печати», чтоб удовлетворить себя самого, то есть ухитрялся по-разному делать одно и то же профессиональное дело. Насильственная школа, навязанная профессия — настолько характерная черта старого мира, что мы с ней встречаемся почти в каждой судьбе. Невольно сравниваешь ее с такой же типовой чертой наших биографий, где люди, сотни тысяч людей, — мечтавшие когда-то подпасками или девчонками на побегушках — летать, изобретать, плавать по морям, танцевать в театре, — проходят после революции, словно судно по каналу, от шлюза к шлюзу, от этапа к этапу, через соответственную школу, — к мечте своей молодости, любимой профессии.

Здесь мы приблизились к разнице двух школ, старой и новой, заключенной, как выше я говорила, только в двух словах. Эти два слова звучат очень обыденно: старый студент учился «для заработка», новый студент учится «для работы». Но чтобы эти обыденные слова наполнились реальным смыслом, чтобы ножницы сомкнулись и человек смог слить два процесса — «жизнь» и «работу» — в один, понадобилась Октябрьская революция, создавшая такие отношения между людьми, где каждый будет давать обществу «по своим способностям».

## 2

В 1931 году, в возрасте сорока четырех лет, я снова стала студенткой. Первое, что поразило меня, когда я вошла в здание моей новой школы — это огромность и



сложность мира, где пришлось очутиться. В прежние времена студенты знали раздевалку со швейцаром, чинный пролет лестницы, площадку, на стенах которой не пестрели ни плакаты, ни объявления, коридоры и аудитории. Дважды, иной раз трижды в день мы бегали в этот так называемый «храм науки», вечерами защищали на «семинариях» наши «рефераты», но студенту показалось бы диким, если б ему предложили там выпить чаю. Между тем «Плановка» — Плановая академия имени Молотова, — куда в семь утра, затемно, стягивались студенты, — ютившаяся первый год своего существования в небольшом особнячке в глубине двора, — встретила меня как целый самостоятельный мир. Ее три этажа были насыщены «культурой учебы» — всем, что требовалось не только для одного ученья, но и для того, чтобы это ученье вошло в плоть и кровь, большим стилем «думающего», «занимающегося». В комендантской вы забирали три-четыре газеты, выписанные вами на школу, — выписывать на дом не было, как увидит читатель, смысла. При свете небольших ламп, в уютной столовой, вы вдыхали знакомый запах влажной клеенки, вареной колбасы, крепкого чаю и очередного «горячего завтрака». Прихлебывая из стакана вкусно и молодо, с беззаботностью учащегося, который н а ч и н а е т жизнь, о котором думают и заботятся, как некогда, в очень раннем детстве, думали и заботились родители, вы пробегали глазами газеты, и не только потому, что тянет, немисливо не прочесть, как нельзя не помыться утром (в старом мире месяцами студент не разворачивал газету!), а еще потому, что нынче кружок текущей политики и надо выступить, нельзя осрамиться; это входило в большой круг учебы, как тишина, тетради в ремешке, утренний завтрак. До начала занятий вы успевали сбегать в библиотеку и читальный зал, где уже заготовлены нужные книги и в таком количестве, чтоб хватило на каждого, без очереди и ссор. Вы заглянули в «книжный киоск» и на марки, выданные вам в прошлый месяц, отобрали две-три книги. Вы миновали зал «общих собраний», несколько знакомых дверей с надписями: «парткабинет», «бюро ячейки», «профком», «консульта-



ция по политэкономии», длинный коридор с жилыми комнатами, где семьями живут учащиеся из других городов и республик, и, наконец, очутились в своей аудитории. Там, перед уроком черчения, староста раздает карандаши, резинки, большие листы бумаги, кнопки; там уже чинит кто-то карандаш у окна, щурясь от голубоватого света утра, позолоченного электрическим светом лампочки. И все пахнет деревом, лаком, меловой тряпкой у грифельной доски, пахнет молодостью, неизвестно как возвратившейся на эти сорокалетние лица. Усаживаясь за свою парту и отругиваясь от дежурного, непременно желающего проставить вам опоздание на полминуты, а это влечет снижение отметки за дисциплину у всей бригады, вы вдруг чувствуете знакомое, расширяющее чувство благодарности. Каждое утро я переживала его, как любовь, и не могла привыкнуть. Первый раз в жизни мы учились так. Что значило это «так»? В него входила непрерывная, душевная, думающая забота о каждом из нас. В него входило сознание, что вот мы давали, а сейчас мы берем, и берем спокойно, как дети. Государство обмозговало каждую мелочь к нашему удобству, — вот придет преподаватель, крупный ученый, подслеповато окинет аудиторию, по старинке начнет бормотать, понижая и повышая голос, — и вдруг он осекся. Он вспомнил, что его слово должно дойти до каждого, и вот он у дальней парты; повторяет, всматривается вам в лицо, и вы понимаете, что на его ответственности обращаемость и всхожесть сказанного им слова совершенно так же, как на ответственности аптекаря составленное им лекарство. Эта приближенность преподавателя к слушателю — необычайная вещь; мы привыкли в прошлом к знаменитой забывчивой бормотке профессора, к его увлечению собственной лекцией, к его комичной отрешенности и рассеянности, как к чему-то должному и даже почтенному; а тут — попробуй-ка он отрешиться. В углу быстрые пальцы стенографистки фиксируют речь. Через день староста каждому из нас вручает оттиск стенограммы. И опять укол в память, — с каким великим трудом, за день-два перед экзаменами,



раздобывали мы в старину гектографированные, затрепанные до невозможности лекции!

Нас всего двадцать человек в отделении; в нашей успеваемости репутация преподавателя; через нас, наше знание, наши успехи — он становится «ударником», выходит на красную доску. И он соревнуется с нами в том, чтоб быть понятым. Но есть и другое, совсем уже необычное. Выйдите в обеденный перерыв из аудитории, загляните на площадки, где стены словно руки вытягивают, захватывая вас сотней обращений, вызовов, сообщений, плакатов, стенной газетой, бюллетенями. Спуститесь вниз, в директорскую, профессорскую, туда, где происходят заседания «кафедр». Прислушайтесь, о чем речь идет. Десятки учащихся обсуждают преподавание нового предмета. Урок прошел шумно и осложненно. Мнения класса резко разделились. Преподаватель «смылся», он угнетен, вот он сидит возле курилки, и к нему с папиросой подходит слушатель, больше для окончания спора, чем для прикурки. Преподаватель не удовлетворил нас, и директор согласен с нами. А все дело в предмете. Не было еще такого предмета, и он только создается, — создается у нас, нами, сообща с преподавателем. Каждый из нас, из собранных тут людей, принес в школу огромный практический опыт. Многие создавали на практике основы той сложной науки, которая должна нам преподаваться в теории. И вот мы критикуем слабого преподавателя, мы наполняем схемы «новой дисциплины» живым соком наших отдельных опытов. В тот год, когда я вступила в «Плановку», основные науки планирования еще не были созданы; учебники буквально делались, росли, проверялись на наших глазах. Нигде в мире, кроме как, может быть, у червячков, закуконивающихся в одежды, вытянутые из собственного тела, не существовало еще такой школы, чтоб преподавание, наука рождались бы совместно с самими учащимися. У Платона в его академии, может быть. Но именно так было у нас, в первой в мире Плановой академии.

В четвертом часу нас неожиданно, как туман, застигала усталость. Смочив носовой платок, я терла глаза, слипавшиеся от напряжения. Но с усталостью



боролся враг, помогавший платку: захватывающий интерес. После занятий мы оставались на общее собрание. Потом шли в отдельную аудиторию, заниматься побригадно. Нам очень много задавали, и в ту пору мы еще работали в бригадах. Я никогда не забуду особого чувства урока, пропущенного через восприятие четырех человек, не забуду психики усвоения, помноженной на четырежды-четыре. Конечно, в бригадных занятиях терялось много времени, слабый связывал сильного. Но лично для меня этот метод открывал миры совершенно новых переживаний. Я, как живописец, отходящий от своей картины и вбок, и назад, и еще дальше, и снова в сторону, чтоб увидеть ее со всех точек, взять вещь миллионами лучей, отовсюду,—брала свой урок в незабываемом для меня разнообразии хваток и «взглядов» моих трех товарищей по бригаде, маленького дружного интернационала,—башкира, казака и русского. Потеря во времени искупалась глубокой человечностью, всеобъемлемостью приобретаемого знания.

И вот ужин. И вот возбужденный холодок в позвоночнике: раздевалка. Огни на улице. В одиннадцатом часу — домой.

А на улицах Москвы — опять широкое чувство учебы, не покидающее нас в нашем городе. Если новая школа — это целый сложный мир по сравнению со старым формальным «храмом науки», то и вся Москва университетская до революции была в сущности очень скудной и тесной, загнанной в ущелья Малой Бронной и Мерзляковского, в окопы Моховой и Девичьего поля, на площадку Политехнического музея. За пределом этих улиц на студента надвигалась Москва купеческая, добротная, занятая; Москва чужих взрослых людей, живших чужими делами и интересами; Москва, отнюдь не склонная давать вам что-либо «на даровщину», потому что все в ней, в том числе и знание, расценивалось на деньги. Студенты теснились и копошились в ней особым одиноким мирком.

Но мы, новые студенты Москвы социалистической, мы выходили из дверей школы — в свой собственный и близкий мир. Госплан, Главэнерго, а не мама и папа, государство, а не накопленные рублишки поса-



дили нас учиться, и они остались очень близкими к нам,— рукой подать. Учреждения Госплана — в том же здании, люди, делавшие государственную работу,— товарищи учащихся и завтрашние учащиеся. Каждый из нас как свои пять пальцев знал свой район и свой райком — Бауманский, и производственная практика, которую мы выполняли, была всамделишная, а не выдуманная. Помню, как в 1932 году во время заминки с контрольными цифрами десятки тысяч учащихся, вся вузовская Москва (и мы, плановики, в том числе), проделали огромную, нужную для государства работу по проверке контрольных цифр на сотне московских предприятий. И не одна школа послала нас на эту обязательную производственную практику, а послал и райком. И наши отчеты, давшие студенту больше, чем работа над книжным материалом, а стране больше, чем любая схоластическая диссертация,— наши отчеты мы относили в райком. Помню и знаменитую уборочную кампанию 1933 года, опять снявшую двадцать тысяч московских вузовцев (и нас, плановиков, в том числе) на производственную практику в деревню; нам она помогла укрепить и проверить знания, а политотделам помогла добыть и убрать хлеб.

Заговорив о производственной практике, я невольно коснулась всех вузов Москвы. Мне могут сказать, что Плановая академия — в своем роде «привилегированная» высшая школа, каких немного, и картины исключительного внимания к учащемуся, высокие стипендии, высокий бытовой уровень в ней — не типичны для других вузов. Это, однако, неверно. И вот почему: школ, подобных Плановой (и лучше Плановой), у нас в Москве очень много, в десять раз больше, чем всех старых школ Москвы дореволюционной. А во-вторых, любой вуз, даже бедный, и любой учащийся, живущий в неуютном общежитии, на грошовую стипендию,— включены в этот общий великий стиль социалистической учебы, делят все его огромные преимущества и радости. Я повстречала на днях девушку-колхозницу из села Гарбузинки (Одесской области), командированную в Москву в институт журналистики. Она говорила со мной, слегка захлебываясь от волнения, путая веко-



вые украинские словечки с новыми для нее русскими, сияющая особенным счастьем нашей молодости, молодости всей страны: «Ой, Москва, тут же с воздухом, глазами, ушами, ногами учишься, только ходи и смотри, ходи и смотри...» И, задумываясь над границами новой Москвы университетской, стараясь представить себе, какие же в сущности улицы можно рекомендовать новичку или иностранцу как студенческие, убеждаешься вдруг, что нет их, этих улиц. Нет Москвы вузовской, как уже перестает быть и Москва рабочая и Москва окраинная. Весь город стал — вузовским. Студент слился с любым работником страны, где он учится, работая над действительностью, и где работают на заводах, в лабораториях, театрах, больницах, учреждениях — учась. Каждая диаграмма, каждый световой сигнал, строчка в воздухе, витрина в доме, плакат на стене — обдуманно, сосредоточенно, интересно внушают вам, что учеба нужна «для работы». И вы уже стали забывать времена, когда люди так странно должны были учиться «для заработка».



## ПОЕЗДКА В СУРСК

Самые обыкновенные вещи превращаются в событие, если их совершить в необычное время. Простая поездка в районный центр Сурск, по-старому Промзино, хлебное село, славившееся когда-то своим «угодником» и многочисленными паломниками, а сейчас имеющее иную славу (о ней — ниже), превратилась для нас в своего рода героический поход. Машина падала в ямы—ее вытаскивали; она буксовала в грязи — ее толкали; она прочно застревала в выбоинах — ее медленно откапывали, делали канавки, пробивали шлюзы, спускали из выбоин воду; машина задыхалась — ее поили топленным снегом; она засорялась — ее прочищали; она отказывалась идти — ей давали постоять, отдохнуть, остыть. Четыре человека почти волоком вели эту машину сто тридцать километров до Сурска, а вернее — до реки Суры, потому что с Сурском сообщение было уже прервано половодьем и попасть в районный центр можно было только на пароме.

Но почему понадобилось ехать людям в самую распутицу, когда можно было бы проехать до и после? Потому, что восемьдесят лет назад по такой погоде, да и еще худшей, по дорогам несравненно более плохим (тогда еще не было гатей и мостов через болота, окружающие Сурск), в условиях гораздо менее удобных (подводы и сани вместо авто) ездил в старое Промзино



небольшой человек в кожаных и невысоких, как носили тогда, сапогах, с быстрыми черными глазами и живою картавою речью, с плешинкой через всю голову, накрытой справа налево начесом черных волос, по которым он любил вот этак, вдоль начеса, поглаживать рукой. Ездил этот человек неустойчиво по всей губернии, замерзал и промокал, голодал и угорал, по месяцам почти не видел семьи, — и чтоб на опыте оценить весь незаметный героизм этих его поездок, всю их физическую трудность — четыре человека и выбрали для своего путешествия самую неподходящую погоду...

На днях в Ульяновск съехались педагоги, чтоб обсудить вопросы методики. Не лишнее сейчас вспомнить того, кто был в сущности первым просвещенцем старой Симбирской губернии. Тем более что и первый съезд учителей в старой России, тоже посвященный вопросам методики, был созван и проведен именно им, Ильей Николаевичем Ульяновым.

А в нынешний Сурск он заглядывал ежегодно, был тут незадолго до своей смерти, потому что в Сурске находилась одна из лучших тогда народных школ министерства просвещения, построенная при непосредственном его участии. В этой школе много лет преподавал один из тех его выучеников-«ульяновцев», кто был первым настоящим народным учителем России, — Роман Алексеевич Преображенский. Старый учитель еще жив, как жив и тоже находится в Сурске другой замечательный «ульяновец», учитель Алексей Александрович Волков. Повидать этих двух ветеранов первого просветительного похода, услышать их рассказы об отце В. И. Ленина, посмотреть здание школы, сохранившее почти весь характерный для того времени распорядок внутри и даже кое-какую тогдашнюю мебель, было второю задачей нашей поездки.

Паром медленно наполнялся людьми и лошадьми. С незастроенного берега, розовеющего прутьями верб, Сурск казался последним комком снега, залегшим на пригорке. Половодье охватило его кольцом. Нескончаемые болота в кружевных деревянных мостах, водой полно небо над нами, вода каплет с весел, но в городе нет



воды. На пароме вы наслушаетесь, как местные жители говорят: пить нечего, не то что помыться. А в столовой коричневая вода в графине — это кусочек мутного весеннего половодья, потому что сурцы пьют воду из Суры, а доставляют ее по крутым подъемам на собственных плечах. Вообще Сурску есть на что жаловаться. С водой — не устроено, у РИК'а до сих пор нет машины, хотя бы самой захудалой. В районном центре нельзя было достать бензину, и люди ходили за ним на ближайшую МТС.

По грязным, немощеным косогорам, под первое запеванье жаворонков, незримых глазу, медленно идем с заведующим районо в школу. Перед нами деревянная, крепко сколоченная стена, просторные сени с двумя рядами вешалок и три двери — прямо, направо, налево. План мы уже знаем: восемьдесят лет назад он был собственноручно начерчен и приложен к инспекторскому отчету отцом В. И. Ленина.

Илья Николаевич был особенным даже для своего времени человеком. В те годы деревенской школой увлеклись многие; людей, готовых идти «в народ», было немало; прочитывая в отчетах характеристику тогдашних учителей, иной раз встречаешь лиц с необычным образованием для букваря и четырех действий арифметики — университетским у народного учителя, институтским у народной учительницы. Что их загнало в глушь? Тогда говорили — «идея». Но идейность отца В. И. Ленина была насыщена удивительной даже для нас здравостью и деловой продуманностью. Среди мечтателей, «рыцарей на час», болтунов, непрактичных и мятущихся добрых душ, мало полезных и себе и обществу, Илья Николаевич Ульянов встает подлинно историческим образцом человека, носящего в себе предпосылки для будущих основных черт характера большевика. Читать его отчеты сейчас — наслажденье. Он дает сжатый, но полный анализ состояния школ; его предложения всегда выполнимы, его характеристики так точны, что запоминаются, а он не устает повторять и напоминать, не забывает отмечать «выполненное» и «невыполненное», отмечать так, как, примерно, бьет дирижер палочкой по пультам еще и еще



раз, до тех пор, покуда солист не схватит верного темпа и не исполнит правильно своей партии; и, наконец, он поражает неустанной борьбой за те «мелочи», которых старая интеллигенция обычно не жаловала и которые на самом деле решают судьбу культуры. В старых симбирских домах до сих пор нет форточек; во всей России тогда не были в моде форточки. Бытовой журнал «Семейные вечера» в 1880 году в отделе полезных советов напоминал, что очищать воздух в жилых помещениях надо при помощи корзин с древесным углем, который нужно было заменять свежим раз в две-три недели.

Но Илья Николаевич Ульянов настойчиво делал форточки в школах и помещал в отчетах, где они есть, а где нет. Илья Николаевич первый придумал широкие сени в школе. Для чего тратить место под сени? Раньше довольствовались крылечком сторожки, где происходила учеба, или коридорчиком перед классом, а дети вваливались в классное помещение одетыми. Но Илья Николаевич в широких сенях в два ряда поставил вешалки, небывалое новшество, и каждый школьник стал вешать свой тулупчик на отдельный крючок. Мы своими глазами по сохранившейся промзинской школе видим эту глубокую продуманность плана, позволившую постройке не только устоять свыше полувека, но и не устареть как школьное помещение. До сих пор в ней светло и удобно, и дети высыпали веселой гурьбой нам навстречу, когда мы вошли,— веселые, радостные и общительные советские дети, внуки и правнуки тех дичков, что глядели из-под рукава, защищающего глаз,— страшный детский жест застенчивости, порожденный страхом побоев.

Обдуманно создавал Илья Николаевич материальную базу для просвещения. Но еще обдуманнее он выращивал свои кадры. Человек менее живуч, нежели здание. Человек проходит, а с ним проходит и возможность для нас глубже заглянуть в его эпоху. Драгоценных людей, оставшихся в живых, так называемых «ульяновцев», питомцев Ильи Николаевича, обученных на созданных им курсах, работавших под его руководством



свыше десятка лет, все меньше и меньше. Немногим из оставшихся в живых — уже далеко за восемьдесят лет. У иных ослабела память, другие обойдены и заброшены. Замечательный педагог-ульяновец, Алексей Александрович Волков, живет на пенсию в 46 рублей и до сих пор не может добиться персональной пенсии, до сих пор никто не разыскал его, не поинтересовался его рассказами, а ведь об этом человеке и его школе мы можем много хорошего узнать из отчетов Ильи Николаевича.

Он сидит сейчас перед нами, — живая история русского народного просвещения, — рядом с другим ульяновцем, которому больше посчастливилось, Романом Алексеевичем Преображенским. Сухонькая старинная фигура в учительском сюртуке незапамятного времени, но в характерной рамке серых пепельных волос, стриженных по моде восьмидесятых годов, и старомодной, брошенной вперед бородки под дремучим навесом седых бровей — какое живое лицо, какие чудесные глаза у старика! Он был когда-то красавец, он и сейчас очень красив и говорит мастерски, — ведь это был первый «общественник» Алатырского уезда, создатель ученического драмкружка, декоратор, актер, устроитель спектаклей. Даже и жест его сохранил какое-то внутреннее щегольство человека, всю жизнь бывшего на людях и умеющего себя держать. А в то же время — подкупающая искренность учителя ульяновской выучки, о которой он сам рассказывает замечательные вещи.

Вот мы видим Илью Николаевича перед первым выпуском Порецкой учительской семинарии. На вопрос, где они хотят работать, двадцать два «новоиспеченных» (как тогда говорили) учителя хором отвечают: в городе!

«Илья Николаевич посмотрел на нас укоризненно. Это, говорит, во-первых, невозможно, во-вторых, в городе и без вас культурных сил достаточно». И тут он нам развил перспективу, показал, что мы такое, как трудно и как почетно дело учителя: надо стремиться идти в глушь, где тьма. По окончании курса он назначил меня в село Ибресси, Алатырского уезда, а



я уже туда заранее съездил, увидел, что там ужас один, голые стены, и пишу ему: Илья Николаевич, я туда не пойду. А он приезжает на вакации в Алатырь, вызывает меня и говорит: «Я, говорит, знаю, что гаже этой школы свет не создавал, но вы покажите себя, к чему вы готовились, поставьте школу как школу и сделайте мне выпуск учеников».

И дальше замечательный рассказ, как, заряженный этой упорной ульяновской волей, учитель Волков поставил школу и сделал выпуск. Ежегодно, иногда несколько раз в год, Илья Николаевич наведывался к своему питомцу, проверял его работу. Вот он приехал с ревизией, остановился на квартире у Волкова:

«Во время ревизии, если он замечал какие-нибудь оплошности, говорил об этом не в школе и не во время занятий, а после занятий, вместе с учителями. О недостатках никогда не скажет, что вот это неправильно, а скажет так: «По-моему, это хорошо бы сделать так». Мы понимали и наматывали на ус. В свободное от ревизии время собирал учителей, проводил вечер в беседе, чтении и обсуждении методик и всегда говорил о главных качествах учителя, без которых педагога не бывает: о самообладании, любви к ребенку, сочувствовании с ним, терпении, бодрости духа, чтоб весело работалось. Помню его как сейчас: после обеда не ложится, а сядет за свой журнал и запишет, бывало, что видел за день; чай пил вприкуску, на месте долго не усидит, разговаривает и ходит по комнате, вечером перед сном выйдет на крыльцо и обязательно подышит на ночь свежим воздухом. Система его была такая: чтоб мы, учителя, всегда работали со всем классом, а не с одиночками, чтоб у нас никогда не выпадал класс при ответе одного, чтоб мы умели держать внимание всего класса. Большой упор делал Илья Николаевич на наглядные пособия, на демонстрацию опытов, на то, чтоб каждому ученику дать свою долю участия в общем занятии, а тогда ведь это все были идеи новые и необычные. Ново было и отношение к ребенку. Илья Николаевич учил нас ближе подходить к ученику, знать его не только в школе, но и в семье. Как-то у одного мальчика в моем классе во время чтения не оказалось книги. Илья Николаевич сам



дал ему денег и велел тотчас купить книгу, чтоб не пропускал чтения, а мне потом сказал: «Это вы проглядели».

В рассказ вмешивается жена Волкова, тоже учительница, бодрая и живая старушка:

«При Илье Николаевиче проглядеть никак было нельзя! Я шестнадцатилетней девушкой работала на практике в Алатырской школе; даю урок арифметики, а Илья Николаевич в это время приехал и входит в класс. Задачки я на практике всегда сама сочиняла, и вот, помню как сейчас, составила я задачу на апельсины. Тут Илья Николаевич остановил меня и говорит: а вы спросите, знает ли класс, что такое апельсины. Я спросила, и — о ужас! — оказалось, что никто не знает, говорят: это перстень на палец. После урока он мне выговор сделал: «Вы берите такие примеры, чтоб были понятны ученикам...»

Рассказ за рассказом встает перед нами облик Ильи Николаевича — педагога и руководителя:

«В 1879 году я заболел тифом. Товарищ мой посылает за врачом в соседнее село Покровское, верст за пятнадцать, а врач ехать отказывается. Тогда товарищ — что было делать? — дает телеграмму Илье Николаевичу. Тот через земство вызывает врача, который и посещал меня через день, до самого моего выздоровления. Летом приехал к нам и сам Илья Николаевич, дело было в июне, но студено, и помню, приехал он в шубе. Мы ему говорим: «Что ж это вы, Илья Николаевич, летом да в шубе, лето пугаете», а он засмеялся и пошутил над нашим студеным летом народной поговоркой: «До святого духа (т. е. до троицы) не снимая кожуха, а по святом духе в том же кожухе». Под вечер мы прошли с ним в школу, и он меня спросил, делал ли я дезинфекцию, как питаюсь, как себя чувствую, посоветовал гулять в вакации побольше, «в чем нуждается или затрудняетесь, пишите, — всегда охотно помогу».

И мелкими черточками и всем своим характером Илья Николаевич в живых рассказах современника все больше и больше становится вам видимым и осязаемым как отец Владимира Ильича, как живой исток очень



большого влияния, определившего и укрепившего ленинский характер. Ведь и по внешнему облику, и по разговору (быстрый картавый говорок), и даже по отдельным жестам Владимир Ильич был удивительно похож на отца. Вот почему изучение этого прекрасного и большого человека восьмидесятых годов в его поучительной во многом и для нашего времени деятельности -- не только увлекательная, а и совершенно необходимая для нас задача. И надо не упустить дорогое время, знать счет его уцелевшим современникам, взять от них все, что можно, и не забыть скрасить последним ветеранам ульяновской армии их старые дни.

1937



## ПОДРУГА ИЛЬИЧА

### 1

Задолго до того, как увидеть самое Надежду Константиновну, мне довелось впервые познакомиться с ее почерком и потом удивляться, как до глубокой старости, можно сказать до дня ее смерти, этот почерк сохранил свою твердость, — он остался одинаковым, без следа дрожи в руках, без искривления линии строчек. Даже привычку писать письма почти всегда лично, не прибегая ни к стенографистке, ни к диктовке на машинку, Надежда Константиновна сохранила до последних дней жизни.

Дело было в Ленинграде в 1925 году. По знаменитому Шлиссельбургскому тракту, на окраине старого Питера, где началось в 90-х годах прошлого века первое социал-демократическое движение среди рабочих, есть на правом берегу Невы суконная фабрика, бывшая «Торнтон», известная тем, что отчасти и за подпольную работу на ней, за выпущенную прокламацию к ее рабочим, Владимир Ильич получил свою высылку, — иначе сказать, эта фабрика участвовала в его «боевом крещении». Еще и в 1925 году она стояла довольно изолированно от других фабрик; идти к ней было не легко (деревянные мостки через Неву, на которых когда-то потонуло много рабочих), а в 90-х годах это была настоящая крепость, куда постороннему человеку и попасть было рискованно.



Быт и степень сознания рабочих Торнтона считались в 90-х годах не только самыми отсталыми, но в своем роде «неисследованными»: до того тщательно оберегал фабрикант свою фабрику-тюрьму от проникновения в нее постороннего человека и так сурово держал самих рабочих, запретив им переходить на левый берег Невы. Воскресить кусок исторического прошлого, рассказать о том, что такое «фабрика Торнтона» в советское время, я и задумала, тем более что тогдашнее издательство Высшего Совета народного хозяйства поручило мне создать новый литературный жанр — «промышленную беллетристику». Маленькая книжечка «Фабрика Торнтона» была написана и издана. Вскоре же после ее выхода в свет я получила через Марью Ильиничну Ульянову большой конверт с четкой надписью: «М. Шагинян от Н. Крупской». В этом письме Надежда Константиновна рассказала мне, как она сама в 90-х годах, переодевшись работницей, пробралась в эту фабрику-тюрьму. Простыми, но страшными чертами встает прошлое из ее рассказа; нашим советским работницам оно сейчас покажется просто невероятным. Привожу выдержки из письма:

«Я когда-то работала в Смоленской школе, у меня было много учеников от Торнтона... Большинство рабочих он подбирал из определенных сел Смоленской губернии, смоленские рабочие особенно держались Торнтона, потому что там больше всего работало земляков...

Чтобы удержать своих рабочих от участия в надвигавшемся рабочем движении, Торнтон устроил у себя на фабрике вечерне-воскресную школу и пригласил туда для преподавания студентов духовной академии. Те морочили им голову. Помню, однажды один из моих учеников принес мне книжку... которую принес им студент: «Хождение богородицы по мукам». Книжка эта была насквозь пропитана антисемитизмом и диким изуверством.

Рабочие все же предпочитали Смоленскую школу, а торнтоновская школа пустовала.

В 1894 году мы вдвоем с Аполлинарией Александровной Якубовой, переодевшись работницами, ходили смотреть общежитие Торнтона. Большой домина, по-



строенный так, что во всех комнатах стоит страшный шум; комнаты, отгороженные от коридора не доверху; по две семьи в малюсенькой комнатухе; в верхнем этаже комнаты со стенами, зелеными от сырости, воздух такой, что даже лампа не горит — кислороду не хватает, общие спальные с развешанным бельем, духота неимоверная...

Каждая семья отдельно варила обед, надо было платить кухарке 2 рубля в месяц, чтобы ставила горшок со щами на огонь; кто платил больше, того горшок ставила ближе к огню. У кого горшок стоял с краю — щи получались сырые. Плита была маленькая, и все горшки все равно не уставлялись на нее. Питались больше чаем с хлебом да с селедкой.

Рабочий день был неимоверно длинен. Когда мы были в казармах (рабочие общежития назывались в то время казармами. — М. Ш.), пришли вскоре по окончании работы. В женском общежитии видела, как несколько работниц в изнеможении лежали на кровати, уткнувшись головой в подушку, одна лежала в ящике. Условия работы были непомерно трудны. Особенно про крайнюю рассказывали, как отравлялся там народ...

В конце письма Надежда Константиновна писала:

«Все эти воспоминания вызвала во мне Ваша книга, а также ряд образов, фигур рабочих. В безграмотной группе сидят два пожилых рабочих от Торнтона в кафтане, пишут слово «конь» и один от другого с хитрой улыбкой закрывают свое писанье, чтобы тот не списал у него «ь». И это — простое обучение грамоте — радость людям доставляло!»

Эти строки в письме Надежды Константиновны я не могла и сейчас не могу читать без волнения. В них как будто ничего нет, так мало, всего несколько слов, но в этих словах — целый мир, ключ к характеру большевика, они так просто открывают, за что любит народ В. И. Ленина; они бросают тепло, излучающее особенный, большевистский свет. Вот т а к надо чувствовать человечество, любить скованный, поработанный, измученный двойным рабством у царя и капитала великий русский народ, любить его будущее, — как те, что сорок пять лет назад шли раскрывать ему глаза на печатное слово,



на смысл человеческих отношений, на силу рабочего единения. И в свете этой любви, на простом школьном уроке, так заметить и запомнить простую мелочь — букву «мягкий знак» — черточку радостной, детской хитринки у пожилого ученика, закрывающего ее, эту букву, от соседа, — так заметить, запомнить и передать это скупыми словами, чтоб читающий не мог не почувствовать и не воскликнуть сердцем: «Только такая любовь и могла перевернуть мир!»

2

Впервые увидеть Надежду Константиновну мне пришлось уже спустя несколько лет, на первом пленуме Моссовета одиннадцатого созыва 1934 года, в числе депутатов которого была и я.

Пленум начался с отчетного доклада, в котором подробно перечислялись добавления наших избирателей к наказу. Толстый отпечатанный том этих добавлений был заранее нам роздан на руки. Но часть депутатов, воспитанная на старых традициях буржуазных говорилен, еще не знавшая, в чем заключается работа «советского парламента», хоть и перелистала этот увесистый том, однако же свое собственное выступление приготовила заранее, не по существу этих добавлений. Правда, выступления были все связаны так или иначе с вопросами нашей культуры и нашего быта, но взяты они были общо, по-прожектерски и шли мимо отчетного доклада.

Чем больше мы слушали эти выступления, тем расплывчатей и бесформенней представлялась нам наша будущая работа. Но вот слово взяла Надежда Константиновна Крупская. Затаив дыхание, я глядела, как проходила к трибуне седая, болезненная с виду, казавшаяся крупной, несмотря на свой маленький рост, спутница Ильича, знакомая нам по портретам.

Заговорила Надежда Константиновна очень тихим голосом о совсем простых вещах: сапоги для школьника, трамвайные висуны, где открывать ясли — по месту жительства или по месту службы... Одна за другой перед нами в простых словах и живых образах проходили



реальные нужды реальных людей, но проходили совсем не так пестро и случайно, как мы прочли в «Добавлениях к наказу». Надежда Константиновна сумела сразу захватить наше внимание примерно так, как очень большой ученый захватывает вас при показе какого-нибудь опыта: и самим опытом и его методикой.

В речи Крупской мы тоже получили сразу и содержание этой речи и ее методику. Содержание ввело в зал главное действующее лицо нашего пленума — реальную массу избирателей и ее интересы. А методика речи ввела нас самих в тот ленинский стиль работы, в ту культуру настоящего большевизма, которая заключается в умении чувствовать себя неотрывно от массы, видеть и слышать ее нужду как свою нужду, ее интерес как свой интерес.

По мере того как говорила Надежда Константиновна, «мелочи» стали казаться очень крупным и большим делом, которое надо суметь сделать всерьез. Крупная и большая вещь — это не только жизненные интересы миллионов людей, пославших нас в Совет защищать и осуществлять эти интересы. Нет, это нечто большее, это еще нигде в мире небывалая сама возможность действительно осуществить эти интересы, а не только поговорить о них и разойтись.

И в этой полной возможности действительно осуществить запросы и требования миллионов и лежит подлинный советский демократизм, и лежит принципиальная разница между буржуазной говорильней и нашим Советом, между ролью буржуазного депутата и ролью нашего советского депутата. Надежда Константиновна и дала нам своим выступлением урок советского демократизма, показала, как надо вести свою депутатскую работу в дальнейшем.

Выйдя с пленума на вечерний московский воздух, я продумывала эту речь — такую простую и несложную с виду, так органически насыщенную любовью к человеку, знаменующую собой целую новую культуру общественного труда, — и мне вспомнились двое пожилых рабочих с фабрики «Торнтон».



## УРАЛ В ОБОРОНЕ

### *Дела и люди Урала*

Свойства их разны были всегда:  
Ковко железо, а сталь — тверда.  
Сплавь их — получишь в одном металле  
Ковкость железа и твердость стали.

*Старинное правило, как делать булат.*

На одном из уральских заводов в цехе боеприпасов висит совсем простой, без расцветки, плакат:

«Пана Карпова, ты свое слово сдержала».

Он висит над рабочим местом. Невольно ищешь глазами, а где же эта Пана Карпова, сдержавшая свое слово? И видишь белокурую худенькую девушку с плотно сжатыми губами, со сдвинутыми бровями, неслышно и безостановочно повторяющую одни и те же движения, — она лепит стержни для мин; легким обнимающим жестом проводит по ним руками, снимая с них лишнюю землю, и ставит на скользящую мимо люльку конвейера. Секунда — поворот, секунда — поворот; — и уплывают одна за другой песочные пирамидки. Видно, что Пана Карпова и сейчас держит свое слово и будет его держать. Но, глядя на эту фигурку, на ее неутомимые, легкие жесты, на сосредоточенный, душевный взгляд, — чувствуешь и другое: силу, помогшую Пана Карповой сдержать свое слово, силу, которой не измерить и не учесть и которая заражает, держит в волнении всех



окружающих. Пана Карпова — это образ того огромного, прекрасного, светлого патриотического порыва, каким охвачены сейчас люди Урала в шахтах и на полях, в цехах и лабораториях. Самое простое, казалось бы, чисто механическое движение, повторяемое в тысячный раз, получает дополнительный душевный вклад, — через взгляд, через руки, через все существо работающего человека. Словно просвечивает и течет любовная теплая волна самоотдачи: для тебя, родина! Для тебя, родной брат и товарищ на фронте!

Вот почему, объезжая уральские заводы, присматриваясь к группам работающих на полях, заходя в кабинеты ученых, переживаешь вместе с гордостью и острую до слез любовь к советскому человеку, веру в народ наш, кладущий за родину душу свою, и чувствуешь потребность рассказать о нем, рассказать об этих людях, чтобы увидели их не только через цифру выполненной программы и сдержанного слова, но и в этой их неучитываемой, неизмеримой душевной самоотдаче.

## 1. ВОСПИТАНИЕ

Тот, кто проделал длинный осенний путь с запада на восток вместе с заводским эшелоном, мог наблюдать в пути группы подростков. Они выскакивали из теплушек и бежали за кипятком всегда стайками, никогда — в одиночку. Полудетские лица их были озабочены, неподвижны, насуплены, словно мысль работает и хочет освоить неожиданное, случившееся с ними, и еще не может его схватить. Ноги их путались в длиннополох, не обношенных форменных шинельках. Это были ученики ремесленных училищ и фабзавучники, присоединенные к рабочим коллективам своих заводов. Ребята, едва начавшие сознать себя, уже проделали большую и романтическую историю, уже накопили опыт жизни.

Остановите того, кто бежит медленней всех, широколицего веснущатого паренька, почти безбрового, с носом-пуговкой, переваливающегося в слишком длинной шинели. Это — Шурка. Он из смоленского колхоза, любимец матери. Дома, бывало, не уснет, пока мать не



подтянет его к себе, под материнский бок, хоть старшие и засмеивали и дразнили за это. Когда Шурку отсылали в город, в ремесленное училище, он ревел белугой и слез не утирал. Мать напекла ему в дорогу жирных рассыпчатых пшеничных лепешек и твердых ароматных ржаных коржиков. Город Москва совершенно подавил и ошеломил Шурку, три дня он, как зверек, ни на чьи вопросы не отвечал. Потом начал отвечать, опустив подбородок на грудь и таким шепотом, что его приходилось переспрашивать. А потом уже носился по училищу бойчее всех, и только к вечеру, после приготовления уроков, как начнут от усталости слипаться глаза, Шурка вспоминал мать, тихо подбирался к воспитательнице и ластился к ней стриженной головой,— ему не доставало ласки.

А воспитательница, немолодая полная женщина, своих шестерых поставила на ноги и все это очень понимала. Она старалась дать мальчикам, сразу вырванным из больших крестьянских семей, из теплого избыного уюта, вместе с лаской то, чем сама увлеклась и что в те дни увлекало и всю Москву: чувство высокой, прекрасной гордости за подготовку нового поколения рабочего класса, класса — хозяина родной земли.

Государство взяло на себя эту подготовку и щедро поставило ее. Ничего не пожалело,— светлые, большие, умно обставленные классы, теплые, хорошо проветренные спальни, мягкие кровати с простынями и пододеяльниками, еженедельная смена белья, души, а какая еда! В первое время ребятам не хватало хлеба, по крестьянской привычке набивать им желудок. А потом они вошли во вкус мясных блюд, гарниров, компотов, стали все чаще оставлять хлебные корочки на столе. Гуляли они парами, как до революции институтки и «пансионерки» закрытых учебных заведений, и с каждой прогулкой им раскрывалась Москва, красота ее архитектурных групп, старинные камни Кремля, мшистый, потемневший, густой, такой особенный, как «на картинке», цвет этих камней в зеркально-ясном осеннем небе Москвы.

Уже они так привыкли к новой жизни, что дома, в колхозной избе, сразу заметили бы и духоту и житей-



ские неудобства. Но еще не осознали они того главного, чем одарила их новая жизнь. И заметили это в пути...

Враг подходил к Москве. Шла эвакуация заводов. По ночам, ища безопасного выхода для заводского эшелона, тихо маневрировал темный паровоз вокруг всего города; на платформах доканчивали погрузку. И ребята ремесленных училищ, испуганные, сжавшись, наблюдали, как покрывались брезентом машины, как из пригородного лесочка рабочие несли охапки свеженаломанного порыжевшего березняка и заботливо укрывали им сверху свои машины, маскируя их от вражьего глаза.

Третий раз мальчики меняли семью. Теперь из уютных, светлых спален и классов, из размеренного учебного дня с хорошими учителями и ласковыми воспитательницами они попали в необычный, неопределенный мир с неизвестным завтрашним днем. Душная, тесно набитая теплушка, чужие взрослые люди, скудный котелок на железной печурке, чистка картошки, поиски старых бревен на остановках, рубка леса, забота о себе и своей пище, о том, чтобы не опоздать вскочить в вагон, а там — укутанные на платформах заводские цеха, в соседних вагонах — заводские рабочие, их новая семья, на первый взгляд такая неласковая, незнакомая, — их неведомый трудный завтрашний день!

Засыпая на досках теплушки, ребята вспоминали, как к ним, в ремесленное училище, приезжали писатели читать свои стихи и рассказы; приезжали ученые, профессора, певцы, актеры, музыканты; в те первые месяцы вся Москва хотела помочь государству готовить из них новый рабочий класс. Разница была слишком велика, скачок слишком чувствителен.

— Набаловали вас, — ничего, привыкайте, — сказал им как-то дежурный по эшелону без злобы. Но дети обиделись. Они уже привыкли считать, что не баловство, а законное, простое дело было их воспитание. От него сейчас остались следы — голос выработанных привычек. В определенные часы, трижды в день, громко заговаривал желудок: он требовал еды; утром рано, проснувшись, тянуло помыться и зубы почистить, в часы прежних занятий ребята искали книгу, тетради, испытывали голод мозга, потребность поучиться; а вечером было



пусто — не доставало урока, который непременно требуется приготовить на завтра. Мальчики тогда не знали, и окружающие их тоже не знали, что в этих «позывах» образовавшихся привычек, в этой выработанной цепи рефлексов — самое важное, самое дорогое, что они успели получить в училище, — великое чувство режима, устроенный на весь день распорядок времени, приучивший к себе организм человека. Не знали ребята и того, что чувством режима надо очень дорожить и беречь его, стараясь при всех обстоятельствах как-то отвечать на него, то есть жить, не разбивая образовавшихся рефлексов. Если б в теплушке с ними был прежний учитель, он им рассказал бы в утренние часы о городах и краях, куда они ехали, а вечером спрашивал бы у них о рассказанном. Но время учебы кончилось, мальчики становились взрослыми людьми.

Вот они в чужом городе, на огромном, знаменитом заводе, в сверкающем сталью и стружками, шумящем проводами механическом цехе. Шурка — в фартуке вместо мундира, с черными пятнами металлической пыли на носу и у переносицы — токарь третьего разряда. И рядом с ним — старый, седой рабочий, земляк мальчугана, тоже смоленский.

Шурка стал молчалив. Вначале он пристрастился было курить, и как-то его поймали на том, что он потянулся к плохо лежавшему чужому добру. Хотели судить Шурку, но вступился хозяин украденного Шуркой кисета, — вот этот самый смоленский токарь. У него давно не было семьи, сына он потерял на фронте. А Шурка не знает, что случилось с его матерью и родными, — в тех местах хозяйничали немцы. Рабочий разговорился с мальчиком, угостил его, как взрослого, табачком. Они сидели на скамейке перед баракom; слово за слово — выведал старик у мальчика всю подноготную, рассказал ему о своих делах, пригласил работать вместе. И день за днем «взрослым», хорошим обращением, уважительным подходом старый токарь пробудил в своем товарище смутное рабочее самоуважение. Стал Шурка чаще молчать и думать, курить бросил сам собой, захотел ближе и лучше узнать машину, начал следить за рабочим местом, за чистотой своей койки. И тут как-то он



поделился со старым токарем своим огорчением, что нет прежнего порядка в жизни, нет аккуратного, по звонку, чередования дела и отдыха, еды и сна. Только было привык к нему, и вдруг — словно и не было!

— Порядок — он хорош в самом человеке, — ответил токарь, — велика честь жить по звонку. Ты вот сам будь звонком своей жизни, образуй себя!

И Шурка всерьез принялся образовывать в себе тот великий внутренний звонок, ту строгую внутреннюю дисциплину, без которой нет полного человека. Он стал хозяином своего времени.

Тысячи уральских ремесленников переходят сейчас в ряды взрослых рабочих. В Магнитогорске есть один не совсем обычный горновой, тоже Шурка. В цехе его зовут «Малыш». А если спросить у него самого, то он скажет, что его зовут Александр Александрович Бронников. Этот Малыш — низенького роста, курносый, очень милый мальчик лет шестнадцати, перепачканный графитом, ладный и грациозный. Он горновой в бригаде Дроздова, на трудной и ответственной плавке. Измерить его работу можно записной книжкой. Там на замусоленной страничке Александр Александрович небрежно занес свой заработок последнего месяца: две с четвертью тысячи зарплаты и полторы премиальных.

— Ого! — скажете вы, прочитав. — Небось мать отнимает?

— Сам домой нес, — важно ответит Малыш.

Улыбнется он только, если вы спросите, нравится ли ему работа горнового.

— А то как же?

И белые зубы сверкнули в совершенно черных от сажи и графита губах.

Горновые — высокая квалификация, у них инженерская ставка. В старые времена доменное дело велось скрытно, на Урале была в ходу так называемая «мастеровщина», тщательное оберегание секретов производства. Доменный процесс считался загадочным, различные явления его — «непонятными». Была целая своя каста, немногочисленная, мастеров и инженеров, имеющих якобы особый многолетний опыт распознавания этих явлений. Они «лечили» домны за особую плату и в



искусно создаваемых внешних условиях. До 1929 года и у нас, в системе наркомтяжпрома, еще были такие доменные «лекари», требовавшие особого уважения к себе и считавшие, что без них доменное дело идти не может. Но советская молодежь быстро пораскрыла все эти секреты и сделала их известными для каждого. И сейчас Малыш, Шура Бронников, горновой Магнитки, тоже имеет такой «многолетний опыт» и уже прекрасно справляется со всеми загадочными явлениями доменного производства.

На заводе, где директором Д. Кочетков, работает токарем шестнадцатилетний уралец, Витя Толкачев. В самые напряженные дни работы над оборонным заказом Витя сбежал из цеха на футбольный матч — проступок в военное время очень большой. На собрании его перебрали, что называется, по косточкам. Но, слушая, как о нем говорят, Витя глядел под ноги, кривил рот, супился; мол-де, «а мне наплевать: возьму вот и удеру!» И в цехе укоренилось мнение, что из этого парня толку не выйдет.

Лишь старый, умный кировец, токарь Гребс Владимир Федорович, думал иначе. Он прикрепил мальчика, с которым никто не хотел иметь дела, к себе: пусть-ка попробует поработает со мной!

Старый и малый работали два месяца: Гребс, высокий светлоглазый ленинградец, с лицом и повадками северянина, молчаливый и справедливый, но без нежностей, и упрямый уральский мальчишка, не знающий, что такое дисциплина.

Гребс ни с кем в цехе не делился, как идет работа, и ничего не рассказывал о Викторе. Но вот Владимира Федоровича выдвинули в мастера, и Витя остался один на почетном гребсовском месте, на месте, где работал виртуоз, знаток своего дела. Добрая слава токаря Гребса и его станка сделалась наследством Вити. Словно испугавшись, что его переведут отсюда, Витя трудился изо всех сил, трудился в упоении, перенеся в работу весь свой задор футболиста, всю радость ощущения своих мускулов, своей ловкости, — и через несколько дней, на удивление цеха, начал выполнять бывшую выработку Гребса. Станок его учителя заработал на полный ход, попрежнему!



С тех пор Витя Толкачев вошел в график стахановцев. В цехе впервые увидели, какие золотые руки у мальчика. Про него пустили хорошее слово «быстро-ручка», стали звать его «Толкачом». А Витя, чувствуя новую свою репутацию, с уральской упряминкой, подтягивая за собой других, вышел на самую передовую линию. Прежде чем ввести на заводе новую норму, ее дают обычно на пробу, на подготовку, чтоб посмотреть, как с нею справятся рабочие. В субботу на новую пробу поставили Витю-Толкача. Он сделал пятнадцатичасовую работу за восемь часов. Снял и сложил свой фартук. Вымыл руки, вытер их насухо, пришел в контору и, ни на кого особенно не глядя, деловым тоном сказал: «Желательно внести тысячу рублей на танковую колонну». Из кармана своей курточки Витя вынул кошелек, отсчитал аккуратно деньги и положил их стопочкой. Вите дали расписку и сказали:

— Ну, Толкачев, в выходной ты свободен. Иди хоть в футбол играй, дело свое ты сделал.

Виктор поднял глаза на говорящего, попробовал было снисходительно, как взрослый на шутку, усмехнуться: мол, не такое время, чтоб в футбол играть! Но шестнадцать Витиных лет взяли свое, и мальчик увидел перед собою законное, свободное, заработанное честным трудом время, как светлую, длинную, приятную дорожку отдыха и удовольствия, и вдруг, повернувшись, вприпрыжку побежал к выходу.

## II. ВСТРЕЧА С ВОСТОКОМ

Почти все, что у нас было опытного, талантливого, знающего, переключалось на восток. Но Урал встретил эту армию не с пустыми руками. В уральском народе десятками поколений воспитывались старинные культурные навыки к заводскому труду. Свое, вековое мастерство переходило от деда к внуку, от отца к сыну. Есть здесь потомственные сталевары, насчитывающие сталеваров в семье с «незапамятных» времен. Есть доменщики, чей опыт может поспорить с самыми передовыми доменщиками юга, хотя они работают на старых, «заштопанных», технически примитивных домнах.



На такой допотопной, маленькой домне завода имени Куйбышева уральцы взялись осенью прошлого года за ответственный оборонный заказ. Стране нужен был один из ферросплавов, делавшийся раньше в электропечах юга. Его никогда не выплавляли в домнах. Но уральские доменщики взялись его выплавить.

На заводе имени Куйбышева работает коренной уралец Семен Иванович Дементьев, по собственному его выражению, «произошедший весь доменный процесс». Начиная с коногона, возил на конях (уральцы делают ударение на первом слоге) руду к домне, а сейчас он старший мастер. У него франтоватые, по-заграничному модно закрученные кверху рыжие усы, а глаза неожиданно простодушны и детски кротки, в полном противоречии с самонадеянными усишками. Дементьев сконфужению крутит их — такие уж они от природы — и глядит на вас добрым взглядом рабочего человека: «всю жизнь всех вывозил и сейчас, если надо, вывезу». Ему-то и достались основные трудности необычной для домны плавки. Главный инженер завода Герасимов, руководивший бригадой по этой плавке, говорит про Дементьева, что в уходе за печью, в выпуске плавки он проявил огромный практический опыт, небывалое мастерство. Вот с такими местными мастерами и пришлось встретиться приехавшим новым кадрам.

В этот же город, где жил Дементьев, перебросили с юга горняков-криворожцев. В первое время никак не могли криворожцы свыкнуться с местным бытаем. У себя они привыкли к большим домам с десятками квартир, встречались с соседями на лестницах, в клубе, в парке отдыха и культуры, в столовке. Жизни не представляли себе без радио, без газеты. А здешний народ — молчаливый. После работы прячутся по домам. Как идти к ним в гости, если вокруг рудника — снежное поле, до ближайшей улицы три километра, а домики редкие, в садах, запутаешься в них, покуда найдешь нужный номер. И криворожцы тосковали. Особенно скучал голубоглазый и хрупкий Москаленко, мастер. Он был человек со вкусом, любил смотреть на жизнь через понравившиеся ему образы искусства: вспыхнет интерес, и облегчится жизнь. А тут художественных впечатлений



не было. Да и до них ли? И мастер экскаваторного цеха Москаленко, по собственному его признанию, сидел «на чемодане». Представься возможность, и он бы уехал отсюда. Возможность все никак не приходила, и Москаленко ежедневно ранним утром отправлялся на рудник.

Перед ним была богатейшая железом гора. Дышалось в крепкий мороз удивительно легко. Экскаваторы — огромные американские быус-айрусы — все работали хорошо, а один особенно хорошо. Москаленко и сам не заметил, как взгляд его, соскучившийся без книг, без театра и без картин, стал внимательней к жизни. Этот взгляд отметил в работе экскаватора что-то необыкновенно ритмичное, почти музыкальное. Управлял им уральский парень, машинист Митя Пестов. Он сидел в кабинке и не спеша, словно на гармонии играл: тут нажмет, там тронет пальцем, потянет рычаг на себя, от себя, и огромная машина, издавая тягучую музыку и слушаясь каждого движения Мити, так и ходила гармонией, взад и вперед.

Москаленко видел Пестова и раньше. Невысокий, кряжистый и кудрявый, как дубок, с широким ясным лбом, рассеченным поперечной складкой философа, с яркими, застенчивыми глазами, с детской шраминкой на губе, он был хозяйственным парнем и домоседом. Сам, своими руками, поставил себе избу, ходил по праздникам на охоту. И жена его, повыше него ростом, молчаливая, суровая, как другие уральские жены, тоже не прочь была побаловаться ружьишком в лесу, принести домой подстреленную дичину и выпить с мужем в «кумпании»<sup>1</sup>, когда ходят парни стеной, с гармошкой из своей слободы в соседскую.

Острые глаза Москаленко следят за Митиным лицом, они видят в нем больше, чем известно самому Мите. «Замечательная у него наружность, незабываемая», — думает Москаленко, стоя в снегу и поблескивая голубыми глазами. Кто знает, какое беспокойство пробудил этот пристальный взгляд начитанного криворожского мастера в молодом и бездумном пареньке?

---

<sup>1</sup> Уральцы часто произносят «у» вместо «о»: кумпания, кустом.



— Пестов, ну а сможешь ли ты экскаватором спичку с земли поднять? — пошутил неожиданно Москаленко.

— Можно, — невозмутимо отозвался Митя.

И тут произошло невероятное: шутка перешла в дело. Решили испытать Митю, — положили на землю, в снег, обыкновенную спичку, уговорились, что Пестов поднимет ее крайним правым зубом экскаваторного ковша, и отошли к сторонке.

Раздалось тонкое, почти звериное подвывание машины. Затанцевали гусеницы. Чудовищное тело экскаватора напряглось, заскрежетало, шея скосилась острым углом, как у кузнечика в прыжке, и вдруг — деликатно, по-девичьи поплыло к земле и нежно, правым зубом, как языком, слизнуло спичку. Так забирает слон хоботом копеечку с земли. Ковш поплыл, скрежеща, в воздух, к самому лицу Москаленко, и кудрявый Пестов, выглянув из окошка, озорно так вымолвил:

— Можете закурить!

С этого случая Митя ясней стал понимать самого себя, свободней входить в обладание своих внутренних богатств и «талана». Если экскаватором можно спичку поднять с земли, то сколько же он, при умелом обращении, железа нагрызет для фронта?

Однако «железо нагрызть» свыше нормы мешали Митиной бригаде важные «объективные» обстоятельства. И ему и работавшему в другой смене на этом же участке замечательному уральцу, машинисту Батищеву, приходилось часами ждать паровоза для отгрузки руды. На весь рудник шла одна-единственная рельсовая колея. Вывезет паровоз руду с их участка — и свистит мимо них, дальше, чтоб обслужить соседний участок. А груды растут вокруг, только движению экскаватора препятствуют, — поневоле остановишь машину, высунешься из кабинки, покуришь, балясы поточишь. И тогда Батищев и Пестов решили «рационализировать» это дело, — они добились того, чтоб на их участок была проведена отдельная ветка. Теперь по-другому пошла работа: экскаватор знай вгрызается и вгрызается в землю, несет в ковше руду, откроет пасть — и сыплется из нее черная струя прямо в думкары; а паровоз только и делает, что оборачивается взад и вперед, туда с рудой,



оттуда с порожняком. Заинтересовали и паровозников. Раньше, бывало, не знаешь, кто там у топки возится, а теперь и Ломоносов, и Катаев, и Калугин паровозные машинисты,— все знатные люди. В феврале, когда рудникам недодавали энергии и приходилось подолгу стоять, Митя в четыре дня выполнил месячную норму. Вот это и есть прославившаяся в Тагиле «комплексная выработка по методу Батищева — Пестова».

Москаленко больше не сидит «на чемодане»: корешки сотворенного им на новом месте прикрепили его к этому месту жизненной связью. Он стал партийным организатором рудника. Да и сидеть на руднике вообще некогда. Рудник держит знамя и держит так, что отбить у него это знамя трудненько, разве что на короткое время.

### III. ФРОНТ И ТЫЛ

Есть много семей сейчас, разьединенных войной,— отец на фронте, неизвестно где, ребята эвакуированы, неизвестно куда, или не успели выехать и застряли у немцев, или партизанить ушли. Тянет написать друг другу, подать о себе весточку — и некуда, адреса нет. Не каждый ведь может урвать драгоценную минуту у радио и сообщить в пространство, в эфир: «Дорогой папочка, мы живы-здоровы, учимся на отлично, пиши нам туда-то!»

А душа тоскует, тянет поговорить, поделиться, и когда под праздник собираешь заботливо посылочку бойцам,— а таких посылок на фронт идет множество,— невольно напишешь в письме такое, чего никак бы не написал в мирное время. Тон особо теплый, слова не подобраны, а сами пришли, проскользнуло живое человеческое чувство,— весь душевный порыв к близкому, к мужу, к сыну, неожиданно вырвался к чужому случайному человеку, к тому, кого назначит судьба получить посылку.

Недавно приехал к нам с фронта на побывку уральский писатель, товарищ Савчук<sup>1</sup>. Он рассказал, что эти посылочки всегда находят своего адресата. Безымянный

---

<sup>1</sup> Позднее он погиб на фронте.



сверток, где уложены кисет с табаком, носки, носовой платочек, теплые варежки и письмо к близкому, без его имени,— в чьи бы руки ни попал, идет к сердцу, вызывает горячий ответный порыв. Сиротке, написавшей письмо, бойцы собирают и шлют деньги, чужой вдове устраивают «аттестат», завязывается новая дружба в переписке, и уже неведомая Нюра становится родной бойцу, а случайный адресат — «дорогим Гришей».

Но особенно крепко сдруживаются на фронте с теми, кто готовит в тылу вооружение. Дружба с фронтом — не даром дается, это высокая, большая честь, и ее заслуживают высоким, большим трудом.

Тамаре Тихоновой двадцать два года. Она в особой дружбе с Третьей гвардейской уральской дивизией. Чем же заслужила девушка такую дружбу?

Когда, бывало, в родном городе Омске она еще двухлетней семенила по полу, ни чужой, ни свой не могли удержаться, чтоб не ущипнуть ее за щечку или не поддразнить,— до того была занята эта пресерьезная пухлая девочка строгой северной, сибирско-уральской красоты: как выточенные, нос и щеки, большие глаза без улыбки, насупленный лобик и копна золотых крепких кудряшек на голове. Такой она осталась и выросши, только приучилась в ответ на задиранья еще больше сунуться и серьезно молчать. Отец был железнодорожник, а Тамара пошла продавщицей в магазин. Но знатный машинист Союза, Зинаида Троицкая, обратилась с призывом к советским девушкам: идти в машинисты. И Тамара бросила службу в магазине. Вот она в черных, засаленных штанах, в картузе на кудрях — у топки, помощником машиниста. Копоть садится на румяные щеки, на ресницы. Тамара — серьезный работник, свой паровоз она чувствует и ладит с ним, привыкла разговаривать с машиной. А разговор с машиной — тонкая штука. Разные звуки у машины: когда она хорошо, налаженно работает и всего у нее в меру, угля и влаги,— один голос, одно шипенье; когда котел не в порядке или угля не хватает — другая нота. В долгие часы у топки приучилась Тамара узнавать эти разные голоса и тотчас отзываться на них, принимать их к сердцу. Прошлой зимой встал вопрос о подарках для фронта. Каждый завод



посылал с ними и своего знатного человека, раздать подарки, поглядеть, что делается на фронте, и бойцам рассказать о тыле. Но вагонов с подарками много, а паровоз — один. И этот один паровоз должен был повести на фронт тот машинист, кто лучше всех поработал. Честь вести поезд с подарками Третьей гвардейской дивизии выпала машинисту Пигину и его помощнице Тамаре Тихоновой, работавшей с ним на páру.

Привезла Тамара поезд на фронт. Розданы подарки, гвардейцы порадовались, подивились на белокурую молоденькую сибирячку, и, может быть, кое-кто подумал с сожалением: «Э-эх, головы, головы! Послали младенца! А нет того, догадаться, что кочегар на паровозе, настоящий, сильный парень, куда здесь нужнее, чем красавица».

Фронту необходимо было сделать ряд важных перевозок. Пигин, опытный, выдавший виды машинист, сразу взялся за дело, и Тамара стала у своего котла. Под сильнейшей немецкой бомбежкой взад и вперед ездили неутомимые гости тыла по передовой линии фронта. Как ни были над головой бомбы, сибирячка спокойно слушала голос своего друга, паровоза, кормила его, сколько следует, откликалась ему, и паровоз благополучно доставлял все, что перебрасывало командование. Сделав свое дело, машинист с помощником поехали домой, на Урал. Ехали быстро, на хорошей пассажирской скорости, но еще быстрее стучала по проводам депеша командующего: она передавала по месту их службы благодарность за фронтовую работу Пигина и Тихоновой.

На кофточке у Тамары — орден Красного Знамени. Говорить она не мастер и все так же супится в ответ на улыбку, вызываемую ее возрастом и румяными, свежими, как яблоко, щеками. Говорит она коротко:

— Третьей гвардейской я обещала, что в помощниках машиниста не задержусь, — вот и стала машинистом.

Часто тесная дружба фронта с тылом завязывается через газету. Старший лейтенант артиллерийского полка И. И. Страхов прочитал в «Правде» про девушку Шуру Лунёву. Семнадцатилетняя Шура Лунёва, поте-



рявшая отца на фронте, тоже причастна к артиллерийскому делу. В далеком уральском городе, в особом цехе боеприпасов, она стоит на выделке грозного для врага «гостинца». Дело у нее хоть и не очень сложное — одна операция: вырезать на предмете канавку под ведущий пояс, — но оно требует особой точности. Это работа пятого класса, допуску в ней разрешается до одной сотой миллиметра, не больше. И обычно, установив предмет под инструмент, проверяют точность установки особым проверочным калибром. Но Шура Лунёва делает всю операцию на глаз. Руки и нервы ее привыкли к абсолютной, полной уверенности в своих силах. Она доверяет себе больше, чем любому калибру. Почти машинальными, уже не требующими затраты сознания жестами она подставляет снаряд, пускает и останавливает свой станок — и готов желобок. Развивая внутреннюю точность, заменяя уверенным жестом всю процедуру проверки, Лунёва освобождает лишнее время и выгадывает на расходе внимания. Как пианист, научившийся играть, не глядя на ноты, играть по памяти, — она цельнее, качественно лучше, полнее ощущает всю операцию и проводит ее абсолютно без брака, от которого (при неуверенности в себе) не всегда спасает и ежеминутная проверка. Старший лейтенант прочел обо всем этом, задумался о собственной работе артиллериста, тоже требующей особой точности, и написал Шуре письмо — деловое. Поделился в нем мыслями — как бы мост построил между выделкой грозного снаряда и его вылетом: письмо одного работника отечества к другому. Так возникла их дружба.

...В Киселев-Гусев находился в действующей армии, когда он узнал, что его отзывают назад, на ленинградский завод. Киселев подумал, что просто вернуться и работать опять так, как он раньше работал, — невыносимо, не годится. Фронт показал ему образцы невиданного героизма. Создавали их простые люди, обыкновенные, почти молча. И вместе с подвигом они приучали окружающих к иной, более высокой норме душевной жизни, к иной, более высокой норме требовательности к себе. Работать в тылу надо не хуже, чем на фронте! А как? Что для этого нужно?



Он приехал в Ленинград в тяжелые дни. Город выдерживал осаду. Сквозь сизый туман двигались люди, ползли трамваи, всё казалось таким, как всегда. И все же не таким, как всегда,—словно лапа лежала на сердце и глушила дыханье. Люди рассчитывали каждый свой шаг, каждое движение, чтобы сохранить в себе силу для работы.

В. Киселев-Гусев стал скромным профсоюзным работником, председателем заводского комитета. В эти дни на далеком Урале прославился фрезеровщик Дмитрий Босый, поднявший движение тысячников. И задумал Гусев найти в Ленинграде своего Босого, подхватить и создать движение тысячников в осажденном немцами городе. Для этого нужно было выбрать работника, угадав в нем будущего тысячника, организовать коллектив, переговорить с техническим персоналом. Первое время идея предзавкома встречалась как милая мечта — с грустью.

«Многие стахановцы,— писал позднее Киселев-Гусев,— с которыми я вел неоднократные беседы на эту тему, так прямо и говорили: Босому на Урале можно давать десять и более норм, а нам, «дистрофикам», пока нечего об этом и думать».

Киселев-Гусев знал, однако же, что не физическое напряжение создало тысячников, а, наоборот, облегченная, упрощенная технология, новый остроумный прием, небольшая доделка к гибкому фрезерному станку. Все дело — понять принцип, понять движение мысли Босого. И он терпеливо, ежедневно говорил об этом с молодым ленинградским рабочим С. А. Косаревым, в котором угадывал новатора. В Ленинград пришла весна. Бледные акварельные краски на небе, разрезанном золотом адмиралтейской иглы; темные, сыростью пахнувшие воды каналов; первая травка между торцами, развороченными снарядом. В весенний день Косарев пришел к предзавкома сообщить, что придумал приспособление, «обещающее не менее тысячи процентов». Осторожно, как военную тайну, готовили на заводе выход нового тысячника «на народ». Райком, партбюро, дирекция десятки раз, в белые ночи, пробовали приспособление



Косарева. Предзавкома волновался, как на фронте волнуются перед атакой. И 28 мая ТАСС сообщил из Ленинграда по радио, что в осажденном городе Ленина, под грохот артиллерийской стрельбы, на одном из заводов родилось движение тысячников: Косарев дал сперва тысячу процентов выработки, а на следующий день тысячу пятьсот процентов.

Я не видела ленинградца Косарева и предзавкома Киселева-Гусева. Но мне пришлось видеть теплый блеск в светлых глазах Дмитрия Босого, когда он читал письма и документы о ленинградском движении тысячников...

И еще один рассказ о дружбе.

На одном из старейших уральских заводов работает сталеваром молодой татарин Нурулла Базетов, работает так хорошо, что о нем написали в газете.

Газету прочитал на далеком Юго-Западном фронте красноармеец узбек, Разимат Усманов. Оба эти человека друг друга не знали, и трудно сказать, что именно потянуло Усманова к Базетову, а не к любому другому стахановцу. Вернее всего — Урал, Восток, воздух родных широт, возможность заговорить с интонацией родного тебе языка.

«Я даже не знаю, как вас зовут по имени и отчеству и молодой ли вы, как я, или старик, как мой отец, или есть у вас дети, или нет,— писал Усманов с фронта сталевару Базетову,— Если пожелаете, наладим переписку. О себе я могу сообщить, что я, так же как и вы, стараюсь делать свое дело скоростными методами. Вы плавите сталь, а я истребляю фашистов. Я косил их на всем пути от Перемышля до Киева и от Киева до пункта, на котором закончилось наше отступление, от которого теперь идем в обратный путь на запад. Выкосил много, всех не упомянешь».

Нурулла Базетов взволновался от этого письма. Ему писал близкий человек, потому что только близкие люди спросят о детях так, как это сделал Усманов. Татарин Нурулла, после своего дела и своих мартенов, крепче всего любит жену Фатиму и детей — Шавкара, Решипа, Фарита и Светлану. Он тотчас ответил Разимату Усманову:



«Вы мне дороже и ближе самого лучшего друга. Мне тридцать три года, из них пятнадцать лет я работаю на производстве. План прошлого 1941 года мною выполнен 19 октября, и несколько тысяч тонн стали я выплавил сверх годового плана. Пусть наш уральский металл как можно скорее зальет глотку всей фашистской нечисти».

Так родилось замечательное содружество этих двух людей тыла и фронта. В день Красной Армии Базетов становится на вахту и снимает с квадратного метра пода печи одиннадцать с половиной тонн высококачественной стали. Разимат Усманов не отстает от друга. Он начинает вести счет скошенным его пулеметом фашистам, счет переваливает за сотню. И опять необычные друзья пишут друг другу — тоном и формой восточной пышной, поэтической речи, передающей родную, тысячелевовую интонацию народов Востока:

«Только тогда отойду от печи отдыхать, когда скажут: Базетов, война кончилась, родина наша свободна от фашистов, бери отпуск!»

«Только тогда выпущу пулемет из рук, когда перестанет биться сердце или мне скажут: ну, Разимат, поднимайся от пулемета, все фашисты, забравшиеся на нашу землю, уничтожены!»

Высокий эпический язык этой дружбы породила у нас оборона родины.

#### IV. ШКОЛА РУКОВОДСТВА

Недавно в великолепном зале огромного Индустриального института города Свердловска состоялось вручение почетных премий группе ученых. Поднимались на трибуну убежденные сединой академики, знатные металлурги, профессора, застенчивые скромные люди — врачи, создавшие замечательные целебные средства против страшных эпидемических заболеваний. Среди всех этих людей трое казались совсем молодыми и держались особнячком. Одного, Дмитрия Босого, в зале сразу узнали, хотя он снял бороду, помолодел, похорошел. Но другие два были незнакомы. Простое русское лицо с открытым взглядом, веселые губы, певучий говорок —



это недавний человек на Урале, Алексей Семиволос, знатный бурильщик Кривого Рога. Он произвел революцию в бурильном деле, стал обуривать за смену много забоев. Другой — высокий, сутуловатый, с низко пачесанной на лоб темной челкой и глубокими, выразительными глазами мечтателя — уралец Илларион Янкин. Он ездил поучиться у Семиволоса и перенес к себе на Урал его опыт, но перенес не пассивно: если Семиволос свел многозабойное бурение, то Янкин прибавил к нему и многоперфораторное. Это — зачинатели, такие же, как Босый. От них пошла новая методика, новая производительность труда. Получив диплом, они в обнимку уселись в первом ряду и стали его разглядывать.

А хорошенькие городские девушки из зала уже незаметно ближе и ближе подтягивались к первому ряду и нет-нет да засматривались на них — новых молодых людей нашей эпохи, окруженных ореолом советской романтики.

В войну эти новые молодые люди, — лицо поколения, молодежь сороковых годов XX века, — раскрылись с необычайной яркостью и определенностью. Были эпохи в прошлом, когда отцы не понимали своих детей, философы задумывались над тайной завтрашнего дня, потому что не видели, что скрывается за лицом молодежи. Гадали поэты еще недавно, в десятых годах нашего века, до революции, — каковы они, те, кто идут на смену старикам? Пугали беспутством всяческих «Огарков» (было такое общество опустошенных молодых людей), невежеством, нежеланьем учиться, неспособностью на жертвы. Все это смешно вспомнить в наше время. Мы, отцы, видим новое поколение, завтрашний день свой, глаза в глаза. И на вопрос, какое оно, можем ответить единственным словом: надежное. На детей наших можно спокойно положиться. Они и нам помогут, если понадобится.

В ноябре, под снегом, эвакуировали на Урал один из старейших наших заводов. Отличный заводской мастер, Григорий Михайлович Егоров, молодой парень с веселым круглым лицом, невысокий ростом, широкоплечий, не успел из вагона ступить на землю, как его усадили в



соседний город показать рабочим другого завода новый для них гидравлический пресс. Егоров поехал, а куда ездил взад и вперед, товарищи его на новом месте уже разобрали по своим бригадам лучших рабочих. Егорову достались одни новички, трудная смена. Стал Егоров со своей сменой отставать. А время острое, завод необходимо как можно скорей наладить. Нарком на людях пристыдил мастера:

— Что же это ты, Егоров? Дома лучше всех работал, а здесь на черепахе сел?

Мастер ответил было наркому: «Обожди малость!» — но услышал суровое: «Фронт не ждет!»

Собрали бюро, поставили на бюро егоровский отчет (а отчитываться пришлось в одних неудачах) и крепко поругали его. Вышел Егоров после заседания бюро красный, взволнованный. Сам он рассказывает об этом времени так:

— Решил не выходить из цеха, серьезно обучить смену. Двенадцать часов мастером проработаю, а еще часов восемь на станках с новичками. Берешь рукой их руку и прямо так, наложением рук, и показываешь им, что надо делать. Они пальцами с пальцев моих чувствуют, где нажим, какое касанье, сколько силы приложить, куда потянуть, повернуть. Вижу — сообразил человек, сам начал руками владеть, я ему тут же совсем сырых, новеньких подсаживаю. «Обучай тех, кто меньше твоего знают!» Он обучает и при этом сам учится, последнюю беглость приобретает. А работали мы в таких условиях: цех едва перекрыт, как на вольном воздухе, и от мороза замерзала эмульсия, варежка на руке гремела. В нашей продукции фронт очень нуждался. И скоро моя смена вышла в передовые.

Четырех человек в егоровской смене наградили, а сам Егоров получил орден Ленина.

Казалось бы, все так обыкновенно в этом рассказе: приналег, поработал, вывез. Но в случае с Егоровым есть новое качество. За что хорошего мастера Егорова отчитали на бюро? Он, как пословица говорит, без вины виноват, — его послали на другой завод, когда он еще не успел подобрать себе смены; очутился парень не по своей вине с сырыми, необученными рабочими. В мирное



время и с обычной психологией мастер на его месте сослался бы на объективные причины, и его никто не стал бы ругать, потому что ругать его было бы несправедливо. Но сейчас, в военных условиях, Егорову и в голову не пришел вопрос о правоте — неправоте, вопрос о справедливости. Не пришел потому, что справедливость сейчас одна — чтоб пошла продукция, чтоб фронт получил оружие, и Егоров, принимая упреки, мерил себя не объективным мерилем, а вот этой высшей мерой суда над собой — любовью к родине. Когда у матери болен ребенок, она не утешает себя тем, что не виновата; и к сердцу, к душе ее, к ощущению болезни ребенка, боли за него, потребности выходить его у нее органически не смогут примешаться какие-нибудь внутренние расчеты с собой: «объективно-де я все сделала и нельзя меня винить». Как массовое явление на наших заводах и в наших уральских людях наблюдается сейчас вот такое материнское, кровное, «пристрастное» отношение к делу, сведшее на нет всякие объективные причины и ссылки на них. И это очень характерное, очень важное явление.

Как-то я зашла к Янкину проститься. Он с товарищами уезжал. Я спросила, когда. И мне ответили: если самолет будет, так сегодня. В этом коротеньком ответе — такая огромная реальность: новое поколение, вот эти три знатных работника Урала, — оно давно уже село на самолеты, освоилось с новой формой транспорта, и это для него так же обыденно — летать, как для нас ездить. Мы, старики, еще только, как купаться в холодную воду, нерешительно и вскрикивая, знакомимся с новым, переживаем его как исключенье, как новизну, потому что мы все еще храним в памяти старое, прежнее чувство его необычности. А для нашей молодежи пропорции уже изменились. Исключенье стало повседневностью. Они дети своего века, и техника века — это их техника.

Мало кто задумывался над тем, как повлияла наша советская конституция на воспитанье характера. А ведь ранние права гражданина, полученные молодежью, постепенно приучили и к очень ранней ответственности. Парню еще нет двух десятков, а он руководит коллективом, заставляет себя слушать и уважать. Сперва —



с пионерами, потом с комсомольцами, он вырастает в хорошего командира, хранящего и в зрелые годы черты особой — молодежной — тактики.

Паровозное депо на станции Свердловск-Пассажирская работало до войны из рук вон плохо. В коллективе было немало бездельников, бракоделов, разгильдяев. На работу в депо люди шли с опаской — пойдешь, и засыплешься. И действительно — шли и засыпались. Когда сейчас рассказывают про историю депо, неизменно прибавляют: «Сколько тут хорошего народу погублено». Поэтому на Петра Филипповича Попова, когда он пошел в паровозное депо Свердловска секретарем парткома, стали смотреть с удивлением и жалостью, — словно захотел человек рискнуть своей жизнью и репутацией без всякой надежды на удачу.

Попов — небольшой, красивый паренек, комсомольского воспитания, ладно скроенный, с широко поставленными глазами, о каких поэты любят говорить: «газельи», — казалось, никак не подходил для своей задачи. Но если б кто взгляделся в эти газельи глаза, он заметил бы их фиксирующую неподвижность, похожую на поверхность очень твердого сплава. В первый месяц его работы, покуда Попов, не спеша и не делая никаких необдуманных шагов, только всматривался этими неподвижными, твердыми глазами в людей и в дела вокруг, — все шло, как и раньше. Люди устроили семьдесят два прогула и дали сорок пять случаев брака. Но на второй месяц Попов уже пригляделся. Он раскусил начальника депо. Начальник работал по старинке. Паровозное депо делится на два отделения: собственно паровозное, куда, пыхтя и отдуваясь, вползают на отдых после проведенных рейсов локомотивы, и ремонтное, где совершается так называемый подъемный ремонт, то есть больные локомотивы поднимаются, разбираются, чистятся и чинятся. Люди первого отделения — машинисты, их помощники и кочегары — имели очень мало касания к людям другого отделения — слесарям и механикам, и обе эти разные группы людей считали, что между ними ничего нет и не может быть общего: одни кончают свое дело, когда другие начинают свое. Старый начальник депо был годами воспитан на этом разграничении



двух работ и двух групп людей — собственно паровозников, которые только ездят, и ремонтников, которые только чинят. Ни о каких новшествах он знать не хотел и держался правила: как до меня, так и я.

Но в истории техники и в истории характера есть такая одна минута, когда надо идти вперед, потому что если ты не пойдешь вперед, ты пойдешь вспять. Застаивание на старых приемах работы в такие минуты уже не помогает освоению этих приемов и привычке к ним, а губит и разваливает характер работника, оставляет незанятой мысль и незагруженным время, толкает на небрежность, неряшливость, лень, разбалтывает дисциплину. И молодой, воспитанный комсомолом парень, Петр Филиппович Попов, почуял, что перед ним в паровозном депо вовсе не «погибший» коллектив лодырей и бракоделов, вовсе не скверно подобранный состав работников, а именно такая «пауза», созданная плохим, переставшим расти начальником, который держит людей в стороне от общего технического развития. Новым этапом для работников депо, который они «обошли», не желая одолеть, было лунинское движение, то есть тот метод работы, когда паровозник не только ездит, но и хозяйничает на своем паровозе, знает и любит его, отвечает за него, умеет произвести силами своей бригады первый необходимый ремонт, профилактику машины.

Попов собрал вокруг лозунга «За лунинское движение» всех партийцев депо и вызвал начальника на прямое действие: или ты «за», или ты «против». Начальник был против. Тогда его убрали. Вместо него зоркие глаза Попова высмотрели молодого инженера М. Я. Перекальского, сибиряка, потомственного железнодорожника. Что-то есть в облике Перекальского от шестидесятых годов, искони русско-интеллигентское, с упрямством и одержимостью на все передовое. У него выдающийся вперед подбородок, на котором он не дает вырасти бороде, хотя вы ее, эту бороду, все равно чувствуете, до того она была бы на месте на этом русском лице; он высок, худ, сутуловат и, говоря с вами, очень медлителен; часто, как бы затрудняясь в слове, обтирает лицо ладонью и запускает пальцы в волосы. Но встанет —



словно пружина выпрямилась,— и вы уже знаете, что в действии этот человек решителен и скор.

Он оказался прекрасным товарищем секретарю парткома. За короткое время Перекальский забрал весь коллектив депо в крепкие руки и завоевал очень большой авторитет у рабочих. Чем? Он не боится идти вперед. Он не остановится перед производственным риском. До того как принять решение, он и раз и другой взвесит и обдумает; соберет свой командный состав мастеров, рабочих, расскажет им, выслушает, посоветуется; но как только решение принято,—кончено. Никаких совещаний, ничьих вмешательств! Приказано — сделай.

— Это главное мое правило,— говорит Перекальский.— Решено, а там хоть умри, да выполни, не оставляю ничего на половине, доведу до конца. И даже если в ходе работы выяснится, что можно бы иначе, я не позволю переворачивать и перемудрять: это расхлябает дисциплину.

Медленно, говоря это, он сжимает свои выразительные пальцы. Так,— вот этим напором, этой верностью самому себе, своему приказу, своему решению, этим изгнанием из практики всяких «если бы да кабы», всего того, что пахнет хоть малейшим сомнением,— и сумел Перекальский стать подлинным начальником паровозного депо, где столько было «загублено хороших работников».

Что же коллектив депо? Люди, о которых шла дурная слава, что они — лодыри и прогульщики? Эти люди не оказались ни лодырями, ни прогульщиками, как только время их стало загруженней, требования к ним тверже и рука, управляющая ими, жестче и крепче. Когда коллектив почувствовал, что им руководят правильно и силы его находят настоящее и полное применение, когда он увидел перед собой дорогу, и ступил на нее, и понял, что это хорошо и приводит к большим результатам,— он раскрыл лучшее, что в нем было. Попробуйте спросить у Попова или Перекальского, с кем они сейчас работают,— и оба ответят: «С замечательным коллективом, с таким, что чудеса можно творить».

Дорога, особенно та, о которой я пишу,— это нерв оборонной промышленности. От ее маневренности, от



состояния ее парка, от оборачиваемости порожняка, от быстроты разгрузки зависит своевременная подача угля и руды заводам и заводской продукции фронту. Поэтому «чудеса», которые можно творить с коллективом паровозного депо, имеют для нашей родины особенное значение. Каждому депо каждой станции в Союзе следовало бы знать об этих чудесах и поучиться им. Одно из таких чудес — экономия угля и создание запасного угольного фонда на зиму.

Меньше стало угля в стране, — но разве он добывается только из шахты? Разве не знает любая хозяйка, любой мастер, как можно отжать все то, что имеешь, и как много лишнего найдешь тогда у себя под рукой?

Чтоб сэкономить уголь, паровозники депо еще в мае устроили общественный просмотр своего парка; где на котлах (на внутренних стенках котла) оказалась накипь — постановили вычистить котлы; где в трубах оказались течи — приказали устранить течи. Вслед за осмотром провели теплотехническую конференцию. Лучшие машинисты вставляли и рассказывали, как они берегут топливо. Слушатели учились. Словно умные врачи, раскрывавшие человеку тайну его пищеварения, указывавшие, как малою пищей, но хорошо и правильно усвояемой, организм может получить больше калорий, нежели излишком пищи, проглатываемой без толку, так и опытные машинисты раскрывали новичкам тайну экономичной топки паровоза.

Как много можно сэкономить угля, если топить умеючи! Вот старый, выдавший виды кочегар. Он никогда никому не говорил о том, что он знает: ему и в голову не приходило поделиться опытом, не приходило в голову все огромное значение этого опыта, выработанного годами молчаливой, однообразной работы в своей кочегарке. Но старик услышал чужие речи. И молчаливые губы раскрылись. Он говорит о том, как надо уметь выбрать время, чтобы раскрыть топку, — боже сохрани, ежели когда попало. Все равно, что рот на ветру. Застудишь — деформация произойдет. Или вот подача угля в кочегарку. Есть такой механизм стоккер, — он сам подает уголь в топку. Но понадеешься на стоккер — кучу добра зря прожжешь. На уклонах



пелъзя им пользоваться, на стоянках тоже. На уклонах и на стоянке бери в руку лопату и загружай уголь понемножку, равномерно. Человеку не все равно, если сыплется лишнее топливо, а стоккеру все равно,— под уклон, где паровоз идет легче, он будет сыпать столько же, сколько в гору, и на стоянках тоже. Стоккеру что? Не бережет, не жалеет, не чувствует. А машинист, он знает: где забота, там лопата.

Вслед за этим оратором заговорили и другие молчаливники. Каким богатейшим, каким разнообразным оказался их жизненный опыт, накопленный в кочегарке паровоза! И какими хорошими, своими словами умели они передать его! Золотое правило — перед тем как бросать уголь в топку, хорошенько размельчить его и не только размельчить, а и водой смочить,— машинисты передавали образно: уголь должен быть мелким, чтоб «комком в рот пролезал». Ни в одном учебнике не прочитаешь того, что говорилось на этой необычайной конференции. Когда она кончилась, партком передал ее в массы — множеством листовок, стихов, иллюстраций, стенновок.

Машинисты принялись с лета экономить уголь на зиму. Следя за чистотой своих котлов, за исправностью трубы, за подачей, за качеством, за измельченностью угля, перенимая чужой опыт, они заметили, как снижается у них количество идущего в топку и нарастает гора сбереженного «черного золота». Машинист Николаев сберег двести девятнадцать с половиной тонн угля, машинисты Тихонова и Пигин, работающие на паре, сто восемьдесят тонн, Абакумов и Тихомиров—сто семьдесят тонн. Короче сказать, вместо месячного запаса угля паровозное депо Свердловска накопило уже полуторамесячный запас,— задолго до наступления зимы.

Так, становясь лунинцами, машинисты сумели быть хозяйственниками, а экономя уголь, они воспитали в себе навыки производственной и технической культуры. Но что самое хорошее — люди не зазнались. Их много хвалили, они крепко держат знамя НКПС и знамя Третьей гвардейской уральской дивизии. У них многое достигнуто,— выполнен весь годовой план ремонта, они выдали до конца года сверх плана еще двадцать пять



паровозов. Но если вы вступите в этот мир великой ночной бессонницы, в железнодорожный мир с его призывными короткими гудками маневрирующих паровозов, с его колеблющимся в ночи фонариком на путях, с его лентами рельс, идущих из бесконечности в бесконечность; если вы перешагнете за порог закопченного, осененного куполом депо, где подняты над рельсами, как оперируемые на стол, гиганты-паровозы, вы нигде не увидите того «почиванья на лаврах», какое встречаешь иной раз в захваленных цехах. Деловая, нацеленная на большую работу публика; быстрые, крепкие шаги у проходящего; чувство времени в жестах и в выражении лица, в голосе и в походке. Вам ясно, что тут идет напряженная, но не штурмовая, а по-своему ровная и слаженная деятельность. Маленький секретарь парткома, Петр Филиппович, проходит мимо вас с потеплевшими глазами, — он сегодня доволен людьми. В ремонтном цехе слесарь Ваняшкин один, как богатырь, сделал за день работу шести слесарей. И если в паровозном отделении девяносто семь процентов — лунинцы, то в ремонтном семьдесят пять процентов — стахановцы... Подавляющее большинство!

Двадцать семь лет назад первая мировая война с немцами привела уральский транспорт к разрухе, а уральских транспортников почти к отчаянью. Люди махнули рукой на всякую надежду улучшить положение: забыли о расписанье, не соблюдали правил, не выходили на работу. По неделям стояли и не двигались поезда. Окружной инженер Северо-Верхотурского округа писал в рапорте Горному департаменту: «Крупнейшим предприятиям округа грозит сильнейшее расстройство из-за невероятных трудностей в получении нужного количества вагонов...» Такие вопли неслись в Горный департамент из всех округов. Прошло двадцать семь лет. Изменился строй на нашей земле. Подросли новые люди, воспитанники великой советской системы, люди, умеющие видеть в общественном благе свой личный, гражданский интерес. И все страшные трудности и тяготы новой отечественной войны с немцами вместо разрухи несут обострение воли и сил советского человека, подсказывают ему новые, передовые методы.



## У. ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Годами стояла уральская домашняя хозяйка у кухонной плиты, изо дня в день соединяя в себе бухгалтера, счетовода, кассира, закупщика, заготовителя, повара, чернорабочего, завхоза, уборщицу, планировщика и директора своего маленького хозяйства. Соединяя все эти функции в одном лице, она никогда ни от кого не получала за них не только заработной платы, но часто даже и простой благодарности. Молчаливо подразумевалось, что вся эта огромная работа естественна, как природа, что домашняя хозяйка — само собой должна ее «от века» производить и что никаких особенных качеств и талантов для таких обыденных, маленьких, незаметных дел и не требуется.

Но вот великолепный цех большого Кировского завода на Урале. В этом цехе, требующем высокого класса точности, стоят самые «интеллигентные», как здесь выражаются, машины в мире — машины-умницы, сложные, тонкие, требующие заботы и умного обращения. Но машины стоят, а квалифицированных рабочих не хватает. Где взять их? Как быть?

— Нас выручили, знаете — кто? Уральские домашние хозяйки! — сказал нам заместитель начальника цеха товарищ Марголис. — Они пришли сюда прямо от кухонной плиты и от базарных корзин. И какие же это работницы, доложу вам! Выдумать таких надо. Во-первых, подход к станку. Наша машина им сама в руки пошла, как ручная. Заботливые, внимательные, аккуратные оказались, пыли не дадут сесть. Во-вторых, сосредоточенность на нескольких операциях: она и за одним, и за другим, и за третьим сразу уследит и не проморгает. В-третьих, экономия на материале, на масле, на инструменте, — стружку и ту жалеет, попусту не бросит, а уж напортить ничего не даст ни себе, ни другим. В-четвертых, укладка во времени, чувство времени, организованные движения. И работать любит. Уж ее гонишь, гонишь после смены, — обязательно всех позже уйдет, всех раньше придет.

Об этом говорит не один Марголис, об этом говорят и другие начальники цехов на десятках уральских



заводов. Домашняя хозяйка накопила за годы и годы своей незаметной, «серенькой» деятельности нажитую тяжким опытом культуру времени и привычку хозяйственного отношения к материалу. Но раньше она была организатором лишь ежедневной «потребы» семьи, и работа ее исчезала, как только бывала выполнена, оставляя за собой лишь добавочный труд мытья кастрюлек. А сейчас она стала делать материальную, весомую, прочную вещь, идущую на фронт, необходимую в обороне, вещь с долгим бытием.

И домашняя хозяйка развернулась в редкостную работницу, жадную на труд, счастливую тем, что труд ее говорит ей «спасибо», что из неблагодарного, домашнего, он стал благодарным, народным трудом.

Горновой у домны — это тяжелая ответственная профессия. Не каждый мужчина справится с ней. Весь Урал знает горнового Файну Шарунову. Но Шарунова — сильная девушка, с мужской хваткой. А поглядишь на Евдокию Петровну Щербакову, когда она выходит после окончания смены в берете и жакетке, кто подумает, что это горновая на одной из крупнейших наших домен!

Щербакова — маленькая, щуплая русая женщина, с невеселым лицом, задумчивая. В глазах и в тоне ее, когда она говорит негромко, — непролитые слезы. Евдокия Петровна прнехала на Магнитку из Уфимской области и долго работала в столовой. Жизнь ее сложилась тяжело, неудачно. Муж оказался непутевый. Ребенок на руках. Нервы зашалили. Но пришла война, и маленькая хрупкая женщина попросилась в доменный цех.

Никто не верил, что Щербакова может стать горновым, ходить с тяжелой лопатой, ровнять канавы для чугуна, быть в этом вихре жара, круглых огненных брызг и черной графитной, острой, как стекло, пыли.

Но Щербакова сделалась прекрасным горновым, передовой работницей в цехе, и ее светлые глаза, как и у всех доменщиков, подолгу застываются на игре огня, на великом зрелище выпускаемого из домны огненного потока...

Анастасия Яковлевна Усольцева — другой человек. Это степенная, молчаливая работница; глаза у нее смот-



рят по-хозяйски, исподлобья, без всякой мечтательности. Работает она в одном из цехов огромного комбината. И однажды к ее станку пришла целая комиссия — изучить и зафиксировать режим ее работы.

На большой лист, разграфленный и размеченный, нанесены были все особенности этой работы, а потом вывешены для примера и сравнения.

Усольцева не изобретатель, не Босый. Она ничего не придумала к своему станку, не предложила новых приемов. И все же оказалось, что эта суховатая женщина в платочке, с гладко причесанными волосами, с поджатыми губами, стала вожаком и передовиком своего дела. Работа ее раскрыла перед цехом огромное значение ритма.

Чтобы сделать эту работу наглядней, ее записали рядом с рабочим режимом другой работницы, Зуйковой, соседки Усольцевой, тоже стахановки. Что же мы видим?

Усольцева приходит к станку за полчаса до начала смены. В эти полчаса она обеспечивает себе хорошую настройку станка, заточку инструментов, чистоту рабочего места — на весь производственный день.

Соседка ее приходит лишь к звонку.

Усольцева останавливает свой станок за десять — пятнадцать минут до конца смены, чтобы прибрать и приготовить место для своей сменщицы.

Соседка ее даже к звонку не всегда успевает закончить намеченную программу.

Усольцева, подготовив станок и хорошо его зная, работает так, что на производственный труд у нее уходит 95,6% всего времени, на заточку резцов 2,9% и на уборку 1,5%.

Соседка ее производственному труду посвящает только 86,1% всего времени. Остальное время тратится у нее на уборку, заточку, настройку и, наконец, на отдых, которого в графе режима Усольцевой вообще нет.

Посмотрим теперь, как протекает у обеих женщин самый процесс работы.

Усольцева в первые четверть часа набирает темпы в 160—165% выполнения нормы и ниже этого уровня уже



не спускается, а, наоборот, постепенно и равномерно повышает его до 200—270 % и на этом держится.

Ее соседка через полчаса достигает 150 %, но на этом не удерживается, а снижает темп до 100 %. Потом рывками то повышает его, то понижает, падая иногда ниже 100 %.

Спрашивается, в чем же секрет превосходства Усольцевой? Как может она, не имея графы на отдых, работать лучше своей соседки, которая этот отдых имеет?

Оказывается, Усольцева отдыхает во время плавного хода станка, верней сказать — не устает настолько, чтобы нуждаться в отдыхе. Хотя станок ее фактически работает на час больше соседних, Усольцева добилась от него такого спокойного хода, что, загрузив свое время почти сплошь и не делая никаких перерывов на отдых, она к концу смены утомляется гораздо меньше, нежели ее соседка. У той станок работает нервно, и сама она работает нервно. А от нервной, неритмичной работы, даже с отдыхом, устаешь гораздо больше, нежели от безостановочной, напряженной, ритмичной работы.

Это — большое, важное наблюдение! Оно ясно показывает значение ритма не только для производства, но и для здоровья и нервной системы работницы.

А в самом производстве ритм — великое, можно сказать величайшее дело: это программа, выполняемая ежедневно; это такое производственное дыхание, где месяц можно дробить на дни, дни на часы, часы на минуты, и каждая минута будет показывать одно: программа на заводе выполняется. Вот почему такие работники, как Усольцева, делают сейчас государственной важности дело, — они борются за ежеминутное выполнение программы.

#### VI. ПЛАНОВИКИ И ТЕХНОЛОГИ

Три танковых завода на Урале поработали так, что директора их стали Героями Социалистического Труда, а сами заводы и множество их работников награждены орденами. Это событие равносильно тем делам на



фронте, о которых сводка сообщает крупными буквами, а военные специалисты пишут особые анализы. Попробуем и мы проанализировать наши последние победы в тылу, — чем они достигаются? Что в них нового по сравнению с прошлым годом?

Возьмем для примера один из трех заводов, тот, где директором товарищ Кочетков. Это замечательный, крепкий завод. Коллектив его (кировцы) — исключительный по высоте своей квалификации, слаженности и опыту. Производство его (моторы) четко и организовано. Работает он на полном развороте своих изученных мощностей. И хотя он, казалось бы, достиг своего предела, он не перестает повышать этот предел, увеличивать и увеличивать выпуск продукции.

Зайдите в любой из его цехов. Вот на стене таблица с графиком, график отмечает рост производительности труда в цехе по участкам за год. И оказывается, что, например, в цехе шестеренок производительность за прошлый год выросла в два с половиной раза, в соседнем — на коленчатом вале — в пять раз, а на гильзе — в четыре с лишним раза.

Если б речь шла о более слабом заводе с менее опытными рабочими, то можно было бы объяснить этот бурный рост повышением учебы и накоплением опыта, достижениями отдельных стахановцев и тысячников, увлекших за собой весь цех. Но на таком заводе, как тот, о котором идет у нас речь, дело обстоит сложнее. Чтобы на нем бурно увеличился выпуск продукции, требуется ко всему прочему еще и особая изобретательность в улучшении самой планировки, самой организации процесса труда. Здесь, как на фронте, дело идет уже не только о геройстве бойцов, но и о тактике самого боя. А это значит, что в победе играет особо значительную роль командный состав, тот, кто планирует и организует, — плановики, технологи, конструкторы, начальники и помощники начальников цехов, секретари цеховых парторганизаций.

Проходя в наши дни по цехам, вы всегда встречаете большую «литературу» — агитационные плакаты, листовки, молнии, обязательства. Иногда они возникают меловыми буквами у вас под ногами, на камнях пола;



иногда они кричат со станков. Эти голоса, идущие к сердцу рабочих не через ухо, а через глаз, принесены в цех парткомами, выездными и заводскими редакциями газет, и мы уже давно к ним привыкли, давно почувствовали их громовую власть, перекрывающую заводской шум машин и моторов. Но на заводе, о котором я рассказываю, вы встретите в цехе шестеренок у каждого рабочего места нечто совсем новое.

Здесь появились плакаты от лица того среднего командного состава, который до сих пор в прямой агитации никак не участвовал: от лица плановиков. И самое содержание этих плакатов совершенно не похоже на то, к чему мы уже привыкли в цехах.

Но сперва объясним, какова обычно роль плановика в цехе. Завод получает определенное задание; оно передается в плановый отдел; оттуда идет к плановикам цехов, а уже те «спускают» определенный план (сделать столько-то и того-то) старшему мастеру, который передает его в смены, чтобы сменные мастера разметили работу по бригадам и вывесили общий список на стене. Рабочие подходят, читают и в общих чертах знакомятся с тем, что предстоит сделать.

И вот плановику Ивану Александровичу Розенбергу пришла в голову простая мысль: сделать так, чтобы каждый рабочий получил точное знание объема своей работы, и не на один день, а, скажем, с некоторой перспективой. Ведь зная свою программу точно, получая ее прямо к станку, видя ее всегда перед глазами, притом не на один только сегодняшний день, а с перспективой на неделю, на декаду, на месяц, рабочий и сам сможет стать планировщиком, легче разметит работу на часы, на дни, легче сманеврирует, быстрее и уверенней справится. И Розенберг идет к секретарю цехового бюро, Льву Абрамовичу Езрохи, человеку молчаливому, с глазами и головой философа. Он вносит предложение: вместо того чтобы «спускать» общий план мастеру, как обычно, — довести его самим до рабочего места, разработать и уточнить долю труда каждого рабочего и каждому сообщить ее на плакате перед станком. Да еще, может быть, добавить человеческой теплоты, усилить каким-нибудь напоминанием, связать



с сегодняшним днем, с текущими событиями, то есть не просто, а агитационно поднести рабочему самый план. Езрохи сразу схватил мысль плановика. Он представил себе, какое огромное значение для развития и подъема внутрицехового соревнования среди рабочих может иметь такая простейшая мера, как плакат с точным указанием количества и объема работы у каждого рабочего, на каждом месте. Пройдет мимо станка товарища дальний сосед и краем глаза сразу схватит, сколько тому надо сделать. Вместо беготни к единственному списку на стене, где не всегда и разберешь, кто что выполняет, тут вдруг, словно в оркестре, у каждого рабочего места своя «партия», ясная, четкая, крупным планом, и люди знают, кто что в общей партитуре симфонии цеха играет. Так и зовет на соревнование чужая цифра! Езрохи поддержал плановика, и в цехе возник своеобразный поход плана к станку, сыгравший очень большую роль и в развороте соревнования и в подъеме производительности труда.

Другие цехи, приглядевшись, стали перенимать хорошее начинание плановика.

Невольно вспоминаешь рассказы наших командиров, как перед боем бойцы «льнут» к ним, стараясь до точности выпросить и усвоить свою личную роль в атаке, уточнить место, время, последовательность действий, потому что жизненно важно для них наперед хорошо понять, что им делать.

Продуманное, конкретное планирование программы по рабочим местам, предложенное Розенбергом и осуществленное цехом, где начальником товарищ Сумецкий, — это один из множества факторов, обусловивших рост завода.

Заглянем в другой цех. Вот место, где родится пленительная вещь, хранящая в своей причудливой перекрученности, похожей на музыкальную модуляцию, секрет передаточного движения. Это царство коленчатого вала, огромный зал с уходящими ввысь сводами, наполненный сверкающими отполированными стальными валами. Дальше — производство гильзы, коробок, цветного литья, шатунов. И всюду — умные, солидные, чавкающие, стрекочущие, сверлящие, жужжа-



щие, бьющие машины, токарные, фрезерные, шлифовальные, зуборезные, расточные, автоматы.

Движение тысячников открыло перед нами величайшую гибкость этих станков, способность их непрерывно совершенствоваться, заменять один другого, идти навстречу человеческому пожеланию. И вы сразу замечаете, что эти станки, почти ни один из них, не работают, как обычно. Вот высокий, простой, быстроходный фрезерный станок, но вместо резца он держит прикрепленный к нему круглый диск, абразит, и, вместо того чтобы фрезеровать, он шлифует, то есть выполняет работу более дорогого и дефицитного, чем он, шлифовального станка. Вот обычный большой станок «Цинциннати», но под ним ходит какое-то странное сооружение взад и вперед, а в сооружении — шестеренка, подставляющая ему свой бочок, где он методически прорезывает зуб за зубом, то есть выполняет вместо своей работы операцию, обычно производимую сложным и дорогим зуборезным станком. А вот и еще какая-то «странность». Стальная крепкая формочка с кружалом, в которое вкладывается округлая зубчатая деталь. Сколько было работы над внутренним растачиванием этой детали! Она строго коническая, а в конической детали нужно, чтобы вырезаемая в ней пустота всеми своими точками соответствовала точкам ее окружности, иначе вещь скосится и будет испорчена. Раньше этим делом занимался высококвалифицированный расточник, ежеминутно, вручную, проверяя особым прибором, правильно ли он точит. Но сколько ни проверяй, брак был очень част. А сейчас изобретенный стальной футляр или корсет помогает проделать эту операцию почти автоматически.

За всем этим своеобразием использования обычных станков и скрываются огромные проценты выполнения, гигантски перекрытые нормы, тайны тех чудес, когда один комсомолец сделал за сорок пять минут работу двухсот семидесяти человек, а мальчик-ученик стал тысячником. Но на заводе, о котором идет речь, особо ярко видишь, что возле станка непрерывно творчески работают и конструктор и технолог, работают бок о бок и рука с рукой с лучшими передовиками-рабочими.



«Футляр», описанный мною выше, изобретен товарищем Карроэстом, помощником начальника цеха. Он облегчит и удешевит работу не одного только своего цеха, не одного только своего завода, потому что подскажет такие же изобретения другим. Инженеры, подобные Карроэсту или Ханину с завода, где работает Дмитрий Босый, или технологу Альтману и многим другим, развернулись в полную меру своих талантов только сейчас, научились под нажимом острой необходимости смело, во всю мощь своего интеллекта ставить и решать бесчисленное множество технических задач, и к этому их подтолкнули своей смелостью и инициативой сами рабочие.

Тесное творческое содружество передового рабочего с конструктором и технологом, великое воспитывающее действие этой дружбы для обеих сторон — вот еще один из важнейших моментов, решающих победу и решивших ее на данном заводе.

**Из множества процессов, складывающих то, что определяет победу, я указала только два первых попавшихся. Но и по этим двум примерам ясно особое качество нашей победы. Дело в том, что она — не завершающий этап, не остановка, а непрерывно разматывающийся клубок творчества, непрерывное новаторство, непрекращающаяся тенденция побеждать. Нельзя себе представить, чтобы производительность труда у нас перестала расти, достигнув какой-то точки. Она не может перестать расти, потому что неисчислимы возможности ее роста и потому что в работающем человеке пробудился творец.**

## VII. ЭНЕРГЕТИКИ

Наступит, может быть, еще на веку нашего поколения минута, когда мир переживет чудную тишину совершенной гармонии. Все лучшее, что есть у человечества, — острота разума, глубина чувства, откровение красоты в природе, — все это как бы сведет концы с концами, замкнет магнитные полюсы своих пределов. И в этот час совершенной гармонии человек увидит



оплаченным каждый свой вклад, каждый свой дар, который он вносит в жизнь.

Удивительным проблеском этой гармонии повеяло на нас в самом, казалось бы, прозаическом месте — обыкновенной комнате, где полтора дня заседали обыкновенные люди — энергетики Свердловской области. Это были скромные заводские энергетики, люди так называемого «энергоцеха», который на заводе не всегда замечается и даже не посещается ни гостями, ни журналистами; и тема, которую они обсудили, была тоже самая обыкновенная: необходимость экономить электроэнергию.

Но это обсуждение раскрыло перед собравшимися ту логику жизни, при которой разные усилия служат одной и той же истине и разные люди, каждый своей дорогой, приходят к одной и той же цели.

До войны директора заводов мало задумывались над экономией электроэнергии. Забота их была одна: чтобы моторы служили безотказно, чтобы аварии устранялись тотчас, чтобы перебоя в подаче тока не было. Но вот энергии понадобилось больше. И появился государственный лимит, по которому каждый завод может расходовать в месяц не больше определенного количества, понадобился строгий учет каждого киловатт-часа. И тут выяснилось, до чего анекдотична система учета на иных наших предприятиях. Возьмем, к примеру, большой уральский завод с рабочим поселком. На заводе — десятки электропечей, компрессоры, краны, вентиляторы, тысячи станков, нужда которых в электроэнергии выражается в цифре девяносто девять процентов от общей потребности. Завод и поселок имеют и бытовую нужду — в освещении, в нагревательных приборах, но на это идет не больше одного процента общей потребности. Однако для того, чтобы учесть трату девяноста девяти процентов энергии на промышленные нужды, завод имеет только тридцать три счетчика, а для того, чтобы учесть трату одного процента на бытовые нужды, в поселке и на заводе поставлено четыре тысячи сорок восемь счетчиков! В быту экономили, а конкретно дифференцированному учету промышленной траты (ос-



новой и главной траты электроэнергии) до сих пор не придавали почти никакого значения.

Энергетики прежде всего начали вводить точный учет промышленного расхода. И когда сделалось видно, сколько берет такая-то печь, такой-то механизм, сколько простаивает, где холостой ход, а где напряжение и перебор, то раскрывшийся ритм потребления электроэнергии внутри цеха стал одновременно показателем самой производственной работы. Расход электричества ярко отразил своим графиком степень плавности технологического процесса, не только выдав с головой недостатки нашей работы, штурмовщину, неритмичность, дерганье, но и показав, что у технолога и энергетика — общий враг. На конференции, посвященной экономии электроэнергии, докладчики горько жаловались: «В первую декаду заводы почти не разбирают энергию, лимиты не используются на десять — двенадцать процентов. Во время смен и обедов работа и вовсе стоит, разница на восемьдесят мегаватт, хоть котлы и турбины останавливай. В третью декаду начинается гонка, нарушение лимитов, все трещит, энергии не хватает, приходится кое-кого отключать». Неритмичность оказалась главным врагом экономного расхода энергии!

Но увидеть врага — не все. Надо еще победить врага. И энергетики, борясь за сбережение и правильный расход киловатт-часов, оказались включенными вместе с плановиками и технологами в борьбу за суточный и часовой график, за бесперебойную работу машин. Энергетики вмешались в заводской режим. Они потребовали изменения часов смены (так, чтобы пики одного завода покрывались низким расходом другого), они фактически приняли участие в планировании и, регулируя технологический процесс количеством расходуемой электроэнергии, творчески подтолкнули и самих производственников.

Возьмем два случая. Тысячник-токарь создал изобретение, во много раз повышающее выпуск продукции; основано это изобретение на ускорении режима резания. Но ускорение режима резания требует увеличения затраты электроэнергии, — значит, одной рукой он принес



пользу, а другой — создал новые трудности. А нельзя ли стать тысячником, не перерасходуя, а, наоборот, уменьшая трату электроэнергии? Можно. Увеличив сечение стружки (вместо ускорения режима резания!), ты потребуешь для работы станка меньше энергии, а продукции выработаешь больше, чем прежде. Значит, есть способ и увеличить на станке выпуск продукции и в то же время сэкономить электроэнергию. Но только найти этот способ надо технологу вместе с энергетиком.

Или второй случай: можно ускорить процесс плавки в электропечи путем повышения расхода электроэнергии на эту печь. Но можно сделать и так: сперва плавить металл в вагранке, потом в конверторе и уже потом в электропечи, — это соединение работы более старых печей с более совершенной электропечью («дуплекс- и триплекспроцесс») понижает в огромной степени расход энергии. А можно сделать и еще лучше: в вагранке варить чугун, в ковше по дороге его обессерить, в конверторе обезуглероживать, опять на пути из конвертора обесфосфорить и только потом задавать в электропечь, на долю которой остается лишь раскисление металла. Этот американский способ («квадриплекс») еще больше экономит электроэнергию и упрощает, делает более наглядным, более видным и удобным для проверки весь процесс плавки. Этот способ энергетик опять-таки должен найти вместе с технологом.

Связь энергетика с технологом, а раньше с плановиком — это в сущности связь производства с экономикой. Она говорит о том, насколько каждому производственнику полезно быть и экономистом.

Спрашивается, не регресс ли все эти меры? Ведь проводятся они под давлением трудностей военного времени? Но экономика — великий толкач прогресса. Введенные по необходимости экономить, все эти меры оказываются техническим новшеством, передовым словом техники. В Америке уже давно старые (по времени изобретения) машины работают на параллельной связи с более современными, маленькие с крупными, служа отличной регулировкой производственного процесса; там уже давно штамп завоевывает детали не потому только, что он делает их скорее, проще и легче, но и потому, что



он тратит при этом меньше электроэнергии. И прозаическая, рожденная, казалось бы, только необходимостью минуты борьба за бережливый расход киловатт-часа, вдруг превращается в симфонию наглядного, яркого творческого движения человеческой мысли вперед, в симфонию общего производственного прогресса на заводе. Замечателен в этом смысле почин передового Уральского новотрубного завода. Там электрики вместе с технологами поставили сотни опытов, изучили оптимальную температуру электропечи, при которой сходятся показатели и самой скорой, и самой лучшей, и самой экономной плавки, и сумели сберечь у себя миллионы киловатт-часов, резко улучшив при этом заводскую технологию.

Вот о чем говорили с трибуны скромные заводские люди.

#### VIII. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Летом повсюду, где уральская земля рождает цветы и травы, на дивных ее луговинах и в лесных дремучих зарослях, запестрели вперемежку с цветами детские платица, зазвенели голоса ребят, их армии вышли на сбор лекарственных растений. Нигде и никогда раньше не знала наша земля таких внимательных и богатых сборов, такого знания и умения разобраться в дикорастущих злаках, в разных «чередах», «спорушах», «раковых шейках», «водяных перцах», подорожниках, черемисах, как в дни войны на Урале. Но подняли детей, обучили их, организовали, а потом проверили и классифицировали все собранное — местные интеллигенты. Это — ботаник Михайловский в Ильменском заповеднике, это химики в Магнитогорске, агрономы в Ачите, учителя и врачи в других районах.

Почти каждое учреждение на Урале, каждая профессия выделили сейчас дополнительную, фронтовую функцию. И новая дополнительная функция потребовала приложения умственного труда к таким процессам, какие раньше делались механически; а с другой стороны, она же приблизила отвлеченную умственную работу к ручному и машинному труду. Изменился не



только облик рабочего, но и облик интеллигента, и трудно подчас сказать, к какой категории отнести труд, совершаемый на оборону родины.

Для сложных металлургических заданий, для проверки качества металла нужны так называемые шлифы, тончайшие шлифованные листы, так же как для некоторых оборонных орудий нужны особые «глаза», тоже тончайшие, обточенные из горного хрусталя пластинки. Фронт требует много таких изделий, которых заводским способом не создашь, для которых нужен ручной труд гранильщика, человека высокой и уже редко встречающейся профессии. Гранильщиков-уральцев считают по пальцам: каждого из них, с именем, отчеством, с душевным характером и складом, может назвать и описать каждый ученый геолог, работавший на Урале. Гранильщик — это расцвет и второе рождение камня, это одежда минерала, назначенного под стекло музейной витрины, это необходимый человек для специальных лабораторий, для коллекционеров, для минералогов, а сейчас — для фронта.

Николай Федорович Медведев — типичный коренной уралец. Это высокий черноволосый человек, худой и, как говорится, испитой, — испил его в ранней молодости камень, когда он гранил хищным русским купцам изумруды. В 1920 году Николай Федорович вступил в партию и ходил на Колчака. Потом работал в Ленинграде и опять вернулся на родной Урал. Сейчас он живет в знаменитом Ильменском минералогическом заповеднике, в деревянном домике, окруженный камнями, — камни и под срубом, и у крыльца, и мальчики роются в них, собирая отполированные кусочки для своих коллекций. Как ни далеко Николай Федорович от фронта, а военный заказ находит его. Сейчас он работает над медными шлифами. Академик Заварицкий в подтверждение своей важной и оригинальной теории анализирует одно из крупнейших наших месторождений, и Николай Федорович изготавливает для него целую серию шлифов. Посмотрите в микроскоп, раскроется внутренняя структура любой руды, любого металла, во всех своих связях и закономерностях. Казалось бы, какое до этого дело фронту? А очень большое. От шлифа — до качества



брони, от шлифа — до прочности отливки, от шлифа — до танка. И уральский человек, гранильщик Медведев, в далеком, глухом углу, среди камней и густых, порыжелых от осени кустов крушины, перед матовой, спокойной гладью серебряного Ильменского озера, чувствует себя нужным, неотделимым от фронта, полон сознания необходимости своего труда и связи своей судьбы с судьбою и жизнью своего общества.

Глубоко в тыл мы послали наши вузы и втузы, с преподавателями и лабораториями; в тыл вывезены культурные ценности, сокровища музеев, книги. Но время не терпит бездействия, не терпит оно и прежнего понимания одной своей профессиональной обязанности. Профессора и аспиранты высших школ, до войны сидевшие в каком-нибудь окраинном городке, еще недавно чувствовали себя лишь преподавателями, лишь работниками своих институтов. Они читали лекции, готовили специалистов. А сейчас те же самые люди, на такой же самой работе знают, что они не только преподаватели, но и ученые, не только ученые, но и практики-изобретатели, способные чем-то своим, выношенным, продуманным, помочь родине. Они стали приходить с предложениями в горком, в исполком, к дирекции завода. Почти стихийно, независимо от других таких же опытов, стали из них образовываться на Урале в каждом городе, в каждом районе «комитеты ученых в помощь обороне», подчас ничего не знающие о такой же ученой организации в той же области за пятьдесят — сто километров от них. Это «комитеты» при горкомах партии, «дома ученых» при областных центрах, и работа их до сих пор никем не учитывается. Между тем у себя на месте они приобрели огромную популярность и делают большое, нужное дело.

Взять хотя бы «комитет ученых» при горкоме Магнитогорска. В Магнитогорск были эвакуированы многие втузы и военные специалисты. Работой своей собственной они были загружены по горло, а все же оставались часы и минуты, оставались ночи, когда напряженно думается о фронте. Оставалось утро, когда из рупора диктор читает последнюю сводку, оставалось острое чувство на весь день, на все часы, на всю ночь —



чувство недостаточности своей работы сейчас, необходимости больше давать, лучше давать, напряженной трудиться.

Хозяин города, металлургический комбинат, стал делать своим ученым заказы. У прокатного цеха не хватило валков, валки были привозные, весь цех мог из-за них остановиться. Тогда по просьбе комбината ученые наладили производство этих валков.

Профессора пошли на завод, превратили свои лаборатории в маленькие производства, за валками последовали изложницы для домен, забота об инструменте. В цехах инструмент «горел» на работе, его быстрая изнашиваемость срывала ритм работы. Тогда ученые стали внедрять на заводе новый, передовой метод, заменяющий термическую обработку, — так называемое газовое цианирование поверхности инструмента, насыщение его азотом и углеродом, и прочность инструмента увеличилась в три — пять раз. Химики и медики помогли госпиталям наладить производство многих дефицитных лекарств. Всюду, где есть промышленность, есть химические отходы. И магнитогорские ученые дали из этих отходов для своей области заменителей ртути, сульфидин, аммиак. Из-за отсутствия аммиака хирурги в госпиталях подчас приостанавливали операции, а сейчас в аммиаке нет перебоя.

Перечислить все, что сделано комитетом, долго, да и не стоит, потому что не один он на Урале, их множество, в каждом углу с гордостью скажут вам, что местные ученые сделали и чем помогают фронту. И здесь в отвлеченную работу мысли вошла функция руки как рабочего инструмента, и ученый ярко пережил производственную сторону изобретения.

Что на свете скромнее работы почтово-телеграфного служащего — не фронтовой «полевой почты», когда приходится доставлять письма под обстрелом, а, скажем, уральского телеграфа, далекого от фронта? Но вот в прошлом году пришел работать телеграфистом в один из уральских городов молодой связист Шинклер. Прямого профессионального дела у него было по горло; и обычно, когда принимаешь и передаешь телеграммы, думаешь не о том, что содержится в них, а только о чи-



стоте, четкости, правильности своей работы. Но война обострила чувства и уши молодого связиста. Мимо него шла живая жизнь, шла волна героического трудового наступления, шел поток запросов, от которых зависели дела на фронте. Директор завода запрашивал о нужном транспорте, отец с фронта разыскивал эвакуированную семью, запрос не получил ответа, безмолвствовал адресат, — и весь этот живой поток мучил и волновал скромного служащего телеграфа, чье дело было — только слушать и передавать. И однажды, чтобы помочь бойцу отыскать семью, он сам пошел по адресу; другой раз он принялся проверять доставку заводской телеграммы; третий раз запросил служебной телеграммой отмалчивающихся транспортников. А потом, перед уходом на фронт, обо всем этом, о живой работе на телеграфе, он написал интересную, простую книжку. Огромную пользу принес Шинклер не только расширением своих профессиональных обязанностей, но и передачей своего опыта, заразительным показом того, какую большую общественную задачу носит в себе самый скромный труд, хотя бы труд почтового служащего, если понять всю его государственную важность. Под Сталинградом этот скромный писатель-почтовик отдал родине и свою жизнь.

За два года войны не только на фронте, но и в тылу гигантские шаги сделала советская медицина, и притом не только так называемая «полевая хирургия», но и клиническая терапия, и диагностика, и фармацевтика. Наши врачи среди горя и ужасов войны получили возможность глубже заглянуть в тайны психических заболеваний при ранениях мозга и поражениях нервной системы; глубже заглянуть в тайну состава крови, этого, по выражению Гете, «совсем особого сока»; глубже развить учение о витаминах; и, наконец, как никогда раньше, использовать трудотерапию — лечение пораженного органа систематической мускульной работой. И тут, общаясь со своими пациентами — тысячами людей от станка и трактора, врачи накопили драгоценное знание нового цельного человека, знание, которое уже начинает влиять на их практику. Участились за время войны конференции и совещания для подытоживания врачебного



опыта. Доклады на этих конференциях часто стремятся решать отдельные вопросы, исходя из проблемы «всего человека», стремятся расширить отдельную узкую специальность за ее рамки. И вам невольно вспоминается тип врача в глубокой древности, у греков, у арабов, где врач был поэтом, знатоком человеческой природы и философом.

На одном из уральских военных заводов работает инженер Дранников. Это интеллигент в подлинном смысле слова, человек, понимающий, что исторический опыт нашего поколения надо не только пережить, но и осознать. В механическом цехе завода шел процесс рационализации токарного станка. Движение тысячников обнажило в этом процессе определенные, закономерные черты. И чтобы помочь всем военным заводам передовым опытом, Дранников в скупые, считанные минуты своего отдыха написал нужную книжку «Тысячники», первую ласточку технического обобщения передового опыта.

Часто вы встретите на улицах Свердловска, в палатах госпиталя, на ученых сессиях невысокого старика с дремучей белой бородой, с янтарными глазами, с тихим, спокойным голосом, — ему всегда все необыкновенно радуются. Бойцы любят слушать его, и каждый рабочий на заводе знает, что он — сказочник Урала, старый писатель Павел Петрович Бажов. Он всю жизнь пишет только одну книгу, она давно издана, но ее можно продолжать без конца. Эта книга — «Малахитовая шкатулка», сборник уральских сказок о руде и минерале, о человеке, добывавшем тяжким трудом руду и камни на барина-заводчика, о таинственной хозяйке Медной горы, олицетворяющей живую душу земли и ее отношение к людям. И нет, кажется, более русской, чем эта уральская книга, сохранившая все особенности уральского говора, необычного для средней полосы России. Русская она тем, что в ней показано, как чистая и совестливая душа народа побеждает соблазны алчности и легкой наживы, как высокий труд, умение приложить к камню, к руде свое человеческое мастерство помогает преодолеть темные страсти, легкость добычи, удоволь-



ствие наживы, как не умирал человек в самых страшных, рабских, беспросветных условиях, а умел высоко поставить над ними свое человеческое достоинство.

Казалось бы, что общего у нашего сурового времени со сказкой? Где мост между напряженной работой в цехах, ночами бессонницы над оборонным заказом и этими ласковыми, простыми страницами о веселой дочери золотого Змея-Полоза, желтенькой Поскакушке, и добрых уральских парнях, которым она, как пламя над драгоценной рудной залежью, неожиданно показывается?

Много тут общего и родного. Бывают движения сердца народного, сразу становящиеся историей, запевающие сказкой. И разве не похожи на сказку дела и люди Урала, обещанья цехов и заводов выполнить столько, сколько раньше показалось бы им волшебством, — и эти волшебные обязательства выполнялись — тоже, как в сказке, словно людям приходила на помощь бажовская «Хозяйка Медной горы».

## IX. КОЛХОЗНИКИ

До войны на Урале мало сажали овощей. Очень многие районы числились в списке потребляющих, а не производящих. В конце прошлого века в обстоятельной книге о сельском хозяйстве Урала Л. Сабанеев писал: «Огородничество, особенно у крестьян, находится в весьма жалком состоянии. Картофель изредка разводится в весьма небольшом количестве на пространстве не более осьминника... Обработка картофеля в самом первобытном состоянии. Капуста здесь далеко не в большом употреблении, и крестьяне едят ее только с квасом, а на щи она не идет вовсе. Рассада... поливается только первое время, а потом предоставляется, как и все огородные овощи, на волю божью, и как бы ни был мал огород, а крестьяне, или, лучше сказать, крестьянки, никогда ни в какую засуху поливать его не станут...»

Эта нелюбовь к огородничеству сохранялась в уральском крестьянстве и после революции. Но Отечественная война произвела тут полный переворот.



Вот один из лучших колхозов на Урале — «Новая заря» Ачитского района, как раз в тех местах, что описаны Сабанеевым. Председатель его, Александр Порфирьевич Тернов, незаурядный человек. В двух словах о нем не расскажешь. Вытянув ноги на сене, в плетеном из ветвей коробке, поставленном на дрожки без рессор (уральская коляска!), едем к нему в гости. Ехать от станции в глубинку часа полтора. День еще летний, мягкий, но за ним осень: от земли встает холодок, каждые полчаса небо заволакивается и брызжет холодный дождь с ветром. Уральцы говорят: «До тех пор дожидаясь лета, покуда оно не пройдет». Но погода не мешает множеству мошкары, густейшему аромату клевера и полыни, от которого голова кружится. И вместо сабанеевского «осьминника» в одном только колхозе (а таких колхозов в районе около сотни, а таких районов в области десятки) под картофель отведено в этом году, не считая личных огородов, сто гектаров (с обязательством собрать не меньше двухсот центнеров с гектара), под овощи — сорок гектаров, под технические культуры — двадцать два, под кормовые — тридцать. И эти «га» лежат сейчас перед нами в погожий денек ранней осени пропаханными, окученными, выхоленными, выполотыми, в такой силе и славе урожая, что даже лошадь наша чмокает копытом по картофелю, — его вынесло с гряд на проселочную дорогу.

Высокая старая женщина в белом платочке подходит к нашему коробку по меже. Ей далеко за полсотню. Она видела тех сабанеевских крестьянок, которые «никогда, ни в какую засуху поливать не станут», да и сама, быть может, была такою. А сейчас эта стройная старуха, Марфа Александровна Попкова, улыбаясь голубыми, как два озера под солнцем, глазами, рассказывает:

«Свою бригаду я уж вот как учу! Лук-то мы сначала рыхлили, а сейчас землю разгребли, пригнули перо к земле, чтоб рос он в голову. Картошку посадили — так раз пять боронили, тоже почву рыхлили. Культивируем междурядье, чтобы корка не делалась, чтоб земля была не грубая. Потом окучиваем два раза, ру-



ками в последний раз заправляем. Овощи любят уход. За каждым листом любят уход. Капусту надо и открыть, и поразрыть, и поразрыхлить округ,— воздухом проветрить».

Она молодо нагибается и срывает для нас два прохладных помидорчика, пахнущих детской щекой.

У Марфы Александровны триста трудодней,— для старого человека это немало, тем более что и время ее уходит не на одну работу, а и на руководство, на ученье, на управление. Она депутат Ачитского райсовета; на колхозных собраниях она первый оратор. Сноха от нее отделилась, сын в армии — полгода без вести; и Марфа Александровна душу кладет в дела колхозные, полна творческого честолюбия: поддерживает всякую новую стройку, «всяко нѡво дело».

Подъезжаем к конторе колхоза и видим, что «нового дела» тут впрямь очень много. Весь колхоз похож на новостройку — крестьянские дворы не достроены, не огорожены, дерево еще розовое — только-только из-под пилы и топора. А за самой деревней прямо индустриальный пейзаж — стоит буровая, строится механическая водокачка для подачи воды в здание (тоже новое) молочной фермы; возводятся трехугольные перекрытия над длинными, вырытыми в земле овощехранилищами; стоят, как великаны, огромные желтые чаны, на семьдесят пять — сто тонн каждый, для квашенья капусты.

Куда ни взглянешь, всюду видишь следы большой оживленной строительной работы, попытки механизировать, готовить свой подсобный материал, обходиться без посторонней помощи. В леску за полями дымит фабрика, там работает («смольѐ гонит») один-единственный человек, черный, как уголь, бледный, как полотно, бородатый, угрюмый, с нависшей над глазом бровью,— весь земляной, весь лесной, словно колдун. Это человек старинного уральского ремесла — углежог.

Он один возится со своей большой печью, возле которой наворочено множество выкорчеванных пней, день и ночь проводит возле нее, следя, как «томится» в ее огромной духовке дерево, превращаясь в древесный уголь и выпуская дух от томления в два закрытых



канала. Вздываясь к ним смолой, оно течет черными жирными каплями в бочку, овивая с синим лесным дымком свой особенный, едкий, но не неприятный, щекотный лесной запах...

И одинокий лесной утлежер, и бойкий кирпичник на небольшом заводике, и высокий инвалид-ленинградец, орудующий над чанами для капусты, и смуглый техник возле буровой, и юноша-механик на людиновском локомотиве, дающем всему колхозу энергию, и сильная, по-мужски грубоватая и рослая агрономша Орлова — все это люди больших специальных знаний, люди, которых председатель колхоза Тернов — творец и хозяйственник — нашел и притянул сюда поодиночке, откапывая и разгадывая подчас у себя же, среди приезжих или случайных гостей, понавших в колхоз на побывку, на отдых из госпиталя. У него есть все нужные кадры, вплоть до лудильщика, есть и материал для лужения. А вот и он сам, Александр Порфирьевич Тернов.

Председатель колхоза подходит разгашистой походкой, разминая что-то сорванное на ходу. Он кажется в первую минуту подслеповатым — у него крепко прижмуренные, натруженные глаза, он плохо побрит, на скорую руку одет, все в нем говорит о спешке и напряжении. Но заговаривает он с вами деловым, спокойным голосом, и слова у Тернова не спешат. И тогда сразу начинаешь подчиняться этому человеку, ощущать его превосходство и верить, что Александр Порфирьевич раз уже возьмется — вывезет, раз сказал — делает.

Родился Тернов тут же, в Ачите, в крестьянской семье, был в 1914 году «забрит» и проделал первую войну, бил немцев. Война дала ему много: повидал чужую землю, побывал в Финляндии, все, что видел, крепко запомнил. Ему очень понравилось рациональное европейское ведение хозяйства, понравилось, как там умеют извлечь пользу из всего, как механизм работает на человека и деревенский труд от этого облегчается и преобразуется. Когда в армии он впервые услышал большевиков, его сразу потянуло в партию. По его собственным словам, одна мысль захватила его: создать вот такую рациональную, передовую технику в деревне,



но не для помещика, не с помощью капитала, а своими силами, для народа. И, став членом партии, он начал проводить эту мысль в жизнь.

Двенадцать лет назад на том же месте, где сейчас колхоз, стоял «черный лес». Тернов, вернувшись в родные края, задумал отделиться с несколькими семьями от разросшегося многолюдного Ачита и организовать здесь своими силами новый колхоз. Необычайная работа по целине зажгла, разволновала людей. Они на километры корчевали пни. Начал Тернов свою работу с одной принципиальной установкой, строго ее держался все двенадцать лет и коллектив свой сумел на ней воспитать: в первую голову думать о подъеме производительных сил колхоза, укрепление колхозного хозяйства, а уж потом, во вторую очередь, думать о бытовых нуждах, о потребительских заботах. И он сумел этой горячкой «нóва дёла», как выразилась Марфа Александровна, увлечь за собою весь колхоз. Вот почему в «Новой заре» — прекрасная механизированная молочная ферма, свиноводник, лучшее в районе огородное хозяйство, непрерывно расширяется посевная площадь, и ни разу не задолжал колхоз государству. Когда на Урале еще никто не сеял кок-сагыз, Тернов посеял его у себя. В этом году многие снимут однолетний урожай, а он снимает двухлетний и дает государству больший, чем у других, процент каучука. Посадив у себя сахарную свеклу, Тернов начал сразу же искать и намечать специалистов, с которыми можно было бы выработать сахар. Вокруг еще заняты окучиванием, гадают, как выкопать картошку, а Тернов уже замышляет крахмальную фабрику, чтоб ни одного килограмма не потерять, не допустить загнивания. И такой — с заглядкой вперед — весь он, в быту, на ходу: пройдет по дороге — вернется с веревочкой, с подобранным железным бруском, с подковой. Поговорит с человеком — и человек вдруг получил предложение от него: «А не возьмешься ли это сделать, там-то наладить?»

Он зорко чувствует возможности в человеке и в природе и не даст ни одной из них уйти из-под рук.

На стене правления висит старое «Обязательство колхоза». Говорят прошлогодние цифры:



В 1941 году в колхозе  
получено:

В 1942 году колхоз  
обязуется получить:

Зерновых . . . . .	4000 ц.	Зерновых . . . . .	5000 ц.
Картофеля . . . . .	2000 ц.	Картофеля . . . . .	4000 ц.
Овощей . . . . .	2000 ц.	Овощей . . . . .	4000 ц.
Мяса . . . . .	100 ц.	Мяса . . . . .	200 ц.
Молока . . . . .	300 ц.	Молока . . . . .	600 ц.
Яиц . . . . .	6700 шт.	Яиц . . . . .	10 000 шт.
Шерсти . . . . .	87 кг.	Шерсти . . . . .	200 кг.

Программа увеличена по зерновым на тысячу центнеров, по некоторым другим продуктам почти вдвое — и это при уменьшении людей в колхозе и при необходимости более экономно тратить горючее! Как добивался Тернов ее выполнения? У него, во-первых, все точно спланировано: и насколько увеличить среднесуточный привес телят, и сколько взять на фуражную корову молока, и «выход» у свиноматки «деловых» поросят, а у курицы-несушки — яиц, и как, где и на сколько расширить посевную площадь. Во-вторых, добиваться выполнения программы он начал не с посевной и не с уборочной, а с ранней зимы, до святок, до новогодних огоньков в избах. Колхоз его приготовил высококачественные семена всех культур, сохранил полностью картофель на посев. За зиму он приготовил сбрую на сорок запряжек, вывез шесть тысяч возов навоза и сто центнеров золы и обязал весь свой актив «овладеть агротехникой и машинами». Немудрено, что программа 1943 года у него перевыполнена.

— Передовой колхоз — это тот, кто сейчас больше даст армии, больше даст государству, — не устает он повторять.

Уборочная в «Новой заре» держит весь колхоз на ногах. Поздно ночью Александр Порфирьевич возвращается домой, в необстроенную свою избу, где, кроме него, еще живут две семьи эвакуированных. Некому было уложить спать двух худеньких терновских девочек, вымазанных черными ягодами черемухи — этим уральским виноградом. Вихрем они мчатся к отцу, тянутся на колени к тятке. Тернов расстегивает младшей девочке платьице на спине и додумывает свою заботу — людей все-таки маловато, где людей взять? В колхозе



работает коллектив школьников, эти молодцы отлично помогли. А вот медтехникум — тех надо пронять.

На сердце у него так и лежит до утра забота приохотить к тяжелому труду новую городскую молодежь, приехавшую на уборочную. Утром его забота заражает агитатора, женщину, присланную из города. Она в колхозе не больше недели, но уже вся захвачена терновским упорством, терновской волей: дать армии, дать родине весь обильный урожай, собрать его до последнего зерна, до последнего клубня.

К полудню проходит над полями косой дождь. Молодежь собралась в кузнице, заменяющей колхозу клуб. Молодежь нарядная, в беретках, с сорванным цветком в петельке. Агитатор взбирается на табуретку. Она говорит о том, что все возвратится, будут впереди часы отдыха, и танцы и гулянки, и путевки в санатории, будет полная чаша, не возвратится лишь этот великий час спасения родины, призыва ее. Дети спросят своих матерей: «А ты тогда чем помогла? Ты, мама, работала?» Агитатор говорит о мозолях на руках — мозоли проходят и стираются. И о пятнах на совести — пятна не сойдут и не сотрутся. И о стыде, если придется ответить своему ребенку: «Вся страна, весь народ встал на защиту родины, все били врага кто чем мог, кровь отдавали, силы отдавали, трудились, жертвовали, — а я ничем не помогла...»

Когда расходились с митинга, Тернов Александр Порфирьевич подошел пожать руку агитаторше. Его призажмуренные глаза на этот раз смотрят широко, с сиянием. Он тепло говорит: «Спасибо, товарищ!» И кто его слышит, тот почувствует: этот пожилой уралец — он не только хороший председатель передового колхоза, но он — и это главное в нем — наш, настоящий, воспитанный партией и двадцатью пятью годами нашего строя советский человек!

#### Х. ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ

Недавно в свердловскую столовую зашел командировочный. Когда подавальщица поставила перед ним блюдо, она увидела, что у него отбиты кисти обеих рук.



Двумя своими обрубками он хотел было захватить ложку,— и десятки рук потянулись помочь ему. Подавальщица спросила, где же этот человек работает? И оказалось, что безрукий руководит одним из крупнейших предприятий. На фронте он приобрел знание, как расставлять и одушевлять людей, как направлять и ориентировать их, как вселить в них уважение к себе, к своему приказу, как заставить крепко любить себя,— и десятки, сотни рук стали его руками, и чувство личной беспомощности исчезло у него, растворилось в умении руководить работой других.

В одном из колхозов на Урале отдыхал после госпиталя советский интеллигент, человек умственной профессии. Ему было запрещено мыслить, запрещено напрягать мозг,— он получил тяжелую контузию. Казалось бы — трагедия; между тем в колхозе он сделался «золотой рукой». Рука его сохранила высокую интеллигентность мозга, сохранила ее в той страстной, ненасытной потребности к действию, к участию в жизни, к реализации своей личности, какая живет в советском человеке и, если не может быть удовлетворена обычным путем, находит новый. И председатель колхоза не нахвалится своим гостем,— он и бондарь, и механик, и плотник, и в любом деле поможет.

Все это — первые попавшиеся примеры, обыкновенные случаи. Но в мирное время мы сами не замечали, как на каждой, самой малой, работе мы учимся искусству быть в коллективе, считаться с ним и познавать себя через свои отношения к окружающим, а Красная Армия углубила и обнажила это искусство; в мирное время мы сами не замечали, какую жадность к труду и творчеству пробудил в нас наш строй, а Красная Армия углубила и обнажила эту потребность, сделала ее знаменем, за которое наши полки бросаются в бой, побеждают и побеждают. Так — не в противоречии с качествами, нужными для мирной работы, а в единстве с ними растет советский человек на фронте.

В августе 1942 года на один из наших кораблей под Туапсе упала прямым попаданием фашистская бомба. Старший политрук корабля Григорий Леонычевич Лохов был смертельно ранен: разбиты висок и позвоноч-



ник, переломлена левая нога, едва залеченная после защиты Севастополя, контужена центральная нервная система. Его снесли в мертвецкую, вместе с остальными погибшими на корабле. Но когда за трупами приехали санитары, они услышали из мертвецкой песню. Кто-то пел, пел сквозь смерть, пел любимую песню черноморцев, неизвестно кем сложенную:

Иду я знакомой дорогой,  
Вдали голубеет крыльцо,  
И вижу в открытом окошке  
Твое дорогое лицо...

Лохов не только выжил, но дал загадку нашим ученым-неврологам, потому что до своего ранения он знал лишь два куплета песни, а в бессознательном состоянии пропел ее всю: контузия центральной нервной системы приподняла завесу над связью сознательного и подсознательного в человеке. Но разговор сейчас не о том. Советский оптимизм, вера в жизнь, в помощь товарищей; убеждение, ставшее почти инстинктом, что в нашей стране человек не одинок и никогда не останется одиноким,— этот великий оптимизм раздул слабую искру жизни, тлевшую в тяжело раненом, и она вспыхнула в его голосе, запела его безжизненным горлом, застучалась в окружающее, в дверь своего советского дома.

Лохов выздоравливал в госпитале в Тбилиси. За ним была партийная работа секретарем на судостроительном заводе в Севастополе, политруком на корабле в море, кругосветные путешествия, чудесные океаны, соленый запах, ночное небо с ярчайшими звездами, чужие гавани, куда он сходил подтянутый, в белом кителе, в звании «супер-карга». За ним было плавание на самом длинном корабле в мире, таком длинном, какого никогда не было и не будет,— на «Харькове». Об этом он очень любил рассказывать.

«Харьков» шел как-то задолго до войны с грузом гороха из Константинополя, сел на мель, и горох, набухнув от воды, разорвал его. Об этом в своем роде единственном случае узнали морские эксперты всего мира. На «Харьков» понаехали журналисты, туристы,



инженеры. Мы заплатили немало денег иностранным ученым за совет, как спасти корабль. Но ученые ответили, что с кораблем сделать ничего нельзя, кроме как потопить его, сняв машинные части. Тогда наши моряки разозлились. Они решили сами спасти свой корабль. Углубили разрыв, отделили корму от носа; отверстия с боков по переборкам забетонировали; и сперва поплыли в Севастополь на одной корме, а потом, вернувшись, поплыли домой на одном носу. А так как длину корабля измеряют обычно расстоянием от кормы до носа, то «Харьков» в ту минуту, когда нос его стоял под Константинополем, а корма подплывала к Севастополю, был действительно самым длинным кораблем в истории мира. Этот чисто советский случай, когда наши простые моряки заткнули за пояс ученых заграничных экспертов, пленил Лохова еще в бытность его секретарем парткома судостроительного завода, и он попросил у Л. М. Кагановича отпустить его в море. Вот тогда-то и поплавал он на возрожденном «Харькове».

Война застала Лохова опять на суше, заведующим транспортным отделом горкома в Одессе. Когда немцы нажали на Одессу, он вступил добровольцем в Первый одесский морской полк, тот самый, о бойцах которого немцы с ужасом говорили — «дьяволы», «черная кровь». Полк этот прикрывал последние наши отходящие части. Потом Лохов был ранен под Севастополем; потом, едва залечившись и отказавшись от отпуска, очутился уже старшим политруком под Туапсе...

Было о чем вспомнить, выздоравливая в тбилисском госпитале. Но куда же теперь? И тут его, поставленного на ноги, правда не совсем, а с палочкой, — южанина, военного и партийного человека, — послали на север, на Урал, и назначили директором одной из самых крупных гостиниц.

В советском тылу гостиница, особенно в военное время, — тот же большой корабль с большим плаванием. Здесь оседают с вокзала и на вокзал крупные командиры, делегации, артисты, иностранцы, инженеры, хозяйственники; сюда из районов на слет, на совещанье прибывают тысячники, стахановцы; в дни сессий, конфе-



ренций, съездов здесь можно встретить академиков, шахматистов, Героев Советского Союза.

Гостиница — это целый комплекс бытовых учреждений: жилье, душевая, парикмахерская, почта, телефонная станция, справочное бюро, медицинский пункт, бельевая, столовая, чистильня сапог, крмендатура, топка, электрическая мастерская, — и всюду сидят люди, и за каждым из этих людей надо уследить.

Новый директор в первую минуту показался им слабым: бледный, прихрамывающий, болезненный, молчаливый, голоса не возвышает, кулаком не стучит. А самому Лохову и жильцы и служащие гостиницы тоже показались чужаками. Он привык в армии, чтоб слово тотчас вело к делу; чтоб каждая минута была на счету; чтобы отношения между людьми были прямы и человечны. Тут же служащая выбрасывает сотни слов с тем, чтобы нарочно утопить в них смысл; посетитель тратит полчаса на просьбу, укладывающуюся в полминуты; телефонистка разжевывает свое «алло», как монпансье во рту; монтеры уходят из мастерской, забирая ключи от распределительных щитков, и гостиница часами ждет их с прогулок; парикмахеры не желают участвовать в расчистке снега и разгрузке угля; в душевой из пяти душев три стоят испорченные. А на корабле даже под бомбами, и особенно под бомбами, не забывают чистоты, уважают аврал, на золотники ценят, как драгоценный камень, сказанное слово.

Изучив обстановку, он начал с первого звена жизни гостиницы — с чистоты. Заведующая душевой не имела среди остальных служащих никакого веса, ее не слушались ни слесарь, ни водопроводчик, ни посетители, ни истопник. Лохов поднял авторитет заведующей, и заработала душевая.

Разгрузить топливо — жизненно необходимо. Но парикмахеры — профессия деликатная, их любили Бомарше и Мольер, их уважал прежний директор. Новый директор, не пускаясь в тонкости парикмахерской профессии, снял их с питания. Потеряв право обедать в ресторане гостиницы, парикмахеры очень быстро нашли и выделили людей для общественной работы.

Однажды Лохов увидел в передней инвалида, тихо



сидящего на чемодане; он ждал номера. Фронтовики привыкли ждать номеров... Лохов внимательно пересмотрел списки живущих, и возле дядей и теток, жен и домашних работниц, тещ и секретарш, оставшихся в забронированных номерах после отбытия съемщиков в Москву, поставил птичку.

Так, опираясь на палочку, два месяца обходил и приводил он в порядок все углы и закоулки своего большого корабля и лишь на ночь спускался в свою «каюту». Разрывая отношения между спевшимися лодырями и бездельниками, ударяя по «блатным» нравам, поощряя хороших работников, раздавая талончики на питание строго дифференцированно, директор сумел подтянуть и старорежимную бухгалтершу, и кокетливых дежурных, и нерадивых монтеров. И люди стали уважать своего молчаливого начальника, хорошего советского человека, отточившего хорошие советские качества в великой школе Красной Армии и Отечественной войны.

Много таких Лоховых работает сейчас в нашем тылу. Когда видишь их работу, невольно вспоминается не такое уже далекое время четверть века назад — демобилизация после первой мировой войны. За рубежом о людях этого времени сложился особый термин: «послевоенное поколение». Он означал отчаявшихся, загубленных, списанных в брак, выпавших из истории. Западноевропейская литература создала тип демобилизованного как человека нравственной травмы, опустошенного, потерявшего веру. На родине его ждет безработица; за душой у него ни веры, ни убеждений. Ремарк и Селин рассказали об этом «крае ночи», этом пределе отчаянья для людей, проливавших кровь за отечество и потерявших свое место в нем; множество немецких романов посвящено было инвалидам войны, стоявшим с протянутой рукой на перекрестках, и «шиберам», спекулянтам, рвачам, наживавшимся на человеческой крови.

А у нас — придет день, — мы чувствуем, он не за горами, — Красная Армия, уничтожив врага, замарширует с фронтов домой. В этот день никто не останется дома; миллионы людей сплошными шпалерами станут



по обе стороны дорог, и приветственных голосов в хоре будет больше, чем шелеста ветра в ветвях, и протянутых рук будет больше, чем колосьев в поле, потому что мы будем встречать тех, кто спас нам жизнь и то, что дороже жизни,— честь.

## XI. РАССКАЗ О ЛИТЕЙЩИКЕ

### 1. Рост человека

Были случаи, когда советский танкист, вернувшись с боя, целовал свой танк в крепкую броню за то, что не подвела, выдержала, вынесла. Поцелуй танкиста отзывается в самом сердце литейщика.

Литейное дело — особое. К нему, как, впрочем, ко всякому, нужно иметь свой подход, а то и родиться с талантом. Литье — оно скрытное. По множеству внешних признаков, словно врач по лицу больного, нужно чувствовать, что творится в металле. Тут не поможет учебник, тут нужен опыт большой жизни. Металл — как человек: внешность — это одно, а нутро — это другое. И чтобы отливка вышла крепкая и долго, честно служила, до поцелуя служила, — металл в ней должен уложиться, как здоровое, размеренное дыхание, как спокойные нервы, без рванин и неравномерностей, без пустот и сгустков. Литейщик глядит в его кипенье, зная по опыту, как добиться жидкотекучести или как побороть «ликвацию», то есть тягу разных составных металла при охлаждении к серединке, где еще осталось тепло, и он регулирует, настраивает, доводит литье, играет его температурой, поднимает и повышает ее, как музыкант настраивает свою скрипку, спуская и подтягивая на колках струны.

Чистое дыханье, верный тон, равномерное растяжение частиц в материи — это основа и цель, начало и конец хорошего дела. И, может быть, потому, что настоящий литейщик умеет чувствовать под поверхностью «нутро», он и людей хорошо понимает, а при случае может их настроить. А главное — каждый литейщик убежден, что на заводе только его литейный цех и есть настоящее, важнейшее производство. Через свою отливку,



как основу продукции, видит и воспринимает он расположение и других заводских цехов вокруг: первый, модельный, где зарождается для него деревянная модель,— еще не сама вещь, а только ее подобие, из условного материала, и остальные: термический, обрубочный, механический, сборочный, где вещь, им уже сделанная, собственных его рук отливка, проходит через всякие очистки и доделки. Он же, литейщик, в центре всего, он дает основу основ, он отливает вещь.

Не поручимся, что именно так думает и старший мастер литейного цеха Иван Александрович Иванов, но он хороший настройщик и металла и человеческого сердца.

Иванов пришел на Уралмашзавод в 1932 году, поступил в чугунолитейный цех простым формовщиком, скоро сделался бригадиром, потом сменным мастером, а сейчас он — старший. В каждой смене есть свой мастер, это и называется «сменный», но старший работает в цехе почти круглосуточно, урывками спит, и в его подчинении шесть-семь мастеров.

Если спросить Ивана Александровича, что ему легче всего дается, он скажет: «Легче всего мне организовать народ». Чем же добился Иванов этой большой легкости в таком трудном деле, как организация коллектива? За девять лет он прошупал своими руками каждое рабочее место в цехе. Это значит, что при необходимости он может, как художник, в воображении представить себе любую позицию рабочего на этом месте, удобство и неудобство работы на нем. И за девять лет он хорошо узнал коллектив. Старший мастер любит потрудиться над человеком и знает — постоишь, постарайся над тугоплавким материалом, зато и будет человек тем ценнее и надежней.

Формовщик Куров шибко запивал, программы не выполнял. Старший мастер видел, что парень связался с людьми, легко относящимися к производству. Он его открыто ругал на собраниях, а потом в личной беседе говорил по-дружески; он держал Курова у себя на глазах, берег от соблазнов, сам провожал до дому, пока не почувствовал, что контроль можно ослабить. И сейчас Куров — один из лучших рабочих в цехе.



Или вот Расковалов. Этот сделал два прогула, и дважды его увольняли. Сам Иван Александрович был тогда еще не мастером, а рабочим-формовщиком. Но он чуял в Расковалове будущего большого работника и постарался, чтобы его приняли в комсомол. Теперь это профорг и двухсотник.

Жена красноармейца Романова бедствовала с ребятами, дома у нее было плохо. Старший мастер устроил одного из ребят в ясли, а из Романовой сделал хорошую работницу своего пролета.

Все это, пожалуй, и очень обыкновенно по методу, если не представить себе самого мастера Иванова. Вот он раскрыл дверь и вошел в комнату познакомиться. И, вместо солидного бородача с большим опытом жизни, в дверях стоит и улыбается детской улыбкой совсем еще молодой, худенький человек в кепке, с круглым подбородком, рассеченным ямочкой, с ресницами, до того отяжеленными чугунной пылью, что они кажутся девичьими.

«Рождения 1915 года», — говорит он на вопрос, сколько же ему лет.

Перед нами — не просто хороший мастер, это и новый тип мастера. Приложим немного арифметики. Значит, когда Иванов старался над Расковаловым, переделывая прогульщика в стахановца, ему было от силы два десятка лет. Значит, семнадцатилетним парнишкой видел его тот самый коллектив, в котором он сейчас мастером. Сколько же нужно и душевного такта, и таланта, и чуткости, чтобы приобрести в эти годы авторитет!

Но мы ничего не поймем в старшем мастере, если будем разбирать его действия вне производства, а только «по человечеству». В производстве же эти действия сразу оказываются далеко не «обыкновенными».

Москва строила метро. Ей были нужны тубинги, чугунные отливки, мостящие жерло туннеля. Далекий завод, где работал Иванов, принял заказ. Стали делать тубинги и за сутки давали тридцать, от силы сорок штук. Казалось, больше никак нельзя. Лимитом были две машины, пескометы; каждая из них утрамбовыва-



ла песком за один раз только по три модели будущих отливок.

Надо хорошенько представить себе весь этот процесс. Машина, пескомет трамбует песком, выбрасываемым по хоботу, который ходит и направляется рукой рабочего. Значит, математически точно ложится линия вдоль тех мест, где пескомет в состоянии сыпать песок. И по этой линии, строго рассчитав пространство, технологи нашли возможным разместить всего три ящика с моделями, или, как иначе их называют, три опоки.

Но мастер Иванов подошел к пескомету иначе. Он забыл математическую линию и не стал делать отвлеченных выкладок, а представил себе, как всегда представлял, живого рабочего человека у этих машин. Вот тут ходит хобот, а вот тут может двигаться и стоять рабочий, здесь ему ловчей двинуть рукой, чтоб захватить, если нужно, лицевой земли для засыпки, а вот так он повернет корпус, передвигаясь за хоботом... Пространство было рассчитано по живой, собственной мускулатуре, по согласному действию человека и машины. И оказывается, под струю пескомета можно было подставить не три опоки, а две с одной стороны, две с другой и три с третьей, то есть сразу семь, да еще два ящика с лицевой землей.

Хобот ходил, трамбуя, по семи опокам, и когда заполнялась седьмая, на место первой, готовой, уже ставилась новая. Весь процесс сделался необычайно сжатым и экономным, продукция выросла втрое, простои прекратились, и вместо прежних восьми рабочих на пескометах понадобилось только шесть. Так родилось одно из бесчисленных улучшений мастера Иванова.

Пойдем мыслью за ходом всего процесса в цехе. Больше сделано опок — больше будет и заливок. Рабочие на формовке, на выделке стержней для форм, на пескомете, на заливке, на выбивке, на очистке возросшего числа тюбингов, пока не пересмотрены старые нормы, могут сделать и вдвое и втрое против обычного и взять ежедневную премию. Их полочки сильно возросли, люди стали зарабатывать до двух тысяч рублей в месяц. Мастер, как хороший командир, потянул их, открыл им возможности приработка, повышенного ка-



чества работы. За таким мастером как не пойти с доверием не только потому, что «заработать лестно», а и потому, что лестно выйти в стахановцы, научиться делать больше и лучше обыкновенного, уверовать в собственные силы.

Изобретений у Иванова множество на каждом шагу его производственной биографии. Вот этим умением чувствовать любую технологию мускулами и смекалкой, ставить себя в любое положение и, как в ребусе, находить в нем скрытое, простое решение и прославился в цехе молодой мастер. Он стал любимцем своего полета. За таких в бою, если враг их убьет, своя часть мстит десятками и сотнями вражеских жизней.

Иванов из комсомольца вырос в коммуниста, женился, оброс семьей. Ему исполнился двадцать один год. Когда он работал секретарем комсомольской организации, уральская уроженка Марья Григорьевна была группоргом. Они познакомились, вместе ходили на лыжах, катались на коньках. И у них сейчас три хорошеньких дочки.

Но не все идет гладко в жизни. Пока веселый Иван Александрович, мурлыкая про себя песенку, все лучше и лучше работал в цехе, над ним собирались тучи. Пошла так называемая аттестация мастеров. Дело было в 1939 году. Много правильных соображений привели к этой мере.

Во-первых, рабочие, за личный талант и смекалку выдвинутые в мастера, почти сплошь люди молодые, в активе своем насчитывавшие, несмотря на возраст, очень большую практику, имели и свой «пассив». Учиться им не было времени, засасывало само производство, техника давалась чутьем, пальцами, мускулами, но грамоты технической явно не хватало. Не жила за эти годы и общая культура.

Во-вторых, покуда сами рабочие стихийно выдвигали из своей среды замечательных руководителей-мастеров, новый советский инженер оказывался больше в правлениях и конторах, нежели в цехах, и не стажировался в мастерах. И «аттестация» мастеров имела целью приблизить молодого инженера к рабочей массе, поставить его поближе к станку, добавить ему практики,



а в то же время предъявить и к мастеру повышенные теоретические требования и тем заставить и мастера восполнить пробел в общем образовании.

Мастера в чугунолитейном цехе забеспокоились. Никто им заранее не говорил, что́ будет требоваться и какие вопросы задаст комиссия, и они не знали, как к ним готовиться. Первым вызвали Ивана Александровича:

«Зайди к начальнику цеха!»

В этот день старшего мастера Иванова перевели в сменные, а шестерых в цехе сняли из мастеров. На место Иванова поставили инженера. Но случилось так, что новый человек, не знавший коллектива, не знакомый с нравом и характером каждого работника, не смог сразу хорошо организовать работу, а время не терпело. В те дни в цехе как раз осваивалась одна английская деталь для черной металлургии. У этой детали при отливке получалось множество пор в чугуне, так называемых «газовых раковин». Деталь была в две тонны весом, отливалась в Союзе впервые, спустили ее в цех без доработанной технологии. И сколько ни бились в цехе, вся она шла в брак. Директор завода обратился тогда к Ивану Александровичу. Сроку ему дал — восемь дней.

А Иванов, хоть и работал уже в другом пролете, давно и сам ходил, присматривался к новой детали. Ему не терпелось понять, почему она не получается. А понимал Иванов всегда руками. Для этого ему нужно было «попробовать». Раньше, когда лили детали и тоже не выходило, он передвинет, бывало, и так и этак какую-нибудь мелочь в технологическом процессе, и вдруг сразу все вытанцуется. Как только машину поручили ему, он первым делом пересмотрел людей на участке. Люди, поставленные сюда новым инженером, были не те люди. Иванов заменил их. И тут ему пригодились надежные, выкованные им самим, помощники: Расковалов и Куров.

Срок жесткий, осрамиться нельзя. Тщательно, по-аптекарски, выверенно, трудятся его ребята. Откуда, почему раковины? У Иванова работает мысль и в такт движутся за разрешением руки. Пустоты в литье — от



скопления в металле газов. Но чтоб вышли газы, имеются приспособленья. На литье ставят так называемую «подводную прибыль», кусок спрессованной земли, вытягивающей газы из металла. И тут, на английской детали, тоже есть эта самая подводная прибыль. В чем же дело? Почему не помогает?

Ища и пробуя, Иванов взял стоявшую сбоку литья подводную прибыль, и как дети строят домик, водружая новую карту наощупь над другой, так мастер Иванов взял да и переставил подводную прибыль с того боку, где она стояла, на верхушку литья. И всё. Получилось. Отливка вышла без раковин. Великий помощник-изобретатель, художественный образ, невольно приводит в память дымовую трубу. Не так ли получается — тяги нету, если труба стоит сбоку от печки, и, поставленная наверху, не вытянет ли она весь дым?

За спасение дорогой отливки директор дал премию — тысячу рублей.

Иван Александрович снова стал в цехе старшим мастером.

## 2. Горячие дни

Завод был построен на большие дела, его несколько лет лихорадило от неувязок, он осваивал новое медленно, программу не додавал, планы не выполнял, и когда было приказано в четырех коротких словах: «Всё для обороны родины», — многим показалось, что тут ему окончательно увязнуть. Но произошло необыкновенное.

В огромные, солидные цеха вошел фронт. С фронтом вошла военная методика. Война обучает людей трудиться без разговоров. Кто видел, как саперы наводят снесенный мост, красноармейцы выходят подсобить в поле, артиллерия закапывается, — тот научился считать секундами. Заводу было приказано: научись считать секундами. Дай фронту то, чего ты никогда не давал! Забудь о неувязках! И люди, которым нужны были месяцы на освоение какой-нибудь не очень мудреной детали, вдруг начали буквально в несколько дней налаживать и пускать совершенно для них новое производство.



В парткоме и завкоме, как в полевом штабе, велся не прежний на месяцы рассчитанный учет, а учет мгновенный, сегодняшней минуты, вот этого, самого последнего мига. Люди измерялись по тому, кто в этот миг что сделал или делает, не сделал или не делает. И моментальному учету соответствовал молниеносный лозунг. Не успеет отстающий рабочий прийти в цех, как уже на его рабочем месте кричат белые буквы: «Товарищ (имя рек)! Позор! Ты задерживаешь деталь такую-то, вызывая простой соседнего пролета. К полудню ликвидируй отставанье!» С темных машинных корпусов глядели слова: «Товарищи Петров и Павлов! Мы тут стоим в ожидании сборки. В чем дело? Двиньте нас!» — «Вы обещали, — напоминал станок соревнующимся, — вы дали обязательство... Страна ждет от вас. Додайте. Сегодня же!»

Белые буквы магически действовали, точно заговорили сами станки, зашевелились рабочие места, двинулись из цеха машины, ожили материалы. Ветер летучих букв обегал каждого работника, подобный голосу совести. Люди слушались. Товарищ такой-то быстро выпускал деталь. Петров и Павлов подгоняли сборку, соревнующиеся выполняли к сроку договор. Так из дня в день, из ночи в ночь трудились партийные и профсоюзные организации.

В три месяца завод начал выходить на дорогу. Некогда было обобщать происходящее, а между тем шли сразу густым потоком вещи и явления, достойные внимательной, обобщающей мысли. Взять хотя бы новое чувство детали в цехах. Раньше каждый цех видел в ней сумму своих операций, и это было главное. Теперь для каждого выросло огромное значение всей изготавливаемой заводом вещи. И не те операции, что стояли перед цехом, а количество и качество действий, на какие должна быть способна выпускаемая вещь, — вот что представлялось воображению. Дать замечательное, дать такое, чтоб — ух! Дать на разнос, на выбивку подлого клопья из нор, на очистку родной земли! Давать все больше и больше, превзойти всяческие программы!



На заводе почти нет стариков, тридцать — тридцать пять лет кажутся пожилым возрастом. Командиры цехов, такие, как Иванов (а их большинство), были в Октябрьские дни двухлетками, они не хранят в памяти, и хранить не могут, воздуха тех особых дней; не видели своих отцов, уходивших в рабочих спецовках, со старыми берданками защищать родину; не унесли с собой в жизнь образа той массы, что слушала у Финляндского вокзала Ильича. Но русская пословица недаром говорит, что яблоко падает недалеко от яблони. И современник, участник тех лет, если б пришел сейчас на завод и увидел заводские дела, сразу вдохнул бы знакомый воздух. Здесь ожили бессмертные традиции, встал тот же тип человека, воскресли те же слова и выражения — это рабочий класс опять поднялся на защиту своего родного строя.

Чего не сможет человек, если захочет? Хотенье — как термическая обработка металла, высокая, волевая температура. При девятистах градусах улягутся любые «чугунные» неполадки и неувязки, любые «стальные» противоречья, и в термической обработке горячего хотенья, охватившего весь завод, все облегчилось, упростилось, выгладилось, само пошло в руки, стремясь к бесперебойному рабочему ритму.

Обострилась творческая, изобретательская мысль. Люди стали изобретать на ходу, и в этом деле оборона тоже сказала свое слово. Если раньше изобретательство лежало в папках, делалось подчас «вообще», без учета времени или главной цели, то нынче перед людьми встала цель, в ушах отбивались секунды времени, помощником человека сделалось «почему». Изобрети, потому что нельзя с этим медлить. Изобрети, потому что это увеличит вдвое и втрое выпуск. Изобрети, потому что иначе нельзя.

Два человека наклонились над чертежом. Один — начальник чугунолитейного цеха Колчин. Другой — его заместитель Ананьин. Длинная, пустоватая комната, вдоль стены стулья, на которых никто не сидит, — заходящим сюда некогда сидеть. Заседательский стол, бочком придвинутый к письменному, как это повелось во всех кабинетах начальников. На столе — скомкан-



ная красная суконка, пепельница, куда насунуто окурков бог весть из какой бумаги, с бог весть какой толченой трухой вместо табаку. И целое полчище статуэток, казалось бы, совсем не подходящих к минуте.

Такие статуэтки не раз видишь где-нибудь над диванами, книжными шкафами, на роскошных канцелярских письменных столах и вряд ли задумаешься, откуда они берутся. Тяжелые, черные кони под седлами и в уздечке, с закинутыми в беге ногами. Высокие, неимоверно тощие мефистофели, в остроконечных средневековых сапожках, подвернувшие лодыжки одна за другую, в позе сарказма. Меланхоличные донкихоты в испанских бородках, с испанскими носами и шпагой гидальго у пояса. Какие-то жуткие савонаролы — монахи с провалом глазниц, в хитонах, подпоясанных веревкой, с накиннутым на голову капюшоном. И рядом — советские физкультурницы в трусиках, классические голые дискоболы.

Все это отливки из того же неповоротливого великана-чугуна, хлебнувшего для гибкости фосфору, который нужен чугуну для обострения его текучести примерно так же, как нужен он и человеческому мозгу для обострения текучести мысли. Но что тут делают отливки «Каслинского завода художественного литья», игрушки и пустячки, — в такую минуту? Оба инженера берут их надолго в руки, поворачивают, оглядывают, что называется, с головы и с хвоста.

Инженер Колчин — туляк, потомственный литейщик. «Весь род Колчиных был и есть литейщики», — скажет он своим хриловатым, раз навсегда осевшим в работе голосом, если разговорится. У него круглое красноватое лицо, натруженные плечи, умные глаза в щелках. Колчин на своем веку хлебнул горя и всего нагладелся. Был пастушонком, хаживал с сумой и отлично умеет изобразить в лицах, как встречаются нищего бедняк, середняк и кулак. С малых лет он научился распознавать человека в его социальной сущности: «На человека я имею чутье». Это при нем вырос Иванов, и он же рекомендовал его в партию.

Совсем в другом роде инженер Ананьин. В его облике есть что-то от старой инженерии, хотя сам он не



старый. Пухловатые, хоботком, губы и выхоленный ус над ними, тонкое лицо со следами постоянной внутренней работы, неподвижные глаза, вдруг оживающие и молодеющие,— видно, человек всегда сам с собой, и ему никак не скучно. Коренной уралец, любитель «пощупать землю ногами», по выражению Шевченко, Ананьин имеет для рабочих своего цеха особую завлекательность. Они уважают в нем всесторонне образованного инженера, у которого всегда можно поучиться. Им нравится его многогранность. Еще бы! Ананьин — музыкант, скрипач, путешественник; чего-чего только не знает он об Урале, об его примечательностях, обычаях и богатствах; ни одного музея, ни одной выставки не пропустит этот человек, куда бы он ни забрался; Ананьин — любитель ковыряться в часах, разбирать и чинить их, студентом зарабатывал на ремонте часов. В своем роде это сказочник литейного цеха, его Шехерезада и постоянный изобретатель. Правда, сам он отмахнется от вас: «Все мелочи, говорить не стоит». Но посмотрите, какие это умные, нужные и изящные мелочи и как поднимают они, пусть понемножку, техническую культуру на участке! На мелочах этих учился мастер Иванов.

Вот литниковая чаша, куда из ковша заливается расплавленный чугун, чтобы стечь из нее в опоку и заполнить форму. На поверхности чаши с литьем скопится обычно шлак, совсем как в кастрюле с крупой плавают поверх крупы разные мусоринки. И этот мусор норовит с последней струйкой чугуна проскользнуть в форму, а там он осядет на поверхность отливки и ее испортит,— трать потом время на очистку. Вкус Ананьина оскорблялся этим проскальзыванием шлака в форму. И на ходу он обдумал «мелочь»: в литниковой чаше выросли две перегородки, одна у самой воронки, другая подальше. Металл получил извилину на пути, и когда весь он вытекает в отверстие, на донышке отгороженного пространства остается скопление шлака, которому выйти некуда. Простейший механический расчет, такой, каких множество на больших наших гидростройках, возле плотин и шлюзов, но чтобы сразу родилось соображение применить его к этой чаше,



нужен опыт большой жизни, много нужно познать и доглядеть.

Другое изобретение Ананьина значительно важнее. Для крупных отливок, весом от одной тонны до ста, заводы делают так называемые «изложницы», полые чугунные кубики; они должны быть внутри гладкой и ровной поверхности, чтобы металлическая отливка легко из них выбивалась. Но даже пустое дело — кастрюлю — и ту редко-редко сделаешь без единой выемки внутри; а изложницы и подавно. Обычно эту выемку в изложнице заделывали: вобьют в нее два шурупа, чтоб крепче было, а на шурупы и приваривают электродом сталь до тех пор, покуда не получится как бы стальная заплатка. Поверхность подравниют наждаком, и кажется, что изложница в порядке. Но вот ее залили; вот остыла отливка; вот нужно отливку выколотить из формы. И тут — либо никак ее не выколотишь, сколько ни старайся (задерживают шурупы), либо, выскочив, она вытянет за собой и весь кусок стальной заплатки вместе с шурупами. Считалось нормой на изложницы одиннадцать процентов брака, а доходило до шестидесяти процентов.

Ананьин поставил себе простейший вопрос: почему так получается с заплаткой на шурупах? И ответил: потому что обычный электрод не приваривается к чугуну вплотную, между стенкой выемки и заплаткой остается полое пространство, вся поддержка заплаты — только два шурупа, и ясно, что они, эти шурупы, помешают отливке выскочить, или вся заплатка выйдет вместе с отливкой. Значит, причина в стандартном электроде. А можно ли придумать новый электрод, который приваривался бы к чугуну вплотную? И Ананьин делает электрод из отходов динамного железа, которого сколько угодно валяется на одном из соседних заводов. Теперь заплатка вплотную сварилась с чугуном, выемка исчезла накрепко, изложницы служат исправно, на Магнитке хвалят не нахвалятся ими, а заводу огромная экономия. Сам Ананьин получил премиальные, но не в них дело. Обидно ему, что другие заводы не подхватили и не усвоили у себя такое простое, хорошее начинание...



И сейчас Ананьин сидит с Колчиным, обдумывая смелый, даже необыкновенно смелый, шаг. Колчин встает и сквозь приоткрытую дверь негромко призывает:

— Вызовите нам старшего мастера.

Иван Александрович входит в комнату. Колчин опять за столом, и Ананьин с ним, и опять вертят они оба «за хвост и голову» длинноногих мефистофелей и дон-кихотов.

— Иван Александрович,— говорит Колчин, хотя ему хотелось бы сказать. «Ваня»,— знаешь сам, как в стране туго с цветными металлами. Вот эту модель,— он рукой подтолкнул к нему через стол чертеж,— до сих пор отливали из алюминия. А можно бы из чугуна. Как скажешь: если цех выдвинет такое предложение, отливать из чугуна, справимся?

Взглянул старший мастер на чертеж и ахнул. Диковинное сооружение, просто архитектура какая-то с заглублениями, ходами и выходами, а стенки тоненькие, в четыре миллиметра толщиной, и все это надо отлить из грубой чугуночной великаныш-струи! Ни разу не отливали на заводе даже и в половину менее трудную вещь.

Пока он молчит, Колчин опять негромко:

— Двойная услуга фронту: процесс ускорим, продукцию умножим. А кроме того, цветной металл сэкономим.

Перед цехом никто не поставил этой задачи. Цех сам берет инициативу. Старший мастер понимает это. Мысленно он взвешивает возможности. Колчин глядит на красивое, молодое лицо мастера, на твердый его подбородок с ямочкой, на затупленные черной пылью густые ресницы, и ждет, чтобы лицо привычно просветлело в улыбке.

— Думаю, справимся!

### 8. Рождение вещи

Значит, не зря стояли на столе у начальника чугуновые фигурки! Если каслинцы отливают какого-нибудь рыцаря, отвороты его сапожка, волоски на бороде, так



неужели не удастся отлить нужную для обороны деталь. Работа, правда, ажурная, трудная работа, на художника, но зато какое спасибо скажет за нее фронт.

Иван Александрович шагает по своему цеху. В самую напряженную минуту он не суетится и не спешит. Суeta — это тяжесть: суетясь, наваливаешь работу на чужие плечи. Иван Александрович легок. Фигурка его в дымном пролете цеха сама кажется ажурной, отлитой из легчайшего металла, из алюминия.

Надо, чтоб читатель представил себе огромную трудность задачи, выпавшей на долю старшего мастера. Каслинцы по сути дела кустари; умеют, правда, заливать чугун в изящные скульптурные формы, но, во-первых, это незначительное, мелкое производство, а во-вторых, как бы ни казались тонконогие и горбоносые дон-кихоты, при всей сложности их одежды, трудными для отливки, они имеют то большое преимущество, что весь их ажур — наружный. В дон-кихоте нет внутренних отверстий и в этих отверстиях — ходов и выходов, спиральных потайных комнат. А сооруженье, какое взялся старший мастер отлить, похоже на лабиринт с таинственными прятками. И надо, чтобы эти внутренние тайнички были отлиты равномерно, аккуратно, чтоб стенки их были гладкие и чтоб все было сплошным, без рванин.

И самое-то первое — модель, — с нее вместо помощи начиналась загвоздка. Модель была изготовлена с расчетом на алюминий. Ждать новую — потерять месяц. И нет еще у цеха точного знания, какой расчет на нее дать. А теперешняя не годилась. Дело в том, что у каждого металла при литье получается своя усадка. Как в портняжном деле портниха знает и скажет заказнице, что при стирке бумажное ее платье сядет больше, чем шелковое, а потому и скроить его надо пошире, с припуском, в расчете на эту усадку, так и в литейном. Алюминий садится в литье куда больше, чем чугун, усадка которого значительно меньше. Значит, при «кройке» алюминия, то есть при изготовке первоначальной деревянной модели, надо эту модель рассчитать настолько больше требуемого размера, насколько алюминий при охлаждении сядет. А чугун садится



гораздо меньше. Если чугун отливать по чужой, алюминиевой, модели, то предмет получится больше требуемой формы. Надлежало поэтому как-нибудь уменьшить, приспособить модель под нужный размер и тогда попробовать заливать, чтоб уж в самом процессе отливки найти точные расчеты для заказа будущей, своей, модели.

«Моделью займемся самолично»,— решает Иван Александрович. Он всегда и про себя и вслух говорит «мы», даже когда стоит перед вещью один на один.

Дальше останавливали стержни. Самая большая трудность была в этих стержнях. Их задача — передать малейшие изгибы предмета, и на каждый изгиб требуется поэтому свой стержень. Раньше и десять стержней на форму казались в цехе сложным делом. А сейчас одна небольшая деталь требует ста стержней. И мысленно Иван Александрович делает смотр всей своей армии стерженщиков: от Васи Дымова, ученика, только на днях бегавшего в рассыльных, и до Курова, который уже никак не подведет. Есть в цехе сложный человек, женщина «с трудностями»: за ней кое-что числится и по партийной линии, и упрямый, придирчивый, некомпанейский характер, а горит на работе, ест ее, в одиночку потянет больше иных трех стерженщиц. Случай — загладить кое-какие заминки,— старший мастер знает, что она схватится за этот случай с рвением. И Казаков, молодой парень, в котором Иван Александрович безошибочно прозревает горячую душу толкача, организатора...

Потом идет форма. Но формовщики в цехе народ серьезный. Взять хоть Паршукова — с первых дней существования цеха он тут. С цехом осиливал каждую трудность, ступень за ступенью брал.

Перед этими людьми, собранными в пролете, выступил мастер Иванов.

Говорить он умеет, каждого берет за душу. Говорит он коротко, в немногих словах. Заказ от фронта. Времена грозны. Решается вопрос — жить или не жить советскому человеку, быть или не быть советской земле. Рабочий класс всегда выручал свой фронт. Они от нас ждут, товарищи, под огнем, под пулями ждут —



каждая минута на счету. Выручим. Возьмемся. Потянем.

И могучее чувство класса-хозяина, перед которым преграды нет, крепкая кровная связь с теми, кто там, на фронте, уже подняла и понесла людей, и заработала мысль, зачесалась рука. Уговаривать рабочий люд не приходится.

Внешне как будто в этом цехе и не идет борьбы, напряженной которой почти не было за все существование самого цеха. Он так огромен, пролеты его так дымны и каждый предмет в нем таких могучих размеров, что человек — царь природы — теряется в нем, как гномик какой-нибудь. Внешне как будто все происходит, как всегда. Сушится земля, проносится над головами раскаленный ковш, несомый слоновым хоботом мостового крана. Визжит и ухает где-то удар лома, и глухо, туговато вываливается из форм отливка. Журчит совсем слабо, по-ребячьи, спутник человека — вода. Поет пескоструйная камера, словно фонтан в заколдованном саду. Но скрытая энергия людей в этих мирных пространствах, как скопленное в грозовой туче электричество. Каждый их жест рассчитан. Каждая секунда заполнена. Люди боятся проронить слово, чтоб не ослабить рабочего напряжения.

Лучшие в пролете стерженщицы наклонились над новыми замысловатыми стержнями. Спиральные, несимметричные, притудливые фигурки в форме крендельков из желтого, смоченного маслом песка — это и есть стержни. Их лепит рука человека, укладывает, как тесто, в формочку и осторожно опрокидывает на доску. Из вогнутости вышма выпуклость: сейчас она, как настоящий песочный пирог, пойдет на просушку в печь. Другая работница уже вынула из печи партию стержней, ставших крепкими от «выпечки», и сейчас она их смазывает краской, словно яичным желтком. Все в мире перекликается, подобия и сравнения ждут нас на каждом шагу, и как не сравнить выделку этих стержней с выпечкой кондитерских изделий! Подобно хорошей хозяйке, посыпая мукой формочку, чтоб легче отстал от нее пирог, держит стерженщица возле себя сероватую кучку пыли, похожей на муку. И думаешь:



овладеет человек как следует одним мастерством, и легко будет ему овладеть другим, третьим.

Вот за стерженщицами — формовщик. Он собирает стержни, складывает их симметрично, две половинки образуют «пакет» стержней, пакет укладывается в форму. Длинной зубчатой пластинкой — шаблоном — формовщик проверяет, точен ли их размер, соответствуют ли извилины стержней зубцам на шаблоне. Форма уложена. Технический контроль проверил ее, поставил знак треугольника: «Все в порядке». Труд, разбитый на несколько операций, вырастает в одно целое. В затверделой, склеенной, покрашенной земле спит очертанье будущей детали: тонкие земляные стенки, полые места в песке должны выдержать раскаленный поток чугуна, который зальет их, пробьется во все отверстия, заполнит все коридорчики и застынет, чтоб потом превратиться в чугунную отливку. А земля, кропотливо сооруженная, подобная негативу будущего снимка или вырезанной доске для гравюры, опять пойдет в просушку, в просев для новой работы. Такова подготовительная операция под литье.

Иван Александрович сам перекраивал модель. Не было сушильной печи. Он взял земляную форму, опрокинул ее, поставил поверх железную печку, — и сушильная печь заработала. Три дня и три ночи он не выходил из цеха. Стержни тоже не сразу дались. Строгая стерженщица Подвальных билась над их выделкой. Долго не удавалось, наконец удалось. Колчин гнал старшего мастера часик поспать. Иванов отмахивался.

Уложена форма, утробована опока, докрасна прогрет ковш, сейчас начнется заливка. Из холодной с виду и молчаливой вагранки, где кипит на высокой температуре чугун, высунулся огненный язык, словно зверь выскочил. Это пошел чугун, яркая струя стекает по желобу в ковш, и бесчисленные звезды, твердые в своем сверканье, как самоцветы, прыгают и отскакивают от земли. У рабочих должны быть защитные очки, но они носят их сдвинутыми на лоб, — так удобней. Огненные блохи скачут и кусаются; ковш, наклонясь, разливает чугун в ведерки.

Напряженно, словно дело идет о жизни и смерти



любимого человека, наблюдает Иван Александрович последнюю, решающую операцию — заливку. Золотая струя полилась в форму, ищет и находит свою дорогу, вычерчивает извилины, бежит гладко, текуче. Старший мастер, осунувшись после непрерывной трехсуточной работы, с темными провалами под глазами, охрипший, но счастливый, чувствует, что литье исправно.

Легко только сказка сказывается. Дело делается трудно. На первой отливке отразилась прежде всего неточность модели. Ведь, как ни исправляй, модель была платьем с чужого плеча, — и отливка восприняла это, получилась перекошенной, удлинненной, со смещенными центрами. Но тут и вышли на экзамен высокие достоинства всего коллектива литейщиков.

Настоящий работник знает, что в создании вещи самый напряженный и важный период — это ее освоение, тот этап, когда вещь из единичной пробы, из собственного дела творца становится массовой, переходит в собственность миллионов людей. И заводских работников можно различать по их поведению в период освоенья.

Те, кто считает, что главное уже сделано, кто нервничает от первого обнаруженного дефекта, легко падает духом, скучает при мысли, что нужны еще усилия, еще время, кого обескураживает отодвинувшийся конец дела, — это еще не полные работники, не творцы полного производственного процесса на своем участке. У таких людей развивается привычка считать дело сделанным, если удалась первая одиночная проба; привычка так рассчитывать свои силы и свое горенье, чтоб их высший напор пришелся на создание первой, единичной вещи, а потом последовало расслабление и понижение энергии; привычка ждать признанья, успеха, награды при выдаче первой, единичной вещи. Отсюда, из этих недостатков, и вырастают частенько шум вокруг какой-нибудь новинки, легкая слава работника, радость от удачи, а сама новинка, пошумев, вдруг исчезает в заводских недрах, и месяцы длятся, пока она войдет в массы.

Старший мастер Иван Александрович сделан из другого теста. Он чувствует цельный процесс создания



вещи, знает по пословице, что «не та мать, кто родила, а та, кто вскормила» Энергия его не снизится, унынье не наступит, несвоевременный успех только разозлит, а не порадует, пока не удастся освоить продукцию целиком, сделать ее массовой.

И происходит это потому, что творец в нем хорошо, гармонично связан с коммунистом, общественным человеком. Старший мастер не уйдет от жизни, не позабудет вдруг все сразу, как одиночка-изобретатель, которому, кроме вот этой минуты живого творчества, вдохновенной работы, и не надо ничего больше. Наклоняясь над литьем, радуясь удаче, обнаружив дефект, он все время видит и чувствует, как там, на снежных полях, лезут на советских людей германские танки, он телом ощущает свист пуль, дрожанье земли, брызги теплой, родной крови по снегу...

Это было в первый год войны. Сейчас, когда страница дописывается, оно кажется далеким прошлым. **Вещь**, над которой трудился Иванов, давно уже на фронте, как десятки и сотни таких же новых, созданных творческим гореньем вещей.

## ХП. ТАНКИСТЫ

### 1. Ночью в поле

Улицы и дома отступили. В вечернем сумраке открылась загородная пустынная даль без единого огонька. Видимой была только дорога, по которой впереди нас однообразно маячил мотоциклист, показывая путь. Он делал завороты, опускался, взлетал на пригорок, и все это в неясной мгле, в одиночестве выделенного и ни с чем не слитого звука, а мы ехали вслед за ним, правя туда, куда он. Наконец, стрекот замолк. Мотоциклист стал. И мы стали. И сразу нас охватили земля и небо.

Земля расстилалась полем, поле было взъерошено ровными, волнистыми выбоинками, шершавыми под ногой. Небо клубилось, заводской дым делал виражи, облетал и сразу облегчал глазам видимость, дробя темноту на желто-багровые и серо-сизые оттенки. Почему-то все мы стали говорить шепотом, хотя никто этого от



нас не требовал. Прошло с полчаса. От ожидания тишина стала ломаться свистом в ушах, как лед. Наконец, из задымленного горизонта, совершенно как пишут в учебниках про первое появление английских танков под Камбрэ и Амьеном, где они двадцать шесть лет назад привели немцев в панику, — «из тумана», «разрывая туман», вычертились огромные серые силуэты КВ. Танки шли мощным строем, выбросив клыки, выставив бульдожьих челюсти, несущие на своей башне, по воле конструктора, что-то похожее на нечеловечески-ехидную усмешку сфинкса. Они заперли весь горизонт, и невольно мелькнула мысль: видно ли им в сумраке горстку людей, стоящих посреди поля, не смеют ли они нас, как кусты чертополоха? Но великаны-танки были наши, были друзья. И мы находились не на фронте, а у себя, на уральском учебном поле. Одно за другим чудовища останавливались. Перед нами была передовая советская техника.

Люки открылись, в строгом порядке высадились экипажи. В ночной темноте предстояло увидеть, как танкисты учатся ночному вождению, учатся слышать и ощущать ночь. Силуэты людей в комбинезонах разбрелись кто куда. Нужно было по ходу учения, чтоб все они, как хор или статисты в массовых сценах, занялись каждый своим посторонним делом, разбались на группки и одиночки. Кто прилег, кто побрел по полю, но миг — и все они, как молния, выстроились у своих танков. Сигнал «к посадке» — и черные фигурки уже на машинах, в люках. Посадка дается выучкой. Здесь все заранее рассчитано и поделено на секунды, кому где стоять, кому за кем и в какой последовательности карабкаться в башенный люк и в люк механика-водителя, чтобы при любой опасности, под обстрелом, сесть, не помешав соседу, не закупорив люка, не потеряв секунды на лишнюю толчею. Мы тоже сели, стеснив экипаж, в темный стальной короб, показавшийся нам в первую минуту совершенно слепым. Мощный мотор заревел, и мы ринулись в черноту.

Для опытных танкистов танк видит хорошо, даже лучше, чем человек, который часто, идя по улице или сидя дома, ничего не видит, а, как говорится, «погру-



жен в себя». Зрительный коэффициент полезного действия у такого человека снижен чуть ли не до нуля. Но в танке нельзя погрузиться в себя и перестать видеть. В танке нужно напряженно, до предела, видеть в те немногие щели и приборы, которые предоставлены для глаз. И зрение танкиста становится кошачьим, сверхчеловеческим. Он учится «глядеть вокруг», видеть мир сбоку, сверху, чувствовать землю по куску неба, которым вдруг затягивает все его поле зрения, когда танк въезжает на препятствия, помогать глазу всем тем, что он ощущает от хода, от толчков, от перемены звуков и шумов в машине. Когда водитель переходит на уменьшенную скорость, танкист «видит» перед собой препятствие. Он знает, что сейчас машина ценой потери скорости приобрела мощность, а значит, ей эта мощность понадобилась, значит, впереди что-то есть.

Еще на учебе вне танка будущий танкист учится этому зрению и наживает его. Есть специальный курс, называемый «пеший по-танковому». Экипаж танка, предположим пять человек, становится друг возле друга в том самом порядке, в каком он будет сидеть в машине. На глаза людей надеваются приспособления, с которыми каждый видит ровно столько, сколько он будет видеть со своего места в машине. И, соблюдая точное расстояние между собой, в одном и том же порядке, люди пускаются пешими в путь, воображая, что они в танке. Дорога полна препятствий: лесов, пригорков, рытвин; по обе ее стороны не одно и то же. Пять человек видят ее по кусочку справа и слева, спереди и сзади; из увиденных кусочков они учатся составлять целое. Вместе с привычкой к определенному кругозору люди получают в этом прохождении «пешим по-танковому» замечательное, незаменимое для танкиста свойство — дополнять себя другими и других собою. Они так свыкаются с тем, что товарищ восполняет их своими глазами, расширяет им видимость, что уже начинают чувствовать какое-то «пятыединство», великую, спаянную силу десятиглазого коллектива. При идеальной тренировке то, что видит каждый, должно стать достоянием всех; то, что видят все, должно стать достоянием каждого.



Мы ехали с подготовленным экипажем. Механик-водитель, мчавший нас сквозь ночь, был искушенный водитель, мастер вождения. И мы невольно подмечали, как эти пять человек множеством условных мелочей, языком сигналов, движением руки, головы держали неслышную связь друг с другом, отвечая действием и движением на им одним видимый вопрос или призыв. В полном мраке, по пересеченной местности, мы сделали несколько километров и вернулись туда, откуда выехали, так ничего и не поняв ни в дороге, ни в местности. Будь это даже днем, новичок не смог бы разобраться в ней. Рассказывают про одного военного врача, что танкисты долго катали его, делали множество поворотов, изрядно растрясли и «поколотили» в машине, где с непривычки надо беречь голову от толчков, а когда остановились и он вылез из люка, думая, что отмахал с десятков километров, оказалось, что ему создали иллюзию езды: работал мотор, ворочались гусеницы, машина поворачивалась, но все на одном месте, на крохотном пятачке.

## 2. Искусство вождения

Казалось бы, каждая новая машина более совершенной, более мощной конструкции, и особенно такая непревзойденная, как наша КВ, должна вытеснить из сердца старую, прежнюю. Но с нами был старший батальонный комиссар, молчаливый человек, Иван Матвеевич Дагилис. Когда мы под сильным уральским солнцем шли вдоль рядов неподвижных стальных гигантов, он вдруг заметил в стороне щупленькую, пыльную, остроносенькую машину, и тут наш суровый комиссар весь преобразился в нежнейшей улыбке. Он потащил нас к «щупленькой» знакомиться.

Это была его любимая быстроходная машина, одна из ранних наших марок. Комиссар не мог позабыть ее. Он похлопал машину по бортам, погладил по гусенице. В первые месяцы войны он проделал в ней не один поход, испытал настоящее, виртуозное искусство вождения.



Иван Матвеевич любит вспоминать об одном случае. Дело было на фронте. Ехать надо было на большой скорости. Вдруг впереди — мост, метров в пять, через замерзшую речку Мостишко ветхий, выдержать машину явно не сможет; речка тоже не выдержит, лед не окреп, объезжать невозможно. Как быть? Иван Матвеевич решил, что, пока мост будет проваливаться, он еще сможет служить опорой танку. Все дело в скорости, в расчете секунд. И приказал водителю брать мост на максимальной скорости, чтобы, коснувшись берега, уменьшить ход и дать силу машине «вскарабкаться» на землю. Так они и сделали. Танк прошел — и моста не стало. А не рассчитай механик-водитель секунды, машина перевернулась бы башней вниз. Каждый фронтовик знает такие случаи, каждый может припомнить что-нибудь из практики. В них нет «ничего особенного» — это будни вождения, но, правда, хорошего, советского вождения.

— Где берешь скоростью, а где и наоборот, — обязательно скажет кто-нибудь, прослушав Ивана Матвеевича, и добавит про свой «обратный» прием. Он, к примеру, наскочил на ров, шире, чем те два законных метра, которые по уставу полагалось одолеть его танку. Тогда он сразу, на максимальной скорости, перед самым рвом отключил ходовую часть, и танк на одной силе инерции пролетел над пустотой. Дальше все дело в выдержке, в расчете секунд. Лишь гусеница коснулась земли, короче мига включить ходовую, и она зацепится, поползет, милая душа, возьмет землю. На таких мгновенных расчетах, на умение играть, как музыкант играет, всеми рычагами управления, на почти физическом понимании машины, владении ее динамикой и построено высокое искусство вождения. Сотни и тысячи боевых экипажей готовит сейчас Урал, и в них множество отличных водителей.

Наши учебные части не очень любят танкодромы. Спросите их, где они учатся вождению, и вы услышите: на местности. В любых углах Союза, особенно на Урале, на Кавказе, можно найти такую местность, какой ни один танкодром у себя не смастерит, и наш водитель, наши танки приучаются еще до фронта не к



выдуманным, а к реальным условиям вождения. Это дало свои результаты уже в первые дни войны, опыт которых мы все еще мало освещаем и мало используем в печати.

Капитан Иван Васильевич Васяльев был со своими танками в Белоруссии, когда ему пришлось в начале войны планомерно, в указанном направлении отступать. И хотя печален был этот марш, но он явился суровой проверкой нашей техники и управляющих ею людей. Люди не спали по трое суток, взаимосменялись у руля; приехали на место к полудню, а уже в шесть часов вечера пошли в атаку под местечком Н. Капитан Васильев всегда добавляет к рассказу: «И даже ремонт не понадобился, до того материальная часть оказалась замечательная». И материальная и духовная части в этом отступлении победили, потому что и людям не понадобилось «ремонта» перед атакой. Именно эти первые месяцы воспитали у нас жизнерадостных, крепких бойцов с положительным фронтовым опытом. Как правило, все они большие оптимисты: стоит вам посидеть с ними, послушаться их боевых рассказов про самые, казалось бы, страшные дни, когда полчища фашистов катились на нас «превосходящими численно частями», а попросту говоря, лавиной,— и вы проникаетесь глубоким, святым уважением к этим решающим дням. Тогда именно окрепло в советском человеке его итоговое, за четверть века, воспитание привычки к технике, любви к ней и крепкой, по-заводски, связи с нею и с ее качеством.

### 8. Состязание на хитрость

Перешло за полночь: земля стала сырее, темнота глубже. Налились тяжестью деревья, трава, воздух — и сон потянул нас вниз, как заснувший на руках ребенок. Но танкисты должны уметь бодрствовать, и они задолго до фронта учатся бодрствовать. Близится час разведки. Днем в учебном подразделении выступил фронтовик, рассказал случай из своей практики, как он удачно ходил в разведку и раздобыл «языка». Если



случай интересный, его «переносят на местность» и разыгрывают. Хорошая учебная игра для воспитания боевого духа снимает со своей «доски» известный процент условности, то есть не все в этой игре игральное, а что-то есть настоящее. Курсанты идут в разведку не шутя, зная, что задача их — все выведать о враге, ничем не выдав себя. И саперы — первые шупальцы разведки — тоже выходят в поле не шутя. Они идут с миноискателями.

Мину чаще увидишь на глаз — ее закапывали, значит, земля взрыхлена, кусочек шнура заметен. Но когда на глаз не видно, особый прибор «миноискатель» крысиным носиком вышныривает, вынюхивает добычу по ее дыханию. На сапере радионаушники. Если все впереди нормально, он в них слышит обычный звук. Но железо в земле — это отклонение от нормы, это как хрипы в докторской трубке, — звук тотчас переменялся, и сапер по ненормальному звуку знает, что тут мина. Осторожно он копает землю, обезвреживает мину и доносит: дорога для танков очищена. Тогда начинается собственно разведка. Танки уходят в ночь. Разведчики — следопыты. Какие, однако, следы в темноте? Бесчисленные, только ищешь их опять не одним глазом, а ухом. Мы слышали, как различно дышат земля и железо в земле. Весь скрытый таинственный мир ночи полон этих различий. Он говорит ими, они — его код. Камушек, капля, хворостинка, шишка, разбухшая ящерица — все отлеживает ночную темноту звуками. Камушек покатылся из-под ноги, капля упала с задетой ветви, хворостинка надломилась под подошвой, шишка летит дальше, чем это обычно нужно ей. Танки пройдут немного, остановятся — и слушают темноту, пройдут опять и снова слушают. А вот на рассвете слабо чирикнула птичка. Но бывает, что и не птичка чирикнула, а противник под птичку. Немец тоже выезжает в разведку и перекликается со своими то под птичку, то под собану. Вот и умей разобраться, где птица, а где немецкое горло.

В танке сидят над топографической картой. Это тоже следы. Надо знать, что обозначают на карте кружки, крестики, точки, разнообразные штриховки, и



ночью находить соответствие этим знакам в разветвлении дорог, в купе деревьев, в блеснувшей воде, в силуэте трубы... Не сумеешь идти глазами по карте и читать ее азбуку, как свои пять пальцев,— можешь попасть в крепкую переделку. Один командир рассказал на уроке топографии, что с ним однажды вышло. Двигался в глубокой разведке арьергард батальона. Две машины испортились. Тогда экипажу их оставили мастерскую и бензоцистерну, дали в руки точный маршрут и приказали, как починятся, идти этим маршрутом вдогонку батальону. Но экипаж ночью плохо читал по местности, плохо разбирался, что к чему, по карте, и, хотя она была верней живого проводника, въехал, держа ее в руках, прямо к немцу. Спасла их только находчивость командира. Когда навстречу ему понесся крик: «Кто ви?», он, прежде чем это «ви» растаяло в воздухе, уже поворачивал рукой башню (они были на малых танках) и уже косил немцев.

Хорошая разведка — состязание на хитрость. Псторонний наблюдатель ничего бы не понял в такой игре. Вот противник; у него много «огневых точек», а между тем действуют только две из них, словно из сил выбиваясь, хотя тут же в кустах у него молчит отлично припрятанная батарея, пристрелявшая дорогу на повороте. Наша разведка тоже раздробилась, танки расползлись, как черепахи из мешка, в разных направлениях, а один идет на виду, словно соблазняет немца, надеется на азарт; когда рука не выдержит, даст очередь. Тут вдруг заговорили немецкие минометы, по очереди, с десятка сторон, с десятка расстояний. Кажется, что их видимо-невидимо. Но наши знают, что «немец» переборщил. Слишком много — и не сразу, а по очереди. Да уж не один ли это? Наши бойцы привыкли разбирать немецкую хитрость, отгадывать ее по такому «чересчур», по слишком большой продуманности, слишком немецкой «зализанности», — и обе стороны в игре отлично передадут: одна — чисто немецкий оттенок хитрости, другая — разгадку приема по оттенку. Миномет оказался действительно только один, поставленный на машину, которую гоняли взад и вперед. Его «привели к молчанию». Все в этой игре, как и в дей-



ствительной разведке, рассчитано: создать впечатление большей силы, чем есть на самом деле; не выдать настоящую силу, а приберечь ее для решительной минуты; прятать, что есть, показывать, чего нет; изучать характер врага.

Разведка — самое трудное, но и самое увлекательное дело на войне! Разведчики, как десантники, побывав два-три раза в острых положениях, уже на всю жизнь хранят тоску по остроте, охоту снова и снова побывать в них, пережить ни с чем не сравнимый в жизни расчет на внезапность, неожиданность, поимку врага врасплох, на гениальный мат без шаха — сразу, обухом по голове, когда враг его не ждет и не видит. В мирное время, подводя итоги войны, историки будут сравнивать «стиль» танковой разведки, этого воздуха для танкистов с уже определившимся, молодым, острым стилем советской шахматной игры. Припомнят разные примеры, становящиеся в учебных частях классическими.

Вот лейтенант Шилов, человек с исполосованной грудью. Где он получил столько ранений? В фашистском плену? Ничуть не бывало. В разведке на Карельском перешейке, еще в войне с белофиннами, он увидел, как загорелся от брошенной бутылки танк в его взводе. Тушить было нечем, искать некогда, и лейтенант Шилов кинулся плашмя, грудью, на огонь, затушил его своим телом и до сих пор помнит, как ходил и метался под ним кипучий огонь. Это он запомнил, а не заметил, как в шубе выгорела дыра, а под шубой выгорела и вся кожа на груди. Лейтенант Шилов — невысокий белобровый человек, коренастого северного типа, — во-первых, ленинградец, во-вторых, в мирное время мастер сборочного цеха Кировского завода. И, бросаясь грудью на горящий танк, он спасал советское добро, собранное под его хозяйским глазом на конвейере его же завода.

Был с Шиловым еще один случай. На Ленинградском фронте была поставлена задача: зайти в тыл противника через один населенный пункт; произвести у врага переполох и панику; подавить его огневые точки и помочь продвижению нашей пехоты: «Предыдущая



разведка донесла, что населенный пункт, через который нам должно было идти, оставлен немцами без боя. Однако я в приборы заметил, приближаясь к этому пункту, что немец еще там. Много их, и танков штук шестьдесят. У меня три машины — две тяжелые, одна средняя: на тяжелых были я и лейтенант Ульянов, на средней — старшина Кадоркин. Местность лесистая, неровная, мелкий кустарник. Мы были в полукилометре от цели. Не захотели возвращаться, — решили дать бой. Я пошел в лоб; среднему танку дал задание зайти слева и двигаться мне навстречу; тяжелому — продвигаться справа. В этот момент в деревне шел грабеж мирного населения. Немецкие экипажи были вне танков; слышны были их ругань, хохот: ловили кур, тащили их охапками, пьяные были. Мы ворвались, создав впечатление, что нас много. Открыли сильный огонь. В результате короткого боя подбили тремя машинами сорок восемь средних и легких танков, тяжелые немцы сами побросали. Экипаж Кадоркина успел выскочить, зацепить три противотанковые мелкие пушки и притащить в свое расположение. За эту операцию все три экипажа представлены к награде, мы трое — к ордену Красного Знамени, а остальные медалями награждены. А танки, которые мы подбили, по распоряжению командующего группой отправлены были в Москву для показа трудящимся. И, между прочим, в танках нашли даже сковородки и чугунки, не считая чепчиков и пеленочек».

Три советские машины на «заднем» поле противника, подбившие сорок восемь вражеских, — это ли не три новые шахматные «королевы», это ли не разгром, не предвкушение минуты, когда мы зайдем к врагу — уже на реальные немецкие квадратики его тыла?

#### 4. Материальная часть

Танкисту нужно отлично знать «материальную часть», то есть устройство и характер своей машины. Да и не только своей; пересев на машину другой марки, он должен суметь сразу побороть привычку к первой. А бывает, что, свыкнувшись с одной машиной, танкист



технически хочет все сделать так, как раньше, хотя на новой, может быть, и другой двигатель, и развернуться попрежнему нельзя. Материальную часть нужно поэтому так преподать, чтобы будущий танкист ни при каких условиях не растерялся. Преподаватели в танковых учебных подразделениях — большей частью «академики», то есть молодые военинженеры, кончающие Академию механизации и моторизации бронетанковых войск. Эта молодежь проходит свою стажировку в заводских цехах, где она не только учится, но и выручает завод, когда ему не хватает квалифицированной рабочей силы.

Два образа стоят сейчас передо мной. Один с северного Урала, маленький, ладный, Николай Николаевич Юхневич. Он начинает с передачи курсантам своего восхищения советскими танками. Сам он остро интересуется всеми существующими марками, знает и вражеские танки и союзные, умеет сравнивать, загорается при описании их. И это мальчишеское заразительное увлечение он вкладывает в первое же занятие. Юхневич убежден, что лучше советского танка — в мире нет танка. Свою полную уверенность в советской машине, свое «будьте как дома» в танке — он тотчас передает и бойцам. Броня, мотор, гусеницы, управление раскрываются им сперва со стороны их могущества, и первый урок Юхневича можно было бы назвать «психологическим». Курсанты очарованы, покорены машиной; им уже хочется испытать ее в действии.

Тогда Юхневич переходит с психологии на технику, обращает внимание учеников на тонкости каждого узла. Тут, если даже не все будет полностью понято, кое-что западет в память, и курсант начнет уважать лектора за рост своего знания, за расширение понятий. Здесь в учебу незаметно вносится удовольствие от чисто познавательного, отвлеченного процесса. На короткий срок оно необходимо, но задерживаться на нем, отходить от острого ощущения фронта, от острого чувства практической цели своих занятий Юхневич не дает. Как только отделился мыслитель от практика, он спешит их опять сцепить. Так и ведет их Юхневич в непрерывном чередовании умственной и практической заинтересованности.



Другой преподаватель — с южного Урала, Александр Владимирович Фуксон, черноволосый, худенький, с умнейшим взглядом исподлобья и маленькой женской рукой, которой он, опережая собственные слова, стремится вам карандашиком, горстью крохотных букв, записать все на бумаге.

Если спросить Фуксона, как надо преподавать танкистам материальную часть, он развернет обширную, продуманную, длинную программу. Это будет уставная программа, и в ней все предусмотрено, главным образом — время, период времени, в какой память может хорошо усвоить каждый урок.

Но опять спросите у Фуксона: а как надо сжать программу, если потребуется, например, выпустить подготовленных танкистов в короткий срок. Фуксон откинется на спинку стула, прикроет глаза ладошкой, поглядит куда-то внутрь себя и начнет излагать ту же программу, но вы в ней многого не узнаете. Она будет расти перед вами, как скоростной дом, с теми же стенами и окнами, но с упрощенной отделкой. Вот вырастает часть о двигателе, и в ней главы о питании, смазке, охлаждении, пуске; за ней идет трансмиссия, ходовая часть, электрооборудование, вождение. В первом своем длинном виде программа разделяла каждую из этих частей на главы, главы на главки, главки на параграфы, и, дослушав до конца изложение первой части программы, можно было затерять где-то в памяти, какую собственно часть вы слушаете. Но во втором, более коротком, перечне память ваша уже охватила всю последовательность обучения, весь предмет знания.

Только и во втором перечне остались те же слова, те же обороты. Их можно определить как ученые слова и ученые обороты, вернее такие по своей форме и размеру слова и обороты, какие долгой привычкой люди согласились считать единственно подходящими для науки, единственно приличными для выражения не простого житейского, но ученого смысла.

А теперь попробуйте ошеломить Фуксона. Скажите ему, что вас, штатского человека, никогда не бывшего даже шофером, завтра отправляют на фронт танкистом и вам нужно от него, от Фуксона, в один день узнать



все то, что он вложил сейчас в краткосрочную программу. Следите при этом за лицом Александра Владимировича. На этом лице — ни ошеломления, ни досады, — наоборот, даже нечто вроде тихого удовольствия. Он теперь не прикроется ладошкой, а даже как-то отбросит ее от себя, захватит сзади рукой стул, пододвинет его поближе к столу, и вы чувствуете, что сейчас курс — не программа, а самый курс — начнется для вас.

Займет этот курс не целый день. Он уложится часа в три, ровно столько времени, сколько сохраняет ваша голова свежесть мысли. Конечно, танкиста так не обучишь, но боец любого другого рода войск получит сведения достаточные, чтобы не растеряться, если обстановка поставит его перед необходимостью оказаться танкистом на час.

Чтобы сразу объяснить вам машину, на которой вас завтра отправят, Фуксон оставит в стороне и питание, и смазку, и охлаждение, и начнет прямо с пуска, то есть как пускать машину разными способами. Пуск машины — это действие, это начало жизни машины. Вам кажется, что вы уже все в ней знаете, если она двинулась под вашей рукой, и вы уже сами просите дальше подсказать, а как тормозят, останавливают, переключают, уменьшают, увеличивают скорость. И Фуксон от пуска сразу переходит к управлению, к объяснению премудрости рычагов и кнопок.

Подобно немой клавиатуре, какую иной раз заводят себе пианисты, чтобы упражнять беглость рук без звука, где-нибудь в вагоне, на самолете, в номере гостиницы, — тут помогает учащемуся «немая» доска управления, приборы, которыми он овладевает вне танка, сидя и действуя, как сидит и действует водитель.

В полчаса вы вдруг вошли у Фуксона во вкус полной власти над самым передовым советским танком. И уже когда последние по счету в программе главы стали вам знакомы, он переходит на первые главы, на то, что нужно танку для движения: на его питание, смазку, охлаждение, устройство гусениц и фрикционных, коробку скоростей. Но так как вы уже почувствовали рычаг в своей руке и чудесную магию покоренной машины, вам гораздо легче разобраться в ее нуждах и потребностях.



Что же получилось со старой программой? Каковы изменения, сделанные в ней Фуксоном?

Два главных: он, во-первых, совершенно ее пере-кроил, поставил с головы на ноги, начал показывать машину с той части, где она приводится в движение, закончив тем, с чего длинные программы начинают; во-вторых, он совершенно изменил свой язык. Чтобы сделать урок понятней в возможно короткий срок, он обошел всякую обязательную научность (требующую особого времени на расшифровку) и заговорил с вами как можно проще, словами здравого смысла и житейского обихода.

У одного берлинского знаменитого невропатолога, которого Гитлер выгнал в Америку, на полке стояла английская энциклопедия для детей. Профессор всем ее рекомендовал:

— Замечательная книга! Если хотите читать с толком, читайте книги для детей. Если хотите чему-нибудь действительно научиться, держите под рукой детские энциклопедии.

Создавать видимость большего, чем есть на деле, заворачивать в десятки целлулоидных бумажек один грамм сухарей — вот пороки мнимой учености. А бывает, что и не только мнимой.

Попробуй ребенку обещать и не исполнить, — а как много учебников для взрослых обещают и не исполняют!

Туманный метод «пущей научной важности» давно научились на наших заводах рассеивать, перечеркивая мнимые «пределы», расширяя мнимые «нормы».

Такой же процесс происходит сейчас и в методике нового обучения, производственного и военного. Спеховы<sup>1</sup> и Фуксоны — не одиночки. Они лишь выразители

---

<sup>1</sup> Т. Спехов прославился на Уралмашзаводе. Имя его стало на Урале нарицательным и произносится с уважением и любовью. Спехов — это тот, кто учит, кто поставил себе задачу: передать все, что он сам знает, весь свой рабочий опыт, неуспевающим, отстающим рабочим. Такие, как Спехов, поднимают на наших заводах на выполнение программы самые сырые рабочие пласты, они делают государственной важности дело, борются за массовый общезаводской график.

Но передать знания предельно полно и в то же время в предельно короткий срок — это значит найти новые, более упрощен-



того общего у нас движения за новый способ преподавания, за правильное использование времени, за упрощение терминов, за связь теории с практикой, какого потребовала от нас оборона родины.

Из гостей мчит нас машина домой, в свою часть, по тяжелым уральским дорогам. Уральцы говорят про свой климат: «Зимой — стужа, летом — лужа». Погода меняется семь раз на дню. Но мы привыкли к суровой зиме, привыкаем, правда потруднее, и к лету. Прошел скоропалительный дождь, и не просто дождь, а гром и молния, заволокло все небо, залило все выбоины, и вдруг сразу ослепительно хорошо, тихо и «первозданно». Стоят в темнозеленом бархате, в смолистом духу леса. Блестит вдалеке одинокое, пустынное озерко. Ныряют над шиповником жирные бабочки. Шиповник весь облит цветом. Километрами справа и слева провожают нас целые заросли этого витамина С. Кажется, никто с начала мира не был в этих лесах, и все тут безостановочно плодилось и множилось на собственном тлении. Аховые ковры земляники, черники, брусники, горы шишек, неистовые поросли молодого, краснеющего верхушкой березняка, миллионы ящериц, полчища комаров и мошек, частые торфяные болота, — идешь, и качается, зыблется под тобой; и опять лес, занавеси из крепкой, как дратва, паутины, торчащие отроги какого-то каменного хребетика, стертого временем, — любитель с молоточком непременно найдет что-нибудь: прожилку кварца в граните, осколок кристалла, металлические блески на отбитом куске, — Урал! А там, за тысячи километров, Алтай, Сибирь, Казахстан, а сзади — Башкирия, красивейшая страна, и Заволжье...

---

ные методы преподавания и обучения, суметь сделать такие же рационализаторские открытия в учебе, какие находят производственники в своей работе. И Спеховы — творцы новых, ускоренных методов передачи опыта, творцы нового отношения к ученику. Сам Спехов решил свою задачу необыкновенно просто и практически: он берет ученика себе «в пару», то есть делает его участником своей выработки и своего заработка. Чем хуже работает ученик, тем невыгодней самому Спехову. И учитель становится жизненно заинтересованным в том, чтобы ученик его как можно скорей начал работать хорошо.



Только так постоять на месте, на ветерке, обдающем волною пихты, сосны, можжевельника; представить всю «географию» нашего востока от Карского до Аральского и Каспийского морей; представить в работе, в действии советского человека этих краев, кующего технику, начало новой жизни на древнейшей земле; представить бесчисленные военные соединения, на каждом шагу обучающиеся, готовящиеся на фронт, — и так реально почувствуешь, что мы только начинаем по-настоящему руку заводить наотмашь, чтоб ударить немцев с размаху, только сейчас разворачиваемся — до того необъятно чувство наших резервов и увлекательно ощущение растущей, совершенствующейся техники.

1942

### *Урал в Отечественной войне*

Чтоб понять, каким образом Урал смог два года выполнять задачу обороны, как он смог заменить собою технически более передовой и мощный Юг, нужно вспомнить решающее качество советского человека, пробужденный и выросший в нем инстинкт деятеля-творца.

Произошла удивительная историческая перестановка, о которой будущие историки напишут сотни томов: немец, хваставший своим умением работать, своим высоким искусством организации, вдруг опьянел от разрушения, а тот самый «большевик», которым, как призраком разрушения, пугали Европу в невежественных бульварных романах и кем до сих пор отчаянно пытается припугнуть наших союзников немецкая пропаганда, именно он ярко показал миру свое великое стремление к творчеству и созиданию, свой бессмертный и бескорыстный инстинкт т в о р ц а.

В том, что произошло на самом показательном участке нашего тыла, на промышленном Урале, есть черты эпохального значения. Мы должны сейчас восстанавливать, а во многом и заново строить освобожденные от врага деревни и города. Мы перенесем в эти освобожденные районы все наши уральские находки: и скоростные методы строительства, и скакнувшую вперед технику, и упрощенную, убыстренную технологию, —



все то новое, что оправдало себя на Урале. Вот почему сейчас уже мало одной летописи уральского опыта, а требуется и его первый обобщающий итог. Я постараюсь подвести этот итог, вывести за скобки те основные черты и процессы, о каких было бегло рассказано выше.

## 1

Задача, ставшая перед Уралом, была огромна и, казалось бы, почти невыполнима. В первый же год войны наш народ потерял значительную территорию, а вместе с ней мы потеряли людей, хлеб, металл, топливо, железные дороги, промышленную продукцию.

Правда, Урал двумя первыми пятилетками был подготовлен для помощи стране, и притом не только в одном промышленном отношении. Еще 30 декабря 1938 года ЦК ВКП(б) вызвал свердловских руководителей и указал им на важность сельского хозяйства области, которым никак нельзя пренебрегать.

На XVIII съезде партии было сказано о перемещении базы товарного зерна с нашего Юга на Восток, — и, перечитывая материалы съезда сейчас, видишь, как поднимала партия не только промышленность, но и землю Урала:

«Интересно, далее, отметить, что за последние три года база товарного зерна переместилась из Украины, которая считалась раньше житницей нашей страны, на север и восток, то есть в РСФСР. Известно, что за последние два-три года Украина заготавливает зерна всего около 400 миллионов пудов ежегодно, тогда как РСФСР заготавливает за эти годы ежегодно миллиард сто — миллиард двести миллионов пудов товарного зерна».

Что касается промышленности, то за одну только вторую пятилетку и в одной только Свердловской области вступили в строй такие гиганты, как Уралмаш, Уралвагонзавод, Новотрубный, Стальмост; в хозяйство области вложено было четыре миллиарда рублей; основные фонды промышленности увеличились в три раза, а число рабочих — на тридцать процентов. И все же Урал на первый взгляд по самому характеру вырабатываемой продукции никак не мог заменить промышленного Юга.



Передовая, культурная, технически хорошо вооруженная металлургия Юга давала нам до войны специальную военную сталь и имела все необходимое для ее производства. Металлургия Урала этой стали почти не давала и оборудования для нее, за исключением немногих заводов, не имела.

Для южной металлургии мы уже выработали так называемый «единый технологический документ», по которому загружаться в домы должна одна и та же по качеству тщательно выверенная шихта и получаться определенного качества чугун, обеспечивающий мартены своей однородностью и не дающий в мартеновских печах больших потерь в стали. Для уральской металлургии, даже на Магнитке, единой технологии еще выработано не было; бедой уральских доменщиков, с которой они постоянно боролись, была разная по составу шихта, дававшая неоднородный чугун. Мартены, загружаемые этим чугуном, работали вслепую, потери их в стали достигали шести, а иногда и семи процентов.

Наконец, южная металлургия количественно выпускала больше металла, чем Урал. Магнитка еще недодавала продукции, а старые уральские заводы, объединенные в один трест «Уралмет», все вместе производили в несколько раз меньше, чем одна Макеевка.

Так обстояло дело в металлургии. Требовалось теперь в срочном порядке получить от Урала то, чего он никогда не делал, и получить от него гораздо больше того, что он давал до сих пор.

В машиностроении и в других отраслях у нас имелись замечательные заводы. Но они вырабатывали мирную продукцию. Предстояло повернуть их на совершенно другие изделия, переменить всю их технологию, переоборудовать цеха, — и сделать это в кратчайший срок и притом в такое время, когда много старых кадровиков ушло в армию, а на место их стали неопытные новички.

Захватив наши южные районы, немцы были уверены в победе. Они были уверены, что с потерей южной металлургии мы окажемся без вооружения и нас можно будет взять голыми руками. Но немцы просчитались.



С первых же дней войны был создан грандиозный план переброски промышленности. Умнейшие головы склонились в Наркомате черной металлургии над картой. Перед ними опять встало необъятное советское хозяйство без собственников, границы областей и районов без рогаток, земли без владельцев,— и они могли очень легко решить, куда и что перенести с юга на восток, по каким дорогам и когда направить грузовые потоки, где и на какой земле расположить переносимое вглубь страны. У нас был накопленный опыт трех пятилеток. Но сейчас к творческому подъему, знакомому по планированию пятилеток, прибавилась еще и острота военного времени. Судьба народа и родины зависела от правильно проведенной переброски промышленности. Нужно было суметь сделать дело, отчитаться фактами, принять на себя очень большую ответственность,— и прежде всего отпали, как шелуха, множество прежних препятствий, которые мы называем «волокитой и бюрократизмом». Даже в самых маленьких исполнительских делах у людей появилось бесстрашие самостоятельности.

С первых дней эвакуации в погрузке, в спасении заводского имущества советский рабочий проявил себя не только как хозяин своего завода, но и как воспитанный Октябрьской революцией гражданин, ищущий, даже в войне, даже под угрозой гибели, выхода своему творческому инстинкту и неизбежно верящий в прочность своего строя, в свой завтрашний день. Много эшелонов шло в эти дни на восток. Мы были свидетелями, как люди — усатые, старые токари с седыми бровями — плакали, погружая на платформы, неведомо в какой путь, свои станки и укутывая их брезентом. Но слезы в пути высыхали, из-под бровей любопытно, с жадностью сверкал почти молодой взгляд, впитывая незнакомую природу, на лицах появлялось выражение пионеров, неистребимая страсть снова построить, наладить, пустить в ход. Этим людям пришлось потом, поздней осенью и зимой, в одежде, рассчитанной на более теплый климат, строить на новом месте целые корпуса; это они усвоили выражение «варежка гремит на руке», когда от мороза



замерзал под перчаткой пот на ладони, да и вся пропитанная потом перчатка. Именно среди этих людей возникло шалаевское движение за совмещение строительных профессий, слесаря со стекольщиком, печником и штукатуром, машинистки с каменщиком, бухгалтера с плотником и кровельщиком, токаря с десятником-строителем.

Но и встреча эвакуированных — размещение и забота о живых людях — тоже выдвинула на местах своих героев, своих организаторов, таких, как свердловец Кузнецов, о котором заходя, до прихода эшелонов, уже ходили по теплушкам рассказы, похожие на крылатые легенды, что-де этот «сделает», «устроит», «войдет в положение».

Начался гигантский процесс: внедрение в уральскую промышленность целых новых заводов и целых новых заводских коллективов. И поскольку этот процесс совершался через живых носителей техники, через рабочие массы и командный технический состав, он сразу же принял характер органического взаимодействия между местными и приезжими кадрами, между местным и привезенным опытом.

Рабочие, инженеры, партийные руководители получили широчайшую возможность общения, дележа опытом, прибавки чужого знания к своему знанию. Они почувствовали тут же под рукой близость нового критерия, проверки, оценки. Их подхлестнул этот обмен с соседом и влил новую силу в соревнование, обострил находчивость. А главное — придал новой смелости на новшества, которых раньше они остереглись бы и на которые во всяком случае не сразу решились бы. Последствия взаимодействия сказались почти тотчас.

## 8

За первые два года войны мне пришлось побывать на множестве уральских заводов истроек, кое-где по несколько раз. И при каждом посещении в глаза бросались все новые и новые изменения.

Некоторые казались ненужными, лишними, дергаю-



щими производство: один завод, например, перешел с налаженного конвейера к серийному выпуску, потом от серии к разделению операций, опять приближающемуся к конвейеру, и, наконец, снова к конвейеру. Казалось бы, такие переходы задерживают рабочих и тормозят выпуск, но на деле производительность труда непрерывно повышалась. На этом заводе встретились и соединились три коллектива: местный, уральский, уже несколько лет привыкший образцово, по конвейеру, выпускать свою мирную продукцию; живые, культурные харьковчане, привезшие с собой высокую технику и точное, тонкое производство; и, наконец, молчаливые ленинградцы-кировцы, опытейшие специалисты-кадровики с золотыми руками. Меняя непрерывно технологию и перестраивая процесс, этот смешанный тройственный завод «утрастался», приобретал опыт гибкости и маневренности, учился на ходу один у другого, срастался в единый организм.

Приходилось подмечать и другие изменения, направленные по существу к тому же — к лучшей организации коллектива, нахождению лучшей формы производства, к избавлению от зависимости, становившейся в условиях войны помехой. Эта зависимость, то есть вынужденное «кооперирование» одного предприятия с другим только из-за отсутствия у себя какой-нибудь необходимой машины, которая имеется у соседа, приносила иногда на Урале большое зло, срывала программу и, чтобы не страдать от задержек, не мучиться из-за отсутствия транспорта, нужного задела и так далее, заводы пускались в настоящие, большие изобретения.

На Урале есть замечательный завод, где был директором один из талантливейших учеников Серго, веселый умница, Семен Михайлович Петров. И само производство веселое и умное, — так называемый «принудительный поток». Видимого для глаза конвейера нет. Однако попробуйте затормозить хоть одну деталь, — остановится сразу весь завод, потому что здесь нет, строго говоря, деталей, а есть лишь одна-единственная вещь, и эта вещь начинается с болванки, а потом переходит со станка на станок, чтоб приобретать все новое и новое качество, приближающее ее к готовой последней форме.



Пока эта — единственная — вещь следует огромными, длинными цехами по всему заводу, особый звук стоит в воздухе, похожий на протяжный стон. Само определение «протяжный стон» родилось именно здесь, на таком же производстве, где металл, бесконечно протягиваясь, «проходя через протяжку», стонет, как животное.

Но в логике, непрерывности, прелести точного, вымеренного, высчитанного ритма следования вы могли нащупать прерванное звено в цепи. Завод прокатывал начальную болванку. А для следующей ее прокатки, удлиняющей и сужающей болванку, у завода не было стана. Приходилось посылать болванку за несколько десятков километров для прокатки на другой завод, где этот стан имелся, ждать, пока там справятся с чужой для них работой, ждать, пока дорога даст вагоны, пока вагоны придут...

Это злополучное «кооперирование» было отчаянием директора и главного инженера. Конечно, можно было бы направить всю энергию на получение собственного стана, но для этого требовалось время. Поэтому и Петров и главный инженер Берковский перевели мысль на другой путь. Само собой напросился вопрос: а можно ли заменить прокатку? Для чего она вообще нужна? Нельзя ли сразу же сделать потребную размером болванку и больше ее не катать? Но прокатка нужна ведь не только для придания формы, — под валом металл улучшается качественно, как бы «уминается», укладывается ровнее, а без этого он стал бы рваться при волочении. Значит, нужно придумать, как умять, ужать металл и без прокатки. Возможно ли это? Заменить прокатку отчасти можно водяным охлаждением в изложницах, потому что быстрое водяное охлаждение сожмет металл, сделает его более сжатым. Но это требует особых изложниц и предварительной постановки опыта. Петров и Берковский не пугаются их. Они идут на проверку, сами отливают нужного типа изложницы. Отсюда видно, как смело может завод менять свою технологию, если военное время требует от него быстроты, срочности, а условия тормозят и замедляют производство.

Иной раз задерживал производство не соседний за-



вод, а соседний цех; и тогда, чтобы не сорвать программы, пускался в изобретательство тот самый цех, который задерживался соседом. Так было в одном из цехов другого завода, где главным инженером был товарищ Махонин. Цех, о котором я рассказываю, очень страдал от кузни, не посылавшей ему во-время заготовок. Придут заготовки к середине месяца, а длительность их обработки в цехе двадцать семь — двадцать восемь дней, вот и не укладываешься к концу месяца в программу. Конечно, виновата кузня, конечно, на нее и нажимайте, ее и ругайте. Но — война. Такой ответ никому не нужен. Заводу нужна обработанная цехом заготовка, а не объяснение, кто виноват в ее несдаче. Перед начальником цеха встала необходимость так сократить процесс обработки детали, чтоб она, несмотря на опаздывание кузнечного цеха, во-время сдавалась из его собственного цеха.

Стали пересматривать процесс ее обработки. Из кузни заготовка приходит грязная, и обычно ее обдирали по контуру, потом калили и потом уже передавали на основную обработку и последующую отделку. Сейчас решили обойтись без обдирки. Взяли сырую, грязную, как она есть, заготовку и сразу же дали ее в окончательную обработку, а потом в закалку и полировку. Раньше было три потока (на первом машины обдирают, на втором отделявают после закалки, на третьем полируют), сейчас стало два потока (на первом сразу отделявают, обдирая и снимая припуски, на втором полируют после закалки). Раньше цикл длился двадцать семь дней, сейчас он сократился до четырнадцати дней. На производительности самой работы цех тут ничего не выиграл, так как пришлось на одном потоке проделывать сразу то, что раньше делалось на двух; но зато освободился весь парк оборудования, стоявший на первом потоке, и выиграны тринадцать дней.

Этого, однако, было мало. Принялись пересматривать и облегчать каждую отдельную операцию. В одной маленькой детали сфера ее сопряжения с целым предметом занимает лишь часть внутренней полости; но обычно рабочий тщательным ручным трудом полирует всю внутреннюю полость, а не только ее «работающее



место» (сферу сопряжения). А зачем? Надо ли? Ведь половину дня высококвалифицированный рабочий тратит на эту полировку. Посоветовались с конструкторами и отказались от полировки лишнего, нерабочего пространства. Вместо половины дня операция теперь заняла всего тридцать минут, и это дало возможность освободить для другой работы пять слесарей.

Не следует представлять себе, что все такие улучшения и поправки очень легко провести в цехе. Работа машин — это не анархическое царство, где станки могут делать, что им угодно. Каждая машина держит с другой так называемую «линию» — точную, выверенную построенность для бесперебойной общей работы. Но поправки и улучшения разбивают установившийся технологический процесс, и линию приходится перестраивать заново, а это сложно. Очень многие улучшения, вводимые сейчас на заводах, известны были давно, задуманы до войны, но из-за трудностей их ввода люди от них отказывались. Цех инженера Марголиса, перестроивший все инструменты на сотне с лишним операций, мог решиться на это «лишь во время войны», потому что «заставила необходимость».

Два приведенных примера показывают, во-первых, как обострила война смелость и решительность у командиров производства, и, во-вторых, как она решительно ввела в самый цех, на самом ходу производства, такого по существу своей работы кабинетного человека, как конструктор. Когда технологи захотели провести чисто технологическое улучшение, они посоветовались с конструкторами. Здесь мы подходим к принципиальному новшеству в методе работы заводов, и прежде чем объяснить читателю, зачем оно необходимо («посоветоваться технологам с конструкторами»), расскажем еще о нескольких случаях улучшений.

#### 4

Имеется деталь — плоское кольцо с дырочками по краям. Эту деталь надо было последовательно делать: 1) на токарном станке, 2) на сверлильном станке, 3) на автомате для шрифта, 4) на шлифовальном



станке. И вот другое кольцо; такое же, но вместо дырочек на нем с одной стороны по краям вогнутости, а с другой — выпуклости. В смысле работы оно совершенно заменяет первую деталь и служит для той же цели, но в смысле выделки вместо четырех станков ему нужен только один — штамповальный пресс.

Или еще пример. Берется прямоугольный брусок, его середина выстругивается строгальным станком, дно сверлится сверлильным, потом фрезеруется, — и все для того, чтобы получить деталь в виде желоба. Тогда на заводе решили: а что, если взять не брусок, а прямоугольную доску и края ее в штампе согнуть с боков, чтобы сразу получился желоб? Но у прежней детали дно было толще боков, значит придется к новой детали приваривать днище. Выиграешь от этого мало, всего-навсего на сверлильном станке. Стали думать дальше: а зачем собственно нужно более толстое днище? Действительно ли оно необходимо для функции детали, или же это получилось потому, что технология первоначальной обработки бруска на четырех станках продиктовала конструктору волей-неволей эту большую толщину? Приготовили штамп, попробовали сделать сразу под прессом все элементы детали, то есть вогнутые бока, дыры и отверстия, и когда деталь была сделана одним мановением штамповального прессы, она стала работать и без толстого днища совершенно так, как прежняя, потому что конструктор соответственно переконструировал целое. Трудоемкость стана уменьшилась от этого в два с четвертью раза, иначе говоря — деталь подешевела больше чем вдвое.

Что мы здесь видим? Сложная обработка при помощи нескольких станков, требующая много силы и времени, все больше уступает место простому штамповальному прессу, скорому и дешевому. В Америке штамп уже давно завладел огромным количеством деталей. Начиная вводить штамповку на место более сложных операций, мы в дни войны энергичнейшим образом двинулись в этом направлении за Америкой. Но каждая замена сложных механических станков более простым



штамповальным прессом не повторяет деталь в точности, не делает ее совершенно в прежнем виде, а что-то в ней изменяет, упрощает, комбинирует. И это изменение, комбинирование и упрощение требуют работы конструктора, участия конструкторской мысли. Так на наших глазах, в кратчайший промежуток времени, конденсируется и становится явным тот по существу длительный процесс, который меняет внешний вид вещи. Форма детали, форма предмета в целом, ускоренно проходит перед нами весь свой большой век и стареет на наших глазах, заменяясь более современной, более удобной, изящной, облегченной. Говорят, есть любители, которые слышат, как ночью трава растет. Но мы, современники бессмертной обороны нашей родины, мы видели на Урале, как со дня на день растет и развивается техника.

Именно в начале войны, в ее первый год, родилось на Урале движение тысячников, то есть рабочих, выполняющих сразу по десять норм, работу десятерых человек. Не в каждом цехе и не на каждом деле может это движение принять массовый характер, а главным образом в тех цехах, где происходит холодная обработка металлов.

Фрезеровщик Дмитрий Босый ставил себе простую цель — придумать что-нибудь такое, чтобы ускорить процесс работы на своем фрезерном станке и тем помочь делу обороны. Но простая цель стала дверью в необычайное. Наши универсальнофрезерные станки горьковского и тульского заводов типа 682 и ТУ-2 оказались неисследованной сокровищницей технических возможностей. Когда вы видите Дмитрия Босого среди станков, где его очень нервные, сильные руки все время движутся, соединяют, осмысливают, опрозрачивают перед вами работающие механизмы, вы начинаете постигать очень большую молодость этих механизмов, неисчерпаемые возможности замены в них ряда ручных операций автоматическими, — лишь бы рука человека приложила к этому свое приспособление — новую форму фрезы, какую-нибудь державку, закрепляющую деталь в необычном положении, коробку или кондуктор. В мате-



матике есть одно замечательное понятие «векторная величина»; оно означает заданное направление, и при его помощи можно отметить не только количество («столько-то»), не только действие, производимое с этим количеством, но и «куда» этого количества, то есть заданное ему направление. Можно, не боясь натяжки, сказать, что Босый при помощи державок и кондукторов придал фрезерному станку векторную величину. Упрощая, автоматизируя, убыстряя и усиливая работу, все эти отдельные улучшения подводят нашу механику к принципиально новому этапу использования и развития станков.

Не один фрезерный начал бурно развиваться. На заводе имени Орджоникидзе были подведены итоги лучших изобретений других тысячников — токарей, шлифовальщиков, слесарей. Оказалось, что даже такой, достаточно уже старый и изученный станок, как универсально токарный, способен к большому скачку вперед. Рабочие увеличивают число резцов (до пяти); при тяжелых работах располагают эти резцы уступами, уменьшая нагрузку на каждый резец; увеличивают скорость резания; увеличивают сечение стружки; увеличивают путем специальных приспособлений количество одновременно обрабатываемых деталей, словом, находят десятки способов выжать из, казалось бы, совершенно уже развившегося и неподвижного в своем режиме станка десять его обычных норм.

Особенно интересен один момент: увеличение числа обрабатываемых за один раз деталей. Интересен он потому, что здесь нащупывается связь между более прогрессивной формой техники и более экономной затратой материала, то есть прямая пропорциональная связь в развитии техники и экономики. Одна деталь — кольцо — обрабатывалась на станке в пять переходов, пятью различными инструментами. Бралась заготовка (материал с необходимым излишком). Она сперва обтачивалась, потом в ней прорезалась канавка, потом производилась сверловка, а потом расточка. Для каждого отдельного кольца приходилось пять раз перестраивать станок и пять раз менять резцы. Но вот три человека — начальник участка С. А. Фай-



фель, наладчик И. П. Тихонов и токарь А. Ф. Егоров — придумали особую державку и особую расстановку резцов, при которой вместо одного прежнего кольца можно обработать восемь колец сразу. Для этого они взяли точно рассчитанный длинный кусок металла, один его конец зажали в патроне станка, другой подперли центром, — и сперва обточили весь его в длину, потом, четырьмя резцами, проделали одновременно на всей его длине остальные операции и, наконец, специальным резцом разделили его на кольца. При такой работе в день можно дать свыше десяти норм, но не только это! При такой работе не понадобилось лишнего материала на «припуск», поскольку кольца разрезаются, как ломти хлеба, и токарь сэкономил на этой операции целый кусок металла, годный для другой детали. Любопытно, что совсем в другой области, на уральской обувной фабрике, такая же прямо пропорциональная связь между экономикой и техникой вскрылась обратным приемом. На военную обувь шло дорогое, экспортное сырье. Его нужно было экономить до зарезу. Кройщики, как математики, сидели перед ним и изобретали: как придумать наиболее экономный покрой, такой покрой, чтобы меньше получилось обрезков, чтоб совсем не получилось обрезков? Экономный покрой они придумали, но он повлек за собой и упрощение техники пошивки, то есть связал изобретательскую мысль экономиста с движением вперед технолога.

Бурное техническое развитие наших механизмов стало сейчас на наших заводах явлением повседневным, получившим характер непрерывности. Человек, еще недавно выученик, робкий и послушный последователь машины, вдруг увидел ее слабые стороны и почувствовал себя умнее. Заработала мысль, рабочий начал развивать и дополнять машину, которая еще вчера диктовала ему нормы, режимы и сроки работы. А сейчас он сам ей диктует, — и чем больше находит поправок и предложений к ней, тем ярче и глубже представляет себе развивающееся, движущееся, принципиальное содержание техники, тем более высокую производственную культуру приобретает.



Скакнула вперед и техника литейного дела, по существу наиболее консервативная. Наши заводы огромны, и ни один не похож на другой, в каждом есть что-то свое, неповторимое. Но одно общее впечатление вынесешь отовсюду, если побываешь сперва в механических цехах, а потом в литейных. Корпуса механических — высокие, светлые. Часто они полны сверкающих, отшлифованных готовых изделий, особенно прекрасных, если это коленчатые валы или другие такие же детали. Синим блеском поет и сверкает молниеносная стружка, брызжут искорки огня из-под резца, работающего на предельных скоростях. Вокруг чисто, ярко, нарядно и как-то технически современно. Вы в своем двадцатом веке. Но вот вы вступаете в литейный цех — и сразу словно попали в средневековье. Работа здесь грязная и мокрая, дышать тяжело. Когда видишь организованное и мудрое существо, человека, вдруг умирающим от рака, от паршивой, глупой, ничтожной приживалки-болячки, выжить которую из тела человека ни один ученый не находит ключа и способа, — невольно думаешь: почему до сих пор не изобрели средства против рака? Вот такая примерно мысль от зрелища литейного цеха: почему до сих пор не изобрели более современного способа литья? Груды земли и песка, формуемых руками рабочих, подобно тому как дети лепят пирожки; сложная система стержней; неуклюжие деревянные опоки, — и все это отдельно для каждой детали, все это чрезвычайно сложно, кустарно замедленно, в то время как рядом от быстроты, с какой стругает резец, синееет металл и штопором сворачивается стружка. И сложное сооружение из песка и дерева, обмазанное, выкрашенное, вдвигается в сушильную печь для того, чтобы потом вся эта форма пропала и снова рабочие принялись сооружать опоку. Может быть, до войны страшная отсталость литейной техники не бросалась так в глаза, как сейчас. Но условия труда в литейных ухудшились от безмерно увеличившегося объема продукции, — и эти ухудшившиеся условия еще больше подчеркивают средневековый облик цеха.



Год назад на одном из крупнейших наших заводов эта литейная вдруг исчезла. В светлой комнате возле вагранки, где рубином светится расплавленный металл, стоит девушка в чистой шелковой блузе. Она держит в руках ковшик и аккуратным жестом окунает его в печь, набирает рубинового сиропа и льет его в чугунную формочку на подставке, похожую на матрицу. Несколько минут — и сироп потускнел; форма будет опрокинута, отливка выбита из нее и останется — чистой, точной, горячей — достывать на полу. Это — кокильное литье. Мы знали его и до войны. Но массово применять его, и притом для крупных отливок, начали лишь сейчас. Освоить его по той алюминиевой детали, которую нам пришлось видеть, — значит уменьшить затраты труда в пятнадцать — двадцать раз, сократить производственную площадь в десять раз, повысить качество отливки в три раза.

Кокиль — не старая земляная опочная форма, годная на один-единственный раз, а металлическая (чугунная) форма, готовая служить множество раз. До войны мы ввозили из Германии от фирмы Бош одну очень важную деталь. Война заставила нас попытаться делать ее самим. Попробовали готовить стержни — сложно и долго. Тогда, силами цеха (конструктор Цувьркалов, мастер Мирский, технолог Туренский), не имея никаких предшественников, никакого опыта, никаких советчиков, освоили современнейший способ литья — кокильный и дали заводу на одной только этой детали полтора миллиона экономии в год. Это было еще в начале войны, сейчас список отливаемого в кокиле солидно удлинился и чертежи установки были посланы другим заводам. В цехе говорят: «А Бош оказался настоящим бошем, наши-то отливки гораздо лучше его. Или он нарочно нам брак посылал, или хуже нашего работает, — объясните, как больше нравится».

Примеры, приведенные мною здесь, взяты из многих сотен других. Нет ни одного завода, ни одного цеха, где сейчас не изобретали бы, не улучшали, не могли похвастать чем-нибудь новым. Но в этом стремительном развитии техники есть уже скачок в будущее; непрерывные и подчас мелкие улучшения укладываются в



определенные русла, глаз подмечает несколько поворотов, которые в будущем могут привести к переворотам. Победительное шествие штамповальной прессы, приводящее к пересмотру конструкций, к облегчению и упрощению формы, это путь американского развития. Бурный рост фрезерного и других станков — это целая эпоха в истории наших механизмов. Замена опочного литья кокильным — начало переворота в отсталом литейном деле.

Такого рода творческие подъемы и скачки в технике бывали обычно после окончания войн; обычно войны, особенно неудачные, вызывавшие разруху и быструю изношенность оборудования, знакомившие с новинками вражеской техники, раскрывали государству глаза на собственные недочеты, и это служило толчком к перестройке. В этом смысле можно было говорить о прогрессивном влиянии войн на развитие техники. Но так бывало лишь после самой войны, и этому чаще всего сопутствовала катастрофа отживших общественных форм. Так бывало именно в силу того, что сама война, сам период военных действий приводил промышленность к разрухе и распаду. Но в советской стране, в социалистической промышленности, происходит творческое развитие и строительство техники во время самой войны, в напряженнейшие минуты защиты родины, под угрозой смертельной опасности. Человек не просто трудится, он даже в борьбе не на жизнь, а на смерть, творит и строит, — такова природа нового человека нашего нового общества.

Вот почему, через полтора года после начала войны, на девятнадцатой годовщине смерти В. И. Ленина, секретарь ЦК А. С. Шербаков имел право сказать в своей речи: «...Это факт, что тыл Красной Армии, несмотря на огромные трудности, связанные с захватом немцами важных промышленных и сельскохозяйственных районов, сумел справиться со своими задачами и наладить снабжение фронта всем необходимым. Немцы, много кричавшие о том, что они, мол, разрушили советскую промышленность, теперь все чаще начинают задавать себе вопрос: откуда у русских столько оружия?»



Чтоб лучше представить себе все вышесказанное, обратимся для сравнения к недавнему прошлому Урал принял в войне с Германией 1914 года тоже не малое участие. Оживление, возникшее тогда на Урале, внешне как будто напоминает наши дни, но его содержание и результаты резко противоположны нашим. Если сопоставить два года войны — 1914—1916 — царской России с немцами и два года Отечественной войны — 1941—1943 — Советского Союза с немецким фашизмом — в их связи с Уралом и уральской промышленностью, то получится нагляднейший урок торжества нового советского строя, торжества нового человека нашего строя.

Документов об участии Урала в первой германской войне сохранилось много. Это отчеты окружных горных инженеров, архивы частнозаводчиков и акционерных компаний, труды всевозможных съездов, обследования комиссий. Они, правда, разбросаны по разным углам и архивам, но в 1927 году Уралпрофсовет издал в Свердловске некоторую их часть в книге «Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах», том I. Кое-чем могут дополнить эту книгу и «Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала» Сигова, изданные тоже в Свердловске в 1936 году<sup>1</sup>. Что же мы видим из документов прошлого?

До весны 1915 года, пока не началось наше отступление в Галиции, об Урале и оборонной промышлен-

<sup>1</sup> Данные Сигова кое-где расходятся с данными сборника Уралпрофсовета. По Сигову, на Урале в 1913 году «выплавлялось цементной стали ничтожное количество», по сборнику Уралпрофсовета «ни единого пуда»; по Сигову, в 1916 году на Урале «выплавляется 47 процентов общего количества цементной стали в России»; по сборнику, «не менее 50% всей общероссийской выработки». Самый термин «цементная сталь» употреблен в этих источниках неправильно. Имеется в виду инструментальная сталь, а старинный термин «цементная» потерял свой смысл уже в те годы, когда составлялись упомянутые сборники. Есть там и другие ошибочные указания, например, на то, что до войны 1914 года военная сталь выплавлялась почти исключительно в Прибалтике. На самом же деле ее выплавляли почти исключительно на петербургских больших заводах, а в Прибалтийском крае работало лишь несколько маленьких заводиков.



ности никто особенно не задумывался. Отступление обнаружило острый недостаток у нас вооружения. А тогда требовались войскам главным образом «шрапнель», снаряды, колючая проволока. Нужно было срочно наладить на Урале производство этой стали и перевести заводы на военную продукцию.

Летом 1915 года едет на Урал комиссия генерала Михайловского, объезжает казенные заводы, заглядывает на частные, собирает совещания заводчиков. Для захудалой уральской промышленности обращение к ней государства, военные заказы — означало прежде всего невиданные барыши. Заводчики восторжествовали, и комиссия встретила с их стороны, как тогда писали в газетах, «достойный патриотизм». Началась лихорадочная подготовка заводов к выполнению миллионных государственных заказов. На Гумешках расширяется завод, в Ревде устраивается механическая мастерская, на Полёвском переоборудуется прокатка, в Надеждинском строится снарядная, в Сосьвинском — прокатная. Та же картина в Южно-Турском, Алапаевском, Невьянском, на Клитвенской даче. Выпуск кровельного железа и рельсов резко сокращается; вместо них начинает выпускаться инструментальная сталь, увеличиваться выпуск колючей проволоки. Заводчики закупают и ставят тысячи новых станков, производят миллионные затраты, перестраивают силовое хозяйство, воздвигают даже целые новые заводы.

Казалось бы, картина огромного технического прогресса на Урале. Но заглянем в финансовые отчеты. Сохранилось указание, как росла валовая прибыль пяти крупнейших акционерных обществ. Богословское общество, имевшее в 1913 году около 4 миллионов валовой прибыли, получило в 1916 году свыше 10,5 миллиона; Белорецкое общество, имевшее в 1913 году 860 тысяч рублей, в 1916 году — 2 миллиона 170 тысяч, и т. д. В общем, за два года войны валовая их прибыль увеличилась в три раза. Чтобы скрыть «истинную прибыль», как уверяет «Вестник финансов», акционерные общества отчисляли в запасный, амортизационный и другие капиталы больше, чем полагается, и этим понижали сумму дивидендов, выдаваемых каждому акционеру на



его акцию. Но и при такой «хитрости» барыши акционеров были громадны. Богословское общество роздало акционерам в 1916 году почти втрое больше, чем в 1913 году, — около трех миллионов рублей барыша (24,1% на основной капитал). Симское общество в 1913 году не выплатило своим акционерам ни копейки, а уже в 1915 году выдало им 12,8% на основной капитал. Белорецкое общество до войны выдавало 5,7% дивиденда, то есть почти ту самую сумму, какую платили государственные банки за обыкновенные вклады, а в 1916 году стало платить 11,4%.

Если представить себе эти проценты в реальных суммах, то получатся миллионные состояния, наживаемые на крови народа. Перед этими сверхприбылями копеечными кажутся расходы заводчиков на оборудование. И частные заводчики и акционеры отлично знали, что посыпавшийся на них золотой дождь — временный. Пройдет война, кончатся заказы — и в уральской промышленности опять наступит затишье. Поэтому они всеми правдами и неправдами стремились «поймать момент», использовать минутную выгоду, не дорожили своей техникой, не тратили времени на автоматизацию, а предпочитали строить свои сверхприбыли на дешевой рабочей силе. И в конечном результате одновременно с ростом их барышей уральская промышленность не росла, а пятилась.

Увеличилось число нуждавшихся в ремонте домен. В 1913 году их 10; в 1915 — 19. В 1913 году на Урале числилось 73 работающих домны, в 1914 их осталось 66, в 1915 — 62, 1916 — 59. Вагранок было в 1913 году 86, в 1914 году стало 84, в 1915 — 76, в 1916 — 75. Правда, прибавилось мартеновских печей с 69 в 1913 году до 75 в 1916. Но выработка на каждой из этих печей уменьшилась. У нас есть данные о 43 уральских заводах. По производству литого металла на них в 1913 году с 16 мартеновских печей было снято 8222 тысячи пудов отливки, а с каждой отдельной печи 513 тысяч пудов; а в 1916 году с 17 мартеновских печей снято 7884 тысячи пудов, а с каждой отдельной печи всего 463 тысячи пудов. Это значит, что, хотя количество мартенов за время войны 1914 года на Урале немного



возросло, выплавка металла в целом и с каждой печи значительно упала.

В добывающей промышленности тот же процесс: сократилось число рудников, уменьшилась выработка с каждого рудника, упала добыча руды.

Если собрать таблицы этих цифр: по «Статистическому сборнику за 1913—1917 гг.», выпуск I; по данным С. Формаковского «Об эксплуатации железорудных месторождений Урала», Труды II Всероссийского съезда деятелей по горному делу; по книге «О влиянии войны на некоторые стороны экономической жизни России», изданной министерством финансов в 1916 году; по упомянутому выше изданию; и если расположить их в интересующем нас порядке, то даже при допущении возможной неточности или неполноты этих цифр картина получится очень красноречивая:

#### ПАДЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ 1914 ГОДА

##### I. ДОВЫЧА РУДЫ

Годы	Число действ. рудников	Добыто руды в тыс. пудов
1913	196	49,225
1916	195	31,356

##### II ВЫПЛАВКА ЧУГУНА

Годы	Число домен	Выплавка чугуна в тыс. пудов	На каждую домну
1913	32	20,565	642
1916	31	14,685	473

##### III. ПРОИЗВОДСТВО ЛИТОГО МЕТАЛЛА

Годы	Число мартенов	Отливка в тыс. пудов	На каждый мартен
1913	16	8,222	513
1916	17	7,834	463

##### IV. РОСТ ЧИСЛА ДОМЕН В РЕМОНТЕ

Годы	В ремонте домен
1913	10
1915	19
1916	17



# УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ

Годы	Домны	Вагранки	Пудлинговые печи
1913	73	86	94
1914	66	84	72
1915	62	76	68
1916	59	75	44

Данные этих таблиц сильны своей общей логикой. Эта общая логика показывает, что в войну с Германией 1914 года уральская промышленность все больше изнашивалась и все меньше давала продукции. Ясно, что при всем внешнем оживлении тогдашней уральской промышленности, она по сути дела жестоко регрессировала. Приведенные мною выше источники утверждают даже, что она откатилась на многие десятки лет назад.

## 7

Но в приведенных мной таблицах отсутствует главное действующее лицо уральской промышленности — человек, рабочий человек. Как вел он себя за время войны 1914 года? Что можно сказать о нем? Может быть, война обезлюдилла, обескровила Урал, и падение продукции было вызвано уменьшением числа рабочих? Нет, наряду с падением производства в уральской промышленности непрерывно росло число рабочих. Если принять наличие рабочих в 1913 году за 100 %, то рост рабочих по годам дает такое движение:

1913 . . . . .	100%
1914 . . . . .	105%
1915 . . . . .	119%
1916 . . . . .	152%

В 1916 году абсолютное число рабочих на Урале достигло цифры, какой еще не было за все двухсотлетнее существование уральской промышленности. Кто были эти рабочие? Заводчики использовали труд военнопленных; они посылали вербовщиков в Китай и вывозили оттуда целыми партиями китайцев, которых держали у себя на положении почти что рабов. Им не платили по



контракту, их избивали, их плохо кормили. Попытки заводчиков привлечь к работе женщин провалились. Уральские женщины не шли на заводы. А в тех редких случаях, когда они шли, им платили вдвое меньше, чем мужчинам, хотя по официальным отзывам инженеров они работали отлично, «не хуже, а иногда и лучше мужчин».

Дешевым, бесправным рабочим трудом уральские заводчики пытались заткнуть прорехи в отсталой технике. До войны в уральской промышленности хоть медленно, но непрерывно возрастала энерговооруженность каждого рабочего. В соотношении механической и мускульной силы, если принять первую за числитель, а вторую за знаменатель, все время шло увеличение числителя за счет знаменателя. Но с начала войны это соотношение изменилось в обратную сторону. Среднее количество паровых лошадиных сил на один завод и на одного рабочего за годы империалистической войны упало на одну треть.

Мог ли быть производительным труд бесправных, униженных, опутанных, полуголодных людей, которым не доплачивали, которых заставляли трудиться в условиях падающей техники, за счет которых откровенно грабительски наживались и пьянели от барышей? Вот теперь мы можем дополнить таблицы № I и № II графой производительности труда уральского рабочего.

#### 1. ДОБЫЧА РУДЫ

Годы	Добыто руды в тыс. пудов	Производительность труда одного рабочего в пудах
1913	49,225	6146
1916	31,356	4425

#### II. ВЫПЛАВКА ЧУГУНА

Годы	Выплавка чугуна в тыс. пудов	Производительность труда одного рабочего в пудах
1913	20,565	6037
1916	14,685	4582

Если до войны уральский горняк в среднем давал 6146 пудов руды в год, то во время войны он стал давать на-гора всего 4425 пудов. Если до войны уральский



доменщик выплавлял 6037 пудов чугуна в год, то во время войны он стал выплавлять всего 4582 пуда. Колебание не на единицы пудов, а в первом случае — на 1721 пуд, во втором случае — на 1455 пудов!

Так действовала старая общественная система на Урале и так отвечал на нее уральский рабочий в войну 1914 года.

Обстоятельства продолжающейся Отечественной войны не позволяют нам сейчас так же откровенно говорить о движении рабсилы и баланса труда на Урале, как мы можем это делать применительно к временам, давно прошедшим. Но кое-что в относительных процентных показателях можно отметить и сейчас. Однако прежде всего до всяких цифр громко на все вопросы отвечает нам сама уральская действительность. До войны у нас было больше мирной, нежели военной промышленности на Урале,— сейчас Урал бесперебойно снабжает Красную Армию. До войны у нас не было открыто многих видов сырья на Урале и не было создано многих необходимых производств,— сейчас открыты эти виды сырья и созданы эти производства. До войны у нас было отставание Урала по сравнению с южной металлургией,— сейчас Урал начинает работать и за себя и за всю южную металлургию.

Оборудование наше, несмотря на необычное напряжение, не только не убывает, но и п р и б ы в а е т. Лишь недавно мы закончили строительство новой громадной домны в Магнитогорске. Вступил в действие созданный скоростными методами на юге Урала, где за год до того была пустынная равнина, один из самых блестящих наших металлургических комбинатов, детище строителя А. Н. Комаровского. Такой же комбинат мы построили на севере Урала. Мы строим железные дороги, возводим десятки гидростанций, заканчиваем строительство теплоэлектроцентрали. Перечислить то, что сейчас создается на земле Урала, было бы трудно, и не обо всем этом можно писать. Как при этом ведет себя техника на Урале, читатель уже видел: раскрываются новые резервы в механизмах, обновляется технология, вводятся изо дня в день новые и новые улучшения в конструкции. Все это — ф а к т ы б е с с п о р н ы е.



Но за счет чего происходит этот положительный процесс, за счет чего растет техника и увеличивается продукция? Наша металлургия, наши предприятия сейчас, в дни войны, тоже рентабельны, они тоже приносят громадные прибыли, но эти прибыли идут не в карманы акционеров, а на пользу самого народного хозяйства; эти прибыли позволяют нам фундаментально улучшать уральскую промышленность, фундаментально строить нужные объекты, которые будут годны не на год-два, а на десятки лет и далеко вперед облегчают и планируют наше производство. Однако не в прибылях и не в рентабельности дело, а в главном действующем лице нашей оборонной промышленности — в человеке, в рабочем человеке Урала.

Как ведет себя уральский человек, читатель уже знает из конкретных примеров, о которых я рассказывала выше. Но под горячим творческим отношением нашего рабочего к своему долгу перед родиной, под героическими фактами его поведения есть нелюбимые, бесстрастные, объективные свидетели — цифры, и хочется отвести место и этим свидетелям, в сопоставлении их со старыми цифрами. Мы видели, что в прошлую войну при царизме число рабочих увеличивалось, энерговооруженность их падала, техника изнашивалась, а выпуск продукции уменьшался. Как обстоит дело у нас?

На Урал влилось множество эвакуированных предприятий, а тем самым увеличился вдвое и втрое его машинный парк, увеличилось и число рабочих. Но если сравнить рост продукции уральских заводов до войны и сейчас, то оказывается, что продукция выросла во много раз больше, чем выросла численность рабочих, причем на второй год войны выпуск продукции повысился по сравнению с первым годом, сохраняя тенденцию повышения из месяца в месяц, из квартала в квартал. Рост продукции можно проследить по цехам и по агрегатам. Больше дает бурение на рудниках, больше снимается с квадратного метра пода мартеновских печей, больше обраба-



тывает станок,— и каждая новая норма оказывается не окончательной.

Значительные изменения произошли в самом составе рабочего класса. Еще не время изучать эти изменения, но кое-какие данные бросаются в глаза даже и сейчас. Есть на Урале большое предприятие легкой индустрии — Уралобувь. Предприятие это слилось с эвакуированными фабриками и намного расширило свою станковооруженность. Продукции оно выпускает в четыре раза больше, чем до войны, и притом более сложного и специального ассортимента. Между тем число рабочих на этом предприятии по сравнению с довоенным не увеличилось, а уменьшилось. До войны на нем было 1991 человек, из них 480 мужчин, 1511 женщин. Сейчас на нем 1553 человека, из них 299 мужчин, 1234 женщины. Но этот численно меньший состав вырос качественно. Повысился процент получивших полное среднее образование, повысилось число членов ВЛКСМ и ВКП(б) среди рабочих, пришли на производство домашние хозяйки, пришли с а м и, без зова и обращения к ним; и, прндя, показали высокий класс работы. И этот меньший числом коллектив дает продукции вчетверо больше прежнего, потому что работает сознательней и производительность его труда — выше.

Но,— скажут нам,— то «легкая индустрия». Перейдем к тяжелой индустрии, взяв для примера один из наиболее типичных заводов, могущий служить показателем для десятка других,— Уралмаш. Движение производительности труда рабочего на Уралмаше видно из следующих цифр:

**ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО РАБОЧЕГО УРАЛМАША**  
(В рублях и процентах)

Время	Процент выработки	Выработка в рублях
I полугодие 1941	100	1581,3
II полугодие 1941	217	3436,5
I полугодие 1942	329	5203,8

На немецкую агрессию рабочие ответили резким повышением выработки, резким повы-



шением производительности труда. Техника тоже ответила увеличением энерговооруженности каждого рабочего, то есть двинулась не вспять, а вперед:

**ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ НА ОДИН  
ОТРАБОТАННЫЙ ЧАС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
РАБОЧИХ УРАЛМАША**

Время	квт-ч.
Июнь 1941	4,9
Апрель 1942	6,9

Для Урала подъем производительности труда, постоянное повышение программы, ее перевыполнение, постоянный пересмотр норм и их перевыполнение — все это явления типовые, и не будь их, Урал со своей задачей не мог бы справиться.

Возьмем еще один крупнейший завод, где главным инженером Махонин. В плановом отделе этого завода покажут вам цифры, типичные для большей части уральских предприятий. В одном из цехов завода (моторном) с января 1942 года по май того же года рабочая сила увеличилась на 33%, но продукции стало выпускаться на 161,3% больше. Следовательно, продукция выросла не пропорционально росту рабочей силы, а почти в пять раз больше.

Какие факты влияют на подъем производительности? Следовало бы спросить: какие факты не влияют на него! Рабочие наши связаны с фронтом, и каждое событие на фронте поднимает качество и объем работы; тяжело фронту — рабочий налегает на работу с ненавистью к врагу; хорошо фронту — рабочий налегает с радостью от хорошей вести, — и в обоих случаях производительность повышается. Огромную роль играет соревнование. В другом цехе завода, о котором я говорю, число рабочих в апреле и мае 1942 года было одинаковым, но рабочие включились в социалистическое соревнование и за счет него одно и то же количество рабочих, давших в апреле 100% продукции, дали в мае 128%, то есть почти на треть больше!

Первые беглые итоги двух лет оборонной работы на Урале дают высокое и радостное чувство современнику.



Если о хозяйничанье капиталистов за 1914—1916 годы на Урале тогдашние обозреватели могли говорить, что в их хозяйстве «происходили процессы, подрывающие самую основу дальнейшего промышленного развития», то мы можем об истекших двух годах нашей Отечественной войны сказать: они ярко обнажили на Урале процессы, фундаментальные для хозяйства социализма, процессы подъема производительности труда на основе развивающейся техники.

И это не только утешение для советского человека. Это — его победа над фашизмом, его победа и над самой войной. Ведь сущность этих процессов вытекает из того главного факта, что экономика социалистического хозяйства — это всегда экономика мира, созидания, роста, а не войны и разрушения.

*Свердловск  
Июнь 1943 года*

### **Уральский город**

Шел торопливо поезд,  
Шел через Каменный пояс,  
Через Уральские горы...

*Н. Кулишум*

#### **1. В музее**

Остановитесь на минуту и поглядите с пригорка — этого не забудете никогда в жизни. Говорят, путешественники под тропиками влюбляются в созвездие Южный Крест, невидимое в нашем северном полушарии. Но никакое южное небо не сравнится с северным, разнообразным, как сборище уральских яшм. Словно легкая, акварелью тронутая светлая ткань наброшена тут на полярную ночь. Небо живет отсветами недалеких северных сияний. В нем постоянно что-то творится: то вытянулись на весь горизонт густолиловые полосы, то стоит серебро облачков, тонко разрисованное, как иней на окне, то вдруг зимой зажигается кусок радуги, то



рано утром, в матово-молочном дыму — месяц, оранжевый, как ломтик апельсина. Краски необыкновенны, они не глубоки, но как бы промыты до пронзительной свежести. И все время под ними чувствуется иная глубина, та глубина, куда по полгода не заходит солнце и где спит обесцвеченный, обескрашенный мир.

Но тут, на пригорке, к обычным прелестям северного неба прибавляется еще собственно уральское, городское. Как почти все города Урала, выросшие из завода, и этот старейший город сразу открывается своим искусственным вулканом — домной. По левую руку от вас, на горизонте, как букет из вазы, день и ночь полыхает из домны красно-черный венчик огня. По-настоящему его следовало бы не выбрасывать в небо, а закрыть крышкой, заставить течь на круговой замкнутый процесс, где тепло не уходит даром, а снова служит человеку. Но завод и домна — старые, и замкнутого процесса здесь еще не оборудовано. Вокруг заснеженная даль. Конусообразная Лисья гора, с пожарной каланчой на ней, и другая гора, уже наполовину скрытая людьми за двести с лишком лет, — там рудник. Леса отошли за горизонт, они порублены, съедены заводом, как съедает костер траву вокруг себя. По кособоку — красивый заводской сад, дальше — огромный пруд и плотина. Недалеко от плотины, слева, массивное каменное здание дворцового типа — бывшее заводууправление.

Об этом месте писал в конце XIX века Дмитрий Иванович Менделеев:

«Ниже-Тагильск целый город, тридцать две тысячи жителей, с широкими улицами, с прекрасными церквями, с монументами на площадях, с пожарной каланчой на соседнем холме, как на многих заводах, а считается селом, хотя в нем одном три волости. Не сделан он городом, вероятно, по той причине, что состоит в посессионном владении рода Демидовых, и с городским устройством еще более запутались бы и без того сложнейше-путанные отношения между владельцем, казною и жителями».

Путанные отношения уничтожены четверть века назад, и, чтоб увидеть нынешний советский Нижний Тагил, огромный город, вторую столицу Урала, нужно заехать



в него с другой стороны или заглянуть сверху, с птичьего полета,— тогда все то, что Менделееву представлялось «целым городом с широкими улицами и монументами на площадях», сразу окажется маленьким историческим пятнышком, кусочком сохранившейся старины в теле нового обширного городского пространства с современнейшими заводскими корпусами и строениями. Но «путанные отношения» гнездились тут настолько крепко и держались настолько долго, что след их сохранился в архитектурной обособленности трех старых миров — бывшего демидовского дома-усадьбы, стоявшего в городе как средневековое поместье, зданий казенного образца, где хозяйничало русское самодержавие, и замкнутых деревенских кварталов Ключи и Гальянка, с их крепкими заборами, крытыми дворами и резными наличниками, где жили заводские крестьяне господ Демидовых, потомки старых «кержаков».

Менделеев был тогда гостем первого из этих миров, где главным действующим лицом, вместо сидевшего за границей «наследника Демидовых», был француз управляющий Жонэс-Спонвиль. Прямо со станции учебного повезли в демидовский дворец, где жил в те времена управляющий. «Вхожу в богатые залы,— пишет Менделеев,— по стенам старинные портреты предков Демидовых и картины не нового покроя; такова же вся обстановка, даже терраса под окнами, даже вид в сад и на окрестности,— все дышит чем-то почтенным, устоявшимся и не вчерашним».

«Не вчерашним» — это значит, что уже в то время Менделееву бросился в глаза старинный, исторический стиль обстановки и собранных в доме предметов. Уже полвека назад помещение было музейным,— но в музее жил один человек, и музейные предметы были в его единоличном пользовании. Собственно же заводской музейчик был тогда только геологическим, рассчитанным на рекламу. Его содержали для редких приезжих гостей, заказчиков, иностранцев, представителей торговых фирм:

«Музей с образцами тагильских произведений, бывших на разных выставках, где с особой выпуклостью выясняется великая мягкость и вязкость изделий: из



рельс навязаны узлы и наплетены чуть не кружева без следов трещин... Известно, что листовое уральское железо в этом отношении еще и доныне пользуется всемирной славой и не превзойдено, идет на некоторые подделки и сейчас даже в Англию и Америку, правда немного, но из года в год... Наилучшее в этих отношениях уральское железо все производится из высокогорской руды и... другие руды того не дают. Быть может, тут при чем-нибудь небольшая подмесь меди, существующая в высокогорской руде, или другие подмеси»<sup>1</sup>.

Советская власть разделила дворец Демидовых на три части. В первой помещается горсовет, во второй — музей, и в третьей — библиотека. В нынешнем музее собрано все, что осталось от демидовской обстановки и от геологической заводской коллекции, с добавлением присланного сюда из Москвы. Получился районный музей обычного советского типа, имеющий три отдела: общий, исторический и художественный. Всем, кто приезжает на Урал и остается работать на нем, совершенно необходимо посетить этот музей, потому что он один из самых полных и показательных по уральской старине.

Пройдемся же по чугунным кружевным лестницам, по комнатам с массивными, как в бойнице, стенами.

На лестнице музея необычайный букет. На небе он стоял шевелящимся огненным венчиком из домны, здесь он стоит неподвижными колосьями, которых нельзя ни оторвать, ни пошевелить. Это причудливые, извилистые прутья бронзы, сидящие в огромном чугунном горшке. Демидовы отливали много таких бессмысленных на первый взгляд игрушек, не жалея на них ни чугуна, ни стали, ни меди, ни тем более рабочей силы. Игрушки себя оправдывали. Они служили рекламой знаменитых демидовских заводов, их посылали на различные выставки, всемирные и отечественные, к ним подводили заезжего посетителя, когда он приезжал в уральскую глушь. Вот, мол, что мы делаем из металла. Веревки всем!

Наверху, в зале, можно увидеть те самые чугунные веревки, свитые в причудливые узлы, о которых говорил

---

<sup>1</sup> «Уральская железная промышленность в 1899 году», СПб. 1900.



Менделеев,— их ковали и вили из холодного чугуна, так мягок был сплав. Есть там тончайшие чугунные листы, при помощи одной только ручнойковки превращавшиеся в предметы хозяйственного обихода: чугунные рюмки и блюда, чугунные самовары. Все эти игрушки-рекламы сразу введут вас в душу старой уральской черной металлургии; это была металлургия высококачественная; она издавна работала на древесном угле и ее изделия были знамениты своей прочностью, добротностью и искусством на весь мир

Добавим справку: в восемнадцатом столетии Россия по металлургии была одной из самых передовых стран в мире. Она, правда, училась у Англии и Швеции, но кое-чем, например размером некоторых домен, величинной отливаемых изделий (огромная пушка, изготовленная на Мотовилихе), часто обгоняла Европу. Что же касается Америки, то там плавка магнитных железняков началась лишь с 1761 года, и притом только в горнах, а доменную плавку американцы ввели только с 1795 года; у нас же на Урале доменную плавку знали уже с Петра Великого.

В общем отделе еще издали видны многопудовые отполированные глыбы дивного зеленого малахита — мечты всех экскурсантов. Тут есть и другие богатства не только своего района, правда не в таком порядке, как на хорошей геологической витрине, и между ними красивый камень змеевик, из его расселинок как бы растет серый войлок, асбест, по-иному «горный лен». Из асбеста прядут крепкие, грубые нити и ткнут разную спецодежду: рубахи, рукавицы; образцы ее развешаны тут же. Асбест огнеупорен, и если до войны ткань из «горного льна» была незаменима для пожарников, то сейчас ее значение бесконечно увеличилось.

Посреди комнаты огромный овальный красно-желтого цвета стол. Он сделан из чистой меди, и к нему надпись: «Сия первая в России медь отыскана в Сибири бывшим комиссаром Никитою Демидовичем Демидовым по грамотам великого государя Петра I в 1702—1705—1709 годах, а из сей первовыплавленной российской меди сделан оной стол в 1716 году».



Эта расточительность на «первую российскую медь» говорит лучше всяких цифр об огромных рудных богатствах Урала, позволявших Демидовым забавляться с пудами драгоценного цветного металла и отваливать, как мусор, целые горы более бедной им руды.

Уголок местной фауны — казалось бы, самый обыкновенный бурый медведь, белка, глухарь... Но глядишь на него сквозь уральскую книгу, сквозь уральские обычаи. Нет, пожалуй, ни одного уральца, кто не был бы охотником. Спроси здешнего человека, чем он «балует-ся», и непременно услышишь: «Да вот ружьишком». В охотничьей книге уральского писателя И. П. Бондина «В лесу», составляющей как бы северное дополнение к среднерусским «Запискам охотника» Тургенева, эти мишки, глухарь, белочка описаны так, что вы видите их в действии, а не чучелами под музейным стеклом. Глядишь на витрину — и кажется, будто «невидимо пролетел вальдшнеп — прохоркал»; или красавец глухарь, перед тем как запеть, «сначала крыльями схлопает»; или звонко взлаивает охотничья собака, подавая весть о белочке, а белка вытянулась во всю длину на суку, слившись с ним рыжим телом; или проходит через поляну лиса, «хвост свой пушистый приподняла немного, чтобы не замочить росой...» Наметанный глаз охотника увидел и художественно запечатлел всю эту фауну в том незабываемо умном движении, с каким зверь открывается человеку у себя дома, в лесу. И этот глаз охотника, поколениями учившийся быть метким, много помог уральскому мастеровому не только создавать замечательное искусство на Урале — чугунное литье, резьбу по камню, живопись по железу, акварельный рисунок, — с той высокой тщательностью, с какой любили работать и работали уральцы, но и стрелять без промаха по врагу во всех войнах, где они участвовали.

Недаром военный корреспондент газеты «Берлинер берзенцейтунг» Виртген писал недавно о наших стрелках, успевших крепко показать себя фашистам: «Мы не можем податься ни вперед, ни назад. В снежных блиндажах находится цвет советской армии — сибирские стрелки... Как только поднимешь голову, сейчас



же свистит меткая пуля. Многие из наших товарищей уже лежат с простреленной головой»<sup>1</sup>.

В Ленинградском этнографическом музее хранятся художественно сделанные дрожки работы нижнетагильского мастера, снабженные всякими «хитрыми» механизмами. На них был установлен покрытый живописью и лаком ящик, где помещались дальномер, считавший версты, сажени и аршины пройденного пути, и музыкальный органчик, приводившийся в действие ездой. На ящике сохранились надписи о том, кто сделал дрожки, и о том, кто их покрыл живописью: «Сих дрожек делатель Нижнетагильского его превосходительства господина Николая Никитича завода житель Егор Григорьев Жепинский, родился в 1725 году апреля 23 числа, которые сделаны им по самоохотной выучке и любопытному знанию с 1785 по 1801 год в 76-е лето своей жизни. Нижнетагильский завод». И дальше автограф художника: «Сии дрожки малевал того ж господина и завода Сидор Дубасников. Нижнетагильский завод»<sup>2</sup>. Среди «намалеванных» им картинок в коричневато-зеленоватых тонах вечернего уральского леса — две охотничьи: летящий вальдшнеп, в которого прицелился стрелок, и охота на лося. Как было бы важно и ценно для посетителя здешнего музея, если бы он мог видеть хотя бы копии этих картин в простенках между витринами, где размещены местные птицы и звери! Они наглядно показали бы ему, что около двухсот лет назад уральский крепостной мастеровой «баловался ружьишком» и лесная охота сделала его не только наблюдательным реалистом, но и замечательным снайпером!

Уральский хребет древен — древнейший хребет на земле. Этот «Каменный пояс» так долго опоясывал землю, что уже стерся от времени. Если горы Уральские не высоки, а подчас их и совсем не видно, то потому, что тысячелетия проделали над ними весь тот труд,

<sup>1</sup> «Известия», 3 апреля 1942 года, «Мартовские мелодии».

<sup>2</sup> Сведения о Е. Жепинском и Дубасникове как здесь, так и ниже взяты мною из обстоятельной статьи В. Каменского «Тагильские крепостные художники» («Уральский современник», № 3, Свердловск 1940).



какой должен был бы положить человек, чтобы очутиться «на вскрыше» их богатств, дойти до рудных залежей. Летом видна в овражках необычайная пестрота уральской почвы — десятки оттенков различных глин, слоистость, похожая на вышивку, и кажется, что такой пестрой земли, как на Урале, нигде нет. Но на самом деле это не столько особенность уральской почвы, сколько ее обнаженность, отсутствие на ней верхних защитных слоев.

О древности Урала рассказывает посетителю исторический отдел музея. В нескольких километрах от города имеются богатые залежи торфа. В торфяных слоях, насчитывающих тысячелетия, погребены остатки первобытной культуры древнейших уральских жителей. Почти каждый год до войны сюда приезжала археологическая комиссия и разрывала торфяники. Часть находок она увозила в столицы, но часть развешана здесь. Тонкие, гладкие весла из тщательно обработанного высокосортного дерева, тяжелые большие полозья от саней с отверстиями для ремня или древесного жгута. Если верить этим полозьям, на Урале три тысячи лет назад пользовались прирученными домашними животными. Глядит со стены выразительный деревянный идол со вскинутыми передними ногами, короткими, как у зверя, с живыми глазными впадинами. На большой глубине в торфе найден целый жертвенный помост с предметами культа.

Кто эти древние уральские жители, чья культура оставила нам почти скульптурно отесанные весла?

В чудесной книге П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» о них рассказывается легенда, живущая в памяти поколения: «стары люди» на Урале были богатырского роста, умели плавить железо, знали золото, но не ценили его, и от новых пришельцев эти простые, детски чистые люди ушли в «гору».

Но исторических жителей Урала, предшествовавших нам, мы знаем. Это коми-пермяки, манси, хантэ, удмурты, татары, башкиры, калмыки, киргизы<sup>1</sup>. Они занима-

<sup>1</sup> Манси — раньше назывались вогулами, хантэ — остяками, удмурты — вотяками.



лись охотой и рыбной ловлей, а у татар и башкир было, кроме того, примитивное сельское хозяйство. Манси почти уже вымерли, от них осталось лишь несколько семейств, живущих за Надеждинском (сейчас Серовом); в Ивделе. Их прошлое представлено в музее острыми и тонкими вогульскими стрелами с пучком птичьих перышек на наконечнике. Но если старый музей ограничивался тем, что бедно и несложно показывал прошлое этих народов, по установившемуся шаблону представлявшееся очень примитивным, то от советского музея тут, у преддверия Азии, хотелось бы больше внимания и пытливости к этому прошлому. Наши поэты только недавно перевели гениальные эпосы алтайского и киргизского народов «Манаш» и «Манас», и в них раскрылась очень глубокая, древняя поэтическая культура этих народов, связь их с древнейшей цивилизацией Китая. Таким же интересным и сложным оказывается поэтическое наследство башкир, переводимое на украинский язык поэтом Павлом Тычиной. Невольно задумаешься: не сыграло ли соседство этих народов, шедших некогда на Урал из глубины Азии, какую-нибудь роль в жизни первых русских поселенцев Урала, не повлияло ли оно в какой-то мере на их прикладное искусство, их песни, их орнаментику и даже на самое уральское мастерство, на его особенности? Взять хотя бы лак. В последней комнате музея есть образцы совершенно самобытного нижнетагильского крепостного искусства, так называемой «лаковой живописи», то есть живописи по железу, покрываемой очень прочным прозрачным лаком. Нигде в России (только несравненно позднее в Московской области) такого искусства не было. О нижнетагильском лаке, секрет которого нижнетагильские художники утаили от посторонних, современники отзывались восторженно, ставили его выше европейского, рядом с китайским. Путешественник Паллас<sup>1</sup> пишет в своей знаменитой книге, что нижнетагильские изделия «лаком наведенные, немного хуже китайских, а лучше французских». Не могла ли традиция изготовления ла-

---

<sup>1</sup> П. Паллас, Путешествие по разным провинциям Российской империи, СПб. 1773—1788.



ка, подобно и самой лаковой живописи, забрести на Русь — в заволжские скиты, на Урал — из Китая? Во всяком случае, быт и культуру древних уральских народностей следовало бы представить в историческом отделе музея конкретнее, а в уголке Пугачева дать больше места истории его сподвижников, башкирского героя Салавата Юлаева.

Недавно на Урале выкопано было древнейшее иранское серебряное блюдо эпохи Сасанидов; его передали в Восточный отдел Эрмитажа. Как попало сюда это блюдо? О каких торговых связях Урала с далекой Персией говорит оно? Значит ли это, что еще до новгородских купцов, двинувшихся с одиннадцатого века на Урал в поисках пушнины, здесь проходили торговые пути на Восток и на Запад и Урал жил своей культурной международной жизнью? Такие находки, как древнее иранское блюдо, составляют эпоху в археологии, и опять хочется пожелать музею, чтобы на стене его висел **хотя бы** снимок с этого блюда с подробным текстом, составленным учеными сотрудниками Эрмитажа.

Еще больше пожеланий вызывает художественный отдел. Здесь интересные уральские и нижнетагильские памятники искусства тонут в случайном сборе картин разной ценности и разного времени. Получилось это так. На Урале был найден подлинник Рафаэля. Его послали в центр. А за него столичные галереи щедро отпустили Нижнетагильскому музею несколько десятков старых, хорошего качества, картин, которые в обычных городских галереях представляют собой необходимый фон для двух-трех шедевров. Эти хорошие картины развесили по стенам, а между ними, руководствуясь хронологией, разместили и те, что имелись в музее раньше; несколько картин крепостных художников Худояровых и уцелевшие портреты уральских магнатов, владельцев Тагила, Демидовых.

Чего бы хотелось зрителю? Во-первых, чтобы в таком музее, как Нижнетагильский, с его краеведческим уклоном, было больше образцов **м е с т н о г о** народного искусства (в том числе и прикладного) с подробными пояснениями к ним. Такого искусства в Нижнем Тагиле было много, он славился своими живописцами по



железу, своими замечательными рисовальщиками, резчиками по камню, знатоками обработки малахитов и других минералов, что в своем роде тоже искусство. Во вторых, хотелось бы, чтобы картины Худояровых и портреты Демидовых были выделены в отдельные группы, чтобы они не терялись, а могли быть сразу увидены, изучены и поняты в их хронологическом порядке. Немножко истории здесь не только не помешает художественному впечатлению, а, наоборот, усилит его.

Вот родоначальник сказочных богачей, купивших себе за деньги целую область в Италии и с ней титул князей Сан-Донато,— простой тульский кузнец, Никита Демидович Антуфьев, родившийся в середине семнадцатого века, в 1656 году, и умерший как раз в год построения Нижнетагильского завода — в 1724 году. На портрете худой мужик с пронзительными черными «пугачевскими» глазами, в бороде лопатой, с огромным покатым лбом мыслителя и жилистой большой рукой рабочего. Такая страшная сила в этом лице, такое желание жить и жить, что, кажется, именно с него писал Гоголь свой «Портрет».

Сын Никиты, Акинфий Демидов, представлен поясным бюстом. Он еще хранит от отца здоровье и силу, но это уже вельможа, а не мужик. Контуры лица смягчились и округлились, подбородок выбрит, оставлены кошачьи усики под Петра I, волосы подстрижены по моде, и одет он в духе знатных людей своего, петровского времени.

После Акинфия Демидовы резко мельчают. Оторванные от труда руки становятся вялыми, глаза и подбородок теряют свой характер, черепные коробки опускаются все ниже и ниже, и в потомках Никиты — Анатолии и Павле Демидовых — начинает проступать уже что-то пассивно-патологическое. Неограниченные возможности, открываемые огромным богатством, превышавшим доходы многих европейских государств, съедают их волю и характер, уничтожают способность внимания, отрывают от всякого дела, уводят от родины. Демидовы живут за границей. Один из них, Анатолий, женится на принцессе Матильде де Монфор, родного



языка уже не знает и помечает на докладах, получаемых с Урала, по-французски: «*aprouvé*»<sup>1</sup>. Такова нисходящая линия рода Демидовых: от кузнеца-предпринимателя, которого уважал Петр I, с которым он советовался о развитии отечественной металлургии, от которого ждал помощи в войне со шведами и получал эту помощь, до вельмож-миллиардеров, полуидиотов с ослабленной волей<sup>2</sup>. Эта линия была бы гораздо виднее посетителю, если бы портреты висели в последовательном порядке, а не вразбивку.

Неплохо было бы тут же для сравнения привести историю и какой-нибудь выдающейся семьи демидовских крепостных крестьян, например историю семьи Худояровых, давшей четыре поколения живописцев.

Если «господ» рисовали и лепили лучшие художники эпохи, то от Худояровых портретов почти не осталось. Но зато архив сохранил нам их моральный облик, а время уважило их живописное наследство. Почти все Худояровы четырех поколений были замечательными художниками.

Предки их, поволжские старообрядцы, бежали от церковных гонений на Урал. Федор Андреевич Худояров в конце XVIII века уже имел в Нижнем Тагиле мастерскую лаковой живописи по железу; из шести его сыновей Павел, Исаак и Степан были живописцами, дети их тоже.

Эта даровитая семья шла к упадку, подобно Демидовым, хотя причины упадка были совсем другие. Для крепостных людей человеческая жизнь, нормальное развитие, двери в Академию художеств были закрыты.

Перед нами еще недавно, в дни юбилея, ожила великая трагедия Т. Шевченко, выкупленного из рабства на общественные деньги, потому что иначе он не мог бы попасть в Академию. Павел Худояров, пославший на академическую выставку превосходную копию с картины Коппеля «Принесение на жертву Ифигении» и получивший за нее премию и похвальный отзыв, по-

---

<sup>1</sup> *Approuvé* — одобрено.

<sup>2</sup> Одного из последних Демидовых хорошо описал Мамин-Сибиряк под фамилией Лаптева в романе «Горное гнездо».



пасть в Академию все же не смог, потому что остался крепостным. Не смог попасть в нее и брат Исаак, человек оригинальный и сильный. Худояровы, при всем их огромном таланте, обречены были остаться без художественного образования.

У Павла, тепло и прочувствованно передававшего человеческие лица, «рисунок имеет много погрешностей», как писали о нем «Отечественные записки». Исаак возмещал школу тщательным изучением природы. Хороший садовод, он разводил у себя необыкновенные цветы, выращивал фрукты и ягоды и часами сидел в саду, пытаясь точно схватить и передать своей кистью их формы и краски.

Лишенные специальной школы, скованные крепостной неволей, тонкие и глубокие художники Худояровы мучились в тисках заводского чертежничества и ремесленного кустарничества; они так и называли себя кустарями: и на всех их работах тяготеют, с одной стороны, заводской уклад, старые дедовские навыки, привычка работать с трафаретами и с помощью образцов, выучка чертежному делу; с другой — традиция иконописи, скованность и робость стиля, приближение к средневековому примитиву, тщательность вырисовки предметов, композиция и раскраска в духе старой византийской манеры. Не имея возможности пройти через настоящую школу, Худояровы учились где и как могли: и у деревенских иконописцев и в демидовских маркшейдерских заводских школах у чертежников; отсюда такое странное сочетание в их картинах чисто технического отношения к пространству со строгой византийской неподвижностью человеческих фигур и «ликов», сочетание, которое можно было бы назвать первой школой «индустриального направления» в искусстве.

Вот большой заводской «интерьер» — картина, изображающая внутренность цеха, где происходит литье чугуна из воздушной печи. По середине цеха тщательно, с соблюдением всех мелочей, с обозначением структуры кладки, с точнейшим расчетом действительных пропорций, написана печь, как ее мог бы сделать инженер или архитектор, владеющий кистью. Возле печи, на разных ее участках, заняты люди. Операции, которыми



они занимаются, изображены так, как если бы художник писал для своих учеников наглядный урок: вот этот, с ломом в руке, пробивает летку и выпускает чугун, эти заняты самой печью и так далее. Но люди — скованные, условные фигуры в рубахах и высоких круглых шляпах — словно сошли с византийских икон: их мог бы писать богомаз.

Инженер и иконописец, черчение и византийское письмо, а где же художник? Вся сила художественного дарования Худоярова вырвалась вместе с огненной струей из печи в изображении огненного отблеска. Бьют яркие струйки чугуна, сыплется искры раскаленного металла, идет полыхание, озарившее всю верхнюю часть печи, фигуры людей и кусок пола. Чугун — главное действующее лицо в картине — живет. И это тоже не случайная черта, а характерная для рабочего, для «мастера огненного действия», как называли в старину мартеновцев и литейщиков. Кто знает литье и бывал в цехах, тот видел чудесную особенность огня; к огню, к потоку огненного металла, к зрелищу огня рабочий никогда не бывает равнодушен, не может привыкнуть настолько, чтобы перестать на него любоваться.

Худояровы писали и пейзажи. Перед нами окраина города, слева — Лисья гора с каланчой, справа — холмы рудника. Все запорошено снегом. Но и этот пейзаж («Зимний вид Тагила») выдает маркшейдера, чертежника: так чисто технически изображены в нем все городские слагаемые пейзажа; дреколье заборов, ровная линия бараков, четкое размещение домиков на заднем плане. Дышит и живет на картине только один снег. Художник отвел на нем душу, он подметил тончайшее изменение оттенков снега, дал его густым, пухлым, нетронутым в поле, сдутым и редким на горном склоне, притоптанным на дороге.

А вот большая картина «Прокатный цех Нижнетагильского завода». Еще и сейчас стоит этот прокатный цех, как двести лет назад, но сейчас он оборудован новейшими станками. Тут, на картине, видны весь его длинный пролет и старинный прокатный стан с двумя валами. Рабочий в белой рубахе, изогнувшись, просовывает между валами железный лист. Невольно вспо-



минаешь разговор со знатным тагильцем, мастером-листопрокатчиком Терентием Зотиевичем Лапиным. Этот высокий смуглый человек, с живыми глазами в сморщенных, почти без ресниц, веках, всю свою жизнь проведший на заводе, сын листопрокатчика и внук сталевара, очень хорошо знает старину. Показывая свой цех, он говорит о прокате как о большом старинном искусстве: «Раньше крсельный-то лист катали, бывало, «подмусориваньем» — между листами насыпали горячую древесину, угольную пыль, — и получался хороший глянцевоый лист, долговечное железо».

На картине, повидимому, представлено это «катанье подмусориваньем». Рядом с рабочим стоит наблюдающий за работой в длинном кафтане; справа на лавку присел бледный бородатый рабочий. Дети принесли ему обед. Он подносит ложку к губам, а сам пугливо озирается, что там, в цеху. Передано это уже с большим реализмом, повидимому кем-нибудь из последних Худояровых.

Третий брат, Степан, побывал в Риме. Однако двери Академии остались закрытыми и для него. Только Василий, сын Павла, да Вонифатий, сын Исаака (уже четвертое поколение Худояровых, если считать прадеда Андрея), попали в нее, но уже по получении вольной.

Из текста вольной мы узнаем о наружности Василия: «Приметы его, Худоярова, следующие: рост два аршина и семь вершков, волосы на голове и бровях темнорусые, бороду бреет, глаза серые, нос, рот и подбородок обыкновенные, лицо чистое, особых примет не имеет».

Таков уцелевший портрет одного из Худояровых — четвертого поколения. Видно, что и они изменились в сторону смягчения типа, и они измельчали. Деды — кержаки, староверы — были орлиной, строгой породы, какая и сейчас мелькнет иной раз в слободе Гальянке или в Ключах — рабочих кварталах Нижнего Тагила — в каком-нибудь одиноком старике, вышедшем под вечер из ворот. Предки носили бороду, имели «особые приметы» и в покрое длинного кафтана и в стрижке волос. А эти уже «бороду бреют», на европейский манер, видимость имеют обыкновенную, без особых примет.



Но если у Демидовых измельчание привело к вырождению, у Худояровых оно только признак рафинировки типа, все большей и большей интеллигентности его.

Длинный ряд дарований, казалось, должен был дать своего высшего выразителя, художника огромной силы. Но Вонифатий, самый младший из Худояровых, хоть и попал, наконец, в Академию, кончить ее не смог. Вонифатий — страшно сказать — умер с голоду, не доучившись. В своем прошении на имя академического совета он пишет, что, поглощенный учением, он не имеет «ни времени, ни возможности приобретать средства к жизни»: он упоминает об отце как об очень бедном человеке, обремененном большой семьей; он несколько раз обращался в Академию художеств с мольбой, с воплем о помощи:

«Я возлагаю последнюю мою надежду на милостивое внимание совета к моим успехам...» Но все его прошения ни к чему не привели. И последний из семьи народных талантов, горбом пробивший себе дверь в школу, кончил катастрофой: он тяжело заболел от хронического голодания, слег и был исключен из Академии.

Так рядом с жиреющими, гибнущими от излишка, утопающими в безграничном богатстве, не знающими, куда и на что девать средства, отпрысками рода Демидовых гибнет от истощения и недоедания, от невозможности получить поддержку и помощь их бывший крепостной, самобытный и яркий представитель рода Худояровых. Рабство и капитализм, как оглоблями, ударили одним концом — самовластьем и пресыщением — по рабовладельцу и эксплуататору; а другим — нищетой и истощением — по талантливому труженику и жертве.

Хотелось бы последовательно увидеть все это в музее, прочитав об этом в хорошо сделанных надписях и, познакомившись с судьбою художников, расшифровав для себя начальные буквы их имен, с любовью и вниманием смотреть их картины.

Мы собрали и отдали трудящимся все, что раньше стояло и висело в «богатых залах» на равнодушную потребу одного-единственного человека. Но над Нижнетагильским музеем надо еще очень и очень поработать,



чтобы он стал настоящим культурным советским музеем — достойным нового, выросшего социалистического Тагила.

Скажем, кстати, несколько слов и о состоянии, в каком находятся сейчас и другие музеи Урала. Большая часть экспонатов Свердловского краеведческого музея — в ящиках. За двадцать месяцев войны мало что можно было увидеть в этом хранилище уральского прошлого, не говоря уже о том, что массовых посещений музея организовать было и вовсе невозможно. В Миассе есть очень интересный уголок, гордо именуемый местным музеем. Вы входите с улицы в первый этаж и еще с порога первой комнаты видите какую-то странную сидячую фигуру голого, бородатого человека. Вам сразу не по себе, — фигура необычна, страшна в своей необыкновенной, мрачной выразительности, черты ее живут, краски ее живут, она убивает собой все остальное в зале. Но это не фигура из паноптикума, не воск, а сделанная из дерева и раскрашенная статуя сидячего Христа, так называемый «Кундравинский бог». Его безымянный творец был настоящим самородком, талантливым скульптором из народа. По жуткой жизненности, какую придал он своему созданию, по силе выразительности эта скульптура ничуть не уступает знаменитой деревянной «Нюрнбергской мадонне». Идол был долгое время народной святыней, и сейчас в маленьком, бедном музейчике его внушительный вид производит странное, вряд ли нужное здесь впечатление. Все остальное в музее — жалкий случайный сброд; на стене — экран с подбором напильников местного производства, камушки под стеклом, засиженные мухами плакаты. А ведь Миасс — это сейчас огромный промышленный центр, где собраны гиганты индустрии, где много памятников старого быта, где есть местные старожилы, культурные работники, где — в нескольких километрах — работает замечательный «Ильменский заповедник». Неужели нельзя было бы развернуть и на солидную ногу поставить здешний музей, чтобы и жители, и рабочие, и учебные войсковые части могли найти в его посещении и удовольствие, и пользу, и отдых?



Единственные собрания, о которых можно сказать, что они выросли и обогатились за время войны,— это небольшие, вновь возникшие и никогда раньше небывавшие музейчики на крупных наших комбинатах. Так, исключительно хорош и очень культурно ведется геологом Е. И. Каминской-Дульской музей «Магнитной горы» при Горном управлении Магнитогорска. Все, что только есть в рудных карьерах Магнитки, необычные образцы, поразительные в своем разнообразии,— все это можно увидеть, тщательно расклассифицированное и описанное, под стеклом музейных витрин.

Еще более интересен и оригинален недавно возникший музейчик доменных шлаков одной из больших наших домен, производящей впервые ферромарганец. Такие местные, научно-лабораторного типа музейчики играют сейчас огромную роль в оборонной промышленности, помогая изучать результаты новой технологии, новых производственных опытов. На них не следует скупиться, надо вводить особую графу в бюджет для их поддержки, и данные этих музеев-лабораторий подвергать постоянной обработке.

## 2. В библиотеке

Из музея тут же, не выходя на улицу, следует пройти в библиотеку, где есть кое-что и из демидовского архива (большая его часть вывезена в Свердловск) и хорошие краеведческие издания по Уралу, правда не все.

Стучитесь сюда, чтобы узнать поближе тех больших, настоящих, замечательных людей, чьими руками в прошлом застраивался Урал, кто создавал здесь передовую для своего времени технику, кто отливал чугуны, сталь и бронзу, взрывал недра, находил в них рудные богатства, умел проводить изыскания по берегам рек и определять места под плотины, а потом строить и охранять эти плотины, кто, одним словом, совмещал в своем лице чернорабочего и мыслителя, художника и инженера, геолога и строителя, техника и изыскателя и был, по примеру Леонардо да Винчи, «универсальным механиком», а ко всему прочему «приписным к заводу»



крепостным рабом, от которого чаще всего не оставалось даже имени.

Предки этих лучших людей бежали на Урал с новгородской вольницей и были смелыми, предприимчивыми, свободолюбивыми, оригинальными характерами, не желавшими подчиняться ни игу татар, ни игу царей, ни игу церкви, ни ярму крепостного права. Но потомки их оказались в еще худшем закрепощении у капитала. Из тысяч и тысяч одаренных уральцев до нас дошло только несколько имен. На Урале родился знаменитый изобретатель паровой машины самоучка Ползунов; Урал — родина творца радиотелеграфа Попова; Урал дал таких гидротехников, как Козопасов и Ушков, таких строителей, как Черепановы, создавшие первую в России железную дорогу; таких конструкторов, как изобретатель велосипеда Артамонов; такого мастера «самоучной выучки и любопытного знания», как старик Егор Григорьевич Жепинский.

О дрожках с дальномером и музыкой, построенных Жепинским, мы уже знаем. Старик делал их «в 76-е лето своей жизни», сохранив на восьмом десятке весь свой творческий жар. По профессии он был каретником и колесником; в Нижнем Тагиле это было одной из фамильных профессий, передававшихся от отца к сыну, и нижнетагильские кареты славилась добротностью на всю Сибирь. Но, кроме карет, Жепинский создавал механизмы, сделал для своего хозяина, Демидова, замечательные часы, разработал «железорежную мельницу по новой модели» и обучал учеников. На дрожках Жепинского живописец Дубасников оставил нам его портрет, единственный, по которому можно представить себе уральских талантливых самородков восемнадцатого века. Старик держится прямо и молодо, в умном породистом кержацком лице — ни тени самоунижения, нос с горбинкой, глаза пытливы; на портрете как символ деятельности Жепинского — сделанные им часы.

Как-то под вечер мне пришлось проходить пустынной улицей Гальянки В вечернем голубом снегу эта улица, тихие избы, ажурные деревянные беседки над колодцами, полыхание огня на горизонте (там вывалили в яму вывезенный с завода горячий шлак), одинокие фи-



гурки женщин со старинными коромыслами на плечах показались мне вдруг знакомой картинкой «Зимний вечер в деревне» из любимой в детстве книги. Не хватало только желтых огоньков в окнах, но вот зажглись и огоньки. Кажется, сам снег задышал особенным ароматом книжного клея, глянцевої иллюстрации... Тут из-за угла вышел старик. Точно ожил Жепинский: начесанные на лоб седые волосы, орлиный нос с очень большими, широко вырезанными ноздрями, седая борода лопатой, круглые глаза с неподвижным орлиным взглядом, с ободком вокруг зрачка, и тонкие, как палочки, старческие ноги из-под полушубка. Он быстро и молодо, как цапля, зашагал от нас, и удалось только выведать, что он «работает колеса». Такие живые, выразительные, словно выпрыгнувшие из прошлого старики, потомки длинного ряда многих поколений ремесленников, плотников мастеров, колесников, рудознатцев, сталеваров, горновых, нередко еще встречаются в уральских рабочих слободах.

Но прошлое часто ломало характеры, превращало их в «слабые». Из гениального мастера Артамонова пытались сделать скомороха. В 1801 году, во время коронации Александра I, он был допущен «бегать на изобретенном им велосипеде» на потеху царя, за что Александр I «повелел мастеровому уральских заводов Артамонову со всем его потомством даровать свободу от крепостной зависимости».

О мастеровом Нижнетагильского завода Степане Козопасове сохранилась в архиве характеристика, что он был «слабого поведения». Этот человек, чувствовавший технику нервами и мускулами, но грамоте не обученный, был послан Демидовым в Швецию изучать «водоподъемные устройства». Дело в том, что медный рудник у Тагила затапливало водой, и эту воду откачивали насосом с конным приводом; посменно работали на приводе двести шестнадцать лошадей, сто сорок пять погонщиков и конюхов; содержание их обходилось в шестьдесят тысяч рублей ежегодно, а полностью вода не откачивалась, и богатейший рудник шестипроцентной меди мог остановиться. Нужно было что-то немедленно придумать, и лучшие механики Тагила были поставлены



на это дело. Превосходный знаток уральской старины и техники, Бармин, в № 1 «Уральского современника» за 1938 год чудесно рассказывает, как два мастера, Черепанов и Козопасов, стали в 1825 году состязаться на лучшее решение этой задачи. Черепанов придумал сделать для откачки воды паровую машину. А Козопасов изобрел «водяную машину на манер шведской»: в километре от рудника, у ближайшей плотины, он поставил пятнадцатинаршинное колесо и от него провел к руднику штанги на столбах. Приведенные в действие штанги неумолчно скрипели, и этот необычный звук, поражавший проезжих, создал даже местную поговорку: «Заскрипели, как штанговое колесо».

Козопасовское изобретение удешевило работу по откачке в двести раз: оно откачивало в минуту сорок четыре пуда воды, и Демидов приказал выдать Козопасову за «оказание старания» тысячу рублей ассигнациями (двести пятьдесят рублей).

В чем же выражалось «слабое поведение» Козопасова? Можно безошибочно предположить, что он был. Мастерские типа Жепинского, сильные, кряжистые, уверенные в себе, фанатически преданные вере и укладу отцов, были носителями устойчивой внутренней гармонии. Они чувствовали себя сильнее и нравственно выше своей среды, быть может даже выше своих господ; они и в рабстве хранили свой «полет орла», кержацкое суровое достоинство. Как раскольники, они от отца к сыну наследовали, вместе с двуперстием, и грамотность: умение писать крепкими, византийского характера буквами, витыми кренделями, напоминающими летописное письмо двенадцатого века. Но Козопасов был, повидимому, не из старообрядческой семьи, во всяком случае грамоте его не обучили. И в то же время в нем был гений, сообразительность, чутье на «заморские махины». Он едет в Швецию. Среди вольных шведских граждан Козопасов ходит, наряженный в заграничный костюм, жадно впитывает все, что видит, и остро чувствует необычность своего положения, как чувствовали его все крепостные Демидова, посылавшиеся для обучения за границу, как чувствовал себя молодой Худояров в Риме. Раб, собственность барина, а во-



круг — вольные люди. Талант — и неграмотность, за-  
граница — и рабство, страшно резкий переход из одной  
социальной среды в другую — и недостаток внутреннего  
сопротивления, отсутствие внутренней культуры. Вер-  
нувшись домой, Степан Козопасов пьет, пьют и другие  
уральцы-мастеровые от двойственности своего положе-  
ния, от безвыходной тяжести, от «таланта», не имею-  
щего пути-выхода. Пьянство передавалось по наслед-  
ству, и крепкие, дюжие парни, отчаянные по виду, в за-  
ломленных шапках, с гармонью, тяжело веселились в  
«кумпании», ходили кучкой допоздна то по улице сво-  
его поселка, то по улице соседнего. Конечно, характе-  
ристика «слабого поведения» Козопасова — мой домы-  
сел. Но взят он не из воздуха. До конца прошлого века  
на старых уральских заводах, особенно Нижнетагиль-  
ском, была в ходу кличка «заграничные», применяв-  
шаяся к потомкам демидовских крепостных, побывав-  
ших за границей. У Мамина-Сибиряка в романе «Гор-  
шое гнездо» есть страшная страница об этом:

«Происхождение этого названия относится к первой  
четверти настоящего столетия, когда уральскими завод-  
чиками овладела мания посылать молодых людей из  
своих крепостных за границу для получения специаль-  
ного образования по горной части. Из Кукарских  
(имеется в виду Нижнетагильский.— М. Ш.) заводов  
было послано двенадцать человек, выбранных из самых  
способных школьников при заводских училищах. Эти  
школьники прожили за границей лет десять, получая  
большое содержание. Они совсем освоились на новой  
почве и почти все пережились на иностранках. Вдруг  
их всех требуют в Россию на заводы. Молодые парочки  
едут на Урал, где и узнают сначала, что они крепостные  
Лаптева (то есть Демидова.— М. Ш.), следовательно,  
попали в крепостные и их жены... а затем они из-под  
европейских порядков перешли прямо в железные лапы  
Никиты Тетюева (управляющего.— М. Ш.), который  
возненавидел их за все: за европейский костюм, за  
приличные манеры, а больше всего за полученное ими  
европейское образование... Загнанные и забитые, «за-  
граничные» были рассованы по самым ничтожным  
должностям на копеечное жалованье, без всякого вы-



хода впереди... Механики получили места писарей, чертежники — машинистов, минерологи — в лесном отделении, металлурги — при заводских конюшнях». С теми, кто пытался протестовать, управляющий раздельвался розгами, разжалованием в шахтеры и чернорабочие. «Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати «заграничных» в три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума». Потомки их вышли нервнобольными и наследственными алкоголиками.

Механики Черепановы, отец и сын, — это опять новые характеры. Обычно считается, что первая железная дорога на Руси построена в 1837 году между Петербургом и Царским селом иностранным инженером Герстнером. Но это неверно. Первую железную дорогу построил на Урале от завода до рудника в 1833 году, то есть за четыре года до царскосельской, крепостной Ефим Черепанов, «домашний природный механик», как называют его документы. В это время ему было около шестидесяти лет, но на Урале такой возраст еще не ведет за собой старости. Черепанов, судя по документам, твердый человек. Он заставил господ уважать себя. Демидов пишет о нем: «Другого человека в заводах ему подобного не имеется». Работает он не в одиночку: у него мастерская, и в ней свыше пятидесяти рабочих. Рядом с ним работает и учится второй Черепанов, сын его Мирон. Оба эти механика уже отличаются чертами профессионализма, упорством и технической культурой.

Черепанов тоже побывал за границей уже пожилым и степенным человеком (ему было лет под пятьдесят тогда), сперва в Англии, потом в Швеции, вместе с сыном. Отчетливо представляешь себе двух этих людей, старого и молодого, из одного корня, с одинаковыми, уральского склада, неразговорчивыми и замкнутыми характерами, с пытливыми мужицкими глазами под умными лбами; как они ходят по нарядным корпусам шведского сталелитейного завода, держа свои шляпы в руках, здороваются по русскому крепостному обычаю низким поклоном, но хранят при всем том достоинство и свою врожденную хитринку: нас-де на видимости не



проведешь, нам пыль в глаза не пустишь. И молодой Мирон вслед за отцом тоже хранит в себе частицу критики, легонького недоверия и нелегкой сдачи перед чужим. Не так ходил «за границую» восторженный, восприимчивый, легко терявший себя Козопасов! Сейчас такие Черепановы были бы, как отец и сын Коробовы (тоже знаменитые уральцы), старик — почетным мастером на заводе, а сын — заместителем наркома.

«Давай примечай-ка», — движением седоватых бровей указывал, должно быть, старый Черепанов сыну на какую-нибудь новую для него деталь в машине. А когда он был в Англии и смотрел паровые двигатели, то, вероятно, думал: «Ну и что, у нас Пожва с семнадцатого года их для речного судна работает, правда в секрете свои дела держит. А мы тоже гляди не дураки. Я такой паровой двигатель, и аглицкого не видав, уже у себя в Тагиле сделал».

Черепанов имел право так думать и говорить. В Пожвенском заводе на Каме действительно в большой тайне от других заводов делали пароход, а сам Черепанов устроил в Тагиле небольшую, на четыре лошадиных силы, паровую машину для мукомольной мельницы. Сын его Мирон тоже затеял паровой двигатель еще до поездки за границу. Они с отцом закончили его в 1833 году и называли «сухопутным пароходом» в параллель к пожвенскому речному. Этот сухопутный пароход, или, по определению заводских служащих, «пароходный дилижанец», а для рабочих просто «пароходка», и был тем первым русским паровозом, который за четыре года до царскосельского прошел по первой нашей железной дороге — трехкилометровому рельсовому пути, уложенному от медного рудника до Выйского завода.

Оба Черепанова работали на Демидовых много и непрерывно. И все же старший, Ефим, до 1833 года оставался в крепостном состоянии: Демидов дал ему вольную, лишь когда он заканчивал шестой десяток своей жизни. Сын его, Мирон, был раскрепощен только в 1836 году, а обе семьи этих талантливых больших русских людей так и остались «в крепости», подобно семье Тараса Шевченко.



Одного поколения с Черепановым-младшим или, может быть, несколько старше его, на том же Нижнетагильском заводе у того же Демидова выдвигается могучая фигура другого талантливой крепостного человека, Клементия Константиновича Ушкова.

Этот и сильнее, и умнее, и стропривее всех своих современников и разговаривает с господами языком Ломоносова. Время не сохранило нам его портрета. Но остался автограф — красивая каллиграфическая строка летописной, византийской вязи, где поражают своей характерностью буквы «т», три ровных палочки с перекладиной наверху, буква «е», мы пишем так заглавную, и особенно буква «у»: ее Ушков поднял на строку и вывел, как узел, с двумя поднятыми наверх концами.

Властный, старомодный, нителлигентный, вернее сказать мыслящий или «духовидный» почерк; и таково же, повидимому, и направление самого ушковского характера.

В библиотеке имеется «дело» Ушкова. В папке собраны: заявление Ушкова; переписка уральского «Горного управления» с исправником нижнетагильских заводов; второе заявление Ушкова и отклонение его<sup>1</sup>. В этих простых, прозаических документах встает живая и выразительная повесть о незаурядном человеке, — замечательном его деле и канцелярской чудовищной машине крепостничества.

Если вычесть из языка Ушкова некоторый вычур, повидимому требовавшийся для разговора с барями, а может быть, от себя внесенный писцом (бумагу Ушков, вернее всего, диктовал и только положил на ней свою подпись), то получится речь, полная самоуважения и большой убедительности.

В 1841 году (за год до смерти старшего Черепанова) 12 ноября крепостной заводской крестьянин Ушков обратился к начальству нижнетагильских заводов с таким «представлением»: он хорошо знает, что заводы эти «с издавних лет имеют напряжение перевести реку Черную в Черноисточенский пруд», потому что от этого

---

<sup>1</sup> Архивные документы по делу Ушкова в 1942 году, когда писалась эта статья, еще никем не были использованы.



должна получиться большая польза «вододейственному производству». Но до сих пор заводоуправление никак не могло этого сделать, потому что «многие механики», в разные времена проходившие «промеждо сими водами с отвесами», сколько ни обследовали берега,— годного под плотину места не нашли и признали «сие дело невозможным».

Между тем он, Ушков, хозяин многих «крупитчатых мельниц», постоянно знался с запрудами, проводил воду канавами, а кроме того — «действительно имею способность насчет отвесов и ловкости изыскания мест, где лучше провести воду».

Поэтому он, не говоря никому ни слова и на собственный счет, сам в течение лета обследовал берега реки Черной и заприметил, где удобно пустить из нее воду, сделал точный промер для трассы канавы («учинил вернейший отвес»), нашел «место удобное по занятию плотиною воды», где может быть «хороший разлив» и вода поднимется до семи аршин: «Из коего пруда можно будет с шести аршин пущать воду в канаву, чтоб непременно было падение до четырех аршин».

Дальше он точно рассказывает, как надо будет спускать вешние ливневые воды, чтоб не подмывало канаву, как он устроит самое канаву, укрепит отвесы, какой материал возьмет для этого, и все это очень наглядно, не инженерным, но мастеровым языком, каким выражаются не те, кто проектирует вещь на бумаге, а те, кто ее строит собственными руками. Прочитав вслух эту докладную записку любому, даже неграмотному мастеру, можно не сомневаться, что люди сразу поймут ее практическое, деловое содержание.

«Сия же вода объясненной канавы проведена будет в речку Чауж, повыше лежащего на том Чауже по Высимской дороге моста около полуверсты».

Тут же Ушков отмечает добавочные удобные места для плотин: одну возле Черноисточенского завода, причем эта плотина «никакого вреда и остановки не принесет течению воды по канаве».

Специалисты, читающие сейчас проект Ушкова, говорят, что комбинация, предложенная им, гениальна по своей простоте. То, что казалось невозможным «многим



механикам», в том числе и иностранцам, разрешил крепостной, заводской крестьянин.

Пусть не подумает читатель, что речь идет о каком-нибудь ничтожном деревенском сооружении, о чем-то вроде мельничной запруды. Черноисточенская вододействующая система была для того времени (да и для нашего) монументальным проектом, где одну деривационную канаву нужно было провести не менее, чем на четыре с половиной километра; такие деривации и сейчас в Закавказье считаются большим строительством.

И вот, раскрывая перед заводоуправлением свой замысел, Ушков, как богатырь, берется сам, один, все это построить:

«И все сие я берусь упрочить в три лета или могу поспешить и ранее. И сверх того по два года могу наблюдать, дабы сие действие воды исправно было».

Мало того, что берется построить один, но и намерен сделать это на собственный счет:

«Пока я не пушу Черноисточенский пруд той канавой из реки Черной на прописанном основании воду, дотоле мне никакой суммы на расход того производства не требовать».

Он только просит, чтоб разрешили взять нужный для плотины лес да металл с завода, и то не даром, а за его счет. Рабочих он тоже намерен нанять своих:

«Исправить берусь сию всю обязанность вольнонаемными людьми и нисколько не займу из штатных заводских людей или служителей».

Однако и это еще не конец. Заводоуправление, задев земли крестьян, выплачивало им определенные суммы. Ушков заявляет, что он и этот расход берет на себя:

«И в таком случае я обязуюсь обывателям заплатить деньги, как и от управления при золотых приисках за покосы платится».

Портрет Ушкова встает перед нами. Гениальный техник, предприниматель, богач. Такое крестьянское богатство не показывает ли «кулака»? Но заводской крестьянин Ушков — плод совсем своеобразных условий. Он, несомненно, очень богат, богат от ума и таланта: владеет не одной, а несколькими мельницами, пре-



красно знает технику провешивания, начатки геометрии, геодезии, строительное дело, основные принципы механики, гидротехнику и даже гидрометрию, поскольку рассуждает о верхнем и нижнем течении воды в канаве. Всего этого он, повидимому, достиг самоучкой.

До тонкости знает Ушков свою родную уральскую природу, чувствует ее недра и, должно быть, так же, как крепостные братья Бабины, находившие множество рудных жил для заводчиков, «искатель», «рудозналец».

О своем брате Ефиме Ушков пишет, например, что поставит его наблюдать при проходке канавы и, если тот найдет какие-нибудь «знаки земных сокровищ», то даст заводууправлению тотчас же весть об этом «для пользы господ наших».

Почему же этот богатый, смекалистый, талантливый мужик вознамерился облагодетельствовать барина и захотел произвести эту постройку, которая, как он говорит, без учета его собственного труда обойдется не меньше пятидесяти тысяч?

Единственную «кондицию», единственное условие ставит он:

«Не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям, Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве, прошу от заводов — дать свободу... а если не может даться детям моим от заводов вольная, то я не согласен взяться сие исправить поистине и за пятьдесят тысяч рублей, ибо неминуе полагаю и мне таковой суммы оное дело расходом коштовать будет, окроме моих хлопот».

Эти строки прибавляют к портрету последнюю черту. Ушков берет на себя гигантское дело, которое должно отнять у него пять лет жизни и, может быть, все, что он успел своим трудом нажить, и просит за него не себе, а хотя бы только двум сыновьям освобождение от рабства. Но (и какое но!) не захочешь, барин, дать свободу сынам — так и я ничего не построю ни за какой кошт, «не согласен взяться поистине и за пятьдесят тысяч рублей»!

Предложение Ушкова было рассмотрено особой технической комиссией, признано очень выгодным, и «кондиции» подписаны.



Ушков приступил к работе и, как обещал, создал замечательное сооружение, обогатившее Демидовых и работавшее безотказно пятьдесят лет.

Но завод свои кондиции выполнил не так скоро.

Прошло девять лет со дня предложения Ушкова и шесть лет со дня окончания стройки. Стоят пятидесятые годы. В воздухе новые веяния, чувствуется приближение иных времен, пройдет еще десяток лет — и крепостное право падет. Горное управление все еще переписывается об Ушковых с заводами, заводы — с исправником, исправник — с Горным управлением. Дело в том, что завод (тогдашней хозяйкой заводов была Аврора Карамзина, опекуна и мать молодого Демидова) освободил Ушковых, не запросив Горное управление.

Горное управление, строго следившее, чтобы заводы были обеспечены крепостной рабочей силой и запрещавшее отпуск на волю заводских крестьян, чинило Ушкову всяческие препятствия и требовало «возмещения штатов», то есть на место отпущенных покупки новых крепостных.

Шла и шла переписка, к вопросу об Ушковых прибавился новый — «должно ли подвергать нижнетагильское заводоуправление взысканию за увольнение заводских людей без ведома горного начальства», и этот вопрос дебатировался даже в «Совете корпуса».

И опять пишут перья, опять предлагается исправнику «запросить», «выяснить», «проверить», «установить», пока, наконец, право Ушковых не быть вписанными в знаменитый рабий список, так называемые «ревизские сказки», не было признано окончательно.

А ушковская канава стоит по сию пору, ушковской плотной гордятся, ушковская слава живет в народе.

Таковы были прадеды современных уральских мастеров и их судьбы.

И свободных потомков этих-то людей, умевших даже в крепостничестве отстаивать свою гениальность и сохранять «полет орла», невежественный немецкий ефрейтор надеялся сломить и сделать рабами фашистов!



### 8. Городское хозяйство

В очерке П. П. Бажова «У старого рудника» так рассказывается об одном из старейших уральских заводов, «Полевском»:

«И строянка у них в беспорядке. Не как у нас — улицы по ниточке, а кто где вздумал, тут и построился. На Большой улице и то порядок вывести не смогли: то она уже, то шире. В одном месте и вовсе на смех сделано. Идешь-идешь — в дома упруешься... Пойдешь вдоль этих домов, да и воротись близко к тому месту, откуда пошел. Штанами это место зовут. Штаны и есть».

Это, конечно, крайний случай. Но факт тот, что уральские города, за исключением самых ранних, возникших из крепости («острога»), распланированы необычно: про каждый из них можно сказать, что «строаянка у него не в порядке». Свердловск — большой, бурно растущий, разбросанный город, с прямыми, как стрелы, шоссейными магистралями, и в нем нелегко разобрать его первоначальный характер; но Нижний Тагил мгновенно дает ключ к тайне своей планировки. Для ясности попробуем взять еще одну литературную цитату. В «Горном гнезде» Мамин-Сибиряк выводит на веранду свою героиню, жену главного управляющего заводами, и заставляет ее осмотреться:

«Вид... с веранды господского дома был замечательно хорош, как одна из лучших уральских панорам. Центр картины, точно налитое до краев полное блюдо, занимал большой заводский пруд овальной формы. Направо широкой плотиной связаны были две возвышенности, на ближайшей красовалось своей греческой колоннадой кукарское главное заводоуправление с господским домом, а на противоположной качался мохнатыми вершинами редкий сосновый грabenъ... Между этими возвышенностями и по берегу пруда крепкие заводские дома и кивы выравнялись в правильные широкие улицы; между ними яркими заплатами зеленели железные крыши богатых мужиков и белели каменные дома местного купечества».

На что похоже это описание? Добавим, что веранда,



откуда смотрела героиня, снижалась в большой сад, устроенный «на широкую барскую ногу». В этом саду были и клумбы, и ниши, и стены из подстриженной акации, и крошечные садовые диванчики с чугунными столиками, и оранжереи с земляникой в феврале...

Да ведь это помещичья усадьба, — скажет читатель. Совершенно верно, это огромное барское поместье, с господским домом в центре парка, с правильной деревенской улицей и домиками «мужиков» на отлете. Не городской это, а деревенский пейзаж, а между тем все его главные слагаемые — промышленные, индустриальные, а не сельскохозяйственные. Центр города — пруд и плотина — созданы искусственно, как «вододействующая мельница», чтобы давать заводу энергию; самый завод построен при этой мельнице; вокруг него — основные здания, за ним — дорога на рудник, поселок рабочих.

Хотя такие заводы-мельницы можно встретить и в старых городах Европы, как уцелевшие памятники раннего, «мануфактурного» капитализма, но помещичий, «сельскохозяйственный» облик города — это особенность единственно только Урала. Дело в том, что только на Урале предприниматель-капиталист был одновременно и помещиком-рабовладельцем, только на Урале заводчики, получая землю с недрами, лесами и реками, одновременно в полную собственность получали и живших на ней крестьян, которые «приписывались» к заводу и становились крепостными. Отсюда и противоречивый, на первый взгляд, термин «заводской крестьянин». Не довольствуясь приписанными к ним вместе с землей целыми деревнями, заводчики скупали крестьян и в центральных русских губерниях, привозили их на Урал с их скарбом и семьями, и они тут оседали навсегда. В середине восемнадцатого века таких приписных было на Урале свыше ста тысяч.

Какова была их «экономика»? Чисто крестьянская — у них были свои наделы, покосы и выгоны. Они кормились от земли, которую не переставали обрабатывать.

А каково было их отношение к заводу? Такое, как у крепостных центральной России к помещичьей земле



барина; уральские приписные, или, лучше, «заводские крестьяне», отработывали на заводе «натуральную повинность» за себя и за свои семьи.

Заводская работа — как натуральная повинность землепашца. Это и было особенностью Урала, не имевшей себе подобия нигде в мире.

Когда пришло освобождение крестьян, заводчики оказались перед катастрофой — потерей даровой рабочей силы. Но они вышли из положения. Подобно тому, как в центральных губерниях пресловутое «освобождение крестьян без земли» сделало крестьян на многие десятки лет данниками помещика, вынужденными искать у него «землицы», так и на Урале из восьмидесяти одной тысячи горнозаводских крестьян земельный надел получили только шесть тысяч: там, где руда была уже выбрана или заводы остановились.

Вся главная масса приписных оказалась на приусадебных участках, но без земли, то есть без хлеба. Под видом помощи этой брошенной на произвол судьбы человеческой массе были изданы два указа — в 1862 году и 1868 году, по которым заводчик обязывался «давать мастеровым работу» (то есть привязать безземельных крестьян к своему заводу нитями, такими же нерасторжимыми, как крепостное право), а в случае закрытия завода снабдить население на год хлебом или нарезать ему наделы.

Раньше «заводской крестьянин» был все же крестьянином, он имел землю, знал: посеет — и будет хлеб; а сейчас он стал пролетарием, не перестав в то же время быть в чисто крестьянской зависимости от барина.

Двойная зависимость: от помещика и от капиталиста, — вот какое создалось для него положение; одним словом, «податься некуда». Эти необычные, двойственные, крестьянско-мастеровые черты уральского пролетариата отразились и на укладе, и на характере уральских рабочих, сохранившись и по наши дни. Отразились они и в своеобразии революционных движений на Урале, начиная с восстания Пугачева. В движениях этих всегда было нечто крестьянское, даже если взять, например, знаменитый «бунт» рабочих Рсв.



динского завода, когда шестьдесят восемь человек было расстреляно из пушек за нежелание подчиниться самодержавию. Мастеровые Ревды вышли тогда на заводчика с дрекольем, по-деревенски.

И были уральцы замечательными партизанами. Легендарной славой овевана их борьба против войск Колчака, неизмеримо превышавших своим числом, своим вооружением, своей «кадровостью» маленькие партизанские группы уральских рабочих. О том, как девять тысяч уральцев с трехтысячным обозом женщин и ребят шли на соединение с Красной Армией, как по пути они уничтожили батальон и полк колчаковцев и с боями вышли к Кунгуру, сложат когда-нибудь в народе былины.

Двойственный характер старой уральской экономики, прошлая связанность уральского пролетариата с землей, его неполная освобожденность от крестьянских навыков, крестьянского скопидомства были для приехавших на Урал с юго-запада рабочих явлением неожиданным, от которого они давно отвыкли. Ведь запорожские шахтеры, брянские металлисты, южнорусские металлурги за десятки лет работы на больших, по последнему слову техники оборудованных предприятиях успели совершенно освободиться от крестьянских начал в быту. Они уже давно полюбили квартиры в больших корпусах, где есть водопровод, канализация, электричество, газ, ванна, давно начали тянуться по вечерам в клуб, чувствовать потребность в кино, в театре, в лекции; жены их освободились от кухни, к их услугам были ясли, детские сады, столовые, где всегда можно взять на дом обед, к которому приваришь в полчаса что-нибудь, и все сыты. Молодежь усиленно стремилась к развитию, к учебе на заочных факультетах, в кружках самодеятельности и просто тянулась за книгой; интересовалась она и иностранными языками.

Читатель да не подумает, что я рисую какой-то небывалый рай на земле. Важно не то, было ли все это у всех в действительности (конечно, в действительности далеко не на всех хватало и квартир, и яслей, и столовых, и времени), а важно, что все это уже было принято сознанием как должное, как целевая установка, и



воображение законно требовало его от жизни, в соответствии с ним воспитывало свой вкус, строило свой бытовой и жизненный идеал. А тут вдруг приезжие на Урале очутились в полукрестьянских пригородах, где рабочие живут в собственных избах-усадебках, разбросанных на довольно большом пространстве. Обобществленный заводской быт не мог здесь не пострадать от этого: столовые не получили такого мощного развития, как в наших центральных и западных областях; у клубов посещаемость, конечно, меньшая: ведь не очень легко идти по вечерам километра два-три туда и обратно.

Зайдите сейчас в квартиру к уральскому доменщику или сталевару,— вы увидите крепко сколоченный сруб в три окошка; ступишь во двор через перекладину,— и сразу навстречу вам уютно задышит чавкающая, мокромордая рыже-белая «тагилка», местная удоинная, богатая жирным молоком корова; закудахчут в сарае под крышей куры. Пройдите дальше, в сени, и там непременно хорошая дубовая кадка, на стене странной формы огромные посудины — плетенки, вырезанные ковши, медные тазы и кружки; в углу старинное коромысло. Под избой в подвале засыпана картошка, до войны обязательно была и мука, крупчатая, тонкая, замечательного помола, какой вы, может быть, на западе «сроду не едали»; под праздник непременно пеклись из нее шаньги и лепились пельмени, а в будни заваривалась попросту каша-заваруха. Жена и мать нигде не работали — им было много дела по хозяйству. В квартире чисто, уютно, домобытно, иной раз и чесалка и прялка где-нибудь в сенцах, от бабки остались. И непременно ружье и ягдташ. Всеобучу с уральцами мало дела: каждый из них знает и лыжи и ружье...

С таким хозяйством тянуться в заводскую столовую особой нужды не было.

Встреча двух разных рабочих укладов на Урале, из которых один резко тяготеет к городскому, обобщественному быту, а другой крепко держится за индивидуальный, крестьянский быт, приведет в конечном итоге к гармоническому решению вопроса, к сглаживанию острых углов между двумя этими формами быта.



Наша партия никогда не заостряла «урбанизма» в рабочем быту. Еще в начале тридцатых годов мы имели ряд партийных решений о подсобных хозяйствах, об индивидуальном огородничестве; у нас всегда широко практиковалось пригородное рабочее строительство; большие заводы (хотя бы в ближайших подмосковных районах) всегда наделяли рабочих землей. И в то же время обобществление быта последовательно внедрялось не только в рабочих районах, но и в наших колхозах, где мы встречаем хорошие столовые, клубы, ясли все в большем и большем количестве.

На Урале эти процессы можно наблюдать с удивительной ясностью и остротой; их ускоряет и подгоняет сама необходимость. Советская власть отпустила сейчас большие деньги и лимиты на индивидуальное жилищное строительство. Архитекторы проектируют маленькие рабочие «коттеджи», уютное жилье, где старая изба сохраняет свои преимущества и утрачивает неудобства. Индивидуальное огородничество, разведение птиц, кроликов, наличие коровы, козы становится сейчас просто государственной необходимостью и всячески поощряется. А в то же время гигантски растет заводской обобществленный сектор. И потому, что это диктуется необходимостью, вопросами войны и обороны, процесс этот сразу обнаруживает свою жизненность и историчность.

Уральский опыт будет использован потом во всех тех советских областях, где побывали фашистские банды и которые нам придется восстанавливать. Там тоже понадобится поднимать хозяйство, проектировать и налаживать рабочий быт в гармоническом сочетании обобществленных и индивидуальных черт города и деревни. Недавно академик архитектуры, Каро Алабян, подводя в «Правде» итоги десятого пленума архитекторов, интересно написал о предстоящем массовом строительстве «одноэтажных домов в разрушенных немцами городах».

Каждый из нас должен быть не только потребителем, но и производителем, не только в цехе, но и на матери-земле.



Возможно, я немного преувеличиваю,— ведь всякое обобщение таит в себе эту опасность,— но доля истины тут есть, и надо, чтобы заводские профработники, заводские партийные руководители чувствовали и понимали происходящий процесс во всей его глубине.

Когда Демидовы строили завод, ни о какой планировке они не думали. Строили так, как было выгодно заводчику: соображения общего благоустройства в те времена во внимание не принимались. Так это было и во всех других уральских городах.

Достаточно сказать, что старый Тагильский завод, очутившись в центре города,— а ведь и все-то уральские старые заводы представляют собой центр города,— за сутки сбрасывает на главную городскую часть, где все наши административные учреждения, культурные предприятия, гостиницы, рестораны, ни много, ни мало — двадцать шесть тонн, или тысячу сорок пудов, или двенадцать тысяч шестьсот сорок килограммов копти и грязи! Двенадцать с половиной тысяч килограммов копти и грязи над головой!

Между тем Нижний Тагил — это богатейший по ископаемым и удобнейший по расположению центр. Старожилы говорят: нет на Урале такого богатства, которое не отыскалось бы в Нижнем Тагиле. Сюда, естественно, тяготеет промышленность. Целый ряд наркоматов задумал строить в нем заводы. И тут перед проектировщиками неизбежно встал вопрос: как расположить эти заводы, чтобы дым и копоть от них не относил в еще не загрязненные жилые рабочие районы — Кувшинский, Гальянку и Ключи. В расчеты вошла знакомая каждому строителю красивая «роза ветров» — рисунок, изображающий движение ветров данной местности. С копотью так или иначе проектировщики справились.

Но самую трудную часть наследия старого города — его бесплановость, его небольшие размеры и отсутствие нужной площади для правильной распланировки — победить оказалось гораздо сложнее. К этому прибавилась еще и наша собственная вина: каждое



ведомство строило там свой завод из Ленинграда или Москвы, почти не согласовывая проектов с другими ведомствами и с местными условиями.

Что же получилось? Промышленность стала расти и развиваться гораздо быстрее, чем смог развиваться и расти сам город. Она его «переросла». Новые стройки возникли разбросанно, без увязки с городом. Заводы и по сейчас стремятся обойтись временными бараками, а бараки теснятся к заводу, потому что не город, а завод дает им дороги, воду, электричество. Таким образом и получилось, что вокруг промплощадки возникли скученные жилища самого разного типа.

Понятно, что при такой постройке и протяженности города крайне тяжело решить задачу основного благоустройства, и здесь до сих пор не достроен водопровод и нет канализации.

Бесплановость скрадывает гигантские масштабы города и делает невидимыми грандиозные новые заводы. По улицам бегают игрушечный трамвайчик: путь одноколейный, и потому вагон застаивается на разъездах в ожидании встречного. Город с колоссальным будущим рвется из своего игрушечного облика, стонет от недостатка транспорта — грузовиков, автобусов, лошадей.

Но когда на Урале жалуются на трудности подвоза, на затруднения с транспортом, надо помножить недостаточность средств транспорта, вагонов, грузовиков, лошадей, паровозов, платформ, санок и тележек — на ужасающее качество проезжих, подъездных и прочих дорог, раза в три повышающее износ этих средств и тяжесть провоза.

Плохие дороги — постоянный предмет жалоб уральских рабочих. Уральские крестьяне даже не жалуются: они к ним привыкли, их деды ездили, их прадеды истязали по этим дорогам своих «тиру да ну!», и даже сейчас с удивлением видишь на улицах какое-то особое привычное жестокосердие к лошадям, какого нигде в другом месте не встретишь, как будто люди научились думать, что иначе нельзя и что этот «крест» им и лошадям надо терпеливо нести...

Между тем на Урале есть добавочные удобные пути для промышленной продукции. Эти удобные пути —



водные. В рукописном сборнике «Крепостные художники на Урале», находящемся в Свердловском государственном издательстве,— описывается выгодное местоположение Нижнетагильского завода на водной системе, соединяющей Европу и Азию:

«Река Тагил, принимающая в себя шесть рек, в том числе Черную, Выю, Лаю и Салду, где расположены были именные заводы, не только полностью обеспечивала бесперебойную работу вододействующих фабрик Нижнетагильского завода, но использовалась и для перевозки заводских грузов, поскольку, как писал Паллас, «и ниже завода река Тагил так глубока, что суда ходить могут». Речная система в целом служила естественным маршрутом для доставки заводской продукции, с одной стороны, в «российские города» и далее за границу, с другой — в Азию. На самом заводе строились «коломенки» для отправки тагильского железа с Уткинской пристани».

Оставим пока в стороне вопрос о «вододействующих фабриках», а возьмем лишь указанный тут речной путь. Вода, большие реки — это самый древний способ сообщения: недаром уральские древние жители три тысячи лет назад вытесывали замечательные весла. Древний этот способ медленный, и когда мы в наше время пожираем пространство паровозами, скрадываем его электромоторами, медленное движение барки или даже парохода по реке кажется чем-то архаическим, раздражает наше чувство темпа. Но тем не менее можно ли назвать водные пути сообщения, речную перевозку грузов устаревшими?

Вспомним промышленное значение больших рек современной Европы и Америки, представим себе Темзу, по которой ни на минуту не прекращается движение; Сену с ее потоком барж; покрытый пароходиками Дунай, уже не говоря о нашей собственной Волге. Ведь они живут полной жизнью, они имеют целую обслуживающую сеть шлюзов, пристаней, мостов, дозоров, элеваторов, складов, целую армию гражданского флота, свою милицию, свое управление.

Урал и Сибирь богаты своими замечательными водными путями; водным путем Ермак завоевал Сибирь;



гениальный соликамский житель Артемий Бабинов в 1597 году «по указанию Москвы открыл прямой путь из Соликамска на Туру», приблизив друг к другу водные системы Сибири и Урала; в этом направлении работала мысль десятка поколений наших предков, и странно было бы думать, что у нас на севере могла бы устареть речная перевозка, не устаревшая нигде в мире!

Сейчас, когда мы проектируем новые грунтовые дороги на Урале и собираемся расширить старые, не лишне вспомнить, что ведь и водная система нашего северо-востока еще недостаточно развита, ее гладкие естественные водные дороги еще мало участвуют в разгрузке наземных уральских путей, и вид здешних рек еще слишком безмолвен и грустен, даже в навигацию, в лесосплав.

Когда наши колхозы начали готовиться к весеннему севу, чтобы «бить врага колосом», возник огромный вопрос о средствах передвижения. На чем ездить, возить семена, инструмент, материалы, как добираться до отдельных станков, если на счету каждая лошадь, каждый трактор? Пространства для посева расширились, а средства передвижения уменьшились. И тут вдруг сами колхозники выдвинули мысль: а река на что? Почти каждый здешний колхоз лежит на реке, почти каждая речка судоходна для моторных катеров. Эти катера можно сделать своими силами и тут же, в колхозах. Красноуфимский район, выдвинувший это предложение, указал и на старые, завалявшиеся моторы, которые можно почистить, отремонтировать. Колхозники с жаром ухватились за эту мысль: «Если мы сумеем собрать сейчас нужное количество газогенераторных (чтоб не тратить бензина) моторов и дать их деревне, мы окажем сельскому хозяйству реальную, огромную помощь; мы заложим первый камень того речного судоходства (на небольших реках), которому на Урале предстоит большое будущее. И мы разгрузим до некоторой степени напряженный уральский транспорт».

Вернемся к упомянутой мною цитате о старых уральских «вододействующих фабриках». Что это за



«вододействующие фабрики»? Наши предки даже в тринадцатом веке умели использовать воду не только для ловли рыб и проезда, но и под мельницу.

Водяная мельница — это первая гидроэнергетическая установка человечества. Мы в просторечии связываем ее всегда с первоначальным смыслом «молоть» и думаем, что мельница ставится на воде лишь для перемола жерновами зерен в муку. Но слово «мельница» имеет гораздо более широкое значение: энергией водяного колеса работали у нас в шестнадцатом веке все бумажные фабрики, а в Европе — ткацкие, и там под словом «мюлле» до сих пор еще понимают энергетическую установку.

По принципу мельниц были устроены в восемнадцатом веке и «вододействующие фабрики» на Урале, о которых упоминалось выше. Весь Нижнетагильский район работал при помощи водной энергии, причем «мельницы» (или гидроустановки) были так расположены по течению рек, чтобы каждый завод принимал на свои колеса (турбины) отработанную воду вышележащих заводов.

Когда мы сейчас, в середине двадцатого века, проезжаем по Уралу, перед нами раскрывается своеобразнейшая картина. Заводы и рудники, маленькие, старые, по виду похожие на наши машинно-тракторные станции, попадают, как говорится, «на каждом шагу»; они определяют собой принцип застройки и заселения Урала и почти совпадают с понятием здешнего «населенного пункта», особенно в горнозаводском районе. Но если МТС лепятся обычно к железнодорожным станциям, то старые уральские заводи расположены вдоль рек. И каждый из них обязательно имеет свой искусственный пруд, свою плотину, свой водоспуск, свой канал.

Сохранились старинные названия, которыми триста лет назад, как и сейчас, обозначаются отдельные части этих сооружений: «к о л е с н и ц а» — деревянный сруб, где ставилось водяное колесо, чтобы оно не замерзло зимой; «л а р ь» — сделанный из досок канал, по которому подводилась из запруды вода на водяное колесо; «л а р е в ы е о к н а» — отверстия, по которым



вода из ларя шла в спускные трубы на колесо; «ларевый ставень» — запор, или шлюз,двигающийся в раме и закрывавший (сверху вниз), когда надо, ларевые окна; «вешняк» — отверстие в плотине для спуска весеннего паводка; «вешнячий двор» — место перед вешнячным отверстием и ларевыми окнами, огражденное сваями, для сдерживания льда, леса и мусора. Это последнее сооружение мы называем сейчас «отстойником», и его присутствие в старых «мельницах» говорит о высокой технической культуре.

Я привела все эти обозначения из книги Вильгельма де Геннина «Описание уральских и сибирских заводов», писанной в первой половине восемнадцатого века, привела потому, что простые русские названия как бы образней раскрывают перед нами сложные технические сооружения.

Сама плотина строилась тогда с большим знанием дела, специальными мастерами, отлично усвоившими ее технику, по определенному общему типу, а водяное колесо, или, как его называли, «боевое колесо», передававшее движение «боевому валу», состояло из трех частей: наливных, среднебойных и подливных колес, в основном напоминая современную турбину.

Идя сейчас по отлично сохранившимся плотинным мостам, нередко можно увидеть за оградой особую будку, где находится «плотинный мастер», и само звание это сохранилось до сих пор, но только потеряло свой прежний большой смысл.

Современные плотинные мастера, большей частью древние старики, знают, как работал завод на своей «турбине» (они произносят «тюр»), заменившей старое «боевое колесо». Знают они и технику охраны плотины, время спуска и поднятия ларевых ставней и вешнячных затворов. Но роль их свелась сейчас только к охране мертвого, уже бездейственного сооружения, потому что заводы работают на тепловой энергии «Уральского кольца», а в некоторых случаях на энергии от своих дизелей.

Невольно приходит мысль: да почему же не воспользоваться чудесной старой гидротехникой, талант-



ливо созданной мастерами из народа, почему не воспользоваться этими прудами, каналами и плотинами, большей частью хорошо сохранившимися? Разве не помогут они при современном напряженном положении энергобаланса, не добавят кое-какие местные резервы? Недаром ведь в войну 1914 года заводчики нашли для себя выгодным реставрировать их на все время войны!

В «Справочнике по водным ресурсам СССР» указывается, что до 1927 года по Уралу было свыше ста пятидесяти гидроустановок, не считая мукомольных мельниц, причем мощность первых очень небольшая — сто, сто девяносто, максимум триста лошадиных сил, а последних — и совсем ничтожная, составляла в целом около двадцати семи тысяч. Это, конечно, при современной уральской потребности в энергии цифра пустяковая и ничего не устраивающая. Но верить ей нельзя, потому что она исходит из данных старого, неразвившегося, неимоверно запущенного хозяйства, о котором никто и не думал, что есть в нем скрытые резервы. А вот комиссия ленинградского Гидроэнергопроекта, специально обследовавшая водные ресурсы Нижнего Тагила, говорит только об одном этом районе уже совсем другим тоном. Привожу слова начальника комиссии инженера С. С. Гинко из статьи «Больше внимания водному хозяйству нижнетагильского промузла»:

«В водном хозяйстве промузла в настоящее время незаслуженно предан забвению и нигде не отражен вопрос энергетического использования водоисточников хотя бы путем строительства при существующих водонапорных сооружениях мелких гидроэлектрических станций, на базе которых с успехом можно было бы провести электрификацию ряда рабочих поселков в пригородной зоне. По самым скромным подсчетам строительство мелких гидростанций при существующих плотинах промузла, с одновременным производством ремонта последних, позволило бы иметь ежегодно около трех с половиной — четырех миллионов киловатт-часов дешевой электрической энергии».

С. С. Гинко дал «самые скромные подсчеты» для одного нижнетагильского узла, бедного водою. Не нужно



быть математиком, чтобы на миг представить себе дополнительную электроэнергию, полученную от всех гидроустановок Урала с использованием уже существующих плотин. Не надо быть и техником, чтобы понять все виды новых скрытых резервов энергии, которые можно было бы извлечь отсюда. Требуется для этого не так уж много: ремонт и расширение давно существующих сооружений, прудов и плотин; повышение уровня и напора воды в них; установка небольших гидротурбинок вместо работавших когда-то маховых колес с их низким коэффициентом полезного действия и т. д., что отчасти уже и начало осуществляться сейчас.

Но тут мы заранее слышим возражение: какие там установки, когда на Урале туго с водой, в Свердловске туго с водой, в Нижнем Тагиле не знаешь, откуда взять воду для промышленных нужд!.. Ссылка местных работников на отсутствие воды даже для работы промпредприятий сделалась чем-то вроде постоянного veto, налагаемого на любую постановку вопроса о гидроэнергии. На первый взгляд кажется, что кричащие правы: так много наезжает сюда и работает здесь всяких комиссий, «изыскивающих воду».

В сборнике «Водные ресурсы Урала», где количество воды рассмотрено по отдельным районам, тоже приведены цифры, как будто неутешительные для Свердловска и нижнетагильской системы. Но, во-первых, эти цифры, как тут же оговариваются авторы статей, лишь ориентировочные и в них не приняты во внимание грунтовые (подпочвенные) воды, которые нигде на Урале до сих пор по-настоящему не изучены. Во-вторых, реки уральские, как и в Закавказье, отличаются огромным колебанием между своим максимумом и минимумом, то есть между периодом половодья и периодом усыхания: в первый воды бывает в двести, в триста раз больше, чем во второй, а при такой амплитуде колебания воды можно ли считать средние цифры точным выражением и учетом ее возможного количества? В-третьих, вода — это величина, технически преобразуемая. Путем целого ряда приспособлений (например, регулирую-



щих водохранилищ, собирающих лишнюю воду половодья и сохраняющих ее на время засухи, соединением при помощи каналов разных водных систем, добавлением подземных водных источников и прочим) всегда можно увеличить воду там, где ее кажется мало.

Посмотрим на карту рек промышленного Урала, составленную по данным Геодезического комитета ВСНХ в 1929 году. Вряд ли найдется в мире другое такое пространство, где бы глазам представилось большее количество густых, извилистых, похожих на разветвления нашей кровеносной системы причудливейших змеевидных речек, вертящихся по всем направлениям, с многочисленными притоками, с бесконечною россыпью озер между ними. И говорить, глядя на такую карту, что Урал беден водой! Когда, наряду с этим огромным количеством небольших рек, его пересекают богатейшая полноводная река Кама с притоками и длинный судоходный Тобол с Иртышом!

Воды на Урале много, а вовсе не мало; осадков на Урале много, а это ведь те же водные резервы. Но все дело в том, что вода, как и рудные сокровища, требует на Урале приложения человеческого труда и техники, и при этом обдуманной и разумной.

На Урале самые различные организации не согласованно между собой ищут воду. Одни ищут воду для потребностей питьевых (откуда и как провести водопровод); другие ищут воду для промышленных целей (откуда и как взять ее); третьи ищут водные источники для иных целей, например для рыбоводства; при развитии в больших размерах общественного и личного огородничества непременно встанет вопрос о поливке этих огородов и опять понадобится вода; ищут воду и для гидростанций (откуда провести и где создать напор). Вот в этой разнохарактерности и бесплановости поисков, в этом отсутствии единого центра для руководства ими и кроется главная причина отставания уральского водного хозяйства. Ведь на Урале до сих пор еще не удосужились даже провести размежевание рек на «чистые» (для питья и промышленности) и на «грязные» (для стока).



Если продолжать решать вопросы воды изолированно один от другого, если руководить этими вопросами и дальше будут люди совершенно разных ведомств, друг с другом не имеющих ничего общего, то можно заранее сказать: такое приложение труда к водным ресурсам Урала необдуманно и неразумно.

Добавим тут в скобках, что ко всем перечисленным выше задачам прибавляется и побочная: необходимость очистки уральских водохранилищ и прудов, чрезвычайно загрязненных промышленными отбросами, и притом не в одном только Нижнем Тагиле. Охотники рассказывают, что раньше на пруды при перелете садились стаи уток, а сейчас можно наблюдать такую картину: летит, например, над тем или другим прудом огромная утинная стая, начинает медленно садиться, но, не успев снизиться окончательно, вдруг дрогнет и взмоет, словно поверхность пруда оттолкнет ее, и, хотя пруд лежит зеркальной гладью, птицы садятся вдали от него на болото: так отдает он разными химическими запахами.

И еще пример: несколько лет назад здесь часто случались неприятности из-за того, что рыба забивала решетки плотин, и приходилось объявлять специальные авралы для очистки этих решеток от рыбы — такое множество ее водилось в уральских реках! А сейчас кое-где почти уже нет рыбы: химические отбросы убивают там все живое.

Так вот, единственно разумное, наиболее экономически выгодное и технически правильное решение всех этих задач — это решение комплексное, то есть такое, где одним планом, одной комбинированной технической идеей разрешались бы они все и разрешались бы не изолированно друг от друга, а в органической связи, или, как говорится, в увязке друг с другом.

Об этом без конца пишет и говорит в докладах один из крупнейших наших специалистов по воде инженер И. И. Урбан.

Об этом просят городские организации.

Комплексное управление водой, где сходились бы работы по изысканию, рассмотрению заявок, распределению воды и контролю за использованием, сразу уничто-



жило бы всякое разбазаривание уральских водных ресурсов. На Кавказе и в Закавказье мы привыкли связывать постройку гидроэнергетической станции с разрешением задач оросительных. Каналы для отвода воды часто служат у нас и для орошения; энергия водного напора идет на водокачку, поднимающую воду снизу вверх, чтобы бросить ее на поля. Таких станций много. Гиганты нашего гидростроения одновременно разрешали задачи судоходную и энергетическую, не забыв и о такой «мелочи», как рыбное хозяйство. Если бы водное хозяйство на Урале имело свой единый центр и если бы проектировка гидроцентральных была поручена большому, отмеченному талантом инженеру, какие у нас были и есть, то в комплексном плане велись бы поиски воды, в комплексном плане изучался бы режим этих вод, в комплексном плане разрешалось бы строительство гидроустановок, питьевых резервуаров, канализационных, очистительных, судоходных, рыбных и прочих устройств, а также и вопрос о воде для промышленных целей.

Все сложное всегда упрощается, когда рассматриваешь каждое звено цепи в его зависимости от другого. В комплексном решении многих задач как единой водной проблемы Урала есть еще одно важное обстоятельство.

Совершенство всякой технической установки заключается в том, чтобы сырье не пропадало даром, а служило всячески, чтобы оно могло быть «обращаемо»: сослужив одну службу, идти служить другую. Промышленность потребляет огромное количество воды. Она испаряет ее в котлах, бросает на промывку, на отопление. Почти все эти процессы могут быть «обратимы»: вода, превращаемая в пар, снова может быть обращена в воду; вода, загрязненная после промывки, снова может быть очищена, пропущена через фильтры; вода охлажденная вновь может идти в нагрев, а это значит, что безвозвратную потерю воды на заводах и фабриках можно довести до минимума.

Гидроустановки обычно так и ставятся, что одна пользуется отработанной водой от другой и в свою оче-



редь отдает свою отработанную воду на новую службу. Сейчас огромное количество воды выливается, загрязняется, пропадает безвозвратно. Комплексное разрешение водной проблемы Урала, обычно требующее высокой и передовой техники, положило бы и этому конец.

Заметим тут, кстати, что вопрос о мелких гидростанциях на Урале — это вовсе не попытка «реставрировать» старину, как было в 1914 году, а одна из самых современных технических новинок в энергетике. Мы, разумеется, должны и будем строить большие гидростанции на Урале и уже строим их. Это ведь печальный курьез, что при обилии уральских рек с их удобным профилем мы не имеем тут ни одной мощной гидростанции, а питаемся тепловой энергией, расходуя дорогое топливо! Мы будем строить эти гидростанции, потому что опыт показал на примере Мос-Дон-Ленэнерго, как выгодно вводить их в параллельную работу с тепловыми. Но, не отказываясь от строительства крупных гидростанций, мы говорим сейчас о принципе строительства мелких гидросиловых установок, об их рациональности, их выгоды, их современной полезности, — в сочетании их с крупными.

Уже упомянутый мною инженер С. С. Гинко написал целую диссертацию на тему о параллельной работе маленьких гидроустановок с большими, о колоссальной экономической выгоды такой параллельной работы, о существующем в Европе и Америке автоматическом регуляторе этой работы, делающем совершенно излишним обслуживающий персонал.

С. С. Гинко побывал с нашими войсками в Финляндии, и его поразили там бетонные простые будочки, стоявшие в лесу без всякой охраны, на обыкновенном замке. В этих будках находились автоматические регуляторы, которые сами собой, когда требовалось, давали дополнительный ток с больших станций маленьким, а когда надобность в этом токе отпадала, сами собой выключали его. А количество маленьких станций еще больше поразило Гинко. Не только незначительные, но и очень солидные предприятия не брезговали иметь свою крошку-гидростанцию, подобную тем, какие мы



видим на старых уральских заводах,— гидростанцию-мельницу.

Что она дает? При новейших турбинах с хорошей плотиной пятьдесят, сто, а то и до пятисот, до тысячи лошадиных сил — число, которого можно добиться на старых сооружениях Урала при помощи подъема отметки в пруду, усиления напора и новейшей аппаратуры.

И маленькие эти станции, повидимому, очень нужны и выгодны даже солидным предприятиям, питающимся в основном от тока больших станций: они до некоторой степени разгружают напряжение больших станций, берут на себя известную нагрузку, осветительную, местную, а в целом изрядно удешевляют киловатт-час. Такие маленькие установочки, работающие на параллельной связи с большими, характерны вовсе не для одной Финляндии,— их можно встретить в Швеции, все чаще и чаще появляются они в других местах Европы, к ним начинает склоняться и передовая американская техника.

Могут возразить, что-де там частная собственность, капитализм, и такие станции могут быть выгодными, а у нас дело другое. Но как раз наоборот: такие станции выгодны даже при наличии частной собственности, хотя именно частная собственность на землю мешает им развернуть полную свою выгодность. А у нас это дело верное. У нас при кустовании многих станций в одну, при возможности в будущем общего куста для Урала и Казахстана (с их противоположными режимами), они могут оказаться большой подмогой в хозяйстве, решающим фактом нашей технической культуры. До войны мы уже начали сами делать автоматические регуляторы. Думается, и сейчас, выделив один какой-нибудь небольшой цех на заводе, мы могли бы изготовить нужное нам оборудование. Это даст свои огромные плоды очень скоро и поможет заводам, работающим на оборону. Так или иначе, а гидротехнику Урала нужно сдвинуть с мертвой точки, и она с нее сдвинется.

1942



## *Менделеев о будущем Урала*

В конце девяностых годов прошлого века, когда старый и тяжело больной Д. И. Менделеев доживал свою большую жизнь, ему было предложено министерством финансов обследовать уральскую промышленность. Урал в те годы переживал тяжелый кризис, казенные заводы давали одни убытки, частновладельческие — не развивались, техника держалась на прадедовском уровне. Нужно было выяснить причины этого упадка и найти меры борьбы с ним.

Старому ученому нелегко было двинуться в долгий и по тому времени сложный путь. Но Менделеев был сибиряк. Его потянуло к родным местам. Позднее он так написал об этом:

«В Тобольск меня призывали не только дела... но еще и привязанности детства. Там я родился и учился в гимназии, там еще живы кое-кто, помнящие нашу семью, там на стеклянном заводе, управляемом моею матушкой, получились первые мои впечатления от природы, от людей и от промышленных дел. Почти ровно пятьдесят один год, как матушка... повезла меня — последыша — в Москву после окончания гимназии. Давно — ежегодно все собирался побывать на родине и не пришлось, а потому ехал с особым ощущением...»

Когда же он очутился в Тобольске и ребятишки начали рассказывать ему про «кедровые шишки и про «серку» (почти высохшую живицу лиственницы), которую в Сибири жуют все дети», и когда «на столе явилась ароматная «княженика» — ягода из ягод», перед ним, по его собственным словам, «выступили в уме картины давнего прошлого с поразительностью».

С таким душевным лиризмом пережил Менделеев на закате жизни свою встречу с Востоком.

Он выехал в путешествие летом 1898 года с тремя wybranными им спутниками — минералогом профессором П. А. Земятченским, химиком С. П. Вуколовым и технологом К. Н. Егоровым. Целое лето объезжал и изучал с ними Менделеев уральские рудники и заводы.



В результате поездки составила́сь книга о положении уральской железной промышленности, изданная министерством финансов в 1899 году.

Книга «Уральская железная промышленность в 1899 году» необычна по своей композиции: тут и дневники путешествий, и запись обследований, и приложения, где собраны анализы, статистические обзоры, характерные архивные документы. Необычна она и по своему стилю: почти интимная прелесть в описании природы, живые портреты людей, личные воспоминания, а рядом — сухие, деловые статьи. Но, несмотря на внешнюю клочковатость и «неприбранность», а может быть и благодаря сочетанию интимного с деловым, этот малоизвестный у нас менделеевский трехтомник об Урале может быть поставлен для «ураловедов» в одну категорию с такими книгами, как нансеновское путешествие на «Фраме» для полярников или дарвинское путешествие на «Бигле» для натуралистов.

Что же открылось великому ученому на Урале? Он описывает его богатства, не боясь упреков в преувеличении и отвечая за свои слова всем своим огромным авторитетом:

«Руды Урала не то что хуже, а много, много лучше, говоря вообще, руд западноевропейских, говоря именно об английских, немецких, бельгийских и французских — по качеству своему, по количеству железа, по цене добычи и по массам, легко доступным для разработки... Я громко говорю, что на веку живущих людей повезут с Урала железо в Англию, если переработка руд на Урале достигнет возможно полного своего развития. И хоть мне седьмой десяток, могу и я дожить до этого, как дожил до вывоза нефти, который предвидел лет за 15 пред его началом, когда к нам везли американский керосин. Не сам — так дети и ученики доживут, а будет это».

Но с такой же прямо́той и ясно́стью, с какой пишет Менделеев о природных ресурсах Урала, он ставит вопрос о невозможности развития этих ресурсов в тех социальных условиях (следы крепостничества, остатки посессионного права), которые тогда существовали на Урале: «Необходимо, по моему поси́льному мнению, с



особою настойчивостью закончить все остатки помещичьего отношения, еще существующие всюду на Урале». Так же резко осуждает он и техническую отсталость уральских заводов. Не исправлять ее полумерами, не давать заводчикам субсидии и привилегии, не приставлять заплат к старине, а «нам на Урале надо все или почти все вновь строить, и не следует повторять задов, а лучше сразу делать получше, чтобы опять лет через десять всего не перестраивать».

Общим прогнозом и общими выводами Менделеев не ограничился. Он десятками рассыпает на страницах своего дневника предложения, часть которых еще и до сих пор не осуществлена и могла бы с великой пользой быть адресована разным нашим ведомствам. Замечательны главы, где на анализе Тавдинской лесной дачи он пишет о значении культурной лесосеки, государственного контроля и охраны уральских лесов, необходимости уберечь их для будущего. Леса — это дыхание земли, это сберкнижки земли, где берегутся водные резервы страны; их бессистемная вырубка сушит землю, и на Урале нужно особенно охранять леса как условие сбережения остро необходимой для промышленности воды. Не забыл он и проблему транспорта на Урале, подчеркнув и выдвинув значение мелких водных путей, «ждущих внимательного регулирования».

Однако больше всего и интересней всего говорил Менделеев о технике. Доменное дело было у нас на Урале в те годы в допотопном состоянии. А в Западной Европе шел «медовый месяц» роста и развития всех тех отраслей, которые возникали на отходах процессов доменной плавки. Менделеев указал нашим заводам на возможность использования доменного газа для двигателей, приведя в пример завод Кокериля в Бельгии, впервые установивший у себя двигатель на доменном газе системы Симплекс. Ссылаясь в своей книге на остроумное «бон-мо»<sup>1</sup> Мартена, что со временем «чугун станет побочным продуктом доменной плавки», Менделеев как бы агитирует этим парадоксом, вырвавшимся у создателя мартеновской печи,— чтобы заразить рус-

---

<sup>1</sup> *Bon mot* — красное словцо (франц.).



ских инженеров увлекательными возможностями использования доменных отходов.

Менделееву принадлежат замечательные слова о том, что в его время и в старом мире, где он жил, «забывают изобретателей и изобретения». Всякое изобретение не только «счастливая случайность», «слиток золота, найденный на земле». Нет, «для того, чтобы найти, надо ведь не только глядеть, и глядеть внимательно, но надо и знать многое, чтобы знать, куда глядеть... надо и уметь искать, надо провидеть невидимое, ощутить предстоящее, как бы настоящее, пробовать, не падать духом при неудачах и трудностях, настаивать и много трудиться!» Мысль, которую хочется всегда держать перед собою, как и завещание другого русского гения, И. П. Павлова, в его знаменитом письме к молодежи. Словно провидя или планируя будущую работу Грум-Гржимайло по получению генераторного газа из дерева, словно вызывая к жизни замечательные опыты уральского ученого химика-лесника Козлова над получением из древесного угля смазочных масел, пишет он: при выжиге «из дерева угля теряется даром (в лесу) почти ровно половина его теплопроизводительной способности — при современной, ждущей изобретателей, обстановке этого дела». Необходимость использования газовых отходов, о которой говорил Менделеев, важна для наших проектировщиков и сейчас. До сих пор проекты некоторых больших химических заводов (СК и алюминиевого в Армении, например!) делаются без предвидения газоуловителей, без всяких устройств для использования многих ценных отходов и без обезвреживания едких дымов. Классическое указание Менделеева на возможность использования частых на Урале подземных пожаров угольных пластов для дешевой выработки генераторного газа, которое должен бы знать каждый уральский горняк, не потеряло своей злободневности и сейчас:

«По поводу... пожаров каменноугольных пластов, мне кажется, что ими можно пользоваться, управляя ими и направляя дело так, чтобы горение происходило, как в генераторе, то есть при малом доступе воздуха.



Тогда должна происходить окись углерода и в пласте должен получаться «воздушный» или генераторный газ... Особенно достойна для начала опыта попытка превращения под землей в горючие газы таких тонких (тоньше аршина) пластов каменных углей, которые обычными способами не эксплуатируются».

Прошло почти полвека, а и сейчас менделеевские мысли актуальны для Урала.

Есть и еще одна область, где Менделеев заглянул далеко в будущее. При царизме металлургия в ведомственном отношении была частью горного дела. Дмитрий Иванович резко критиковал это и требовал выделения металлургии как самостоятельного целого, указывая, что горное дело — отрасль добывающая и подчинить металлургию горному ведомству все равно, что «соединить в одно целое разведение льна или хлопка с прядением и тканьем, скотоводство с обработкой кож». Великий ученый мечтал не только о самостоятельном «министерстве металлургии» (или отнесении металлургии к финансам), но и о создании специального высшего учебного заведения на Урале, «металлургического института», который бы готовил кадры специалистов-металлургов. И в этом деле он тоже оказался прав, поскольку в наш век металлургия сделалась огромнейшей, сложной областью, имеющей уже свою советскую оригинальную традицию и своих больших, выдающихся ученых, во многом создавших совершенно новые теории. Мечту Менделеева осуществила на Урале советская власть. Уже несколько лет Свердловский индустриальный институт выпускает специалистов-металлургов, без которых нельзя было бы построить современную металлургическую промышленность Урала.

Все, что написано Дмитрием Ивановичем об Урале, перекликается с основными высказываниями В. И. Ленина о роли нашей промышленной базы на Востоке и предваряет во многом работу наших советских ученых. Уже почти треть века начисто сметены старые социальные отношения; почти треть века наши строители учатся искусству «строить технику наново»; огромное испыта-



ние огнем и мечом выдержал новый строй в Отечественной войне. И как много наших ученых, для которых открыты сейчас на Урале необъятные перспективы познавательного труда и творчества, могли бы повторить вместе с Менделеевым пророческие слова его, сказанные им на закате жизни, обогатив их большевистской наукой об обществе:

«Вера в будущее России, всегда жившая во мне,— прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом, так как будущее определится экономическими условиями, а они — энергиею, знаниями, землею, хлебом, топливом и железом, более чем какими бы то ни было средствами классического свойства».

1943



## ТРИ ПОРТРЕТА

### ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА

Если взять основные даты тридцати лет советского строительства, крупные события, потрясавшие в какой-то мере советского человека, мы почти на каждое из них найдем живой отклик Комарова. Владимир Леонтьевич Комаров никогда не был оратором в подлинном смысле этого слова. Но он был необычайно чисто и ярко реагирующим интеллектом, и в его общественной реакции, в его слове, сказанном на людях, очень большая, почти детская непосредственность всегда сочеталась с потребностью точной формулировки, точного умственного вывода. Слушатели торжественных ученых заседаний, юбилейных праздников, политических митингов, посвященных острому и большому в жизни страны событию, привыкли переживать это комаровское слово вместе с ним, входить в атмосферу предельной искренности, предельной душевной чистоты и честности, которая покоряет и умиляет до слез. Но за комаровской взволнованностью, за кажущейся невыбранностью, неприготовленностью его слов, за всем тем, что напоминает скорее художника, нежели ученого, неизменно вставал большой ученый, вставал интеллект, дававший точное обобщение и заставлявший слушателя после эмоциональной разрядки что-то очень глубоко понять.

Эта двойная черта, ярче и легче всего прослеживавшаяся в его публичных выступлениях,— ключ ко всему



характеру Комарова как ученого. Возьмем для примера три разных слова, сказанных им: одно — о Ленине, другое — о Менделееве, третье — о Пушкине.

Комаров начал слово о Ленине, сразу вынося к слушателю нечто необычное, не трафаретное, захватывая его в свое личное чувство к Ленину, снимая вокруг слушателя стены аудитории, и сделал все это совершенно безыскусно и трогательно: «Мы собрались сейчас здесь, а может быть, в эту минуту истощенная бедствиями войны китаянка или женщина с далеких Антильских островов, негритянка, измученная рабским трудом на плантациях, баюкая своего ребенка, поет ему песню о Ленине, которую она сама придумала, вложивши в нее всю свою душу...» Такова стенограмма живых, ненаписанных слов. Но чувство, охватившее слушателей, стягивается к мысли. Комаров начал цитировать статью Ленина «Лучше меньше, да лучше». Цитаты, выбиравшиеся Комаровым, всегда неожиданны, всегда в своем роде открытие, потому что они — это те места в книгах, которые остановили в чтении и захватили его самого, а не подобраны к случаю. Ему хочется передать слушателю о том, что Ленин, отец всех трудящихся, надежда человечества, приписывал огромную роль науке, знанию, высоко ценил их, и как надо нам овладеть этим ленинским уважением к науке... Он цитирует Ленина с огромным волнением:

«Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей... во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом». Он приводит острую критику Лениным недостатков наших государственных учреждений и призыв к овладению культурой, чтобы исправить эти недостатки: «Именно о культуре ставлю я здесь вопрос, потому что в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки». И под конец речи он воскликнул: «Вот какому анализу подвергал Ленин советскую действительность в первые



годы напряженного советского строительства. Вот какое значение он придавал знаниям, просвещению, науке.

Эта статья была написана Владимиром Ильичем всего за несколько месяцев до смерти. Он уже был жестоко болен, когда писал ее, и тем не менее эта статья—одно из лучших созданий Ленина...»

В небольшой речи, в течение нескольких минут, начав с образа, проведя через анализ и закончив выводом, Комаров дал пережить аудитории огромный комплекс чувств и мыслей, показал тягу человечества к Ленину и веру в него и перекинул мост к сознательному построению будущего через ленинский призыв к подлинному знанию, через мужество его критической мысли, через необходимость бороться за качество культуры.

Еще короче было слово Комарова о Менделееве. В самом его начале он дал улыбку: обратился к аудитории с предложением целую эпоху в науке назвать «менделеевской» и спросил: «Согласны, товарищи?» Аудитория ответила на комаровскую улыбку, она уже согласна. Но речь, оказывается, идет не о том в науке, что навеки связано с именем Менделеева,— не о созданной им химии, не о таблице элементов,— речь идет об экономических работах Менделеева, казавшихся его современникам непонятными. Цитируя великого химика своими словами, сплетая свои мысли с его мыслями, Комаров в блестящей импровизации создал совершенно новый, необычный образ Менделеева:

«Дмитрий Иванович, выросший в стране земледельческой, занимавшийся сельским хозяйством, бывший одно время землевладельцем, начинает анализировать государственный строй и говорит: «Где мы наблюдаем систематическую голодовку населения, где мы видим, что не хватает элементарной пищи для людей? В странах земледельческих, то есть в странах, производящих хлеб,— этого хлеба нет. Почему его нет? Да хлеб, может быть, и есть, да нет правильного распределения, не на что населению его купить». И Менделеев спрашивает, как из этого тупика выйти? Нужно привлечь к обращению в данном человеческом обществе все те ресурсы, которые можно превратить в сырье для



заводской промышленности. Самое земледелие, которое остается примитивным, которое передавалось бесчисленным поколениям от деда к отцу, от отца к сыну, с развитием заводской промышленности приобретает совершенно новое развитие и основание: оно механизмуется, рационализируется, получает свою химическую основу и начинает кормить людей не так, чтобы они периодически голодали, а так, чтобы удовлетворить их потребности... Это полоса жизни Менделеева, когда он открывал одну за другой экономические перспективы нашей страны, которые не были использованы в его время, но, несомненно, оставили след не только для современников, но и для будущих поколений... Он наш, потому что он правильно поставил задачу, которую мы, наше поколение, разрешаем.

Вот, оказывается, в каком смысле эпоха названа менделеевской, и вот на какое участие в ней дала свое согласие аудитория. Раздвинулось время, из прошлого вырос мост в будущее, в зал вошел новый, близкий, мгновенно освещенный светом современности Менделеев, и слушатель никогда больше не потеряет чувства близости к нему.

Юбилей Пушкина — событие всенародное, событие, о котором говорили на сотнях языков сотни специалистов. Владимир Леонтьевич и в этом хоре голосов вышел вдруг со своим Пушкиным, с интимным, личным, человеческим, читательским сообщением. Казалось бы, так лично то, что он говорит о нем, — воспоминания, как читался в детстве, в школьные годы Пушкин, как выгравированы во всем пережитом названия поэм, связанные, быть может, с музыкой, с театром, с экзаменом по литературе. Но Комаров неожиданно цитирует из «Записки о народном воспитании», представленной Пушкиным царю:

«В том месте, где Пушкин говорит о преподавании истории, мы находим следующие знаменательные слова: «Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источники нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного двумя тысячами лет; но представить Брута защит-



ником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря — честолюбивым возмутителем».

Прочитанная живым комаровским голосом, в волнении, оттеняющем глубину ее смысла, — какая это новая, поразительная цитата, какое открытие в Пушкине! Недаром в самом начале речи Комаров назвал Пушкина «бродильным началом». Зажженная цитатой, забродила мысль слушателя. Брут — патриот, защищающий коренные постановления отечества; Кесарь — личный честолюбец, — это совершенно исторично, и в то же время какими новыми, неповторимыми, пушкинскими словами это выражено!

Так умел Комаров во всей непосредственности неожиданного, неподготовленного выступления, сквозь эмоцию, поднятую в слушателях, как буря звуков в оркестре, вдруг провести чистую, четкую, строгую познавательную мысль, всегда направленную на современность, всегда глубоко историчную, словно стрелка семафора на проходимом нами пути.

Такую высокую общественную реакцию Владимир Леонтьевич мог давать потому, что он был цельным человеком; потому, что за ним был огромный, своеобразнейший опыт глубокого ученого и мыслителя, никогда не перестававшего быть гражданином; потому, что он жил цельно и молодо до последнего дня своей долгой жизни.

Родился Комаров в 1869 году в Петербурге, в военной семье, учился в VI гимназии и окончил с дипломом I степени физико-математический факультет Петербургского университета, по естественно-историческому разряду. Гимназистом он уже увлекается ботаникой, уходит летом в экскурсию по реке Мсте, коллекционирует и семнадцати лет так наблюдателен, что острым глазом подмечает необычные на севере растения, шалфей и коровяк, случайно забредшие сюда из степной полосы. Но ботаника не ограничивает его интересов. В университете он знакомится с Дарвином, увлекается лекциями Лесгафта по анатомии.

Тщательно и серьезно занимаясь, страстно интересуясь наукой, студент Комаров в то же время живой и задушевный товарищ, горячий общественник. Сквозь



всю его деятельность проходит высокая революционная настроенность, умение чувствовать утро жизни — начало новых исторических эпох. Сам он всегда был с теми, кто боролся за лучшее будущее. Блестящий молодой ученый, он не был оставлен при Петербургском университете из-за политической неблагонадежности: студентом он состоял под гласным надзором полиции; в революцию 1905 года он держит явку для большевиков; после Октябрьского переворота — один из первых всей силой своего авторитета, всем обаянием своей нравственной личности борется против реакционных настроений в ученой среде, помогает многим колебавшимся, непонимающим выбрать свой путь и пойти за большевиками.

Еще в университете Комаров начинает свои географо-ботанические поездки по Средней Азии. Два лета подряд, 1892 и 1893, он пешком обходит Зеравшанский Лауданский хребет, вплоть до Зеравшанского ледника; в 1895 году изучает среднюю часть бассейна реки Амурса; в 1896 году — Приморье и Маньчжурию; в 1897 — Северную Корею; в 1902 году совершает классическое путешествие к озеру Косогол по Восточным Саянам; в 1908—1909 годах изучает Камчатку, в 1913 году — Южное Приморье. После Октября он опять едет в новый для него район Средней Азии, к северу от Сталинабада, и в возрасте 72 лет, попрежнему живой и общительный, страстно отдающийся природе, остро переживающий ее, он объезжает Казахстан и Киргизию по маршруту Пржевальского. Результатом этих путешествий и поездок было множество ученых трудов по ботанике. В 1894 году он печатает работы о полезных растениях, встречающихся в диком виде в Горном Зеравшане; в 1901 году издает свой капитальный трехтомный труд «Флора Маньчжурии»; в 1908 году — «Введение к флорам Китая и Монголии»; в 1917 году — о флоре Южно-Уссурийского края; в 1924 году — о растительности Сибири; в 1926 году — о растительности Якутии; в следующие два года — о растительности Предбайкалья и флоре Камчатки; в 1931 году — о дальневосточной флоре; в 1934 году — о растительных зонах Таджикистана... «Первый ботаник Советской



страны» — так называли Комарова. От ранних ученых публикаций о флоре Зеравшана и до многотомного издания «Флоры СССР» Комаров неутомимо трудился над познанием, описанием и классификацией растений нашей родины, открывая много неизвестных до него видов. Так, во «Флоре Маньчжурии» он описал 1682 вида, из них 84 новых; во «Флоре полуострова Камчатки» — 825 видов, из них 74 новых. Но не в этом принципиальная новизна работ Комарова.

В блестящей статье о Комарове академика Ферсмана говорится, что Владимир Леонтьевич «поднял идею систематики на высоту глубоких теоретических и хозяйственных проблем». Сделать систематику проблемной Комарову помогли широта его научных интересов, умение целостно подойти к изучаемым явлениям. Комаров — ботаник-дарвинист, но он не только ботаник. В своей работе он прибегал к выводам и к данным самых разнообразных наук. Систематизируя флору Маньчжурии, он методами палеонтологии подошел к вопросу об эволюции флор; в своем блестящем исследовании о флоре Северной Монголии (путешествие на озеро Косогол) он показал себя отличным географом. Нужно было объяснить своеобразие этой флоры, ее полное отличие от альпийской флоры Центральной Азии и сходство с растительностью Севера, и Комаров сделал для этого описательный экскурс в прошлое страны, исследовал ее строение, изучил ее географически и пришел к выводу, что в современном расселении флоры «виновато прошлое», поскольку страна была ограждена от влияния Тихого океана и муссонов.

О значении Комарова как географа писал почетный академик Шокальский. Он же говорил о Комарове как о геологе, приводя отзыв геолога К. И. Богдановича. Однажды на докладе Комарова о Камчатке Богданович не выдержал и воскликнул: «Если так пойдет дальше, то ботаники успеют рассказать всю геологию Камчатки раньше, чем геологи соберутся выступить со своими докладами». Методы геологии, географии, палеонтологии, климатологии — все привлекал, всем пользовался ботаник Комаров, расширяя задачи своих



ботанических исследований. Недаром данное им классическое определение вида конкретизирует понятие вида признаками географической среды: «Вид есть морфологическая индивидуальность, помноженная на географический ареал».

Но и эта широта научного диапазона не составляет главного, принципиально нового в деятельности ботаника Комарова. Если взять список его ученых трудов, включающий не одну сотню названий, и внимательно просмотреть его, то увидишь, как постоянно думал он о главной, об основной цели всякого познания — о приложении истины на потребу человека, на пользу человеческого общества. Юношей путешествуя по Зеравшану, он обращает внимание на полезные растения, встречающиеся в диком виде, и помещает о них специальную статью в «Справочной книжке Самаркандской области в 1894 г.». Интерес к использованию дикорастущих полезных растений не покидает его всю жизнь и находит отражение в его крупнейшем труде по флоре СССР. Наступает мировая война 1914 года. Обостряется спрос на лекарства, сокращается импорт некоторых необходимых лекарств. Комаров публикует в первый год войны статью «Что сделано в России в 1915 году по культуре лекарственных растений». В 1917 году он пишет листовки о лекарственных растениях для департамента земледелия. Составленный им справочник «Сбор, сушка и разведение лекарственных растений» за три года, с 1915 по 1917, выдерживает три издания. И сейчас, когда на наших полях и в лесу в течение лета мелькают детские платица и школьники под руководством учительницы собирают и сушат шалфей, валерьяновый корень, мяту, черные ягоды крушины и много, много другого,— в этом массовом движении помощи родине немалая капля его меда — отзвук созданной им традиции.

Когда в годы первой мировой войны и в период гражданской остро встал вопрос о питании, опять мы видим, как ботаник Комаров внимательно, несколько раз возвращается к вопросу о картофеле, пишет в журнале «Природа» в первый же год войны о клуб-



нях картофеля; спустя два года — об использовании в пищу крапивы; о прививке томата на картофель, и еще через год — об истории картофеля.

Это свойство Владимира Леонтьевича — думать о человеке, «поднимать научный вопрос до высоты хозяйственных проблем» — отмечали многие ученые. Академик Шокальский пишет, например, что Комаров «именно как географ» подметил и «ясно указал на оставшиеся неиспользованными великолепные пастбища в бассейне реки Оки». Огромны заслуги Комарова в освоении Дальневосточного края. Он был одним из его пионеров. Еще в 1896 году он издал брошюру «Сельскохозяйственный вопрос в Амурской области», в том же году большую статью «Условия дальнейшей колонизации Амура» и неоднократно возвращался к этой теме. Решалась она в те годы далеко не безболезненно. Предоставим тут слово академику Ферсману, ярко и полно охарактеризовавшему Комарова в юбилейной статье:

«...Был период его жизни, когда... ему (Комарову — М. Ш.) приходилось выдерживать тяжелую борьбу. Это было в 90-х годах, когда молодой исследователь окунулся в новый для него мир Амура и Дальнего Востока. В то время господствовали идеи крупного тогда авторитета — академика Коржинского — об особенностях растительного покрова Амурской области и об отрицательном влиянии хозяйства на растительность этого края. В. Л. Комаров выступил горячо и решительно против этих идей, подчеркивая, что нельзя подходить к природе исключительно с естественно-исторической точки зрения, что человек оказывает на природу огромное влияние, что без экономического анализа нельзя оценивать практическое значение каких-либо территорий. Человек сам изменяет, углубляет и направляет природу, — исчезают вредные насекомые и животные, жесткие травы сменяются мягкими луговыми, болота осушаются, человек овладевает местными условиями и сам приспособливается к ним. Человек не хищник, который оставляет после себя лишь бурьян, нет, это организующая сила, овладевающая природой».



Много путешествуя, общительный и живой, Комаров всегда находил интерес и помощь в местной общественной среде, и этим он очень напоминал Менделеева, высоко расценивавшего работу краеведов и местных знатоков края. В старое, дореволюционное время Русское географическое общество имело на далеких наших окраинах свои отделения, где велась серьезная научная работа. В этих отделениях Комаров неизменно бывал и всегда убеждался в глубокой полезности и культурности таких научных очагов в стране. Они стягивали к себе и мобилизовали местные силы интеллигенции, учителей, агрономов, врачей, накапливали большой рукописный материал, собирали множество данных, служивших большим подспорьем для работы центральных научных учреждений. Эту свою неизменную симпатию к «научной работе на местах», к организованным на периферии филиалам академик Комаров донес до наших дней, и она вылилась в важнейшее начинание Академии наук, созданное при самом близком его участии,— открытие филиалов Академии наук в советских национальных республиках. Позднее они превратились в самостоятельные академии.

Даже в дни войны Академия наук продолжала объезд отдаленных восточных республик и организацию в них силами местных ученых своих отделений.

Зайдя в читальню Академии наук в Свердловске, вы могли увидеть специальный стол с ворохом газет, каких не нашли бы ни в какой другой обычной читальне; и эти газеты, названия которых говорили о самых различных географических точках нашего Востока,— «Советская Киргизия», «Прииртышская правда», «Иссык-Кульская правда», «Тихоокеанская звезда», «Большевик Амура», «Красная Башкирия», «Удмуртская правда», «Коммунист Таджикистана» и т. д. и т. д., они не только лежали, сшитые в комплекты, но и очень часто перелистывались, читались, просматривались наравне с центральными газетами.

Не одним лишь силами местных ученых надеялся Владимир Леонтьевич поднять и поставить научную работу в далеких советских республиках. Непосредст-



венный и живой, как юноша, академик верил в инициативу молодежи, в наблюдательность и острый глаз школьника. Он не забыл, как гимназистом сделал в северных новгородских лесах ботаническое открытие.

Осенью 1932 года Комаров выступил на общезаводской комсомольской конференции во Владивостоке с призывом к комсомолу организовать разведку естественных богатств Дальневосточного края. В том же году в Хабаровске он провел сессию совета Дальневосточного отделения Академии наук, на которой между этим отделением и Дальзаводом был подписан договор о взаимопомощи. Тогда же Комаров предложил заводским рабочим ставить опыты в академических лабораториях. Любовь к рабочей молодежи и вера в ее творческую силу побудили ученого-ботаника к созданию не совсем обычной для него дидактической книги. Среди огромного списка печатных трудов академика Комарова эта книга резко выделяется по своему жанру: Владимир Леонтьевич написал в 1925 году для «Биографической библиотеки» ГИЗа литературную монографию о Ламарке.

Быть может, нет более показательной и в своем роде совершенной работы у Владимира Леонтьевича, нежели эта скромная книга. Большой ученый, ботаник, естествоиспытатель пробует себя как историк, и в методе подачи материала, в том, как раскрыл Комаров личность Ламарка, сказалось все своеобразие и все преимущества его способа мышления. Он дал историю, жизнь и судьбу одного из замечательнейших творцов науки с той же тщательностью, с какой описал бы кусок живой и деятельной природы,— от менее сложного к более сложному, с полным привлечением исторической среды, предшественников, современников и последователей Ламарка. Нашим историкам, да и писателям, пишущим исторические романы, было бы полезно ознакомиться с этой книгой именно с точки зрения ее методологии. Комаров показал Ламарка в его «обращении», дал идеи Ламарка, верные и ошибочные, в их взаимодействии с эпохой, и читатель, закрыв книгу, получает глубокое, оптимистическое чувство благородной экономии природы.



В этой книге есть замечательные страницы о положении ученого в эпоху французской революции, о том, как французский народ в тяжелые для него дни сумел поддержать передовую науку и оказать ей то уважение, какого она не видела при старом режиме.

«После окончательной победы якобинцев над жирондистами 31 мая 1793 года профессора Музея (где работал Ламарк.— *М. Ш.*) были настолько напуганы событиями, что обратились за содействием к депутату Конвента и председателю комитета народного просвещения, Лаканалю, пользовавшемуся большим влиянием. Лаканаль сейчас же явился в Музей и устроил совещание с профессорами... о том, как спасти учреждение от закрытия. Он познакомился с проектом реформы, в выработке которого принимал выдающееся участие Ламарк, и на другой же день внес в Конвент декрет о реорганизации Музея. Момент был тревожный: австрийцы бомбардировали Валянсьен, пруссаки осадили Майнц, испанцы угрожали Перпиньяну, вандейцы после кровавой битвы взяли Сомюр, в то время как в Марселе, Бордо и проч. гремело восстание против Конвента, поднятое бежавшими из Парижа жирондистами. Тем не менее 10 июня декрет о реорганизации Музея... вступил в силу... Таким образом, летом 1793 года в самый разгар революции, в эпоху террора, Музей был реформирован. Со стороны трудно представить себе, чтобы это время, столь богатое трагическими происшествиями, столь затягивающее в политическую работу, было благоприятно для тихих научных занятий... Однако большинство ученых было искренними республиканцами, и Ламарк, хотя и провел свое детство в помещичьем доме, а отрочество в иезуитской коллегии... упоминает в своих трудах о благоприятном для него режиме революции...»

В этих словах, в приводимых Комаровым архивных документах отношения Конвента к научным трудам и к работникам науки и искусства, наконец в прослеживании исторической судьбы научного наследства Ламарка исключительно ярко сказалась и собственная позиция Владимира Леонтьевича и его принципиальное понимание роли науки. Большой любовью к народу,



большим внутренним теплом веет от этих страниц, и сквозь благородный образ Ламарка невольно встают перед читателем незабываемые, мудрые и мужественные черты одного из любимейших ученых нашей страны.

Принципиальное понимание Комаровым роли науки раскрылось, как никогда раньше, именно в дни войны. Старый ученый сумел сплотить в «Комиссии по изучению и мобилизации ресурсов Урала» самых различных людей, от практиков до исследователей, от местных до приезжих, сумел зажечь их горячим патриотизмом, увлечь их романтикой большого, нужного родине дела, и ни разу еще с такой силой в истории нашей не проявилось вдохновенное, коллективизирующее творчество науки в помощь обороне родины, как в эти оборонные годы на Урале. Созданная Комаровым комиссия провела ряд комплексных работ по обследованию Урала и Казахстана, выявила много необходимых нам сырьевых запасов, помогла найти и поставить выработку целого ряда дефицитных руд, и эти работы влились в оборонную промышленность Урала, помогли поставить ее на высоту исторической задачи, стали одной из сил, приведших к разгрому врага. Не случайно, что именно Комаров нашел для оборонного Урала замечательное определение:

«Этот меридианальный хребет, тянувшийся параллельно фронту и удаленный от него на тысячу, две тысячи километров, образует как бы мощную линию экономических укреплений, линию богатейших месторождений, мощных рудников, заводов и электростанций, созданную в течение трех пятилеток».

Наука развивается не только от одного открытия к другому, от одной теории к другой. В развитии науки неизменно участвует формирующее влияние облика ученого, типа человека науки, эволюционирующего вместе с изменением общества и в свою очередь влияющего на методику, постановку опытов, среду и характер ученой работы. Влияние личности Комарова на изменение методики ученых работ Академии особенно ярко сказалось именно на Урале. В то время как в уральской заводской практике все ближе и ближе сдвигались инте-



ресы техники и экономики, а движение тысячников бурно сломало рогатки между технологией и планом, технологией и экономикой, технологией и энергетикой, Академия наук под руководством Комарова привлекла и геологов, и горняков, и географов, и гидротехников, и экономистов, и других ученых различных специальностей к совместной работе над одной и той же темой, к своей научной практике. В такого рода комплексной методике проявились личные вкусы и черты характера тогдашнего руководителя Академии наук СССР академика Комарова. Но личные черты и вкусы ученого, ответившие исторической потребности общества, становятся вехами и в развитии самой науки.

#### ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА А. А. БАЙКОВА

К ленинградскому академику приходит человек. Он не ленинградец, — он прямо с дороги, издалека, с Кавказа, а может быть, с Украины, из Средней Азии. Человек даже не знает, к какому большому ученому он приехал. Ему не ученый нужен, а депутат Верховного Совета товарищ Байков. «Но почему, — спрашивает жена академика и его единственный секретарь, — вы приехали сюда? Ведь у вас есть свои депутаты, ведь у Байкова много своих избирателей!» Приехавший упрямо добивается именно Байкова. Со вздохом ведет его Анна Дмитриевна в скромный кабинет ученого, к особому столу, особому ящику, где уже стоит обширная картотека.

С тщательностью подлинного исследователя семидесятилетний ученый, загруженный десятками больших дел: преподаванием, консультированием, лабораториями, Политехническим музеем, Академией наук, университетом, Палатой мер и весов, где он работал постоянно; занятый множеством проблем, на первый взгляд и не связанных между собою: химией неорганической, органической и физической, металлургией черной и цветной, промышленностью, строительством Дворца Советов, поисками нужной марки стали, диалектическим материализмом, организацией высшего



технического образования,— находил время составлять и вести картотеку всех своих депутатских дел. Каждый человек, обратившийся к нему с просьбой, помечен был здесь на отдельной карточке; тут же изложено его дело; зафиксированы дата просьбы, прохождение по нужным учреждениям, результат, число и номер ответа. Здесь вся работа, как у хорошего правозащитника или врача, лежала перед глазами. У депутата Байкова было правило: отвечать на каждое письмо не позже чем через пять дней.

Это качество — каждое дело доводить до конца — родилось из основной черты научного мышления академика Байкова: каждую мысль додумывать до конца, до той предельной ее ясности и завершенности, когда она уже превращается в формулу, в закреплении опыта, годного для передачи другому, для перехода в общее пользование. Мыслитель, одаренный такой чертой, всегда немного дидакт, учитель, педагог, потому что отчетливость понимания и классическая четкость формулировки вызывают к дележу — со слушателем, с учеником. Кажется, так легко понять, что обидно не увлечь людей этой ясностью, не дать им пережить то умственное наслаждение, которое питает и греет тебя самого. И Александр Александрович Байков, вырастая как ученый, с первых же лет определившегося вкуса к науке показал себя и прирожденным педагогом.

Родился он в 1870 году под Курском, в культурной семье очень известного адвоката. Отец умер рано, и будущего ученого воспитала мать. Семья была артистической, мать отлично знала театр и литературу, брат был талантливым музыкантом, был музыкален и сам Александр Александрович. Но основной его страстью все же оказалась химия. Гимназисту Байкову каждый день давали пятачок на завтрак, но вместо сайки и колбасы он покупал себе реторты, колбочки, всевозможные кислоты и постепенно соорудил очень не плохую лабораторию. Здесь, ставя опыты, наблюдая тайны превращений вещества, Байков увлекался не тем, что кажется загадочным, а ясной и точной формулой соотношений, неизбежностью определенных результатов при наличии определенных условий, и эта яс-



ность, это накапливаемое знание, растущая власть над явлением, хозяйская постановка опыта — влекли его к аудитории, к дележу с другими. По воскресеньям он собирал подруг своих сестер и читал им лекции, сопровождая их опытами.

Гимназия блестяще окончена. Покончено и с городом Курском. Байков поступает в петербургский университет и надолго становится петербуржцем. Очень характерная деталь: из-за ранней любви к точности мышления, из-за понимания, какую большую роль играет в химии математическая канва, Байков решил прежде всего как можно лучше освоить математику. И вместо естественного факультета, где преподавалась избранная им химия, он пошел на физико-математический, потому что там — он знал — математика поставлена солидней.

Те годы в старом Петербурге проходили для химиков под знаком Менделеева. Байков, занимаясь на физико-математическом, слушал одновременно и Менделеева, посещал и лекции Коновалова, у которого позднее, окончив университет, остался работать. Дмитрий Иванович Менделеев подметил и выделил молодого Байкова, с которым был потом дружен до конца своих дней. А Байков взял у великого химика те основные тенденции, в русле которых велась впоследствии вся его работа.

На том самом юбилейном вечере, где Комаров говорил о Менделееве как о хозяйственнике, открывшем целый ряд экономических перспектив для нашей страны, академик Байков произнес речь о Менделееве как о химике. Казалось бы, речь эта была очень специальной и даже узкой, но только на первый взгляд. На самом же деле Байков говорил в сущности о той же самой большой дороге, на которую вел Менделеев нашу страну, но он говорил о ней в терминах своей науки. В бессмертном труде Менделеева «Основы химии» академик Байков подчеркнул три основные идеи: первая — о тесной связи химии со всеми другими отделами естествознания; о том, что нельзя понимать химию изолированно от них, о трактовке Менделеевым материалов природы (воды, воздуха, топлива) неотделимо



от техники; вторая — об унитарности теории химии, о том, что сложное вещество есть нечто единое, дающее в зависимости от условий разнообразнейшие превращения; и только на третьем месте Байков назвал менделеевский периодический закон. В такой формулировке основных идей Менделеева ясно виден и путь самого Байкова. Он развил идеи новой дисциплины — металлографии, применил к металлургии законы точной науки — физической химии; сумел практические вопросы закалки, термической обработки, выплавки разных марок стали возвести к чудесной и совершенной точности строгой науки или, наоборот, — из самого строго научного мышления, из мира математических формул размотать клубок животрепещущих проблем нашего металлургического хозяйства.

Окончив университет, он поехал в Париж и в течение года специализировался по металлургии у французского ученого Лешателье.

Когда мы сейчас раскрываем и читаем научные труды академика Байкова, они — на взгляд неспециалиста — в первую минуту кажутся простыми, очень сухими сообщениями. Названия до крайности деловиты: «Кристаллизация и структура стали», «Плавки медных руд в шахтных печах», «Тройная диаграмма медь — сера — железо», «Строение стали при высоких температурах», «О полиморфизме никеля», «Каустический магнезит, его свойства и отверждение», «Пиритная плавка», «Восстановление и окисление металлов», «Нержавеющее железо», «Физико-химические условия приготовления огнеупорных изделий», «Испытание керченского металла на сварку» и т. д., почти все в том же, очень сухом и специальном духе. Разыскав эти работы (они многочисленны) по разным изданиям и учебным журналам, видишь, что объем каждой из них очень невелик, не больше того, что мы называем «сообщением», статьей. Правда, среди названий мелькает вдруг очень привлекательное, вроде «Диалектики металлургических процессов», — но оказывается, что это доклад, в письменном виде не сохранившийся, от него остались только тезисы, записанные рукою слушателей. Вспоминая обширные тома литературного наследия



других наших ученых, их опыты в общелитературных жанрах, их выходы в «монографию», популярную книгу, статьи для молодежи, для детей,— невольно чувствуешь себя обескураженным и лишенным возможности найти в этой специальной литературе что-либо «для чтения», для себя самого.

Однакоже тот, кого не отпугнут названия трудов Байкова и кто не убоится своей собственной неподготовленности, получит неожиданнейший сюрприз, граничащий с настоящим потрясением. Он увидит, начав читать любую из этих специальных статей, что перед ним самое настоящее чтение, по прозрачности, ясности, удивительной стройности изложения почти не имеющее себе в технической литературе равного. Кто увлекался в годы учебы чудесной прозой научных работ Ломоносова, кто перелистывал старые издания «Энциклопедии», составленные материалистами-философами, чтоб как можно ярче, как можно проще раскрыть перед читателем смысл понятия,— тот сразу же, с первых страниц академика Байкова, почувствует влияние классического стиля XVIII века. Огромным уважением к человеческому разуму, к человеческому времени, к предмету своей науки, к писаному слову веет от всего, что пишет Байков. Неожиданно для себя, читая его статью, вы не только оказываетесь приобщенным к неизвестной для вас области, но вы в состоянии мыслить в ней дальше, подхватывать аналогии, которые эта статья подсказывает, и вдруг страшно заинтересовываетесь проблемами, которые она в двух-трех строках намечает.

Эта прозрачность стиля, связанная с точностью языка и экономичностью построения статьи, вытекает у Байкова из самого характера его мышления. Петербургская молодежь, весь металлургический мир старого Питера должны были резко и неожиданно, как переживаем мы сейчас байковский стиль в чтении, почувствовать это во время первой же большой встречи с Байковым на защите им адъюнктской диссертации «Исследование сплавов меди и сурьмы и явлений закали, в них наблюдаемых», состоявшейся в октябре 1903 года.



Попробуем передать читателю хотя бы частично очарование этой замечательной работы. Пусть мы вместе с читателем, подходя к ее первым страницам, совершенно ничего не знаем ни о сплавах меди и сурьмы, ни о явлениях закалки в них, не знаем даже того, что такое закалка. Но Байков как будто предвидит это. Он сам спрашивает, что такое закалка, и отвечает:

«Явления закалки относятся к случаям так называемого «ложного равновесия» (*faux équilibre*). «Ложным равновесием» называется такое состояние материальной системы, когда отсутствие каких-либо изменений или превращений в системе обуславливается не тем, что внутренние силы системы находятся в равновесии с внешними условиями, но тем, что при данных внешних условиях превращение вообще не может совершаться ни в том, ни в другом направлении».

В нескольких строках читатель тут получил такое богатство для мышления, что он может сидеть и додумывать вокруг и от сказанного множество вопросов.

Во-первых, он узнал, что есть два равновесия, одно — фальшивое, при котором ты просто потому находишься в равновесии, что тебя как бы за горло взяли и держат в неподвижности и неизменяемости; а другое — настоящее равновесие, которое заключается в том, что ты сам все время взаимодействуешь с окружающей тебя средой и поддерживаешь это равновесие. Если сравнить, скажем, с акробатикой, то акробат на канате — это подлинное равновесие, а привязанный к канату в стоячем положении человек — это фальшивое равновесие.

Во-вторых, он узнал, что закалка относится именно к искусственному, фальшивому равновесию.

В-третьих, он узнал, что нарушение равновесия заключается в целом ряде происходящих в теле (или «материальной системе») превращений, иначе сказать — акробат летит вниз головой, а кусок стали — ломается или получает трещину. Значит, после закалки в этом закаленном металле не должно происходить никаких превращений, металл должен быть как бы мертвым.



Это огромное количество узнанного, изложенное мною нарочно грубейшим языком профана, подводит читателя не только к пониманию того, что такое закалка, но и заставляет мысль самостоятельно идти дальше, и читатель сам ожидает, что вот сейчас в дело вмешается вопрос о тепле, о нагреве, об охлаждении, то есть о температуре, потому что внешнее условие для искусственных равновесий, для закалки связано с температурой...

Существуют десятки учебников о закалке, в том числе популярных. Существует и такое изложение явлений закалки, где неспециалист не поймет ничего. Но мы взяли первую вводную страничку байковской диссертации, страничку, касающуюся простого вопроса для металлурга, чтоб показать необычайную потенциальность, философичность (в глубочайшем смысле слова) изложения Байкова, сразу вводящую во весь потенциал проблемы, овладевающую вашей мыслью, заставляющую вас думать и получать наслаждение от мысли.

Допустим, что, кроме приведенной мною короткой цитаты, мы больше ничего не прочли у Байкова. Но вот перед нами раскрывают его статью «Высококачественная сталь и ее характеристика», написанную в 1932 году, спустя двадцать девять лет после его диссертации. И там мы читаем следующее:

«Когда мы имеем массу расплавленного металла в печи, в конверторе, в тигле — в приборе, в котором готовим сталь,— то эта масса расплавленного металла — стальная ванна — имеет сложную и интересную жизнь. Она все время живет, она не остается без изменения, в ней все время происходят различные процессы... Когда мы совершенно остановим все эти процессы газообразования, когда сталь станет совершенно безжизненной, она будет обладать наилучшими свойствами: она, вытекая из печи и застывая в изложницах, никаких выделений газов не будет обнаруживать... Такая мертвая сталь является идеалом, к которому металлургия должна стремиться».

Здесь все нам сразу предельно ясно, потому что мы уже прочитали, что такое закалка. Здесь узнанное на-



ми в одной только фразе служит уже ключом, делает нас в своем роде «образованными в этой области», то есть позволяет судить и понимать. Мы с удивлением задумываемся о том, что жизнь для неорганического мира металла есть несовершенство, есть смерть (условие порчи, поломки, непрочности), а смерть есть жизнь (условие длительности, целостности, прочности).

Так подать сухую специальную тему — значит подать ее на высоком уровне мышления, и притом мышления, не «изолированного», не двигающегося в ограниченных пределах данной специальности, а связанного с пониманием всех смежных наук.

Не удивительно поэтому, что молодой ученый захватил своей диссертацией, увлекательностью своего стиля, прозрачностью своего мышления еще в 1903 году многочисленную аудиторию. Байков становится профессором и получает кафедру общей металлургии и металлографии в Политехническом институте. Здесь, в созданной им лаборатории, где металлургия впервые преподается как обязательный предмет, молодой ученый широко развивает гениальное открытие классика русской и мировой металлургии Д. К. Чернова о критических точках стали и его учение о термической обработке стали. Как известно, до Чернова закалка, термическая обработка стальных изделий делалась, что называется, на ощупь, нутром. Никто не понимал в точности процессов, которые при этом происходили, не «заглядывал в глубь материи», — а самый процесс закали, осуществлявшийся вслепую, был ремеслом рабочего. Д. К. Чернов впервые разгадал тайны этого процесса. Своей «металлографией» он создал поворотный пункт в истории термической обработки стальных изделий.

Лаборатория Байкова в Петербурге становится местом паломничества для металлургов. Он создает свою школу, и ученики, выходящие из этой школы, выполняют сотни работ, задуманных и подсказанных учителем. Слава Байкова растет, круг его обязанностей расширяется. Когда приходит Октябрьская революция, он в еще консервативной среде ученых так смело судит о



событиях, так необычно для этой среды высказывается, что ему бросают в лицо как обвинение: «Да вы большевик!» И Байков спокойно и уверенно отвечает: «Да, я большевик» Он находит огромную близость и многие точки касания к большевизму. Тянет его к нему и домашнее воспитание, мать, словно выхваченная из атеистических, вольнодумных кругов восемнадцатого века, безбожница, в глубокой старости скончавшаяся, отказавшись от священника и обрядов религии; тянет его и занятие точной, строгой наукой; и подсмотренная им в явлениях природы, в изученном металлургическом процессе диалектика этого процесса, о которой он делает специальный доклад, проникнутый духом диалектического материализма.

Огромную практическую помощь советскому строительству, а во время войны обороне родины оказал Байков. Этот ленинградец, в свое время немало ратовавший за выплавку в Ленинграде «своего собственного ленинградского» чугуна, стал едва ли не самым популярным человеком на Востоке — на уральских заводах. Он был с ними связан и раньше, прилетал к ним, вызываемый «птицами пятилеток», бесчисленными ведомственными телеграммами; он первый вместе с Павловым и Грум-Гржимайло по личной просьбе В. И. Ленина разработал проблему «Кузнецк — Магнитогорск», но за время войны опыт его пригодился Уралу как никогда раньше. Гениальная проницательность Байкова в области металлургии сделала его хозяином сплавов, творцом огромного количества марок стали. Он стал подобен в этом царстве мертвого качества, царстве мертвого бессмертия — Мичурину, хозяину растительного царства в его бессмертной жизни. А в дни войны умение создавать нужную марку стали во многом решает судьбу оборонного заказа.

В 1939 году Байков опубликовал статью «Задачи науки в черной металлургии», где развернул перед учеными обширную программу, уходящую далеко в будущее. Статья, как и все, что писал Байков, сжата до крайней степени и очень немногословна, без всякого, впрочем, ущерба для ее ясности и увлекательности.



Прочтя ее, чувствуешь себя на очень высокой вершине, где воздух разрежен и трудно дышать, и кажется, будто по мере вдумывания в эту статью ты начинаешь полет в будущее.

Байков закончил ее шестью проблемами, которые он предложил на разрешение ученым металлургам.

Первая проблема — изучение жидкого металла и его свойств. Оно поможет при разливке жидкого (расплавленного) металла в изложницы, потому что «самую лучшую сталь, приготовленную безукоризненно правильным процессом, можно совершенно испортить при разливке по изложницам».

Вторая проблема — освобождение от газов в металле.

Третья проблема — неметаллические соединения в металле.

Четвертая проблема — течение химических реакций в ванне расплавленного металла.

Пятая проблема — о так называемом «первородстве».

По аналогии с наследованием признаков в мире органическом металлурги сложили легенду о наследовании «матерних» и «отцовских» качеств в металлических сплавах. Байков поставил эту проблему очень отчетливо, хотя и осторожно: «Проблема первородства материалов и наследственности в металлургических производствах, — другими словами, влияние различных исходных материалов на свойства получаемого из них металла, которые при одинаковом химическом составе металла могут представлять существенное различие... Необходимо путем точных исследований решить, существует ли это в действительности, или это является результатом недостаточно правильных наблюдений. А если это имеет место в действительности, то необходимо совершенно точно и определенно выяснить, в чем заключается истинная причина подобных явлений. Если это не будет сделано, то будет допущено в положительную науку проникновение мистицизма и таинственности, которым не должно быть места в нашем материалистическом мировоззрении».



Как-то на Урале у академика Байкова спросили по поводу этой пятой проблемы, думал ли он сам в эти годы над нею, и Байков ответил: «Да. Я склоняюсь к выводу, что никакой «наследственности» при сплавах вообще нет, нельзя говорить о «наследственности», — есть лишь сочетание разных качеств».

Что касается последней, шестой проблемы, то в ней содержится тот скачок в будущее, который дает читателю ощущение полета. Шестая проблема посвящена специальной стали, открытию таких принципов, законов и положений, которые позволили бы проектировать сталь с любым составом, чтобы она имела наперед заданные свойства.

Ленинград был в кольце блокады. Ленинградцы голодали, Невский проспект простреливался артиллерийским огнем. Шесть раз горсовет предлагал академику Байкову выехать, и шесть раз он отказывался выехать. Он терпеливо объяснял, что ему выехать никак нельзя: рабочие приходят и спрашивают: «Здесь ли Байков?» Избиратели спрашивают, тут ли Байков, не уехал ли их депутат? Хорош бы он был, если б выехал! Ведь это произвело бы тяжелое впечатление... И Байков неутомимо работал в осажденном городе, разъезжая по Ленинграду под бомбами. Один раз снаряд разорвался недалеко от его машины. Другой раз бомба упала возле траншеи, куда он укрылся. Байков удивлял окружающих своим бесстрашием, он действовал успокоительно, друзья прозвали его «бромом» и шли к нему за спокойствием, говоря, что идут выпить ложку брома. Все же ему пришлось выехать из Ленинграда.

Моложавый, стройный старик, юношески свежий в движениях, появился тогда на Урале, и те, кто не знал его близко, услышали очаровательного собеседника, наизусть помнящего страницы любимых им поэтов, музыканта — с глубоким суждением о музыке, человека галльского остроумия и ворчливой русской доброты, о котором прокатчики и сварщики, мартеновцы и электроплавщики, термисты и печники говорили «наш Байков» и долго еще будут помнить в нашей стране люди самых разных специальностей и профессий.



В начале войны Владимир Афанасьевич Обручев приехал на Урал вместе с эвакуированным институтом Академии наук. В те дни многие чувствовали себя вышибленными из привычной колеи, должны были привыкать к походному быту, к отсутствию нужных рукописей, драгоценной библиотеки и годами собранных материалов, без которых, казалось, невозможна никакая научная работа. Но Владимир Афанасьевич, как только поднялся в отведенный ему номер гостиницы, вынул старую чернильницу темнокоричневого цвета, верного друга, сопровождавшего Обручева в его поездках почти пятьдесят лет. Семидесятивосьмилетний геолог не нуждался в долгом приспособлении к новому месту. Множество экспедиций провел он в своей жизни, отнюдь не прерывая научной работы: расположится на ночлег в убогой клетушке китайской гостиницы, на так называемом «кане» — теплой глинобитной лежанке, отапливающейся изнутри, достанет чернильницу, собранные образцы, зажжет свои свечи и при свете их работает со вниманием и увлечением, как в городском кабинете.

Правда, в свердловской гостинице не было под рукой ни его московской библиотеки, уникальной по разделу Азии; ни обширного картографического собрания в ящиках, которые давно уже не умещаются в его кабинете и громоздятся в коридоре и в передней. Но Владимир Афанасьевич привез с собою на Урал особую «библиотеку» — собственную память. Поразительна эта память! Ученый верно хранит в ней не только факты и даты, но и связи явлений, последовательность событий. По памяти он может сейчас воскресить двухнедельные, месячные путешествия со всеми их остановками и особенностями дороги, — путешествия, проделанные больше чем полвека назад. И, поставив на стол чернильницу, Владимир Афанасьевич сразу оказался дома на Урале. Он начал свою работу буквально со дня приезда.

Есть области науки, где сравнительная неисследованность материала требует долгого периода собирания,



накопления фактов и писаний, где преждевременные обобщения могут больше повредить, чем помочь. В таком положении было наше знание геологии Азии, особенно некоторых совершенно не исследованных частей азиатского материка, во второй половине прошлого века, примерно к тому времени, когда студент Горного института Обручев осознал свою жизненную задачу.

В семье его отца, пехотного офицера Афанасия Обручева, были хорошие традиции. Брат отца, Владимир Александрович, друг Чернышевского, был осужден и пошел на каторгу почти одновременно с Чернышевским. Сестра отца, Марья Александровна,—это та самая Бокова-Сеченова, с которой писалась Верочка романа Чернышевского «Что делать?» Дядя, шестидесятник, и тетка, шестидесятница несомненно внесли какую-то свою долю в атмосферу детства и юности Обручева. Родился он в 1863 году в Тверской губернии, рос и воспитывался из-за частых перемещений отца по службе во многих городах: раннее детство провел в польских городах Журомине и Млаве, обучаясь польскому языку, который и сейчас еще не забыт академиком: прогимназия в Брест-Литовске; гимназия в Радоме; реальное училище в Вильно, и наконец, в 1881 году, сперва Технологический, а потом Горный институт в Петербурге. Менялись среда и люди,—людьми мальчик не успевал даже интересоваться; но смена природы, переезды из города в город, разворачивающаяся панорама земли, захватывающая в своем изменении, дающая все новые и новые впечатления, быть может еще тогда разбудили в мальчике неутомимого, жадного «пожирателя пространства», любителя путешествий. Десятки лет спустя академик Обручев потратил много энергии на то, чтобы убедить наши органы народного образования ввести геологию — изучение истории земли, науку, что такое земля и как она сложилась,— в качестве обязательного предмета в среднюю школу. До сих пор, чуть ущемят где-нибудь преподавание геологии и скостят ее часы,—люди бегут жаловаться академику Обручеву, и он принимает близко к сердцу «обиженную геологию». Но не



только геология и топография — точное знание района, где ты живешь, мудрая прогулка не одними ногами, а когда и мысль, и глаз, и память работают, подмечают, соображают, запоминают, — кажется старому ученому необходимым багажом образованного человека. Еще до войны он поместил в одной из белорусских газет статью о том, что «каждый школьник должен знать топографию своего района...»

С детства начала тренироваться память будущего геолога и обостряться его способность видеть вещи. Первую свою геологическую практику, около шестидесяти лет назад, он провел в преддверии Азии — на Урале. При переходе с третьего на четвертый курс он сблизился со знатоком Туркестана профессором Мушкетовым и уже бесповоротно выбрал для себя свое будущее. В те годы появился первый том огромного описательного сочинения Рихтгофена «Китай», снабженный четкими геологическими рисунками, первыми уточненными картами отдельных районов Китая. Владимир Афанасьевич страстно увлекся Рихтгофеном. Это было чтение по его вкусу; это был стиль подлинного научного описания. По всей внешней сухости и специальности, в однообразии перечней, в отсутствии «лирических восклицаний» и всякого рода литературного украшения, во всей строгой точности этих страниц то тут, то там, как редчайшая вкрапинка золотых песчинок, мелькало наблюдение, вырвавшееся за сферу земли — в историю общества, в историю дороги, в описание сотворенного людьми и сложенного народом.

Надо уметь быть прирожденным исследователем в одной узкой своей специальности, чтобы полностью переживать и чувствовать разрядку вот от таких редчайших «золотых песчинок». Как потянуло Обручева в Китай! Потянуло исследовательски, с методом и трудолюбием автора, но не вслед за Рихтгофеном, по уже пройденным дорогам, а туда, где он еще не был и где еще никто не был. Однако же Горный институт окончен, и надо было думать о службе, о работе для заработка.

Генерал Анненков начинал тогда строительство Закаспийской военной железной дороги. Для этой дороги



необходим был ряд геологических исследований. В экспедиции, организованной с этой целью профессором Мушкетовым, принял участие и молодой Обручев. В течение трех лет, с вычетом нескольких месяцев на отбывание воинской повинности в 1886, 1887 и 1888 годах, он прошел и обследовал Туркмению, от Кзыл-Арвата до Самарканда, к границе Афганистана, на юг, и до русла реки Узбой, на север.

Это еще не было желанным Китаем, но это уже были Восток, пустынная земля, пески, характерные растительные виды, которые он позднее встретил в Центральной Азии. И вот что замечательно. Молодой Обручев во время практических работ в экспедиции вел — как всегда ведет — дневнички, но не собирался отдавать их в печать. Дневнички эти вместе с другим его накопленным десятками лет рукописным материалом остались в Москве. Между тем пребывание на Урале приняло для академика Обручева, в силу практических задач военного времени и развития уральской геологической тематики, характер неизбежного возврата к начальным годам его работы и тем самым как бы закруглило его длинный жизненный путь. Не очень страдая, что вот сейчас, сию минуту, по требованию работы, нельзя вынуть из ящика все накопленное богатство прошлого и использовать его как нужнейший опыт для злободневной статьи, Владимир Афанасьевич постучался в походную библиотеку памяти и здесь, на Урале, спустя шестьдесят лет, не только написал по памяти для альманаха «Уральский современник» о «Горной разведке в старое время» (первой своей уральской практике), но и засел, наконец, за точное описание своих путешествий по Туркмении. Не имея под рукой даже клочка бумаги из дневников прошлого, он успел уже написать свыше десяти печатных листов.

Попробуем заглянуть ему через плечо в эти заветные листы, еще нигде не напечатанные. Владимир Афанасьевич пишет их по вечерам, они для него легкая и развлекательная работа, не требующая особого напряжения. Пишет он, как всегда, прямо начисто, чаще карандашом, молодым, необычайно разборчивым, ясным и сжатым почерком. Когда, в редких случаях,



рука позволит себе перегнуть мысль или придет на ум более счастливое выражение и Обручев захочет поправить написанное, он не зачеркивает нагрешившее слово, не оставляет его на бумаге, а попросту крепко стирает мягкой резинкой — непременно производственным инструментом его рабочего места — и вписывает новое.

В ровных и чистых строках «Туркменских записок», льющихся так легко на бумагу, попадают знакомые названия, сразу возбуждающие интерес. Если вы прочитали замечательное описание путешествия Обручева в Китай и Центральную Азию, изданное Академией наук в 1940 году, вам, наверное, запомнились часто упоминаемые растения, виденные им в пути: «ирис», «чий». Ирис — это знакомо, а вот что такое «чий»? Как он растет? Какой от него толк? Обручев нигде в книге не дал подробного объяснения, и чий остался в вашем воображении недовершенным. А тут неожиданно первое, что попадает вам в рукописи, это долгожданное знакомство с таинственным чиём. И какое исчерпывающее!

«Чий — злак, растущий отдельными большими пучками или снопами в рост человека или даже всадника, из очень твердых стеблей с метелками цветов. Чий мы уже встречали кое-где в киргизской степи, а в Центральной Азии он очень обыкновенное растение и приносит пользу, хотя не в виде корма, так как его жесткие, как проволока, стебли даже верблюды не едят, а только обгрызают молодые метелки. Из этих стеблей кочевники плетут цыновки для стенок и пола юрт, а в зарослях чия мелкий скот укрывается от зимних метелей».

Шестьдесят лет пролежало в памяти ученого это ясное и точное знание, чтоб лечь на бумагу в часы досуга, на Урале, в ретроспективной работе, создаваемой без единого пособия или источника, кроме собственной памяти!

Вернувшись из туркменского путешествия, Обручев принимает место штатного геолога Иркутского горного управления. Эти годы связаны у него с практическими разведками угля на Оке, слюды на реке Слюдянка и,



главное, золота в Олекминско-Витимском золотоносном районе. По золоту Обручев становится классиком — крупнейшим специалистом, которого десятки лет приглашали и приглашают для консультирования на все имеющиеся у нас месторождения золота и который немало поработал над изучением и указанием новых золотоносных районов.

В Иркутский период жизни Обручеву удалось, наконец, осуществить свою мечту — побывать в Китае. Он поехал туда как геолог экспедиции Г. Н. Потанина на два года, основательно подготовившись к поездке и тщательно снарядивши ее. Выехал из Иркутска в 1892 году в Кяхту, а из Кяхты через Ургу и Калган в Пекин, в провинции Северного Китая, по хребту Цзинлин-шань, дважды по горной системе Нань-шаня, по реке Эцзин-гол в центр Монголии и оттуда до Желтой реки, через Ордос, Хамийскую пустыню, вдоль подножья Восточного Тянь-шаня в Кульджу, куда он и добрался в октябре 1894 года. Маршрут был выбран так, чтобы не повторять не только поездки Потанина, но и пути Рихтгофена, а исследовать наименее описанные области Китая. Путешествовал Обручев на всех видах транспорта, в том числе и на собственных ногах, в одежде миссионера, чтоб не привлекать к себе излишнего внимания, и всюду внимательно изучал геологию, строение почвы, движение песков, тектонику горных хребтов. Однако же специальная цель путешествия не заслонила от него живой страны и ее народа. В книге его помещен ряд таких тонких и необычных наблюдений, так живо и просто описан дорожный быт — состояние дороги и транспорта, китайская гостиница и кухня, сельские фанзы, смена форм труда и степени зажиточности китайцев параллельно с изменением структуры земли и ее почвы, вода и техника ее добычи, рудник и техника его разработки (уголь, соль), наконец, так ясно дан Пекин одним лишь точным описанием его плана и точным обозначением, чему какая часть в этом плане посвящена и кто где расселен, что вы начинаете находить особую прелесть именно в таком деловом изложении, лишенном всякой нарочитой «художественности».



Приведу несколько примеров особой, точной наблюдательности Обручева-путешественника. Он видит и хорошо описывает китайское вьючное седло:

«Весь багаж был разбит на вьюки для мулов очень своеобразным, принятым во всем Китае способом, о котором нужно здесь сказать. Вьючное седло представляет деревянный полуцилиндр с выдающимися бортами. Вьюк привязывается к двусторонней лесенке, поровну с каждой стороны, и погонщики требуют, чтоб ваши ящики и прочее имели попарно одинаковый вес. Когда багаж привязан к лесенке, подводят мула, два человека поднимают ее и кладут на полуцилиндр описанного седла, ничем не привязывая. Этим способом караван из нескольких животных готовится к отъезду в самое короткое время».

Показав, как упрощенно и рационально делают погрузку вещей на мулов в Китае, Обручев не забывает рассказать вам и о том, как там упрощенно и рационально молятся:

«В Урге (Монголия.— М. Ш.) мне бросились в глаза оригинальные молитвенные мельницы, если можно так выразиться. Это деревянный цилиндр, насаженный на столб и могущий вертеться вокруг него, как вокруг оси. Цилиндр оклеен буддийскими молитвами на тибетском языке, и каждый, проходящий мимо такого цилиндра... считал долгом повернуть его несколько раз, что равносильно произнесению всех начертанных на нем молитв. Еще более упрощенный способ... я видел позже в горах Китая и Нань-шаня, где подобные же цилиндры приводились во вращение ветром или водяным колесом... и таким образом молитвы возносились непрерывно и без затраты труда верующих».

А вот наблюдение, касающееся уже наслаждения музыкой. Когда Обручев поднялся на городскую стену в Пекине, он обратил внимание «на мягкие, слегка дрожащие звуки, доносившиеся сверху, где кружилась небольшая стая голубей». Оказывается, это голубиная музыка — плод искусственного закрепления у хвостов голубей особых бамбуковых свистков разной величины, цилиндрических и сферических, с различным числом отверстий, в которые во время полета попадает ветер, и



свистки под напором воздуха начинают нежно петь. Китайцы, любители этой музыки, могут слушать ее часами, сидя на крышах своих домов. Вот три различных наблюдения, три различные формы «рационализации» у китайцев, всякий раз связанные с использованием цилиндрических и полумолидрических объемов: наивное приложение геометрии к облегчению быта, к облегчению религиозных обязанностей, к облегчению искусства. Все вместе создает удивительный образ китайца, смесь наивности и какого-то разумного примитивизма. И вы на трех примерах, лишенных каких бы то ни было рассуждений или выводов, начинаете с исключительной остротой понимать, почему о старой культуре Китая говорили, что она застыла и не двигается.

Избегая эпитетов и общих выводов, Обручев там, где дело идет о спорном вопросе его собственной науки, умеет занять очень определенную и принципиальную позицию. Так, проводя читателя по всей книге через страну лесса, этой своеобразной наносной желтой почвы, в которой китайцы прорывают свои дома, «трассируют» свои дороги колесами, сеют и собирают диковинные жатвы и которая дала Китаю его национальный священный цвет — желтый, Обручев в конце книги дает свое собственное объяснение того, что такое лесс: наблюдения над его распределением и распространением в Северном Китае убедили Обручева, что «лесс состоит из пыли, образовавшейся в пустынном сухом климате Центральной Азии при процессах выветривания горных пород, вынесенной оттуда ветрами и отложившейся в условиях более влажного климата в Северном Китае...» Вывод остроумный и оригинальный, поскольку он расходится с объяснениями происхождения лесса у других географов, — как местной, а не нанесенной из пустыни пыли, образующейся от разрыхления почвы пахнями и дорогами.

Я уже говорила выше, что геология некоторых частей азиатского материка переживала в те годы период описательно-собираательный; к Китаю это относилось меньше, чем к пограничной с Китаем Джунгарии, куда Обручев отправился в годы 1905, 1906 и 1909 и которую требовалось дать прежде всего в тщательном описании.



Запись геолога — это почти рабочая книга врача; то, что глаз видит во всей чувственной прелести красок и объемов, что воображение окружает прочитанным и ассоциированным, что ухо воспринимает как симфонию живых, комбинированных звуков человеческой речи, городского и сельского шума, что память пронизывает историей, филологией, лингвистикой, этнографией и, наконец, что сама жизнь как бы прошивает приключениями, встречами, эпизодами и внутренним миром путешествующего, — все это геолог старательно обходит в своих записях, так же как врач не описывает наружности, костюма, характера и душевных качеств больного. Казалось бы, такие записи — скучное чтение не для специалиста. А между тем даже самая сухая и специальная работа Обручева — описание первой экспедиции по Джунгарии, — где он скупно замыкается на одном лишь перечислении геологических признаков, — даже и она представляет собою исключительное чтение для мыслителя.

Не ставя себе задачей дать «пейзаж» в литературном понимании; не употребляя эпитетов, обычно передающих наше отношение к предмету, открыто восторженных или метафорических; не касаясь ни истории, ни населения страны, ни характера встречаемых людей, ни их портретного изображения, ни их быта, а, наоборот, даже изгоняя их из прямого содержания своей книги, академик Обручев тем не менее дает нам глубокое и художественно цельное постижение страны и народа Джунгарии.

Возьмем для примера горный пейзаж. Он его описывает только как геолог: в одном месте говорит об «эоловых выветриваниях» в граните, в другом — о складчатости горных пластов, создавшей термин «матрасчатость», потому что пласты похожи на груды положенных друг на друга матрасов, — и эти совершенно точные технические выражения, которые никогда не пришлось бы нам в голову употребить в качестве художественного образа, они-то и создают в вашем представлении удивительно яркую картину гор, вполне конкретную и вполне точную.



Или возьмем, например, скупые факты, отмечаемые по мере продвижения каравана: широкая долина реки Курумсу, недалеко от нее калмыцкий (буддийский) монастырь Чахар-кюре; каменноугольные копи Темыр-там; речка Узун-булак, ручьи с пресной, но мутной водой, загаженной скотом (недалеко киргизская юрта); шерстомойка у могилы Бельтиш-бай; выцветы соли на голых площадках. Жесткое монгольское название «Цаган-тохой», мягкое киргизское «Чаган-тогей», остатки старых китайских названий — Кату, Сюртэ. Озеро, которое называется по-монгольски «Халты-реш-иге-нор», а по-киргизски «Итьшпес-куль», а по-русски означает «Озеро, из которого собака не пьет». Священный ключ Аулие. Перевал Кыз-бейте, «Девичья могила», с легендой о богатырской девушке-конокрадке, которую поймали и убили. Еще одна своеобразная легенда, записанная полностью: «Май-ка-бак — значит сальный обрыв; по словам нашего проводника, когда-то во время сильного бурана стадо баранов, испуганное волками, бросилось с этого откоса и погибло в сугробах снега, нанесенного ветром; весной трупы вытаяли из снега и, разлагаясь, покрыли откос пятнами сала, вытопленного солнцем из курдюков». На примитивном золотом прииске единственный «двигатель» — ослик, ходящий взад и вперед. Странное наблюдение, записанное точно: «Бросается в глаза, что эти деревья (вербы) растут не вертикально, а перпендикулярно к склону, то есть наклонно к вертикальной линии»... Десятки дней, месяцы продолжается это путешествие по пустынной горной стране с необычным ландшафтом — солончаками, редким присутствием человека, могилами и легендами — их так мало! — с букетом названий, где сплетаются три, четыре народа, живших, проходивших и ныне живущих тут, — и перечисленное выше — это почти единственные «золотые песчинки» в потоке сплошных специальных геологических записей.

И все же вы как бы сами вместе с геологом ступаете и дышите в этой одинокой стране, имя ее, «Джунгария», наполняется для вас цветом, краской, воздухом, пространством, даже человеческим присутствием; вам многое напоминает зарисовки Шевченко в Аральской экс-



педиции, его записи в рассказах, относящиеся к переходу в Закаспий, к киргизскому быту.

Но вот — более или менее цельное описание пейзажа, и ассоциации ваши сразу резко меняются: «Южнее зеленой долины Манаса видна широкая равнина с рощами деревьев; она отчасти заселена китайцами, выводящими воду на свои пашни из Манаса. Прежде население было гуще, теперь многие селения превратились в развалины, а пашни запущены. Эта культурная полоса ограничена с юго-востока большими сыпучими песками, позади которых на горизонте тянется стеной Восточный Тянь-шань с массой снегов; видно понижение этой стены к разрыву близ Урумчи, восточнее которого скопление облаков у горизонта выдает присутствие высокой группы Богдо-ола»<sup>1</sup>.

Названия Манас, Богдо-ола — уже не чужие для нас, они звучат знакомо, мы к ним привыкли по киргизскому эпосу «Манас», переведенному лучшими нашими поэтами.

Путешествие в Джунгарию было проведено Обручевым уже за время его службы в Томске, где он занял кафедру геологии Технологического института, в котором ему пришлось несколько раз быть и деканом отделения и директором.

С первых дней революции Владимир Афанасьевич пошел работать в ВСНХ, с 1921 года он один из строителей новой Горной академии в Москве, с 1929 года — действительный член Академии наук. По поручению правительства за все это время он выполнил ряд работ, связанных с консультацией и обследованием рудных месторождений, и еще в 1936 году в возрасте семидесяти трех лет ездил на Алтай в качестве руководителя горноалтайской экспедиции Академии наук.

Если разложить перед собой список его трудов, далеко превышающий цифру 300, то увидишь в их перечне определенный ритм. Несколько лет идут небольшие, деловые публикации, свидетельствующие о непрерывной полевой и исследовательской работе геолога-практика и

---

<sup>1</sup> В. Обручев. «Пограничная Джунгария», т. I, вып. I, Томск, 1912, стр. 409.



путешественника, потом издается монументальный труд, суммирующий всю предыдущую работу, которая как бы служила для него по сравнению с техникой живописца рядом подготовительных этюдов. Далее опять следуют отдельные деловые публикации,— и опять синтетический, очень объемный труд. Так на протяжении своей насыщенной трудом жизни академик Обручев создал для нас замечательные «Путешествия» по Центральной Азии, единственное в литературе описание пограничной Джунгарии и классический свод всего, что написано было о Сибири.

Десятки лет, накапливая страницу за страницей, собирал и публиковал Обручев этот свод, ставший настоящей «библией» для каждого геолога, изучающего Сибирь. Его «История геологических исследований Сибири», охватывающая период от первых русских посольств в Китай, проезжавших через Сибирь, и до работ советских геологов,— патристична по самому своему подходу к материалу: преимущественное внимание в ней Обручев уделил именно русским исследователям в противоположность старым сибирским библиографам. Об этом труде, единственном в своем роде, автор сам говорит: «Насколько я знаю, подобного справочника не имеет до сих пор ни одна страна. Сибирь будет первой в этом отношении». Но в понятие «Сибирь» старые исследователи всегда включали и Урал. Классический труд Обручева оказался ценнейшим историко-геологическим справочником и по Уралу.

Описательный, собирательный тип его работы,— свыше чем полувековой,— исключительная его точность и конкретность в запечатлении отдельных фактов описания имеют огромную важность для науки, потому что полнота и обилие фактов подводят мысль к обобщению и помогают видеть и находить общее. Недаром внешние сухие как будто описания Обручева увлекательны для читающего и недаром сам Обручев при своей почти нечеловеческой загруженности нашел время, чтоб написать для юношества несколько научно-приключенческих романов. Его «Земля Санникова» вызвала целую дискуссию среди читателей о том, существует ли эта земля в действительности. Его роман о путешествии в недра



земли, «Плутония», принес ему сотни писем, где ученому пишут школьники деловито просительным тоном: «Пожалуйста, если вы еще раз организуете такую экспедицию, возьмите меня с собой». Есть нечто трогательное в том, как большой ученый, приближавшийся к дню своего восьмидесятилетия, трудился над «занимательной геологией» для ребят, между делом — начал для них новый научный роман, ходил по библиотекам и спрашивал литературу «о летательных машинах».

Почетный член восьми ученых обществ всего мира, дважды лауреат премии Чихачева Французской академии наук, он необычайно скромен в быту и с годами не только не «уходит на покой», а, наоборот, все более уплотняет свой рабочий день и все с большим наслаждением отдается работе. С каким-то эпическим совершенством он доводит до конца все, начатое им в жизни. Трудно поверить, и это звучит невероятно, но это именно так: за неполные два года своего пребывания на Урале академик Обручев написал... около ста двадцати печатных листов! Он прокорректировал и сдал V том «Истории геологических исследований Сибири», охватывающий весь советский период, — причем оказалось, кстати сказать, что за последние двадцать пять лет по изучению Сибири сделано в два раза больше, чем за все время от Петра I и до Октябрьской революции. Том этот заканчивает весь огромный геолого-историографический свод по Сибири и содержит один около восьмидесяти печатных листов. Далее, Владимир Афанасьевич начал готовить на Урале свою «Монголию» и там написал первую, библиографическую, часть, составившую десять печатных листов. Потом следуют записки путешествия по Туркмении и путешествия по Джунгарии, тоже по десять печатных листов; новый роман для детей «Коралловый остров», десятки статей в вedomых и редактируемых Обручевым журналах, рецензии, — и какие рецензии! Профессор Тетяев выпустил книгу «Основы геологии». Эта книга задела академика Обручева за живое. Он пишет рецензию, — она разрослась до трех печатных листов, — где спорит с автором о том, когда сжималась и когда разжималась земля.



Чтобы работать с такой исключительной продуктивностью в семьдесят девять лет и сохранять при этом юношескую память и свежесть мысли, надо очень дисциплинированно тратить время и сурово выдерживать какой-то, наилучший для себя, трудовой режим. У Владимира Афанасьевича это именно так и есть. Время он чувствует почти зрительно, как если бы ему его отрезывали и взвешивали. Каждая секунда дорога. Будучи академиком-секретарем геолого-географического отделения Академии наук, он должен еженедельно «заседать». Заседания происходят у него на квартире, — и беда тому, кто опаздывает! Члены отделения всерьез побаиваются Владимира Афанасьевича, быстро избегая по лестнице в назначенные часы. Председатель он идеальный: ведет заседание так быстро, сводит высказывания к такой суровой экономии (ровно столько, сколько нужно!), что ни его время, ни время его товарищей не оказывается потраченным ни на минуту попусту.

Рано вставая, Владимир Афанасьевич неизменно делает легкую, насколько позволяет ему сердце, физкультурную зарядку. Потом начинается день, — вернее четыре дня в сутки. Одновременно он ведет три-четыре работы. Для самой трудной, требующей особого внимания, отводятся утренние часы. После прогулки — работа менее трудная, чаще всего библиографическая, журнальная. Вечером, после коротенького отдыха, — записки, роман. Переход от одной работы к другой лишнего времени не отнимает, потому что — и этой привычке Обручева следовало бы поучиться каждому работнику умственного труда! — он никогда не ставит себя в положение что-то ищущего, что-то где-то потерявшего и не знающего, куда заглянуть, где порыться. Рабочее место Обручева всегда в порядке. На подготовку к труду не тратится и пяти минут. Каждой теме отведен свой ящик, каждой книге свое место в шкафу. Кончена одна тема, и тотчас же, не выходя из комнаты, Владимир Афанасьевич аккуратно убирает рукописи и книги, каждый клочок бумажки туда, где им положено быть. Старое убрано на свое место, новое достается от туда, где оно в порядке лежит.



Для оборонной промышленности Урала срочно нужно было решить проблему одного марганцевого месторождения, и, когда Обручеву дали просмотреть одну работу и высказаться по ней, старый ученый тотчас нашел и припомнил все нужные справки, всю имеющуюся литературу,— и данный им прогноз оказался совершенно правильным.

Незадолго до войны «Правда» разослала крупнейшим советским деятелям интересную анкету. Она запросила о том, над чем сейчас адресат работает; как представляет себе область своей работы через пять — десять лет и о чем мечтает; какое событие в данном году считает для себя наиболее крупным.

Академик Обручев ответил, что крупнейшее событие для него в данном году — это включение Академией наук («наконец-то!») в исследовательский план ряда вопросов по геологии Восточной Сибири и Дальнего Востока; что сам он, кроме текущих дел, занят изучением литературы о Монголии; что «через пять — десять лет будет практически решен вопрос об использовании тепла земных недр в качестве неистощимого источника энергии, и в приполярном поясе Союза будут строиться города, заводы и теплицы, обслуживаемые этой энергией», и, наконец, мечтает он о том, что «вопреки мнению океанографов будет открыта земля Санникова в районе большой петли дрейфа ледокола «Седов».

Это было написано весной 1940 года. Большой, убежденный сединой ученый признался, что он мечтает вместе с героями своих книг «Плутония», «Земля Санникова». Жажда предвидения, отгадки, обобщения, найденного при помощи искусства,— это черта вечной молодости Владимира Афанасьевича Обручева.



## НА АЛТАЕ

### 1. Будет цвести земля

Перед самым опубликованием пятилетнего плана восстановления и развития нашего хозяйства меня пригласили в гости. Это было особенное приглашение. Долго искала я по лестницам, этажам и коридорам тогда еще Наркомата, а ныне Министерства сельского хозяйства, комнату, куда была приглашена. Вокруг все было такое обычное, ведомственное, суховатое — пыльные коридоры, номера на дверях, бегали прозаические секретарши «на подпись» с кипой бумажонок в руке, одно-тонно жужжал лифт и выбрасывал деловых, озабоченных людей с портфелями. Поэтому, открыв дверь, я не сразу поверила тому, что увидела. И не только увидела, — вдохнула. Теплой волной в этом сухом, сером, казенного вида здании обнял меня сад, — запахом сотен и сотен яблок. Садом открылась комната. Посреди нее стоял длинный стол. По углам лежали корзины, ящики, ящики, а в ящиках — розовые, желто-янтарные, зеленые, как нефрит, круглые, огромные и маленькие, овальные и всех форм и видов — яблоки. Лучшие яблоки, отборные, краса и прелесть советских садов. Люди за столом, как привезенные ими яблоки, тоже были особенные, необычные люди. В их обветренных, хороших лицах, в их пальцах, потемневших от возни с землей, от порезов,



от солнца и ветра, от всякой погоды, в их внимательных, добрых и очень серьезных глазах было выражение ожидания и мысли. Кто-то один — хозяин своего сорта яблок — резал одно на тарелке тоненькими ломтями, и каждый деликатно брал ломоть, клал его на язык и не ел, а вкушал, растирая на языке, пробуя его аромат и качество. Это была дегустация — суд и изучение труда лучших, талантливейших советских садоводов. Это была первая у нас в Союзе конференция плодово-ягодных станций, собравшаяся в Москве показать лучшие дары, выращенные на нашей земле, и обменяться опытом. Среди замечательных творцов, увиденных мною в тот день, был один — из далекой Сибири; о нем я хочу рассказать подробно.

За год до встречи в Москве я шла со спутником по городу, находившемуся в тысячах километрах от Москвы. Нам указали дорогу — через мост и вверх. Что-то в крутом подъеме этой узкой улочки, выводящей за город, напомнило дачные или курортные окрестности, Италию, Карпаты, словом, нечто южное, необычное. Незнакомым зноем исходила земля, чуть опрыснутая коротким дождем. Не лаяли собаки — словно их не было. Не кричали петухи. Нестерпимый жар лил с неба, где уже ни тучки, ни облачка. А идти все выше, все труднее. Ограды и деревянные домики исчезли, исчез тротуар, надвинулась зеленая гора, и дорога повернула в гору...

Но как ни жгло солнце, как ни подсказывала память всяческие сравнения с южными и западными городками, все же мы знали и не забывали, где находимся. Несколько часов езды на машине отделяли нас от пустыни Гоби; через два района отсюда — в Каш-Агаче — вечная мерзлота; зимой здесь не редкость пятидесятиградусный мороз. Словом, это Сибирь, настоящая Сибирь, столица горного Алтая — Горноалтайск, и жаркое лето тут коротко, как выходной день на неделе. И, помня все это, мы просто не поверили своим глазам.

Словно где-нибудь в Кисловодске, на горном склоне фантастическое великолепие цветников. От них шла теплая волна густого аромата. Были тысячи роз всех оттенков, от пурпурных до бледно-розовых с подпалиной.



Стеной стояли белые табакки, огненные пионы, синие георгины, оранжевые лилии. Тут не было клумб и скамеек, тут просто сияло, как в поле, несметное богатство красок. А дальше, за цветниками, шли ягодники, еще дальше — фруктовый и ботанический сад. Перед нами была гордость Алтая — показательный «плодово-ягодный питомник» Зональной алтайской станции.

Наверху, в конторе, мы познакомились с невысоким мечтательным человеком в очках, совсем не похожим, с виду на практика, — Михаилом Афанасьевичем Лисавенко, лауреатом Сталинской премии, создателем этого сада.

Сибирский садовод — особенный человек. Чтоб вырастить сад в Сибири, надо родиться экспериментатором, опытным, уметь искать и находить, проверять и пробовать. В Сибири всего дано в чудовищном изобилии — морозов, дождей, сухости, зноя, только мало отпущено времени для вегетационного периода, — и выращивать сад — это значит побеждать недостаток времени. Тридцать лет назад тут совсем не было плодовых садов, сибиряки просто не верили в возможность своего плодоводства. Люди жили и умирали, так и не изведав вкуса яблока. Лисавенко рассказывает, что первую яблоню, которую он увидел своими глазами, он сам посадил. А сейчас в короткое лето здесь вызревают и яблоки, и сахарная свекла, и виноград, и арбузы.

Быстрым молодым движением подхватив кепку, хозяин ведет нас для начала в несчетные, густо обсаженные аллеи ягодника. Бережно, по-хозяйски он время от времени указывает нам на ветку, на куст, на ягоду — не угощает, а дает пробовать. И мы пробуем не спеша. Легкие и мохнатые, как пчелы, нагретые солнцем ягоды малины; россыпи красной смородины, крыжовника, густые кисти крупной черной смородины, лучшей и самой витаминной в мире. Лисавенко собрал дички смородины из четырехсот мест Алтая, вырастил около сотни тысяч кустов, создал много гибридов и, не глядя, говорит: «Эту не рвите, грубый сорт, попробуйте вон ту», — и мы кладем ее в рот, понимая тайну вкуса этой единственной ягоды на языке, в промежутке меж разговором, глубоким дыханием и медленным движением.



В яблонево́м саду вы в первую минуту разочарованы: так малы красные, сморщенные, как старушки, яблочки, знаменитые «сибирские ранетки». Но садовод глядит на них любовно, ведь они — прародители сибирского яблока. Он никогда не наступит на упавший плод, никогда не позволит себе откусить и бросить его, и вы тоже этого при нем не сделаете. Огромный труд человеческий, почти материнский уход, месяцы и годы терпения вложены в сибирские плодовые сорта.

Чтобы предохранить яблони от вымерзания, Кизюрин создал, как известно, в Сибири особую стелящуюся, «бахчевую» форму посадки, не дающую дереву расти вверх, а заставляющую его стелиться по земле. Странное впечатление производят крупные золотистые яблоки, раскиданные по земле на длинных ползучих ветках, словно огурцы в огороде. Но Лисавенко открыл в своем питомнике, что яблони гибнут на Горном Алтае не столько от вымерзания, сколько от «подпревания» на земле, и предпочитает «тарелочную» форму посадки: он дает стволу расти вверх на 40—50 сантиметров, а потом сгибает ветви горизонтально вокруг ствола во все стороны, так что дерево становится похожим на плоский зонт или гигантский гриб. Так меняется «технология» посадки в применении к местным условиям.

Конца нет саду и его очарованию! А ведь только десять с лишним лет назад на его месте был пустынный лог, куда горожане выгоняли своих коров. Этот сад начался в Москве, на съезде колхозников.

«Крестьянская газета» предложила тогда Лисавенко, молодому сибиряку-опытнику, создать на Горном Алтае плодоводство. Лисавенко приехал в Горноалтайск. Не сразу получил землю. Как сам он рассказывает, несколько месяцев «болтался по огородам». Потом ему выделили первые четыре гектара, бюджет в четыре тысячи рублей, и весной 1934 года он посадил первые яблони. А пока он ездил по Алтаю, своими руками собирая дички, сеял, сажал, изучал, с ним вместе сеяли его саженцы, изучали, пробовали и алтайские колхозники. По его указаниям вырастил свой сад знаменитый на весь наш Союз председатель лучшего алтайского колхоза (имени Молотова) Федор Гринько.



Десять — пятнадцать лет — такой ничтожно малый срок. Между тем за эти годы четыре гектара превратились в сотни гектаров, бюджет из четырехтысячного стал двухмиллионным, питомник разослал буквально миллионы крупноплодовых саженцев, ягодных кустарников, саженцев земляники. Рассылке предшествовали испытание сортов, разработка плодово-ягодных стандартов для каждой из трех зон Алтая: степной, лесостепной и горно-таежной; было издано около ста пособий по плодоводству, велась непрерывная пропаганда по радио и в печати, росла работа станции, подросли и свои настоящие, ученые кадры.

Город Горноалтайск застраивался, расширялся. Зональная станция и тут сыграла свою роль, показав, как важно для архитектора и планировщика иметь реальную помощь садовода. Работники станции провели озеленение города, разбили со вкусом и изяществом центральный сквер.

Начав работу с четырех гектаров и в единственном числе, неутомимый М. А. Лисавенко сумел сделать свой питомник в буквальном смысле слова рассадником садоводческой культуры не для одного только Горного, а и для всего Алтая.

Почти четверть века строили мы; три года зверствовали, разрушали и гадили немцы на нашей земле. Немало еще надо усилий, труда, мужества, чтоб снова поднять и застроить опустошенные ими земли. Но как поновому наполнилось для нас время и как чувствуем мы сейчас великую его конкретность! За несколько коротких лет в Сибири, в жесточайших условиях климата и природы, где никогда не было массового садоводства, успели вырасти и плодоносить груши, яблони, сливы, и от них выросли и тоже стали плодоносить другие груши, яблони, сливы. Алтай стал покрываться садами. И мы чувствуем новую пятилетку как всесильное время, наполняемое творческой энергией миллионов, движимое вперед волей большевиков. Дух созидания сильнее духа разрушения. Время наполняется и множится для тех, кто создает; и оно убывает, «приходит в умаление», теряется для разрушителей.



## 2. Собрание в Кош-Агаче

В животноводстве Горной Ойротии пастух — главное действующее лицо. И особенно велика его роль в самом далеком районе, Кош-Агаче, где стада круглый год проводят на пастбище или «тебенюют», как здесь говорят, то есть ходят в табунах, на подножном корму, не только летом, но и зимой. Вот почему выслушать пастуха, узнать, что он скажет, о чем попросит — необходимое дело, без которого никак не получишь правильного представления о положении тамошних колхозных стад. Вместе с работниками областного центра пустились мы в далекий трехдневный путь к Кош-Агачу, на границу пустыни Гоби, пересекая по диагонали всю область, крохотную на материке Сибири, но равную по числу квадратных километров всей Венгрии.

Навстречу нам все громче шумели горные реки, все круче перевалы, все ярче и выше цветы и травы — розовые поля кипрея, синие поля аконита, черно-синие ковры корона, а на одном из перевалов, Чике-Таманском, забелели пушистые звезды редчайшего горного цветка эдельвейса. В Швейцарии он цветет одиноко над пропастями, и, чтоб сорвать его, альпинисты частенько рискуют головой, а тут, неведомый никому, красавец-эдельвейс разросся целой семьей, и мы, глазам своим не веря, рвали его в огромные букеты.

Был конец лета, а запах земли пьянил, — так медоносны здешние лесные долинки, «елани». Сравнить силу и глубину впечатления от земли, от красок, от звуков, от запахов Горной Ойротии ни с чем нельзя, природа все здесь устроила на «превосходную степень». Можно только сказать, что в этой жемчужине Сибири сочеталось лучшее, чем гордится Тироль: лесные ущелья, горные реки, водопады — с лучшим, что есть у Швейцарии: озерами, снеговыми вершинами («белки» по-местному) и долинами цветов.

Чем выше забирались мы, тем больше отступало от нас дерево. Сперва сдали сосны, не выдержав высоты; потом береза переродилась в так называемую полярную карликовую березку, да и та скоро исчезла; дольше удержалась шершавая, светлозеленая, обомшелая лист-



венница, но на Семинском перевале отступила и лиственница,— остался один царственный кедрач с могучими, мохнатыми, отягощенными шишкой ветвями,— «батюшка Алтая», по любовному определению алтайского эпоса. За перевалом ушел и кедрач, обнажив новую, необычную волнистую даль.

На полупустынной равнине только одинокие пучочки грубой и серой, как сама земля, травы. Вокруг на горизонте — кристаллы голых гор, расцвеченные фиолетовым, голубым, пунцово-красным. Нигде ни кустика. Кош-Агач на местном языке означает «Прости, дерево», — одно-единственное дерево растет здесь в поселке, за высоким забором. Забвеньем пахнет полынь.

А жизнь кипит: широкая улица с шумным движением местного транспорта — верблюдов и маленьких мохнатых лошадок под высокими алтайскими седлами. Пешком не ходит никто, все тут ездят верхом, и древнейшие старухи гарцуют на лошадях, как влитые в седла.

На границе пустыни Гоби, на высоте двух с четвертью тысяч метров, здесь, как и в каждом советском районном центре, спешат люди с портфелями, верхом на лошадаках, в райсовет; открыта дверь в уютную столовую, лозунги новой пятилетки на стенах, убрана книгами витрина, работает типография, возвращаются ребята из школы, несет почтальонша газеты и журналы в отличный парткабинет, — он здесь, как и всюду на Алтае, и в дни войны и после нее выполняет огромную культурную функцию — одновременно и библиотеки, и читальни, и лекционного зала, и консультационного бюро.

Взглянув на забор перед зданием парткабинета, наш спутник сказал: «Чабаны уже в сборе!» В самом деле, множество маленьких лошадок, запыленных по брюхо, было привязано к забору: извещенные по телефону, люди съехались на собрание со всего аймака.

Советская конституция в ее историческом действии — это прежде всего сам человек, то, чем он стал по сравнению с тем, чем он был, — и это особенно ярко видишь на отдельных наших народностях, до революции бесправных.

Тот, кто именует сам себя «алтай-кижи», то есть



«житель Алтая», — по мнению Марра, древнейший человек в мире, протоазиат, предшественник всех рас Азии.

В Кош-Агаче живет преимущественно алтайское племя теленгеты, а бок о бок с ними — родственные алтайцам казахи.

До революции кто только ни помышлял алтайцем: он был в плену у собственного бая, его обирал свой шаман, он был опутан царскими чиновниками, миссионерами, купцами, кулаками. Рубаха гнила на нем, не снимаемая до последних дней жизни; женщина не смела скинуть тяжелой одежды «чегедек», навсегда надеваемой на нее после замужества. Только ничтожный процент ребятешек выживал от болезней; у алтайцев зеленую сочилились изъеденные трахомой глаза, их донимали нищета, грязь, инфекции.

«Озогызын сананза. Онтудан еске неме дьок», — «если о прошлом подумать, кроме стона, ничего не вспомнишь», — сказал народный певец Горного Алтая слепой «кяйчи» (сказитель) Николай Улагашев в стихотворении, которое процитировали алтайцы в день двадцатилетия Горноалтайской автономной области.

А сейчас бывший бесправный батрак-пастух, которому «шуба не грела плечи, — бай, как коршун, сидел на спине, терзая его и калеча», этот пастух стал хозяином богатейших пастбищ. В бывшей Ойротии (ныне Горном Алтае) 14 клубов, 590 красных уголков, 10 районных библиотек, 10 домов культуры, 116 избчитален, свой прекрасный национальный театр, своя драматургия, начало которой положил покойный советский писатель Кучияк, первый поэт и романист Горного Алтая, — и это в стране, где немногим больше двух десятков лет назад хозяйничали шаманы, держа в трепете запуганный, не знавший письма народ.

И человек, чье лицо веками носило защитную маску приниженности, приbedненности, непротивленья, человек, прятанный в сутулости, молчаливости, робости все своеобразие, весь многовековой наследственный дар своей национальной пластики, всю свободу своего национального жеста, расцвел и развернулся при советском строе не только морально, но и пластически.



Мы входим в узкий и длинный зал парткабинета. За столом, уставленным графинами со свежим, белым, отродно кисленьким в этот знойный день кумысом, собрались знатные кормачи и чабаны, а вернее кормачки и чабанки, потому что выдвинутые здесь войной на первое место женщины так и остались работать животноводами.

При слове «пастушка» мы привыкли представлять себе нечто очень юное, зарю девичьей жизни. К этому приучило нас искусство XVIII века с его пасторалями в музыке, живописи и поэзии, еще звучащими в ранних стихах Пушкина.

А здесь — рядом с молодыми пастушками — есть семидесяти — восьмидесятилетние старухи, опыту которых доверены самые трудные пастбища. Они сидят в остроконечных пирамидальных шапках, обшитых по краю мехом барашка, из-под шапок свисают у них две длинные, табачного цвета, не успевшие поседеть косы, кокетливо заплетенные ремешками, украшенными маленькими, завезенными из Индии белыми раковинами и заткнутые за широкий пояс справа и слева. Худенькие, смуглые, ставшие сухими и блестящими от солнца и ветра лица; узкие, бездонно глубокие монгольские глаза; беззубые старушечьи рты с неуловимо деликатным, почти детским выражением; и на этих лицах играют веки. Именно играют. Семидесятилетняя старуха чабанка так тонко, с таким юмором вскидывает и опускает их, отвечая на ваши вопросы, что вы через эту величавую страницу времени, через письма этого лица угадываете новую, неизвестную вам доселе форму человечности, внезапно открывающуюся в живом жесте ярче и понятней всякой книги.

Глубоким внутренним достоинством дышит этот жест.

Курят все, даже молоденькие девочки. Курят из особых старинных трубок, передаваемых из рода в род. В синем дыму каким-то изваяньем кажется знатный верблюжатник казах Кадыр Ачубаев, почти сомкнувший узкие, косые глаза, вскинувший ястребиный профиль с кудреватым клином дымчатой бородки, весь остроко-  
нечный, от шапки до кончика сапога.



Все это люди большой советской культуры, не раз бывавшие в Москве на Сельскохозяйственной выставке, отличные советчики, с которыми стоит поговорить.

И беседа в самом деле оказалась на редкость поучительной.

Маленький Горный Алтай, закинутый на эти альпийские высоты, хоть и похож на Швейцарию, а все же он — Сибирь, то есть страна сухого, резкого, холодного континентального климата с непрерывной сменой атмосферного давления, изнашивающей не только сердца людей, но и сердца овец и коров.

В животноводстве Горного Алтая есть свои разделы, которых нет в Швейцарии: верблюдоводство, мараловодство. И скот здесь, выдержав многовековую борьбу с климатом, приспособился, закалился, приобрел одни качества за счет других качеств — силу и крепость в ущерб молочности. Сибирская корова дает, правда, меньше молока, чем симменталка, но она прекрасно зимует там, где симменталка гибнет, и не требует забот и ухода, как эта последняя. Овца местной породы дает, правда, грубую шерсть, но зато она во много раз выносливей меринуса, неприхотливей его и может нагуливать много жира.

Старухи чабанки отлично понимают всю диалектику происходящей борьбы за животноводство, отлично разбираются в принципе районирования. Одна из них, вставляя папиросу, которой угостили ее, в свою трубку, сказала с неподражаемой восточной вежливостью:

«Ты говоришь о том, что мало молока у наших коров и мало шерсти у наших овец. Сколько знаю — больше от других слышала, чем сама знаю, — направление нашего скотоводства в Кош-Агаче мясное. Наши коровы пасутся — нагуливают мясо, овцы нагуливают жир. Овчина алтайской овцы очень хорошая, хотя шерсть грубая. Меринос у нас гибнет. Надо сохранить нашу алтайскую породу».

Другая на вопрос о том, в чем заключается хорошее качество пастушьей работы, ответила нам:

«Хорошо пасти — значит хорошо ходить. Чтоб овца жирела и шерсть на ней густела и становилась мягче, нужно выпас разбить на клетки и, когда пасешь, менять



эти клетки, давать в течение полутора месяцев каждой клетке отдыхать, а уже потом возвращаться на старое место».

Иначе сказать, хороший чабан должен быть в своем роде землеустроителем, провести «пастбищеустройство» и сделать это не при помощи реек и геометрии, а при помощи собственных ног и памяти.

Алтайская речь удивительно образна, и жаль было, что переводчик ее упрощал и огрублял. Особенно жаль, когда речь на собрании зашла о пастухе и его нуждах — и слова зазвучали с эпической красотой. Пастух здесь — самый нужный и ответственный человек. Ему колхоз поручает стадо — то есть и свой долг государству, и хлеб насущный, и зажиточность завтрашнего дня. И вот, уходя зимою в тебеневку, пастух долгие месяцы проводит вдали от родной юрты, в безмолвии морозных пустынных пространств; он становится одиноким «человеком у костра».

«Город, не забывай человека у костра! — воскликнула одна из чабанок. — Мы долгие зимние дни и ночи охраняем твой завтрашний день, бережем и пасем скот, но ведь надо позаботиться и о нас! Чем жив человек у костра? Три вещи нужны ему, и без этих трех вещей одиночество его еще глубже, работа его еще труднее, мороз для него еще холоднее. — Она подняла узкую коричневую старческую руку и по пальцам сосчитала: — Первая вещь — металлический котелок. Вторая вещь — кок-чай. Третья вещь — соль».

Кок-чай — это зеленый чай, не подвергшийся процессу ферментации. Только его и пьют здесь, и нашим торговым организациям нужно прислушаться к этим словам и засылать в Горный Алтай не рассыпной, а именно этот плиточный зеленый чай.

Узнали мы на собрании и еще об одной немалой задаче алтайского животноводства: необходимости создать местную породу злых пастушьих собак в помощь чабану. Местная, как выразился переводчик, «маломощна», — волки, задирающие скот, ничуть ее не боятся. О пастушьей собаке нужно позаботиться государственно, скрестить местную породу с овчаркой, с лайкой, сделать отбор среди местных алтайских собак. И еще



одно: до зарезу нужен Алтаю свой ветеринарный институт, подобный знаменитому Ветинституту в Ереване, куда приезжают советоваться чуть ли не со всего света. Быть может, ереванскому институту следовало бы помочь открытию в Горноалтайске хотя бы его филиала и создать при нем лабораторию для выработки вакцин.

Закончилась беседа торжественной частью — лучших чабанов премировали: кого ягненком, кого телкой или жеребенком. Разъезжаются люди, все меньше лошадей остается у забора. Подкатила к ступеням и наша вычищенная голубая «эмка».

Невероятный закат обливает горы. Машина мчится вниз под пение горной речки, сливающееся с рокотом мотора. Мелькают молочно-розовые зеркальца небольших озер. Умные утки ниточкой плывут подальше от ружья, к соседнему берегу. Небо, горы, одиночество этой пустынной земли в ее острых незабываемых контурах, такое тонкое, тончайшее, словно пером нарисованное по кисее, становится вдруг открытием. Начинаешь понимать, откуда взялось монгольское изобразительное искусство. Мы считаем его манерой, условностью, но оно реально. Его диктовала природа. Недаром подслушал это Ромен Роллан в красках и образах народной алтайской поэзии. Когда ему прислали образцы ее, он написал: «Образ пальцев... «как дикие пчелы», голоса — «как рыжее пламя», образы природы (кедровая ветка под инеем и т. д.) — замечательны. Это напоминает китайскую и японскую поэзию, и вместе с тем — это могло бы быть создано самыми утонченными поэтами Запада»<sup>1</sup>.

Еще сотня километров — и видение пустыни Гоби потухает в темноте наплывающего леса.

1945

---

<sup>1</sup> Письмо Романа Роллана напечатано в сборнике «Песни Алтая», собранном Иваном Ерошиным. «Советский писатель», 1937.



## ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОЛХОЗЫ

### ПЕРВЫЕ ОВОВЩЕНИЯ

Здесьние места называют общим именем «Южный Урал». Но сами челябинцы делят свою область: «наш север», «наш юг». На карте как будто не увидишь различия — озера, озерки, озерца, пресные и соленые, и наверху и внизу тоже множество голубых кружочков, словно крапинки на ситце; то же изобилие извилистых черных змеек — рек и речушек с самыми странными названиями: от Зюзелгы и Коелгы — до Сухорыша и Куросана.

Но в действительности тут есть различие, и особенно оно сильно для сельскохозяйственного работника.

На севере и озера не те и реки не те; озера в густых хвойных лесах, между россыпью мшистых камней, в скалах, подобных финским; реки шумят быстро и освежающе, по-горному.

А на юге — озера густосини, брошены одиноким лоскутком в голом степном пространстве; реки становятся тихими почти по-шевченковски: «река ставом стала», ползут сонно и размеренно, кое-где в камышах, и вам кажется, что вы — на Украине. Часами едешь холмистыми равнинами с одиноко стоящими там и сям березовыми рощами; даже и не угадать сперва, что береза: ветви до самой земли, белых стволов не видно. И только при въезде в самую «колку» хлестнет вас ненароком глянцевитый, маленький крепкий лист, — тот самый, ка-



ким так ароматно пахнет в уральских и сибирских банях, где распаривают в кипятке свежий березовый веник. Очертания этих роц — купами, кущами, необыкновенно ровными геометрическими фигурами — словно птицы в полет летели и сели на отдых, — то возникают среди голых степей, то пропадают. Пустынно вокруг, деревни и города попрятались за холмы, тонут в широте этого пространства, и земля отваливается в разрезе вашей дороги, то яркокрасная, глинистая, «яр» — на севере; то черная, жирная, чернозем — на юге.

Различию в пейзаже соответствует различие в экономике: наверху, на горном севере, — рудные богатства, обилие заводов; внизу, на степном юге, — большие зерновые колхозы, обилие хлеба. И хотя земля неистово плодородна, страшным препятствием встает здесь климат: долгая, очень морозная зима с малым снегом, сильные ветры, сдувающие и этот скудный снег; знойно-засушливое лето, поздняя и дождливая весна, резкие колебания температур, зачастую губящие урожай.

Вот на этом плацдарме со всеми его особенностями, резко отличными от других мест нашего Союза, разыгралось в первый год после войны великое сражение за «урожай победы». Челябинская область, плохо раньше справлявшаяся с хлебом, недодававшая государству, выступила застрельщицей за досрочную хлебосдачу. С чем же она вышла на бой?

Прежде всего, за время войны Челябинская область стала компактнее, уменьшилась в объеме — от нее отпали чисто зерновые районы: Шадринский и Курганский. Но отход этих районов хотя и перевел «Челябу» из областей, «производящих хлеб», в области «потребляющие», отнюдь не убавил ее ответственности и не упростил ее сельского хозяйства. В Челябинской области — крупнейшая промышленность; в ней целые города-заводы, такие, как Магнитогорск, и, перестав вывозить хлеб, она оказалась перед задачей — полностью на месте обеспечить питанием самое себя и свою промышленность. А это значит, что, уменьшившись в объеме, Челябинская область должна была резко увеличить разнообразие производимых ею продуктов. И здесь мы



подходим к очень интересному факту: к несомненной общности тех процессов, какие произошли от одних и тех же причин за время войны и в уральской промышленности и в уральском сельском хозяйстве.

Казалось бы, трудно сравнить огромный разворот тяжелой промышленности на Южном Урале за годы войны с состоянием сельского хозяйства. Там домны задувают, целые новые комбинаты воздвигли, дорогу электрифицируют, творят чудеса техники, изобретательства, новых методов труда. Здесь пространство как бы задушило человека, не хватает механизмов, запасных частей, энергии, инструмента, поля засорены, многое просто напорчено, не осилено... И все-таки те же самые могучие силы, которые разворачивали и двигали вперед нашу промышленность,— они неизбежно пробивают себе дорогу и в сельском хозяйстве Южного Урала; те же самые закономерности, какие выявились в тяжелой индустрии,— они проступают и в сельском хозяйстве. Прямая пропорциональная связь,— надо только научиться видеть ее, научиться подмечать ее первые, пусть еще очень слабые, но реальнейшие ростки.

Все знают у нас, как трудные военные условия и предельное напряжение на уральских заводах привели рабочих к рационализаторству, изобретательству, росту технической культуры. Совершенно так же более трудные условия и необходимость предельного напряжения в колхозах резко потянули уральское сельское хозяйство к интенсификации и росту агротехнической культуры. Задача накормить свою область, накормить собственную выросшую армию рабочих, занятых на старых и новых заводах, эвакуированных и построенных за войну, и накормить ее при меньшем числе рабочих рук в колхозах, при сократившемся тягле, при поределом, изношенном машинном парке, нехватке людей и материала для ремонта, при невозможности завоза овощей со стороны — эта задача заставила челябинцев, как никогда раньше, задуматься над «профилем» своего района, над созданием своего овощеводства. И экономика области начала резко изменяться. Раньше из 34 челябинских районов только 7 были пригородными, да и то с недавнего



сравнительно времени, с 1937 года, когда Магнитогорск потребовал своих овощей. С 1944 года уже 22 района переведены на положение пригородных.

Стать пригородным для слабого сельского района — это значит обух обухом перешибить, трудность победить еще большей трудностью. Для пригородного района, снабжающего промышленный центр, мало быть только хлебным, он должен быть овощным, картофельным, мясным, молочным, садовым.

Когда картофель в дни войны вошел в наш индивидуальный быт, вооружив нас лопатами и тяпками, то для нас, городских людей, это было в своем роде вынужденным опрощением, приближением к земле. Но когда картофель и овощи входят в колхозный быт, то для зернового колхоза — это осложнение и повышение сельскохозяйственной техники. Огородное дело более трудоемко, нежели полевое, оно неизбежно тянет за собой технику, механизацию, требует искусственной поливки, машин, электрической энергии, а значит — заботы о севообороте, о травосеянии, о семенном хозяйстве. Но для колхозов выгоден этот «обух», перешибающий обух. Он открывает перед ними перспективы, рост товарности, поднимает их зажиточность, укрепляет их. И вот почему в труднейших условиях малолюдия, недостатка механизмов мы видим, как южноуральские колхозы, увеличив для себя трудности, переходя от более легкого к более сложному, начинают совершенствовать свое хозяйство и идти вверх. Потянулся в деревню от завода электрический провод; возникли в нескольких районах искусственные поливки; агрономы всерьез «устроили» землю — на полях появились колышки, отмечающие, какой клин идет под яровые, какой под пар, под траву... Сколько лет мы говорим про севообороты — и только после напряженных лет Отечественной войны он стал здесь, на Урале, подлинной реальностью!

В первые месяцы войны это были еще слабые росточки; но как бы ни были они слабы на фоне общего нелегкого положения, именно эти росточки диктовали, по ним строилась работа, они дали меру и оценку вещей, в них проявилась ведущая тенденция нашего сельского хозяйства, его направленность в будущее. И правильно



поступили челябинцы, когда осенью 1945 года, готовясь к битве за урожай, сделали ставку именно на эти передовые начала, не убоившись ни внешней их слабости, ни малочисленности.

#### НА ПЛЕНУМЕ

В большом зале обкома идет расширенный пленум. Плечом к плечу здесь сидят те, кому предстоит завоевать урожай, убрать и помочь уборке: секретари райкомов, лучшие председатели колхозов, директора МТС и совхозов, партторги заводов. Дни до уборки считанные, за окном хмуро: несколько недель, не переставая, шел дождь. Дороги он сделал непроезжими, помешал сенокосу, грозит картошке и овощам, задерживает созревание хлебов. Кажется, ни один капитан корабля не прибегал так часто к барометру и к «бюро погоды», как эти люди, собранные здесь, в зале. И все-таки стоило кому-то, выступив, неуверенным голосом сослаться на дождь, как в зале зашикали. Выступавший обидчиво огрызнулся:

— А ведь все-таки факт, льет как из ведра, пойдика покоси!

— И тем более покошу! — отвечает с места чей-то неумолимый бас.

Чувствуется, что люди окрепли на сопротивлении трудностям, привыкли к их преодолению. И, как бы откликаясь на это выросшее в людях самоуважение, на это желание глядеть в глаза правде, доклад первого секретаря беспощаден. Негромко, сдержанно около трех часов льется его речь, анализирующая положение таким, как оно есть. Не упущена ни одна слабость, ни один недостаток, и, несмотря на суровость общей картины или, может быть, благодаря ей, речь воспринимается вами, утверждается в памяти как вершина ярчайшего оптимизма. Даже метод критики заражает вас оптимизмом. Вместо удара по наихудшему району докладчик оставляет его в стороне и неожиданно открывает огонь по среднему району.

Секретарь этого района, сидевший за табличкой своих среднеблагополучных цифр, как в классе сидят за «тройкой», с чувством некоторой личной безопас-



ности, делает от неожиданности невольное движение. И вы видите, как алая краска заливает шею секретаря, как вспотели его виски. Эта критика, направленная не на самое плохое в своей области, а на среднее в своей области, сразу дает как бы ключ к предстоящей работе, она устанавливает высокий критерий. Людям становится видно, что недостатки среднего района — непростительные недостатки, потому что район имеет больше возможностей победить эти недостатки, не иметь их, не мириться с ними. Тяжелые, «плохие» районы, привыкшие, чтобы их всякий раз критиковали, удивлены. Вы ищете глазами работников этих районов, хотите заглянуть им в самую душу, развинтить ее по винтику и, встретившись с чьим-то изумленно беспокойным взглядом, спрашиваете себя: что происходит, когда самый слабый слушает, как критикуют среднего? Не почувствует ли он острее всю недопустимость своего отставанья? Не мелькнет ли у него озорная мысль: «А вот возьму да и перекрою битый средний район!» Ведь недаром же позднее, в прениях, секретарь Кизильского райкома Липатников признал, что в его районе «отстававшие колхозы в этом году идут впереди», а Баландин, секретарь Чебаркульского райкома, и еще крепче выразился: «Передовыми колхозами в этом году оказались как раз те, что были самыми отсталыми в прошлом...» Плохие, перепрыгнув средние, сразу вышли в лучшие!

Удивительная земля Южный Урал! Она лежит, как летопись, позволяя читать себя по одним названиям. Вот деревни — уральские, искони русские, но какие у них имена! В Челябинской области есть Париж, Лейпциг, Берлин, Тарутино, Балканы, Харьков, Полтава, Бородино, Порт-Артур, Чернигов, Варшава... Есть и не такие еще чудеса: вот районный центр, средоточие всего большого района, с названием, которое попробуй-ка выговори сразу, разберись в нем: Фершампенауаз! Откуда, почему? С какой стати Фершампенауаз в Челябинской области, напоминающий, если переводить с французского, и бассейн реки Уазы, и поля, и железо. Но хорошо, что эти чудаковатые названия не переименованы, остались, не стерты с карты и с лица



земли, потому что они говорят и напоминают многое о многом. Были войны, русские войска завоевывали бессмертие в подвигах, они брали города, чужие, на чужой земле, но взятые города лепились к знаменам полков, к имени полка. Приходили враги и были выбиты из пределов родины. И были поражения, на которых учился русский народ и которые заставляли его зорче глядеть, откуда грозила опасность. И вот бойцам славных былых походов, офицерам, казакам, давали на богатом глухом Урале, в далекой стране, где только облака гуляли в небе да лисица в траве, угождая жирной, плодородной земли. Владельцы называли ее именем, отпечатлевшимся в памяти. Так рождались здесь Парижи и Берлины, так возник — памятью о пораженье — Порт-Артур. Сюда шли переселенцы из густых русских провинций, из бедной, трудолюбивой Белоруссии с ее трудной землей, болотами, песками. Шли ссыльные поляки, украинские крестьяне после 1905 года, несли с собой вечную любовь, любовь к белой мазанке-хате, к душистым травам на полу, на стенках, к вышитым рушникам в углу под киотом. Так рождались здесь Мински и Черниговы, Варшавы и Харьковы... Но рождались не только имена. Люди тяжким трудом поднимали целину, и потомки казаков, солдат, переселенцев, революционеров становились крестьянами, хлеборобами, а потомки их вместе с коренным населением Урала дали тот замечательный сплав, тех великолепных советских людей, которых мы называем теперь уральскими людьми.

Плоть от плоти и кость от кости этого сплава — здесь, на пленуме. Один за другим на трибуну всходили командиры районов: чебаркулец Баландин, белокурый, подтянутый, светловолосый, типичный уралец. Богатырь — косая сажень в плечах, — но с лицом «красной девицы» и с застенчивыми добрыми голубыми глазами — Раков, белорус, секретарь Миасского райкома. Словно все еще комсомолец в каждом своем движении, в задорной прядке на лбу, в ораторском поджиманье губ после каждого абзаца — драчливый и напористый нязепетровский секретарь, Александров. Вдумчиво медленный, с узкими щелками глаз на круг-



лом темном лице — Назмутдинов, секретарь трудного района, Полтавки. Представлена и Чесма, знаменитая Чесма, — крепкий, бронзовый, в тугой гимнастерке, словно отлитой на его массивных плечах, Френкель, секретарь Чесменского райкома, вытащивший в прошлом году свой район, один из самых отсталых, на передовое место... Всем им делал суровый смотр докладчик, и все они с такой же суровостью делают смотр своему хозяйству — горючему, рабочей силе, механизмам.

С горючим на Урале очень напряженно, а главное — не совсем организовано. Погода здесь капризна, сроки посева и уборки колеблются; в этом году, например, из-за холодов сеять пришлось на две недели позже обычного, а потом шли долгие дожди, отодвинулся сенокос, и к осени сразу нашло друг на друга множество работ. При таких капризах погоды надо всегда иметь про запас горючее, готовить его заблаговременно, а между тем ни Главнефтеснаб, ни директора МТС не подошли к этому по-настоящему серьезно. Область жалуется на Главнефтеснаб: систематически опаздывает, недосылает, заставляет простаивать, ждать. Уполномоченный Главнефтеснаба отгораживается цифровой сводкой: сколько следовало, столько нефти и было отпущено. В ответ несутся возгласы с мест: да, но когда отпущено? По старой поговорке «дорого яичко в пасхальный день», а тут когда нужно горючее — нет горючего, а когда время потеряно — оно подвозится. Но оказывается, что в слепом выполнении цифры завоза, без точного учета сроков, виноват не один уполномоченный, виновато не одно запоздалое поступление нефти. Облисполком не вел тщательного цифрового учета надобности и потребления нефти по конкретным сезонам и местам потреблений. Нет цифр — нет их в облзо, не удосужился иметь их уполномоченный Госплана. Во-вторых, сами директора МТС не без вины тут. В конце работ, когда делается подсчет работы горючего, есть у некоторых директоров соблазн: проставить у себя остаток горючего. Думает он: «работы кончены, с нового сезона — и учет новый, а за экономию горючего получу благодарность, оно и



лестно...» И директор «невинно» проставляет несуществующую цифру остатка, хотя на донышке от горючего — только грязная гуща. Но этот расчет на похвалу воспитывает обманчивый расчет и в снабжающих организациях; там думают: сэкономил — молодец, — значит, при случае, когда выйдет задержка, он перетерпит.

Урок 1946 года не должен пройти бесследно для области. На войне у каждого солдата есть так называемый «неприкосновенный запас». В борьбе за урожай должен быть незыблемый запас нефти и у каждой южноуральской МТС, пока нельзя быть уверенным «на все сто» в своевременной ее доставке.

Не лучше как будто и с механизмами. В области, насыщенной металлом и заводами, не хватает у огородников тяпок, нет простейших орудий — окучника, граблей; в области недостает частей для тракторов. «Ступицы звездочек хрупки, рассыпаются при первом же трении», — говорит один оратор. «У лобогреек износилось ходовое колесо, а попробуйте-ка найдите ходовое колесо, — в результате сотни лобогреек стоят!», — восклицает другой. «Сортировки нам дают непрочные, хватает их на полкилометра, не больше», — деловито подтверждает третий. Выступающие говорят о нехватке инвентаря, о недоброкачестве его, — нет влагомеров на заготовительных пунктах; не знаешь, как определить влажность зерна при его сдаче; невозможно найти такую дефицитную вещь, как коленчатый вал, и главное — нет запасных частей для комбайнов, нет полотен хедера, цепей Галля «шаг 25»; вместо деталей нередко посылают полуфабрикаты, и ты их изволь сам доделывать у себя...

Как раз к пленуму в Челябинске открылась выставка ширпотреба, точнее, — необходимых для гражданского потребления предметов. Мы прошли ее вдоль и поперек в поисках сельскохозяйственных машин. На четырех этажах школы, в просторных классах собрались заводские цехи и орсы, мелкие артели и крупнейшие комбинаты, отдельные города и номерные заводы, легпромы и спецторги. Между кадками искусственных пальм, букетами увядших цветов, коврами на круглых



столиках, где каждая организация выставила по мере своих достатков величественные альбомы в переплетках картонных, кожаных и бархатных для записи впечатлений посетителями, — приютились экспонаты.

Сверкает сталь больших, на упругих сетках магнитогорских кроватей; висят на стене изящные златоустовские нержавеющие ножи и вилки; белым и красным цветом, без блеска, матово глядят витрины завода, где из органического небьющегося стекла, легкого, как щепотка сена, разложены рюмки и чашки, портсигары и ручки, письменные приборы и пепельницы, хранящие какую-то чопорную угловатость своих странно недвижных необтекаемых форм; развернул веером свои добротные нитролаки — цветные лакированные образцы — завод лакокрасок; тикают круглые крупные часы в стальной оправе, — опять Златоуст; черным миром фигурок, исполненных движения, — кони, олени, бойцы, охотники, вскинутые копыта, склоненный клык кабана, стремительный поворот длинного жерла орудия с танка, — раскинулось каслинское литье, мастерство старинное и уважаемое... и странно видеть, как много движения в тяжелом чугуне и как много неподвижности в легком небьющемся стекле. Все это экспонаты свои, уральские, имеющие за собой или долгую традицию, или нелегкую историю освоения за период войны.

Но где же, где здесь самое нужное, где вооруженье для новых мирных боев на полях — инструменты, орудия сельского хозяйства? В огромном помещении выставки на четырех этажах одиноко потерялись — длинная ручка планетки, зубы топорно сделанных граблей, колесо, лейка. Крупнейший завод, отец уральского трактора, выставил капканы для волков!

На этикетках цифры запланированного и изготовленного фактически: неутешительные цифры, изготовление далеко отстает от плана. А ведь уж осень, началась выборочная косовица, предстоит настоящий великий бой за хлеб.

Искусство тронуло бессмертным жезлом великие минуты перед битвой, когда бойцы чистят, проверяют, осматривают свое оружие. В «Полтаве», в «Бородине»,



в «Войне и мире», в «Тарасе Бульбе», в «Капитанской дочке» сохранились для нас эти минуты, озаренные ночным костром бивуака, пронизанные ржаньем коней, минуты, когда осматривается «пушечка» на крепостном валу, точится кривая казацкая сабля...

И после, когда война заканчивалась, рассеивался пороховой дым на полях, зарывали трупы в землю, на миг останавливалось время и начинало как будто идти медленнее, словно тоже отдыхая в своем течении после войны,— вот тут, в одном из этих краев, богатых железом и домнами, родилось выражение — «переход на мирные рельсы». Крылатый русский язык здесь словно обескрылел. Он не взял ни метафоры, ни образа, а просто четыре обыденных слова, в буквальном их смысле: производил завод боевую сталь, предметы военные, сейчас опять переходит на продукцию мирного времени, на «рельсы»... Так же можно было бы сказать — «переход на кровельное железо». Только время, пособник искусства, сдвинуло буквальный смысл этих слов в метафорический смысл, перевело их из заводского отчета в художественный образ.

Когда на пленуме обкома люди выходили и осматривали свою «технику», то мы в зале невольно думали: устарело выражение, нет в нашем обществе «мирных рельсов». Одна битва сменяется другой битвой, один вид вооружения — другим. Правда, переход с военной продукции на мирную тяжел и труден. Снова должно повернуться само основание производства — металлургия, начав отливать товарный металл; за ним войдет в цехи все сложное многообразие мирных предметов... Но нет, не мирных! Директоры заводов, начальники цехов, члены промысловых артелей должны втянуть в себя воздух полей, это дыхание нового фронта, увидеть огни полевых бивуаков, почувствовать, чем живет и за что борется сейчас советский человек на полях, чтобы перенести свою требовательность, свое чувство качества, возросшее за время войны, на сельскохозяйственную машину. Здесь нужен не только технологический, но и большой психологический поворот. И на пленуме этот упор на качество, это требование психологического поворота были уже ясно ощутимы.



Красоту этих мест можно увидеть, только сойдя с поезда на станции Чебаркуль и объездив десяток озер в ее окрестностях.

Тут и само Чебаркульское озеро, свинцово-серое, с топким берегом; в густом лесу — прозрачное, как стекло, Еловое озеро, с дивным купаньем; подальше, в светлой лиственной роще, — нежноголубое, цвета незабудки, маленькое Терейкуль, еще никем, кроме рыб и птиц, не освоенное; дальше, в округлых холмах, кудряво-хвойных, похожих на спинки барашков, тесно прижавшихся друг к другу, — во всей своей спокойной прелести озеро Табанкуль с сетью матовых электрических фонарей на берегу и белыми стенами великолепного санатория, отражающимися в его водах..

Казалось бы, довольно красоты, но красоте — конца нет. Обойдя санаторий и поднявшись на крутую горку прямо за его стенами, вы оказываетесь перед новым и на этот раз самым прекрасным озером — Кисегач. Если над Табанкулем солнце всходит, то сюда вы можете прибежать проводить его, когда оно заходит. Вокруг вас совершенно финские мшистые скалы, глыбы гранита, заросли дикой малины и можжевельника. Очертания Кисегача извилисты. Цвет его — непередаваем. На закате — это кипение жидкого золота, медленно переходящее в зеленоватый русалочий оттенок.

Вот среди этих мест, в этом излиянии красоты, возник за время войны новый металлургический завод очень высокой техники. История его типична, и сейчас не она интересует нас. Многократно читали мы об этой героической военной были, когда на пустую площадку в лесу выгружались машины и через три недели площадка уже вздымалась цехами, а еще через месяц-два из цехов начинали выходить потоком нужные оборонные вещи. Но мы еще не читали и не задумывались о другом факте: о том, как появление завода в сельском районе отразилось за время войны на сельском хозяй-



стве района; о том, как стали жить бок о бок в этой далекой уральской глуши в годы войны завод и колхоз.

История в известной степени органична. Люди и явления лепятся к проторенному и опробованному. Нигде больше, чем на Урале, не встречала и не встречается нас эта соседская близость большого промышленного предприятия с деревенской глушью, с лесом, и если на нашем юге и западе мы привыкли искать глазами фабричные трубы на окраинах больших городов и представление о промышленности всегда соединяется у нас с представлением огромного городского центра, то здесь горы и завод, село и завод, лес и завод, поля и завод — явления самые давнишние, пейзаж самый привычный.

Но чем же был до революции уральский завод для уральской деревни? Мы знаем, какую дошла она до Октября — невероятно отсталая, темная, с пережитками крепостничества в быту, с убогим примитивным хозяйством, почти не знающая никаких огородных культур, ничего, кроме пшеницы. Степень ее отсталости была связана с отношением ее к уральскому заводу. Крестьянин еще только полвека назад был на Урале «заводским крестьянином», полукрепостным: зимою он работал в цехах; летом — уходил в поле, как на «побывку», чтоб покосить и собрать хлеб. Некогда было в полную душу отдаться земле, нельзя было и целиком оторваться от нее, чтоб отдаться заводу. И старому собственнику-капиталисту, хозяину и земли и завода, выгодно было держать крестьянина прикованным к своей земле, потому что этим он удерживал для своего завода дешевую силу. Но завод и село на Урале тормозили друг друга: завод мешал сельскому хозяйству расти и интенсифицироваться, село мешало заводу осваивать передовую технику и рационализироваться...

И вот на том же Урале и как раз на связи, на соседстве завода с деревней, в годы войны открылась перед нами с потрясающей ясностью и силой великая разница двух общественных систем: нашей и старой. Самый процесс возникновения и развития завода в сельскохозяйственном районе стал на наших глазах



одновременно процессом укрепления и развития сельского хозяйства этого района.

Ярчайший пример тому — Чебаркульский завод. Когда он приехал на свою лесную площадку, у него было всего 12 процентов потребных ему рабочих. А вокруг — малолюдье, вызванное войной; резко скакнувшие цены на местном районном рынке; неустойчивые урожаи, поределье тягло и техника; невыполнение хлебосдачи государству. Казалось бы, какая уж тут обоюдная помощь?

Но на этих «нетях» и начала складываться своеобразнейшая расшивка трудностей у завода и колхоза.

По просьбе завода отдел трудовых резервов открыл на его территории две школы, и в эти две школы стали втягиваться крестьянские ребята; они осваивали теорию в классах, а практику — в цехах. Постепенно эти ребята превратились в настоящие прочные кадры завода, в золотой его фонд, в отличных фрезеровщиков, токарей, слесарей.

А деревня каждую весну и осень нуждалась в помощи, ей не хватало людей. И на Урале за годы войны сделалось как бы неписанным законом: на посев и на уборку мобилизовать определенное количество рабочих и посылать их с завода в деревню. Чебаркульский завод, как и другие заводы, стал ежегодно отправлять в помощь своему району рабочих; но он посылал их из числа тех самых крестьянских ребят, которых забрал у деревни. Только школы трудовых резервов, набирая в деревне ребят, считали, как водится, каждого за одного; а возвращались эти ребята в деревню такими, что каждый из них мог бы посчитаться за десятерых. Уходили они почти неграмотными крестьянскими ребятами, знавшими свой деревенский труд больше инстинктом и подражательно. А возвращались — грамотными механиками, слесарями, мотористами, умеющими и сесть за комбайн, и починить его, если требуется, и поучить колхозников постарше себя. Больше того, самый крестьянский труд, усвоенный в детстве полусознательно, не забывался ими, а как бы по-но-



вотому осознавался, по-новому становился приятен. После длинной зимы в цехах так хорошо было размять руки на вольном воздухе, на родном поле, на медовом духу мяты и клевера... Так понемногу стал расшиваться у завода и деревни вопрос о кадрах.

Своеобразно разрешил завод и вопрос о питании. Он застал на месте рынок с очень высокими ценами. Тогда завод сам организовал свое крупное подсобное хозяйство, а рабочие завели индивидуальные огородики, приобрели около двухсот коров. Отпала нужда покупать на рынке, завод обзавелся своими излишками, стал сам вывозить их по низким ценам. И это тотчас же отразилось на понижении рыночных цен. Так умная практика завода отрегулировала районный рынок и совершенно уничтожила спекуляцию. И, наконец,— техника. За годы войны, выпуская свою важную продукцию, завод, по горло занятый собственным делом, сумел все-таки выпустить и для нужд сельского хозяйства десятки тысяч высококачественных деталей.

Не только машины, завод дал своему району и энергию. В Челябинской области еще недавно было немало районных центров, где горели керосиновые лампы. Но попробуйте сейчас выехать из Чебаркуля. Когда, обогнувши последний деревенский забор, вы окунетесь в природу, вас встречают не только сено, скошенное вдоль дороги, не только ветер пшеничного поля, суховатый, с легкой степной горчинкой, но и огромные массивы картофеля с фиолетовыми цветочками «лорха», с желтоватым цветом «эпикура», массивы серебристой капусты, и, нагнувшись, вы непременно увидите вдоль этих массивов — к а н а в к у. Подальше, на речушке, вам гордо покажут насос, на берегу — столб с рубильником. Это электрическая установка для искусственной поливки. Кто научил ею пользоваться, кто дал ток, помог с мотором, с рубильником? Завод.

В области уже немало таких установок. В 1945 году они были, конечно, еще каплей в море. Но то были драгоценные, дрожжевые капли, на которых «всходила» культура земли. Деревянные столбы, несущие провод, умеют шагать,— и журавлиные их ноги шагают



далеко<sup>1</sup>. Уже прошагали они от завода — через лес, через полотно железной дороги — в детский железнодорожный санаторий, дав ему водопровод и канализацию.

Целый ряд заводов и строек стал шефствовать над машинно-тракторными станциями и помогать им. Черты новых взаимоотношений между заводом и южно-уральским сельским хозяйством, сложившиеся за время войны, многочисленны, интересны, отрадны: заводы успевают давать машины и запасные части для сельского хозяйства; они ежегодно посылают своих людей в помощь вспашке и уборке; они несут на село техническую культуру, механизацию; они реально шефствуют над машинно-тракторными станциями. А деревня в ответ тоже, где надо, приходит на помощь людьми и тяглом, окружает завод теплым паром земли, вешним душистым цветением, запахом скошенного сена, горьким дымком сжигаемой соломы, всей неповторимой прелестью сельской природы, пробуждая в заводских людях забытое желание — взяться за лопату, дать плечу размах, пройти с косой, — завести свой сад, свой огород, отдохнуть от духоты цеха на чистом воздухе здорового полевого труда. Просто как будто, но разве и тут в зародыше не встречается нас все та же неуклонная тяга советской экономики к уничтожению противоречий между городом и деревней?

Легкое дуновение сквозняка, — это в комнату вошел высокий человек, заняв на мгновение весь открывшийся пролет двери своим большим силуэтом. Свет из окна упал на очень молоджавое, почти юное лицо; нос с горбинкой, иссиня-черные волосы над широким лбом, бледность, та белая бледность, какая бывает у больных почками, и неожиданно — крылатая улыбка, беглая, чуть тронувшая губы, не улыбка, а добрая украинская «усмишка». Таким запомнился мне скромный и славный делами директор Чебаркульского завода, Петр Ефремович Карпенко.

---

<sup>1</sup> Очерк «Челябинские колхозы» писался осенью 1945 года. Спустя два года Свердловская область, а за нею и Челябинская могли похвастаться электростанциями в своих деревнях.



Зеленый маленький «виллис», похожий на кузнечика перед прыжком, срывается с места, чтобы вынести нас из городской пыли и камня на мягкую земляную дорогу.

Природа принимает вас неодолимой лаской. Ветер гонит на вас волны одуряющего аромата. На языке у вас — вкус земляники, сдобренный запахом горьковатой полыни. С нежнейших белых россыпей медуницы, с мохнатого донника гулко срываются тяжелые пчелы, вонзаясь в воздух тонким штопором своего неумолчного жужжанья.

Что ни поворот, то новая выдумка природы: встреча с горным хребтом, кудрявым, под мелкой карликовой вишней; уход в черную глубь леса, где сосна чистая, раскидистая, с ветками до земли; взлет на высоту холма, за которым необъятные долины до горизонта, а потом вдруг ущелье, и «виллис» храбро пересекает изумрудную речушку, прозрачную, как горный кристалл, или, обогнув золотисто-зеленые заросли, врывается на берег синего озера. Лежит озеро в полном одиночестве, мелкие волны набегают на бережок, чмокая, словно стриж в траве; качаются на воде розовые кувшинки, ни души, ни дымка, ни следа ноги на песке, — время остановилось. Такими бывают сны в ранней юности. И кажется, ничего лучше в мире нет, как этот маленький «виллис», открытый с двух сторон ветрам, и воздух, в котором купаетесь вы, и мир, несущийся вам навстречу в его неповторимом разнообразии. Уйти в это движение вперед — и никогда не возвращаться!

Так пересекали мы в течение нескольких дней, делая нескончаемые зигзаги и петли, чтоб заглянуть в каждый район, в каждое колхозное поле, — всю Челябинскую область, с севера на юг, из горного, лесистого Миасса, где царствует огород, в степные просторы Чесмы, где диктует зерно.

Центр Миасского района — большое село Кундровы, полурыбачьего типа. Вы к нему спускаетесь вдоль выхоленных долин, со всех сторон, как по краям чайного блюда, окруженных холмами. Сперва на гори



зонте свинцовая полоска, потом открывается большая спокойная водная чаша и что-то вроде черных крыльев ветряной мельницы над ней. Это стоит гребец на очень узкой лодке. Он держит в руках единственное весло с двумя лопатками на каждом его конце и, делая округлые движения то одним, то другим концом, гребет, как венецианский гондольер. Улица топкая, едем по самому берегу, мимо избушек с рыбацкими сетями на заборах, мимо опрокинутых лодок и ребятишек, снующих по воде, подвернув высоко штанишки. Пахнет водой и особым речным, пресным запахом — льном, окуном, карасем, мелкой болотной рыбешкой, — запахом, так не похожим на соленый и йодистый дух моря. Подъем наверх, и по немощеной главной улице — здание райкома в два этажа, с красивым кабинетом, воздушными занавесками на окнах, обязательными на Урале предметами каслинского литья на столе и прибором из полированной яшмы, а света нет: на тарелке истекает керосином старая небольшая лампа.

Раньше название «Кундравы» казалось вам чем-то мифическим. Заехав на станцию Миасс, вы могли посетить музейчик, где между прочими случайными предметами встречала вас странная деревянная фигура голого Христа в сидячей позе, в человеческий рост, ярко и неприятно раскрашенная. Это так называемый «Кундравинский бог», своеобразное творчество деревенского скульптора из села Кундравы, когда-то предмет спекуляции местного духовенства, якобы открывшего эту «нерукотворную статую» в одном из крестьянских дворов, а сейчас — экспонат музея. Так вам впервые становилось известным село Кундравы, и вы его представляли себе почему-то лесной глушью, вроде тех кержацких лесов со скитами, какие описал Мельников-Печерский. Но сейчас, с перенесением сюда районного центра, большое, просторное село Кундравы сделалось известным, и ездят сюда чаще, хотя лежит оно далеко от железной дороги.

Высокий, — косая сажень в плечах, — Николай Филиппович Раков, секретарь миасского райкома, тот самый белорус с лицом девушки, о котором я упомянула выше, подсел к нам в наш маленький «виллис», вернее



встал на приступку, чтоб показать свой район. Сгибаясь всей своей исполинской фигурой при толчках и поворотах, он плавным движением указывал то направо, то налево. Мы, словно в сад, въехали в залитую солнцем долину с огромными, позлащенными закатом массивами картошки, грядками капусты и помидоров. Въезжаем в один из лучших пригородных уголков области, колхоз имени Десятилетия Октября.

Около сорока лет назад группа переселенцев-белорусов перебралась в Сибирь. Но Сибирь показалась белорусам слишком суровой, и они отрядили уже в советское время ходока на Южный Урал. Ходок поехал, облюбовал эту долину, и в 1927 году в ней образовался колхоз, а ходок, Исаакий Иванович Синяков, стал его бессменным председателем. «Если бы все у меня работали, как они, я бы горя не знал», — говорит Раков, сам выходец из этой семьи переселенцев.

«Виллис», фыркнув, остановился возле крепкого «проволочного заграждения». За ним — стеклянные стены низенького парника. Кряжистый старик выходит нам навстречу; с мелкокудрявой, осеребренной, вскинутой кверху бородкой; с крупнокудрявой головой; с крупным бледноватым лицом в испарине и ветвистыми, словно дуб пошел на вас, большими, длинными руками. Зовут его Кирилл Адамович Лапа, он бригадир овощной огородной бригады. Видно, что Кирилл Адамович любит показывать свое царство, тем более — посетители сюда редко заглядывают. Он не просто идет по грядкам, а, раздвигая густую ботву, показывает, как у него прополото, как окучено. Косые ромбы кустиков помидоров, словно на грифельной доске в классе, он обвел перед нами восемью пересекающимися линиями, чтоб продемонстрировать геометрию такой посадки: восемь раз можно обойти куст планеткой. Пока мы ходили по грядкам, кто-то, неслышно приблизившись босыми ногами, тронул меня за рукав: «Иди посмотри нашу работу!» Пожилая белорусская крестьянка, только что закончившая прополку, стоит перед нами; за нею на земле, сложив тяпки, сидит бригада старух, — их восемь. Все они из группы первых переселенцев, цвет колхоза, старшее, выдавшее виды поко-



ление, поднимавшее здесь целину, крошившее своими руками, обливавшее потом каждый сгусток нетронутой земли. А за старухами — огромное, начисто прополотое картофельное поле.

— Назовите нам самую лучшую работницу в бригаде! — сказал кто-то из нас, обладатель карандаша и блокнота. Женщины переглянулись. Сперва никто не хотел говорить. Потом выступила одна, помоложе, и, указав пальцем на ту, что была всех старше, сказала нам: «Вот ее запишите, Пелагею Михайловну Беренкову — она самая лучшая». Мы взглянули на Пелагею Михайловну, старушку с крупным, как из глины вылепленным, красным лицом, обожженным на солнце, с реденькими седыми волосами на розовой коже, гладко прибранными под платок. Была ли она самая лучшая, или ей тяжелее всех пришлось в жизни, но только она разволновалась от удовольствия, отмахнулась, смеючись, и вдруг все лицо ее, как было потное, обожженное, осыпалось неожиданными росинками мелких, набежавших сквозь улыбку слез. Никак нельзя было после этого не перечислить и всю бригаду. Вот они: самая молодая, Федора Куприяновна Синицына, и самая старая, Пелагея Михайловна Беренкова, а между ними по возрасту Анастасия Ильинична Дубровина, Татьяна Пахомовна Лапина, Марья Анисимовна Антипова, Софья Трофимовна Лапина, Марфа Кондратьевна Клеменкова, Христина Ахотовна Домаренко, Федора Васильевна Лапа. Видно, преобладает род Лапиных.

Покуда мы знакомились и пробовали маленькие бледнорозовые помидоры из парника, упал вечер, потемнело сразу, по-уральски, и сразу же стало свежо, как в позднюю осень. Ночь приглушила запахи, обострила и выдвинула звуки. Мы тронулись все вместе, мимо взлаявшей собачонки, к ночлегу.

Сколько этих ночлегов было у нас на пути! Мы ночевали в крестьянских квартирах у секретарей райкома, где такое же, как в колхозах, домовитое хозяйство: корова, огород за плетнем, красный язычок керосиновой лампы.



Нас водили ночевать в заводскую гостиницу в Чебаркуле — маленький, чистый домик с опрятными железными кроватями и неизменной геранью на столах, крытых тюлевыми скатертями. А земля — от ночлега к ночлегу — все бежала по сторонам, неуловимо меняясь: отходили на север горы, редели леса, все шире, шумнее, колосистее открывалось поле.

И под конец путешествия мы очутились на юге, в Чесме.

Большое село, далеко от железной дороги и шоссе-ного тракта, в безлесной степи, почти без садов; широкая площадка перед зданием клуба, с одиноким столбом «гигантских шагов», вокруг которого с визгом кружатся-летают дети; «гигантские шаги» — словно символ всего района: так много здесь пространства, такая ширь вокруг, такой поступью нужно шагать, чтобы быть вровень с этим пространством, еще не вполне освоенным человеком.

Чесма недодавала хлеб государству из года в год. Не так давно секретарем Чесменского райкома стал бывший работник политотдела Юлий Маркович Френкель. Он вывез Чесму. Чем? Это нужно увидеть на полях. Во время нашей поездки мы по всей области находили колышки — следы проведенного севооборота. Но в Чесме на полях, кроме этих колышков, есть и другие, с табличками, где аккуратно написано: «За это поле ответственна бригада такая-то». Поля потеряли здесь свою обезличку. Прежде чем познакомиться с людьми, увидеть их в лицо, вы читаете и запоминаете их фамилии и видите за фамилией дело рук человеческих — поле, в различной степени выхоженности, засоренности, чистоты.

«У меня принцип — никогда не менять людей в колхозах. Если работник плох, я его поправлю, добьюсь, чтобы он стал хорошим. А хороший работник у меня не теряется, не может не быть замечен,— и это дает большой результат. Во-вторых, машины. Над тракторным парком у нас стоят, как над родным ребенком, ежечасно следят и проверяют. И, в-третьих, колхозники в свое время получают, что им полагается. Никогда нельзя промедлить со сроком выдачи. Люди



чувствуют, что им стало легче, лучше, дорожат этим, не хотят спуститься с достигнутого». Так рассказывает Френкель, пока мы объезжаем бесконечные поля его района.

Здесь, в Чесме, мы встретили «глубинки» — несколько домов на отлете, свежепобеленные здания складов, — и я впервые узнала весь парадоксальный смысл слова «глубинка». Она представлялась мне чем-то очень глухим, далеким от всех проезжих дорог, задвинутым в глушь. Но оказывается — самое глухое и далекое село, если оно вывозит зерно в район на собственном транспорте, это еще не глубинка. А «открыть глубинку» — значит, разрешить колхозу оставлять государственное зерно на хранении в собственных складах, пока за ним не заедет Заготзерно и не вывезет его своими силами.

Выйдет ли Чесма и на этот раз победительницей? Должна выйти, как должны выйти и другие зерновые районы области.

Мы раздвигаем руками пышные хлеба, почти в рост человеческий. Секретарь обкома, он же водитель нашего «виллиса», Иван Васильевич, сам агроном, и помощник его — тоже агроном; им все надо оглядеть, перешупать, обменяться негромко словом-другим, размять на ладони зернышко озимой ржи и попробовать его на язык. Хлеб начинает дышать и различаться под их взглядами и словами. Вы, городской человек, следя за ними, понимаете, где хорошо, где плохо. И в пшенице начинаете смыслить, — усатой и безусой, той, что пойдет на хлеб, и «макаронной» — толстой, твердой, увесисто бьющей вас по руке, — той, что пойдет на макароны и вермишель. И узнаете, впервые может быть, что и перловая крупа — это особый сорт пшеницы... Урожай яровых обещает быть хорошим по всей области. Озимую пшеницу многие колхозы сеяли по стерне, воплощая в жизнь гениальную идею Т. Д. Лысенко. Кто соблюдал при этом все указанные правила, тот получил урожай любо-дорого, «даровой хлеб», — негромким своим добрым голосом говорит Иван Васильевич.



Когда вы спрашиваете в закавказских республиках агронома, как это так вышло, что за время войны, в обстановке более трудной, более сложной, при отсутствии достаточного количества рабочих рук, нехватке машин и горючего Закавказье сумело превратиться из страны, потребляющей ввозной хлеб, в страну, производящую и вывозящую хлеб, агроном обычно ответит вам: «Тут много помог и озимый клин». Весна в горах капризна. В Армении град, величиной с голубиное яйцо, побивает весенние посевы чуть ли не ежегодно. А озимый клин, который начали вводить и расширять в годы войны, обеспечил и более устойчивый урожай и сыграл немалую роль в поднятии культуры земли, в проведении севооборота.

Но в Закавказье тесно, мало места для хлеба, там, что называется, «хлеб не главная тема». Для степных же равнин Сибири, лесостепных просторов Урала и особенно Южного Урала, Северного Казахстана, где хлебу не тесно, где тучная удивительная земля, где сильное солнце — той силы радиации, какую знает лишь короткое континентальное лето в Азии, где воздух сух и прозрачен до боли в глазах, небо — чистоты необычайной и солнечный луч падает на землю, не ослабленный и не смягченный давлением влажной атмосферы, словом, в огромных, неохватных просторах нашего Востока хлеб — одна из «главных тем», большая тема. Мы тут в восточной житнице всей великой нашей родины. И при здешнем капризном климате, изменчивой весне с неожиданно резкими похолоданиями и очень засушливом, а иногда и чрезмерно мокрому лету — озимый сев, сев «под снег», мог бы сыграть очень крупную роль в балансе сельского хозяйства.

Между тем с озимыми в Сибири и на Урале дело обстояло до сих пор очень плохо. Как ни тщательно готовили колхозники пар под озимую пшеницу, она почти всегда погибала. Лишь раз в десять — пятнадцать лет озимая пшеница давала тут урожай, да и то не очень завидный. Установилось мнение, что озимая пшеница погибает от вымерзания, не может перенести суровых здешних холодов. Ученые бились над выведе-



нием морозостойких сортов пшеницы, агрономы придумывали всевозможные способы обработки паров под озимые. Но пшеница продолжала погибать. Она погибала и в тех случаях, когда самые зимостойкие сорта высевали в самый лучший пар. Дело казалось безнадежным...

Однажды академик Лысенко проходил по такому погибшему полю озимой пшеницы. Вокруг была южно-уральская раздольная степь с темными барашками невысоких и густых березовых рощиц, сияло, как чистая бирюза, небо, бледное от слишком большого жара солнца, а из-под ног, рядом с мертвым полем невыросшей пшеницы, выбегала и уходила вдаль черная лента обыкновенной дороги, утопанной людьми, лошадьми и колесами. И вдруг на этой дороге, рядом с полем мертвой пшеницы, академик Лысенко увидел колос. Крепкий, налившийся, здоровый и нормальный пшеничный колос кланялся ему по ветру, как живая душа, уцелевшая рядом с полем мертвецов. Зерна, упавшие в рыхлый пар, погибли, а зерно, упавшее на плотную землю проезжей дороги, возшло и колосилось. И эти зерна были родными братьями. Так дан был толчок для одной из плодотворнейших мыслей пытливого советского ученого.

Что это значило? Это значило, что дело вовсе не в вымерзании! Если налицо нормальное развитие зерна в тех же климатических условиях, в каких другие зерна погибли, то холод здесь явно ни при чем. Так что же тут «при чем»? Неужели чистый рыхлый пар хуже для озимой пшеницы, чем плотная, убитая, неподготовленная дорога? И если хуже, то почему хуже?

На все эти вопросы академик Лысенко дал ответы. В Сибири и на Урале в дождливую осень «пар» пропитывается большим количеством влаги, чем обыкновенная земля, и это понятно: он пористый и губчатый. В местах кущения зерна, то есть там, где зернышко дает уже кустик ростков, влага скопляется еще больше, стекаясь туда, как в ямку. Когда сразу ударят морозы (чудесная точность русского языка в этом выражении — «ударил мороз»), то большие поры земли, заполненные влагой, застывают в крупные куски льда.



И эти кристаллы льда при весенне-летнем таянии механически разрывают почву, ломая и разрывая вместе с нею и хрупкое растение. Таким образом, всходы озимой пшеницы погибают здесь не от вымерзания, а от механической травмы. Чего недоделает лед, dokonчат пыльные бури. Ветер здесь огромной силы, он несется по незащищенному, рыхлому полю озимых, сдувая его верхний слой, побивая уцелевшие всходы тучей пыли и земляных частиц. Так идеальные культурные условия, создаваемые для озимых посевов, неожиданно становятся причиной их гибели.

Но почему уцелело зерно на дороге? Да потому, что в плотной почве не было больших пор для образования крупных кристаллов льда, не произошло и резких разрывов почвы при таянии. И тут, как логический вывод, у академика Лысенко блеснула практическая идея, смелая, новая, ошеломляющая: если так, то не попробовать ли тут сеять озимые хлеба не в чистые пары, а прямо по стерне? Можно сказать, что в земледелии не было более смелой и — добавим от себя — более потенциальной мысли, чем эта мысль, приведенная в исполнение в самые напряженные годы Отечественной войны. Пусть только ясно представит себе читатель, о чем идет речь. Пар — это вспаханная, очищенная, подготовленная земля, лежащая круглый год на отдыхе, под паром, отдавая теплое дыхание своих взрыхленных и перевернутых недр солнцу и утренней росе. Стерня — это отражавшая земля, с которой осенью только что скосили хлеб. Неприглядна и угрюма стерня, не дышит, лежит, как плохо обритая щека, вся в желтых «недобритых» кончиках острой соломки, в сухих, безжизненных корешках снятого хлебного колоса; ходить по ней больно, то и дело наколешься, а глядеть на нее неутешно, как и на все, уже исчерпанное, сделавшее свое дело и нуждающееся в большом добавочном труде человеческого, чтобы снова ожить и пригодиться.

На Южном Урале, при годовом плане посева под озимые в 180—200 тысяч гектаров, эти посевы озимых производились на чистые пары. А так как они большей частью погибали или давали очень незначительные урожаи, то, значит, мы жертвовали 200 тысячами



гектаров лучшей земли, огромными пространствами дышащих, отдохнувших, тучных паров, по сути дела почти ни на что, на заведомо небольшой результат. Между тем мы можем эту лучшую землю отдать под лучший культурный сорт хлеба — под яровую пшеницу, а озимый клин, ни в коем случае не уменьшая его, а местами и увеличивая, сеять прямо по отработанной земле — по стерне.

Застрельщицей этого необычайно смелого дела выступила Челябинская опытная селекционная станция в лице своего ученого агронома В. И. Дидусь и директора Н. С. Фролова. В напряженные дни осени 1942 года они посеяли для сравнения озимую пшеницу на участке в 34 гектара удобренных паров, а рядом, на участке в 23,7 гектара — по стерне. И озимая пшеница взошла, дав на парах средний урожай в 3,3 центнера с гектара, а на стерне в 14,1 центнера с гектара, то есть по стерне в четыре раза больше, чем на парах! Не успокоившись первым опытом, селекционеры повторяли его каждую осень последующих лет. Результат стойкий: урожай пшеницы на стерне или выше или такой же, в зависимости от того, раньше или позже удалось провести сев.

Хуже обстоит дело с озимой рожью, урожай ее на стерне ниже, чем на парах, но и тут посев на стерне может дать до четырнадцати центнеров ржи с гектара. Опыты Челябинской селекционной станции вскрыли все слабые стороны посева по стерне и уточнили условия, при которых слабые стороны могут быть преодолены.

Прежде всего, конечно, надо помнить, что речь идет о Южном Урале, Сибири и части Казахстана и ни о каких других местах нашего Союза; посев по стерне — вещь географически строго обусловленная. Затем, во избежание избытка сорняков, которые растут на стерне вместе с озимыми, надо брать стерню из-под хороших яровых паров, обязательно почистить ее конными граблями, удалить крупные сорняки, особенно полынь. Не все «предшественники» одинаково благоприятны для посева по стерне, — предстоит еще серьезное изучение микрофлоры,



создаваемой каждым предшественником, и в соответствии с этим — их выбор. Главное же — это требование, предъявляемое к уборке яровых: успех посева по стерне во многом зависит от чистоты уборки яровых культур, и здесь новый принцип озимого сева является фактором, подстегивающим общую культуру уборки, то есть фактором по существу прогрессивным.

При соблюдении этих и ряда других условий, например условий, позволяющих сеять озимые по стерне как можно раньше (уборка яровых в начале восковой спелости, использование стерни из-под раннего сева яровых и раннеспелых сортов); условий, ускоряющих чистку стерни (требование от комбайнеров, чтобы при уборке яровых прикрепляли к комбайну легкие клетки, убирали в них солому и свозили к краю поля); условий метода сева озимых (дисковыми тракторными сеялками) и др., — при непременном и точном соблюдении всех этих условий Челябинская селекционная станция берет на себя смелость утверждать, что:

1) на Южном Урале озимые можно сеять только по стерне;

2) а пары оставлять под яровую пшеницу.

Ветер гонит на нас чешуйки желто-пепельных волн. Они бегут, блестя на извивах, и вдруг обрушиваются на нас твердыми, тугими толчками, — это волны озимой ржи, поспевающей на стерне. Достает она в высоту до пояса, сидит густо и кажется на первый взгляд чистой, нормальной рожью, посеянной обычным способом. Но взглядишься и видишь между стеблями зеленые поросли сорняков. Они невысоки, сверху их незаметно, более могучий «ржаной коллектив» угнетает сорняки и почти побеждает их. Если скосить рожь вот по этот пояс, густой и чистый, то сорняки останутся на земле нескошенные. Почти без всякого приложения труда, словно первый человек бросил в землю первые полученные им семена злака, возшло и колышется перед нами бесконечное поле культурного растения.

Большая мягкая рука агронома бережно раздвигает колосья: мы хотим поглядеть самую стерню, эту небритую щеку земли, где она, что с нею случилось, где



старая солома? Она сгнила, истлела, пошла на удобрение, ее почти уже нет, лишь с усилием можно отыскать и вынуть сухую, обглаженную, легкую, как бумага, палочку старого стебля. Сейчас это уже почти земля, а осенью, когда между соломой по твердой стерне сеяли рожь, эта солома и эти естественные колышки тоже сыграли свою положительную роль. Они послужили естественными снегозадержателями.

Поглядите зимой: стерня всегда выглядит более заснеженной рядом с чернеющими парами потому, что ветер легче сдувает снег с паров, нежели со стерни. Но, задерживая равномерно снег, более плотная почва стерни в то же время не дала образоваться и тем самым кристаллам льда, которые на открытых колхозных парах (не имеющих защитного лесного пояса) и ведут к разрыву почвы и озимей, высеянных на парах.

Удача в опытном поле — это лишь половина удачи. О ней заранее и говорить не стоило бы, если бы успех Челябинской селекционной станции уже не подтвердился на колхозных полях, и притом — не только одной Челябинской области. Озимые по стерне сеяли в Сибири и в Казахстане. В Омске первого августа, в присутствии замнаркомзема товарища Пензина, произошло агрономическое совещание о результатах посева по стерне. Вот что пишет ТАСС об этом совещании: «Главный агроном Омского облземотдела т. Каргаполов на основании материалов обследования колхозов южных районов области показал хозяйственную целесообразность посевов по стерне. Колхозы области в 1943 году засеяли по стерне 5 тысяч гектаров, в 1944 году — 92 тысячи гектаров. Хороший устойчивый урожай ржи получают колхоз «Красный овцевод», Молоотовского района, зерносовхозы «Сосновский», «Коммунист» и другие. Те, кто сеял осторожно и ответственно, с соблюдением нужных условий, ходят именинниками. Так сеяли колхозы Чебаркульского, Миасского, Еткульского, Чесменского и других районов. В озимых по стерне они получили добавочный, почти даровой хлеб.



Из Казахстана тоже идут подтверждения. Совхоз НКВД в Караганде уже третий год засекает по стерне 10 тысяч гектаров.

Это лишь первые ростки большой идеи, замечательной не только своим практическим значением для нашего государства. В идее академика Лысенко скрыт огромный диалектический смысл, ярко, как вспышка молнии, освещающий плодотворное взаимодействие двух начал: культурного и природного. Не одичает ли в конце концов пшеница на стерне? Но прививка менее культурного начала к более культурному (органо-терапия) не ведет к «одичанию», а лишь «омолаживает» культурное начало. Надо только найти правильное взаимодействие — и тогда в руках человека будет ключ к источнику вечно обновляемой молодости мира.

Южный Урал борется сейчас за первый послевоенный урожай, на редкость богатый. Борется всеми средствами, в том числе и наукой, двигающей вперед агротехнику. Мягкие, округлые очертания темных рощ, парящая в небе птица, яркое поле вокруг, где голубеет и осыпается голубым снегом лен, розовым мелким цветом колышется гречиха, где конца краю нет всем видам злаков, всем оттенкам бегущей под ветром волны хлебов,— как хорошо это, как тянет, как зовет человека поработать, окунуться в благодатное бессмертие мирного труда на земле!



## МАГНИТОГОРСК ПОСЛЕ ВОЙНЫ

### ПЕРЕХОД НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ

За рубежом прекращение военных заказов — это миллионы безработных. Америка уже поглощена заботой о надвигающемся кризисе. У нас же нет лишних рук. Наоборот, переход с военной продукции на мирную означает для нас новую нехватку людей, новую потребность в людях; а где освобождаются люди, там их поглощает новая очередная нужда, словно испаряется капля воды, упавшая на раскаленную печь.

Но и у нас есть свои трудности перехода. Это особые трудности, и нам следует хорошо их знать, чтобы уметь предвидеть. Так, например, в металлургии первая и основная трудность заключается в том, что хотя военная продукция требует особой тщательности, особо безукоризненного металла, особо качественной плавки, — зато катать ее технологически легче, проще, нежели продукцию гражданскую. Номенклатура прокатки невелика, технология не слишком сложна. Взять хотя бы снаряд — его делать исключительно легко, привыкнуть к операциям можно быстро. А вот мирный товар — сложнее, как несравнимо сложнее войны — жизнь.

Магнитогорский комбинат с первых дней был рассчитан на то, чтобы «делать жизнь», это был самый крупный товарный комбинат в Европе. Каждый его цех равен крупнейшему заводу, а ковш руды, извлекаемый утром из горных недр, вечером может превратиться в



готовый продукт. Куда бы вы ни заехали в Союзе, вы всюду встречаете магнитогорский металл: он в автомобиле и тракторе, в мостах и кранах, в метро и во Дворце Советов, в котле и в станке, в Беломорском и в Московском каналах,— всюду, где налаживается, создается, творится наша большая советская жизнь.

До войны Магнитогорский комбинат давал 88 процентов рядового товарного металла, идущего на это «делание жизни», и только 12 процентов качественного металла. История о том, как в короткие месяцы 1941 года эта пропорция должна была измениться так, чтобы Магнитогорск начал давать 83 процента качественного металла для военных нужд и только 17 процентов прежнего товарного металла, уже неоднократно рассказывалась в отдельных своих частностях и будет подробно освещена в летописях Отечественной войны.

Здесь же мы скажем только, что основная трудность этого первого перехода легла на плечи доменщиков и мартеновцев, а прокатка — после первых, основных изменений в стане и приспособлений блюминга — значительно стала легче, и потому в военные годы, попадая на комбинат, вы неизменно заставляли блестящее положение с прокатом и трудное, напряженное положение в доменном цехе.

И вот кончилась война. За четыре года Магнитогорску второй раз приходится пережить резкий поворот: он должен опять выпускать товарный, более простой металл и товарную, более сложную прокатку. Ясно, что этот второй переход от военной продукции к товарной, облегчив в основном доменщиков, должен был тяжелее всего лечь на плечи прокатчиков. Ведь катать броню или круг для снаряда — несравненно проще, чем катать, скажем, швеллер с его более сложным профилем. Учесть трудности нового перехода, учесть те участки, на которые он ляжет тяжелее всего, и заранее подготовить, организовать эти участки — вот что нужно было сделать Магнитогорску уже на четвертый год войны, когда ясно было, что война идет к концу, дело идет к колоссальной мирной работе, к восстановлению разрушенного немцами.

Как же Магнитогорск учел все это и подготовился?



Очень многим мог комбинат похвалиться. В годы войны пришлось в отдельных домнах выплавлять ферромарганец, отчего печи могли бы здорово износиться, тем более что в горячке фронтовых заказов не до остановок было на капитальный ремонт. Из прошлого мы знаем, как невероятно износились домны к концу первой мировой войны. Но магнитогорцы сумели этого избежать. Они не довели оборудование до износа, за семь месяцев до окончания войны капитально отремонтировали три домны; больше того — они построили две новые гигантские доменные печи.

Так же заботливо поступили они с мартенами: капитально реконструировали десять мартеновских печей, сделав их большегрузными. Не забыли они и блюминги: привели в порядок их нагревательные колодцы.

У комбината не хватало кокса, без которого нельзя было бы увеличить производство чугуна. И вот, в военные же годы, в Магнитогорске возводятся четыре новые коксовые батареи.

Так, с точки зрения подготовки оборудования, Магнитогорский комбинат мог бы быть назван образцово-предусмотрительным. В самом деле. Тягчайшая война прошла над его цехами, она изнашивала его печи, она корбила и донельзя раскачивала в огне и лихорадке работы все его оборудование, а между тем он встал из опаленных войною лет, из огня и пламени круглосуточного напряжения, как мифическая птица Феникс, — опять молодой, опять новый, но еще более выросший, окрепший, увеличившийся. Если оставить высокий стиль и перейти к языку экономистов, то из войны Магнитогорский комбинат сумел выйти благодаря улучшению газового баланса и реконструкциям печей — строго «пропорционированным». Нужды и требования каждого цеха в отдельности могут гармонически удовлетворяться возможностями и мощностями соседних цехов. Только становись за работу!

И тут магнитогорцы уперлись в свое слабое место, как раз в то место, которое они во-время забыли учесть и предусмотреть, — в кадры, в прокатку!

Легко сказать — становись за работу. Прокатные цехи за время войны почти целиком изменили весь



состав своих рабочих. На место старых, опытных кадровиков, умевших катать сложные товарные профили, пришла молодежь, пришли женщины. Первое, что они узнали в цехе, была прокатка простых военных профилей, и они освоили эту прокатку. Ну, а с гражданским, с товарным продуктом дело оказалось сразу труднее: многие из рабочих не катали его раньше и не знали, как за него взяться. И хорошо технологически подготовленный, «пропорционированный» комбинат все же обнаружил нежелательную «диспропорцию»: между техническими возможностями и умением эти возможности использовать, — потому что заранее не позаботился о подготовке кадров.

Так, при общей отличной подготовленности, в Магнитогорске начала отставать в начале послевоенного периода прокатка, пережив в первые дни мирного времени такое же напряжение, какое в военное время довелось пережить доменному цеху.

#### ПРОКАТКА

Мы вышли из гостиницы — и тотчас ветер и воздух Магнитогорска охватили нас, особый воздух с примесью газа и копоти; особый ветер, как бы доносящий к вам дыхание больших залежей магнитного железняка. Справа от гостиницы — проходная будка на комбинат, за спиною ее — гигантские вереницы труб, небо, словно тушью и белилами тронутое, смесь черных дымных пятен с белыми, как белок, очертаниями. И вот мы на дворе самого комбината, в том мире, где расстояния исчисляются десятками километров. Кажется, это единственный сейчас завод не только у нас, но и во всей Европе, где из цеха в цех надо ехать на машине.

В военные годы я как-то вздумала не объехать, а обойти этот завод, — на путешествие ушло три насыщенных дня. Но зато с этого времени сохранилась память о внутренней логике этого большого целого, во всей последовательности его операций. Наверху, на искромсанной красно-сизо-черной горе Атач, с ее драгоценными недрами, ковш экскаватора грузил и грузил



руды; пониже, в отличном музее, где хозяйничала культурный геолог Е. И. Каминская-Дульская, можно было увидеть, какое чудовищное многообразие таит в себе эта простая железная гора и как прекрасны отдельные кристаллы ее магнетита и пирита; еще дальше на длинных лентах шла и шла эта руда на агломерацию, на обогащение; потом она же грузилась уже измененная, с различными добавками, в жадные горла домен, она же оранжевым светом исходила в мартенах, она же ложилась болванками под блюминг и прокатывалась в стальную броню под станами прокатных цехов. Весь кругооборот этого мира с его музыкой протяжного стога, уханья, биенья мотора, колокольчика крана, резким гудком своего внутризаводского паровоза, с его черными закоптелыми людьми, улыбающимися яркой белозубой улыбкой,— весь круг этого мира прошел тогда передо мной, и вот он возник снова. Но тогда прокатные цехи были последними на пути. Сейчас мы начали именно с них.

Три магнитогорских прокатных цеха (сортопрокатный, листового железа и проволочно-штрипсовый) работают неодинаково. Проволочно-штрипсовый в мирные дни даже выдвинулся. Раньше, в военные годы, его держали на голодном сырьевом пайке — не до проволоки было в те дни. И работал он на том, что ему давали, как Золушка, незаметный и отодвинутый. Сейчас главный заказчик Магнитогорска изменился: вместо фронта заказывают строители, заказывают восстанавливаемые города и заводы, и для них проволока — предмет уважаемый и до зарезу нужный. «Золушка» сразу оказалась на виду, цеху прибавили сырья, и он заработал на полную мощность. Мы идем длинным его коридором, а проволока идет за нами, опутывает нас, весь цех словно в зыби ее нескончаемого, непрерывного рожденья. Тянутся огненные змейки под щипцами вальцовщиков, сворачиваются в мотки, перегрызаются, трепещут красные, живые, в кучах, переливаясь теплым пламенем, еще мерцающим в них, и остывают в сером налете окалина.

Но не так благополучно у сортопрокатчиков. За годы войны они привыкли получать знамя Государ-



ственного Комитета Обороны, шли первыми на всем комбинате. А сейчас редко когда проскакивают на второе, на третье место.

Мы поднимаемся к заместителю начальника цеха С. М. Бурнашеву. Здесь, на капитанской вышке, тихо; стеклянные окна глядят в цех. Бурнашев рассказывает нам, как прокатчики борются с трудностями. На очень молодые плечи прокатчиков — в массе это все зеленая молодежь — сразу легла двойная тяжесть: и погонный метр нового профилеметалла стал весить меньше, чем прежний погонный метр, и самый профиль прокатки стал гораздо сложнее.

— Но трудности уже идут на убыль, справимся! — уверенно говорит Бурнашев. — Мы сейчас взялись за дело со всех концов. На рабочем месте даем нашим молодым вальцовщикам необходимый инструктаж, а после работы они ходят на специально организованные для них курсы. Отдельные рабочие уже вышли в мастера, в старшие вальцовщики. Такие, как Осколков, Женин, Князев, Металиченко, — это гордость нашего цеха, им и всего-то, подите поглядите, не более двух десятков лет каждому, а массу за собой ведут.

И мы выходим из будки, чтобы снова окунуться в музыку цеха. Коллектив прокатчиков — более тысячи человек, но так растворяются люди в этих пространствах, так защитно скрываются их легкие темные фигурки среди темного металла могучих станков, железа, узких коридоров, переплета мостов, что и не сразу отыщешь рабочего глазами!

Но вот на сверкнувшем красноватой вспышкой фоне силуэтом вычертилась фигура вальцовщика. Необычайной грацией повеяло на нас. Все было грациозно: и сама тоненькая фигурка, словно взятая с этрусской вазы, и ее поза, откинутый назад корпус, лебединый поворот шеи, ноги, крепко упершиеся в землю. Когда вальцовщик кончил свою работу и тыловой частью ладони смахнул волосы со лба, мы увидели его лицо: тонкий орлиный нос, круглые карие глаза из-под прямых бровей, бронзовый загар. Откуда взялась эта совершенная красота, красота, редко дающаяся людям, как любой другой талант, в суровом сумраке прокат-



ного цеха? На вопрос наш, как его зовут, юноша долго ничего не отвечал — он не понимал нас. Наконец, он назвал себя «Инасаидзе» и попытался объяснить что-то, сделав широкий жест рукой: «Телав, Телав...» Грузин из Телава, из далекой солнечной Кахетии, из этой «Шампани» нашего Советского Союза!

Небольшой худенький человек с мягкими чертами лица и рыжеватым отсветом бровей и ресниц над очень светлыми, желто-карими глазами подошел к нам. Это был представитель ЦК КП(б) Грузии, руководитель группы грузин, проходивших выучку на Магнитогорском комбинате. Завязалась беседа.

Кажется, только вчера видела я под Тбилиси зароженье, — нет, только еще место, уготовленное для рождения первенца закавказской металлургии, будущего металлургического завода. А вот уже кадры, живые люди, которые будут выпускать первую его продукцию! С декабря 1944 года около 500 грузин, набранных из колхозов, примерно 1925—1926 года рождения, поехали вместе со своим руководителем в самый разгар лютой зимы из мягкой, влажной Грузии в сухие морозы Магнитогорска с его сумасшедшими ветрами. Молодежь, никогда не видевшая заводскую машину, вошла в цехи комбината. Всякое было за это время. И болели люди, — кое-кто не вынес климата, пришлось отправить на родину, — и мерзли, и тосковали по родным виноградным садам. Но привыкли, освоились постепенно и стали настоящими, закаленными металлургами. Уже 90 процентов их работает самостоятельно. Монтажник Джабуа стал бригадиром, Хурушвили тоже бригадир, слесарь шестого разряда, машинисты элеватора Дараселидзе и Квахадзе получают по седьмому разряду по 1800 рублей в месяц, вальцовщик Гогричiani, электрик Абашидзе работают самостоятельно, как и многие другие... Вот они столпились вокруг нас, улыбаясь радостно, с детски просиявшими лицами, — только потому, что я назвала по-грузински родной для одного из них район Рача. Десятки молодых свежих голосов гортанно забормотали, словно в самом звуке пролилось на них теплое солнце Грузии: Рача, Рача!



Советская быль похожа на сказку. Про каждого советского человека можно рассказать свою сказку. И не будет конца этим рассказам по всему неохватному простору нашей земли...

Уходя от прокатчиков, мы внимательно просмотрели таблицы выполнения плана. За прошлый месяц сорто-прокатный цех выполнил план на 103,7 процента,— не так уж плохо. Люди учатся и тянутся, и, когда выучатся, это будет золотой фонд Магнитогорского комбината,— кадры, прокаленные годами войны и трудностями острого поворота от военной продукции к мирной.

### КОКСОХИМИЯ

Еще до посещения коксохимического цеха в горкоме, в гостинице, у случайных знакомых мы наслушались рассказов об этом цехе. По первому предположению этот цех должен был бы быть самым грязным на заводе. Производственная его функция такова: в своих печах он должен непрерывно выпекать кокс для магнитогорских домен, выпекать из угля, суточное количество которого, если погрузить его в вагоны, протянулось бы поездом в пять километров длиной. Уголь и кокс: сверху засыпается уголь, сбоку выдается «коксовый пирог». А где уголь, там — известное дело — и угольная пыль, там все обязательно выпачкано, там газ и химические запахи, там грязь.

Но, оказывается, коксохимия не только не грязнее, а, наоборот, чище всех других здешних цехов. Ее начальник Петр Александрович Судья вместе с членами партии и комсомольцами добился на батареях безупречной чистоты. Да и о самом П. А. Судье, о его внимании к людям, большом производственном и моральном авторитете магнитогорцы любят рассказывать с особым интересом. Поэтому мы и поехали к дымным далям коксохимического цеха.

За время войны производительность этого и без того большого цеха удвоилась. К старым четырем батареям прибавились новые четыре. Коксохимия — это важный участок магнитогорского завода,— без кокса не будет



ни чугуна, ни стали. Поэтому расширение цеха за военные годы позволило в огромной степени увеличить и выпуск чугуна. Но одновременно с расширением начальник цеха поставил перед техниками задачу механизации труда, чтоб облегчить его для людей.

Недавно был награжден орденом Трудового Красного Знамени люковой Иван Тимофеевич Казаков, работавший десять лет на люках и дверях коксохимических печей. Для всякого другого вида труда десять лет не велик стаж, во всяком случае — не юбилейный, а для люкового — он больше чем юбилейный, он финальный. После десяти лет работы Ивана Тимофеевича перевели на работу по другой специальности, иначе бы он не выдержал — так исключительно трудна работа коксохимиков.

Оглядываемся — в цехе действительно чистота! Не то что выметены, — как ветром обдуты длинные дорожки вдоль гигантских батарей, гофрированной стеной стоящих на вашем пути; но и сами их стены, мостики, перила кажутся вытертыми хорошей тряпкой. Гулко отдается по камню ваш шаг. И — что это? Цветничок! Среди камня и железа, среди царства угля и кокса, в черном мире, черном, как где-нибудь в шахтах, вы вдруг встречаете трогательнейший, аккуратный заборчик, огородивший нанесенные сюда земляные грядки с бледными, малокровными, но заботливо политыми стебельками садовых цветов.

А сам начальник цеха Петр Александрович Судья шагает рядом — большой, могучий, плотный, с круглой, лысеющей головой, с длинными черными усами, с тяжелым носом, — ни дать ни взять — настоящий запорожец, и говорит неожиданно высоким и тонким голосом, добрым, как у ребенка:

— Ежели меня доведут в конторе до белого каленя и я сильно разволнуюсь, я иду на печь и там немножко успокаиваюсь.

Идти на печь, чтобы успокоиться! Но когда мы тоже побывали на печи и повидали людей, самоотверженно работающих под вспышкой пламени, столбом вырывающегося из люка, мы поняли, что это значит — успокоиться на печи коксохимической батареи. Процесс



выпуска кокса П. А. Судья назвал красиво: «полноводный поток». Те, кто видел этот процесс хоть однажды, не забудут его до конца своей жизни. Быть может, непрерывная, увлекающая вас логика этого могучего процесса и держит здесь людей, несмотря на всю тяжесть труда в цехе; быть может, именно она, во всем могуществе индустриальной силы, показывающей власть человека над стихиями, и создает таких больших патриотов своего дела из коксохимиков. Во всяком случае, инженеры коксохимии любят свое призвание поистине не меньше, чем поэт или художник свое.

Мы обходим сперва одну сторону батареи с зияющим красным сиянием отверстием открытой печи. Медленно подплывает к нему гигантский хобот; сейчас он войдет в это отверстие и вытолкнет наружу, с другой стороны батареи, спекшийся коксовый пирог. Мы спешим на другую сторону батареи. Свистя, подвозит паровоз к печной дверке свой состав с платформами. Вот на одну из этих платформ пошел пирог — огромные куски раскаленного, прозрачного кокса, отваливающиеся, опоражнивая нутро печи, прозрачно-алым, как мармелад, куском. Кончено. Свистя, паровоз отошел дальше, подставив пустую платформу под следующую печь, — и опять опоражнивается печь раскаленными алыми кусками кокса, и так — подряд, от печи к печи. А наверху в беснующееся пламя уже вбрасывается новый уголь, и люковые, как тени Вальпургиевой ночи у костра, танцуют там у крышек люков. Идет кокс, он будет идти круглосуточно, полноводным малиновым потоком.

Знакомимся с лучшей молодежью цеха — мотористом Овчинниковым, машинистом Балко. Стройная, молоденькая женщина подходит к нам. Это замечательный машинист Мария Васильевна Букарева. Ее лицо в пятнах копоти, губы почернели, зубы блестят в черных губах, как мелкий рассыпной жемчуг. Трудно пришлось Марии Васильевне в годы войны: пятилетний ребенок на руках, муж на фронте. По доверчивому, теплому взгляду, каким она глядит на своего начальника, мы поняли, сколько большой человеческой помощи было оказано ей в нелегком ее труде, тут, на батареях.



Начальник цеха работает в коксохимии уже двадцать лет, из них он только третий год на Магнитке, но рабочие свыклись с ним, любят его плотную фигуру, его детский голос и внимательный взгляд из-под бровей, словно жили и работали с ним десятки лет. Да и то сказать, каждый год в этом цехе стоит нескольких лет в другом.

Здесь, между прочим, мы увидели характерную для Магнитогорска особенность — большое значение партийности самого командного состава цеха. Когда начальник цеха «настоящий, хороший партиец», как говорят о нем в горкоме партии, то воспитательная работа в цехе, большие политические вопросы, нужное и важное внимание к быту, к условиям производства, к семейной стороне, к душевному состоянию рабочих — все это находит огромную поддержку, находит разъяснителя, истолкователя, воспитателя и помощника в самом начальнике цеха.

...Стоп. Петра Александровича отзывает порядок дня. Время — к пяти часам. Сейчас дойдет до них стрелка. И начнется обязательный, обычный ежедневный рапорт начальника цеха главному инженеру. Мы жмем теплую ладонь коксохимика и сердечно прощаемся с цехом, лучшим, хотя и тяжелейшим из всех цехов Магнитогорска.

#### ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Главная черта этого города-завода — непрерывный рост; главная особенность при планировании его бытовых, производственных, культурных нужд — это непрерывное изменение между вчерашним, сегодняшним и завтрашним днем. Магнитогорск всегда строится. Если армия его производственников (горняков, доменщиков, мартеновцев, прокатчиков) имеет своих кадровиков, стремится стать «стационарной», то и армия его строителей (каменщиков, арматурщиков, плотников, монтажников и пр.) также имеет своих кадровиков со дня первого заложенного здесь камня и также стремится стать стационарной.

Рядом с газетами Магнитогорска — «Магнитогорский



рабочий» и «Магнитогорский металл» — много лет постоянно издается и газета магнитогорских строителей «Магнитострой».

Семнадцать лет, как возник город, верней — завод вырос в город, а все еще термин «Магнитострой» живет здесь и здравствует как нечто перманентное, бессмертное, обязательное. За годы войны строились домны, перестраивалась прокатка, выросли новые коксохимические батареи; за годы войны от завода через пустырь и рытвины в соцгородок, к которому на трамвае надо ехать кружным, обходным путем несколько километров, пролегла широкая и красивая трасса будущего «Пушкинского проспекта», и уже зашумели деревья сквера, приподнялись тротуары на этой прямой и изящной трассе. Кажется, в самое бытие Магнитогорска вошла необходимость строиться, может быть потому, что город — молод (ребенок по возрасту) и в этой своей возрастной стадии главное дело его — это именно расти, вырастать из своего платья, с каким бы запасом ни шилось это платье в расчете на рост.

Вот отсюда, из этого непрерывного вырастания (увеличивается производственная мощность, увеличивается население), и происходят некоторые курьезы магнитогорской статистики: если за время войны каждый второй выстрел, выпущенный на наших фронтах, был выстрелом из магнитогорской стали, то в эти же годы жилищный кризис в Магнитогорске дошел до крайних пределов. Ясно, что с жилищем здесь создалось положение нетерпимое. И через три дня после окончания войны с Германией, 11 мая 1945 года, правительство постановило: Магнитогорск до конца года на одном только правом берегу Урала должен построить 65 000 квадратных метров жилой площади, в том числе 500 индивидуальных домов для рабочих. Кроме того, сам комбинат обязался своими средствами, уже на левом берегу (где расположен город), построить 200 индивидуальных домов.

Посмотрим же, как справляются магнитогорцы с постановлением правительства.

Прежде всего — о строительных кадрах. Казалось бы, именно в этом отношении Магнитогорску должно



было быть очень легко,— свой многолетний строительный опыт, своя стационарная армия! Но именно здесь и пролегла основная трудность. Магнитогорские строители, быть может первые во всем нашем Союзе, вынуждены были решить и решили очень нелегкую задачу: переход с военного строительства на мирное. Для магнитогорских строителей «военными» были скоростные стройки промышленных объектов. Нужно было, например, в годы войны скорейшими путями воздвигать две домны. На первый взгляд домну построить куда труднее, чем дом. Но промышленное строительство для магнитогорцев — проще и легче гражданского: огромную роль в нем играет арматура и бетон; кладка единообразна; строительные операции расчленены, механизированы, облегчены машинами; магнитогорцы уже накопили опыт этихстроек; многие процессы на них стали поточными; одна группа строителей делала свое дело, ясное и простое по объему; другая группа — свое, и в целом была в такой стройке легкая и единообразная последовательность. А кроме того, оплата была высокая, стимулирующая. И магнитогорцы любили свои большие стройки, расщепленные на логические звенья многих трудных, но уже привычных операций.

А тут изволь переходить на гражданское строительство, на дома, где каждый рабочий сразу должен был раздвинуть рамки своих операций, потерять помощь облегчающей механизации, отвыкнуть от узкой строительной площадки, где снуют краны, бегут вагоны, летят транспортеры, где все движется, подается тебе в руку,— и очутиться на необъятных площадях с плохими дорогами, недостающим транспортом, недостатчей и неподачей то того, то другого... Простое гражданское строительство оказалось и гораздо сложнее и труднее в работе, и гораздо требовательней к человеку, к его смекалке, находчивости, инициативе, и гораздо тяжелее из-за отсутствия навыков.

Вот в таком положении почувствовали себя кадры перед своими стройками; и в таком положении очутились руководители жилищного строительства перед своими кадрами. К задаче построить дома прибавилась другая, первейшая, важная: научить людей, строив-



ших домны, с таким же умением и желанием, так же охотно и быстро переключиться на строительство простых жилых домов, с каким они много лет строили домны

Надо прямо сказать: решение этой задачи не только делает честь магнитогорцам, но и должно быть широко популяризировано и учтено другими стройками.

Была проведена работа в двух направлениях. Во-первых, огромная агитационная работа. Созван общегородской актив, на котором обсудили катастрофическое положение с жильем. В печати, в выступлениях, в беседах со строителями освещено и проанализировано гигантское значение жилищного строительства на комбинате. Дальше так нельзя, — рабочий должен получить свое, отличное жилье. И с тою же силой и красноречием, с какими раньше поднимались и внедрялись в сознание значение и вес промышленной стройки, стала освещаться и окружаться почетом задача рабочего жилищного строительства. Во-вторых, одновременно с агитационной работой лихорадочно искала инженерная мысль все пути и выходы, какими гражданскую стройку можно было бы сблизить и сроднить с промышленной стройкой, уподобить друг другу их методы и технологию.

Поискам этим помогали не только забота о «перевоспитании психологии» строителя, не только желание облегчить и ускорить процесс строительства, сделать его по возможности таким же легким и культурным, как на промышленных стройках, но и нехватка строительных материалов: дерева, кирпича, блоков. Чем их заменить? Как их заменить? И нельзя ли заменить их таким материалом, который по самому существу своему близок к промышленному материалу, скажем к бетону?

В Магнитогорске на жилищных стройках уже употреблялись шлакобетонные блоки, то есть те же кирпичи, но только гораздо большего размера. Но они хотя и ускоряли процесс укладки, но все же не изменяли метода строительства, оставшегося таким же, как при обыкновенных кирпичных домах.

Магнитогорцы пошли дальше. А почему собственно надо отливать блоки, каждый отдельный блок, а потом



их укладывать друг на друга? Не проще ли сразу отлить весь дом так, как отливается отдельный блок? Для этого нужна лишь деревянная форма, опалубка, в которую можно было бы заливать шлакобетон, и домик будет готов со скоростью отдельного звена.

Был объявлен конкурс на лучшую разборную опалубку для дома, такую, чтобы ее легко было собрать и разобрать; чтоб не было в ней ни одной лишней части и чтоб по весу с ней не трудно было справиться каждому отдельному рабочему. На конкурс отозвались многие. С поправками и доработками опалубка стала фактом. Потом стали фактом удобный и дешевый транспортер «Ленинец», подающий снизу наверх бетон, свой шлакобетонный завод; свои мелкие подсобные механизмы.

Но чем реальнее становилась материальная сторона стройки, тем естественнее и как бы «сама собой» ее организационная сторона стала приближаться к промышленной. Именно существо нового строительства (набивной или заливной шлакобетон) подсказало и даже потребовало применения к такой стройке **п о т о ч н о г о м е т о д а**.

В самом деле, операции сами собой расчленились на простейшие: рытье котлована под фундамент, закладку фундамента, установку опалубки, заливку опалубки шлакобетоном, возведение крыши; плотничьи, стекольные, слесарные, печные доделки. Каждую операцию закрепила за собой определенная группа рабочих.

Создан был график ступенчато-поточного выполнения работ. Землекопы, вырыв один котлован, переходили на рытье другого, а в это время на первом закладывали фундамент; землекопы роют третий котлован; фундамент закладывается на втором; а на первом уже собирается опалубка для стен; землекопы перешли к четвертому, фундаментщики — к третьему, опалубщики — ко второму, а на первом уже бежит лента транспортера снизу наверх, неся шлакобетон, сдобренный «изюмом», как тут говорят, то есть кирпичным боем и щебнем, и рабочие набивают им опалубку...

Так длинной лентой конвейера один за другим вы-



растают дома с точным графиком срока: двадцать четыре рабочих дня на двухквартирный дом. И так как всех операций постройки дома — одиннадцать, то длина ступени этого необычного конвейера — около двух рабочих дней. Каждые два дня, как гриб на прогалинке, вырастает новенький дом.

В организации этого строительного потока огромную роль сыграли техническое руководство не по «объекту» целиком, а по отдельным видам работ всего конвейера; строгое соблюдение очередности; строгое выполнение всех подготовительных работ для каждой операции; сдача мастером своей законченной «операции» последующему мастеру, который проверяет ее качество и расписывается в ее приемке.

Вот эта ясная, логическая, взаимообусловленная зависимость, этот переходящий график, где каждый последующий оператор контролирует и принимает предыдущего, эта почти заводская поточность увлекли магнитогорских строителей, облегчили для них гражданскую стройку. И уже сейчас, когда я пишу это, ясно, что постановление правительства будет выполнено в срок.

Но невольно спрашиваешь себя: не безобразен ли вид этих шлакобетонных домов, не испортят ли они правобережный город? И тут, мне думается, очень помогло магнитогорским строителям исключительное изящество одного из кварталов правобережного города, начатого строительством в годы войны. Ленинградские талантливые архитекторы — члены-корреспонденты Академии архитектуры А. А. Оль, Е. А. Левинсон и Г. А. Симонов, приехав в Магнитогорск, спроектировали этот квартал, один из прелестнейших в нашем Союзе, а магнитогорский инженер В. Н. Врядий увлекся их мыслями и творчески поработал над их осуществлением. Простые, типа «коттеджей», дома, гармоничные в пропорциях, любопытно облицованы постелистым, рваным камнем (или плитняком, как его тут зовут), впаянным или вштукатуренным ребрами наружу в их стены. Эта оригинальная отделка, вместе с красивым архитектурным железобетоном (наличники, карнизы и т. д.) и необычной «черепицей» на скатных по-дачному крышах



(из деревянной выгнутой фанеры), производит удивительно стильное, художественно-увлекательное впечатление, воспитывает вкус, повышает архитектурный вес всего правобережья и неизбежно влияет и на соседнее поточное строительство. При всей своей дешевизне и скорости это поточное строительство тоже хочет соблюсти хотя бы минимум изящества. Шлаконабивные домики не однотипны по форме, ярко окрашиваются в разные цвета и разрисовываются по фасаду более или менее удачно украинским и белорусским вышивочным орнаментом. Это лишь сейчас начали делать, и мы от души желаем, чтоб разрисовка производилась со вкусом, под контролем подлинного художника.

Главный инженер «Магнитостроя» М. Я. Гуревич, работающий в Магнитогорске со дня возникновения города, неумоимо ходит с нами по своей стройке, указывая на вылупливающиеся из конвейерного потока домики-«яички», чистенькие, цветные, раскиданные по зелени будущей улицы. В некоторых уже живут. Вечный ветер Магнитогорска гуляет по городу, гонит тяжелые свинцово-ртутные волны «уральского моря» на топкий здесь берег. Это Урал, запруженный на большое пространство, превратился в необъятный водный простор.

Уже вечер. Тяжелое, черное облако газа и копоти висит над комбинатом, зажигаются огни. В новом Некрасовском поселке левобережья, где комбинат субсидирует индивидуальное строительство двухсот рабочих домов, мы видим совсем молодую рабочую семью: он и она лет по семнадцати, братишка, сестренка, мать — все строят в этот воскресный день собственный домик, месят глину, кладут кирпич за кирпичом. Строят любовно и счастливо, — но сколько дней пойдет на такую постройку!

Шлак, доменный, угольный, всякий, — все больше становится строительным материалом, все больше оттесняет кирпич. И нам думается: в восстанавливаемых промышленных центрах шлаконабивные домики «Магнитостроя» займут почетное место, помогут как можно скорее справиться с острой нехваткой жилищ для рабочих.



I

Начальник Южно-Уральской железной дороги и директор Магнитогорского комбината подписали договор. Та и другая стороны обязались сделать все, чтобы решительно устранить недостатки в работе транспорта.

И вот прошло полгода. Магнитогорск приблизился к своему юбилею — пятнадцать лет существования города-подростка, но подростка-гиганта, подростка-великана. А нелады и неприятности у дороги с комбинатом еще не изжиты, грозят испортить юбилей. То в челябинской гостинице мелькнет быстрый силуэт приезжего из комбината инженера, — он тут с претензиями к управлению дороги, с жалобой на невыполнение договора; то в магнитогорской гостинице тяжелой поступью пройдет железнодорожник, — он приехал из управления с претензиями к комбинату на невыполнение договора. Послушаешь каждого — каждый прав. Поглядишь в ведомости, в таблицы простоев — увидишь, что у комбината простоев нет, наоборот, при норме простоя в шестнадцать часов вагоны простаивают на четыре часа меньше нормы!

Но попробуем при таком видимом благополучии слегка, как это часто делает человек во сне, оттолкнуться ногой от земли, поджать ноги и плавно полететь над цехами и дворами необозримого Магнитогорского комбината, полететь — опять же как во сне — молчаливыми невидимками.

Расступаются стены, потолки и крыши. Лежат перед нами огромные связки проволоки, лежат до потолка, заваливая коридоры, площадки, — это уже знакомый нам проволочно-штрипсовый цех. Какое обилие продукции, почему так много ее? Машины тянут и тянут проволоку, механизмы сворачивают и сворачивают ее мотком, а под стальным полом машина захватывает и захватывает этот моток и выбрасывает его еще горячим, еще розовым, как груда обмытых дождевых червей, в общую кучу, и куча растет... а выхода ей из цеха нет,



Но дальше отсюда. Вот новый цех, сортопрокатный, вот дворик, лестница, земля — и всюду валяется серый прокатанный металл, тронутый той пепельной сединой, какая покрывает прокатку при остывании. Сколько его! Груды геометрических фигур, балок, брусков, опять до потолка, до дверей, до окон, — все забито металлом. Оказывается, тут скопились десятки тысяч тонн металла, который должны были вывезти, должны были дать Юго-Западу на восстановительные работы. А вместо этого груды металла растут тут, на Магнитке, образуя новый горный хребет рядом с убывающей горой Атач.

Значит, не все ладно, хотя и в отчетах и в ведомостях каждая из спорящих сторон права. Значит, «защит» все-таки Магнитогорский узел. Что же происходит с ним? И как разобраться, где причина появления этих растущих груд не отправленного по назначению металла?

Узел — хорошее и образное выражение, особенно если представить его себе наглядно как десяток связанных воедино ниток... Ни одна из этих ниток в отдельности не образует узла, но каждая вносит в узел свою особенность, свое материальное бытие. В сложной и живой проблеме магнитогорского транспорта мы не станем, по старой привычке, разрезать узел ножницами, а попробуем высвободить каждую ниточку в отдельности и выслушать ее собственную одинокую «мелодию», ее отдельную, изолированную правоту. Быть может, ответ на вопрос, что происходит с Магнитогорским узлом, сам собой станет ясен из суммы этих отдельных правд, а попутно уже наверняка станет ясно другое: картина очень трудных в условиях послевоенного времени, но имеющих большое и яркое будущее взаимоотношений между нашей дорогой и нашей промышленностью.

## II

Девять часов утра. Длинная, почти голая комната в Магнитогорском горкоме. За стеклом бьется пыль, гонимая отчаянным ветром. Хозяин комнаты — заместитель секретаря по транспорту Александр Ильич Горщ-



ков — оглядывается, все ли готово к беседе. Из коридора вносят и вносят стулья, и полукруг пустых стульев — словно полукруг живых людей, расщепленных ниточек «узла». Сейчас сюда придут представители комбината, хозяйственники и партийные работники; придут представители дороги, тоже хозяйственники и партийные работники. Без гудка, без рельсов, без обычного станционного пейзажа войдет сюда станция Сортировочная — это комбинат; и напротив нее сядет станция Магнитогорск — это дорога. У каждой из них свои парки, свои составы, свои работники, свои проблемы, свои узкие места... И они соберутся здесь вместе, лицом к лицу, быть может впервые за долгое время, ругнут друг друга открыто, так, как ругали за глаза, и услышат прямые ответы.

Кто придет первый? Дверь стукнула, мы обернулись. Но первым вошел не транспортник. Первым вошел человек в военной форме и в запыленных сапогах, озабоченный, хмурый. Увидя полукруг пустых стульев, он пожал плечами и дисциплинированно уселся в сторонке возле окна, решив, повидимому, «переждать заседание», как терпеливые люди переживают под воротами дождик.

Вскоре наполнилась комната, и беседу повел Александр Ильич. Нужно было объяснить мне, приезжему человеку, общее положение вещей. Что такое Магнитогорск для страны — это все знают и понимают. Что он такое для Южно-Уральской дороги — это очень весомый процент грузового потока. А что такое Магнитогорск в своем внутривозовском транспорте, то есть в процессе подачи руды, кокса на домну и прочих грузовых операций, непрерывно совершаемых на территории комбината, — это даже представить себе трудно: обрачиваемость вагонов и груза внутри самого завода больше, чем у всей Южно-Уральской дороги, вместе взятой. Вот какое место занимает транспорт в жизни Магнитогорска!

Раньше, во время войны, трудностей с транспортом тут было меньше, чем сейчас, в первые послевоенные месяцы. Почему? Да потому, что Магнитогорск отправлял на оборонные заводы Урала и Сибири военную



сталь во всех имеющихся у него вагонах — на угольных, на вертушках, на кольцевых, зная, что все эти вагоны идут недалеко, в свои места, и во-время возвратятся назад. А сейчас и груз и маршруты изменились, идут они в места как бы «чужие», далекие, откуда вагону назад никак не вернуться: Магнитогорск стал делать товарную сталь и посылать ее на восстановление за тысячи километров — к южанам, на Юго-Запад. Дорога поэтому не позволяет ему грузить металл во все вагоны, а только в так называемые «одиночные». О них так прямо и говорят — «невозвратные». Эти одиночные вагоны уходят, уходят, уходят, парк все редееет и редееет, а дорога новыми обеспечивает плохо...

Здесь, слегка откашлявшись, Александр Ильич замедлил свой эпический рассказ и положил передо мною красноречивую колонку цифр. Несколько августовских дней. За эти несколько августовских дней по плану надо было погрузить 2907 вагонов, а фактически было погружено всего 1953 вагона. Причина: недодача дорогой ежедневно нескольких десятков вагонов.

Но можно ли винить только одну дорогу в том, что она недодает вагонов? Война лишь недавно окончилась, парк до крайности изношен, нового производства почти не было; казалось бы, при таком дефиците каждый вагон должен стать в глазах транспортника драгоценностью, предметом особой, бережливой заботы. А что делает с вагонами, с драгоценными, недостающими вагонами Магнитогорский комбинат?

Прокатные цехи при погрузке систематически ломают у вагонов подпольные брусья (в июле поломали их у тридцати восьми вагонов, в начале августа — у семи).

Кажется, что воздух в комнате погустел, — не от табачного дыма! Хотя кое-кто и сворачивает газетную воронку, засыпая ее прямо из кармана крестьянским уральским табачком и вставляя этот аккуратный паке-тик острым концом в рот...

Посмотрим на карту области. Магнитогорск в стороне, в тупике, почти на самой границе — конечная станция. Паровозным парком для пассажирского движения руководит большая станция Троицк, лежащая



на узле трех направлений, а паровозами для грузового движения ведает станция Қарталы, лежащая на узле четырех направлений. Это значит, что Магнитогорск обслуживают и при проходе грузовых эшелонов и при отходе их — қарталынские паровозы. Как же помогает станция Қарталы большому жизненно важному нерву всего нашего Союза, городу-заводу Магнитогорску?

Она отправляет к нему длинный поезд в двойном составе, толкая его двумя паровозами. Но, не доезжая до станции Магнитогорск, один из этих двух паровозов отрывается от состава, предоставляет своему товарищу в одиночестве дотолкнуть длинную цепь вагонов, а сам — порожняком, весело посвистывая, — мчится домой в Қарталы. На языке железнодорожников это называется «отправлять паровозы резервом». Қарталы этим облегчают себе положение, у них оказывается много «порожних» паровозов, а вот Магнитку, которой они дают вагонов вдвое больше, чем может взять один дотащивший их паровоз, они этим «зашивают»; Магнитка с одним паровозом уже не вывезет всего груженого состава.

Так понемногу, с разных сторон, складывается невеселая картина: из неподачи дорогою вагонов, из недодачи Қарталами паровозов, из порчи вагонов при небрежной погрузке на самом комбинате — и возникает «плохая работа» магнитогорского транспортного узла.

До сих пор присутствовавшие сидели молча. Они слушали про общее положение узла. Но вот встал высокий, тонкий рыжий человек. Посмотришь на него, и с первого взгляда — скрипач, настоящий скрипач: нервные руки музыканта, чересчур длинные; рыжая, вся в кудрях голова, голубые глаза эмалевой прочной голубизны; и голос, когда он заговорил, с той скользящей, как на препятствии, буквой «р», которую мы называем «грассированием», а еще проще — «картавостью». Но и тут же это впечатление решительно вытесняется другим: не скрипач, а типичный железнодорожник. Ничем конкретным нельзя объяснить вот это безошибочное впечатление, заставляющее отгадывать транспортника в самом необычном на первый взгляд человеке, без формы, без внешних каких-нибудь признаков. В чем



типичное? Быть может, в характере работы, в этих красноватых от бессонницы белках, в этих сапогах, выдавших виды, в этой худощавости человека, постояннодвигающегося по запутанным, многообразным, разбросанным цехам особого железнодорожного хозяйства, двигающегося всегда торопливо, но всегда спокойно и без суеты; в этом постоянном чувстве длины, чувстве расстояния, соединенном с постоянным ощущением узости пространства, узости «железной дороги»? Но как бы то ни было, а Кушнер, заместитель начальника управления железнодорожного транспорта Магнитогорского металлургического комбината, — при всей его музыкальной внешности и длинном титуле — стоит перед нами типичным железнодорожником, защищая интересы комбината, вернее сказать, транспорта комбината.

— Что нам мешает в работе? — говорит Кушнер. — Завод, как вам известно, построен. А заводской транспорт не построен. Всего-навсего построено на шестьдесят пять процентов по основному проекту, остальные тридцать пять процентов — это постройки временные, сделанные кое-как. Представляете, какая это большая для нас беда? На путях у нас очень тесно, развернуться не можем, ежедневно погрузку-выгрузку делаем нескольких тысяч вагонов, а на комбинате временные пути, неприспособленные, это мешает создать организованное движение, ведет к хаосу. Возьмите, например, обслуживание доменных печей. Мы их обслуживали через стрелку, а по плану надо иметь кольцо. Со станции Бункерная на станцию Кольцевая должна быть построена эстакада, есть на это приказ Магнитострою. А он не делает. Представляете, что творится на Бункерной; там одновременно три поезда выгружаются, и порошники мешают работать встречным. Первая наша беда — недостройка транспорта. Вторая беда — Южно-Уральская не желает выполнять договор. Вместо нормы — шлет как когда. Вот и скопились у нас десятки тысяч тонн металла и чугуна. Девать некуда, складов не хватает, и прокатные станы вынуждены из-за этого протаивать сменами.

Кушнер сел. Ему в ответ заговорил худенький секретарь Магнитогорского узлового парткома Южно-Ураль-



ской железной дороги Новокрещенов Василий Иванович. Заговорил с улыбкой человека, словно думающего про себя: «Да ведь, братец, Южно-Уральская сама вагоны не рождает. Она их тоже от МПС получает! И какими только их получает она!»

— У нас пункт осмотра вагонного депо плохо работает. К нам, товарищ Кушнер, идет много вагонов порожняка, — но какой порожняка? Много вагонов разбитых, требующих ремонта, а мы не справляемся. У нас плохо с кадрами — недоукомплектовано восемьдесят человек, остальные подготовлены слабо, у нас запасных частей нет. Работу мы среди наших людей ведем. Что можно сделать нам в помощь? Забросить сюда побольше запчастей, буферные стаканы, резиновые рукава, лесоматериалы, да и людей не плохо бы.

Заговорил секретарь парторганизации станции Магнитогорск Ионов.

Он говорил долго: о работе агитколлективов, о замечательных людях транспорта, о молодом мастере паровозного депо комсомольце Лабетском, о начальнике станции Коксо-сортировка Быкове, — но главное — о работе с людьми на линии и о том, как трудно вести эту работу. Мы невольно представили себе необъятное поле действия: тридцать километров, с разбросанными то там, то сям двумя десятками станций, весь этот мир высокой заводской техники, который связывается, как ленточкой, продетой сквозь ажур, колеями железной дороги. Вот у горы Атач, из могучего ее чрева, из матери-земли, грузится руда; вот она бежит по транспортеру в агломерацию, в обогащение; вот она плавится в домнах, стекает из мартенов в высокие изложницы, ложится под прокатку, стонет под блюмингом, вытягивается, выбрасывается на склады, охлаждается, — и все это делают производственные цехи, и в каждом производственном цехе есть своя первичная партийная организация, знающая, воспитывающая,двигающая человека. Но руда бежит по рельсам, кокс бежит по рельсам, известняк бежит по рельсам, шлак, материалы, продукция — все это бежит по рельсам, и эти бесконечные рельсы — это один цех, транспортный и люди этого цеха, разбросанные на тридцать километров, работаю-



щие то днем, то ночью, имеют только одну свою первичную партийную организацию, потому что они представляют собою только один цех. Как же на отлете должны чувствовать себя эти люди и как на отлете от этих людей должно чувствовать себя партийное руководство!

Задумавшись, мы не заметили, что кто-то настойчиво кашляет. Очень настойчиво. Не просто,— когда одолел кашель, а с некоторым нажимом, с некоторым напоминанием о себе, с выражением в кашле: «Извините, товарищи, но позволю себе...» Мы невольно подняли глаза и увидели человека, первым вошедшего сюда, о котором все позабыли. Он оказался инженером-строителем.

Жестом военного человека, скупым и решительным, инженер притянул свой стул от нейтрального окошка в самую гущу нашего полукруга, к столу Александра Ильича Горшкова.

— Инженер Грищенко,— коротко представился он,— имею приказ помочь развить узел.

Это оказался совсем не посторонний. Из всех, присутствующих на беседе; это был, пожалуй, самый нужный здесь человек, которому поручено было расширить Магнитогорский узел, а тем самым и в очень большой степени «распутать» его. От круглого, бритого лица его, чистых и зорких глаз, четкого голоса, четких, уверенных движений повеяло на всех нас волной счастливого оптимизма. А ведь в самом деле — какая статика, какая фиксация, какое «спокойно — снимаю» справедливо в нашей стране? Двигается и меняется поток жизни не по часам, а по секундам, накапливаются невидимо в любые часы и дни такие силы и обстоятельства, которые, глядишь, и все изменили сразу. Придут в изобилии вагоны, расширят узел, каждая служба на транспорте комбината получит свою парторганизацию, и это непременно будет, этому вовсе не трудно быть, это может случиться так скоро...

— Люди у меня обстрелянные, должны хорошо работать,— четко рапортовал Грищенко.— Помещение для строителей имеем, хотя не полностью. Немножко сами доделаем... Относительно материала — МПС не



обещает. Материал необходимо организовать на месте. Пока его нет, выполним земляные и подготовительные работы. Относительно возможного простоя: приму меры, чтобы простоя у нас не было. Работы вокруг сколько угодно.

Пока мы тут, в комнате, разговаривали, стучат колеса, бегут вагоны. В Магнитогорск едет бригада строителей, народ «обстрелянный». В воздухе запахло стройкой — свежим деревом, комыями земли, железным листом под дождем. Жаловались усталые люди на то, как много работы, с которой они еще не справились, не могут хорошо справиться, но вот надвинулась в комнату новая большая работа — строительство, а с нею, казалось бы, возни сколько и новых трудностей сколько. Тысячи людей едут, их надо устроить, накормить. А там — материал, его надо организовывать на месте, легко сказать — «организовывать материал на месте!» И вот — всем вдруг показалось, что стало не труднее, а легче. Новые материальные ценности на земле, вещи, в которых воплощен будет труд советского человека, именно они и помогут ответно: девять дополнительных станционных путей прибавятся к тем, которые уже есть; вода потечет по новым четырем с половиной километрам водонапорной линии; поднимется новое водоемное здание для питания паровозов; люди, работники транспорта, получают четыре новых жилых дома и одно общежитие. Тем и отлична советская наша логика борьбы с трудностями, что помощницей нам в этой борьбе выступает каждая новая одоленная трудность, каждое материальное воплощение затраченной энергии.

Хочешь, чтоб тебе помогли, — построй, поставь, создай, сотвори, тогда все построенное, поставленное, созданное, сотворенное поможет тебе, станет рядом с тобою, плечом к плечу, в одну шеренгу борьбы с трудностями!

Вот почему все мы сразу поняли, что с новой работой и заботой — в лице инженера Грищенко — Магнитогорску сразу делается легче.

Быть может, и не стоило так тщательно и так протокольно описывать один утренний августовский день в Магнитогорске. Ведь он уже давно прошел. Ведь изме-



нились обстоятельства. Ведь уже многое встало на другое место, и победительно вошла в наш быт новая пятилетка! Построены дробильная фабрика на руднике комбината, фабрика сульфидных руд, фабрика по агломерации сернистых руд; переложены заново две батареи в коксовом цехе. Прокатные станы автоматизированы; сортовые прокатные станы к концу пятилетки дадут продукции на 75 процентов, а мартеновские печи на 30 процентов больше по сравнению с 1940 годом,— победному движению их помогает расшитый Магнитогорский узел. Старых паровозов здесь больше нет, их заменили электровозы. Основные участки внутризаводского транспорта сейчас электрифицированы свыше чем на 75 км. А казалось бы, только вчера стоял осенний день за окном и я записывала наш разговор по душам в Магнитогорском горкоме... Но пусть живет этот августовский день, эта страница. На другом комбинате, в других местах он, может быть, еще держится, он, может быть, еще только наступает. И разобрать узел по ниточкам — всегда полезное дело, хотя бы даже в том случае, когда мы, аккуратные хозяева, хотим сохранить для домашних нужд лишнюю веревочку.

*Магнитогорск, 1945—1947.*



## ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДА

### I

Машина мчится по окраине Ленинграда.

Мгновенье — и красивый силуэт Нарвских ворот с рвущимися на них конями наплывает в окно, а за ним — железобетон Кировского райсовета, Дом культуры имени Горького... Мы проезжаем по историческим местам.

Здесь, у Нарвских ворот, царские палачи расстреливали в 1905 году рабочих.

Здесь Владимир Ильич, в домике Филиппова, проводил свои занятия.

С Выборгской стороны перешел сюда, под защиту путиловских рабочих, и провел последние свои заседания — свыше 30-ти лет назад — VI съезд партии. Он происходил в здании школы, на месте которой построен сейчас Дом культуры.

А в дни Отечественной войны в четырех с половиной километрах отсюда пролег фронт.

Немцы знали, где бьется сердце рабочего Ленинграда — Кировский завод, хоть и эвакуированный частично на восток, но продолжавший свою работу. Они били сюда упорно, били без передышки; на завод упало 9500 снарядов, бомб замедленного действия весом до тонны, и этот вихрь железа и огня словно стремился смети, выскрести, выжечь все вокруг. Били по старым улицам, Суворовской и Кутузовской, где «испокон века»



в деревянных домиках жили заводские рабочие,— сгорели эти домики все до одного. Те, кто уезжал, вернувшись, не застали и пепелища на месте родного жилья. Но гораздо страшнее были повреждения на самом заводе. Многие цехи обгорели, другие — совсем исчезли; сгорели прокатно-штамповочный, дерево модельный, старая кузня, рессорная; груды мусора и лома захлестили старый завод, построенный и без того тесно, по старинке, повернуться негде...

Жизнь теплилась только в одном цехе, где кировцы делали снаряды. Неотапливавшийся, ледяной, как снежный дворец из сказки, стоял этот цех под ливнем снарядов и бомб, и производство в нем не прекращалось.

На фронт — в добровольческую Кировскую дивизию — ушло двенадцать тысяч кировцев. Но и те, кто оставался на заводе, были на фронте, быть может более страшном, более обнаженном, более пристрелянном и открытом для прицельного огня, чем те, кто был в окопах. Из этих «остававшихся» умерло на рабочем месте, в цехах, 1876 человек от снарядов, от голода, иные — от мороза, они примерзали к своим станкам, но не отходили от них. Когда будут писать историю Ленинграда этих великих лет, припомнятся сотни и тысячи примеров верности кировцев своему заводу. Ежедневно, невзирая ни на мороз, ни на слабость, ни на бомбежку, ходили кировцы за двенадцать — пятнадцать километров на работу, ходили так, как если бы времена были самые мирные, и строгий табельщик, поглядывая на часы, записывал опоздавших. Работник завода С. Я. Зарубаев помнит, как однажды он стоял под воротами, прячась от обстрела, и увидел ползущего на живот старого рабочего Кукушкина Николая Васильевича:

— Я ему кричу: «Куда ты?» — а он отвечает: «Боюсь, на работу опоздаю», — и ползет. Он жив остался, Николай Васильевич, — около пяти десятков лет рабочего стажа у него!

Это было как будто еще вчера. Но целых три года прошло с того времени, как Ленинград проснулся свободным от блокады, а Кировский завод начал залечивать свои раны, нанесенные ему блокадой.



В сухой морозный день, вдыхая редкие колющие снежинки, едем мы на завод, а небо тронутو той розово-голубой бледной акварелью, которая бывает, когда устанавливаются на Неве крещенские морозы. И вот уже знакомые высокие ворота с проходною будкою, а за ними — необъятная заводская территория в пять квадратных километров.

Мы вступили на главный двор, где вокруг сквера высятся большие дома заводууправления, парткома, завкома и поликлиники, и не узнали эту площадку. Ни малейшего следа блокады не найдете вы здесь, словно и не вчера это было. Дома свежe выкрашены, нарядны, чинны; двор подметен, сквер запущен снегом. Как отдаленная историческая памятка, стоят в нем только два небольших дзота, хранимые с военного времени. Пройдя дальше, к заводским корпусам, можно было увидеть летом на месте бывлой мусорной кучи изящный цветничок, и не только цветничок: шевеля сквозною кроной, в центре его росла настоящая пальмочка. Эти пальмочки доставлены были сюда на самолетах. У завода сейчас прекрасная оранжерея, лучшая в Ленинграде, с автоматической регулировкой температуры, — и к весне тут будет до трехсот тысяч цветов...

Но дальше, дальше, — где бывшая захламленность? Нет ее. Чисто прибрана территория завода, и, больше того, — она «реконструирована». Начавши разбирать и очищать хлам, заводские работники остро и по-новому пережили старинную тесноту завода, с которой по привычке как-то мирились перед войною. Ведь Кировский завод — один из старейших у нас в Союзе, он возникал на небольшом пространстве, без заботы старых хозяев о благоустройстве, об удобстве для рабочих, о технической культуре, и, когда пришлось очищать знакомую старую заводскую площадку, как-то особо неприглядно выглянула освобожденная «теснота». Раз уже надо очищать, вывозить, наводить порядок, то, само собою, тянет сделать это с оглядом на будущее, с учетом своих сегодняшних больших потребностей и нужд. И вот из простого процесса расчистки выросла идея проспекта, нового, широкого, большого проспекта, пересекающего заводскую территорию из конца в конец — от залива



до улицы Стачек. Сейчас эта идея почти осуществлена: трасса проспекта готова, очень скоро она будет обсажена деревьями, заасфальтирована, цепочкой побегут вдоль нее белые шары фонарей.

Благоустройство заводской территории никогда не бывает только бытовым — оно теснейшим образом связано с нуждами производства. Победить тесноту на площадке — значит, решить проблему внутриводского транспорта. Едва родился проспект, с ним вместе резко упростился запутанный лабиринт проездов, создавалась возможность распрямить вертевшиися до этого волчком железнодорожные пути. И в результате упрощения и распрямления не только выгадано было время на внутриводские перевозки, ставшие более легкими и короткими, но и самые пути сократились на целых десять километров. Логика взаимосообщения стала проще и яснее, начал создаваться внутриводской транспортный поток, а он в свою очередь подсказал новое расширение «благоустройства»: необходимость проведения еще двух поперечных проспектов, которые и будут созданы в четвертую пятилетку. Так из насущного процесса расчистки заводских дворов после блокады родилась в сущности та необычайная действительность, о которой мечтал завод всю свою советскую жизнь, — перепланировка его на новой культурно-технической, вернее сказать, культурно-социалистической основе.

## II

Что удалось восстановить за эти три года? Тот самый наиболее уцелевший цех, в котором за время войны шла работа, служит сейчас своеобразной «единицей меры»: раньше он выделялся среди других как наименее разрушенный, а сейчас по сравнению с другими он кажется просто развалиной. Вырос на территории завода новый красавец — турбинный цех, уже выпущена в нем первая турбина, которую поставили под пар в юбилейные дни Ленинграда. Замечательная турбина! Она сможет поспорить с прославленным детищем



Ленинградского завода имени Сталина, так сложно было технически ее производство. Имена ее создателей — Л. А. Шубенко, В. И. Берг, И. А. Пыж, П. Е. Соловьев и другие — прибавились к прославленным именам кировских конструкторов. Заново сделан лопаточный цех, где производится холодная прокатка лопаток. Построен механический № 2. За один только истекший год на заводе поставлено 1100 станков, 35 электропечей, создано совершенно новое производство точного литого инструмента (с применением восковых моделей), — в будущем году оно выделится в новый самостоятельный цех.

Короче говоря, восстановлена почти вся горячая металлургия на Кировском, все прокатные станы, фасонно-стальное литье, 4 мартеновские печи (из бывших 5), и притом выработку фасонное литье дает большую, чем давало до войны. Восстановлен и штамповочно-кузнечный цех, заканчивается прессовый... Читателю было бы просто не под силу запомнить длинный ряд перечислений всего того, что сейчас восстановлено на Кировском заводе.

Но хотя и пишется слово «восстановлено», дело и здесь обстоит совершенно так, как с расчисткой заводских дворов. Вдумаемся в простую справку: при таком темпе восстановительных работ, явно требующем от завода большого напряжения и большой затраты сил, кировцы не только справились с годовой программой, но и сумели выпустить в 1946 году на пятнадцать миллионов рублей валовой продукции сверх плана, то есть дать на сорок восемь процентов больше, чем дали в 1945 году, и на семь с половиной процента больше, чем должны были по плану дать в 1946 году. При этом они одновременно снизили брак почти на один процент (от валового выпуска) по сравнению с прошлым годом и в снижении брака перекрыли собственный план. Перевыполнили они план и по другим показателям — по снижению себестоимости, по повышению производительности труда.

Что же это — мечта, сказка, чудо? Как это могло произойти? Здесь Кировский завод дает огромный и поучительный урок всей нашей промышленности.



Кировцы смогли перевыполнить программу потому, что они не просто восстанавливали старое, а восстанавливали, соревнуясь, реорганизуя, преобразая технику на новых передовых началах,— но при этом, соревнуясь, реорганизуя и преобразая, они не действовали стихийно и слепо, а сумели спланировать свою новую технику, вызвать к жизни именно то и там, что и где им было необходимо.

Завод начал с того, что каждому цеху предложено было обдумать, что именно он хочет у себя поставить и завести; из технических планов отдельных цехов встала ясная картина технического развития и обновления всего завода в целом. И она улеглась в четвертую пятилетку, согласованно и ясно «спланировавшись» в будущее.

Наши изобретатели и рационализаторы нередко жалуются, что их предложения годами лежат втуне. Между тем из семисот семидесяти рационализаторских предложений кировцев, сделанных за самое последнее время, уже осуществлено девяносто процентов. Почему? Потому что спланированная каждым цехом картина собственного технического развития ввела в плановое русло и рационализатора, устремив его творческое внимание не на изобретение вообще, а на то именно изобретение, которое заводу нужно.

Вот и получилось в итоге, что Кировский завод четко знает, к чему он придет: к концу пятилетки он будет выпускать продукции на сорок пять процентов больше, чем до войны; выработка отдельного рабочего будет вдвое больше, чем в 1946 году; при этом количество станков уменьшится на девять процентов против довоенного, и соответственно с этим уменьшатся и площадь под ними и потребное количество рабочих. В этих скупых цифрах дается очень резкая кривая технического прогресса, потому что увеличение выпуска продукции тут явно получается за счет возрастающей механизации

Но читатель пожалеет: все цифры, цифры, дайте материальные примеры! А вот и примеры. Под «более



высокой техникой» скрываются следующие завоевания завода.

Кировцы, в о - п е р в ы х, оснастили завод более мощными механизмами, чем довоенные. Взять хотя бы гидравлический пресс. Раньше был он у них тысячетонный, сейчас они установили и осваивают двухтысячетонный (вдвое больший!).

Кировцы, в о - в т о р ы х, не жалеют усилий для введения механизации на погрузке, разгрузке, вообще на тяжелых операциях, что, кстати сказать, стало у них возможно благодаря вышеописанному упорядочению внутризаводского транспорта. Чтобы грузить уголь для электростанции, раньше приходилось устраивать авралы, снимать с работы десятки людей. Сейчас установили два грейферных крана — и завод забыл даже слово «аврал», забыл про уголь, — беспокойный «гражданин уголь» стал на свою полочку и никому больше не мешает жить. На свалке литейных отходов ковырялось до сих пор пятьдесят человек. Рационализаторы предложили сделать для крана «магнитную шляпу». Сделали. Сейчас эта «шляпа» притягивает к себе, рыская по свалке, мелкий металл и стружки и сама несет их в мартеновскую печь, заменяя одна труд пятнадцати человек. И подобных примеров механизации множество.

Кировцы, в - т р е т ь и х, подняли технику производства в отдельных цехах на более высокую ступень. Возьмем хотя бы фасонно-сталелитейный цех. До войны формовка в нем делалась вручную. Сейчас восемьдесят процентов всего литья делается машинной формовкой. Или применение восковой модели при литье точного инструмента, дающее очень точный размер отливаемого предмета, при котором не требуется дополнительных обработок и доводок. Его предложили два кировских инженера-литейщика, товарищи Платонов и Католин. Или такой, казалось бы, консервативный цех, любящий соблюдать старую, кустарную традицию, — деревомоделный. Начальник его товарищ Варшавский, отбросив консервативную романтику, присущую работникам этого цеха (любовь к ручному труду как к искусству), построил универсальный фрезерный станок по дереву,



заменяющий труд десяти квалифицированных модельщиков. И, наконец, гордость завода, его образцовый цех — лекально-инструментальный. Лекальщик работает по кривым точным плоскостям вручную, сверяясь с шаблоном, и труд его требует многолетнего опыта, высокого мастерства, точного чутья и глаза. А сейчас уходит в предание многолетний навык лекальщика, сейчас ему в помощь даются три оптических копировально-шлифовальных станка, он кладет чертеж на стол, смотрит в лупу, двигает карандашом — и станок точно шлифует для него инструмент. Рабочие немало потрудились над применением станка к шлифовке кривых плоскостей. Ну, а много ли дает это новшество в лекально-инструментальном цехе? Судите сами: оно позволило пяти лучшим стахановцам цеха — Александрову, Козлову, Косареву, Леоновичу и Шалюхину — в честь выборов в Верховный Совет РСФСР выполнить за год трехгодовую программу (шагнуть на три года вперед), а пятнадцати другим инструментальщикам — закончить двухгодовую.

### III

Замечательны золотые кадры Кировского завода! Они понимают государственную необходимость и не бегут от трудностей. Между большими своими делами они сумели в трудное время снабжать Ленинград радиаторами, помогать трамваю, паровозным и вагоноремонтным заводам всего Союза своими отливками. В центре внимания нашей страны встал хлеб. И кировцы помогли сельскому хозяйству, выполняя заказы по запасным частям (для последнего из них пришлось построить специальный цех на сто двадцать станков), взяв шефство над Кингисеппским районом, электрифицировав четыре колхоза, построив Кошкинскую МТС и послав бригаду для ремонта в помощь МТС, отдав, наконец, три грузовика для переброски со станций 1600 тонн минеральных удобрений. Но все это, конечно, мелочи. И завод знает, что в трудную минуту, когда хлеб для государства решает все, а вопрос о хлебе решается



количеством механизмов на полях, иначе говоря, тракторами, отделаться от своего гражданского долга перед страной одной мелочью нельзя...

Помню, я пришла на одно из общезаводских партийных собраний. Оно происходило в цехе, самом большом застекленном цехе, которому конца-краю не видно было. От входа я шла к переднему ряду, чтобы было слышнее, шла, шла, — и казалось, в полчаса не дойду: так бесконечны были ряды скамей с сидевшими на них людьми. И какие это люди! Серьезные, вдумчивые, мужественные лица смотрели на меня, лица людей, перенесших самые тяжелые испытания, выпавшие на долю нашей страны, и не дрогнувших, не потерявшихся, не утративших свое тесное, могучее, всепобеждающее, слитное единство — партийное единство. С такими ничего не страшно. Такие все могут.

Казалось, и новый директор завода А. Л. Кизима, поднявшийся для доклада, почувствовал эту великую опору. Здесь были почетные, замечательные старики, такие, как Наум Яковлевич Берлин, начавший работать на Путиловском заводе мальчиком в мае 1880 года. Тут были представители знаменитой семьи Титовых, прославленной на весь Союз. Тут была горячая молодежь, инициаторы и создатели новых норм. Все возрасты и все национальности, — ведь Кировский завод гордится тем, что в рядах его тридцать четыре национальности, — были здесь собраны. Может ли такой коллектив отступить перед трудностями!

#### IV

Выйдем опять на оśnieженный проспект завода и зайдем в горячие цехи. Здесь вот уже много месяцев идет соревнование между сталеварами. Для тех из нас, кто был на Урале, радостна встреча со старым знакомым товарищем Валеевым. Но здесь он — не один богатырь. В конкурсе сталеваров Ленинграда на первое место в октябре 1946 года вышел Семенов, потом — Мурзич и Валеев.



Бронзовый гигант в ватнике и ватной шапке подходит к нам. Это Максим Кузьмич Мурзич. Лицо его словно вылеплено хорошим скульптором и обточено морем, светлоголубые глаза дышат спокойствием и добротой. Летом он жаловался на шихту, что подают ее неравномерно; сейчас шихтовый двор приведен в относительный порядок. И опять думаешь, глядя на Мурзича: какие кадры! Вот он пришел с фронта, где крушил немцев, а сейчас плавным движением руки, державшей винтовку, отряхивает мелкие бисеринки трудового пота с лица.

Прошло только три года. А уже опять стремительно растут люди, уже в полном разгаре соревнование, на передовую линию вышел завод, подняв всесоюзное движение за окончание программы второго года пятилетки к 30-летию Октября; и уже он выполнил ее, выйдя на первое место! Выдвинулись новые талантливые организаторы; около ста заводских работников защищают диссертации на научные темы... И все это — когда еще не стерты раны войны со стен Ленинграда. И все это — потому, что нет у кировцев человека, не захваченного техническим ростом самого завода за минувшие три года.

Очень тяжело на заводе с жильем, нелегко со снабжением, но и тут кировцам есть чем похвастать. Они придумали интересный прием передачи еще не выстроенных домов по цехам. Так, на заводе распределили по цехам триста пятьдесят комнат и сказали: закрепите их за рабочими, чтоб каждый знал, что у него будет комната, и чтоб помогал ее строить. Это дало поразительные результаты. Сорок человек из деревомоделного цеха заканчивают восстановление дома на Литейном. Рабочие турбинного цеха восстановили и заселили тридцать пять комнат по Дровяному переулку. Рабочие сборочного цеха сделали для строящегося дома, где они получают четырнадцать комнат, чугунные решетки для лестниц и балконов. Таких примеров много. Отлично поставили кировцы у себя огородничество. Они получили за него первую премию и переходящее знамя ВЦСПС. В эти короткие годы кировцы восстановили в Сиверской санаторий, создали лесную



школу для слабых детей. Мы выходим на площадь, которой будет присвоено имя Площади Танкистов.

В центре ее, на пятиметровом постаменте, стоит первый танк, изготовленный кировцами осенью 1943 года.

Тогда на нем стоял молодой парторг завода, сам по образованию конструктор, Н. М. Синев, привезший его с завода в Москву. Танк новой марки участвовал во всех решающих боях, он был в операции окружения Корсунь-Шевченковского, в прорыве на Шепетовку. А сейчас легкие, ласковые снежинки ложатся на приподнятый к небу, грозный, но молчаливый хобот его орудия.

На прощанье заглянем в славное конструкторское бюро. Здесь склонились над столами многочисленные инженеры-конструкторы. Тишина. А со стен коридора смотрят на нас изображения всех наших знаменитых танков, боевого советского оружия, прославившего гениальную советскую конструкторскую мысль.

И опять мы на площади, где в 1940 году, после финской войны, М. И. Калинин вручил заводу боевой орден Красного Знамени и где сегодняшний день завода как бы смыкается с его вчерашней славой.



## КОМПЛЕКСНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

### 1. В один июньский день...

За последние пятнадцать лет Баку превратился в один из прекраснейших городов нашего Союза. Вам хочется бродить в нем, как в огромном дворце, открывать для себя улицу за улицей, чинные новые кварталы, прямые и ровные, великолепные дома на углах улицы Шаумяна и Кировского проспекта, обдуманные комплексы площадей. В витринах выставлены последние архитектурные проекты бакинских зодчих. Разглядывая их, вы подмечаете черты того же своеобразного стиля,— изящество небольших форм, чувство умеренности и грации в пропорциях, нелюбовь к нарушению меры,—какой пленил вас в самом городе. Между проектами жилых домов-вилл, скажем Измаилова, и собранными силуэтами красивых маленьких павильонов в скверах несомненная родственная связь. И зелень — изобилие зелени! Двадцать лет назад ее почти не было в Баку. Сейчас она выращивается и охраняется; она умно выбрана: все разнообразие декоративных сортов из семейства уживающихся здесь ксерофитов, сухолюбивов,— крупные, яркие, фарфорово-плотные чашечки, бархатные, крепкие кроны, замшевые стволы. И настоящие рощицы пальм в скверах, шелестящие под ветром, как сотни шелковых знамен.

Но вот среди современных улиц — круглые контуры очень древней башни во всей ее суровой, почти цикло-



пической простоте. Вам кажется, что вы смотрите на старинную гравюру,— так чудесно четки ее очертания и ребра каждого ее кирпича, поседевшего от времени. Сделайте несколько шагов, обогните ее. Внезапно из самого центра Баку вы попадете в узкую улочку — такую узкую, что ослик с курджинами на спине едва пробирается по ней,— и вокруг вас словно видение из «Тысячи и одной ночи». Этому пространственному фокусу нет, кажется, равного нигде в мире: старый город — как тайник во дворце — незаметно вкраплен в самое сердце нового города; он прячется необыкновенно умело между новыми улицами; объемом он совсем невелик, прохожий все время помнит, что рядом — рукой подать — шумная городская бакинская жизнь с автомобилями, троллейбусами, автобусами, трамваями на широких магистралях, а между тем он блуждает в старом городе, как в лабиринте, ощущая свою полную беспомощность. Узкие улочки, бесконечные ходы и переходы, подъемы и спуски, маленькие странные площади-пятачки, неровные камни, по которым скользит нога, охватывают его, как сон, и новый человек может часами, часами переходить здесь из переуллка в переулок, избирать то одно, то другое направление и снова оказываться на уже пройденном месте, покуда не обратится, наконец, за помощью к местному жителю. Тот укажет ему незамеченный узкий поворот, в двух шагах за которыми — центр нового города.

Так привелось заблудиться и мне на два долгих часа, пока я не вышла на широкий простор магистрали. Справа, на высокой горе, встала знакомая, господствующая над всем городом статуя Сергея Мироновича Кирова работы скульптора Сабсая. Слева, над кудрявой зеленью, поднялась кружевная парашютная вышка. Повеяло легким морским бризом, он тронул волосы совсем не по-городскому, без пыли, мягко, отдохновенно. Яркожелтый куст дрока, весь, как огнем, усеянный цветами, слил свое благоуханье с воздухом моря, чудным запахом йода и соли. Засияла сквозь зелень яркая голубизна Каспия, в этот июньский день такая спокойная, простегнутая, как белыми стежками, легкими вскрылинями парусных лодочек. По-ку-



портному нарядно и радостно развернулась панорама набережной.

Но если б можно было подняться над этим взморьем, заглянуть за несколько километров, туда, где прозаически расположился товарный бакинский порт, или, вытянувшись длинной цепочкой, легла в постоянном своем напряжении бессонная станция Баку-товарная, или встали стены одного из старейших бакинских нефтеперегонных заводов, завода имени Андреева,— читатель мог бы подсмотреть в этом красавце-городе совсем другую сказку, в тысячу раз лучше сказок Шехеразады — одну из чудесных советских сказок нашей новой пяти-летки.

## 2. Славная традиция

Но чтобы понять, что произошло здесь нынешним летом, надо заглянуть несколько назад.

Бакинцы были у нас в числе первых, кто уже много лет как ввел комплексный метод работы над рационализацией, над изобретательством. Город сам представляет сложный комплекс; здесь — в тесном пространственном соседстве и тесной временной последовательности — происходят очень разные, но очень связанные друг с другом хозяйственные операции: добыча нефти, переработка ее, налив, транспортировка; здесь близко встречаются два вида транспорта — железнодорожная станция и порт. Комплексный метод,— такой, каким он был лет десять назад,— объединил на нефтебурении инженера, слесаря, бурового мастера и других работников разной квалификации и специальности, но одинаково заинтересованных в улучшении работы на буровой; и эти разные специалисты, рабочие рядом с инженерами, комплексно разрабатывали какой-нибудь рационализаторский прием. На выставке к 15-летию Азербайджана эти работы привлекли общее внимание новизною своей методики. Сейчас комплексный метод в Баку охватил большие соревнующиеся коллективы,— не однородные, как это обычно происходит у нас, когда, скажем, одно депо или одна дорога вызывает на соревнование другое депо или другую дорогу, а коллективы разнородные,



делающие совсем разную работу, связанную только последовательностью перехода от одной работы к другой, например: коллективы нефтеперегонщиков и железнодорожников; или железнодорожников, моряков в порту и нефтяников... Цель таких комплексных соревнований тоже не простая, а комплексная: добиться победы уже не тем только, чтобы один из этих коллективов блестяще справился со своей работой и перегнал другой, а тем, чтоб в результате точной, согласованной работы в с е х соревнующихся блестяще проходило выполнение плана по сдаче и доставке самого продукта. Если можно употребить сравнение из заводского мира, то такое комплексное соревнование разнородных коллективов как бы борется за высшую форму победы, за слитное действие всех сообща, то есть — за конвейер.

В передовице «Железнодорожника Азербайджана» 7 мая появились призывные слова: «Поможем колхозникам в борьбе за урожай 1947 года! Возродим комплексное соревнование бакинских, махачкалинских и красноводских железнодорожников, нефтяников и моряков!...» Эти слова опирались на славную традицию. Мы уже сказали, что они имели корни в прошлом. Но они имели свои корни и в самом недавнем прошлом, в первом году новой пятилетки, и об этом тоже надо рассказать читателю. Сделаем опять шаг назад, на этот раз не на много лет, а всего на несколько месяцев.

На станции Баку-товарная есть диспетчер Филипп Яныкин. Осенью 1946 года в Азербайджане уже знали, что он досрочно выполнил октябрьский план по перевозке нефтепродуктов.

Как это ему удалось?

В работе его многое — от фронта, от опыта, полученного нашими офицерами и солдатами в боях. Перед большой операцией солдат жметя к командиру, он хочет узнать до тонкости, до мелочей, что и как предстоит ему делать, знать свое место в наступающем бою.

Вот это желание твердо и ясно поставить перед каждым его конкретную задачу и создало успех Филиппа Яныкина. Он задолго до дежурства приходил на свой участок и узнавал, что на сегодня предвидится. Потом на утренней «планерке» (хорошее новое слово, созвуч-



ное утренней «зарядке» и означающее такое же приведение в порядок мозгового хозяйства, как приводятся в порядок физкультурой мускулы и кровообращение) он подробно рассказывал о предстоящей работе всем своим сотрудникам. Он — хозяин так называемой «единой смены», объединяющей работников всех служб. До начала дежурства основные члены этой смены, помощники, заведующие маневрами, составители, весовщики получали от него точный план задачи, которую каждый должен выполнить. А задача сложная: идут поезда, и надо знать, какой и когда придет с севера и с юга; надо знать, сколько есть вагонов и цистерн и на Баку-товарной, и на соседней, в Баладжарах. Надо созвониться с баладжарской промывочно-пропарочной станцией, где моют и приводят в порядок грязные цистерны, чтобы получить точные сведения: сколько и каких цистерн и под какие нефтепродукты готово.

Рассказывая о своей работе, Филипп Яныкин приводит пример: «Предположим, вырисовывается такая картина: смогу за дежурство налить и отправить поезда на север, на Кировабад и на Закавказскую железную дорогу. Казалось бы, мое дело ясно, свою часть работы я знаю. Но я ничего не сделаю, если так и остановлюсь на этом. Главное дело теперь — связаться с Главнефтеснабом. Сообщаю туда, что имею столько-то цистерн для таких-то направлений. Они тотчас начинают готовиться к наливу нефтепродуктов в эти направления и планируют своим работникам на эстакадах, что надо наливать перво-наперво».

Мы видим, что нерв всей работы Яныкина — это план, и план согласованный. Он держит тесную связь с пропарочной, с Главнефтеснабом. Согласовывает план Яныкин и внутри самой станции. На планерку, кроме коллектива единой смены, всегда приходят и вагонники. Они сообщают заведующему маневрами, какой мелкий ремонт на путях станций и какие отцепки требуются, — и тотчас же взамен цистерн, выбывающих на ремонт, Яныкин подбрасывает туда свежие цистерны из запаса.

Вагонники тоже прониклись выгодами «согласованного плана». Они, например, начинают осмотр прибывающих поездов с головы, чтоб по мере осмотра соста-



витель тут же мог отцепить группу вагонов и подать ее под налив.

Все эти разумные, обдуманые действия привели к тому, что у Яныкина состав не простаивал, налив шел непрерывно, отправление происходило точно, без задержек, а иногда, если путь свободен, даже и раньше срока. Яныкину помогали его передовики — составитель по подаче цистерн под налив Мухаммедов, составители Гусаков и Сибилев, сцепщики Фарзалиев и Самедов, весовщица Глазкова.

О работе Яныкина узнали на старом нефтеперегонном заводе, в комсомольской бригаде Мирзы Мирзоева. В конце октября Мирза Мирзоев написал Яныкину письмо. «Мы перерабатываем, вы развозите,— писал Мирзоев.— Операции разные, но цель одна. Давайте подружмся».

И Мирзоев поделился с Яныкиным особенностями своей работы. Казалось бы, ничего сложного. Тут, на нефтеперегонной установке, следи за правильным режимом, за временем, за температурой, чтоб дать нужную, «кондиционную» нефть. Но нефтеперегонная установка — механизм, он тоже требует ремонта, и мелкого и большого. И чтобы лучше овладеть своей установкой, узнать каприз и особенности механизма, у которого работает бригада, Мирза Мирзоев сам учился на ходу делать ремонт, а при плановопредупредительном ремонте вся его бригада «включалась в работу с ремонтниками». Что этим выигрывается? Полное знание своей установки и сокращение времени на ремонт.

Тут уже налицо та самая согласованность с другим коллективом, которая говорит душе Яныкина, знакома и близка ему. Когда Мирза Мирзоев поделился с ним опытом своей бригады, Яныкин подробно и охотно рассказал о своем.

Дружба нефтеперегонщиков с железнодорожниками перешла в дело. Они подписали договор на «досрочное выполнение плана первого года новой пятилетки». Обе стороны выполнили договор,— они закончили план раньше срока. Мирзоев дал 120 процентов бензина и 110 процентов светлых нефтепродуктов, а Яныкин от-



правил 528 цистерн сверх плана и на 26,1 процента перевыполнил отправку сухого груза.

Вот какую, еще молодую, правда, традицию заложил 1946 год у бакинцев, и об этой традиции вспомнил «Железнодорожник Азербайджана», призывая к новому комплексному соревнованию.

### 3. Цветы помогают

Читателю легко представить себе отдельные звенья этой цепи — моряков в порту, железнодорожников на станции, нефтеперегонщиков на заводе. Все это не только ведущие силы комплексного соревнования, но и сами они «на виду»: их не увидеть нельзя, понять их работу — нетрудно. Однако же в комплексном бакинском соревновании есть незаметный «винтик», без которого никак нельзя было бы добиться победы. Я упомянула выше о пропарочной станции, с которой держал связь Яныкин. Что это такое, пропарка?

Решающий груз на азербайджанской дороге — нефть, груз наливной. Для перевозки ее существует цистерна. Но продукты нефти неоднородны. От легкого авиационного бензина и легких масел: турбинного и трансформаторного, до тяжелых и тягучих масел: автола, мазута, — ассортимент самый разнокачественный. И цистерны для этих разных продуктов не одинаковы. Легкий бензин сливается из цистерны легко и без остатка, его не надо подгонять в самой цистерне. Но не так с мазутом: он вязнет, застаивается, его трудно слить, и для него делаются особые цистерны со специальными сливными приспособлениями.

А на станции спешка. А налив идет конвейером, непрерывно. И случается, что не хватает нужных цистерн, приходится подставлять то, что под рукой, тяжелый мазут, масла сливаются в предназначенные лишь для бензина, не имеющие сливных устройств цистерны.

Идет такая цистерна к месту назначения, а там ее не могут опорожнить до дна: трудно слить без остатка тяжелый и липкий мазут, — и назад приходит эта цистерна не только выпачканная продуктом, для которого



она не предназначена, но и с остатком мазута на дне, слить который очень трудно без сливного прибора. Спрашивается, куда же поступает вся эта грязная «посудина», ожидаемая нетерпеливо на всех эстакадах? Где приводят ее снова в годный вид? Это делается на пропарочной — большом и важном участке азербайджанского транспорта.

Мы ехали на этот участок, покинув пределы Баку, по сухой и песчаной земле, под жестоким летним солнцем. Вода кипела в радиаторе, и на мягком асфальте выдавливались следы. Ветер кидал навстречу пыль и колючий щебень. И вдруг — что-то зазеленело перед нами в ложбинке. На синем небе обрисовался силуэт полотна с цепочкой цистерн. Машина остановилась. Навстречу нам по цветущей садовой аллейке шел замечательный человек — один из интереснейших людей соревнования, начальник пропарочной станции инженер Григорий Давидович Бибилашвили. Он держал в руках садовые ножницы.

Восемь лет назад молодого инженера, только что кончившего институт, прислали сюда на работу. Бибилашвили, привыкший к влажному климату своей родины, к ее плодоносящей, зеленой земле, огляделся на новом месте, и сердце у него сжалось: ни деревца, ни травинки; желтый, мертвый песок, чуть не на метр в глубину пропитанный мазутом; раскаленное солнце; нигде ни кусочка тени; и что всего хуже — подул ветер, донесший невыносимое зловоние, от которого инженер побледнел: станция оказалась в двух шагах от бакинской бойни. Спутник его сказал виновато:

— Неприглядно, конечно; тут главная теперь задача людей удержат, люди бегут. Условия не радуют, ну и разбегается народ.

Подняв глаза, молодой начальник увидел, как несколько рабочих забились под цистерну — передохнуть в единственном месте, где была тень!

Удержат людей. Вот эта задача встала у Бибилашвили, быть может наперерез его собственной мимолетней мысли — уехать отсюда самому. Пропарочная отставала. Ежедневно она недодавала тридцать и больше процентов цистерн под бензин.



И Бибилашвили удержал людей. В те несколько лет, что он работает здесь, безлюдное место стало цветущим садом. В кабинете на столе у инженера множество всяких книг по сельскому хозяйству.

— Я сам никогда раньше этим делом не занимался и не знал его. Но мне было ясно: условия жизни должны радовать людей, чтоб они захотели остаться. Вон там — раскидистая ива в саду, а под ней скамейка, это я посадил в 1939 году, чтобы создать тень, место отдыха для рабочих. Я каждый день выходил сюда в свободные часы с лопатой. Никого не просил и тем более не заставлял. Сам копал. Надо признаться, каждый шаг заранее по книге готовил. Человек, если захочет, все может сделать. А земля — она удивительная вещь, она вам отвечает, она говорит с вами. Посадил — глядишь, выросло. И рабочие сами сюда пришли, помогать мне. Молча взяли кто за что. У нас сейчас на участке все необходимые специалисты есть; вон, глядите, поливает, спросите его, что растет вдоль дороги, он вам без запинки ответит: ионимус, легуструм...

В открытое окно струились запахи большого, настоящего сада. Земля щедро ответила Бибилашвили. У него полтора гектара огорода, гектар сада, инжир, тута, яблони, смородина, виноград, клубника, а вокруг — сосны, дрок, фисташка, лавр.

— Землю мы на руках сюда сносили вон с той горы, — продолжает инженер, указывая на соседние горы. — Все, что посеяно на этой земле, принадлежит рабочим. Ни одной клубники с гряды не берет никто, потому что вся до одной клубника поступает в рабочую столовую.

Мы прошли по светлому и удобному общежитию; в нем размещено двадцать три человека, основные кадры станции, главным образом промывальщики. Всех рабочих 150 человек, и остальным приходится ездить на работу из города. С гордостью провел нас инженер в красный уголок и медпункт, показал баню, душевую, механическую прачечную.

— Как вы достали эту машину? — спросили мы с завистью, когда увидели ловкую работу автомата-стиральщика, перетиравшего белье.



Бибилашвили улыбнулся. Он знает, что горячее желание осуществимо,— ищи, проси убедительно, ходи и настаивай, и те, кто может помочь, обязательно помогут, обязательно дадут. Это закон всякой человеческой настойчивости.

— Нам нужно расширить общежитие, по возможности всех рабочих сюда переселить,— говорит Бибилашвили,— и мы этого непременно добьемся. А людей хороших у нас много. Возьмите Каминского или Хачатурова или Алибабаева — опытные, ценные промывальщики, дело свое знают. Отметьте еще женщину, Каюмову. Сколько таких женщин сейчас на нашей советской земле! Муж — боец, на фронте погиб. Она у нас три специальности на производстве изучила: специалист по изоляции, штукатур, маляр. Ну, а с пропаркой у нас так обстоит: в мае выполнили сто тридцать два процента.

— Значит, замечательно?

— Ничего не замечательно! — резко отозвался Бибилашвили.— Раньше, правда, цистерны простаивали под пропаркой по четыре часа, а мы довели до трех часов шестнадцати минут. Но ведь норма-то положена — три часа! А мы отстаем на шестнадцать минут. Вот за эти шестнадцать минут бить нас надо.— Он вздохнул.— Причина? Причины, конечно, всегда бывают,— и тут он рассказал нам о том, с чего я начала эту главу: о присылке загрязненных цистерн, использованных не по назначению, о наличии в них большого остатка, который приходится сливать и тем задерживать работу пропарочной... Но «причина» эта еще не причина для собственного опоздания! Надо уложиться в три часа — и ясно стало для нас, что Бибилашвили в них уложится. Когда мы, уже под вечер, шли к машине, напоследок вдыхая дачную свежесть этого места, «на руках» принесенного с гор, начальник пропарочной успел нам поведать еще одну важную вещь. Не дело, конечно, работников пропарки обсуждать конструкцию цистерн. Но как тут не заметишь явного недостатка? Сливное устройство в цистернах, выпускаемых Мариупольским заводом, явно страдает дефектом. У них внутри цистерн



выпуклость очень высокая, она не дает полностью слить продукт.

— Не мешало бы мариупольцам продумать это дело,— заканчивает Бибилашвили беседу с нами.

#### 4. Дела и выводы

А что же моряки и железнодорожники? Призыв к комплексному соревнованию приблизил друг к другу далекие каспийские порты — Баку, Красноводск, Махач-Кала. Он кровно связал с портом железнодорожную станцию. Часто и тот и другая действовали вразброд, задерживали составы, не подавали во-время порожняк. Наперерез этим привычным «неполадкам» сверкнули, как лозунг, четыре слова: «борт-цистерна», «трюм-вагон».

Это означает, что промежуток между выгрузкой продукта из вагона на судно или из судна в вагон должен был быть сведен к минутам во времени и на локоть человеческой руки в пространстве: сразу, тотчас, последовательно, конвейером.

Как это сделать? В Махач-Кала работает маневровый диспетчер Георгий Моисеевич Лутцев. Он стал заблаговременно узнавать, какие танкеры подходят к порту, когда они придут и какую везут нефть. И тут же, заранее готовясь принять дорогих гостей «на локоть человеческой руки», то есть на расстояние, потребное для перелива нефти из трюма танкера в цистерну, бригада Лутцева вместе с пропарщиками в срок подводит в порт потребное количество цистерн нужного назначения. Метод Лутцева подхватили другие диспетчеры на каспийских станциях.

Бакинский порт был завален хлопком. Казалось, из хлопка месяцы не выберешься, как из нарастающего снежного кома. «Безобразие!» — беспомощно говорили одни. «Куда его денешь?» — разводили руками другие. Но станция Баку-товарная за семь майских дней сумела подать в порт сто вагонов сверх плана. Вышли вперед грузчики: бригада Садыха Салаева, бригада Ивана Малая. Вышли вперед крановщики порталных кранов: Искендерян, Чумаков. Дежурные по участку Ермилов и



Искевич приняли руководство над «скоростным методом», и перевалка хлопка пошла темпами, в два с половиной раза превышающими обычные. Не отстали весовщики в порту — за семь дней обработали вагонов на 197 процентов. И чисто стало — «смотрите-ка теперь, где хлопок!»

Комплексное соревнование захватило, казалось бы, самую «тыловую» организацию — Главнефтеснаб. Его дело — подавать нефть на эстакады, и она имела свои обычные планы подачи. Но вот диспетчер Главнефтеснаба Семенов узнал, что в Баку-товарная неожиданно пришел под налив в десять часов утра порожний состав, или, как говорят местные работники, порожний «нефтемаршрут». А ему было точно известно, что в час дня ожидается еще два таких же порожних состава. По плану Главнефтеснаба нефть подана на ближайшую эстакаду, и пришедший порожняк цистерн он должен подвести для налива именно на эту эстакаду. «Позвольте,— думает Семенов,— а как же те два, приходящие в час? Их ведь сегодня не успеешь налить, если придется подавать их на дальнюю эстакаду? Не лучше ли...» Тут у него ясно мелькнула мысль, что именно лучше; и он корректировал план, мгновенно снесся с Нефтеснабом, согласовал, успел сделать так, чтобы на дальнюю эстакаду во-время подали разнарядку и там подготовили нефть для налива, и передал первый пришедший состав с пустыми цистернами не на ближнюю, как было раньше запланировано, а на дальнюю эстакаду. Теперь путь был очищен, ближайшая эстакада свободна и готова для двух других составов,— и все три спокойно и организованно «пили» нефтепродукт, наполняясь у эстакад. И тем, что диспетчер Семенов не действовал слепо, как служащий старого мира, а проявил государственное чутье нового человека, социалистического, то есть подумал вперед,— не только о составе, имевшемся у него под рукой, но и о двух других, прибывающих вслед,— Семенов сумел за сутки дать нашей стране пятьдесят цистерн сверх плана и отправить по расписанию четыре нефтемаршрута и две передачи.

Много можно было бы привести еще примеров того, как опыт одной организации перекидывался в другую и



тянул ее; как десятки работников проявляли ежедневную инициативу, и то на одном участке соревнования, то на другом вспыхивали остроумные предложения, проводились в жизнь коррективы к плану и обычному распорядку. Много можно было бы рассказать и о станции Баку-товарная, где семена, посеянные работой Филиппа Яныкина, дали пышные всходы и уже смену Яныкина опередила бригада Хаустова, а новые замечательные рационализаторы вызвали новый подъем в соревновании: Андрей Шерстобитов предложил самое формирование маршрутов делать у эстакад, а Егоров подхватил эту мысль,—но самое обилие фактов уже нуждается в обобщении, в выводе, и потому поставим точку в рассказе и перейдем к «заключительному слову».

Соревнование еще не кончено, оно идет с переменными удачами и спадами; в соревновании не все происходит без сучка и задоринки: не сразу, например, сумели раскататься профсоюзы, не сразу начальство товарной станции вспомнило, что инициативу снизу надо немедленно закрепить умными мерами сверху, чтоб не ослабить великого подъема людей.

Но уже сейчас ясно, что комплексное соревнование, поднятое в Баку, помимо прямого своего результата, несет с собою и еще одну важную для нашего хозяйства особенность. Прямой результат, скажем прямо, не боясь оказаться в роли плохих пророков, обеспечен. Возьмем хотя бы опыт скоростной выгрузки, чем он помог? Он дал возможность танкеру «Сталин» в истекшем году перевезти сверх плана еще семьдесят пять железнодорожных эшелонов горючего! Семьдесят пять эшелонов! Попробуйте сосчитать по пальцам количество цистерн в них, попробуйте умножить в уме количество литров на цистерну,—и представьте эти литры в действии на тракторах, в поле, на самолетах в небе, на мазуте в топках, на масле в машинах! А потом снова повторите себе, что все это действие дано сверх плана, совместным усилием людей в пятилетке, как бы подарено детьми своей матери-родине. И такая «мелочь» — лишь небольшая деталь в развернувшемся комплексном соревновании.



Но я сказала выше, что, кроме прямого результата, оно, это соревнование, придает нашему хозяйству и еще одну важную особенность. Что же это за особенность?

Комплексное соревнование, как мы видели, только тогда может признать себя вполне удавшимся, когда не отдельные его звенья сумеют во-время или сверх плана сделать свое дело, а когда все звенья одинаково живой и вдохновенной работой подхватят темпы и удачи соседнего коллектива, чтобы реализовать общий для всех результат. Ибо если этот общий результат не достигнется, отдельные удачи отдельных коллективов пропадут, окажутся тщетными усилиями. Чтоб тому же танкеру и его замечательному капитану удалось перевезти семьдесят пять эшелонов сверх плана, нужна была героическая работа портовиков по разгрузке; а чтобы портовики могли осуществить ее, необходимы были усилия героев-железнодорожников для подачи пустых цистерн и опытных пропарщиков для быстрой очистки и подготовки их к подаче. А ремонтники, а весовщики,— их тоже «с весов» не сбросишь! И такая согласованность многих ведомств и предприятий оказалась необходимой для одной лишь детали соревнования! Вот в чем душа комплексного процесса.

Когда соревнуется большой комплекс, это значит, что он в первую голову борется за высшую форму организации работы, ибо комплексное соревнование есть соревнование организационное.

Ценя и учитывая время, умно и с предвидением распределяя пространство, непрерывно используя все средства связи для переключки друг с другом, неизбежно перенося передовой удавшийся опыт с одного участка на другой, и главное — учась и учась согласовывать, координировать действия,— участники комплексного соревнования восходят на высшую организационную ступень нашего хозяйственного развития.

И надо отметить, что комплексное соревнование вплотную ставит перед нами важный вопрос о величайшей плодотворности участия нашего транспорта в соревновании отдельных звеньев промышленности и сельского хозяйства.



Есть два коротких слова, облегчающих жизнь каждого отдельного человека. Эти два слова: «с доставкой».

Как облегчает, как экономит время и труд мелочь, казалось бы, но мелочь, неоценимая в быту, когда обслуживающие потребителя организации прикладывают к продукту и его транспорт,— момент его доставки к вам на дом. Но то, что облегчает частную жизнь, является важнейшим звеном в жизни государственной — в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве. И любое соревнование неизмеримо выиграло бы, если б оно включало вот эти два слова «с доставкой», то есть если бы могучий и богатый талантами советский транспорт принимал в нем всегда участие.

По существу идея комплексного соревнования, так блестяще оправдывающего себя в Баку, и заключает в себе эту мысль: промышленность плюс транспорт, сельское хозяйство плюс транспорт.

Завоевание новой ступени организованности — вот это и есть спутник комплексного соревнования.

И еще одно есть в нем: обострение взгляда на технику, критический пересмотр своей и смежной техники, а следовательно,— огромный стимул к росту технической культуры. Недаром в процессе соревнования подметил глаз инженера Бибилашвили, путейца, а не конструктора, дефекты в конструкции цистерн Мариупольского завода! И как раз при комплексном соревновании встала с убедительной ясностью необходимость немедленного развития станции Баку-товарная, теснота которой и вытянутость ее в цепочку становится дальше уже нетерпимой. Вот первые беглые выводы, и какие отрадные, окрыляющие душу выводы от развернувшейся перед нами одной из страничек нашей пятилетки,— поднятого бакинскими транспортниками, моряками и нефтяниками комплексного соревнования.



## ИДЕЯ МАТРОСОВА

### I

Новая пятилетка сразу же вызвала к жизни совершенно новое явление. И это новое явление, возможное только в нашем строе, где ежедневно и ежечасно миллионные массы народа творят культуру и двигают жизнь вперед, помогает нам сейчас сделать уже некоторые выводы об истекшем, сравнительно коротком (меньше половины!), периоде пятилетки. Счастье — видеть и наблюдать, понимать и обобщать такое движение жизни. Счастье для нас, современников великой эпохи, рассказывать о нем, как о естественном опыте своего поколения.

О чем же идет речь? Что это за новое явление, рожденное новой пятилеткой?

Многим из нас случалось, должно быть, слышать такие речи: жалуется директор завода или начальник цеха на отставание или на плохую работу, на нехватку того, другого. Совсем недавно пришлось мне самой слышать такие жалобы от одного из цехов замечательного Кировского завода в Ленинграде, шихтового, и на огромном предприятии в Башкирии «Туймазанефть». Но когда дело коснется плана, жалобщики обычно сразу же повеселеют и тут же прибавят к рассказу: «А план мы все-таки выполняем, больше того — перевыполняем». Возможно, у многих из нас, сталкивавшихся с такими



фактами, мелькнула недоуменная мысль: что же это в конце концов значит,— отстают, отстают, а план перевыполнили? Но мысль мелькнула и забылась. А над фактом стоило очень серьезно подумать.

Своими путями идет и развивается новая советская культура; не предугадаешь, не предскажешь, кто — следующий — поднимет ее на новую, высшую ступень восходящего развития, какое переживаем мы вот уже тридцать лет.

И следующим, кто задумался над отмеченным фактом, у кого мелькнула — и не забылась — мысль о нем и кто подсказал нам, куда шагнуть выше, оказался вдруг совсем неожиданный человек. На московской обувной фабрике «Парижская Коммуна» работает закройщиком Василий Матросов. Он прошел обычный путь хорошего стахановца, творчески и осмысленно относящегося к своему труду: выгадывал при закройке кожу, стремился найти свой способ покроя обуви, чтоб и материала вышло поменьше, и пошивка могла делаться легче и быстрее,— и в результате выполнил за прошлый год норму двух с половиной лет и сэкономил столько материала, что из него дополнительно было сшито больше тысячи пар обуви. Своей бригаде он показывал, как работает сам, и бригада его стала лучшей в цехе. Все это, повторяем, было обычным путем советского стахановца. Но Матросов этим не удовлетворился. Он задумался над фактом, о котором я упомянула выше. Весь закройный цех представился ему. Вся фабрика «Парижская Коммуна», где Матросов работал уже восемь лет, представилась ему. В цехе и на фабрике одни работали хорошо, как он и его бригада, а другие работали плохо. И хотя одни работали хорошо, но другие плохо, цех в целом и фабрика в целом выполняли государственный план. Откуда взялось выполнение? Из средней цифры.

А что такое «средняя цифра», откуда берется она сама?

Матросов взял слово на одном из производственных совещаний. Он сказал: «Наш закройный цех идет хорошо. За год мы сэкономим столько кожи, что смогли дать государству из того же отпущенного нам материа-



ла лишних шестьдесят пять тысяч пар ботинок, обувь дополнительно шестьдесят пять тысяч советских граждан. Это хорошо. Но вот поглядите: закройщица Антонова сэкономила сто кож, а закройщица Плеханова кроила с таким браком, что цех потерял пятьдесят кож; закройщик Корзинин сэкономил несколько кож, а Соловьева столько же кож испортила. Это, если разобратся, что означает? Это означает, что плохая работа тянет вниз хорошую. Мы хорошей работой перекрываем плохую, тем и выполняем план, но если бы у нас вовсе не было плохой? Почему не научить тех, кто работает плохо, работать так же хорошо, как лучшие?»

Казалось бы, в этом выступлении Матросова тоже не было ничего необычного, ведь уже не раз поднимался вопрос о подтягивании отстающих к стахановцам. Но особенность выступления Матросова заключается, во-первых, в том что он проанализировал так называемую «среднюю цифру», открыл простым и ясным примером, как она составляется (работой худших за счет лучших), и предложил принципиально новое, простое, практическое дело: спланировать общую цифру продукции не по этой «средней цифре», где по сути дела все равняются по отстающим, погашая своим повышенным трудом недодачу плохо работающих, а спланировать общую цифру продукции по труду лучших, подтянув к ним отстающих и научив плохо работающих методам и приемам хорошо работающих. Новым в предложении Матросова был «план», была сама ориентировка при составлении плана, была меткая и принципиальная атака на пассивную «среднюю цифру».

Спланировать работу по методу лучших — значит раскрыть широко эти методы и привлечь все условия производства к реальному осуществлению этих методов. Тут уже массовое движение, массовый подъем на новую ступень производительности труда. Не выходя из четырех стен своего цеха, не отправляясь ни на склады, ни в министерство за помощью, за досылкой или додачей чего-нибудь недостающего, Матросов вдруг открыл перед всеми, кто внимательно слушал его, колоссальные новые резервы труда. Как же будет рабо-



тать хорошая фабрика, если равнение в ней пойдет по лучшему и если худо никто не будет работать.

Здесь — очень ясный и яркий отблеск будущего, освещающий для нас и наш пройденный путь; мы видим здесь, как было исторически нужно сперва выдвижение просто активных работников, ударников; потом отдельных новаторов, стахановцев, и как, наконец, на новом этапе этот индивидуальный почин неизбежно и органически подхватывается массами, поднимает за собою уже целый пласт трудящихся.

Идея Матросова сразу была подхвачена, и это было первым доказательством ее глубокой жизненности. Больше того, идея Матросова сразу вышла из пределов своей, обувной, фабрики; она сразу вышла из пределов легкой промышленности; она захватила тяжелую индустрию, машиностроение. И она с величайшей плодотворностью возникла и на транспорте.

А наш советский транспорт — кровеносная система всего советского государства; он связывает отдельные его части, помогает обдумывать их планоно. И не удивительно, что идея Матросова приняла на транспорте свое исключительно яркое и очень новое выражение, не только выйдя из пределов различных участков транспорта (сортировочная станция, строительство, депо и т. д.), но и связав отдельные участки транспорта, а транспорт с отдельными участками промышленности между собою (станцию Усаты с угольными рудниками Кузбасса, Донецкую дорогу с Донбассом и т. д.), потому что лишь в этой связи можно подняться на новую, высшую ступень производительности труда.

## II

Ленинград — застрельщик передового — выступил и тут первым. На станции «Ленинград-сортировочный-Московский» железнодорожники подсчитали, — как скупо рассказывает документ, — что «если отстающие подтянутся до уровня передовиков, то простой вагонов будет снижен на 18 минут... а коллектив станции высвободит до конца года 14 430 вагонов для дополнительной



погрузки». Этот первый простой подсчет поставил перед ленинградцами задачу учета: до сих пор учитывалось на сортировочных станциях время простоя только тех вагонов, какие находились на особых путях подгорочных парков, а вагоны на товарном дворе, на ремонтных, подъездных и других путях, перегружавшиеся и т. д., под наблюдением диспетчера не находились. Но чтобы суметь «подтянуть отсталых до передовиков», надо было иметь в поле зрения все участки с вагонами. И диспетчер Бондырев выработал новую систему учета простоев.

Полный учет в одном деле тянет за собою необходимость учета и в другом. А сколько, например, ценных предложений делалось за все это время на станции? Где они? Какова их судьба? Ленинградцы учили и пересмотрели все новые методы и приемы, какие накопились «под сукном», а частично и были в действии, но сейчас почему-то забыты. Выбрали из них самые эффективные, распределили сферы их действия. Но ведь новые условия должны создать новую выработку. Понадобилось учесть и будущую эту новую выработку каждого члена коллектива, необходимую для того, чтоб подтянуть отсталого к лучшим.

Ну, а учет сам по себе никак не может быть «устным», не может полагаться на память человеческую, он требует документа, его нужно зафиксировать. А ведь документ, чтоб не остаться пустою бумажкой, требует контроля и проверки, причем проверка, в свою очередь, требует специального работника, который бы отвечал за нее. Так, звено за звеном, одно простое мероприятие за другим вылилось у ленинградцев в точно разработанный план действия, который так и вошел в нашу советскую практику под названием «Плана внедрения передовых методов труда». Он представляет собою коллективную мысль целой организации. Это продуманный в каждой мелочи действенный документ, подобный военному плану кампании. Слагается он в основном из таких графиков: 1) цель или существо мероприятия, где точно формулируются отдельные конкретные задачи; 2) перечень работ, какие надо сделать для выполнения каждой из этих задач; 3) имена



тех, кто отвечает за исполнение этих работ; 4) срок, в который они должны быть исполнены, и 5) какая должна быть эффективность от выполненной задачи. Можно по-разному назвать каждый график, можно увеличить число графиков и еще более уточнить каждое действие, но общая структура плана именно такова. Ленинградцы, выработав свой план, вручили каждой смене, каждой бригаде и каждому работнику в отдельности особый план-наряд, где точно размечена их доля в общем труде.

### III

Но «Ленинград-сортировочный-Московский» — это только станция на сравнительно небольшой из наших дорог, Октябрьской; правда, решающая для грузопотока всей дороги, однако же с обычной железнодорожной функцией. В Сибири, в самом сердце Кузбасса, ленинградскому почину ответила другая станция, более связанная в своей работе и более зависимая в успехе ее от многих других слагаемых.

Станция Усяты, отправляющая свыше трети угля всего Кузнецкого бассейна, по самому характеру своих грузов тесно связана с рудниками, с работой подъездных путей, которыми доставляется к ней уголь. Поэтому «матросовский» вопрос, который задали себе работники станции, прозвучал несколько сложнее, нежели на «Ленинграде-сортировочном-Московском».

— Почему, — спросили себя усятовцы, — бывают нередки случаи, когда поезд, формируемый по-стахановски, загруженный в самые сжатые и уплотненные сроки, все же застревает на станции, срывается со своего графика? И на этот вопрос они ответили: «Потому что в том или ином звене нерадивость одного или нескольких человек сводит на нет усилия всей единой смены».

Здесь уже речь шла не только об учете простоя отдельных вагонов, а об учете работы целых звеньев, об учете взаимоотношений работников подъездных путей со станционными, о согласовании двух больших и разных по сути дела вещей: добычи угля и его транс-



портировки. План, выработанный станцией Усяты для «внедрения передовых методов труда», отразил на себе это усложнение. Документ говорит о нем: «Угольщики Кузбасса соревнуются, чтобы дать в этом году 265 тысяч тонн сверх задания. И в этой борьбе за уголь железнодорожники станции Усяты правильно определили свою роль. Они продумали целый комплекс организационно-технических мер и вооружили себя ясным, четким планом действий, чтобы действовать в едином ритме с шахтерами и обеспечить полное соответствие в темпах роста добычи и транспортировки». К первоначальной идее Матросова, как мы видим, тут прибавилось новое качество. Пример станции Усяты получил свой конкретный адрес: на все остальные дороги и станции больших угольных центров. И своим «планом действий» отозвалась усятовцам Северо-Донецкая дорога, решающая магистраль Донбасса.

Интересно сравнить оба эти плана. Станция Усяты Томской железной дороги хорошо и горячо поработала во все годы войны. Именно в эти военные годы ее маневровый диспетчер Федор Шишов ввел знаменитые «скоростные поезда», а сама станция уже четыре года как получила нормы единого технологического процесса. А Северо-Донецкая дорога вместе с Донбассом испытала на себе в эти годы ужасы фашистской оккупации, разруху и разграбление. Когда война кончилась, казалось, годы понадобятся, чтоб возобновить добычу угля и деятельность дороги, и, может быть, десяток лет, чтоб довести их до прежнего, довоенного уровня. Между тем при всей разнице общего состояния Кузбасса и Донбасса, Томской и Северо-Донецкой железных дорог планы, выработанные той и другой, принципиально схожи, они говорят почти об одних и тех же вещах, и эффективность, обещаемая этими планами, поистине едва ли не одинаково грандиозна и в развившихся за время войны Усятах и на пострадавшей за время войны Северо-Донецкой дороге. Если Усяты обещают без задержки транспортировать добываемый сверх плана кузнецкий уголь, то Северо-Донецкая уже в ноябре 1947 года обещает почти достичь уровня погрузки угля



1940 года (лишь на четыреста вагонов ниже!). Вот вам и десятки лет восстановления Донбасса, на которые рассчитывали наши враги!

Общее между планами Усят и Северо-Донецкой дороги вкратце таково. Усяты пересматривают нормы единого технологического процесса, поскольку за четыре года они ввели у себя много новшеств, а Северо-Донецкая вводит у себя специализированные поезда, которые кладут конец обезличке и бесконечной переработке составов на узловых станциях и создают ритмичную эксплуатацию на дороге. Усяты внедряют у себя новые методы труда, Северо-Донецкая также. Усяты организуют школы, курсы, шефство для подтягивания отстающих к передовикам, и Северо-Донецкая также. Если разобрать каждый пункт планов в отдельности, то увидишь, что оба они «матросовские», оба проникнуты тенденцией подъема всех работников, всех служб и коллективов до уровня передовых. Это значит, что не только те наши дороги, которые за время войны много-сторонне выросли, получили большой технический и организационный опыт, стремятся взойти на новую ступень культуры труда, но и дороги, пострадавшие за время войны и нуждающиеся в простом восстановлении, отнюдь не хотят идти старыми путями, а восстанавливают свой довоенный уровень средствами и опытом всей новой послевоенной передовой советской технической мысли.

Чудесные образы новаторов, лучших людей нашего транспорта, встают сейчас перед нами, озаренные новым блеском — видением тех больших людских масс, которые они поднимают за собой и до себя. Уже не единицами, не отдельными героями представляем мы себе этих людей, когда слышим или читаем их имена, а в своем роде полководцами, решающими исход боя организованным действием своей мощной армии. Славные имена производителей работ в Нижнеднепровске товарища Кузюкина и строительного мастера товарища Манько дороги нам сейчас не только потому, что строительства наши отстают от дорог и каждый талантливый организатор-строитель вдвойне ценен стране, а и потому, что эти люди — создатели плана, обеспечивающего



массовое движение на стройке. За простыми двумя словами: «метод Савчука» (автора приспособления, сократившего на семь часов подъемочный ремонт паровозов), «метод Шишова» (автора скоростных поездов), «метод Краснова, Коробкова, Кожухаря, Катаева, Бондырева» и многих, многих других — за этими словами тотчас представляется нам не только автор изобретения, но — массы людей за ним, повсеместное применение его мысли, более передовые способы работы на транспорте, хорошие тем, что они облегчили и упростили труд тысяч и тысяч людей.

#### IV

Мы еще не завершили новую пятилетку, и — повторяю — казалось бы, рано еще делать выводы. Но выводы напрашиваются сами собой, их нельзя не сделать, в них — гордость и слава советского человека, поднявшегося на новую ступень производительности труда.

Что такое, к примеру, новый «план внедрения передовых методов труда», выдвинутый передовыми участками советского транспорта? Разве нельзя узнать в нем то, что несколько лет назад мы называли «встречным планом»? Но до какой степени вырос, преобразился, стал насыщенней, зрелей, полнее, шире этот прежний зародышевый «встречный план» в развернутом и детализованном плане сегодняшнего дня, где в сей массе наших рабочих, в с е м у коллективу наших предприятий показывается, как они могут и должны работать по образцу лучших.

Секрет нашей системы в том, что творец ее — сам трудящийся многомиллионный советский народ.

Секрет нашей системы в том, что она развивается и растет органично, непрерывно питаемая соками народного творчества.

Она в росте и развитии своем тоже воспроизводит пройденные формы, но уже по-новому, могучим движением вперед, наполняя их все более широким и массовым, все более конкретным и детализованным, реальным историческим содержанием, раскрывающим свободное волеизъявление народа.



Кто же в старом мире рабства рабочих у капитала станет так планировать свой труд, чтобы равняться по лучшим и передовым? Разве не знает у нас каждый школьник, что новая машина при капитализме, новый метод работы ведут к новому росту армии безработных и новому рабству у капитала? «Старая истина», — справедливо скажет читатель.

Но что же делать, если любой новый пример нашего народного творчества опять и опять подтверждает эту старую истину, все ярче показывая нам безвыходный тупик для труда человека за рубежом — и великие, нескончаемые просторы для доблестного, свободного народного труда в нашей молодой стране!

1947



## О СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ

### I

При изучении стахановского движения обращает на себя внимание невероятное разнообразие его форм и методов, внешне подчас и противоречивых. Шахтер Донецкого угольного бассейна Алексей Стаханов разделил на две части обычную свою работу — крепление и проходку, которые он делал один, и передал первую часть, крепление, помощнику, а сам пошел с отбойным молотком. И это упрощение первоначальной работы, разделение функций, привело его к победе: он в пять-шесть раз перекрыл свою прежнюю выработку.

Но вот спустя десяток лет уже в Подмосковном угольном бассейне другой шахтер, Леонид Борискин, отметил как раз обратное явление, которое связано с производительностью труда подмосковных угольщиков. Он так рассказывает об этом: «За последние годы у нас, в Московском бассейне, профессии забойщика, вагонщика и отчасти крепильщика на большинстве шахт совместили в профессии проходчика. На эту работу, как правило, ставят рабочих высокой квалификации, успевших освоить все эти специальности. Много лет работал и я навалоотбойщиком, то есть забойщиком в лаве, освоил несколько профессий и только в последние месяцы перешел на проходку. Такое совмещение профессий для работы в подготовительных забоях представляет существенные преимущества. Проходчик,



выполняющий ряд различных операций, может полнее использовать свое рабочее время. Он избавляется от необходимости ожидать уборки угля или породы, ожидать крепыльщика и т. д., потому что в случае надобности он все может сделать сам».

Мы видим тут, что шахтер Леонид Борискин в противоположность Алексею Стаханову прибавил к собственной своей работе знание и других работ, тем самым усложнив свою работу и во много раз увеличив число своих обязанностей. И это усложнение работы, умножение функций, тоже привело его к победе, позволив ему резко, во много раз перекрыть свои прежние показатели.

Возьмем еще пример. Знатный сибирский каменщик Максименко разделил весь процесс кладки камня между своими подручными таким образом, чтобы образовался конвейер и движения свелись к минимальным и простейшим. И это оказалось решающим в его огромном успехе. Но вот на стройке оборонного завода, эвакуированного на Урал, плотник Шалаев поднял свое знаменитое движение за совмещение профессий, и столяры сделались одновременно и печниками, машинистки — малярами и штукатурами, бухгалтеры — кровельщиками, а сами плотники — и стекольщиками, и арматурщиками, и каменщиками, и опять это решило победу, привело к огромному ускорению строительства. Иначе сказать, и конвейер, то есть самая крайняя степень разделения труда, и совмещение профессий привели к одному и тому же результату — к убыстрению строительства. Таких примеров из истории стахановского движения можно было бы привести тысячи. Они есть на любом участке нашего хозяйства, они рождаются ежедневно.

Разнообразие этих приемов всякий раз связано с конкретностью времени, обстановки, условий, и поэтому в сущности их даже и противопоставлять друг другу нельзя. Но в одном они сходятся между собою, — в том, что рабочий чувствует и ведет себя как хозяин своей работы, он непрерывно вкладывает в нее мысль, инициативу, личную находчивость. Умение в любом обстоятельстве сразу «найтись», то есть суметь предложить



прием или метод, в данном случае наиболее подходящий, позволяющий привести дело к наивысшему успеху,— это «хозяйская», характерная черта наших стахановцев, говорящая о стирании грани между физическим трудом и умственным. В одной обстановке для успеха необходимо разделение функций, в другой — совмещение функций, а так как у нас вся страна, все трудящиеся заинтересованы в том, чтобы работать максимально плодотворно, это умение «найтись», умение на каждом участке строительства ухватиться за наиболее важное звено воспитывается у нас из года в год, поощряется как самое драгоценное человеческое качество. Оно вспыхнуло снизу, из недр самого рабочего класса, без всякого воздействия сверху, со стороны администрации, а подчас и в борьбе с ее противодействием.

При этом рост и развитие стахановского движения и все величайшее многообразие предлагаемых стахановцами приемов и методов труда менее всего стихийны и случайны. Они не изолированы от общего развития нашего хозяйства, они не лишены тесной, органической связи с его основными этапами, и они не могли и не могут происходить без прямой связи с направляющей их партийной мыслью. Об этом говорит и начало и дальнейшее оформление стахановского движения. До пятилеток его у нас, как известно, еще не было, а были различные формы ударной работы и социалистического соревнования. Стахановское движение родилось вместе с новой техникой, с новой индустриальной базой, которую начали создавать пятилетки. Но оформилось оно и вылилось в то, что мы называем сейчас «стахановским», после того как партия дала лозунг освоения новой техники.

Нельзя брать историю этого движения в его отрыве от общей истории нашего хозяйства и от руководящей партийной мысли. А это значит, что все яркое и на первый взгляд взаимопротиворечивое обилие фактов, тысячи предложений и приемов, неожиданнейшие формы, в какие облекается стахановское движение,— все это может быть классифицируемо, во всем этом могут и должны быть найдены определенные закономерности. И если мы сможем нащупать хотя бы некоторые из этих



закономерностей, нам легче будет подметить и объяснить то новое, что проявляется в стахановском движении сейчас, в годы послевоенной пятилетки.

Разберем хотя бы те самые два примера, с которых я начала,— разделение функций в работе Стаханова и умножение функций в работе Борискина.

Алексей Стаханов еще застал в Донбассе старую, «обушковую» технику, то наследие царских времен, когда шахтер был в сущности еще глубоким кустарем. Этот шахтер спускался в шахту сам-друг, сам рубал уголь, сам и отбрасывал его с дороги лопаткой, сам и закреплял кровлю над собой для того, чтобы сделать следующий шаг в лаве. Это соединение многих функций с основной работой, добычей угля, было еще кустарным, примитивным, связанным со старой, примитивной техникой угледобычи. Но в эпоху пятилеток с такой техникой мириться было нельзя. В 1933 году Центральный Комитет ВКП(б) и Совнарком СССР вынесли два решения о Донбассе, потребовав резкого поворота к механизации угледобычи. Именно это партийное указание и положило начало новой эпохе в Донбассе, оно же заставило самих шахтеров пересмотреть приемы своей работы с точки зрения их механизации. Алексей Стаханов отозвался на указание партии. Он механизировал приемы своей работы. Разделение прежнего, еще хранившего на себе печать кустарщины, слитного метода работы на два отдельных процесса с передачей второго из них специальному рабочему явилось прогрессивным шагом, движением к будущему, к механизации процесса угледобычи.

Между опытом Стаханова и опытом Леонида Борискина легли годы, наполненные гигантским разворотом строительства, борьбой за освоение созданных новых очагов индустрии и новой техники, напряжением всех сил народа в Отечественной войне и, наконец, восстановлением разрушенного немцами и взятием новых высот послевоенной пятилетки. За эти годы советские рабочие не переставали учиться и многому научились. Что же представляет собой, за вычетом, разумеется, всего того, что связано с условиями Подмосковского бассейна и с общими изменениями в самом методе работ, произ-



шедшими за последние годы, то новое слияние функций забойщика, вагонщика и крепильщика, о котором упоминает Леонид Борискин?

Я оставляю в стороне технико-экономический анализ, как не специалист, и беру лишь одну интересующую меня в данном примере черту. Соединение упомянутых мною выше функций при Леониде Борискине потребовало от рабочего очень высокой квалификации, умения владеть самой совершенной техникой. Он сам говорит об этом в своей автобиографии: «На эту работу, как правило, ставят рабочих очень высокой квалификации, успевших освоить все эти специальности». Ясно, что тут речь идет не о возврате, не о шаге назад, а, наоборот, о большом и важном шаге вперед.

За истекшие годы, как я уже отметила, рабочие не переставали учиться. Глубоко интересно, а для нас, писателей, и очень поучительно проследить, как и чему они учились и в обычных условиях рабочих курсов, и на «учебе без отрыва от производства», и в стахановских школах. Надо сказать, что и сама эта учеба претерпела известные изменения, отражая на себе перемены в социалистическом хозяйстве и отвечая потребностям рабочих.

На курсах старого ЦИТа, то есть Центрального института труда, готовили, например, строго по специальности — сверловщиков, слесарей, токарей и т. д. Известный стахановец Павел Быков рассказывает о таком случае:

«Наблюдая за ходом резца, я подумал, что если бы кромка резца была длиннее, он захватил бы большую по размерам стружку. Обратил на это внимание инструктора. Тот на меня удивленно посмотрел, а потом сказал: «Может, ты еще хочешь научиться и резцы затачивать?» Курсы готовили рабочих узких специальностей. О том, чтобы обучать учеников заточке инструмента, и речи не было. Но так как моя производительность зависела от качества заточки, я считал, что непременно должен научиться затачивать резцы»<sup>1</sup>.

И, не обращая внимания на насмешку, прозвучавшую в реплике инструктора, Павел Быков добился своего и получил разрешение посещать уроки по заточке.



Система преподавания в ЦИТе была тогда чуждой нам, она еще строилась по американскому образцу и главное внимание обращала на механические навыки. Случай с Быковым показывает, насколько наши рабочие переросли ее. Они сами стали требовать более широкого обучения, выходящего за рамки узкой специальности.

Мария Левченко, молодая закройщица обувной фабрики, прошла уже более совершенную школу. Она сравнивает ее с тем, что знали старые закройщики:

«В школе ФЗУ я получила познания в области топографии кожи и машиностроения, о которых старые кустари-сапожники и представления не имеют».

А замечательный каменщик, художник кладки камня, Андрей Куликов, рассказывает о еще более совершенной форме учебы в вечерней стахановской школе

«На первом занятии выступил етахановец, фамилии которого не помню, но если б встретился с ним, сразу бы его узнал. Его дельное выступление мне очень понравилось. Начал он с того, что в старое, дореволюционное время каменщиков не интересовало, для кого и зачем они строят то или иное сооружение. Им подавай кирпич — и все... Тяжелая жизнь заставляла их как можно больше напрягать свои физические силы, чтобы заработать себе и семье на пропитание. Дальше докладчик рассказал о том, из чего состоят кирпичи, почему получаются кирпичи с «выцветами», «дутники», и куда их нельзя класть. Все эти ценные сведения я тщательно записывал. Поднял голову, поглядел — вижу: все записывают... Раньше мне казалось, что лучших мастеров, чем мой отец и дядя Саша, не найти. И еще мне казалось, что все мастера кладки работают совершенно одинаковыми приемами. Учеба в стахановской школе открыла для меня много нового. Стало ясно, что дело не в одной физической силе и ловкости рук. Кто работает с полным знанием дела, думает над своей работой, тот найдет новые способы повышения производительности труда».

В 1937 году пятнадцатилетней девочкой пришла на фабрику будущая стахановка Мария Волкова. Ей страстно хотелось быть хорошей ткачихой, научиться работать «лучше всех», и она сознательно искала себе самую



сердитую, самую строгую руководительницу среди тех опытных ткачих, к которым прикрепляли новичков: «учиться будет труднее, зато работать легче». Когда ей пришлось поступить в двухгодичную стахановскую школу, где преподавались общеобразовательные предметы — русский язык, математика, география, она, «как и многие другие девушки, первое время сильно сомневалась, нужны ли эти науки, чтобы стать отличной ткачихой». Но вот на курсах техминимума, на уроках начальника цеха, молоденькая ткачиха поняла, «как сокращает учение путь к мастерству». Она поняла великое значение теории для практики, значение всего того, что, казалось бы, не имеет прямого отношения к несложным операциям с основой и утком, с челноком и шпулей: «Многое, на что нужно было бы потратить долгие годы практической работы, можно познать благодаря теории в очень короткий срок, а затем закрепить практикой. То, что мы изучали тогда, я вспоминаю теперь каждый день, каждый час. Ведь мы изучали все части станков, разбирали машины».

Рабочие становились образованными людьми, они привыкали видеть и мыслить большими масштабами, шире одной своей специальности. Сапожник научился кроить кожу не на ощупь, не десятками лет практики накапливал он смутное знание, где кожа потолще, а где похуже, а с помощью такой науки, как «топография кожи», связанной и с анатомией животного и с глубоким пониманием природы материала. Каменщик постиг тайну кирпича, его достоинств и недостатков, как инженер-технолог. Молоденькая ткачиха овладела знанием своего станка не хуже механика. И каждый из них через расширившийся объем представлений получил материал для сравнений, обострил ум и глаза для наблюдения, овладел точным словом для передачи узнанного. А это большое и очень нелегкое искусство! Не всякий художник, не всякий писатель, не всякий ученый может передать вам ясно, просто и понятно тайны своего труда, не всегда может он ответить, почему это хорошо или плохо. Старые виртуозы-рабочие на вопрос: «да как же у тебя это получается?» — отвечали обычно уклончивым и беспомощным «так» или брались п о к а з а т ь.



Но почитайте или послушайте, как чудесно умеют сейчас наши стахановцы рассказать о себе, о своем пути к мастерству, о своих наблюдениях — живыми и хорошо подысканными выражениями, с помощью удачных аналогий, с найденным не из книги, а из практики: ярким образом, поговоркой, точной формулой. Широкий познавательный фон, на котором они увидели свою специальность, помог им почувствовать необходимость овладения и другими, соседними специальностями, помог стать хозяевами на более широком поле действия.

Понятно теперь, как велика разница между старой, достахановской формой слитной работы шахтера-кустаря — одновременно и забойщика и крепильщика — и между новой формой того высококвалифицированного шахтерского труда, о котором рассказывает Леонид Борискин, о совмещении в лице одного проходчика добавочных функций забойщика, крепильщика и вагонщика.

Схожие с виду вещи предстают теперь совершенно разными.

Если кустарь один выполнял много операций, то этим он и связывал свои действия, тормозил производство, ибо находился в глубокой власти традиций, боялся и шагу ступить вне их, потому что все его умение держалось на привычно усвоенном, дедовском, неизменном, «его же не преjdeши». Ничего не зная и не видя дальше своих приемов, полученных от отцов и дедов, кустарь, делавший в одиночку много операций, как правило, был всегда самым консервативным из всей семьи тружеников, можно сказать — классическим образцом консерватизма в технике своего дела.

Рабочий нового типа, рабочий-стахановец, когда он приходит к новому объединению в одних руках нескольких операций, нескольких производственных функций, будь это шахтер Леонид Борискин или машинист Николай Луний, — всегда революционер в производстве, смелый обновитель старых приемов, реорганизатор, изобретатель, испытатель.

На примере тех же рабочих, о которых я говорила выше, можно проследить, как этот выход за рамки своей специальности помогает двигать и улучшать основную свою работу.



Если бы машинист-лунинец Петр Агафонов не знал «наизусть» своего паровоза, научившись разбирать и ремонтировать его, прислушиваться к его дыханию, ходить за ним, как за ребенком, он не смог бы поправить «альбом», то есть те данные паровозной технологии, которые официально указаны в печатном документе. Чтобы паровоз имел хорошую тягу и высокое парообразование, выходные отверстия его форсового конуса должны быть определенного диаметра и расположены на определенной высоте. Казалось бы, о чем спорить! Ученые все выверили и вымерили, им и «альбом» в руки! Но Петр Агафонов видел свой паровоз глазами технически образованного человека. Он заметил, что на данном топливе и на данном участке (Челябинск) тяга будет куда лучше и пару больше, если расположить отверстия форсового конуса на пятнадцать миллиметров выше и сделать их несколько иного диаметра, нежели это указано в альбоме. И поправка Агафопова оказалась очень удачной: она помогла устранить засорение труб, изводившее паровозников, улучшила тягу. Ее приняли не только на одном паровозе Агафопова, но и на многих других.

Если б скромная обувщица, украинская девушка из под Чернигова, а ныне депутат Верховного Совета СССР, Мария Ермоленко не прошла учебы в ФЗУ и не испытала на себе во время эвакуации в далеком Приуралье, что это значит, когда обувщики сами строят свою фабрику, становясь слесарями и монтажниками, — вряд ли она так глубоко овладела бы механизмом конвейера. Стоя у конвейера восстановленной своей фабрики, в родном Киеве, она заметила, что работницы начали обгонять конвейер, обрабатывать заготовки быстрее, чем подвозились к ним новые. И тогда Ермоленко «внесла предложение повысить скорость движения ленты конвейера за счет увеличения диаметра шкива, на который натянута лента». Не попросила фабричного механика: «Ускорьте нам, голубчик, конвейер, девушки его перегонять начали», а сама, вместо механика, указала, как надо это ускорение провести.

Школа, пройденная рабочими за эти годы, дала им не только техническую грамотность. Тот широкий фон, на котором научились они видеть свою специальность,



включает, кроме общего, еще и политическое образование, воспитывает в них государственный, хозяйский взгляд. Мыслимо ли представить себе, чтобы до революции в России или сейчас за рубежом какой-нибудь шахтер заинтересовался бы, почему некоторые шахты дают мало угля, и добился бы на этом участке специальной геологической разведки! А вот у нас донецкий врубмашинист Иван Изотов сделал это. Он рассказывает: «Я обратил внимание на то, что некоторые новые небольшие шахты нашего района преждевременно выходят из строя или дают мало угля. Заинтересовавшись этим, выяснил, что закладка шахт производилась на плохо разведанных участках. Поставил вопрос для Краснодонского района о создании подробной геологической карты, которая бы точно определяла расположение и размеры запасов имеющихся углей, особенно коксующихся. В связи с этим в районе организуется детальная геологическая разведка».

Сравните такое расширение горизонтов, умножение интересов, богатство внутренней жизни нашего производственника, постепенно вырастающего в образованного и культурного мыслителя с живым государственным кругозором, сравните все это с притупляющим однообразием работы у «передового» американского промышленника, скажем у Форда. Там механизация рабочего жеста не связана с расширением сознания рабочего. Там единственное поступательное развитие для рабочего мыслится как движение вверх по лестнице заработной платы, как личная «карьера». И мозг американского рабочего изнашивается, как его мускулы, не получая развития. У нас же творческая и общественная сторона труда настолько велика, что к началу новой послевоенной пятилетки для лучших наших рабочих производственный труд вплотную придвинулся к тому высокому наслаждению человеческого гения, которое мы называем искусством.

Для каменщика Андрея Куликова чувство целого, в котором твоя собственная специальность растворяется как одно из составных его начал, настолько велико и естественно, что он, каменщик, глубоко связывает свою скромную профессию с архитектурой. Он понимает



архитектуру и чувствует ее. Когда в конце двадцатых годов он впервые попал в Ленинград, то стильная красота этого города потрясла и захватила его. «В свободное время,— рассказывает он,— я любил ходить по городу и подолгу всматриваться в прекрасные строения — результат человеческого труда. Я постепенно начинал понимать, что и наша работа — это не простая кладка кирпича, это тоже своего рода искусство. Ведь мы строим дома не для одиночек-богачей, а для народа, для тружеников нашей родины. Новые современные дома, дворцы, клубы, школы должны быть еще более величественными, еще более красивыми, чем те, которыми я так восхищался».

А вот еще более поразительный факт, когда творчество токаря новой пятилетки доходит до такого совершенства, что завоевывает себе право на индивидуальный герб. До сих пор лишь на высокой продукции наших фарфоровых заводов замечательные мастера-художники А. Воробьевский, А. Щекотихина, Н. Данько, М. Мох, И. Ризнич и другие имели право ставить свои фамилии, и эти уникальные вещи расценивались как произведения искусства. А сейчас на одном лишь Московском заводе шлифовальных станков пятеро рабочих (в их числе знатный токарь Павел Быков) получили право выпускать свою продукцию с индивидуальным клеймом автора, освобождающим эту продукцию от проверки контролерами ОТК (отделы технического контроля). Переводя это на сухой заводской язык, скажем, что пятеро художников-токарей добились абсолютного совершенства, полного отсутствия брака, перевыполнения всех показателей, выйдя победителями в соревновании отличников новой пятилетки своего завода.

## II

Новые черты в стахановском движении послевоенной пятилетки нельзя понять без усвоения опыта Великой Отечественной войны. Этот опыт был пережит и всем нашим хозяйством в целом, его оперативными органами и командами, и каждым отдельным рабочим.



Этот опыт складывался и на полях сражений за родину, и на снежных площадках Урала, Сибири, в песках Казахстана, куда были эвакуированы наши заводы, и на работающих оборонных предприятиях, которым пришлось реорганизовать технологию, менять поток на многосерийность и серийность на конвейер.

В послевоенном пятилетнем плане, каким он уже реализовался в истекшие два года, ясно запечатлен этот опыт войны. Нельзя претендовать на то, чтобы в небольшой статье учесть все его стороны. Укажу лишь на некоторые наблюдения, отнюдь не претендуя на их бесспорность.

Я уже писала выше, как то, что характерно для первых периодов истории нашего хозяйства — работа по восстановлению, работа по реконструкции, эпоха великих строителей трех первых пятилеток, — нашло себе как бы отражение в новой пятилетке, в задачу которой входит: восстанавливать после войны, но восстанавливать не просто, а реконструируя по новым, возросшим требованиям техники, и, наконец, строить новые грандиозные объекты, причем некоторые из них такого масштаба, о котором мы не знали и в прошлые годы. Все эти задачи новая пятилетка стала осуществлять одновременно, как бы слитно повторив в своем мощном движении вперед обогащенную передовой техникой, по-новому осознанную и изменившуюся периоду нашего довоенного развития.

Усложнение задач новой пятилетки переключается с тем развившимся и усложнившимся мастерством, которое передовые наши рабочие накопили за годы войны. В эвакуации, на создании оборонных предприятий, советскому рабочему пришлось выполнять самые различные работы, стать «мастером на все руки», научиться мыслить масштабами целого своего завода, масштабами усилий всей оборонной промышленности. Он жил в эти годы газетной сводкой, близостью фронта, острым чувством ответственности перед взыскательным потребителем его продукции. А в то же время технологически основная его работа почти везде упростилась, стала конвейерной, поставила очень остро вопрос о механизации процессов, о борьбе за время, за точность, за выверен-



ность каждого движения. Сознание рабочего стало шире, технология его уже. А на фронте советскому рабочему пришлось накопить уже другой опыт, с которым он вернулся и в родные цехи, и на шахты, и на колхозные поля. Как-то, присутствуя на занятиях в танковой бригаде под Свердловском, я услышала разговор с курсантами молодого ленинградца Ивана Васильевича Васильева, командира танкового батальона. Вокруг него сидела молодежь, которой скоро предстояло идти на фронт; сам он лишь недавно вернулся оттуда. Он рассказывал, что бывает с каждым солдатом перед боем.

«Перед боем самое характерное — жажда каждого бойца уточнить свою задачу. Ведь уточнение задачи — это главное в технике боя. Если в мирное время боец поленится что-нибудь уяснить себе, так уж во время войны, перед боем, особенно если он танкист, — прямо лезет на командира, жмется к нему, чтобы уточнить задачу, полностью ее себе представить».

Я потом много раз проверяла эти слова, спрашивая у молоденьких командиров и солидных бородатых бойцов об этой «жажде уточнить задачу». Война — менее всего хаос, это обдуманное действие, одним из самых важных факторов которого является п л а н. Уточнение личной своей задачи в коллективе — где стоять, когда вступить в действие, что делать и сделать, взвешенные, продуманные, определенные указания, очерчивающие тебе весь круг и все направление деятельности на определенный цикл времени с абсолютной необходимостью строго соблюсти и выполнить — вот школа бойца, выковывающая характер в течение дней, месяцев и лет. И командир, который не может не мыслить стратегически в пределах своего, пусть маленького участка, который учится расставлять, назначать, ставить людей, за жизни которых он отвечает, учитывать и определять их действия, и боец, у которого «жажда уточнить задачу» становится второй природой, диктующей поведение, оба они одинаково проходят на войне великую школу учета и расчета, школу п л а н а.

Мне приходилось после войны десятки раз вспоминать рассказ Ивана Васильевича Васильева, когда я сталкивалась с демобилизованными в цехах и на полях.



Боец, солдат снял свою шинель. Он перестал быть солдатом, он оказался монтером, токарем, плотником, председателем колхоза, табельщиком, шахтером, обувщиком, закройщиком... Но кем бы ни оказался он, до странности повторялась передо мной ставшая характерной «жажда уточнить задачу». Перед каждым соревнованием, перед началом выполнения большого обязательства, перед дачей этого обязательства советский рабочий, как боец на фронте, отойдет в сторонку, что-то подсчитает в блокноте с карандашом в руках, прикинет в уме, уточнит, обдумает, с п л а н и р у е т и вступает в соревнование, дает обязательство не вообще, не всем коллективом (цехом, колхозом) выполнить или перевыполнить план, а строго определенное обязательство — «уточненную задачу себе», — выполнить именно то-то и то-то на столько-то процентов и в такой-то срок.

В докладе о тридцатилетии Великой Октябрьской социалистической революции В. М. Молотов указал на эту новую черту наших стахановцев, проявившуюся именно в послевоенной пятилетке: «Теперь широко распространилось новое движение, заключающееся в том, что отдельные рабочие берут на себя личные обязательства досрочного выполнения годовых планов и пятилетки в целом, чего не было в довоенное время. В Москве, в Ленинграде, в Донбассе и по всей стране успешно развивается это движение, свидетельствующее о социалистической сознательности рабочих и работников». Товарищ Молотов добавил, что это новое движение — «...лишь один из целого ряда важных рычагов поднятия производительности труда в нашей стране».

Более ясное сознание своих сил и возможностей коллектива, а отсюда и более точное умение спланировать свой труд, уточнить задачу, продумать все элементы плана, напряженная борьба за перевыполнение плана, — такова одна из новых черт стахановского движения послевоенной пятилетки, таков один из важных рычагов еще большего поднятия производительности труда. Надо сказать, что возросшая способность планирования, гораздо более сознательное отношение к плану всех наших трудящихся тесно связаны и с окрепшим, ставшим более сильным и ясным государственным



сознанием нашего народа. «Духовный облик нынешних советских людей,— сказал товарищ Молотов,— виден, прежде всего, в сознательном отношении к своему труду, как к делу общественной важности и как к святой обязанности перед Советским государством».

Быть может, именно это возросшее сознание стоит в некоторой связи и с тем фактом, что мы получили новый пятилетний план опубликованным в таком детализованном, таком подробном виде, как никогда раньше, и так же подробно опубликованы последующие данные о выполнении плана первых лет пятилетки. Иначе говоря, массы нашей страны, весь многомиллионный народ теснее и ближе привлекаются к командным высотам планирования, к обозрению всего плана и хода его выполнения в целом, что, несомненно, связано и с окрепшим умением нашего народа видеть и понимать свою работу как часть большого целого.

Необычайно интересно проследить, как выросшее умение планировать, выросшее чувство плана помогает сейчас нашим стахановцам в их борьбе за поднятие производительности труда. План проникает сейчас в самые первичные клеточки рабочего режима стахановца, он тесно сливается с каждым его новаторским предложением, он неотъемлемо присутствует в процессе обдумывания и подготовки этого предложения.

Возьмем простые примеры.

Я уже рассказывала, как диспетчер Главнефтеснаба в Баку товарищ Семенов, участвуя в соревновании за перевыполнение плана отгрузки нефти, изменил порядок подачи эшелонов на эстакады. Обычно тот, что раньше пришел, ставится под ближнюю, а пришедший позже — под дальнюю эстакаду. Но Семенов рассчитал, что такой налив потребует больше времени и первый состав помешает налить более поздний. Тогда Семенов отвел состав на дальнюю эстакаду, где он тотчас же попал под налив, а для двух следующих оставил ближние, где они смогли быть заполнены без перебоев в течение того же дня. И этим он выиграл для страны пятьдесят цистерн сверх плана. Что же в сущности проделал диспетчер Семенов этим распоряжением, никогда раньше не приходившим ему в голову, поскольку оно шло в раз-



рез с установившимся распорядком? Он по-новому спланировал свой участок, он обдумал и уточнил свою задачу, он привлек планирование к борьбе за поднятие производительности труда.

А вот молоденькая ткачиха Мария Волкова, бригадир одной из самых замечательных бригад на наших фабриках, в своем роде командир батальона. Ее «бойцы» борются за максимальное рабочее использование каждой секунды времени, чтоб ни одна не пропала даром. У каждой из девушек в бригаде несколько станков. Когда все станки плавно работают, картина ясна. Но что надо делать, когда на нескольких станках и вдобавок сразу получается так называемый «обрыв» нити — явление неизбежное в такой станке и довольно частое? Путем рационализации движений можно в кратчайший срок ликвидировать обрыв, но дело еще не в этом. Дело в том, к какому из станков, на которых получился обрыв, подойти в первую очередь, иначе говоря, в какой последовательности подходить к остановившимся станкам, чтоб затратить наименьшее время на ликвидацию обрыва? Этот вопрос, по правде говоря, несколько лет назад вряд ли бы и возник или во всяком случае вряд ли бы ясной показалась вся важность его. А теперь послушаем Марию Волкову, она рассказывает об этом замечательно:

«Допустим, остановились сразу два станка. К какому из них ткачиха должна подойти в первую очередь? Мы установили правило подходить в первую очередь к тому станку, на котором можно быстрее устранить простой».

«Расчет тут ясен — подойдешь к более трудному обрыву, устранить который требуется больше времени, — бездействовать будут дольше оба станка. Если же ликвидировать обрыв там, где это можно сделать в кратчайший срок, один из станков скорее начнет работать. Однакоже дело тут не так просто. Ведь не легко узнать, на каком именно станке обрыв получился по легкоустраняемой причине, а на каком по причине более сложной».

«При обслуживании большого количества станков (как, например, в бригаде Волковой. — М. Ш.) значи-



тельно увеличивается фронт работы ткачихи. Расстояние между крайними станками достигает пятнадцати и двадцати метров. В этих условиях не всегда удается с первого взгляда установить, отчего остановился станок. А нам это необходимо знать, так как вся наша работа построена на том, чтобы точно определить, к какому станку раньше подойти, какой можно быстрее пустить в ход».

Что же делает Мария Волкова, чтобы выйти из положения? В борьбе за экономию секунд она обращается за помощью к изобретателям и ставит перед ними конкретную задачу: изобрести сигнализацию на станке в момент обрыва нити, чтоб она показывала причину обрыва. И начальник цеха Н. П. Орлов изобретает такую сигнализацию, которая при помощи поворота диска показывает, остановился ли станок из-за обрыва уточной нити, или из-за схода початка. Выиграны секунды! Но Волкова говорит:

«Сложите эти выигранные секунды, и вы получите представление о том, как много времени экономят ткачихи, хорошо овладевшие своей профессией».

Если разобрать приведенный пример, то видишь, в чем его сущность. Мария Волкова, добываясь выигрыша во времени, делает это уже не за счет личной скорости (метанья как можно быстрее от одного места аварии к другому), а за счет предварительного планирования своих подходов к месту аварии; причем в планировании этом играет роль вовсе не расстояние до ближайшей аварии, а точный расчет, какую аварию можно устранить скорее и тем добиться меньшего простоя станков. Здесь налицо яркий пример мышления стахановца, а не погони за автоматической быстротой. И сама Мария Волкова отлично уже понимает, что ее борьба за поднятие производительности труда вовсе «не в проворстве и еще меньше в спешке. Весь выигрыш времени достигается не столько за счет ловкости и сноровки, но главным образом в результате точного расчета каждого движения рук». Весь вопрос «в планировании работы на станках».

Примеров можно было бы привести множество. Именно благодаря точному планированию каждой ча-



сти своей работы многие стахановцы сумели выполнить на своем участке пятилетку в первые два года, а годовой план — подчас в течение месяца.

Такое привлечение плана к процессу работы, такое планирование пространства и времени в борьбе за подъем производительности труда обладает одним драгоценным свойством: оно связано с массовостью, оно доступно каждому, оно не имеет дела с особенной, исключительной одаренностью рабочего, особенной ловкостью и проворством. Наоборот, уточняя задачи, оно ставит каждого рабочего, как и каждого бойца на фронте, перед выполнимостью этой задачи, облегчая ее выполнение самим фактом планирования.

Один из молодых бойцов, в Великой Отечественной войне прошедший большую школу на фронте и, вероятно, не раз переживший «жажду уточнить задачу» как для себя, так и для своих товарищей бойцов, Василий Матросов вернулся на родную фабрику закройщиком обуви. Его знали как отличного работника, стахановца, и он работал отлично, перевыполнял норму. Но после войны Василий Матросов не удовлетворился одной своей отличной работой. Средняя цифра выполнения плана на фабрике создавалась в итоге повышенной работы одних, которая перекрывала недостаточную работу других. Не знаю, представил ли себе Василий Матросов, — но, конечно, он мог это себе представить, — что было бы на войне, на фронте, если б и там, в сражении с врагом, победа достигалась при особом героизме одних рядом с халатностью и нерадивостью других. Может ли рядовой боец на фронте быть нерадивым, халатным, не выполнять план? Не говоря уже о том, что никакая военная дисциплина не допустила бы рядового бойца до халатности и нерадивости на фронте и в бою, общий план — уточнение задачи каждого отдельного бойца в выполнении общего плана — является носителем и организатором массовости действия, массовости достигаемого успеха.

Василий Матросов мог не представлять себе фронта именно в таких словах и образах, но он, несомненно, вернулся на производство с накопленным умением «уточнять задачу» и с чувством массовости дей-



ствия, заложенного в самом принципе планирования. И это помогло ему поднять стахановское движение на новый, высший этап: предложить с помощью точного планирования сделать стахановские нормы доступными для всего коллектива рабочих, начать равнение не на среднюю цифру, а на тех, кто дает высокие образцы производительности труда.

Матросовское движение, в основе которого лежит уверенность, что каждый рабочий может работать хорошо, каждую работу можно уточнить и спланировать так, чтобы ее можно было сделать отлично, это движение типично для нашего исторического этапа, для первых лет новой пятилетки. В нем стахановский труд получает как бы научное обоснование для того, чтобы стать массовым. И это новое движение сегодняшнего дня помогает нам бросить взгляд на весь тридцатилетний путь развития наших производительных сил как на глубоко органический и последовательный путь, увидеть новый облик замечательного советского рабочего, советского гражданина во всей его полноте и цельности, в его героизме, в его терпеливой учебе, в росте его самосознания, его партийного и советского сознания, в развороте всех его умственных и волевых качеств большевика, творца, патриота советской родины, выпестованного нашей Коммунистической партией, члена первого на нашей планете советского общества, где нет эксплуатации человека человеком.

1947



## ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

### I

Несколько лет назад одна французская писательница, друг Советского Союза, прислала мне свою книгу, называвшуюся «Ты будешь рабочим». В этой книге правдиво и страшно была показана французская рабочая семья, детство и молодость одного из сыновей ее, перед которым были закрыты все пути в жизни, кроме одного: продавать свои рабочие руки, как продавали дед и прадед, отец и старшие братья. «Ты будешь рабочим» звучало в этой книге, как похоронный звон: ты обречен быть рабочим, ты с этим родился и никуда от этого не уйдешь...

Книга о капиталистическом мире, а все-таки было странно читать совершенно чуждое нам и уже непонятное для большинства из нас это описание «обреченности» применительно к классу, который в нашей стране стал хозяином всех материальных ценностей и свободным творцом своей исторической судьбы. Было странно читать о том, как узок мир пролетария за рубежом, как голы четыре стены, в которые он заточен, как безрадостна, однообразна его жизнь и, главное, до чего должен он ненавидеть свою работу, которую ощущает (и не может не ощущать) только как непрерывную ковку своими руками своих же цепей — из поколения в поколение!



Перелистывая сейчас эту честную и угрюмую книгу, невольно думаешь: как же далеко ушли мы от прошлого, нет, не только далеко ушли, — какой исторический рубеж перешагнули мы в нашей великой и благородной советской действительности! Перед нами встают яркие и живые лица тех, кого мы видим вокруг себя ежедневно и ежечасно, кого знаем и любим как героев нашего времени.

Самое рождение их в рабочей семье — каким большим счастьем ощущается оно! Ведь в нашей стране большая честь сказать о себе: «Я потомственный рабочий!» Это значит: я сын класса-хозяина, все дороги открыты передо мною, могу выбрать любую профессию. И самое это чувство большой свободы заставляет так внимательно, с таким интересом присматриваться к профессии отца и матери, проникаться уважением к ней, хотеть ее продолжать.

Маленькая Маруся Левченко могла стать художницей или музыкантшей; но в семье так часто и много разговаривали об искусстве кроить и шить обувь, — мать ее была заготовщицей на обувной фабрике, тетка — закройщицей, отчим — наладчиком подошвы. И когда Левченко кончила школу, она захотела пойти на фабрику, где стала потом знатной закройщицей.

Знаменитый каменщик Андрей Куликов полюбил свое дело по рассказам отца, тоже каменщика. Он слышал, как рассказывал отец о скитаниях по далеким стройкам, о возведении стен, о вольном ветре, каким дышишь наверху, на высоких лесах, и ему с детства захотелось стать каменщиком, как хочется стать авиатором, моряком, художником.

А сколько биографий замечательных железнодорожников я записала, где все начинается как будто одинаково: «С детства жил вблизи станции, слушал рассказ отца-машиниста, под гудок засыпал и просыпался — и очень нравилось уважение, с каким говорили об отце. Слово себе дал: вырасту, буду вот таким же знаменитым, как папаня, поезда водить буду!» И в этих рассказах слышалась настоящая романтика — романтика профессии. Дети наших рабочих, колхозников, транспортников с детства видят, каким уважением, какой славой



окружена работа их родителей, если хороша и талантлива эта работа, если вложил человек в нее душу.

Советская молодежь ощущает профессию родителей, ощущает свое потомственное звание трудящегося, как распахнутые ворота в мир, как широкую дорогу, по которой можно идти, идти во все стороны и бесконечно; это зависит от твоих собственных сил и охоты, от твоей страсти и молодости, от твоей жадности к труду и творчеству. «Как хорошо жить!» — вот с чем рождается, с чем просыпается поутру герой нашего времени, советский талантливый человек.

Вместе с чувством гордости и ревности к труду взрослых наша молодежь с детства привыкает ощущать «интересность» труда как основную двигательную силу при выборе профессии. Помню, как-то в Берлине я разговорила с рабочим, чинившим ванну в моем номере. Философия у него была приблизительно такая: за что лучше заплатят, та работа и интереснее. Заработок, плата совершенно оттеснили у него самый предмет труда. И, конечно, в капиталистическом мире такое ощущение, такая философия обычны. А вот наш знатный токарь Павел Быков, работающий на Московском заводе шлифовальных станков, смолodu попал клепальщиком в мастерскую детских колясок в Марьиной роще. Устроился хорошо, заработок большой, живи — не тужи. Но Быкову наскучила его работа в маленькой кустарной мастерской. Он глядел туда, где жизнь кипит сильнее, горячее, где орудуют мощные двигатели, где локоть к локтю работают тысячные коллективы, — его звал большой завод, и он нашел себе работу по душе, интересную работу на таком большом заводе, хотя и потерял при этом на несколько месяцев свой прежний заработок и должен был начать с учебы на подготовительных курсах. Появление нового высокого стимула самой работы: особая нужность ее для государства, интересность ее, значительность, увлекательность для тебя — вот другая характерная черта в облике героя нашего времени. Он ищет того, чего хочет, и он знает, чего он хочет.

В годы войны, в Свердловске, на одном из собраний, посвященных выдаче почетных премий местным видным стахановцам, мне довелось встретиться с двумя



лауреатами: фрезеровщиком Дмитрием Босым и горняком Илларионом Янкиным<sup>1</sup>. Голубоглазый и сдержанный Босый, северянин в каждом своем скупом жесте, о чем-то советовался с черноглазым и смуглым Янкиным, типичным шахтером-южанином, быстрым и резким в движениях, в говорке, в мимике.

Много я перевидала таких шахтеров на своем веку в Донбассе. В раннем моем детстве о них рассказывали как об «отчаянных»: жизнь у них была тяжкая, с постоянной, ежедневной опасностью остаться погребенными под землей, и они выработали особую, десятками лет сложившуюся сторожкость, недоверие к новизне, к перемене, судорожное цепляние за вековую традицию и дедовские присмы — то качество, которое мы называем «консерватизмом». Нельзя было найти в старой России рабочих консервативнее донбасских шахтеров, да и суевернее их. Эта черта во всей своей полноте осталась сейчас у шведских, у английских, у испанских горняков, где все еще бытует, например, старое поверье: нельзя пускать женщину в шахту, иначе случится обвал, и где шахтерские приемы работы изменяются очень медленно и сверху, а не снизу, не от самих рабочих. У нас же первым, кто дал название новому качеству социалистического труда, новому отношению к труду — «стахановское», был именно шахтер. И в Янкине можно было проследить со стороны, как прежнее, недоверчиво-угрюмое, сторожкое горняцкое выражение, прежняя «отчаянность», так знакомая мне по впечатлениям детства, уступили место высокой интеллигентности, ясной открытости для всего нового, лихорадочного интереса ко всей полноте жизни.

Они оба спешили. И оба боялись, что завтра не будет самолета. Обоим надо было возвращаться, — а эти два молодых советских рабочих уже привыкли летать, уже привыкли к новой технике, к новому ощущению времени. Это воистину люди нового века, шагнувшие в будущее и ставшие с ним вровень. И как нашим лучшим людям, героям нашего времени, интересно друг

---

<sup>1</sup> В 1948 году Илларион Янкин окончил Свердловский горный институт. Недавно он защитил кандидатскую диссертацию.



с другом, какой органической потребностью стало для них общение, дележ опытом, переписка, личная встреча!

До революции понятие «мастер» имело на заводе свой особый оттенок — неприятный оттенок. Мастер был почти всегда ставленником хозяина, опорой капиталиста, он драл шкуру с рабочих, поднимался на их горбу, он ревниво хранил производственные секреты. Сейчас «мастерство» и «мастер» стали почти синонимом учебы и учительства, обмена опытом, обязательной подготовки смены, гордости своими учениками. У нас можно сказать: «Какой же ты мастер, если у тебя смены нет?» — и это пристыдит, это укорит любого, пусть даже талантливого рабочего, это укажет ему на его неполноту и несовершенство, потому что в наших социалистических условиях мастерство обязывает, как свеча, которую, зажегши, нельзя ставить «под спуд», а надо высоко поднимать, чтобы шире лег вокруг нее световой круг.

Сколько примеров обмена мастерством знаем мы за истекшие годы! Даже само соревнование все более и более становится средством знакомства и взаимного обмена опытом. Соревнующиеся все чаще и чаще объясняют, перечисляют, открывают приемы своего мастерства, описывают, что и как у них принято, какими инструментами они достигают высокой выработки. Это уже становится в нашем быту традицией.

Летом 1946 года на Можайском шоссе, на огромной высоте красивого строящегося дома, собралось так же много публики, как собирается на перроне вокзала перед приездом какого-нибудь знатного человека нашей родины. То были стахановцы-каменщики самых разных строителей. Они съехались и собрались отовсюду, чтобы посмотреть на работу знаменитого своего товарища Ивана Михайловича Рахманина, строителя железнодорожных мастерских и городка железнодорожников в Дарнице. Молодой и красивый человек легким и едва заметным движением рук возводил стену — кирпич за кирпичом, словно пальцами трогал клавиши огромного рояля. Ни одного лишнего жеста, ни одного рывка, все стройно и по-лебединому плавно, — недаром и правая и левая рука у него работают одинаково. Этот ма-



стер камнекладки выполнил в первый год пятилетки восемь годовых норм, и он приехал в гости к москвичам, как музыкант на гастроли,— «сыграть» кирпичами чудесную и заразительную симфонию вдохновенного труда. Совершенно так же прилетел из Новосибирска в Ленинград, в гости к бригаде Куликова, знатный каменщик-сибиряк Максименко. Совершенно так же ездят друг к другу по необъятным просторам нашей родины замечательные мастера станков и полей, чтобы показать свое мастерство,— себя показать и людей посмотреть. А дома ребята и жены, невесты и женихи с замиранием сердца, с влюбленною гордостью следят по газетам: «мой-то!», «моя-то!» Сколько их, таких — любимых и ненаглядных детей советской отчизны, героев нашего времени!

## II

Гордость своей профессией, оваянной романтикой безграничных возможностей, любовь к ней, на первом месте любовь к труду как к источнику всех радостей на земле, а вовсе не только как к «заработку», открытость всего своего существа, умственного и волевого, навстречу новому в технике, новому в приемах и способах производства и острое сознание себя сыном передового, шагнувшего далеко в будущее, века; кровное ощущение близости соседа, счастья в коллективе, как в необходимой среде для творчества, без которой не расцветешь и воздуху не глотнешь; великая радость дележа, радость передачи опыта, словно ты продолжаешь этим класть свои кирпичи, двигать своим станком, засеивать и полоть свое поле, дописывать страницы вдохновенной книги своей, радость передачи мастерства, ставшей потребностью,— вот некоторые черты облика того нового человека, которого мы называем «героем нашего времени» и которого любовно растят наш строй, наша партия. Когда-то старый писатель, играя словами, сказал, что человек — это в сущности «чело века», то есть лицо, на котором проступают основные особенности эпохи: ее вкусы, свойства, направления.

На челе нашего советского века уже ясно видны



основные черты новой эпохи. До революции мы в школах немало чернил исписали, анализируя Печорина, хотя нашей молодежи непонятным сейчас кажется, как можно ощущение постоянной тоски и скуки в человеке считать его «интересностью», делающей его значительным, непостоянство и неверность принимать за «загадочность» натуры, а ничегонеделанье — за «героизм». Но нет сомнения, что Печорин был героем своего страшного времени, он ярко выражал безвыходность этого времени, где в условиях мертвящей системы самодержавия слишком мало было возможности для разворота сил человеческих, для проявления пусть даже одаренного ума. У нас тоже есть свои Печорины, но это советские люди, которые только носят фамилию Печориных; и они — тоже герои нашего времени. Вот, к примеру, токарь Иван Печорин, сибиряк, рабочий вагоноремонтного пункта Омской дороги. Когда был опубликован пятилетний план, он взял карандаш и бумагу и удалился в сторонку — для подсчета. Считал неторопливо, обстоятельно, а потом объявил, что выполнит свое пятилетнее задание в один год. И выполнил. И таких Печориных у нас много.

Один за другим возвышают советские люди свои голоса, обязуясь выполнить пятилетку раньше срока. Движение это охватило миллионы рабочих; оно становится массовым, и мы уже подсчитываем его результаты. Машинист Василий Юшко обещал выполнить пятилетний план пробега своего паровоза в четыре года. К исходу второго года он уже выполняет по плану третий. Токарь Тульского завода Михаил Давыдов рассчитал, что выполнит пять годовых норм в первый год пятилетки, — и выполнил.

Машинист Петр Александрович Агафонов в 1939 году объявил, что паровоз его пробежит 500 тысяч километров без заводского ремонта...

«Когда я сказал об этом, поднялся шум.

— Эк куда хватил! — раздался чей-то голос.

Некоторые машинисты отнеслись с явным недоверием к моему заявлению. Они переговаривались между собой, что-то с карандашом в руках подсчитывали. Один из машинистов громко спросил:



— А сколько же лет надо ездить?  
— Лет пять, а может быть и шесть,— сказал я.  
— Нет, это просто невозможно, без ремонта не обойтись. Котел не выдержит такого срока».

Но Агафонов стоял на своем. Он дал обязательство. Между тем грянула Великая Отечественная война. Встали огромные задачи перед транспортом. Агафонов создал фронтовую колонну паровозов, он отдался всей душой обороне отечества. Многим показалось бы естественным, что в новых условиях напряженнейшей борьбы в помощь фронту, когда надо было сокращать оборот паровозов, увеличивать скорость, удлинять составы, день и ночь водить с Урала эшелоны для фронта,— в этих условиях само собой отодвинулось бы обязательство, данное в дни мира. Но П. А. Агафонов — большевик и советский гражданин — данного слова держится крепко и на ветер слов не бросает. Все годы войны он не только помнил про свое обязательство, он его выполнял. Кое-кто успел и забыть, что обещал Агафонов. А челябинский машинист, великолепно поработавший на оборону и заслуживший за годы войны орден Ленина, объявил 10 июня 1946 года о том, что паровоз его прошел 500 тысяч километров без среднего и капитального ремонта и что обязательство свое он, Агафонов, выполнил. За этот пробег по существующей норме он должен был один раз поставить паровоз на капитальный ремонт, дважды на средний и четырнадцать раз на подъемочный, а он ограничился всего девятью подъемочными ремонтами, и к первому году послевоенной пятилетки паровоз оказался в таком хорошем состоянии, что нуждался только в среднем, а не в капитальном ремонте.

Гордостью за свою родину и за свой народ наполняется сердце, когда видишь таких людей и сознаешь, насколько сильна их воля и верна их душа. С такими все можно свершить, на все можно решиться,— не подведут, не растеряются, не отступят.

Но все эти большие, настоящие качества героев нашего времени вдвойне сильны и вдвойне прекрасны еще и потому, что они не случайны, не единичны и не с неба упали: их сознательно, из года в год путем всей нашей



большой жизни направляла, порождала и укрепляла в людях великая руководительница нового мира — Коммунистическая партия. словно цветы в саду, росли и наливались человеческие характеры нового советского строя — этого неутомимого садовника, знающего, как направлять человека, знающего красоту и силу новой, глубокой человечности.

И герои нашего времени сознают это, они благодарны своему воспитателю. «На всю жизнь запомнил я начальника отделения Ц. Л. Куникова», — говорит токарь Быков. Почему? Потому что Куников, коммунист, один из тех, кто заложил в Быкове основы партийного сознания, партийного отношения к труду. Именно через партийность сознания завоевал позднее Быков свое высокое техническое мастерство. Когда коммунист Агафонов организовал первую свою бригаду из комсомольцев и назвал ее «комсомольской», он сказал своим товарищам по бригаде: «Вы понимаете, что это значит? Имя обязывает. Если до сих пор у нас паровоз был просто в исправности, то сейчас он должен быть в образцовом порядке». С именем партии, именем комсомола наши рабочие соединяют высшие формы достижения производительности труда. Коммунист должен владеть передовой техникой, должен быть повсюду впереди: как в восемнадцатом, девятнадцатом годах — на передовых позициях в гражданской войне, так и в тридцатых — на передовых позициях строительства пятилеток, в сороковых — на передовых позициях Отечественной войны и великого фронта новой, послевоенной пятилетки.

Таков герой нашего времени, передовой человек в сознании, в действии и в отношении к своим ближним.



## **ПРИМЕЧАНИЯ**







## ГИДРОЦЕНТРАЛЬ

### Р о м а н

Замысел произведения возник у М. Шагинян в начале 1926 года в связи с изучением строительства одной из гидроэлектростанций, воздвигнутых в годы советской власти в Армении.

В 1927 году писательница выезжает на новостройку Дзорагэс, поселяется непосредственно на строительном участке. Собирая материал, наблюдая и изучая людей и стройку, М. Шагинян как публицист активно включается в борьбу за организацию работы, пишет ряд статей в центральные газеты — «Где шумит Дзорагэс», «Известия», 21 мая 1927 года, «Работы на Дзорагэсе», «Снова о Дзорагэсе» (опубликованы под псевдонимом Я. Барабанян в газете «Заря Востока» 6 и 14 апреля 1928 года), «Школа Дзорагэса», «Известия», 7 июня 1930 года.

Закончив роман, писательница не утратила связи со строительством и в период его завершения в 1931 году даже выезжала по делам Дзорагэса на Украину. За непосредственное участие в жизни стройки и помощь ей на протяжении четырех лет М. Шагинян была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Роман «Гидроцентральный» начал печататься с января 1930 года. Первая часть публиковалась в журнале «Новый мир» с № 1 по № 7 и в № 10, вторая часть — там же в №№ 2, 3, 4 за 1931 год.

В 1930 году в виде отдельной брошюры появились две главы нового романа: «Гора Кошка» и «Проект Мизингэса» (Тифлис, изд. «Заккнига»).

В 1931 году роман был опубликован полностью отдельной книгой в Издательстве писателей в Ленинграде, после чего выходил многократно в СССР и за рубежом.

В 1949 году М. Шагинян выпускает новое переработанное издание «Гидроцентрали». Из шестнадцати глав романа суще-



ственные изменения были внесены писательницей в десять глав. Остальные подверглись тщательной авторской редакции. Переработка романа велась М. Шагинян в основном в трех направлениях. Определеннее и резче были подчеркнуты приметы времени, углублена характеристика того бурного периода в жизни советской страны, периода индустриализации, который нашел отражение в романе. Существенной переделке подвергся образ основного героя романа — Арно Арэвьяна. В новом издании это более реалистический образ, освобожденный от элементов некоторой условности, что было характерно для прежних изданий романа. Наконец, писательница усилила в новом издании тему партии, переработав в этом плане ряд мест и введя новые сцены, показывающие деятельность партийной организации.

В настоящем издании роман «Гидроцентральный» печатается по тексту издания 1949 года, вновь просмотренному и исправленному автором.

#### ОЧЕРКИ

*Дело было в Харькове.*— Впервые опубликован в газете «Известия» 13 июня 1931 года. Позднее вошел в сборник «Литература и план», 1934, Московское товарищество писателей.

*Вместо открытия.*— Впервые опубликован в газете «Известия» 12 июля 1932 года. Вошел в сборник «Литература и план», 1934, Московское товарищество писателей.

*Москва — город университетский.*— Очерк был написан в 1937 году. Опубликован в сборнике «Слово о Москве» (Гослитиздат, 1947) под названием «Москва университетская».

*Поездка в Сурск.*— Впервые опубликован в газете «Известия» 22 апреля 1937 года.

*Подруга Ильича.*— Впервые опубликован в журнале «Новый мир», № 3 за 1939 год под заголовком «Надежда Константиновна Крупская».

*Урал в обороне.*— Серия очерков. Возникла на основе наблюдений и дневниковых записей М. Шагинян, относящихся к периоду ее пребывания на Урале в 1942 и 1943 годах. Впервые отдельной книгой вышли в 1944 году в Гослитиздате («Урал в обороне», Гослитиздат, Москва, 1944). Большая часть очерков, вошедших в книгу «Урал в обороне», публиковалась в периодической столичной и уральской печати. («Фронт металла», «Правда», 24 января 1942 года; «Ритм», «Правда», 15 сентября 1942 года; «На военном заводе», «Красная Звезда», 8 марта 1942 года; «Урал



кует победу», «Огонек», № 23—24, 20 июня 1943 года; «Менделеев о будущем Урала», «Правда», 29 июля 1943 года, и т. д.) Очерк *Люди Урала* был опубликован в литературно-художественном сборнике «Говорит Урал», Свердловск, 1942. В 1947 году книга «Урал в обороне» была издана в Болгарии.

*Три портрета.*— Очерк написан по заданию Академии наук СССР. Частично был опубликован в журнале «Новый мир», № 7—8 за 1943 год под заголовком «Академики на Урале». Журнальный вариант состоял из следующих разделов: «Портрет академика А. А. Байкова», «Портрет академика В. А. Обручева», а также «Менделеев о будущем Урала» (позднее включен в состав книги «Урал в обороне», Гослитиздат, 1944). Очерк «Три портрета» вошел в книгу «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947.

*На Алтае.*— Вошел в книгу очерков «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947.

*Челябинские колхозы.*— Очерк написан в июле — августе 1945 года. Опубликован в журнале «Новый мир», № 9 за 1945 год. Вошел в книгу «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947.

*Магнитогорск после войны.*— Возник на основе отдельных очерков, публиковавшихся в центральных газетах, — «Магнитогорск сегодня» (первый и второй разделы этого очерка: «Переход на мирные рельсы» и «Люди учатся» — напечатаны 30 сентября 1945 года, третий и четвертый: «Сердце завода» и «Городская культура» — 3 октября 1945 года в газете «Труд»), «Домики Магнитостроя», «Правда», 10 сентября 1945 года. Вошел в книгу «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947.

*Восстановление завода.*— Впервые напечатан в газете «Ленинградская правда» 26 января 1947 года. Затем вошел в книгу «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947.

*Комплексное соревнование, Идея Матросова.*— Были опубликованы в журнале «Октябрь», № 12 за 1947 год в цикле очерков «По дорогам пятилетки». Вошли в книгу «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947.

*О стахановском движении.*— Вошел в книгу «По дорогам пятилетки», Профиздат, 1947, и отдельно под заголовком «Новое в стахановском движении» был опубликован в журнале «Октябрь», № 2 за 1948 год.

*Герой нашего времени.*— Впервые опубликован в газете «Гудок» 14 декабря 1948 года.

Л. Скорин



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГИДРОЦЕНТРАЛЬ. Роман</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>ОЧЕРКИ</b>	
Дело было в Харькове . . . . .	383
Вместо открытия . . . . .	391
Москва — город университетский . . . . .	406
Поездка в Сурск . . . . .	417
Подруга Ильича . . . . .	425
Урал в обороне	
Дела и люди Урала . . . . .	430
Урал в Отечественной войне . . . . .	520
Уральский город . . . . .	546
Менделеев о будущем Урала . . . . .	594
Три портрета . . . . .	600
На Алтае . . . . .	639
Челябинские колхозы . . . . .	651
Магнитогорск после войны . . . . .	680
Восстановление завода . . . . .	707
Комплексное соревнование . . . . .	718
Идея Матросова . . . . .	733
О стахановском движении . . . . .	743
Герой нашего времени . . . . .	762
Примечания . . . . .	773

Редактор *Э. Бабаян*

Оформление художника *Н. Кравченко*

Художественный редактор *Ю. Боярский*

Технический редактор *Ф. Артемьева*. Корректор *Е. Козлова*

---

Сдано в набор 29/VI 1956 г. Подписано к печати 1/X 1956 г. А10097.  
 Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—24,25 печ. л.= 39,78 усл. печ. л. 37,342 уч.-изд. л. +  
 + 1 вкл.= 37,392 л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1917. Цена 11 р. 50 к.

Госиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР

Главное управление полиграфической промышленности.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова

Москва, Ж-55, Валуевская, 28



41p. 50r.